

ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ

2

"ЛЮДИ ПОЗДНЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ СКАЖУТ МНЕ, ЧТО ВСЕ ЭТО БЫЛО И БЫЛЬЕМ ПОРОСЛО И ЧТО, СТАЛО БЫТЬ, ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ НЕ ОСОБЕННО ПОЛЕЗНО. ЗНАЮ Я И САМ, ЧТО ФАБУЛА ЭТОЙ БЫЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОРОСЛА БЫЛЬЕМ; НО ПОЧЕМУ ЖЕ, ОДНАКО, ОНА И ДО СИХ ПОР ТАК ЯРКО ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ОТ ВРЕМЕНИ ДО ВРЕМЕНИ? НЕ ПОТОМУ ЛИ, ЧТО, КРОМЕ ФАБУЛЫ, В ЭТОМ ТРАГИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ БЫЛО НЕЧТО ЕЩЕ, ЧТО ДАЛЕКО НЕ ПОРОСЛО БЫЛЬЕМ, А ПРОДОЛЖАЕТ И ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕТЬ НАД ЖИЗНЬЮ?.."

**ДОДНЕСЬ
ТЯГОТЕЕТ**

Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и быльем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем; но почему же, однако, она и до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и дондесь тяготеть над жизнью?

М. Е. Салтыков-Щедрин
«Пошехонская старина»

ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ

Том 2

Колыма

Возвращение

Москва 2004

ББК 84 Р7

Д60

Составитель
Семен Виленский

Художник
Виктор Виноградов

Д60 **Доднесь тяготееет:** В 2-х томах. Т. 2. Колыма: сборник / сост.
С. С. Виленский. — М.: Возвращение, 2004. — 575 с.: ил., портр.

ISBN 5-7157-0146-5

В двухтомнике «Доднесь тяготееет» («Записки вашей современницы», «Колыма») представлены воспоминания, рассказы, стихи и письма узников ГУЛАГа. Эта книга о прошлом, которое «далеко не поросло быльем, а продолжает и доднесь тяготеть над жизнью».

ББК 84 Р7

ISBN 5-7157-0146-5

© Виленский С. С., составление, 2004

© «Возвращение», 2004

От составителя*

Первый том «Доднесь тяготееет» – первая правдивая и столь представительная (двадцать три автора) книга о ГУЛАГе – вышел еще при советской власти в 1989 году в подцензурной печати.

Многое можно рассказать о том, как произошло такое невероятное в те времена событие – главная его причина в охватившей общество жажде правды и перемен. Казалось бы случайные обстоятельства, благоприятствовавшие выходу книги, на поверку были вовсе не случайны: у двух цензоров, о которых никому не положено было знать, но с которыми я встретился, дедушки погибли в лагерях, помог и главный редактор журнала «Новый мир» Сергей Павлович Залыгин, человек в ту пору авторитетный и влиятельный.

Правление «Советского писателя» отправило «Доднесь тяготееет» в тульский полиграфический комбинат, а там стараниями производственного отдела и рабочих типографии стотысячный тираж был изготовлен в кратчайший срок.

Помню, в Москве у «Дома книги» на Новом Арбате с вечера люди записывались в очередь, некоторые дежурили всю ночь, чтобы приобрести книгу.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Теперь на полках книжных магазинов пылятся невостребованные мемуары узников ГУЛАГа. Вот что пишет один из них: «В наше меркантильное время большинство общества занято делами текущими, а я и, возможно, многие из тех, кто пока жив, чувствуем себя последними мамонтами в эпоху нового оледенения XXI века».

Наше общество не осудило прошлое, не покаялось пусть даже в невольном молчаливом соучастии в чудовищных преступлениях. Мы смирились со злом. У нас не было процесса, подобного Нюрнбергскому. Не было дебольшевиизации, подобной денацификации в послевоенной Германии. В этом основная причина криминальности нашего общества, вопиющей социальной несправедливости, фактического бесправия граждан.

Но такое положение не вечно – я бы даже сказал, недолговечно. Ведь ГУЛАГ, как и гитлеровские лагеря, – неотъемлемая часть европейской истории XX века, нашего общего прошлого. Изжить его негативные последствия – веление времени.

Иной взгляд на причину постигшей нас трагедии отражен в послесловии к этому двухтомнику.

* Первое издание первого тома сборника «Доднесь тяготееет» имеется во многих библиотеках и семьях. Поэтому настоящий текст, предвещающий издание «Доднесь тяготееет» в двух томах, печатается в каждом из них. – *Составитель.*

Первый том «Доднесь тяготееет» выходит вторым изданием. Вносить какие-либо изменения в тексты уже ушедших авторов – а таких абсолютное большинство – мы не посчитали возможным.

Второй том печатается впервые.

В основание этой книги легли рукописи, хранившиеся в течение нескольких десятилетий. Поэтому первые слова благодарности – людям, которые с немалым для себя риском сохранили рукописи и доверили их мне.

Глубокая благодарность моим друзьям, помогавшим в работе над книгой и подготовке ее к изданию – Наталии Пирумовой, Владимиру Медведеву, Заяре Веселой, Фёдору Меркурову, Анатолию Кокорину, Татьяне Исаевой, Владиславу Матусевичу, Александру, Кириллу и Александре Мордвинцевым, Эльге Силиной, Людмиле Новиковой, Кларе Домбровской, Галине Аتماшкиной и тем, с чьей помощью стало возможным издание двухтомника «Доднесь тяготееет» – академику РАН, академику РАМН Андрею Воробьёву; Фонду Герцена и Фонду Ланда (Голландия); профессору Флорентийского университета Франческе Фичи (Италия).

ОСВЕНЦИМ БЕЗ ПЕЧЕЙ

...Золотодобыча в условиях капитализма поглощала и поглощает немало человеческих жизней. Аляска, Клондайк, Колорадо и золотосносные районы капиталистической России погубили десятки тысяч людей. Голод, цинга как неизменные спутники сопровождали открытие и разработку золотосносных районов. В этом отношении Колыма, добывающая золото для социалистической страны, прямая противоположность. Ни один человек за эти годы не погиб из-за золота, и этим мы вправе гордиться, как величайшим достижением. Начиная с 1933 года Колыма не знает цинготных заболеваний. С извечным таежным врагом покончено*.

Эдуард Берзин

* * *

11 ноября 1931 года ЦК ВКП(б) принял решение о промышленном освоении Северо-Востока. Через два дня Совет Труда и Оборона постановил организовать трест по промышленному и дорожному строительству в районе Верхней Колымы – Дальстрой. Его директором был назначен чекист Э. П. Берзин, только что сдавший правительственной комиссии Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат, построенный заключенными.

4 февраля 1932 года у ледяной кромки в бухте Нагаева встал пароход «Сахалин», доставивший руководство Дальстроя во главе с Берзиным.

Еще осенью 1931 года, когда Берзин прибыл из Москвы во Владивосток, он организовал оттуда отправку на пароходе «Сучан» свыше двухсот заключенных из дальневосточного лагеря в Нагаево. Рейс оказался трудным. Пароход еле выбрался из ледового плена. Холод и болезни косили заключенных. В живых остались лишь четверть тех, кто отправился в путь. Эти люди начали строить первый лагерь в Магадане. Когда в июне несколько пароходов доставили сюда около трех тысяч заключенных, для них уже была создана изолированная зона. Лагерь охранялся вооруженными

* Журнал «Колыма», Магадан, № 4, 1936.

стрелками, которые сопровождали из Владивостока этапы заключенных. Однако стрелков не хватало, и руководство лагеря было вынуждено некоторую часть охраны формировать из самих заключенных, как правило, из уголовников, которые ревностно выполняли свои обязанности, особенно усердствуя при охране «политических». С открытием летней навигации пароходы пошли один за другим, и к концу 1932 года в Дальстрое работали более десяти тысяч заключенных.



Пароход «Джурма», доставлявший заключенных на Колыму.
Бухта Нагаева. 1936 год

Через полтора месяца после приезда в Нагаево Берзин утвердил положение об управлении трестом. Дальстрой разделялся на две сферы деятельности: хозяйственную и лагерную. При этом наделенный особыми полномочиями директор Дальстроя был и главным хозяйственным, и главным лагерным начальником, полномочным хозяином Колымы.

Задача Дальстроя и неотделимого от него Севвостлага, позднее переименованного в УСВИТЛ – Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, состояла в организации труда крупных контингентов заключенных, доставляемых на Колыму.

Любой заключенный рассматривался не как человек и тем более не как личность, а лишь как необходимая часть технологического процесса наряду с материалами и машинами. В документах, связанных с использованием заключенных, они именовались «рабсиллой», а их перемещение и учет приравнивались к транспортировке и учету различных материальных ценностей. Один из приказов предписывал: «Учетно-распределительным частям лагпунктов, учетно-распределительным столам командировок организовать учет рабсиллы: ежедневно рабсиллу фактуровать потребителям. Бухгалтерия предприятия производит сверку отпущенной рабсиллы с фактически использованной».

Чтобы увеличить поставку дешевой рабсиллы в лагерные предприятия, в начале тридцатых годов было оперативно разработано и принято несколько законодательных актов. Один из них – постановление ВЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности». Постановление это стирало различие между крупными хищениями социалистической собственности и мелкими кражами, скажем, кочана капусты, буханки хлеба – за это полагалось, как правило, до десяти лет заключения.

Именно после принятия этого постановления в Нагаево пошли один за другим пароходы с тысячами рабочих и крестьян, осужденных за мелкие хищения.

Это постановление направило в лагеря необходимую рабочую силу – людей, привыкших к тяжелому физическому труду. Причем лагеря Дальстроя в течение только одного тридцать третьего года выросли почти втрое. В начале года здесь содержались около 10 тысяч человек, к концу – более 27 тысяч.

К 1935 году Дальстрой вырос в одну из крупнейших организаций, использовавших труд заключенных. В лагерях их было более 40 тысяч. Правда, непосредственно на приисках работали тысяч десять. Остальные прокладывали автодорогу.

В начале 1935 года Берзин отчитался в Москве о работе треста, получил предназначенный ему орден Ленина и отправился в командировку в Нидерланды. На выделенную валюту он купил для треста три океанских парохода. Год за годом в их трюмах на Колыму везли заключенных.

Из статьи К. Николаева. Чудная планета Колыма. «Наука и жизнь», 1990, № 2–3

* * *

До 1935 года осужденные по уголовным статьям составляли более 50 % всех заключенных.

В 1938—48 годах качественная структура заключенных изменилась: «политические» составляли 90 %.

Расширение ареала деятельности государственного треста Дальстрой

Дата	Нормативный документ	Содержание
11 ноября 1931 г.	Постановление ЦК ВКП(б)	Организация Государственного треста по промышленному и дорожному строительству в районах Верхней Колымы Дальстрой.
13 ноября 1931 г.	Постановление Совета Труда и Оборона СССР	Площадь 450 тыс. кв. км.
29 июня 1936 г.	Постановление СНК СССР	Тресту переданы весь бассейн р. Колымы, бассейны рек Индигирка, Нера, Мома. Площадь 700 тыс. кв. км.
1939 г.	Нет данных	Тресту переданы Чаунский и Чукотский районы
1940 г.	Нет данных	Тресту передан бассейн р. Анадырь
29 марта 1941 г.	Постановление СНК СССР	Тресту переданы побережье Охотского моря от Пенжинской губы до г. Охотска, весь бассейн р. Яна (Якутия). Площадь 2,3 млн кв. км.
29 января 1951 г.	Указ Президиума Верховного Совета СССР	Уточнение западной границы территории Дальстроя: правобережье р. Лены, до Алдана, далее по 60-й параллели до 138-го меридиана, по нему на юг до Охотского моря. Площадь 3 млн кв. км.

Текст и таблица из статьи А. Пилясова «Трест Дальстрой как суперорганизация», журнал «Колыма», 1993, № 9—11

* * *

Из хранящихся в Центральном архиве МВД России отчетов «Цифровые сведения о количестве заключенных Севвостоклага» за период с 1938 по 1951 год

Дата	01.01.38	01.04.39	10.12.41	01.10.45	01.10.49	01.03.51
Общее количество заключенных	90 741	104 080	164 089	72 234	152 242	145 647

Три раза в месяц оперчекистский отдел НКВД Севвостоклага посылал в 1-й Спецотдел НКВД СССР «Статотчет персонального учета заключенных», где отражались все данные о количественном составе заключенных лагеря. В статотчете по Севвостоклагу за 1-ю декаду декабря 1941 года числится умерших зеков – 6460.

Заметим, что свыше 80 % общего количества заключенных Севвостоклага составляли люди не старше 40 лет; старше 50 лет – 0,5 %.

Из подготовленной Ириной Осиповой для Московского историко-литературного общества «Возвращение» «Краткой справки по Севвостоклагу»

* * *

К вопросу о реабилитации

(Тезисы информации в Магаданском облсовете 27.08.90 г.)

1. О возможности и нежелательности произвольного смещения в общественном сознании понятий реабилитации и амнистии.

Амнистия – акт прощения, акт милосердия.

Реабилитация – признание обществом своей неправоты, публичное заявление об этом, т. е. покаяние.

2. В узком смысле слова – реабилитация – это пересмотр ранее совершенных обществом конкретных действий в отношении конкретных лиц, переоценка этих действий и официальное удостоверение.

В широком смысле слова реабилитация – это общественно-политический процесс переосмысления случившегося, анализ причин несправедливого поведения, создание условий, исключающих повторение подобного в будущем, восстановление попорченной справедливости, духовное очищение.

Таким образом, реабилитация конкретных людей есть одно из средств достижения более широкой цели.

3. Системная работа в части отмены незаконных решений проводится ведомственно, без какого-либо участия Советов и тем более общества в целом. Не подвергая сомнению компетентность занимающихся этим делом профессионалов, следует признать, что процесс переосмысления случившегося выходит за пределы компетенции только юристов и требует участия философов, социологов, журналистов и т. д.

4. Ведомственная работа с документами проводится в секретном порядке. Ведомства продолжают таить свою прошлую преступную деятельность, в том числе организационные структуры, конкретные обстоятельства преступлений, имена организаторов и исполнителей.

5. Архивные материалы зачастую содержат сведения и документы, не имеющие непосредственного отношения к вопросу о реабилитации конкретного человека, но представляющие историческую, культурную и иные ценности. Их оценка вне пределов компетенции правоведов и должна проводиться широким кругом специалистов.

6. Громадные ведомственные архивы (многие сотни тысяч единиц хранения) МВД, КГБ, Дальстроя, Геологоуправления и др. имеют государственное значение. Это национальное достояние и статус их должен быть изменён. <...>

Депутат облсовета Б. А. Пискарёв

Из обращения в президиум Магаданского областного Совета народных депутатов

Реабилитация жертв политического произвола 20–50-х годов продолжает оставаться одной из жгучих нравственных проблем нашего общества. Для Магаданской области она особенно велика и значима, т. к. наша территория была местом гибели и страданий неисчислимых жертв. Память о них будет постоянно тревожить ум и сердце всех совестливых людей и взывать к справедливости.

Невозможно вернуть отнятую жизнь, так же как исправить покалеченную судьбу, но можно и обязательно нужно сказать правду.

Исполнить этот долг выпало нам.

Разгребая завалы лжи, реабилитируя уничтоженных, оболганных и затравленных, мы ищем прощения и себе перед собственной совестью и перед потомками. <...>

Архивная алфавитная картотека УВД Магаданского облисполкома содержит около 2 000 000 карточек, а в архиве хранятся 500 000 дел со многими миллионами документов, никем еще не изученных

(протяжённость стеллажей 3211 погонных метров), не обработанных и тем более не систематизированных.

Масштабы этого уникального собрания документов громадны и не всегда поддаются реальному осмыслению. Например, чтобы просмотреть всю картотеку, тратя на карточку по одной секунде, потребуются четыре рабочих месяца.

Объём информации архива столь велик, что на его элементарную обработку традиционными для нас ручными способами нужно затратить не менее 150 лет.

Хранилище это, по-видимому, не имеет аналогов по своей исторической значимости и уже сегодня, несомненно, представляет ценность государственного значения.

Штат сотрудников архива (5 человек) установлен для обеспечения его повседневной работы и никак не рассчитан на иное. <...>

Элементарные расчеты показывают, что при существующем положении реабилитация всех репрессированных может быть закончена не ранее чем через 15–20 лет и мало кто из ныне еще живых жертв произвола дождется желанного документа. Горько сознавать, что государство наше, уничтожая морально и физически миллионы своих беззащитных сограждан, чувствовало себя куда более уверенно, чем сегодня, когда пришло время покаяния и расплаты. <...>

Председатель депутатской комиссии по изучению и оценке деятельности Дальстроя Б. А. Пискарёв

26.02.91

Из обращения президиума Магаданского областного Совета народных депутатов к Верховному Совету РСФСР о снятии секретности с материалов по реабилитации жертв репрессий

Мы, члены президиума Магаданского областного Совета народных депутатов, обращаемся к вам по вопросу, имеющему серьезное политическое значение для граждан нашей республики и для страны в целом.

Как известно, одной из самых жгучих проблем современности является проблема реабилитации жертв репрессий.

Сегодня идёт процесс восстановления имен безвинно репрессированных. Магаданская область, по известным причинам, занимает в этом процессе особое положение. Именно здесь в так называемые дальстроевские времена находилось сердце печально известного ГУЛАГа. <...>

Вместе с тем мы видим, что проходящая ныне реабилитация имеет зачастую всего лишь декоративный характер. Главная причина — засекреченность этого процесса и сохранение за ним узковедомственного характера.

Восстановление имен безвинно репрессированных ведут работники системы МВД, КГБ и прокуратуры, то есть тех самых ведомств, которые имели непосредственное отношение к самим репрессиям в 20—50-е годы.

Более того реабилитируются не дела людей, их жизнь и судьбы, а только имена. Происходит это потому, что на всех делах репрессированных и по сей день сохраняется гриф «Секретно», закрывающий доступ к ним общественности, средств массовой информации и даже историков.

Между тем в этих делах и документах скрываются ценнейшие исторические материалы, являющиеся не собственностью названных ведомств, а национальным достоянием всего народа.

К сожалению, имеющиеся ныне при исполкомах областных Советов народных депутатов комиссии по реабилитации жертв репрессий не наделены соответствующими правами и полномочиями, которые позволили бы открыто вести процесс очищения нашего общества. <...>

Пока общество не будет полностью информировано о судьбах безвинно пострадавших людей, никто не может гарантировать необратимость процесса гуманизации и демократизации общества. Многих волнует вопрос, почему, открывая имена жертв, ведомства и по сей день скрывают их палачей.

Только покаяние способно по-настоящему очистить наше общество, а покаяние тайным быть не может!

В связи с этим президиум Магаданского областного Совета народных депутатов обращается к вам, членам Верховного Совета РСФСР, со следующими предложениями:

Первое: безоговорочно снять секретность с процесса реабилитации жертв репрессий. В работе над документами и всём процессе реабилитации должны участвовать не только работники КГБ и МВД, но и независимые квалифицированные специалисты.

Второе: ведомственные архивы МВД и КГБ, относящиеся к периоду 1917—1985 годов, должны быть переданы этими ведомствами в систему государственных архивов.

Третье: необходимо выработать и принять Закон о государственной и ведомственной тайне на территории РСФСР. Максимальный

срок секретности согласно международной практике должен составлять не более тридцати-сорока лет.

Только приняв эти решения, мы можем быть уверены в невозвратимости жестоких времен репрессий!

Просим внести наши предложения на осеннюю сессию Верховного Совета РСФСР.

От имени президиума Магаданского областного Совета народных депутатов

Заместитель председателя областного Совета народных депутатов

А. А. Макеев

<1991 г. (?)>

Из книги «Прокуратура Магаданской области. Конспект четырех десятилетий» (Магадан, 1997. Тираж 300 экз.)

* * *

...В 1937 году сосед братьев моего отчима – Пантелея Наумовича и Ивана Наумовича Горилько – написал донос в органы, что они-де плохо говорили о Сталине. Братьев арестовали и отправили в Магадан. У Пантелея Наумовича осталась жена и пятеро малолетних детей, и у Ивана Наумовича жена и двое детей. Оба брата, Пантелей и Иван, были в Магадане на каторжных работах. Однажды Пантелей пришел с работы в лагерный барак и не нашел своего брата. Не было его среди живых, и не было его среди мертвых. Много позже, когда взрослый сын Ивана послал запрос в Москву, ему ответили, что его отец Иван Наумович Горилько реабилитирован посмертно.

Я за то, чтобы поименно назвать всех незаконно репрессированных, погибших и умерших своей смертью. Но, наверное, это трудно будет сделать. Знаю одного бывшего работника милиции. Он рассказывал, как жгли в котельной дела, много дел, и в конце каждого – «умер». Кто распорядился это сделать? И это было не так давно, может быть, в 60–70-х годах.

Почиталина Т. Ф., г. Магадан

Из почты магаданского общества «Мемориал»

* * *

...Однажды мне позвонил помощник председателя КПК Н. М. Шверника А. И. Кузнецов и сообщил, что Шверник интересуется нарушениями закона и произволом в Дальстрое и просит, чтобы

я за два дня нарисовал картину тех лет в Дальстрое. Я пригласил старых членов партии, которые тоже отбывали «наказание» на Колыме, — В. Т. Сухорукова и Н. А. Крейцберга. Мы составили заявление в КПК на четырех страницах о произволе на золотых приисках и фактах, которые нам были известны. Принес я это заявление. Кузнецов прочитал, увидел три подписи: «Не пойдет, это коллективка! Так не принято. Надо за одной подписью». И пришлось мне переписать и оставить за одной своей подписью. Через день звонок Кузнецова:

— Показывали твое заявление Швернику, сказал: «Страшные факты, волосы становятся дыбом. Покажите Никишову, он был начальником Дальстроя с 1940 по 1949 годы, пусть даст объяснения».

Через два дня снова звонок Кузнецова:

— Показал Никишову, он прочитал и спокойно заявил: «Все, что тут написано, — капля в море». И рассказал, как Берия требовал от него выполнения плана добычи золота любой ценой. «Заклученных не жалея. Пока идут пароходы, “рабсилой” всегда будешь обеспечен».

Мой друг Николай Иванович Дедков, работавший в Комиссии по пересмотру дел осужденных на Колыме, хотя отбывал срок в Воркуте, сообщил, что они установили цифру: на Колыме погибло 700 тысяч заключенных.

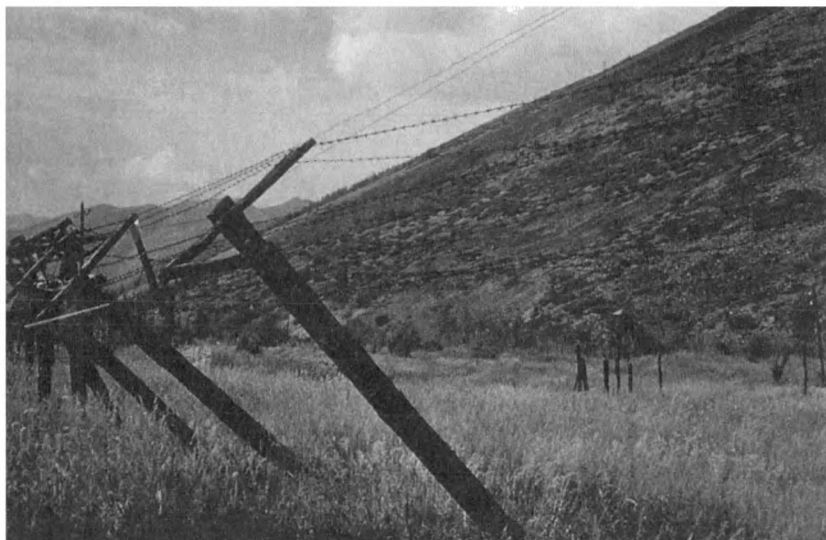
Из «Колымских воспоминаний» Ивана Алексахина

...Как ни безразлична мне современная Колыма, я с жадностью ловлю каждую кроху сведений о любом дне из тех двадцати лет нашей колымской жизни. Тот исторический период (с 1932 по 1956 год) бесконечно важнее всей Колымы исторической и всей Колымы современной для русской истории...

Из письма Варлама Шаламова Борису Лесняку от 17 апреля 1969 года

...Разве тебе не известно, что на Колыме я именно с 38-го, правда, с осени. Что несколько лет я пробыл на Бутугычаге, что был и на золоте и что из 14 колымских лет на «общих» провел почти 10. Даже совершенно неспособный к наблюдению и сопоставлению человек при этих обстоятельствах не может не постигнуть трагедийности этого «Освенцима без печей» — выражение, за которое, среди прочего, я получил в 46-м второй срок.

Из письма Георгия Демидова Варламу Шаламову от 27 июля 1965 года



Аляскитово. Нижний лагерь. Фото 90-х годов



Аляскитово. Верхний лагерь. Фото 90-х годов

* * *

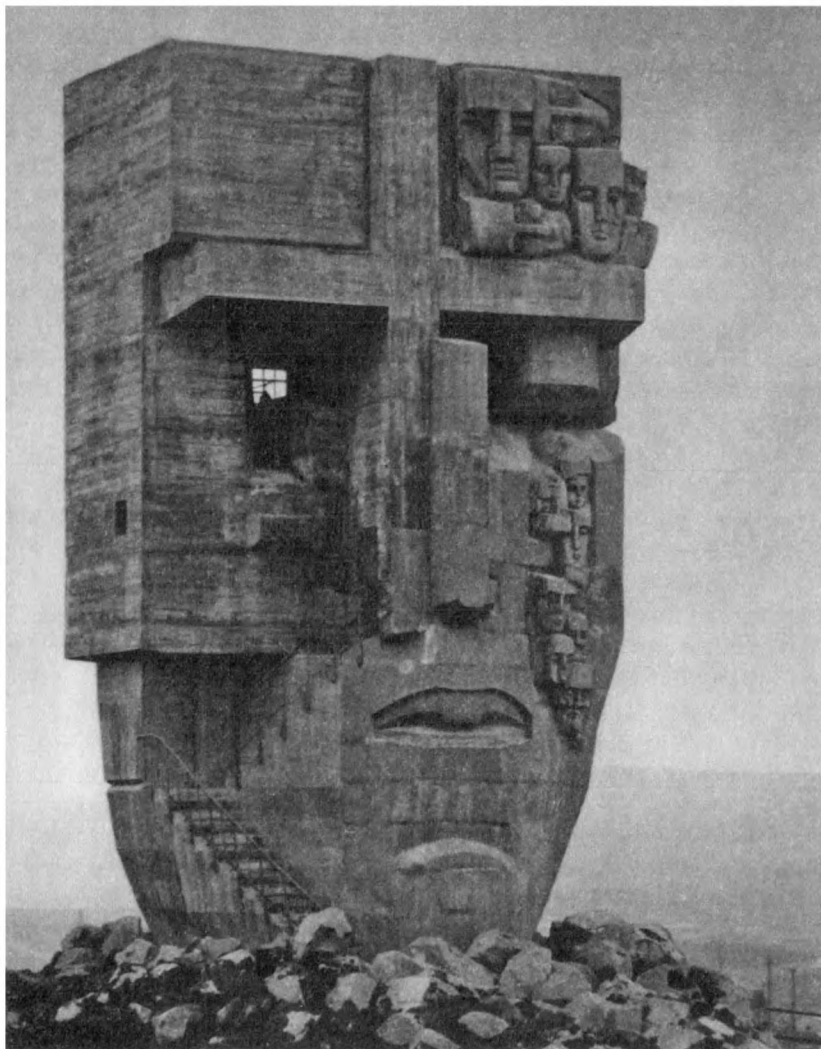
Юрию Осиповичу Домбровскому

Идут,
От ветра встречного пьянея,
И строятся безмолвными рядами.
...Стоят живые мертвыми рядами.

Их принимает некто из ГУЛАГа
И шарит наторенными глазами
По синегубым, по землистым лицам
И повторяет, словно заклинанье:
– Вопросы есть?
Вопросы есть? –
Штыки блестят на солнце.
– Вопросы есть? –
Клыки овчарки скалят.

А высоко,
Незримы и неслышны,
Торжественно поют людские души.

Семен Виленский



«Маска скорби». Мемориал в Магадане. Скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Камиль Казаев. Установлен 12 июня 1996 года

Я ПОМНЮ ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

Над морем сгушался туман,
Ревела стихия морская.
Вставал впереди Магадан,
Столица Колымского края.

От качки страдали зэка,
Обнявшись, как рóдные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.

Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чóдной планетой!
Сойдешь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету...

Я знаю: меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь,
Встречать ты меня не придешь,
А если придешь – не узнаешь...

НИНА ГАГЕН-ТОРН



Почему-то я думал всегда, что Гаген-Торн – баронская фамилия, но достоверно (и то без документов) только одно – что дворянская. Кто-то из предков Нины Ивановны бежал в Россию из Швеции после какой-то дуэльной истории, здесь выслужил новое дворянство – российское.

Нина Ивановна родилась в 1900-м, умерла в 1986 году. Познакомились мы с ней в конце 60-х, и я никогда не забуду ее лица – ясного и простого. В ней была почти веселая готовность ко всему. Сразу видно – петербургский человек. Нина Ивановна была одной из последних учениц Андрея Белого.

Она печалилась о том, что, когда умрет, ее архив отойдет Академии наук – поскольку ее труды по этнографии очень известны – и будет тонуть в пыли много десятилетий, и никто не узнает, что она была поэт и прозаик и автор мемуарно-философской книги «Мемория».

Первый раз Нину Ивановну арестовали в 1936 году. Отпустили в 1942-м. Снова схватили в 1948-м – прямо в библиотеке Академии наук. В общей сложности провела она в заключении 12 лет и еще отбыла год в ссылке.

Нина Ивановна Гаген-Торн была необыкновенный, замечательный человек. И прозорливый мыслитель. Россия не имеет права ее забыть.

Самуил Лурье

О ВЕРАХ

Я буду писать о тех, у кого была какая-нибудь вера, дававшая силу жить не ломаясь.

Прежде всего, о «неотказавшихся ленинцах», как они себя называли, которых я встретила на Колыме. Они признавали свою связь с троцкистской оппозицией. Утверждали основные требования оппозиции, первым из которых было: опубликовать посмертное письмо Ленина, которое скрыл Сталин, тем самым нарушив партийную демократию.

Они считали, что Сталин диктатуру пролетариата обратил в диктатуру над пролетариатом и ввел недопустимый террор, что коллективизация, проведенная насильственным путем, с полным порабощением крестьянства, не приближает социализм, что тактика партии, ведомой Сталиным, дискредитирует идею коммунизма.

Спасти эту идею может только жертвенная кровь коммунистов, вступивших в борьбу со сталинской линией. Они шли на это. Из ссылки на Колыму гнали их по Владивостоку, около сотни человек. Они шли и пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу». Конвойные били их прикладами, но пение не прекращалось. Загнали в трюм, но и оттуда слышалось пение. На Колыме они объявили голодовку, требуя политического режима: переписки, разрешения читать, отделения от уголовников. На пятнадцатый день их стали искусственно кормить. Они не сдавались. На девятый день администрация обещала выполнить требования. Они сняли голодовку. Их развезли по разным лагпунктам, обещая, что там будут требуемые условия. Потом постепенно снова свезли в Магадан и отправили в страшную тюрьму – «дом Васькова», возбудив новое дело. Они знали, что будет расстрел, и на это шли. Это были мужественные люди. Вероятно, все они погибли, но веру свою в необходимость борьбы за по-своему понятый коммунизм сохранили.

Другие «хранители веры» – националисты недавно присоединенных республик Прибалтики и Западной Украины. Националистов было немало, но я почти не встречалась с настоящими, активными, с их борьбой в лагерях. На 10-м лагпункте при шмоне у группы молодых литвинок отобрали листочки с текстом песен на литовском языке, в виньетке дубовой ветки с желудями – эмблемой литовской самостоятельности. По баракам шептались: «Нашли... Они хотели праздновать День Литвы... Все забрали, и их увезли...

Теперь только строже режим будет... Бумагу совсем отберут... А что будет с девочками? Новое дело, наверное... Бедные, хлебнут следствия».

Один раз встретила украинскую националистку. Худенькая женщина с горящими глазами говорила по-украински и старалась общаться только с украинками. Их было много, и это не бросалось в глаза. Обращало на себя внимание не это, а страстная напряженность — видно было: она не интересуется ни едой, ни бытом, ни на минуту не забывает, что находится во вражеском плену. И вот пришел час, когда она решила показать это.

Выходной день. Все занимались своими делами: починкой, шитьем, уборкой постелей. Барак глухо гудел.

Звонкий голос прорезал гуденье.

— Панове! — крикнула она, стоя среди барака. — Сегодня день рождения Степана Бандеры. Хай живе пан Степан!

Барак замолчал. С нар свесились разнообразные головы.

— Хай живе пан Степан Бандера! Хай живе ненько Украина! — крикнула она еще громче. Никто не ответил. Она махнула рукой и выбежала. Через несколько часов ее взяли в карцер... Куда увезли — не знаю.

Зримее и заметнее были религиозные верования. Они то приобретали трагичность, то переходили в гротеск.

Я уже писала о «монашках» на 6-м лагпункте. На 10-м их соединили в один барак, запретив общаться с другими. Они и не ходили. В положенные часы оттуда раздавалось церковное пение, в остальное время — молчание. Степень непоколебимости проявилась, когда одну, очень большую, вызвали и сказали: «Тебя активировали. Получи документы и катись домой в деревню».

Она спокойно посмотрела и сказала: «А я вас не признаю. Власть ваша несправедная, на паспорте вашем печать антихристовая. Мне он не надобен. Выйду на волю, вы опять в тюрьму посадите. Не для чего и выходить». Повернулась и пошла в барак. Она, со своей точки зрения, была вольная, а в плену только тело.

Как смотрели на «монашек» подневольные женщины? Многие ругали их: «Мы работаем, а они нет! А хлеб берут! Наши труды... Нашлись Божьи угодницы». Другие проявляли нейтралитет — нас не касается. Третьи «творили тайную милостыню». Осторожно проскальзывали к ним в барак, пряча кулек под полой, или подзывали одну из «монашек» куда-нибудь в уголок. Кланялись поясню, говорили: «Прими на сестер, Христа ради... Из посылки, из дому, не лагерное...» С поклоном «монашка» отвечала: «Спаси Христос!» — и прятала узелок.

«Монашки» неколебимо держались устоев. Вся традиция поведения складывалась сотнями лет, в старообрядчестве.

Мы словно присутствовали при иллюстрации старообрядчества, еще более глубокого, чем у Мельникова-Печерского.

Многообразие вер было неисчерпаемо. У каждого толка ядро убежденнейших, а кругом болельщицы. Летом всех можно было увидеть в углу, именуемом «парк». Там под каждой березой был как бы свой храм.

В 7–8 часов утра затишье лагерной бдительности: кончился завтрак, развод на работу, дежурные надзиратели обошли и проверили бараки, у них утренняя пересменка на вахте, им не до нас.

В «парк» пробираются на утреннюю молитву.

У одной березки собрались православные. У другой стоят «западнички» – униатки. Дальше баптистки, потом субботницы. Две католички, собравшись в углу, с презрением на них поглядывают, начинают читать по латыни молитвы. Православные тихо поют обедню. Униатки слушают: «Похоже, как и у нас». Встав на колени и покатолически подняв вверх сложенные руки, тоже начинают молиться.

– Похоже на наше, – говорит Катя Голованова, лидер православной церкви. – Очень похоже... Только руки складывать, кажется, ни к чему. Ну, каждый по-своему молится, все перед Богом равны... А пение у них хорошее...

У самой Кати прекрасный голос, и петь она мастерица. Униатки довольны, что ей понравилось их пение. Происходит единение церквей.

Пение не одобряют баптистки – они считают ненужными канонизированные церковные мотивы. Они поют стихи, часто импровизируя их сами. У них свой лидер – сестрица Аннушка. Она им толкует Евангелие.

Субботницы сидят на скамеечке и ведут религиозную беседу.

Я только в лагерях узнала, что еще существуют субботники, та самая «ересь жидовствующих», с которой боролся царь Иван Грозный. Они пережили всех царей. К царям относятся с пренебрежением. Считают, что царская власть купно с церковной подтасовала древние книги, обманув народ различными умыслениями, отступая от единой дарованной Богом книги – Библии. Уличают: «В Библии сказано – “помните день субботний”», а властители выдумали – воскресенье! Обман! И кто Евангелие писал? Люди писали. А Библия от Бога. Надо держаться Библии: в ней и все пророчества... Если их толком понимать...»

Субботницы вступали в диспут с баптистками, береза которых была недалеко от них. Иногда в диспут вступали и девушки, воспитанные комсомолом.

– Глупости говорите, бабки! – задорно говорили они. – Бог у одних – один, у других – другой... У Саньхо – Пуга* какая-то. А кто хоть одного видел? Никто не видал! Небо просмотрено в телескоп, летчики все пролетали – ничего не видали.

– Доченьки, – отвечала сестрица Аннушка, – Бог есть сила невидимая... Как любовь... Можешь ты любовь ощупать руками?

– Ну да! – отвечали девушки. – Любовь видна делами. Это всякий увидит. А тут какие несправедливости! Как Бог допускает, если есть?

Неожиданно я дала сестрице Аннушке аргумент большой убедительности. Я рассказывала о дальтонизме: есть люди, которые не различают зеленого и красного цветов... Так устроены у них глаза, что не все цвета видят.

Аннушка просияла:

– Вот что наука показывает! Видим мы, значит, мир не в полном его естестве, а сколько нам открыто. Одним больше, другим меньше. Есть люди, что зеленого от красного не отличают, а есть люди, что могут видеть нам не видимое! А еще я слышала, что волны какие-то есть, волны звука и света, это что?

Я объяснила. И это оказалось на пользу в диспутах – немедленно пошло сообщаться. Прибежали субботницы узнать – так ли? Ушли, покачивая головами.

В бараке подседа ко мне Катя Голованова, поправила беленький платочек, тихо спросила:

– Вы, я слышала, про какие-то лучи рассказывали? Они (они – это баптистки) все к себе повернули.

Несколько дней, отходя от своих березок, представители разных религий обсуждали услышанное. Это могло стать опасным: надзиратели заметят сборище. Выручали те же девчонки.

– Вассер, вассер, бабки! – кричали они. – Надзиратель!

И «парк» молниеносно пустел. Разноверующие рассыпались по березкам, как вспугнутые кошкой воробьи.

Впрочем, я думаю, надзиратели знали о сборищах. Предпочитали делать вид, что не замечают, и не утруждали себя.

Только один, маленький, приткий, не в меру ретивый, был опасен: он не хотел терять бдительности. Следил и гонял.

Но раз обмишурился – прибежал на вахту, сказал:

– Новая секта открылась! Сам видел – идемте! В ряд сидят и поют, а одна перед ними пляшет.

Повел старшего дежурного.

* Искаженное «Будда». – Прим. автора.

Издали видно, не в «парке», прямо перед баракom, штук шесть старух сидят и поют заунывно. А впереди седая, высокая размахивает руками и приседает. Так приседает, что веером встают стриженные седые волосы.

Надзиратель разбушевался:

– Что вы делаете?! Религиозное сборище!

Бабки встали и поклонились:

– Гражданин начальник!.. Гражданин начальник, дозвольте сказать...

А седая, высокая закричала:

– Как вы смеете! Как вы смеете обвинять меня в религиозном дурмане?! Я член партии с тысяча девятьсот пятого года, всю жизнь вела антирелигиозную пропаганду... И всю жизнь по утрам занималась гимнастикой.

– Это точно, – подтвердили бабки, – она на этом месте каждое утро занимается. А мы просто так сели, сами по себе.

Старший дежурный укоризненно посмотрел на ретивого.

Весь лагерь хохотал, передавая о новой секте.

Иногда моления казались возникшим из далекого прошлого древним обрядом.

У меня стоит в памяти картина, которую трудно передать словами, лучше (если б умела) изобразить её красками.

Осенний вечер. Осыпаются листья с березок. Лимонно-желтый закат горит, охватив полнеба. В желтом свете, тревожно переговариваясь, летают полчища ворон. Они поднимаются с криком, кружат и снова садятся на крыши. Черные в желтом свете. У глухой стены барака в ряд стоят черные фигуры старух. Они крестятся все вместе, вместе кладут поясные поклоны и поднимают головы к озаренному небу. Над ними кружит и кружит воронье. Сыплют березы последние желтые листья. Тишина.

Встает другая картина. Солнечным утром, еще до подъема (ходить в уборную разрешалось до подъема) пошла я к березам, мечтая побыть одной. Еще была роса, легкая дымка клубилась над лесом. Озабоченно перелетали скворцы – была утренняя жировка птенцов. Я шла, любуясь на зеленые тени берез на земле. Вдруг услышала за березой плачуще-взволнованный шепот:

– Ты видишь? Ты видишь, как все страдают? Пожалей их, Господи! Нету меры страданиям мира, но Ты прости руку, Господи, и утешь его... С плачем молюсь Тебе и прошу, за всех людей прошу, Господи!

Стараясь остаться незамеченной, я пошла посмотреть, кто это. Аннушка стояла, подняв к солнцу залитое слезами лицо, крепко сцепив на груди руки.

Она не заметила меня, никого бы не заметила, уйдя в страстную и требовательную молитву о спасении мира.

Я тихо ушла. Когда подходила к бараку, ударил подъем. И тут я увидела Катю Голованову. Приодетая, она шла по дорожке.

— Катя, вы куда?

— Ко храму березовому, помолиться бы успеть, пока не встали.

— Там Аннушка стоит, молится, плачет...

— Ну, помоги ей Господь! Не буду мешать... Не пойду туда... — Она повернула за баню.

ПИСЬМА ДОЧЕРЯМ

2.V-40. Эльген

Родная моя, любимая девочка! Последние дни больше еще, чем обычно, думаю о тебе. Каждую ночь кажется мне, что говорю с тобой. Вчера я видела так ясно, как мы с тобой идем в Приморском, спускаемся вниз по дороге с церковной горы. Ты такая, как я оставила тебя, лет 11-ти. Я вижу короткие, только-только начинающие заплетаться косы и твои ясные, карие, на папины похожие, глаза. Тебе лет 11 — маленькая девочка и едва доходишь мне до плеча, но я говорю с тобой, как со взрослой. Я знаю, что прошли годы, что мы не видались, и рассказываю тебе о них и спрашиваю тебя. Я немного удивляюсь, что ты такая же с виду, моя родная девочка, и тороплюсь рассказать все, что случилось за это время. Очень трудно передать сон и ощущения сна. Там — все по-другому течет. Основное оставшееся чувство — встреча с родным другом. И радость этого внутреннего родства и того: вот наконец моя доча, родной мой, выросший человек, которому можно все рассказать, который уже живет и думает по-своему. Это большая радость — иметь взрослых детей. Если удастся быть вместе с тем друзьями с ними.

Эту радость очень остро испытывала — увы! — бедная Лена перед смертью Аруси. И до сих пор, когда я думаю, как умерла Аруся, у меня сердце за маму ее сжимается. Недавно я узнала, что она сама тоже на Колыме. Я получила от нее привет и надеюсь, что, быть может, мы окажемся вместе. Те, кто ехал с ней, говорят о ее стойкости, мужестве и внутренней ясности. И это — после всех бед, которые сыпятся на нее, не переставая, а главное — после смерти Аруси, которая была для нее светом в оконце! Силища у этой женщины необычайная! Маша ей пишет. Переписываешься ли ты с Машенькой? Не теряй ее из виду. Вас связывает общность в судьбе, но она более одинока, чем вы: вас

двое, и у вас — куча родни. У нее одна глухая бабушка, и больше никого. Напиши ей. Хотя ты и мне мало успеваешь писать, доня, — я очень давно, всю зиму, от вас ничего не имею. Сама пишу — раз в месяц, чаще нельзя было. Не знаю, доходят ли мои письма? Это — нарочно пишу коротким, говорят, короткие лучше доходят.

У нас — настала весна. Как всегда на Колыме — внезапно и стремительно. Снег — тает на глазах. В три дня склон ближайшей сопки почти очистился от снега. Текут, глубоко прорывая снег, ручьи. Он глубокий, рыхлый — нога проваливается до самого дна и уходит выше колена. А там — выступает синяя талая вода. Снег — шуршит и звенит кристалликами. Это — днем. И днем так тепло, что все ходят, несмотря на глубокий снег кругом, в одних платьях, даже с голыми руками. Только это напрасно — голые руки, — солнце жжет кожу. Она обгорает лиловым каким-то загаром, и люди превращаются в настоящих индейцев. А ночью и по утрам — морозы, еще довольно сильные. Такова Колыма. Тут все полно противоположностей и крайностей. И в природе, и в жизни.

Хотя моя-то жизнь однообразна. Вот уже третий месяц я живу на мол.-свиноферме. Работаю то на бычках, как я вам писала, то на лошади. Наблюдаю весну. По вечерам — читаю немного. Гуль, было бы очень хорошо, если бы ты, прямо бандеролью, прислала мне английский словарь. Здесь кое у кого есть несколько английских книжек, и я хотела бы заняться английским, но словаря нет. Как твои успехи в английском? Продолжала ли ты уроки эту зиму? Знаю, что теперь это туговато материально... Просила ли дедушку заниматься с Ладушкой и с тобой французским и немецким? Помни, пожалуйста, что языки очень, очень важно учить именно в юности. Я не могу о вас позаботиться. Позаботься же сама о Ладушке и о себе. Боюсь, что Ладуха лентяйка и ничего не делает. Как она учится? Я чувствую, что совсем теряю ее из вида. О тебе у меня довольно ясное представление и очень живое ощущение, во-первых, потому что ты была больше, а потом по письмам. О ней не знаю ничего. Часто сижу и всматриваюсь в вашу карточку. Улыбающиеся, веселые, светлые глаза. Такие и знакомые, и незнакомые. Посторонние говорят, что внешне, по карточке, она похожа на меня. А какая она на самом деле? Пиши о ней и о себе, Гулинька. Напиши мне о папе. Послали ли вы ему посылку и получили ли мое письмо, где я говорю, что послать? Каков его срок? Очень жду писем, обнимаю и крепко целую. Привет няне и всем родным.

Мама

23. VI-40. Совхоз Эльген

Горные вершины спят во мгле ночной,
Тихие долины полны свежей мглой.
Не пылит дорога, не дрожат листья.
Подожди немного, отдохнешь и ты... —

это любил петь ваш дедушка, когда летними вечерами в Приморском возвращались мы все с прогулки. И со времени детства звучит у меня этот романс в летние вечера. Сейчас тоже тихий, тихий летний вечер. Сопки кругом, еще покрытые последним снегом, освещены золотым и розовым пожаром — солнце прорывается сквозь многоцветные, как фуга Баха, облака и заливаает их. А лиственничные леса под ними, зеленые и радостные, как надежда — молча слушают закат. Комары звенят, как миллионы труб. Звон их сливается с шипением по галькам бегущей воды быстрого Тоскана (это приток Колымы, на котором стоит Эльген). Тонко и нежно пахнет ландышем. Здесь ландыши совсем другие, чем у нас, — они не колокольчики, а маленькие белые звездочки с лиловыми, выпукло стоящими тычинками, и листья мельче, чем у наших. Но лист, и строение корня, и корневище говорят за то, что это ландыши. Да и запах тот же, только слабее и нежнее. Сейчас ландыши уже доцветают, как и белые, большие, удивительно красивые ветреницы. Голубица уже доцвела и княженика — красная, как малина, очень душистая ягода — тоже доцветает. Я целые дни хожу по лесам и слежу, как одни цветы сменяют другие. Как птичьи гнезда наполняются яйцами. Сегодня нашла два больших утиных гнезда с 9 яйцами; в сером пуху гнезда они едва виднелись. Утки не было. А маленькие птицы тщательно стараются отвести от своего гнезда, делая вид, что не могут летать. Посмотришь и найдешь в кочке гнездышко.

Хожу я целые дни по кочкам или лесам, знаете почему, мои девочки? Потому, что работаю я пастухом, пасу 50 коров вдвоем с напарницей. На нас высокие, мягкие сапоги-ичиги, брюки самодельные, из мешковины, и черного тюля накомарники. Без накомарников — комары съедят. Едят и в них, но меньше. Кроме накомарников, мы еще берем с собой железные банки с пробитыми в них дырками — дымокуры. В банки кладем торф и зажигаем. Это отгоняет комаров. Тучи их звенят и реют над болотами в безветренные дни. Бедные коровы крутят хвостами, трутся о кусты, бодают друг друга, бегают. Мы вслед за ними. Отдыхают, только когда подует ветерок. Тогда и мы ложимся на отдых рядом с коровами. Недавно был дождливый и холодный день, я заснула, знаете на чем? На корове! Право, прямо

на ней! Присела, положила голову ей на шею, чтобы согреться. Корова спала и мирно дышала мне в спину. Я — тоже задремала. Комаров не было. Накрапывал дождь. Кругом спали или жевали лежа жвачку коровы. Свистела какая-то птичка. А я — спала. Когда я пасу — часто вспоминаю нашу Лунку. Помните, девочки, как лежали на песчаной косе, около моря, отдыхая, коровы? Они дремали и медленно жевали жвачку. Тянулось голубое небо. Спали под солнцем душистые сосны. Синие стрекозы летали над болотом. Мальчишки-пастушонки и сагомильского стада и нашего валялись на песке рядом с коровами. А потом гнали их, шелкая бичами, опять пастись на болото. Думала ли я тогда, сидя у себя на балконе за какой-нибудь рукописью или чтением, что превращусь в такого же пастуха? Это похоже на превращения в сказках, правда? Человек вдруг приобретает другой облик — волшебник стукнул палочкой, и, заколдованный, он начал жить в другом виде. Так и я. Была этнографом, работала в Академии наук, писала книги, чувствовала себя уже чуть-чуть стареющей, всеми уважаемой, привыкшей к удобствам женщиной. Переменилось лицо судьбы — хлоп! И я оказалась возчиком, лесорубом, пастухом! Правда, удивительно? Но найдется ли такая волшебная палочка, которая притронется ко мне и вновь вернет меня в прежнее состояние и к вам, родные мои девочки?

27.VI-40

Не писала 4 дня, и за это время тут как новую декорацию поставили: от ландышей нет и следа, все переполнено шиповником — розовым, красным, бледным, почти белым. Его — целые заросли, целые поля цветут над Тосканом. Сегодня мы с коровами ходили туда, и все утро я любовалась красотой изумительной: синее, синее небо, такой же синий быстрый Тоскан течет, подмывая высокие серые скалы. Это с того берега, а на этом — длинные мели серого песка и крупной гальки, глубокие заводи, обросшие ивняком, а выше — крутой глинистый склон и поля цветущего шиповника. Свежие, зеленые овраги, наполненные желтыми, как солнце, дикими ноготками, какими-то цветущими кустами и травами. Даже комаров забываешь, так хорошо... Но все хочется узнать названия тех растений, что я не знаю, собрать, переслать вам. Но все равно переломаются в письмах. Да ведь хотелось бы переслать и большее, чем цветы: свой опыт, всю свою любовь к вам, чтобы помочь вам больше и радостнее брать жизнь. Гуль, родная, ты пишешь, что многие родители и вообще взрослые не хотят видеть, что дети выросли, и признать их взрослыми, чтобы не почувствовать своего старения. Ты права, конечно: может быть,

даже больше, чем сама понимаешь, — те, кто начинает стареть, часто боятся признаться в этом, боятся упустить свое место в жизни, понять, что она переходит в руки следующего поколения. Когда мне было 24 года, а ты была совсем маленькая, я написала нарочно, чтобы не отказаться потом, нечто вроде завещания — обращение к тебе, когда ты вырастешь, через годы, нас разделяющие... Там говорю я, что в 24 года, в здравом уме и твердой памяти, советую тебе, 18-летней, не слушать меня, сорокалетнюю, и поступать согласно своим силам, чувствам и разумению. Пусть будут ошибки, каждое поколение учится заново и должно верить в себя и само научиться на своих ошибках, т. к. у него — свои задачи. Теперь приближаются сроки, о которых я писала, я не забыла своего завещания, но жизнь — увы! — слишком уж рано выполнила его — ты поневоле должна не полагаться на мой авторитет, а сама пробивать себе дорогу в жизни. Боюсь, что слишком рано. И еще больше боюсь, что не сама, а под чьим-либо чужим, посторонним влиянием окажешься — лучше бы уж сама...

Помнишь, последний год, когда мы были вместе, я стала понемногу устраниваться от ваших игр, спектаклей, не придумывала их для вас и все твердила: сами, сами? Потому что не хотела, чтобы вы находились слишком под моим влиянием. А теперь я еще больше боюсь, что вы окажетесь под чьим-нибудь чужим и нежелательным влиянием, и так хотела бы немножко своего. У французов есть поговорка: «Если бы юность знала, а старость могла», т. е. узнаешь жизнь и приобретаешь опыт тогда, когда уже растрочена половина сил. И больше всего хочется передать этот опыт своим детям. Отсюда большинство навязывания своего, насилия по отношению к детям. Я знаю и помню, что у каждого должен быть свой опыт, но мне тоже так хотелось бы хоть рассказать все, что я видела и знаю, вам! Я бы хотела не учить вас, а показать вам свою жизнь изнутри, как можно полнее и больше, чтобы вы по ней могли учиться жить по-своему...

Обычно родители хотят знать все, что касается детей, вмешиваются в их жизнь (разумеется, с самыми благими намерениями) и не показывают свою, считая, что не дело детей судить о своих родителях... Единственные, кому я охотно предоставляю право судить себя, — это вы. Считаю, что только от такого суда может оказаться польза для вас и — чувство ответственности для меня. Потому что основным критерием поступков моих для меня является — будет ли мне стыдно рассказать об этом своим детям? Сумею ли я смотреть спокойно им в глаза? До сих пор — как будто — сумею. От выросших детей мне рано и нечего спрашивать отчета — это должно сделать следующее поколение, их дети... Так движется человечество, так должны двигаться,

с моей точки зрения, и отдельные семьи. Но тем не менее растить детей, помогать им расти — дело родителей, и я очень остро чувствую, что лишена возможности быть с вами как раз в тот период, когда это нужнее всего, — в период отрочества. Как бы я хотела указывать вам, что читать, доставать книги, разговаривать о прочитанном. Я бы сумела рассказать вам много и интересно, как в детстве рассказывала всякие рассказы и сказки, — помнишь, как ты любила их слушать? Ладушка, я думаю, почти не помнит и вообще, пожалуй, забыла меня...

30/VI-40

Это письмо — все не могу кончить, пишу по вечерам и прекращаю, когда темнеет. Сегодня наконец кончаю. Родные мои девочки, сколько бы ни писать, все равно не напишешь всех тех ласковых слов, что мне хотелось бы вам сказать, не расскажешь того, что хотелось бы вам сказать, — внутренне разговариваю с вами и мысленно пишу длинные письма. Но у меня нет возможности и времени. У вас-то его больше, и вы, пожалуйста, пишите мне почаще. Ты пишешь, Гуль, что неприятно писать, когда не уверена, что письма доходят. Это правда, но если бы ты знала, какую радость доставляют те, что доходят! И, пожалуйста, пришлите еще свои фото. Лучше, если любительские, они живее. Не может ли Герман или еще кто-нибудь снять вас? Куда делся мой фотоаппарат? Ведь и у папы тоже был. Они, между прочим, представляют собой ценность, и в случае нужды можно продать, но не продавайте зря. До сих пор не имела от вас ни одного письма за этот 40-й год. Пишите, как учитесь, учите ли языки с бабушкой, как я советовала? Напиши, Галя, предпринимала ли ты хлопоты о бабушке и какие? Получили ли мое заявление?

Поцелуйте от меня няню, и привет всем, кто меня помнит.

Мама

ГАЛИНА ВОРОНСКАЯ



Галина Александровна Воронская родилась 15 августа 1914 года в г. Кеми.

В феврале 1937 года был арестован ее отец А. К. Воронский, известный литературный критик и писатель. Вскоре была арестована и она, студентка Литературного института. Отца в том же году расстреляли, а Галина Александровна была осуждена Особым совещанием на 5 лет лагерей и этапирована на Колыму. Там же, на Колыме, в 1949 году ее арестовали повторно и приговорили к пожизненной ссылке. В 1957 году Галину Александровну реабилитировали. Посмертно реабилитировали и ее родителей.

Рассказы Галина Александровна начала писать еще на Колыме.

С 1989 года они стали публиковаться в периодике. В 1992 году в Магадане вышла ее книга «На далеком прииске» (под псевдонимом Нурмина). Опубликованы также ее воспоминания об И. Бабеле, Б. Пильняке, С. Есенине и В. Шаламове. Ее повесть «Северянка» опубликована в Москве в издательстве «Марчекан» в 2004 году.

Последние годы Галина Александровна из-за тяжелого полиартрита не могла писать, и ее рассказы записывались мною под диктовку.

Галина Александровна умерла 3 декабря 1991 года.

Татьяна Исаева

СЕРПАНТИНКА

В теплицу после обеда пришел косоглазый нарядчик.

– Иди, Рада, в лагерь. И вещи, какие есть в теплице, забирай с собой.

Рада пасынковала помидоры и вся перепачкалась зеленью. Она удивленно посмотрела на нарядчика.

– Сам толком не знаю. Говорят, пришла телефонограмма везти тебя в Магадан, и машину с конвоем прислали. Да ты не тушуйся, Магадан не Серпантинка!

Только этого ей не доставало! Сейчас самое лучшее было сидеть на месте и чтобы о тебе никто не вспоминал. Вызов в Магадан, когда по лагерям шли аресты, расстрелы и добавляли сроки, не предвещал ничего хорошего.

В тамбуре было много людей, все побросали свою работу. Заключение смотрели на нее откровенно жалостливыми глазами.

– До свидания, Рада!

– Прощайте, Рада Николаевна!

– Спасибо вам за хлеб, за махорку, дай Бог, чтобы у вас все хорошо кончилось!

Они провожали ее, как провожают в последний путь. Рада улыбалась жалкой кривой улыбкой, еле сдерживая слезы.

– Спасибо. Счастливо вам оставаться. Спасибо.

В лагере уже все знали. Тетка Павлина всплакнула, прижав Раду к мягкой широкой груди.

– И куда они тебя, мое дитяtko, волокут? Мало им, что такую молоденькую зазря в лагере гноят.

Прибежала Нюша из кухни с буханкой хлеба, салом и большим куском соленой горбуши.

– Это тебе повар старший велел передать. Пусть, говорит, напоследок хоть поест досыта.

– Что вы меня отпевааете? Меня в Магадан везут, а не на Серпантинку.

– И-и, милая! Они же врут, как сивые мерины! Намедни одному каэртэдэшнику сказали – в Магадан, мол, вызывают, а самого свезли на Серпантинку – и в расход.

В самом деле, ей просто не пришло в голову, может быть, ее тоже повезут на Серпантинку, а про Магадан говорят для успокоения.

Ольховая в пестром халатике лежала с закинутыми за голову руками. Фельдшер дал ей на сегодня освобождение от работы. Она лениво протянула воркующим голосом:

— А вдруг Раду вызывают на пересмотр дела и освободят!

На Ольховую все дружно зашикали. Известно, как сейчас пересматривают дела: вместо пяти дают восемь или десять, а то и двадцать пять.

Рада с тоской поглядела на свою пустую койку. Постель она уже связала в узел. Оказывается, у нее была не такая уж плохая жизнь: выращивала в теплице помидоры, считала время до окончания срока, иногда даже удавалось доставать книги и потихоньку их читать, любовалась долгими северными закатами над сопками. Неужели эту замечательную жизнь у нее теперь отнимут? За что? Что она сделала?

«За что?» Это, как припев к песне, шло теперь через ее жизнь и жизнь ее товарищей. «За что?» — писали и выцарапывали на стенах камер и пересылок, вырезали на скамейках и деревянных столах. «За что?» — неизменно кончались все рассказы заключенных о своем деле и следствии.

Прибежала растрепанная маленькая Лидка-Чинарик, сунула кулек с шоколадными конфетами.

— «Мой» тебя так жалеет, так жалеет. Молоденькая, говорит, такая, и чего ее «на луну» отправляют?

Тетка Павлина помогла донести Раде вещи до вахты, утерла козынькой свои добрые выцветшие глаза, перекрестила Раду широким русским крестом.

У вахты уже фыркала машина и ждали два незнакомых вохровца. Раду посадили в кузов между ними. Машина тронулась, проплыл мимо беспорядочно разбросанный «вольный поселок», вдали торчали «отвалы» и промприборы. Поворот, еще поворот, они заехали за сопку. Раде всегда хотелось знать, что там, за этой сопкой, но теперь ее это не радовало. Там опять были сопки, безымянные, бесконечные, как волны.

Они ехали по узкой ухабистой дороге, отходящей от центральной трассы. Сопки, сопки теснились со всех сторон. Дальние — синие, ближние — серо-зеленые, а между ними лежали болота с бурыми кочками, а над всем этим распростерлось белесое небо.

Было жарко, и хотелось пить.

— Куда мы едем?

Длинноносый вохровец отрезал:

— Куда надо, туда и везем. А тебе зачем?

— Интересно.

— Ин-те-ре-е-сно! В лагере ей сидеть интересно. Молодая, а уже успела советскую власть предать. Она тебя, советская власть, кормила, поила, учила, а ты ей напакостила. Контрреволюцию разводила?

— Ничего я не разводила. Отвяжись!

Вмешался второй конвоир:

— Все они, кого ни спросишь, ничего не делали. А за что им десятки да пятерки прилепили, неизвестно. Политрук говорил: у нас ни один человек зря не сидит. Тебе сколько дали?

— Не твое дело!

— Наверное, «десятку», а то и пятнадцать. Хороша птичка. За ней одной машину гоняют.

— А может быть, у нее двадцать пять, — вставил длинноносый.

— Может, и двадцать пять, — охотно согласился второй вохровец.

Наверное, им нравилось, что они везли женщину с таким большим сроком. Господи! Какие же дураки ей попались! А если ее действительно везут на Серпантинку? Неужели до последней минуты она не услышит настоящего человеческого слова?

Вечером они приехали в большой незнакомый поселок, машина остановилась у длинного, свежевыкрашенного розового здания райотдела. Раду ввели в комнату к дежурному. За письменным общарпанным столом сидел плечистый парень с белокурым коком и с треугольными темными бровями, он был похож на клоуна. Зевая, дежурный взял пакет и какую-то бумажку от конвоира.

— Значит, едем в Магадан? Ты чего там в лагере, чернявая, натворила? Куда вот только тебя девать на ночь? Сидорчук, — крикнул он в полуоткрытую дверь, — маленький изолятор у нас занят?

— Занятый. Сами распорядились туда завмага и беглого с прииска посадить.

— А-а! — сладко зевнул дежурный. — И куда тебя девать? Машина только завтра будет. А-а-а! Здесь нельзя оставить — служебное помещение. Прямо хоть домой к себе приглашай, — оглядел Раду с головы до ног, — а я бы не прочь, пригласил. — Глаза у него стали маленькими и масляными. — Боюсь только, что начальство заругает. А все-таки куда тебя на ночь девать? — Он поскреб затылок. — Придется тебя везти на Серпантинку, там есть женские камеры. — Увидел испуганные глаза Рады. — Да ты не бойся. Завтра отправим в Магадан, а одну ночку переночуешь.

Все-таки ее везли на Серпантинку! Наврал или не наврал дежурный про Магадан? Впрочем, зачем ему врать, не очень-то они церемонятся с заключенными. Но ведь Ньюша рассказывала про человека, которому сказали, что его везут в Магадан, а отправили на Серпантинку!

Сгущались сумерки, уже прошла пора белых ночей, неясные звезды высыпали в небе. Дорога петляла по сопкам, потом машина спустилась в глубокую долину и остановилась у проволочных ворот, рядом

была вахта. К темному небу тянулись вышки. Конвоир показал бумажку, машина проехала еще немного и встала у высокого глухого забора, густо перевитого колючей проволокой. Здесь была вторая вахта. Раде велели выйти. Она рассмотрела вдали домики с плоскими крышами, без тамбуров, похожие на товарные вагоны. Было неприятно пустынно и тихо.

Молодая вертлявая женщина с красными сережками обыскала с явным удовольствием Раду и ее вещи. Губастый дежурный в небрежно накинута на плечи черной телогрейке, играя тяжелой связкой ключей, велел Раде идти вперед.

У одного из домиков отомкнул ржавый висячий замок, такие замки раньше висели в лабазах. Пахнуло спертым, прокисшим воздухом, на нарах на каком-то тряпье сидели две женщины. Окно завешено мешковиной, под низким дощатым потолком – зарешеченная пыльная лампочка, она то вспыхивала, то совсем угасала, дверь за Радой заперли. Женщины встали с нар, и Рада ужаснулась их невероятной худобе и грязным рваным платьям.

– У вас не отобрали на вахте еду? – хрипло спросила высокая женщина с прямыми до плеч седыми волосами, подвязанными тряпочкой. Огромные темные глаза пристально смотрели на Раду.

– Нет, нет. – Рада засуетилась и начала развязывать мешок. – У меня есть сахар, сало, хлеб и даже шоколадные конфеты.

– Даже шоколадные конфеты! – эхом откликнулась вторая женщина. Она была моложе первой, на ней было надето засаленное платье в красную полоску с большим вырезом, из него выпирали ключицы.

Рада торопилась и никак не могла развязать узел.

– Дайте мне, – сказала седая женщина и попыталась развязать веревку, но у нее не было сил.

Раду поразили ее руки – кости, покрытые морщинистой бурой кожей.

Наконец Рада развязала узел и достала еду. Женщины набросились на нее, они ели все подряд: сало, конфеты, кету, хлеб, опять сало.

– Послушайте, – робко сказала Рада, – вы, наверное, давно голодные, это вредно – все сразу съесть.

– А вам жалко продуктов? – В темных глазах седой женщины мелькнули злые огоньки.

– Мне не жалко. После голода нельзя сразу много есть, вы заболете.

– Нам не страшно, если мы заболеем, – сказала вторая женщина и заплакала, – теперь уже все равно. – Она всхлипывала и растирала слезы по лицу руками.

— Опять разнюнилась, — раздраженно заметила седая, — все время ревет и ревет, с ума от нее можно сойти. Всех хороших женщин расстреляли, а эту плаксу оставили специально действовать мне на нервы. Она скоро вся размокнет от слез. А почему вы не едите?

— Мне не хочется.

— Нам тоже вначале не хотелось. Но мы уже второй месяц сидим на «трехсотке» и горячей воде. Хорошо, кое-что приносят с собой товарищи, вот как вы. Теперь нас будет трое, я надеюсь, вы не такая рева, как Мара, — и она показала глазами на женщину в полосатом платье.

— Меня завтра увезут в Магадан, я у вас только переночую.

— Вранье. Никто бы вас не сажал сюда на одну ночь. Раз вы попали на Серпантинку, то нужно знать, что вас ждет. Эта дуреха все надеется на чудо, и представьте себе: я как-то днем задремала, а она встала на колени и давай Богу молиться, между прочим, муж у нее член партии.

— Ну и что ж! Это мое личное дело, — взвизгнула Мара.

— Вдобавок она еще истеричка. Время от времени закатывает истерики. А вы бросьте иллюзии: отсюда только одна дорога.

— А может быть, она действительно только переночует у нас, и ее отвезут в Магадан, — неуверенно вставила Мара.

— Глупости! Всегда у вас в голове глупости!

Женщины наелись. Мара подсела к Раде, потрогала ее волосы, лагерную блузку.

— Какая молодая и здоровая! Я тоже была почти такая, когда меня сюда привезли, правда, Клавдия Ивановна?

Клавдия Ивановна убирала продукты.

— Никогда вы такой не были. Вы значительно старше ее. К чему все это? У вас есть курево?

— Я не курю.

— Какой эгоизм. Ехали на Серпантинку и не взяли с собой курева. В лагере все можно достать. Почему-то, когда поешь, курить больше хочется.

В камере надсадно звенели комары, полог на окне из мешковины не защищал от них.

— Вот если бы еще закурить, — мечтательно сказала Клавдия Ивановна.

— Вы давно здесь вдвоем?

— Восемнадцать дней. Раньше нас было девять человек, а в соседней камере за этой стеной было четверо, сейчас там никого нет. Когда меня привезли три месяца назад, здесь было шестнадцать человек, многие спали на полу.



Г. А. Воронская. 1937 год



Лагерь на Серпантинке. Рисунок И. Ф. Таратина

— Где же они? — спросила Рада.

Ей никто не ответил. И только тогда она поняла, какой ужасный вопрос она задала.

Раду поразила тишина в зоне. В лагере никогда так не бывало, до отбоя на поверку над лагерем всегда стоял гул. Ходили в столовую, в санчасть, в амбулаторию, слышались шарканье ног, ругань, разговоры. А здесь тишина, и эти домики, похожие на теплушки, запертые на огромные висячие замки.

Рада спросила про Лину Васильевну.

— Да, она здесь была. Довольно милая женщина, хотя слишком часто плакала, особенно когда вспоминала мужа и сына. Ее взяли от нас примерно месяца два назад. Все, кого забирают, просят оставшихся передать приветы и всякие там прощальные слова их родным и твердят свои адреса. Родные живут за десять тысяч километров, а главное, отсюда обратно в лагерь никто не выходит. Бесплезная трата слов и нервов.

Они улеглись на нары. Электрическая лампочка все мигала, очевидно, электроэнергия подавалась от движка.

— Мы не спим по ночам, — сказала Мара, — но вы можете спать, потому что прежде чем... вас хоть один раз вызовут к уполномоченному.

— Зачем?

— Чтобы у вас была видимость дела. Нас с Клавдией Ивановной, например, обвинили в организации повстанческой лагерной группы. Чаще всего предъявляют это обвинение. До вызова вы можете спать спокойно.

Рада ворочалась с боку на бок, ей казалось, что она никогда не уснет, но все же она задремала. Проснулась от какого-то неясного, далекого шума и от того, что Мара, лежавшая около нее, содрогалась от крупной дрожи. Эта дрожь передалась Раде, и, полусонная, еще ничего не понимая, она почувствовала, что происходит что-то страшное.

— Что это? — шепотом спросила она Мару.

— Работают трактора...

Действительно, вдали работало несколько тракторов.

— Ну и что ж? — все так же шепотом спросила Рада.

— А то, — четко выговаривая слова и не понижая голоса, ответила Клавдия Ивановна, — а то, если работают трактора — значит, расстреливают.

В зоне было по-прежнему тихо, только вдали работали трактора. Через полчаса они замолкли.

– Все. – Клавдия Ивановна повернулась спиной, может быть, на самом деле хотела спать, а может быть, притворялась.

Раде вспомнилось, что в одной книге она прочитала о том, что казнь есть нечто большее, чем смерть. Казнь – это глумление и надругательство над человеком.

Неужели ее отсюда завтра не заберут? Неужели ее не увезут в Магадан? Она лежала до утра с открытыми глазами.

Утром откинули мешковый полог, зарешеченное без стекол окно упиралось в высокий забор с ржавой колючей проволокой наверху. В окно видны молочно-серое небо и сопка с торчащими пнями. Мара вынесла парашу в полуразрушенную уборную в центре двора.

– А прогулок у вас не бывает? – спросила Рада.

– У смертников прогулок не бывает. Почему вы все время задаете идиотские вопросы? – Клавдия Ивановна зло посмотрела на Раду.

При дневном свете женщины казались еще страшнее: грязные, с сальными волосами, они были настолько худы, что под желтой сухой кожей выступали кости черепа, а глаза были обведены широкими синими кругами.

– Она еще ничего не знает, и она еще такая молоденькая, – заступилась за Раду Мара.

– Все равно. Она все время задает глупые вопросы. Одна – истеричка, а другая – дура, послал бог компанию.

«Неужели я тоже буду такая худая и страшная, как они?» – с тоской подумала Рада. Нет! За ней придут. Уполномоченный с лицом клоуна сказал, что сегодня пойдет машина в Магадан.

В полдень принесли немного кипятка и маленькие кусочки сырого хлеба. Это была знаменитая «трехсотка». Но у них еще оставались продукты: соленая рыба, хлеб и сахар. Рада начала подметать пол, стирать пыль. Она не могла больше ждать, за работой время шло быстрее.

Женщины лежали на нарах и смотрели, как Рада убирает.

– Мы тоже раньше следили за чистотой, а теперь не можем, ослабели, и нас ни разу не водили в баню. – Мара начала плакать. Сначала потихоньку, потом громче, она захлебывалась рыданиями и билась головой о доски.

– Вот, опять началось. – Клавдия Ивановна взяла кружку воды и вылила Маре за шиворот, потом несколько кружек на голову.

Дежурный открыл «волчок».

– Ах, опять эта... – и отошел.

Мара затихла, ее укрыли бушлатом, и она уснула, изредка всхлипывая.

— С ней всегда после таких ночей истерики. Конечно, ей тяжело, у нее на «материке» ребенок. Но нельзя себя так распускать.

Рада вычистила камеру, даже стерла пыль с решеток. Никто за Радой не приходил и, наверное, никто не придет. Сколько ей здесь мучиться — неделю, несколько месяцев?

К вечеру сопки стали золотистыми, и один янтарный луч пробил-ся в камеру. Рада потеряла всякую надежду.

— Я говорила, в Магадан вас не повезут. Уполномоченным нельзя верить ни единому слову.

Мара проснулась и сидела на нарах, обхватив руками острые колени.

— А может быть... — начала она.

— Все ясно, — отрезала Клавдия Ивановна, и Раде показалось, что она довольна, что Рада останется с ними и будет ждать своего часа. — Сегодня ночью можно будет спать, после этого всегда неделю-две можно спать, пока они не подберут новую партию.

Но Рада эту ночь не спала. Неужели ее отсюда не заберут? А впрочем, почему ее должны забрать? Чем она лучше других? Клавдия Ивановна — член партии и участница Гражданской войны, Мара — учительница, у нее ребенок. Разве у меня большее право на жизнь? Сколько еще придется ждать? Когда соберут следующую партию? На приисках не хватает тракторов, а здесь под их шум расстреливают людей. Сколько у них тракторов? Два? Четыре? И насмешливый, точно чужой голос подсказал ответ: когда тебя поведут, ты узнаешь, сколько у них тракторов!

Утро наступило сырое и мглистое. Несколько раз начинал накрапывать дождь.

«А во время дождя расстреливают?» — подумала Рада, но не решилась спросить.

У них еще оставались сахар и вчерашние пайки хлеба. Сегодня они все съедят, и начнется «трехсотка».

В полдень кто-то стал открывать замок.

— Вероятно, вас поведут к уполномоченному. Что-то очень быстро, я ждала вызова две недели.

Замок заело, и Раде казалось, что ключ поворачивается у нее в сердце. Наконец дверь открылась, и толстогубый вохровец, тот самый, что привел ее в камеру, ткнул в Раду толстым волосатым пальцем.

— Ты! Собирайся с вещами. Машина ждет.

— Какая машина? — еще не веря, слабым голосом спросила Рада.

— Обыкновенная, на четырех колесах.

Все-таки она едет в Магадан! Она будет жить, жить, жить!

Рада лихорадочно засовывала вещи в мешок, потом вдруг остановилась. Она едет, а Клавдия Ивановна и Мара остаются. Они сидели на нарах, поджав ноги, и глядели на Раду. Они ничего не говорили, они только глядели. Сейчас Рада выйдет через дверь в этот хмурый, ненастный и прекрасный мир, а они останутся здесь.

— Какая ты счастливая, — дрожащим голосом сказала Мара, — тебе обязательно надо жить, ты такая молоденькая. Но какая же ты счастливая! — с тоской в голосе повторила она.

— Эй ты, поскорее! Или тебе у нас понравилось? — И толстогубый вохровец расхохотался.

Клавдия Ивановна отвернулась и стала смотреть в окно.

Рада подошла проститься к Маре. Та расцеловала ее, потом оттолкнула и заплакала.

— Пайку хлеба свою возьми, — сквозь слезы пробормотала Мара.

— Нет.

Рада подошла к Клавдии Ивановне, она сидела, повернувшись спиной, и, казалось, внимательно рассматривала серый забор и натянутую по верху в шесть рядов колючую проволоку.

— Клавдия Ивановна! — Судорога сжала горло Раде. Только бы не заплакать! Плакать здесь нельзя, плакать она будет потом. — Клавдия Ивановна!

Та сидела неподвижно, из-под темного рваного платья углом торчали лопатки, можно было сосчитать все позвонки на высокой тонкой шее.

Рада слегка дотронулась до руки Клавдии Ивановны. Та передернула плечами, но так и не повернулась и продолжала молчать.

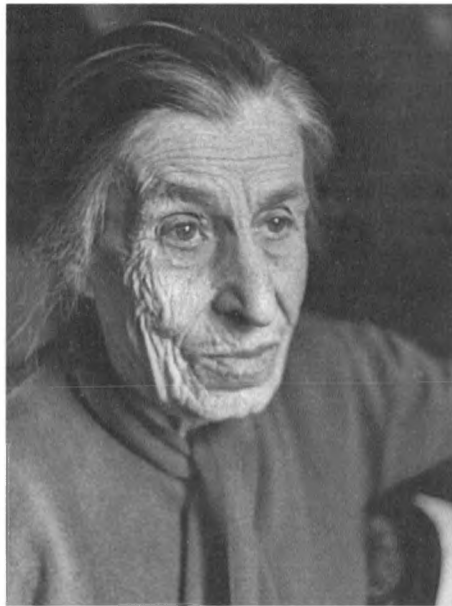
— Будешь еще мне тут церемонии разводить, пошли. — Вохровец схватил Раду за руку и вышвырнул ее за дверь, ногой наподдал ее вещи.

Мара забилась головой о нары и закричала диким голосом.

По дороге вахтер сказал Раде:

— А ты, девка, видно, в сорочке родилась, редко кого отсюда увозят.

ЕКАТЕРИНА ОЛИЦКАЯ



Екатерина Львовна Олицкая родилась в 1899 году в селе Сорочин Курской губернии в семье народовольца Льва Степановича Олицкого.

В 1916 году Олицкая, окончив гимназию, поступила на Высшие сельскохозяйственные курсы имени Стебута в Петрограде. В 1922 году продолжила учебу в сельскохозяйственном институте в Москве. Весной 1924 года за участие в нелегальном студенческом движении арестована и отправлена на Соловки. Там познакомилась с социалистом-революционером Александром Васильевичем Федодеевым и стала его женой. Вместе они были переведены в Челябинский политизолятор и в 1926 году высланы в Чимкент. Там у них родилась дочь. В 1929 году после ссылки поселились в Рязани.

В 1931 году они переходят на нелегальное положение. В апреле 1932 года при аресте у них находят шапирограф и 100 листовок, подписанных «Социалистической группой действия за дело народа». Под девизом «В борьбе обрешь ты право свое» листовки призывали к борьбе против монополии большевистской партии, за свободу всех демократических течений и профсоюзов.

После одиннадцати месяцев следствия супруги были приговорены к пяти годам тюремного заключения в Суздальском политизоляторе.

В 1937 году перед окончанием срока их разлучили навсегда. Екатерине Львовне добавили новый пятилетний срок, который она отбывала в Ярославском центре и на Колыме; судьба Александра Васильевича неизвестна.



Е. Л. Олицкая (справа вверху), ее муж Александр Васильевич Федодеев и дочь Муся. Ссылка. Чимкент. 1928 год

В 1942 году Олицкой на Колыме прибавили еще пять лет... В 1948 году она уехала с Колымы в Малоярославец. Спустя два года – новый арест и бессрочная ссылка в Красноярский край. Только в 1960 году окончилась тюремно-лагерная, ссыльная одиссея. Год спустя она поселяется в Умани, в доме Надежды Витальевны Суровцевой, вдовы своего брата Дмитрия.

Арестованный в 1931 году Дмитрий Олицкий оказался в Ярославском политизоляторе, где в это время находилась Надежда Витальевна. Его поместили в соседней с ней одиночной камере. Они перестукивались. Не знаю, смогли ли они увидеть друг друга в этой тюрьме, но перед окончанием срока Надежда Витальевна просила оставить ее здесь еще на три года вместо ссылки. Ей отказали. В 1935 году в Архангельске она стала женой Дмитрия Олицкого. В 1937 году арестовали Дмитрия, год спустя – Надежду, о судьбе Дмитрия не знали ни сестра, ни жена.

Только недавно стало известно, что Дмитрий Олицкий расстрелян 3 ноября 1937 года в Архангельске.

НА КОЛЫМЕ

Мне трудно, почти невозможно было понять психологию арестанток моего этапа. Правовверные коммунистки, оправдывающие все сущее, кроме своего ареста, конечно, очень тяжело реагировали на происходящее с ними. Может быть, только на словах они не осуждали происходящего, не выражали протеста. Лучшие из лучших твердили о том, что там, в центре, не знают о происходящем на местах, о методах следствия, о произволе на этапах. Они ощущали болезненно, остро свой позор, стыдились самих себя. Я не понимала, как можно стыдиться ложного обвинения, а не возмущаться им, просить о пересмотре своего дела, а не требовать его. Ведь передо мной не обыватели, передо мной борцы за счастье народа – борцы за справедливость, члены самой передовой, самой непреклонной партии мира.

Я не понимала женщин моего этапа.

Нас привели в баню. Блаженство – сбросить с себя потное и грязное белье. В одну кучу приказали нам сложить все наше арестантское белье и обувь. Каждой из нас дали по кусочку мыла со спичечный коробок и запустили в баню. Баня была просторная, с деревянными лавками, чанами и шайками. Никто не торопил. Воды мы брали – сколько хотели. Банщицы были ласковы и приветливы. Не сразу мы поняли, что банщицы – это такие же зэки, только крепче, здоровее нас. Они не получили тюрем, а по приговору сразу проследовали этапом на Колыму. Все прелести этапа они пережили, но вошли в него не изнуренные тюрьмой, а сразу же после двух-трех месяцев следствия. Следствие и у них было тяжелое, но они успели уже оправиться от пережитого.

В бане было хорошо, в раздевалке сразу стало плохо. В тюрьмах мы не подвергались санобработке. Санобработка стала первой «прелестью» лагерной жизни. Вымывшихся женщин смотрели на вшивость. Женщинам сбрасывали волосы на всех частях тела. Вшивости в нашем этапе не было. Свои косы женщины нашего этапа отстояли. Кажется, в первый раз я услышала вопли протеста. Женщины остаются женщинами. Отчаяние их перешло в бурную радость, когда они стали получать одежду. Каждая получила комплект. Трусы, бюстгальтер, рубашка, платье, пара чулок и обувь. Первого сорта были все эти вещи. А платья были не тюремного образца – разноцветные: красные, синие, зеленые, в клеточку, в полоску, в цветочках... Выстроившись в очередь за комплектами, женщины загляделись на платья. Они высматривали, высчитывали в груди комплектов, какой достанется. Одни

мечтали о синих, другие – о красных. По получении комплектов сразу же начался обмен. В раздевалке шла примерка платьев, строились планы на перешивку.

Не выдали нам резинок. Нужно укрепить чулки, но как? Ведь мы были голы, у нас не было ни одной тряпочки, ни одной завязочки. Обувь принесла горе. Нам выдали огромные ботсы, всем – одного размера. Шнурков в них не было. При каждом шаге опускались чулки, и хлопали на ногах ботсы. Приветливые банщицы успокаивали нас – в лагере все обойдется.

ЖЕНСКАЯ ЗОНА МАГАДАНСКОГО ЛАГПУНКТА

Строем по пять человек в ряду стояли мы теперь перед воротами женской зоны Магаданского лагпункта. Деревянный частокол, в несколько рядов колючая проволока, по углам – вышки с постовыми. Большие деревянные ворота, у ворот – вахта. Через открытые ворота мы видели большой двор, во дворе в отдалении толпились женщины-заключенные, глазели на нас. По обе стороны двора стояли невысокие деревянные бараки.

Из калитки ворот вышло лагерное начальство. Опять равнение строя, опять поименная переключка: имя, отчество, фамилия, год рождения, место рождения, национальность, статья, срок – проходи в зону.

По одной отделялись мы от строя и проходили в ворота лагеря, и каждой из нас вахтер бросал:

– Проходи в самый последний барак.

По одной проходили мы и к бараку. Лагерницы сочувственно смотрели на нас, но не подходили, не заговаривали. Бог знает, каким путем узнали они о прибытии «тюрзаковского» этапа. Для нас освободили целый барак и – самый плохой барак в зоне. «Тюрзачек» пошлют на самые тяжелые подконвойные работы. У «тюрзачек» грозные статьи и длинные сроки заключения.

С нашим этапом прибыло распоряжение: в связи с ослабленностью эков в течение двадцати одного дня за зону на работу не выводить, кормить – вне нормы питания.

Лагерницы всматриваются в наши лица, прислушиваются к называемым фамилиям. Может быть, прибыла с этапом знакомая, может быть, прибыл кто из родного города. Вероятно, вид у нас, и правда, измученный. У многих лагерниц на глазах блестят слезы. Себя мы не видели, к лицам своих соэтапниц привыкли, мы не замечали ничего особенного.

Лагерницы объяснили нам потом свои слезы:

— Нам казалось, что входят мертвецы — кости, обтянутые кожей. Нет молодых, одни старухи.

Старый барак. Почерневшие от времени доски. Низкий, черный от копоти и времени потолок. Маленькие оконца плохо пропускают свет. Во всю длину барака, по обе стороны его, — столбы. К ним прибиты сплошные нары в два яруса. Посреди барака — железная бочка-печь и длинный стол.

Вызванные по списку, мы получали по одеялу, по наволочке, по полотенцу, по простыне. В глубине зоны у стога набили матрасники и наволочки. Я все время думала об одном — где-то на Колыме находится Надя*. И вдруг слышу звонкие голоса: «Кто из вас Олицкая? Где Олицкая?»

Спрашивают две молодые оживленные женщины. Я поднимаюсь с нар. Они идут ко мне. Может быть, одна из них Надя? Тогда которая?

— Вы — родственница Надежды Витальевны? Вы — Катя? — приветствуют они меня.

Эти женщины сдружились с Надей на этапе. Месяца два назад ее вывезли в глубинку, в совхоз «Эльген». Они рассказывают мне, что из Владивостока Наде сообщили, что ее муж прошел этапом на Колыму. Через забор мужской зоны ей бросили камень с привязанной к нему запиской. Больше ничего узнать ей не удалось.

— Я могу написать Наде?

— Да-да, конечно, — отвечают девушки. — Мы научим вас, как послать письмо, чтобы дошло скорее. А сейчас мы забираем вас к себе в барак. Мы даем ужин в честь вашего приезда.

Я колеблюсь, я говорю, что я не одна, что со мной подруги. Я не хочу и не могу оставить их одних в первые часы.

— Сколько вас? — спрашивают девушки. Они забирают нас четверых. Девушки отличались от нас так же, как отличался их барак от нашего. Барак их был с вагонной системой нар. Все нары были застланы стандартными суконными одеялами. Стол был покрыт белой простыней, всюду разложены белые вышитые салфеточки. Обе подруги наряжены в черные юбки и белые размеренные блузочки. Жили они рядом на верхних нарах. На нарах была расстелена салфетка, на ней расставлено угощение. Хлеб, нарезанный ломтиками, кетовая икра, консервированные крабы, искусственный мед и сливочное масло — что куплено в лагерном ларьке, что получено в посылках из дома.

Зора Борисовна Гандлевская попала в лагерь по делу анархистов сроком на пять лет. Ее товарка получила такой же срок, кажется,

* Надежда Витальевна Олицкая-Суровцева — жена брата автора.

по делу троцкистов. В лагере они были уже около года, работали на посильных работах, вырабатывали хорошую категорию питания. В общем, как-то приспособились к лагерной жизни. Обе они хотели подбодрить нас. Они старались говорить об отрадных сторонах лагерной жизни, умалчивая о мрачных сторонах ее. Это им не очень удавалось, мало радостного было вокруг. И все же они твердили – самое страшное позади.



Зора Борисовна Гандлевская. 30-е годы

– Вы счастливые, попали сюда по окончании гаранинщины. Тридцать восьмой год на Колыме был страшным годом.

...Мы жили в бараке. Ходить по другим баракам не разрешалось. И хотя правило это не соблюдалось, мы, «тюрячки», почти не ходили. Обещание начальника Ярославской тюрьмы не было выполнено: личных вещей мы не получили. Кроме лагерной одежды, у нас другой не было. Деньги у многих на лицевом счету были, и немалые, но по лагерным правилам заключенная могла получить в месяц не больше пятидесяти рублей. Первое время и этой суммы не выдавали. У большинства же на счету денег не было. Из барака мы ходили в лагерную столовую завтракать, обедать и ужинать. Большое чистое помещение уставлено маленькими столиками, у входа в столовую

каждая заключенная получала ложку, которую должна была сдать при выходе. В бараке иметь ложку не разрешалось.

...Поразило меня в жизни заключенных то, чего я никогда не встречала в пройденных мною раньше тюрьмах. В среде лагерниц, осужденных по политическим статьям, была развита торговля как своими вещами, так и тюремным пайком. Когда-то арестанты-социалисты делились всем, ущемляя здоровых, поддерживая больных, осуществляли в тюрьме коммуны. Здесь было не так. Имевшие деньги покупали у неимущих все, что те могли продать. Продавались тюремные пайки сахара и хлеба, казенные вещи – чулки, простыни, платочки. Каждая лагерница жила сама по себе, жевала свою корочку хлеба с маслом или без масла и не интересовалась, жует ли что-нибудь ее соседка. Удивительней всего было для меня то, что уголовные – воровки и проститутки – были щедрее эков политических.

С торговлей в лагере мы столкнулись сразу. Прибыв на место, каждая заключенная стремилась прежде всего послать весть родным. Нам было разрешено отправить письма и даже две телеграммы. Те, у кого были деньги, слали, те, у кого денег не было, продавали, что могли, чтобы получить денег на марку. У нас пятерых не было ни денег, ни вещей. Продавать пайку хлеба своим же товаркам-заключенным было противно... Но... «с волками жить – по-волчьи выть». От всех моих вещей у меня остались шерстяной вязаный шарфик и шерстяные перчатки. Галя* взялась их продать, и мы смогли послать письма родным.

Я недоумевала: как могли лагерницы продавать свой паек, обходиться без него?

Среди бытовой и уголовной статьи проституция была очень распространена, но и среди 58-й статьи было немало нашедших себе покровителя и друга.

Раньше на Колыму завозили только мужчин, потом появились и женщины. Но женщин было ничтожно мало. Женщина ценилась высоко. Женщин похищали, насильовали и, изувеченных, бросали на трассе. Были случаи, когда женщин отбивали от конвоя и уводили на прииски, и там бросали толпе мужчин, становившихся в очередь. Такое массовое изнасилование женщины получило название «трамвай».

Была среди нашего этапа совсем еще молодая немочка из Поволжья. Белокурая, голубоглазая, тоненькая, как былиночка. Обвинили ее в шпионаже, статья ПШ, срок не то восемь, не то десять лет. Мы с Лизой** стояли в столовой. Полными ужаса глазами указала она мне на такую же юную девушку. Обе они молоды, но как не похожи друг

* Галина Ивановна Затмилова.

** Фамилия неизвестна.

на друга: у той, у другой, какой-то вызывающий, дерзкий, даже нахальный вид, а Лизочка — сама робость и скромность. «Трамвай», — шепчет Лиза. Месяцем позже я познакомилась с Аней близко. Я работала с ней в одной бригаде. В 1938 году с обвинением по 58-й статье она была привезена на Колыму. Уголовные проиграли девушку в карты. Проигравший должен был поймать ее и сдать товарищам. Аню заманили во время работы в укромный уголок, и тут же двенадцать человек во время работы «использовали» ее. Когда вечером стали собирать бригаду лагерниц, чтобы увести в зону, Ани не оказалось. Ее стали искать и нашли растерзанную, полуживую. Долго лежала в лагерной больнице. Несколько раз пыталась покончить с собой. Ее каждый раз спасали. Историю Ани знали все. Говорили, что она стала совершенно неузнаваемой. Я ее встретила уже спокойной, холодной, ко всему враждебной, презирающей и мужчин, и женщин. Одевалась она вульгарно и крикливо, подкрашивала глаза, брови, губы. В лагерную столовую она заходила редко. Свою хлебную пайку отдавала безвозмездно кому-либо из товаров, широко делилась всякими лакомствами. Имела она одного друга или многих, я не знаю.

К моменту нашего прибытия на Колыму женщин стало значительно больше. Жить стало легче, но все же...

Наш барак повели как-то вечером в баню. Шли строем в сопровождении конвоя. Как обычно, женщины строй не выдерживали: одни спешили захватить шайки, место у крана, другие отставали. Случаев побега не было, конвой не докучал. Только возле бани и зоны он равнял ряды, поштучно сдавал конвоируемых.

Отстав от основной массы эзков, Надя*, Зина** и я брели к лагерю. Было сумрачно, близилась ночь. Внезапно из-за угла вынырнула машина. Нам показалось, что машина идет прямо на нас. Мы шарахнулись в сторону. Тут же раздался отчаянный крик Зины, и руки ее вцепились в мое плечо. Я и Надя закричали так же отчаянно, еще не понимая, в чем дело. Из открытой кабины чьи-то руки волокли Зину в машину. То ли наш дикий крик, то ли то, что мы вцепились друг в друга, заставило шофера, пустив самую площадную брань, хлопнуть дверь и укатить. Произошло это совсем недалеко от зоны. (Зина была лектором по истории искусств в Киевском университете, к физической работе она приспособиться не сумела. Все годы жила она в лагере очень тяжело, но бодрости духа не теряла.)

Благом нашего барака было то, что у нас не было уголовниц. Мы встречали их в столовой, в зоне.

* Надежда Александровна Лобыцина.

** Зина Фрадкина.

На первых порах нас ошеломили резко бросающиеся в глаза женщины — «оно». Противные, омерзительно наглые существа. В Магадане их было меньше. Их обычно высылали в глубинные лагпункты. Наглые лица, по-мужски остриженные волосы, накинутые на плечи телогрейки... Они имели своих любовниц, своих содержанок среди заключенных. Парочками, обнявшись, ходили они по лагерю, бравируя своей любовью. Начальство, как и огромное большинство эков, ненавидело «оно». Лагерницы боязливо сторонились их.

Ошеломленные всем увиденным, мы сидели в своем полутемном бараке на нарах. Жить было непереносимо трудно. Заключенные, вчерашние «тюрячки», стали мечтать о работе, о выходе за зону. Труд сокращает дни.

Неожиданно из нашего барака начались вызовы в контору лагеря. Женщины возвращались мрачными. Они никому не говорили, зачем их вызывали. В один из дней вызвали Катю Зимянину и меня. Разговор со мной был краток. Сидевший за столом, заваленным бумагами, штатский спросил:

— Когда вы кончаете срок заключения?

— Через полтора года.

— Странно, что вас привезли на Колыму. Не хотели бы вы освободиться раньше?

— Я не думала об этом.

— Краткосрочникам мы можем предоставить льготы.

— Я не прошу о льготах.

— А вы подумайте.

— Не собираюсь.

— Вы никому не скажете о нашей беседе?

— Обязательно скажу.

— Можете идти.

Таков примерно был разговор в конторе. Когда я вернулась в барак и рассказала своим ближайшим соседям о беседе, они потрясенно пророчили карцер и репрессии за мой вызывающий тон, но никаких репрессий не последовало. Вечером меня подозвала к себе Катя Кухарская, маленькая, худенькая, с приятным спокойным лицом. Катя сказала мне, что была арестована в ссылке, в которую попала по делу анархистов. Одновременно с ней была арестована вся ссылка, было создано другое дело, и Катя получила пять лет. Что я эсерка, Катя знала, об этом знали все в бараке. Я сознательно подчеркивала свою принадлежность к партии. Расспросив о моем вызове, Катя рассказала мне о своей беседе в конторе. Разговор был сходен с моим, но ей прямо предложили доносить о том, что и кем говорит-

ся в бараке. Катя отказалась. Теперь она опасалась последствий, но последствий тоже не было.

Зимянина о своей беседе в конторе никому ничего не сказала. Вернулась она в барак возбужденная, расстроенная и легла на свои нары. По бараку поползли слухи о том, что в каждом бараке, и в нашем тоже, есть информатор. Возникали эти слухи легко, беспочвенно, без всяких оснований. Почему последовательные коммунистки боялись информаторов, я не понимаю. О Зимяниной упорно ходили слухи. Приятной, симпатичной она мне не была.

Неожиданно я встретила в нашем бараке с Таней Гарасевой. Как не столкнулись мы в этапе раньше, трудно понять. С Таней был связан большой кусок моей жизни. Встреча в Челябинской пересылке, в Чимкенте... Первые мои шаги в Рязани были связаны с ее родителями.

Теперь мы, социалисты, были маленькой ничтожной кучкой в арестантской массе. Ни о каком сопротивлении, ни о какой борьбе за режим не могло быть и речи. Жить, вернее, выживать – вот все, что нам оставалось.

С поступлением писем с воли стали мы узнавать о наших родных, друзьях. О всех, о ком нам удалось узнать, сообщалось одно и то же. Присужден к десяти годам лагерей без права переписки.

Существуют ли такие лагеря? Каков режим там? Живы ли люди, осужденные на длительные сроки без права на переписку? Одни говорили, что в этих лагерях невероятно строгий режим, другие полагали, что таких лагерей вовсе нет, что все, присужденные к таким лагерям, просто уничтожены.

Я думала: где мои товарищи, женщины – эсерки, анархистки, социал-демократки? Почему я не встретила ни одной из них? Тогда я еще не понимала масштабов арестов. Не знала о массе лагерей, разбросанных по всей азиатской и европейской территории Советского Союза.

Оставалось одно – стиснуть зубы, сжаться и жить, если то, что окружало нас, можно назвать жизнью. Другого не оставалось. Стать молчаливым свидетелем происходящего или умереть.

РАБОТА В СТРОЙБРИГАДЕ

Двадцать дней шли к концу. Старые лагерницы не понимали нашего рвения к работе. Их в работе привлекал только выход за зону. Сочувственно покачивая головами, они говорили:

– На хорошую, легкую работу вас не пошлют. Легкой работы для «тюрзаков» не будет.

Они оказались правы.

Легкие работы в лагере предоставлялись только уголовным: воровкам, проституткам, убийцам. Презрительно смотрели они на нас — «врагов народа» — и с меткой иронией называли себя «друзьями народа».

Был при Магаданском лагпункте швейный комбинат, работа в нем была нелегкая. В душных, плохо вентилируемых помещениях по двенадцать часов в день сидели женщины за машинами. Нормы были огромные. Сохранить работу в комбинате можно было, только давая норму. Боясь других работ, женщины надрывались, а нормы ото дня ко дню росли. В швейкомбинат брали женщин с малыми сроками — тех, кто имел КРД или 10-й пункт, и, конечно, бытовичек.

Женщин нашего этапа разбили на две бригады, одну послали на строительство, другую на мелиоративные работы. Я попала в строительную бригаду.

В шесть часов утра, получив хлеб и суп в столовой, заключенные побригадно выстраивались у дверей вахты. С поименной переключкой нас выпускали за зону, конвой строил бригаду и вел на работу.

Магадан был тогда маленьким городком. Нас вели по пустынной дороге к строящемуся 50-квартирному каменному дому. Стройка была обнесена забором, у входа стояли часовые. Рабочий день длился от четырнадцати до шестнадцати часов. Обед из лагеря привозили на строительство. Вернувшись в зону к девяти часам вечера, мы получали ужин и шли в барак спать. На строительстве вольных рабочих не было, все, начиная с инженера и кончая сторожем, были зэки. Вольными были конвоиры и дальстроевское начальство.

Кое-кто из уголовных был расконвоирован и имел возможность выйти за пределы стройки в город. Работа шла быстрыми темпами. Пятиминутные перекуры давались два раза — в десять утра и в четыре часа дня. С двенадцати до тринадцати был обеденный перерыв. Начальство и конвой подгоняли, но рабочие и сами жали изо всех сил. Сперва я не могла понять такой гонки со стороны заключенных. Я знала, что женщины моего этапа выкладывались на работе потому, что хотели своим трудом подчеркнуть преданность делу построения социализма. Но остальные? Один каменщик объяснил мне:

— Из Магадана беспрерывно гонят заключенных на прииски. Там жизни нет. Там — гибель. Оттуда не возвращаются или возвращаются калеками, умирающими. Попасть на этап — все равно что идти на смерть. Лучших рабочих начальство стройки отстоит, не пустит на этап.

Нашу бригаду поставили на бетономешалку — готовить замес. Женщины работали изо всех сил, но с замесом не успевали. Со стен

неслась ругань, замеса не хватало. Тогда нас перебросили на другие работы: кого куда. Я и еще три женщины должны были разносить в ведрах воду.

Каменщики возводили третий, четвертый, а затем пятый этажи. С двумя ведрами в руках непрерывно поднималась я по шатким дощатым трапам. Работа для нас, не привыкших к тяжелому физическому труду, была непосильной. Медлить мы не могли. «Давай воду. Давай кирпич. Давай замес», — кричали кладчики со стен.

Наряды начальник закрывал нам хорошие, вся бригада питалась по первой категории, но по ночам в бараках стоял стон. Я часто долго не могла уснуть и слушала, как измученные за день женщины стонут во сне. С некоторых нар доносился плач. У меня на обеих руках чуть выше кистей образовались растяжения. Руки распухли, при малейшем движении слышался хруст. От боли я не могла расчесать волосы, застегнуть пуговицу. Я обратилась к лагерному врачу. Низенькая, очень полная женщина — врач, тоже зэк, обвиненная в троцкизме, отнеслась ко мне участливо. Она прибыла на Колыму одним этапом с Надей, дружила с ней, ей хотелось помочь мне, но она не могла: число освобожденных было строго ограничено.

— У вас растяжение, — сказала мне Гуревич, — это очень болезненно, но освобождения от работы я дать не могу.

На мое счастье, боль была мучительно остра при мелких движениях кисти, на работе, при резких, сильных движениях я переносила боль. В бараке я старалась не шелохнуть рукой — одеться, причесаться помогала мне Люся.

Выше становилось здание, крепче становились морозы, мучительней становилась наша жизнь. Вероятно, многие из нас свалились бы, но нам повезло. Наше начальство получило срочное задание — выстроить деревянную гостиницу. Строительство должно было быть завершено к какому-то съезду, и нас перевели туда. Мы должны были конопатить стены, убирать стружку, мыть полы, рамы, окна. Работа стала значительно легче. Чтобы законопатить стены, привезли утиль. Разгружая машину, мы были потрясены этим утилем. Нам сразу стало ясно происхождение его. Когда наш этап прибыл в Магадан, в бане нам велели сбросить одежду на пол в кучу. На нас были затасканные в этапе арестантские одежды. Теперь перед нами были груды мужской одежды, совершенно целой, дорогие вещи. Очевидно, родные, собирая близких на этап, передавали им, что получше и потеплее, и все это теперь было свалено в кучу. Здесь было егерское белье, шерстяные костюмы и, конечно, майки, кальсоны, свитера, тужурки...

Первым нашим ощущением была боль при мысли о владельцах этих вещей. На многих вещах были метки. Мы не работали, мы со слезами на глазах копались в грудe утиля.

Сами мы были очень плохо одеты: по одной смене платья и белья. Белье раз в декаду меняли в бане, но, придя в барак с работы, мы не имели возможности сменить одежду. Кому-то из нашей бригады пришлось в голову отобрать лучшие вещи, взять себе. Сперва взяли некоторые, затем все. Ежедневно мы тайком несли с работы в зону трикотаж. Несли себе, своим товаркам по нарам. Наш барак приоделся. Конечно, мы крали утиль, но его были груды, его хватало и для стен. Кончался один грузовик, привозили следующий. Очевидно, вещам, снятым с эзков, не было конца.

ЭТАП В ЭЛЬГЕН

Магаданский лагерь – и женский, и мужской – жил под вечным страхом вывоза в глубь тайги на прииск. О жизни на приисках рассказывали ужасы. Только мне хотелось туда. Там была Надя Суровцева-Олицкая.

В начале апреля, когда стала ощущаться весна, когда мы уже чуть привыкли к лагерной жизни и к работе, нашу бригаду неожиданно вернули со стройки в лагерь. Сквозь строй конвоя, с криками и руганью нас загнали в барак. У входа в барак поставили часового, который следил за тем, чтобы никто не вышел. Привели и остальных наших женщин с других работ. Мы узнали, что всех «тюрзачек» везут в Северное управление. Центром его был поселок Ягодное. Говорили, что нас направляют в совхоз Эльген.

Вызывали нас по спискам. Группу человек в сорок-пятьдесят вывели за зону лагеря и погрузили в стоявшую перед воротами грузовую машину, крытую брезентом. Перед лагерем стояли еще две такие машины.

В машине было тесно, темно и, несмотря на весну, холодно. На нас были ватные брюки, телогрейки, валенки. Мороз крепчал, и мы замерзали. Но брезент, натянутый над машиной, спасал от колючего ветра. Конечно, по пути мы выискивали в брезенте дырочки и смотрели в них. Машины двигались по широкой прекрасной дороге.

Уже к ночи машины остановились, и нам предложили зайти в какой-то барак. В нем топилась железная печь-бочка. Ее огонь освещал помещение. Мы толпились вокруг, протягивали к огню руки. Многие разувались, грели портянки и пальцы ног. Здесь мы встретили женщин, погруженных во вторую машину, они нам сказали, что к утру готовят еще и третью. Настроение у них было подавленное.

Через каких-нибудь полчаса мы снова сидели в машине и ехали дальше. Бескрайняя снежная равнина, сопки и сопки... Ни жилья, ни признаков жизни человека. Нам предстояло проехать пятьсот километров, если справедливы слухи о направлении нас в Эльген.

Кто и когда проложил эту дорогу? «Инженеры, душечка», — сказал бы некрасовский генерал. Мы знали: трасса эта проложена на косях заключенных.

...Часа в три мы прибыли в Эльген. Барак нам понравился. Высокий, светлый, с вагонной системой нар. Дежурившая в нем дневальная встретила нас заботливо. Набежали женщины из других барачков, забросали нас вопросами о жизни в Магадане. Мы были для лагерниц Эльгена «столичными» гостями. Я спешила узнать о Наде. Увы, в лагере ее не было, мне сказали, что ее положили в больницу с сильным кровотечением.

Больница лагпункта была расположена за зоной. Попастъ туда я не могла. Мне обещали завтра же передать ей мою записочку.

На следующее утро нас снова по переключке вызвали на этап. Теперь нас везли на командировку лагпункта Эльген — «Седьмой километр».

Почему нас везут туда? «Седьмой километр» была штрафная командировка, где валили лес. До сих пор туда отправляли только проштрафившихся уголовниц. Как заключенные Магадана боялись этапа на трассу, так же заключенные Эльгена боялись командировок.

ШТРАФНАЯ КОМАНДИРОВКА: «СЕДЬМОЙ КИЛОМЕТР»

Все дальше от родного мира угоняла нас судьба. Маленькая, ничтожная горсточка людей — подконвойных, подневольных. Мало было забросить нас через океан на Колыму, мало завезти за сотни километров в глубь необитаемого края. Дальше. Еще дальше.

Величие и красота севера окружали нас и подавляли. Бескрайний простор снегов. Наконец на повороте дороги мы увидели два маленьких домика, утопавших в снегу. Из труб тянулся дымок. Вокруг — колючая проволока. У домиков нас согнали в кучу, пересчитали. Завели в домик, стоявший вне ограды. Был он разделен на две части. В одной помещалась столовая, в другой жил надзор. Нас повели в столовую.

Нам дали по миске супа, по оловянной ложке, по куску хлеба. Нам заявили, что кормят нас «так», по доброте, на довольствие нас еще не зачислили. Завтра утром получим завтрак, пойдем на работу, и питание впредь будем получать от выработки.

После обеда нам хотелось быстрее разместиться в бараке, отдохнуть, но нас из столовой не выводили. От толстой, добродушной поварихи мы узнали, что конвой никак не освободит для нас помещение. На «Седьмом километре» к старому бараку пристроили новый. До нашего приезда старый барак стоял пустой. В новом жили штрафники-уголовники, работавшие на повале.

— Пришло распоряжение от уголовных вас изолировать и их перевести в старый барак, а они разлеглись на нарах, не хотят идти. Надзор их гонит, никак не справится.

Какую цель преследовала этим администрация, осталось нам неизвестным, но озлобление против нас среди уголовных было посеяно сразу.

— Проклятые враги народа, — кричали они нам, когда нас проводили мимо них к новому бараку.

Барак действительно был недавно срублен: и бревна, и стены, и потолок, и нары вагонной системы — все было из свежего желтого дерева. Он поразил нас своими ничтожными размерами. В стене против двери прорезано маленькое окно. От окна к двери идет совсем узенький проход. Между нарами в середине прохода — маленькая железная печка с трубой, выведенной в потолок. Пройти по проходу мимо печки мог только один человек. Гуськом прошли мы, занимая каждая по полке, — уставшие, ошеломленные новосельем и предстоящей работой в лесу. Нас пугало само слово «лесоповал». Из нас никто не только не валил леса, но и не видел, как его валят. Большинство никогда не держали в руках ни пилы, ни топора.

Наутро после пробудки и завтрака начались сборы на работу. Девятое апреля — а на дворе 40-градусный мороз. Обмундированы мы были хорошо: ватные брюки, телогрейки, бушлаты, валенки, шерстяные портянки, шапки-ушанки, стеганные рукавицы. Все новое, все первого сорта.

Бригадир — молодой парень, уголовный — предложил желающим пойти на погрузку леса. Требовалось восемь человек.

— Работа тяжелая, — предупредил он, — но первая категория питания обеспечена. Выход на работу в любое время дня и ночи. Трактор ждать не будет.

Пошептавшись между собой, восемь самых крепких девчат вызвались на эту работу. Остальных бригадир разбил на четверки. Каждая четверка получила пилу и топор.

Бригадир вывел нас на работу. Сперва мы шли колонной по четыре в ряд по проложенной тракторами дороге. Удивительно красив был рассвет, но нам, не привыкшим к 40-градусному морозу, трудно было любоваться природой — мы то и дело терли щеки, лоб, уши, беспрерывно рассматривали друг друга.

Бригадир свернул с дороги на узкую тропочку, потом зашагал по целине. Идти по глубокому снегу было трудно. Бригадиру хорошо – он шел в одной телогреечке и был высок. Снег был ему чуть выше колен. Мы же напялили поверх телогреек бушлаты, а утопали в снегу по пояс. Спотыкались, падали, барахтались в снегу. Задышающиеся, добрались мы наконец до делянок. Четверку за четверкой ставил бригадир на работу.

Получив свою делянку, мы стали осматриваться. Тонкие густо растущие деревья стояли вокруг нас. Ближе к краю делянки деревья стояли реже.

Хоть стволы деревьев и были тонкими, но древесина была крепкой, как сталь. Из-за вечной мерзлоты корни располагались почти на поверхности. Часто вместо того, чтобы быть срубленным, дерево выворачивалось из земли с корнями, цеплялось за вершины соседних деревьев и повисало на них.

Солнце поднялось высоко и грело сильно. Снег не таял, но в воздухе было просто жарко. Мы скинули не только бушлаты, но и телогрейки. Мы не умели валить деревья, мучились над обрубкой сучков. Не умели мы и штабелевать – так ставили подпорки, что штабель, чуть поднявшись от земли, косился набок и рассыпался. Часам к пяти вечера, когда бригадир пришел замерять работу, в нашем кособоком штабеле по его замеру оказалось полтора кубометра. Норма на пилу была девять кубометров. Бригадир ругался: «Лодыри, не хотите работать!» Конвоир орал, что не поведет нас в зону, пока мы не дадим норму, что он оставит нас ночевать в лесу. Солнце склонялось к горизонту. Косые лучи его уже не грели. Мы снова надели телогрейки, бушлаты. В полном отчаянии от результатов замера, женщины сложили топоры и пилы. Норма казалась нереальной.

Уголовницы, работавшие по другую сторону тропы, собрались толпой.
– Дежурненький, веди нас домой! – орали они.

Стали подтягиваться к выходу из леса и женщины нашего этапа. Конвоир стоял на тропе с винтовкой наперевес. Уголовные затянули песню. Будь у нас карандаш и бумага... их песни надо было записать. Протяжно и тоскливо женщины пели о своей судьбе – судьбе проститутки, воровки, молодой девчонки, узнавшей в шестнадцать лет порок и тюрьму. Каждое слово было полно тоски и мучительной правды.

На небе стал виден серп луны. Так же внезапно песня кончилась, как началась.

– Хватит! – крикнула одна из уголовниц. – Пошли в лагерь!

И она двинулась вперед, прямо на конвоира. Тот поднял ружье и выстрелил – девушка рухнула в снег. Сбившись в кучу, мы стояли

у тропы. А конвоир, повесив ружье на плечо, шагнул к лежавшей, пнул ее ногой.

— Эй ты, не придуривайся, вставай, — сказал он равнодушным голосом.

И она встала. Усмехаясь, стряхнула снег.

— По четверкам разберись! — кричал конвоир.

Утопая в снегу, мы построились. Пересчитав четверки, он повел нас в зону.

В столовой, как не выполнившим норму, нам выдали штрафной паек: миску супа и пайку хлеба в триста граммов на завтрашний день.

В бараке, голодные, усталые, забрались мы на нары. Говорить было не о чем.

И потекли дни... После подъема и миски тюремной баланды мы шли в лес. Убедившись, что на крупном лесе норму выполнить легче, мы стали валить большие деревья. Выработка не доходила до нормы, но стала повышаться. Это не понравилось бытовичкам. Они не хотели работать, не хотели, чтобы и 58-я давала норму. В лесу, собравшись толпой, они двинулись на нас.

— Эй вы, враги народа, не трогайте крупный лес! Айда рубить мелочь!

Бытовички рассчитывали, что 58-я сдрейфит. Они просчитались.

Измученные, издерганные женщины не отступили. Они тоже с топорами в руках двинулись навстречу уголовницам. Впереди других шла Женя Штерн, маленькая, худенькая, под мальчишка остриженная женщина. Уголовницы отступили.

— Ну и жрите его, хоть весь. Все равно передохнете.

На другой день Женя захватила с собой в лес простыню. Она разорвала ее на полосы, сделала петлю, закинула ее на сук толстого дерева у штабеля, залезла на штабель, сунула голову в петлю и прыгнула вниз. Бездыханной вынули ее из петли, отвезли в больницу. Жизнь ей спасли.

ВСТРЕЧА С НАДЕЙ

Вернувшись из больницы в лагпункт, Надя прислала мне с трактористом записочку: «Притворись больной, от вас водят больных на прием в Эльген». На другой день я срочно «заболела». Отказавшись идти в лес на работу, я бегала по бараку, держась за щеку. Я симулировала, как могла. Меня отпустили в Эльген к зубному врачу одну.

На Колыме, в глубинных командировках, строгое конвоирование заключенных не соблюдалось. Бежать с Колымы было почти невозможно. Мы слышали о побегах, но беглецы или погибали от холода

и голода, или возвращались обратно в лагерь. Позднее я сама видела безнадежно скитавшихся беглых.

Семь километров я шла по безлюдной и снежной дороге в Эльген. Сбиться с пути невозможно. Дорога, проложенная трактором, одна. По обе ее стороны целинная гладь снега. Ни тропы человеческой, ни звериного следа.

Хорошо было идти одной, чуть жутковато в неведомом краю, но после стольких лет пребывания на людях с неизбежными конвоирами за спиной... Торопило только желание поскорее встретиться с Надей. Я боялась – что-нибудь помешает.

Но все прошло удачно. Меня принял зубной врач. Потом меня пропустили в зону. Я разыскала барак Нади. В бараке никого не было, кроме приветливой старушки дневальной, которая сказала мне, что Надя ушла в каптерку. Я пошла туда. «Как же, – думала я, – узнать Надю? Как различить среди других?»

Открыв дверь каптерки, я увидела перед прилавком немолодую полную женщину. Лицо ее было одутловатым, до прозрачности бледным.

– Олицкая здесь? – спросила я.

– Катя! – И Надя уже около меня. Она сразу узнала меня по сходству с братом.

В бараке мы залезли на верхние нары. Мы смотрели друг на друга, говорили, умолкали и снова говорили...

Надя попала на Колыму раньше меня, в страшные времена гаранинщины. Она в числе других женщин, осужденных по 58-й статье, отсиживала в карцерах 1 мая, октябрьские дни. При ней из барачков выводили людей на расстрел по расчету при проверке: «Каждый десятый выходит в сторону!» Гаранинщина – это время, когда люди сотнями умирали от эпидемий, замерзали в палатках и бараках, когда по дорогам двигались подводы с мертвыми, когда голые трупы с подвод сваливали в облюбованный тюремщиками овражек. Когда он наполнялся доверху, пригоняли заключенных притрусить его сверху землей.

Произвол этот не касался уголовников. Мерзли и они, но их не рассчитывали под расстрел. Это была привилегия 58-й статьи.

На Эльгене Надя работала на мелиорации. В условиях Колымы земляные работы очень тяжелы. Вечная мерзлота, галька, лом, подборочная лопата. Постоянно Надю клали в больницу с кровотечением, а потом снова направляли на ту же работу. Так тянулось год. На этот раз Надя вернулась из больницы с радостной вестью – больница прислала заявку, Надю отсылали на работу сестрой. Самые страшные годы были у нее позади.

– Теперь, – говорила она, – вытащить тебя с лесоповала. Ты такая худая, желтая, прямо – доходяга.

Еще одно лагерное слово. Я думала, что только Колыма обогатила русский язык блатными словами. До лагерей я никогда не слыхала их. Увы, вернувшись после освобождения в Россию, я услышала эти слова. Они вошли в язык многих и многих. Удивляться не приходилось: добрая часть советских граждан побывала в лагерях.



Е. Л. Олицкая и Н. В. Суровцева. Умань. 10 марта 1974 года

Доходяга – человек, который дошел до предела жизни, стоит у грани ее. Доходяга не живет, он влачит свое жалкое тело, он доходит, он дошел.

Я видела много доходяг, особенно среди мужчин, которые быстрее женщин опускались, изматывались в условиях лагерной жизни. Конечно, и участь их была тяжелее.

Рядом с нашим лагпунктом находилась мужская командировка. В ней жили заключенные, обслуживающие лагпункт и совхоз: три или четыре агронома, несколько шоферов, плотники, слесари, каптеры, повара, нарядчики – человек сорок. В основном, это были люди, выкарабкавшиеся из «доходяг». Начальник агробазы и старший агроном уцелели вообще чудом. Во времена Гаранина их уже приговорили

к расстрелу. Приговор Гаранин не успел привести в исполнение, он сам был расстрелян.

Периодически, обычно весной, в мужскую зону пригоняли небольшую группу мужчин с приисков. Мне приходилось видеть эти этапы. По дороге под конвоем плелись оборванные, обросшие, грязные, шатающиеся, изможденные люди.

Шли они на дрожащих ногах до тех пор, пока не сваливались. Свалившегося пытались поднять толчками, окриками. Если заключенный не поднимался, его бросали, а этап уходил. На приисках доходяги становились балластом, не годным к работе. Прииск рад отделаться от них. Их гнали на более легкие работы: на сенокос, на заготовку дров, на подсобные работы к нам в совхоз. Большинство из них были сломлены и погибали если не в дороге, то на месте. Нередки были случаи, когда изголодавшиеся люди погибали от еды, дорвавшись до хлеба. Есть они могли без конца и все, что им попадалось. Они варили хлеб в воде, чтобы он разбух, чтобы еды было больше. Разваренный хлеб комом ложился в желудки, и люди умирали.

Никогда не забуду двух доходяг, двух сгорбленных стариков, с трудом передвигавшихся, опираясь на палку. Оба они были когда-то профессорами, читали лекции в вузах Москвы. На Колыме их послали на прииск, на прииске – в забой. Профессора не могли выполнить норму, сидели на штрафном пайке. С этапом других доходяг послали их с прииска в сенокосную бригаду. Им повезло, они свалились по дороге близко к Эльгену. Их подобрали и положили в нашу больницу. Там они немного оправились, и их перевели в мужскую зону. Им страшно повезло. Им досталась чудная работа – так, по крайней мере, говорили сами профессора. Их послали собирать золу из печей. С ведрами, опираясь на палки, тащились они от печки к печке по агробазе, по зоне, по поселку. Они выгребали золу из печей и высыпали ее в специально расставленные бочки. Всюду им подавали – кто кусок хлеба, кто пару картофелин, а кто и миску супа или кусок сахара. По пути они обшаривали все помойки, вылизывая брошенные банки из-под консервов, подбирали селедочные головы, огрызки, окурки. На моих глазах они окрепли, немного отъелись. Палочки они носили уже для вида, чтобы их не сняли с хорошей работы. Самым ужасным было то, что их психика была сломлена и, сколько я их знала, не восстановилась.

Зачем я пишу эти строки? Кто, кроме бывших в лагере, поймет меня? Я закрываю глаза и вижу...

...Теплица, прямо у печки две согнутые, скрюченные фигурки там, под стеллажом, в приямке. Они спустились туда, чтобы погреться. Они

протягивают к огню свои заострившие от мороза, заскорузлые руки, разматывают грязные, вонючие портянки. Согревшись немного, они извлекают из прорех своей одежды и подносят к своим обрюзгшим, беззубым ртам такие объедки, которыми бы побрезговала любая собака. Если они сыты, бережно заворачивают свои сокровища, подбравшие на свалке, и суют их за пазуху или в карман. При этом они осторожно озираются по сторонам, чтобы никто не заметил, чтобы не отобрал надзор при проходе через вахту, чтобы не выкрал сосед.

Они согрелись, они сыты. Что-то из прошлой жизни воскресает в них. Они даже хотят покрасоваться перед нами. Своими осипшими голосами они начинают вдруг читать стихи — Бальмонта, Брюсова, Блока.

Я вглядываюсь в лица моих подруг по работе. Мы штампем питательные горшочки для рассады капусты. Лицо одной из них страшно меняется, углы губ опускаются, губы начинают дрожать.

— Верочка, зачем так? — говорю я.

— Может быть, и мой отец...

Вера отбрасывает в сторону доски, замес и выбегает из теплицы. Не надо за ней идти. Скоро она вернется и станет к станку.

...1947 год. Я только что освободилась из лагеря, я живу у Нади на прииске «Утиный». Прииск расположен в долине узкой речки Утиной, протекающей меж высоких гор. Правый берег реки — золотосносный. Когда-то здесь был прииск заключенных. Теперь его уже нет. Установлена золотопромывочная фабрика. Работают вольные — бывшие эски. Утиная перехвачена плотиной. По склонам гор высечены дороги, по ним снуют грузовики, они подвозят породу. Издали, снизу, они кажутся маленькими спичечными коробочками. Вдалеке слышны взрывы, видны столбы взлетевшей при взрыве породы. Освободившимся эскам выезд с Колымы не разрешен, они стали вольными рабочими Дальстроя.

Я стою у домика конбазы. Рядом со мной — завхоз, молодой парень, тоже бывший заключенный, кажется, вор. Мы смотрим, как с горы спускается маленькая, согнувшаяся в три погибели человеческая фигурка. Кто-то тащит салазки, нагруженные дровами.

— Тяжело здесь с дровами, — говорю я, — с какой кручи приходится спускаться.

— Да, — соглашается завхоз, — там, у забоя Марии Ивановны, положе, но там никто не сойдет.

Я спрашиваю, что это за Мария Ивановна, я ожидаю рассказа о героическом подвиге — и ошибаюсь.

— Вы не слышали? Это в пору Гаранина. Была здесь врачиха Мария Ивановна. Покойники-то в ее ведении находились. Без справки

не хоронили... Сначала их возили вон в тот овражек, — он махнул рукой, указывая куда-то в сторону. — Как засыпали до краев, сыпать стало некуда. Тогда стали землю взрывать. И окрестили это место — кладбищем не назовешь ведь? — ну, и назвали: забой Марии Ивановны.



Группа ссыльных на Колыме. Е. Л. Олицкая — в центре. 23 октября 1953 года

Зачем я пишу эти строки? Выжившие — реабилитированы. Умершие — реабилитированы посмертно. Только списки невинно загубленных людей не опубликованы*. Только о последних годах и днях их жизни не знает никто. Тела их свалены в овражек...

«Прогресс человечества строится на костях и крови», — говорят одни. «Лес рубят — щепки летят», — говорят другие. «Революция не делается в белых перчатках», — говорят третьи... А что говорит народ? Простые люди? *Народ безмолвствует.*

Зачем я пишу? *Я не могу не писать! Может быть, это память о них, хороших и плохих — безразлично.*

* Рукопись создана Е. Л. Олицкой в 1960-е годы. Книги памяти, выходящие в СССР, а затем в России и других бывших советских республиках начиная с 1990 года, включают к началу 2004 года суммарно около полутора миллионов имен. — *Прим. ред.*

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА



Елена Львовна Владимирова родилась в Петербурге в семье потомственных моряков.

Окончила Институт благородных девиц.

С 1919 года в Красной Армии, участвовала в боях с басмачами.

После окончания Ленинградского университета сотрудничала в газетах и журналах.

Арестована в 1937 году. Срок отбывала на Колыме.

В 1944 году за участие в антисталинской организации заключенных и «писание стихов» приговорена к расстрелу, замененному каторгой. Там сочинила поэму «Колыма» (четыре тысячи строк), позднее записанную на папиросной бумаге и вынесенную из зоны друзьями*.

На фотографии Елена Львовна Владимирова во время учебы в Институте благородных девиц (в верхнем ряду, в центре). *Петроград. 1910-е годы.*

* Подробнее о Е. Л. Владимировой см.: «Доднесь тяготееет». Т. 1. 2-е изд. С. 132.

МЫ ШЛИ ЭТАПОМ...

Мы шли этапом. И не раз,
колонне крикнув: «Стой!»,
садиться наземь, в снег и грязь
приказывал конвой.
И, равнодушны и немые,
как бессловесный скот,
на корточках сидели мы
до выкрика: «Вперед!»
Что пересылоч нам пройти
пришлось за этот срок!
А люди новые в пути
вливались в наш поток.
И раз случился среди нас,
пригнувшихся опять,
один, кто выслушал приказ
и продолжал стоять...
Минуя нижние ряды,
конвойный взял прицел.
«Садись! — он крикнул. —
Слышишь, ты!
Садись!» Но тот не сел.
Так было тихо, что слышать
могли мы сердца ход.
И вдруг конвойный крикнул: «Встать!
Колонна, марш вперед».
И мы опять месили грязь,
не ведая куда,
кто с облегчением смеясь,
кто бледный от стыда.
По лагерям — куда кого —
нас растолкали врозь,
и даже имени его
узнать мне не пришлось.
Но мне, высокий и прямой,
запомнился навек
над нашей согнутой спиной
стоящий человек.

ВАЛЕРИЙ ЛАДЕЙЩИКОВ



Валерий Александрович Ладейщиков родился 25 января 1914 года в г. Лысьва Пермской области в семье заводского служащего.

После окончания девятилетки работал на мехзаводе, затем в местной газете «Искра». Осенью 1933 года стал студентом Уральского политехнического института (Екатеринбург). В июньскую ночь 1935 года был арестован органами НКВД и с пятью товарищами осужден за антисоветскую агитацию к семи годам лагерей и направлен на Колыму.

С мая 1936 года, когда пароход «Невастрой» прибыл в бухту Нагаева, начались 20-летние мытарства В. А. Ладейщикова в колымских лагерях. За участие в группах сопротивления Бориса Грязных и Елены Владимировой (в 1942 и 1944 годах) дважды был приговорен Военным трибуналом к высшей мере. В первый раз приговор был заменен 10 годами строгорежимных лагерей, во второй раз – 15 годами каторжных работ.

Наказание отбывал в самом страшном каторжном лагере на руднике Бутугычаг.

Осенью 1954 года был освобожден от каторги и направлен ссыльнопоселенцем в Омчакский район. Летом 1956 года освобожден из ссылки и выехал

в Иркутск. Работал на строительстве первой ГЭС на Ангаре, а после реабилитации – в областной газете «Восточно-Сибирская правда».

Осенью 1969 года переехал на Кубань, в г. Белореченск.

ЗАПИСКИ СМЕРТНИКА

Небольшой зал Военного трибунала войск НКВД при Дальстрое. Кроме судей, конвоя и нас семерых, в зале никого. Суд закрытый, без участия сторон. Он начат 30 декабря 1944 года и идет два дня. Представлено три тома примерно по пятьсот страниц следственных материалов. Мы обвиняемся в том, что, сплотившись вокруг Е. Владимировой*, составляли программы борьбы против Советского правительства и большевистской партии и боролись против них, под видом взаимопомощи пытались сохранить и сберечь кадры контрреволюции, готовили материалы к книге «Колымская каторга». Суд не мчался на рысях, а пытался придать делу характер беспристрастного разбирательства. обстоятельно допрашивались обвиняемые. Мужественно вела себя Елена Владимирова, не скрывавшая своей организующей роли. «Колымская каторга» – книга о лагерной действительности, отражающая особый, неизвестный советской общественности мир, – когда-нибудь будет признана полезной и нужной. Поскольку массовые репрессии, лагерный произвол и беззакония приняли широкий характер, нужны и другие литературно-художественные произведения на эту тему. Они могут оказать давление на партию и правительство, помочь изменить их политику в нужном для народа направлении.

Я признал себя виновным в антисталинских, но не антисоветских высказываниях. С революцией я не воюю. Обвинять в антисоветской агитации меня, находящегося в сумасшедшем доме**, дико и нелепо. Так же, как если б я занялся агитацией среди членов трибунала.

31 декабря 1944 года Военный трибунал вынес приговор. По статье 58, пункты 10, 11 (антисоветская агитация в группе) и что-то еще по пункту 2 (вроде подготовки к свержению советской власти) Елена Владимирова, Евгения Костюк и я были осуждены на расстрел. Любопытная деталь: «Без конфискации имущества ввиду неимения такового».

* Владимирова Елена Львовна – см. с. 66, а также «Доднесь тяготееет». Т. 1. 2-е изд. 2004. С. 132.

** Автор первый раз был приговорен к расстрелу в сентябре 1942 года. Симулируя сумасшествие, около двух лет провел в психиатрическом отделении Центральной больницы Севвостлага. – *Прим. сост.*

А. Добровольский, Н. Громанщиков, А. Демьяновский и С. Сороковик приговорены к заключению в лагерях на сроки от пяти до десяти лет.

Приговор вынесли под вечер. Судьи спешили к праздничным столам.

Нас, смертников, вели порознь. «Сквозь морозную дымку мы с Женей видели твою спину», — вспоминала Елена. Путь от здания суда до тюрьмы показался нам не очень длинным, шагов двести-триста.

В смертной камере, куда я попал, кроме меня, сидели трое уголовников по одному делу: главарь — крымский татарин Борис Капитан в щеголеватом кожаном пальто, Володька Роденький, вор-дальневосточник, и Мустафа, внешне похожий на своего тезку из фильма «Путевка в жизнь», только подлый и продажный. Дело, как узнал позже, было громкое. На пароходе «Джурма», везущем заключенных из Владивостока на Колыму, создалась чрезвычайная ситуация. Ни конвой, ни лагерная обслуга никак не могли наладить порядок и раздачу пищи на судне. Едва хлеб и бачки с баландой спускались по трапу в трюмы, как к ним, топча слабых, устремлялись более сильные и забирали себе все. Появились жертвы, начался голод. Начальство растерялось, обратилось за помощью к заключенным. Тогда Борис Капитан и предложил свои услуги. Он набрал команду из «крепких ребят», бывших воров, и, по его версии, навел на судне порядок.

— Верно, мы раздавали хлеб и густую кашу прямо в шапки и подошлы рубах. Но не потому, что куражились, а другого выхода не было. Если б не мы, половины зэков не довезли бы до берега, подошли с голоду или бы их в толпе растоптали. Озверели же все. Ну, а если кого пришили или за борт сбросили — не без того, — так чтобы воду не мутили. А нам в награду — расстрел. Начальство, вишь, чистеньким захотело остаться!

Борис умалчивал о том, что на «Джурме» безраздельно царствовала его шайка. Раздобыли спирт. У них были любые продукты. Устраивали вместе с охраной кутежи. Стали сводить счета с «ворами в законе». Один лег было в санчасть. Его выволокли на палубу, стали подталкивать к борту. Тому удалось ухватиться за поручень. Тогда Тамара-атаманша, щеголявшая в кубанке (она закрутила любовь с самим начальником конвоя), стала кинжальчиком — чик, чик! — обрубить ему пальцы. Пальцы падали на палубу — парень с криком полетел за борт. Вот в такой компании встречал я новогоднюю ночь 1945 года — года Великой Победы.

Я угрюмо сидел на верхних нарах слева от двери, спиной к стене. И вдруг услышал осторожное постукивание с той стороны: тук-тук...

тук. Не веря себе, не поворачиваясь, ответил: тук-тук, тук. Наши! Нет, есть все-таки на свете Верховное Существо! Есть чудеса! Стучали Лена и Женя. Они оказались в соседней камере. И как хорошо, что именно здесь, у стенки, сел я. О том, чтобы перестукиваться — все может случиться, — о «рылеевской азбуке», приспособленной к нашим дням, мы договорились еще на суде.

«Поздравляю с Новым годом! — отстучал и я. — Желаю...» Что могут пожелать друг другу смертники в новогоднюю ночь? Крепкого здоровья и бодрости? Счастья? Конечно же, жизни. Даже не долгой, а просто жизни.

Перестукивание помогло нам даже наладить переписку. Обычно нашу камеру выводили в туалет вслед за женской. Заранее договаривались о тайнике. А неугомонная Тамара из их камеры даже прислала мне свои стихи и предложила дружить. Видно, ее послание Лена и Женя переслали под угрозой «заложить» перестук. Я ответил: «Жду, береги Женю и Лену».

Как-то нам объявили, что можно купить махорку. «Деньги есть?» Денег не было. А вот у женщин они оказались. Простучали: «Третий кран». После этого мы нашли в кране пятерку, завернутую в клочок газеты. Камера задымила!

Но Мустафа, подлая душа, все же заложил нас, наше перестукивание. А ведь вместе курили! Его иногда вызывал из камеры дежурный, чтобы убрать в умывальной и коридоре, за что подкармливал. Вот Мустафа и постарался.

Женщин не тронули, а меня на три дня посадили в карцер. Карцер был тот же, что и два года назад, когда я сидел в смертной по делу Б. Грязных. Те же холодные бетонные стены. Та же тонкая горячая труба, на которой я грел поочередно то руки, то спину, сидя на перевернутом ведре. Ни постели, ни табуретки, разумеется, не было. Отсидел я два дня, на третий амнистировали по случаю Дня Советской Армии. Чего только не бывает на белом свете. А вообще-то мне везло на карцеры. Сидел в них всюду, куда ни забрасывала судьба. Даже в смертной.

Развлекались скудно. Капитан и особенно Родненький ловили меня на «куклах» — на попытках угадать, где, в какой руке или в кармане, под какой ладонью лежит вещь. Я давал им возможность сорвать куш. Если заменят расстрел, до весны идти в забой нет расчета. Легко схватить воспаление легких и погибнуть, как Игорь Люмкис. Надо голодать, не вызывая здесь подозрений, чтобы после замены лечь хоть на месяц в санчасть на ремонт. Поэтому давал возможность обмануть меня и на хлебе.

Пайка, как всюду, была священной и неприкосновенной и в смертной камере тоже. Это — закон в тюрьме для всех. Он действовал даже в пору начала смертельной схватки между «честными ворами» и «суками» на Колыме. Сперва я не понимал, почему Капитан и Родненский так азартно уговаривают меня делать тюрьму, то есть крошить пайку в баланду. Так, дескать, вкуснее и сытней. Потом догадался — пока с кем-нибудь выносил бадью в умывальную (мне нравилось умываться до пояса), другие в камере вытаскивали из моей миски куски хлеба. Понемногу, чтоб не так заметно. Это не считалось зазорным.

Оживление в камеру внес новичок в военной гимнастерке и белом полушубке. Сбросив полушубок, он сразу же полез в бадью-парашу. Мы смотрели на него с тоской и омерзением. Дешевый номер, рассчитанный на непрофессионалов. Тоже мне, сумасшедший. Дали ему с полчаса побарахтаться, а потом потребовали, чтобы сходил в туалет вымылся.

На том его безумства и кончились, больше дурака не валял. В общем-то, Мишка — так его звали — оказался неплохим, безвредным парнем из пограничных или конвойных войск. О себе сказал что-то невнятное вроде «убил лейтенанта». В тюрьме не принято особо спрашивать, кто за что сидит. В смертной проще, как в поездах — встретился и расстался. Новостей мало, говорят охотнее. Но и то Мишка оказался молчаливым.

Справедливо рассудив, что полушубок в смертной ни к чему, решили сшить из него нечто вроде торбазов и меховых чулок. Легко и бесшумно ходится по камере.

Советы начинающим: прежде всего надо сделать шило (послужит и при выкройке, как нож). Годится любой гвоздь, выдернутый из нар. Гвоздь следует основательно наточить. Чтобы убить время, можно точить два-три дня. Нитки надергиваются из одеял или матрасов, если они есть. А нет — из рубаш и штанов. Ссучиваются до нужной толщины и прочности с помощью клея. Его делать совсем просто: мякиш хлеба протирается через платок или рубашку. Выкройка (с помощью ножа или шила) делается по ноге. Один конец ниток скручивается с клеем особо тщательно — он служит иглой, временной или постоянной. Ну, а дальше все зависит от времени и терпения. Времени хватало, а терпение... Известно, что шитье успокаивает нервы. Словом, примерно через неделю камера была обута. Мишке, наверное, было все же жалко полушубка.

Скажите — слишком обыденно? Нет в моих рассказах ни голов на коленях, судорожно охваченных в отчаянии руками, ни бредовых выкриков по ночам. Всего того, что связано со страшным ожиданием смер-

ти... Было и это — доскажите себе сами. Но каждый старался держаться, чтоб не услышать от сокамерника: «Заткнись! И без тебя тошно!»

За два года в смертной мало что изменилось. Так же перед ужином брали на расстрел и в коридоре стояла гнетущая тишина. Кажется, теми же остались и клопы, наглые и ненасытные, от которых ночью не спасал даже яркий свет на верхних нарах. К чему эта ненужная пытка? Но куда девать смертников, если ежегодно проводить дезинфекцию? Неудобно и хлопотно. Пусть уж лучше жрут. Той же осталась даже пища. Вот только разве что меньше стало людей в камерах.

Смертная 1942 года меня кое-чему научила. Я знал: стоит лишь выбрать определенное место у окна и услышишь перед ужином во дворе тюрьмы приглушенный гул «черного воронка». И тогда вполголоса можно заметить: «Приехали за “мясом”». Или промолчать.

Сидящим в камере казалось непонятным, как я мог сказать: «Сегодня на ужин будет селедка с картошкой». Или: «Нынче на ужин — баланда. Готовьте ложки», — и предсказания сбывались.

Наше меню не отличалось особым разнообразием. Надо было лишь уметь слушать. Раздаточная находилась сразу же за смертным коридором налево. Миски с баландой ставились на поднос тихо, тарелки с селедкой бросались. Вот и все. Но я не спешил раскрывать «тайны» — за них слегка даже уважали.

На расстрел и на освобождение из камеры вызывали без вещей. За ними приходили лишь позже. Мы договорились: отдавая вещи ушедшего, что-то оставлять в камере, например, его вышитое полотенце. А то отдать два левых (или правых) ботинка. Чтобы точно знать, что случилось с человеком — жизнь или смерть. С того света за полотенцем или ботинком не пошлет. С Мишкой все произошло как-то неожиданно просто примерно через месяц после его прихода в смертную. Открылась дверь, все замерли на своих местах. Назвали его фамилию. За дверью стояли трое.

— Ну что тушуешься? — сказал рябой, с бесцветными глазами (говорили, что он — исполнитель). — В канцелярию зовут.

Мишка, в чем был, шагнул к двери.

Через полчаса дверь в камеру открылась вновь.

— Вещи! — приказал надзиратель.

Облегченно вздохнув, Капитан и Родненький собрали немудреные Мишкины вещи — шапку, ботинки, ватник. «Оставьте полотенце», — шепнул я, помня об уговоре. «Отстань! И так ясно — живой!»

Им так хотелось верить!

Но я-то слышал: когда они положили Мишкины вещи на пол в коридоре, надзиратель открыл дверь в камеру наискосок и ногами

впихнул их туда. Брезгливо, как вещи мертвеца или того, кто вот-вот получит пулю в затылок. Прощай, Мишка.

Жизнь или смерть... Задумывался ли я над тем, что ждет впереди Е. Владимирову, Е. Костюк и меня? Да. Порой казалось — жизнь. Прошло уже почти три месяца, как сидим в смертном коридоре. Расстрелять могли и раньше. Наши войска, освободив родную землю, неукротимо движутся на запад. Крах фашизма неизбежен. Близка Победа. И тогда — восстановление, будет дорог каждый человек.

Но столько же шансов имеет и смерть. Все мы судимы не первым раз, двое уже приговаривались к расстрелу. За сопротивление сталинскому режиму, который ныне силен, как никогда. За него, как утверждают, миллионы людей. Сколько же еще терпеть нас на земле?

Пришло время узнать. В конце марта 1945 года вызвали в канцелярию тюрьмы, объявили: «Расстрел заменить пятнадцатью годами каторжных работ».

Перевели в какой-то странно малолюдный корпус-пересылку. Лишь иногда слышал нарочито громкие голоса Лены и Жени, идущих по коридору в умывальную, и окрик надзирателя: «Тихо!»

Однажды выдали каторжную одежду с номерами и приказали готовиться в путь. По сути женская одежда мало чем отличалась от мужской: те же темно-синие гимнастерки и ватные брюки, телогрейки и бушлаты (зимняя форма), ватная шапка-«финка», едва закрывающая уши, рукавицы, портянки и ватные чуни — подобие бурок с толстыми резиновыми подошвами. Номера — от Б-505 до Б-507, пришитые на белых тряпках на лоб шапки, на спину и на колено брюк.

Замена расстрела каторгой поразила. Знали, что такая введена — для изменников Родины и предателей, карателей и палачей, сотрудничавших с фашистами. А мы при чем? Ни к одной из этих категорий мы не принадлежали.

И вот под ярким весенним солнцем по заснеженной равнине идут трое каторжников под конвоем. На южных склонах сопок, взломав наст, зеленеет стланник-кедрач. На северных, обожженных ветрами вершинах темнели лишь каменные глыбы. Даже якуты избегают этих мест: здесь не растет ягель — олений мох. А олени сбивают о камни копыта.

Мы брели, скользя и спотыкаясь, по узкой дороге, порой слегка подталкиваемые прикладами. Немудрено — полгода, даже больше мы не видали солнца, не вдыхали свежего воздуха.

До Нижнего Бутугычага ехали автомашиной. Там нас передали местному конвою, и на Средний Бутугычаг бредем пешком. Казалось бы, дыши полной грудью! Но что-то мешает. Пытаемся разговаривать,

но задыхаемся. Дорога все время ведет вверх. Особенно хочет выговориться Женя.

— Обождите, сейчас начнется спуск, — обещаю я. — Ведь так не бывает, чтобы все время вверх.

Оказывается, бывает. Издревле говорили: дорога в преисподнюю идет вниз. Путь к Бутугычагу ведет вверх, все выше и выше...

На Нижнем Бутугычаге расстаемся. Меня оставляют в бараке — стационаре для больных и ослабевших. Путь Лены и Жени лежит дальше — в женский лагерь «Вакханка», через перевал.

Стационар назывался еще ОПП — оздоровительно-профилактический пункт. Правда, особого лечения не было: трижды в день перед едой давали черпачок горького отвара из стланика — от цинги и примерно такую же порцию «дрожжей» — болтушки из муки. Знаток объясняли: для лучшего обмена веществ. Но обмен и так шел четко, почти без отходов.

Пожалуй, лучшими лекарствами были тепло и сон. Прибывших с предприятия «Горняк» — он же лагпункт, Сопка и Верхний Бутугычаг (верхний круг ада) — можно было узнать сразу: в первые три дня они почти беспробудно спали, поднимаясь лишь на еду.

Среди обычных серых дней запомнился один: утром по удару рельса ни одна бригада не вышла на работу. Даже на «Горняке». Потом начальство объявило: сегодня — праздник, День Великой Победы. Весть встретили по-разному. Для меня-то была радость.

Внешне в стационаре все выглядели одинаково, одетые в серые застиранные кальсоны и нижние рубахи. Для них каторжные номера инструкция не предусматривала, как и для белых халатов врачей и санитаров. Больные в большинстве были украинцы. Они резко делились на западников и восточников, враждовавших между собой. Первых называли бандерами, в свою очередь западники именовали своих недругов полициями. Их объединяла общая нелюбовь к кацапам — к русским. Нас, русских, в ту пору было немного, и мы чувствовали себя неуютно, испытывая двойной гнет: каторжный и национальный. С годами, правда, это стало сглаживаться. Жизнь учила относиться друг к другу с иной меркой. Пока же все командные посты в лагере и обслуге были заняты украинцами. Надо всем витал дух купли-продажи. Взял на минуту самодельную иголку — плати. За кружку снеговой воды, за место на нарах поближе к печке — плати, хлебом или табаком, хоть крохами. К тому времени я пробыл на Колыме уже восемь лет, но с подобным еще не встречался. Впрочем, не то ли происходит и в «большом мире»? Только счет иной.

Как-то в нашу палату-камеру с дурашливым криком влетел высокий сероглазый парень с наброшенным на голову тюремным одеялом. «Царевич Алексей!» – зашептались вокруг.

Про него говорили: «Нема городу, в яком бы вин не был» и «Всякую книгу читав!».

Мне он показался интересным. Я стал читать соседу по нарам, довольно грамотному восточнику, есенинские строки:

Улеглась моя больная рана,
Пьяный бред не гложет сердца мне...

Царевич бросил в мою сторону быстрый взгляд. Потом стал ходить по палате наискосок, чтобы быть ближе к моим нарам. Подсел.

– А еще знаешь? Прочти.

– Ладно, слушай.

Отметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали...

Мы подружились. Настоящее имя его – вернее, одно из многих – было Николай Дубровский. Начитался о благородных разбойниках? А потом захватила жизнь и понесла? Профессии его – медвежатник он (вскрывающий сейфы, банки), фармазонщик (аферист, обманщик) или кто другой – я не уточнял, но чувствовалось: из уголовной аристократии. Верно, бывал во многих городах страны, в основном на Дальнем Востоке. Правда, знал в них, в основном, вокзал, базар и тюрьму. Немало и читал. Ну, что ж, Царевич Алексей так Царевич. Врачи относились к нему снисходительно и на работу не посылали. С ним охотно болтали и охранники, делясь табачком. В народе любят дурачков, с ними у каждого ума палата. Мы встретимся еще с Дубровским на «Горняке».

Главное, чем жил стационар, – ожиданием отправки на «Горняк». Свою первую зиму Бутугычаг пережил тяжело. Из полутора тысяч каторжан (мой номер Б-507 означал вторую тысячу), присланных сюда, в живых остались едва ли половина. Один из украинцев, ветеринар, рассказывал: «Из нашего этапного вагона по весне насчитал в живых человек пятнадцать. До тюрьмы я весил более ста двадцати килограммов, а сейчас? Кожа да кости».

В ту пору на Нижнем Бутугычаге горных разработок не было (имелись лишь дизельная, гараж, подсобные предприятия), на Среднем они лишь развертывались (штольня, поиск каких-то «секретных элементов»). Основное горное производство сосредоточилось на Верх-

нем Бутугычаге — на «Горняке». Там в штольнях и разрезах добывался кассетерит — «оловянный камень» — руда олова.

Разработка жил велась в открытых разрезах и штольнях. Бурение — взрыв — уборка породы и очистка забоя — и новый цикл. Мы, горные бригады, грузили породу в вагонетки и отправляли на обогатительные фабрики «Кармен» (женская) и «Шайтан». Там порода дробилась и промывалась.

«Горняк» убивал своим климатом. Представьте украинцев, привыкших к довольно теплomu климату, и бросьте их в морозы, доходящие до 60 градусов, в беспощадные северные ветра, выдувающие последние остатки тепла из ватной одежки. К тому же ее в первый год невозможно было просушить — украдут! Попробуй найди потом портянки или рукавицы. Да их и искать никто не будет. А в мокрых чунях или портянках — верное обморожение, сгниешь заживо. Холод донимал и в камерах. Иван Голубев, простая русская душа, как-то уже в годы, когда на каторге смягчился режим, признался: «Впервые нынче отогрелся. А то, веришь, не мог ни кувалдой, ни баландой отогреться, дрожал весь».

Кто из нас не знал тогда этой мелкой собачьей дрожи, которой тряслись днем и ночью, в забое и в бараке?

«Горняк» убивал тяжелейшей, изнуряющей душу и тело работой, вагонеткой и лопатой, кайлом и кувалдой. Ночи не хватало, чтоб отдохнули кости и мышцы. Кажется, только заснул — и слышатся удары о рельс и крики: «Подъем!» Убивал вечным недоеданием, когда кажется, что начинаешь есть себя, свои потроха, отошавшие мышцы. «Горняк» убивал цингой и болезнями, разреженным воздухом. Говорили, что не хватает всего нескольких десятков метров высоты, чтобы вольнонаемным дополнительно к северным надбавкам платили еще высотные. Наконец, «Горняк» убивал побоями — прикладом винтовки, палкой надзирателя, лопатой и кайлом бригадира (иной бригадир уже не бил сам, заимев подручных — «спиногрызов» или «собак»).

Впрочем, на то и каторга, чтобы убивать. Недаром А. Солженицын даже простые лагеря назвал истребительно-трудовыми. Страшен Бутугычаг при любой погоде. Это я испытал на своей шкуре.

Пронесся слух: готовится этап на «Горняк». Завтра комиссовка. О «Горняке» говорили со страхом и ужасом. Не только те, кто уже побывал на нем, но и те, кому еще предстоит испить сию горькую чашу. Неведомое всегда страшнее.

Вечером я увидел странную картину. Трое земляков, спуская кальсоны, по очереди осматривали друг у друга задницы (простите, как

приличнее – зады?). Слышалось то ободрительное: «Ще отдохнешь!», то со вздохом: «Пожалуй, на Сопку».

Назавтра утром я увидел вчерашнее в большем масштабе. Держа за пояс кальсоны, каторжанская очередь медленно двигалась вперед. Представ перед столом медицинской комиссии, поворачивались и обнажали задницы. По ним местные эскулапы определяли, кто чего стоит: «Гор.» или «стац.», в зависимости от того, насколько сини и тощи задницы. Так что от врачей требовался определенный навык, а если хотите, то и искусство диагностики. В институтах того не проходили. Но вечно зелено дерево жизни, будто бы учил великий Гёте. Очередь двигалась быстро. Конвейер действовал четко и безотказно.



Бутугычаг. Жилая зона. Каменные бараки. Июнь 1993 года. Фото И. Паникарова

Прошло еще недели две. Настал черед и мне показывать свой зад. Видно, он показался эскулапам достойным «Горняка», и я загремел в этап. Шли все вверх и вверх «по долине без ягеля», а потом и совсем круто – на сопку. Лагерь представлял из себя два больших двухэтажных здания, где нижний уходил в сопку, затем столовую, вышки... До конца рассмотреть не успел, так как получил сильный удар и свалился на камни. Над собой услышал: «Что головой крутишь? Бежать собрался?»

Оказывается, надзиратели и конвой здесь отработывали удар ребром ладони по шее. Надо было бить так, чтобы у каторжника сразу отбивало памороки и он валился наземь.

К тому же на мне была совсем новая одежда, и надо было сразу дать понять новобранцу, куда он попал. Не к теще на блины. Казалось, надзиратели и охрана, все начальство люто ненавидят клейменных номерами людей. Били без повода, чем попало, сбивали с ног и пинали, хвалясь друг перед другом – мы патриоты! Вот только почему-то не рвались на фронт.

Меня направили в обычную горную бригаду. Мы приходили в штольню, когда забой был уже забурен и взорван. Грузили породу в вагонетки, везли к бункеру. Там, под люком, стояли уже вагонетки другого типа – «коптели». Их откатывали к бремсбергу и отправляли по бремсбергу на обоганительную фабрику «Кармен», где работали женщины.

Вначале я работал в штольне. Потом меня взял к себе напарником русский парень Павел. Он открывал люк бункера, мы загружали «коппель» и катили его к бремсбергу. Оттуда забирали порожняк – и все начиналось сначала.

С площадки открывался широкий обзор долины. Как-то в свободную минуту мы с Павлом завели разговор о странностях и причудливостях в названиях местности. Лагерь наш стоял на противоположной стороне сопки, спускающейся в Бутугычагскую «долину без жизни». Верно, изыскатели, проходившие здесь, были мрачные парни – они назвали обоганительную фабрику «Шайтан», речушки – Бес и Коцуган, что по-якутски тоже означает «черт». Даже ключ у подножия сопки наименовали далеко не эстетично – Сопливый.

А вот по долине по эту сторону сопки проходили, видно, романтики. Речушку, на которой стала обоганительная фабрика, назвали Кармен, лагерный женский пункт – «Вакханка» (не шибко грамотные каторжане называли ее для себя понятнее – Локханка), а саму долину – долиной Хозе.

Так мы разговаривали. Тут же крутился один шустрый мужичонка. Он спросил: «А где тут море? А материк – Якутия?» Я показал и еще подумал: «Какой любознательный!» Об этом «любознательном» вспомнил много позже в штрафной бригаде, когда размышлял, за что я попал сюда. Оказалось – «склонный к побегам». А заложил – вот тот шустрый мужичонка, любитель географии.

Но еще несколько дней я проработал в этой бригаде. Из забоя приходили поздно, ужинали в столовой. Потом надзиратель проводил проверку, вызывая по номерам. Надо было подойти к нему на два-три

шага, отозваться: «Я!» – и быстро встать налево, к уже прошедшим поверку. Чуть не рассчитал, встал далеко – удар по шее или в дых. Подошел близко – снова удар: «Ты что, сволочь, напасть хочешь?»

Потом надзиратель закрывал всех на замок в камере. В камере в два яруса стояли сплошные голые нары. Не было не только одеял или подушек, но и матрацев. Входила в камеру лишь торцовая часть железной печки, которая топилась из коридора. Было холодно, как во дворе. А там по ночам еще стояли морозы до двадцати градусов. Спали, не раздеваясь и не разунаясь, не высушив одежды. Деревенские мышцы.

В штрафную бригаду (БУР – бригада усиленного режима) меня взяли после работы. Камера находилась внизу двухэтажного корпуса, врезааясь в скалу. Первый засов висел на наружной двери здания, за ней – небольшой коридорчик и вторая железная дверь на засове. Крепость! Двойные нары, железная печка, бадня-параша. В ту пору то была единственная бригада, где большинство составляли русские, в основном уголовники-рецидивисты. Уголовником был и бригадир Костя Бычков, крупный мужик лет под тридцать. Людей в бригаде было немного, человек семь.

Я стал умываться. Вытащил чудом сохранившееся вышитое полотенце, присланное из дома.

– Красивое, – заметил Бычков.

– Нравится? Возьми, – протянул я.

Все равно отберут. Бычков показал мне место на верхних нарах, недалеко от себя. На том блат и закончился. Штрафная (так буду называть для краткости) переживала трудную пору. На работу и с работы ходили под конвоем, иногда в наручниках (в остальных бригадах постепенно вводилось общее оцепление). В столовую не пускали – бандиты отбирали у каторжан еду, врывались в хлеборезку. Дежурные приносили пищу к нам в камеру. А на одной пайке долго не протянешь. Кое-кто из уголовников решил: если в штрафной останется человек пять, ее расформируют. Началась охота за людьми: одному на голову свалился камень, другого на выходе из штольни в темноте ударили ломом...

Бычков и те с ним, кто поумней, понимали: это не выход. Штрафная сохранится, если в ней останутся даже два человека. Она нужна для страха. И в самом аду должен быть котел, в котором смола чернее и горячее. Значит, выход один: надо работать. И превратить свои неудобства – в преимущества. Не пускают в столовую? Запугать поваров, чтобы в камеру приносили больше баланды и каши. Есть печь – значит, можно достать и дров, веток, и в камере всегда будет тепло.

И еще одно — отдых и сон. Над головой у нас топот ног — бегут в столовую на вечернюю поверку, а мы уже давно спим и видим сны.

Так и вышло. Всеобщее пугало — режимная бригада — помогла многим, среди них и мне, выжить. Хотя она и убивала, как в дни голодовки, о которых еще расскажу.

Даже черт не нашел бы места лучше для каторги, чем Сопка. Безжизненно голые вершины, как на Луне. Жесточайшие морозы и ветер выжигали все живое — травы и людей. Деревья, даже кустарник, здесь не росли. Когда уже в пятидесятых годах разрешили иметь постели, травы нашлось лишь на один матрац. Пришлось за травой-сеном спускаться вниз, за Средний Бутугычаг. Даже летом не хватало воды. А зимой, когда все ключи и ручейки перемерзали, пользовались снегом. Спрессованный ветрами, он не поддавался лопате и крошился от топора. Бригада «доходяг» распиливала его пилой и, надев кубик на палку, несла на кухню или в баню. Их так и звали — снегоносы.

В ту зиму, как мы трое прибыли на Бутугычаг, на Сопке мерли каждый день. Мертвецов проволокой или веревкой цепляли за ноги и тащили по дороге. Кладбище было расположено за лагпунктом «Средний Бутугычаг», недалеко от аммонального склада. Удобно — не надо далеко носить взрывчатку. Сухие скелеты, обтянутые кожей, хоронили на «аммоналовке» голыми, в общей яме, сделанной взрывом. В нижнем белье и в ящиках с колышком стали хоронить уже много позже.

Гибли не только «доходяги». Вспоминается Олег, бывший, по его словам, в свое время чемпионом по боксу среди юношей в Киеве. Можно представить, как он был сложен, если и сейчас выглядел неплохо. Сломленный морально, чувствуя, как уходят силы, Олег вознамерился любой ценой попасть вниз, в стационар. Отлежаться, отдохнуть. Иные ели для того мыло, грызли снег и лед, чтобы опухло горло, делали другие мостырки.

Олег работал в соседней штольне откатчиком. Он лег на рельсы возле вагонетки, сказав, что нет сил двигаться. Его пытались поднять пинками и прикладами — бесполезно. Тогда, избив, вынесли и бросили в ледяную лужу у устья штольни. С карниза капали и лились струйки тающего снега и воды. Олег продолжал упорно лежать — полчаса, час. Он добился своего — ночью поднялась температура и его свезли в больницу. Там он и умер от воспаления легких. «Перестарался, переиграл», — сказал со вздохом его приятель.

Но вот другой случай. В штрафной бригаде я познакомился с Узбековым. Он был смугл и темноглаз, откуда-то из Средней Азии или с Кавказа. По-русски говорил хорошо, был начитан. Возможно, партийный или научный работник.

— Не могу так жить! Не хочу превращаться в скота. Лучше наложить на себя руки, — как-то вырвалось у него.

— Как? У нас нет веревки на штаны, не то что повеситься.

— Вот и я думаю: как?

— У тебя есть близкие? — спросил я.

— Мать. И еще жена, дети, если не забыли. Лучше бы забыли. Но все равно спасибо им за все на свете.

Голос Уразбекова потеплел.

— Ну вот, видишь. Надо жить. Сказать тебе одну мысль? Загадывать на год глупо. Но на месяц можно, пусть на день. Утром скажи себе: хватит у меня сил дожить до обеда? Дожил — и ставишь новую цель: дожить до вечера. А там — ужин, ночь, отдых, сон. И так — от этапа к этапу, от дня ко дню.

— Любопытная теория! — задумался Уразбеков. — В ней что-то есть.

— Конечно, есть! Ты же не ставишь перед собой масштабную цель: допустим, пережить зиму. А вполне реальный рубеж — три-четыре часа. А там день и еще день! Надо только собраться.

— Заманчиво! Такое может прийти в башку только бывшему смертнику.

— Все мы смертники в отпуску. Попробуй!

Прошло недели две. В тот день я не был на работе — зашиб руку. В полдень дневальный Шубин, отнеся бригаде обед, сообщил:

— Уразбекова застрелили!

— Ка-ак?

— Поднялся на борт ущелья, шагнул за дощечку «Запретная зона», сказал: «Ну, я пошел, боец!» Тот вскинул винтовку: «Куда? Назад! Стой!» А Уразбеков идет. Ну, боец и выстрелил. Сперва вроде в воздух, а потом в него. А может, и наоборот.

Вздохнули: неплохой был парень. Безвредный.

А вот боец за бдительность отпуск получит. И спирт.

Целые годы жизни выпали из памяти, особенно с 1945-го по 1950-й. В основном я провел их в штрафной бригаде. Вначале думал, сiju, как рецидивист: трижды судимый, дважды приговорен к смерти. Оказалось — считался склонным к побегу (все тот «любопытный» на бремсберге!).

Начальник режима так и говорил: «Вот полетят белые мухи — выпущу».

Зимой с Колымы не бегают. Да и летом не очень.

Помню, как я с отчаяния объявил голодовку, требовал, чтобы отравили в Магадан, заранее зная, что это неосуществимо. На каторге, где каждый цепляется за кроху хлеба, затея дикая.

Меня перевели из штрафной в карцер — других одиночных помещений в зоне не было. День на четвертый в камеру ввалилось начальство во главе с оперуполномоченным. Пригрозили, что, если не сниму голодовку, силой отправят на работу.

Наутро вывели на развод. Лег на камни у ворот. Начальник режима приказал:

— Носилки!

Злобно ругаясь, за них ухватились рыжий Уркалыга и вечно жующий смолу Михайлов, известные тем, что за пайку способны резать любого. По камням и так нелегко идти, а тут еще с носилками. Трижды, делая вид, что оступились невзначай, меня роняли на камни. Чувствовалось, Уркалыга и Михайлов лишь ждут случая, чтобы сбросить меня в ущелье. А вот и удобное место — тропа шла по самому краю пропасти. Мне показалось, что Уркалыга и Михайлов нехорошо переглянулись. Сбрав силы, я резко перекатился через край носилок влево и вскочил на ноги:

— Сам пойду.

Толчками билось сердце. Чувствовал, только что надо мной пронеслось дыхание смерти.

Бригада работала в открытом разрезе. После взрывов вначале сверху ломом сбрасывали крупные камни, затем, растянувшись по склону ущелья, шуровали вниз средние камни и щебенку.

Так загружался бункер, под люком которого стояла вагонетка. По рельсам ее откатывали к следующему бункеру, и так до бремсберга, по которому порода — я уже говорил — направлялась на обогатительную фабрику «Кармен».

— Ослаб, верно, от голодовки? — обратился ко мне в забое бригадир Костя Бычков. — Дам тебе работу полегче. Спускайся вниз к люку, очищай рельсы от камней.

Спустился, очищаю рельсы, раздумывая: откуда такая милость бригадирская? Работенка-то блатная. И вдруг почувствовал тупой удар в спину. Оглушенный им, я быстро отполз в сторону. А сверху летел еще один крупный камень. Взглянув вверх, увидел оскал склонившегося над люком Уркалыги.

— Ну-у здоров, черт! — выругался тот.

Вот и второй раз пронеслось рядом дыхание смерти.

Позвал наверх Бычков:

— Все понял? Бери лопату и шуруй. Надзиратель намек дал: не снимешь голодовку — убьют. Найдут способ.

В обед я принял пищу. О том, что произошло дальше, ближе к вечеру, мне рассказали позже двое западников: «Бачим — начальство иде

к вашему забою, опер там, режим. Гуторят: “Да шо с ним возиться? Расстреляем показательно за саботаж – и все”. Пошли и мы тыхенько за ими с Грицко. Интересно, як же воно – показательно? Тильки не дождались».

Так оно и было. Начальство подошло к нашему ущелью, позвало надзирателя и бригадира:

– Ну как там пятьсот седьмой? Все еще держит саботаж?

– Да нет, снял. – Показали: – Вон он шурует...

Посоветовались, сказали на прощание:

– Ну-ну, давай! – и пошли из ущелья.

Так трижды в этот день обдавала меня своим черным дыханием смерть. И трижды, тронув крылами, отходила прочь.

Таких дней было немало. Доходил и поднимался, попадал вниз в стационар, когда повредил руку. Довелось поработать в бригаде тачелажников и на трелевке леса, в штольне-шахте, где добывался уран.



Бутугычаг. Обогащительная фабрика. Фото 90-х годов

Правда, что там добывался именно уран, не знали. Говорили просто – металл. Удивлялись только, что в столовой на шахте и обогащительной фабрике (на обед в лагерь там не водили) очень хорошо кормят, вместе с вольнонаемными. Дают мясную тушенку

и колбасу (в банках, американскую) с макаронами, густо приправленную жиром.

Но в штольнях я долго работать не мог – задышался, забивал кашель. Приклады не помогали. Дело в том, что в штольни нас загоняли почти сразу после взрывов, не дав им как следует проветриться, повинувшись общему: «Давай, давай!» И хоть в штольне зимой работать теплей, больше выпадало находиться на открытых работах.

Жизнь как матросская тельняшка, на которой чередуются светлые и темные полосы. А если хотите, качели – то вверх, то вниз. А то еще – как «терапевтические уколы» в психушке. Удушье, летишь куда-то в черную бездну.. Вдруг ухватываешься за доски, за ветви дерева, выпрямляешься. Но доски-ветви трещат и ломаются, и вновь летишь в беззвездную темь. Так вот бывало со мной на каторге в первые годы, если выпускали на зиму, когда снежные мухи полетят, из штрафной бригады. Кажется, совсем пропал, «дошел», опухли лицо и ноги, нет сил на ступеньку ногу поднять. Но свершилось небольшое очередное каторжное чудо – подвернулась легкая работенка или на три недели, месяц в стационар положили, – и начинаешь снова приходить в себя. Из глубин памяти возникают стихи, свои или чужие, снова твердишь их, чтобы не забыть навсегда, а то и слагаешь новые строки. И еще всех дороже – память о доме, о матери. Кажется, слышишь ее молитву, видишь ее глаза.

Удивительно, как велики резервы человеческого организма на прочность. Поднимешься на Сопку, встретится товарищ. И удивимся друг другу:

– Живой?

– Живой!

Новостями обменяемся...

– Помнишь Пашкова? Того, что ногу поморозил? Во время не доглядел, а теперь отрезали. К сапожникам отправили.

– Повезло! Теперь до конца срока блатной работенкой обеспечен.

– Да. Работает же Яшка, что руку потерял, в портновской.

Что ж, отдать руку или ногу за жизнь – плата не столь высокая.

Светлыми островками в жизни были встречи с Еленой и Евгенией. Не сразу, но они обе стали работать в санчасти. Изредка пристроившись к хозбригаде с «Вакханки», получавшей у нас продукты, приходили к нам за лекарствами. Каждая такая встреча приносила заряд бодрости. Уж если женщины выдерживают...

На «Горняке» понадобилось восстановить заброшенную штольню. Устье ее и рельсовый путь были завалены обвалившейся породой – крупными глыбами и камнями. Механизмы из-за крутых подъемов

и спусков подвезти к штольне не могли. Одна бригада, другая пробовали расчищать вручную — не хватило сноровки. Что делать? Горел план. Тогда наш бессменный надзиратель предложил горному начальству: «Попробуем моих бандитов, а?» Так нас запросто называли — не оскорбляя, а будто это само собой разумеется. Начальство засомневалось, потом махнуло рукой: «Давай».

Утром нас привели к штольне, расставили оцепление. Спросили:

— Ну как, откроете штольню?

— Попробуем. Только охрану подальше уберите. И так насмотрелись. И еще одно условие: как расчистим завалы — так и пойдем в лагерь. Не дожидаясь конца смены.

— Лады.

Ох и вкалывали же мы в этот день! Даже сам Костя Бычков и его подручные Михайлов и Уркалыга не утерпели и брались за самые крупные глыбы. Их стаскивали с круч дынами и ломами, разбивали кувалдами, грузили в вагонетки с помощью «живого крана». Последний был нашей выдумкой. Один или двое вставляли на колени, и им на спины укладывался камень-негабарит. Затем людям, ухватив за руки и плечи, помогали встать и общими усилиями заваливали камень в вагонетку. Вот так!

Безудержный азарт овладел всеми. Было в том что-то буслаевское, раскрепощенное. Куда-то в сторону ушла каторга.

Все! Мы закончили расчистку на два часа раньше, чем прозвучит удар о рельс, возвещающий конец работы. Нагрузили пару вагонеток породы и выгрузили в отвал. Пробный рейс — в знак того, что штольня распечатана, готова к действию.

Нам пообещали премию — по полбуханки хлеба на человека и пачку махорки.

В лагерь мы не пошли. Попросили, чтобы хлеб и махорку принесли сюда. Потом стояли и курили, глядя вниз. С площадки открывался широкий обзор — лагерь, бремсберг и фабрика «Шайтан», долина к Среднему Бутугычагу. Два часа свободы!

И еще нам сказали: «Спасибо! Вы и спирт заслужили. Но, сами понимаете, штрафники».

Да, самые отверженные, самые клейменные. А я стоял и думал: «Господи, да что только может сделать наш народ! Горы свернуть, дай ему лишь чуть воли и веры!»

Весть о том, как бандиты распечатали штольню, разнеслась по всему лагерю. Бригада была на взлете. Она окрепла. Зимой в ней оставалось человек 10–15 основного, кадрового состава, летом она разрасталась до 30–40 человек.

Но скоро для нее настали черные дни. Пожалуй, все началось с побега Царевича – Дубровского. Вначале он предложил бежать и мне – легче разберемся в географии. Мне он, чем мог, в лагере помогал. Но я отказался: «Не готов, не хочу быть обузой».

Тогда Дубровский обратился к Степко. Вместе разработали дерзкий план. Степко находился в штрафной бригаде. Бежать из-под двух замков невозможно. Поэтому в ночь побега он постарался совершить проступок и оказаться в карцере. Ну а Царевич, как и прежде, был на легкой ноге с надзирателями и охранниками и сумел выкрасть у них ключ от карцера. Освободил Степко, снял с него наручники (это почти любой из нас мог сделать гвоздем). Выйдя из зоны, приятели направились на фабрику «Кармен». Там забрались в квартиру главного инженера, уложили семью на пол. А ему из озорства надели наручники Степко. Взяли ружье и продукты – и вперед.

Вначале все шло удачно. Но потом возникли разногласия по маршруту. Очень уж далек Якутск. Морем? Тоже непросто. Словом, решили фартово погулять по Колыме. Месяц-два с девочками пейгуляй, а там видно будет. «Больше срока не дадут». Так и гуляли, пока их не изловили. Вначале Степко, а затем и Дубровского. Только теперь его поместили уже к нам, в штрафную бригаду. Расставшись со Степко, Царевич сблизился с другим вором в законе, Саловым. Как-то ночью мне нечаянно довелось услышать обрывки разговора Дубровского и Салова с бригадиром. За последние годы Костя Бычков обрел большую власть. У него всегда были деньги и спирт. Появились дружки из «вольняшек». Завел подружку – тоже бригадира, Нинку Нехорошую с бремсберга фабрики «Кармен», которой слал порой дорогие подарки. Его обвиняли в том, что он обирает бригаду, пользуется посылками. А каторжника Ринга днями не выводит на работу за то, что тот пишет письма в стихах этой Нинке.

– Нинка – дело твое личное, но не ублажай ее за счет бригады.

– Я же вас не трогаю, – защищался Бычков.

– И мужиков-работяг не трогай. Предупреждаем!

– Да идите вы!..

Видно, Бычков не внял предупреждениям – через неделю он был убит. Ночью Дубровский и Салов вонзили ему в грудь с двух сторон ножи. Но, видно, дрогнула рука, нелегко резать спящего, и ножи не попали в сердце. Да и крепко здоров был Костя. Он спрыгнул с нар и сбил с ног Дубровского. К ним бросился Салов, схватился с Бычковым. На помощь своему бригадиру поспешил дневальный Шубин и ударил поленом Салова. Салов упал, из головы полилась кровь. Казалось, Бычков уже победил. Но Дубровский нашел в себе силы

вскочить и воткнуть Бычкову между лопатками нож. Костя рухнул. Шубин валялся в ногах, моля о пощаде. Но прикончили и его.

Остальные замерли на нарах, не вяжываясь в схватку. Заслышав шум в камере штрафников, сверху прибежали охранники. Загremел засов.

– Не входить! – крикнул Дубровский. – Сейчас здесь лежат два трупа. Ворветесь – будет больше. Требуем уполномоченного и начальника режима.

Лишь после того, как те прибыли, Дубровский и Салов бросили им под ноги ножи.

Стояло то короткое время, когда расстрел был отменен. Поэтому Дубровскому и Салову лишь прибавили срок. Оставили на Бутугычаге – страшнее места на Колыме не было. Как особо опасных преступников, перевели в домик с решетками, сложенный из камней под самой вышкой. На работу ходили вместе с нами. Но Дубровский и Салов знали, что по сути они уже приговорены к смерти. Нужен только случай, чтобы с ними расправиться.



Бутугычаг. Одно из лагерных кладбищ. Фото 90-х годов

Первым погиб Салов. Конвойный уговорил его за хорошую работу не идти с «Шайтана» пешком, а вдвоем подняться на бремсберге.

Чувствуя недоброе, Салов отказался, но охранники подняли его на смех: «Дрейфишь!»

Его застрелили у штольни за снегозащитной стенкой. Рядом валялся подброшенный нож. «Напал на меня!» — кричал конвойный.

После смерти Салова Дубровский был особенно осторожен. Не отходил из забоя в сторону, не брал протянутый конвойным табак. Ведь табличку «Запретная зона» всегда можно после выстрелов передвинуть. По окончании работы первым подходил к надзирателю и протягивал руки под наручники (в наручниках не застрелят). Вот только не совсем уважительно отзывался о Сталине, как и все блатные, называя его «ус» и делая соответствующий знак над верхней губой.

В тот вечер, когда Дубровский протягивал надзирателю руки под наручники, подбежал конвойный:

— Пстой! Так ты как называешь великого товарища Сталина? Ус? Ах ты, падла!

И он в упор всадил в Царевича очередь из автомата. Из телогрейки полетели клочья ваты.

— Да я за товарища Сталина жизни не пожалею! — рвал на себе гимнастерку конвойный. Он был прислан к нам недавно. Как догадывались — для спецзадания.

Прошел слух — на Сопку прибывают женщины. И верно, однажды по долине, а потом и по сопке вдоль бремсберга потянулись цветные платочки. Из домов и забоев высыпали мужчины. Одни, изголодавшиеся, кричали им навстречу бранные слова, другие радостное: «Сестрички!»

В основном то были женщины и девушки из Прибалтики — из Литвы, сестры и подруги «лесных братьев».

К тому времени в каторжном режиме наметилось потепление. Выдали постели — матрацы, одеяла и подушки. Разрешили переписку с родными и даже посылки. Иной становилась атмосфера как на производстве, так и в лагере. Меньше свистели палки, человечнее становилась речь.

Во многом это объяснялось и тем, что стало недоставать — как бы это получше сказать — людских ресурсов. Было время, когда для Золотой Колымы ничего не жалели, в том числе и людей. Дал заявку — и пароходы с живой силой от Владивостока (вначале — из бухты Находка, потом — из порта Ванино) двинутся в путь. Теперь людской поток стал убывать. Пришло время беречь людей. Вот и эти женские этапы — прямое свидетельство того, что мужские запасы истощены.

Изменения коснулись также вольнонаемных кадров — от руководителей верхнего эшелона Дальстроя и НКВД до начальников

приисков, лагпунктов и ниже. На смену отожравшимся в тылу патриотам, видевшим патриотизм в истреблении людей, приходили фронтовики, хлебнувшие горя и поражений, испытывавшие радость побед, завоеванных ими. Это мы ощущали и в простых бойцах.

Вот и у нас на Верхнем Бутугычаге, на Сопке начальником лагеря стал капитан Малеев (прежде командовали сержанты и младшие лейтенанты), прихрамывающий от ранения и ходивший с палочкой. Жена его стала у нас начальником санчасти, и за душевность ее все называли за глаза просто Аннушкой. При ней никто не смел ударить человека, издеваться над ним. Дрожжеваркой, где нужна особо опрятная девушка, Аннушка назначила Стасю, со светлыми вьющимися волосами. Стася рассказывала: «Аннушка спрашивает: ну, как живут дома? Я читаю письмо, плачу, а она тоже плачет, положит руку на плечо...»

Со многими у меня сложились отношения, как с сестрами, и они дорожили этим – Стася, Бенути. У них, у их подруг были милые имена: Лайме, Лайсве, Банга – Счастье, Любовь, Волна. И еще у них были строгие и любящие наставницы – пани учительки. Нигде я не видел, чтобы вчерашние ученицы так трогательно, с уважением относились к своим учителям. А те в письмах напоминали им о клятве – вернуться на Родину такими же, как уехали, сохранив ей верность и любовь. И в самом деле, они вели себя достойно.

Мужчин-литовцев на Сопке почти не было. Своими мыслями я делился порой с художником Виткусом Витаутасом, а он со мной, но его скоро спустили вниз. Он хорошо рисовал и понадобился КВЧ (культурно-воспитательная часть), которые стали создаваться и на каторге.

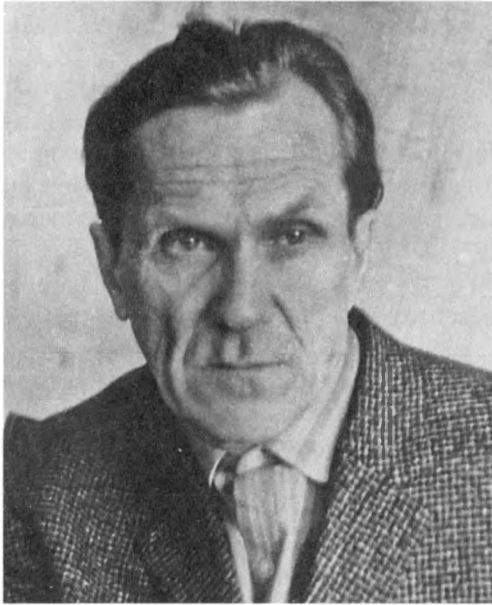
Присутствие женщин благотворно сказалось на нас, мужчинах. Невольно подтянулись, стали следить за одеждой, за щетиной на лице. Лагерная любовь – почти нетронутая тема. Да, случалось все – и нежность, и подлость. И все же побеждало светлое.

Женщинам разрешили цветные платочки на голову. Кругом камень, а тут... Поистине – чудо в ущелье.

С «Вакханки» донеслась весть. Там прошла медицинская комиссия, составившая акты на инвалидность женщин-каторжниц. Первые такой этап отправлен с Бутугычага. Направили в Среднюю Азию. Славная выдумка – изо льда да в пламень. Надо бы сказать – чудовищная, но я как-то не люблю подобных слов.

Среди них были Елена Владимировна и Евгения Костюк. Женя там и умерла, в Песчанлаге. Лена выжила.

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ



Варлам Тихонович Шаламов родился в 1907 году в Вологде в семье священника. Получив среднее образование, уезжает в Москву и в 1926 году поступает в МГУ на факультет советского права. В 1929 году арестован за распространение «завещания» В. И. Ленина. Срок отбывал на Вишере. В 1932 году Варлам Тихонович возвратился в Москву, работал в журнальных редакциях. В 1937 году повторно арестован, осужден на 5 лет лагерей и этапирован на Колыму.

В 1943 году Шаламов получил новый лагерный срок – 10 лет. После войны закончил фельдшерские курсы для заключенных и работал в Центральной больнице УСВИТЛа в поселке Левый берег (Дебин). Там мои родители – Галина Александровна Воронская и Иван Степанович Исаев, – отбывшие срок в лагерях, с ним подружились.

В 1951 году Шаламова освободили, но лишь через два года он смог уехать на материк. В 1956 году реабилитирован и вернулся в Москву. Занимался литературным трудом. Было издано несколько сборников его стихов. Эти книги и свои «Колымские рассказы» Варлам Тихонович подарил моим родителям.

В 1982 году Варлама Шаламова не стало.

Татьяна Исаева

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА

От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени: ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами — так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. В этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад-рапорт местного начальника об этом событии успевает доставить на высоких скоростях фельдьегер в какие-нибудь «высшие сферы».

Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посетовал, что культурбота в лагере хромает на обе ноги, «культорг» майор Пугачев сказал гостю:

— Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит.

Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Браудэ, командированного из центральной больницы в район военных действий.

Можно начать также с письма Яшки Кученя, санитаря из заключенных, лежавшего в больнице. Письмо это было написано левой рукой — правое плечо Кученя было прострелено винтовочной пулей навылет.

Или с рассказа доктора Потаниной, которая ничего не видала и ничего не слыхала и была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь определил как «ложное алиби», как преступное бездействие или как это еще называется на юридическом языке.

Аресты тридцатых годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли, — словом, таких качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего «правосудия». Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умирать. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И, разоб-

щенные, они умирали в белой колымской пустыне — от голода, холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами.

На смену им после войны пароход за пароходом шли «репатриированные» — из Италии, Франции, Германии прямой дорогой на крайний северо-восток.

Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны, — со смелостью, умением рисковать, веривших только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики...

Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности «троцкистов», нимало не беспокоилась и не ждала ничего нового.

Новички спрашивали у уцелевших «аборигенов»:

— Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?

Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам:

— Через две недели каждый из вас поймет и будет делать так же.

Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода, голода многолетнего, ломающего волю? И что нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить возможно дольше процесс еды: в бараке с кружкой горячей безвкусной снеговой «топленной» воды доесть, дососать свою «пайку» хлеба в величайшем блаженстве.

Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону.

Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть — сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью; глядя на зиму, никуда не побежишь; но летом если и не убежать вовсе, то умереть — свободным.

И всю зиму плелась сеть этого чуть не единственного за двадцать лет заговора.

Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто не будет работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда.

Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в службу: Солдатов стал поваром, сам Пугачев — культоргом, был

фельдшер, два бригадира, а бывлой механик Иващенко чинил оружие в отряде охраны.

Но без конвоя их не выпускали никого «за проволоку».

Началась ослепительная колымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения птиц. Исчез помаленьку снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды, до будущего года.

И намеченный день настал.

В дверь крошечного помещения вахты у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь лагеря и наружу за лагерь, где по уставу всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы-ходики. Было пять часов утра. «Только пять», — подумал дежурный. Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар, заключенный Солдатов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте, и трижды в день повар Солдатов ходил за этими ключами. Потом приносил обратно.

Надо бы дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что контролировать повара — безнадежное дело, никакие замки не помогут, если повар захочет украсть, — и доверял ключи повару. Тем более в пять часов утра.

Дежурный проработал на Колыме больше десятка лет, давно получал двойное жалованье и тысячи раз давал в руки поварам ключи.

— Возьми, — и дежурный взял линейку и склонился графить утреннюю рапортничку.

Солдатов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась, и на вахту в дверь со стороны лагеря вошел Иващенко, механик. Иващенко помог Солдатову задушить надзирателя и затащить его труп за шкаф. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Иващенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. Второй дежурный открыл дверь и шагнул в темную конуру вахты. В ту же минуту он был схвачен, задушен и брошен за шкаф.

Солдатов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. Все шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена второго надзирателя, тоже за ключами, которые случайно унес муж.

— Бабу не будем душить, — сказал Солдатов. И ее связали, затолкали полотенце в рот и положили в угол.

Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший на вахту, был сразу обезоружен и связан двумя «надзирателями». Винтовка попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев.

Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели.

Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на севере может сказать, что рано и что поздно? Кажется, чуть раньше. А может быть, чуть позже.

Бригада — десять человек — строем по два двинулась по дороге в забой. Впереди и сзади в шести метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях, один из них с винтовкой в руках.

Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы — весь отряд в шестьдесят человек.

Спальная конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамиды с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, что какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны.

«Это, наверное, Черненко, — не узнавая конвоира, подумал дежурный. — Обязательно напишу на него рапорт».

Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы возможности сделать кому-нибудь пакость на законном основании.

Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали три солдата. Двое бросились к дверям спальни, а третий застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты, все бросились к пирамиде — винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев с силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы, еще в белье, босые, кинулись было к двери, но две автоматные очереди в потолок остановили их.

— Ложись, — скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчик остался караулить у порога.

«Бригада» не спеша стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запасаться оружием и патронами.

Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружия и патронов было взято сколько можно.

Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи. Беглецы почувствовали себя снова солдатами.

Перед ними была тайга, но страшнее ли она болот Стохода?

Они вышли на трассу, на шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик.

– Вылезай! – Он открыл дверцу кабины грузовика.

– Да я...

– Вылезай, тебе говорят.

Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе, рядом с ним – Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался.

– Как будто здесь поворот.

– Бензин весь!..

Пугачев выругался.

Они вошли в тайгу, как ныряют в воду, – исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая напрямиком через удивительный здешний бурелом.

Деревья на севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте отходили тысячи мелких щупальцев-отростков. Каждое лето мерзлота чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вползал и укреплялся там коричневый корень-щупальце.

Деревья здесь достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое могучее тело на этих слабых корнях.

Поваленные бурей деревья падали навзничь головами все в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха, яркого розового или зеленого цвета.

Стали устраиваться на ночь, быстро, привычно. И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться.

– Что вы там? – спросил Пугачев.

– Да вот Ашот мне все доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали.

– Как на Цейлон?

– Так у них, магометан, говорят, – сказал Ашот.

– А ты что – татарин, что ли?

– Я не татарин, жена – татарка.

– Никогда не слышал, – сказал Пугачев, улыбаясь.

– Вот-вот, и я никогда не слышал, – подхватил Малинин.

– Ну, спать!..

Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдат сидел, положив автомат на колени, весь – внимание. Пугачев лег на спину, отыскал глазами Полярную звезду – любимую звезду пешеходов. Созвездия

здесь располагались не так, как в Европе, в России, — карта звездного неба была чуть скошенной, и Большая Медведица отползла к линии горизонта. В тайге было молчаливо, строго; огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают, — лесная тишина для него была трижды тревожна.

Это была первая его ночь на свободе, первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал, как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех двенадцати жизней Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись «конец фильма» — они на свободе. И начало борьбы, игры, жизни...

Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча-допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор — двадцать пять лет тюрьмы.

Майор Пугачев вспомнил приезды эмиссаров Власова с его «манифестом», приезд к голодным, измученным, истерзанным русским солдатам.

— От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный — изменник в глазах вашей власти, — говорили власовцы. И показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылки. Французы, американцы, англичане — пленные всех национальностей получали посылки, письма, у них были землячества, дружба; у русских — не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. Немудрено, что в «Русскую освободительную армию» вступало много заключенных из немецких лагерей военнопленных.

Майор Пугачев не верил власовским офицерам до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась.

Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем — многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима.

Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних, вовлеченных в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец Солдатов.

У ног его лежал летчик капитан Хрусталеv, судьба которого схожа с пугачевской. Подбитый немцами самолет, плен, голод, побег — трибунал и лагерь. Вот Хрусталеv повернулся боком — одна щека краснее, чем другая — «належал» щеку. С Хрусталевым с первым несколько месяцев тому назад заговорил о побеге майор Пугачев. О том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных.

И Хрусталеv, и майор были людьми дела, и тот ничтожный шанс, ради которого жизнь двенадцати людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом. План был в захвате аэродрома, самолета. Аэродромов было здесь несколько, и вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой.

Хрусталеv и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд, — Пугачев не хотел уходить без ближайшего друга. Вот он спит, Хрусталеv, спокойно и крепко.

А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки охраны. Иващенко узнал все нужное для успеха: где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Иващенко — бывший разведчик.

Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович — оба летчики, товарищи капитана Хрусталева.

Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей — гиганта Георгадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Калинин, лагерный — раньше военный — фельдшер, собственный фельдшер особой пугачевской группы.

Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что все шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие. Есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет теней.

Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть — они не боялись смерти.

«И никто ведь не выдал, — подумал Пугачев, — до последнего дня». О предполагавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачев говорил откровенно, отказывались, но никто не побежал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью.

— Вот молодцы, вот молодцы, — шептал он и улыбался.

Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропка вела их.

— Медвежья, — сказал Селиванов, сибирский охотник.

Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал, к картографической треноге, и стали смотреть в бинокль вниз на две серые полосы — реку и шоссе. Река была как река, а шоссе на большом пространстве в несколько десятков километров было полно грузовиков с людьми.

— Заключенные, наверно, — предположил Хрусталев.

Пугачев взгляделся.

— Нет, это солдаты. Это за нами. Придется разделиться, — сказал Пугачев. — Восемь человек пусть ночуют в стогах, а мы четвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, если все будет хорошо.

Они, минуя подлесок, вошли в русло ручья. Пора назад.

— Смотри-ка, слишком много, давай по ручью наверх.

Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча.

Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз.

Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат, ненадолго — автомат его умолк, и стреляла только винтовка.

Хрусталев и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал.

— Иди один, — сказал Хрусталеву майор, — постреляю. — Он бил не спеша, каждого, кто показывался. Хрусталев вернулся, крича: «Идут!» И упал. Из-за большого камня выбегали люди.

Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им при падении, грохотали, не долетев еще до низу.

Он шел тайгой, без дороги, пока не обессилел.

А над лесной поляной поднялось солнце, и тем, кто притаился в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме — со всех сторон поляны.

— Конец, что ли? — сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем.

— Зачем конец? — сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел, упал солдат на тропе.

Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам.

Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны.

Атака была отбита. Несколько раненых лежали в болотных кочках.

— Санитар, ползи, — распорядился какой-то начальник.

Из больницы был предусмотрительно взят санитар из заключенных Яшка Кучень, житель Западной Белоруссии. Ни слова не говоря, арестант Кучень пополз к раненому, размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кученя на полдороге.

Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны — того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал:

— Эй, Иващенко, Солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены! Вам некуда деться!

— Иди, принимай оружие! — закричал Иващенко из стога.

И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту, к стогам.

Когда он пробежал половину тропы, шелкнул выстрел Иващенко — пуля попала Бобылеву прямо в лоб.

— Молодчик, — похвалил товарища Солдатов. — Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему все равно: его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Ну, держись.

Отовсюду стреляли. Зататакали привезенные пулеметы.

Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова убитого Иващенко.

Другой стог молчал. С десятков трупов лежало в болоте.

Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его по голове, и он потерял сознание.

Николай Сергеевич Браудэ, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением генерал-майора Артемьева, одного из четырех колымских генералов, начальника охраны всего Колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с «двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом» — как говорилось в телефонограмме.

Браудэ, не гадая понапрасну, быстро собрался, и полуторатонный, выдавший виды больничной грузовой машины двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную машину непрерывно обгоняли мощные студебеккеры, груженные вооруженными солдатами. Надо было сделать всего сорок километров, но из-за частых остановок, из-за скопления машин где-то впереди, из-за непрерывных проверок документов Браудэ добрался до цели только через три часа.

Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. И Браудэ, и Артемьев были старые колымчане, судьба их сводила вместе уже не в первый раз.

— Что тут, война, что ли? — спросил Браудэ у генерала, когда они поздоровались.

— Война не война, а в первом сражении двадцать восемь убитых. А раненых посмотрите сами.

И пока Браудэ умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему о побеге.

— А вы, — сказал Браудэ, закуривая, — вызвали бы самолеты, что ли? Две-три эскадрильи, и бомбили, бомбили... Или прямо атомной бомбой.

— Вам все смешки, — сказал генерал-майор. — А я без всяких шуток жду приказа. Да еще хорошо — уволят из охраны, а то ведь с преданием суду. Всякое бывало.

Да, Браудэ знал, что всякое бывало. Несколько лет назад три тысячи человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей, пока этап шел. Из трех тысяч человек в живых остались человек триста. И заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе этапа, был принесен в жертву и отдан под суд.

Браудэ с фельдшерами до вечера извлекал пули, ампутировал, перевязывал. Раненые были только солдаты охраны — ни одного беглеца среди них не было.

На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Браудэ. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменной кости. Беглец был без сознания.

Браудэ оказал ему первую помощь и по приказу Артемьева вместе с конвоирами повез раненого к себе в большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции.

Все было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом, — там были сложены тела убитых беглецов. И рядом — вторая машина с телами убитых солдат.

Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам двухтысячекилометрового шоссе.

Двенадцатого — майора Пугачева — не было.

Солдатова долго лечили и вылечили — чтобы расстрелять. Впрочем, это был единственный смертный приговор из шестидесяти — такое количество друзей и знакомых беглецов угодило «под трибунал». Начальник местного лагеря получил десять лет. Начальник санитарной части доктор Потанина по суду была оправдана, и едва закончился процесс, она переменила место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел — он был снят с работы, уволен со службы в охране.

Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры — это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который давно уже вышел и бродит по тайге. На стенах пещеры и на камнях ее дна попадались медвежьи волоски.

«Вот как скоро все кончилось, — подумал Пугачев. — Приведут собак и найдут. И возьмут».

И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь — трудную мужскую жизнь, жизнь, которая кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил людей — всех, кого он уважал и любил, начиная с собственной матери. Вспомнил школьную учительницу Марию Ивановну, которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой порыжевшим вытертым черным бархатом. И много, много людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он.

Но лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни.

Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне у самого входа в пещеру. Сизая морщинистая прошлогодняя ягода лопнула у него в пальцах, и он облизал пальцы. Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему языку.

Да, это были лучшие люди. И Ашота фамилию он знал теперь — Хачатурян.

Майор Пугачев припомнил их всех — одного за другим — и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил.

ЖИТИЕ ИНЖЕНЕРА КИПРЕЕВА

Много лет я думал, что смерть есть форма жизни, и, успокоенный зыбкостью суждения, я вырабатывал формулу активной защиты своего существования на горестной этой земле.

Я думал, что человек тогда может считать себя человеком, когда в любой момент всем своим телом чувствует, что он готов покончить с собой, готов вмешаться сам в собственное свое житие. Это сознание и дает волю на жизнь.

Я проверял себя многократно и, чувствуя силу на смерть, оставался жить.

Много позже я понял, что я просто построил себе убежище, ушел от вопроса, ибо в момент решения я не буду таким, как сейчас, когда жизнь и смерть – волевая пора. Я ослабею, изменюсь, изменю себе. Я не стал думать о смерти, но почувствовал, что прежнее решение нуждается в каком-то другом ответе, что обещания самому себе, клятвы слишком наивны и очень условны.

В этом убедила меня история инженера Кипреева.

Я никого в жизни не предал, не продал. Но я не знаю, как бы держался, если бы меня били. Я прошел все свои следствия удачейшим образом – без битья, без метода номер три. Мои следователи во всех моих следствиях не прикасались ко мне пальцем. Это случайность, не более. Я просто проходил следствие рано – в первой половине тридцать седьмого года, когда пытки еще не применялись.

Но инженер Кипреев был арестован в 1938 году, и вся грозная картина битья на следствии была ему известна. И он выдержал это битье, кинувшись на следователя, и, избитый, посаженный в карцер. Но пункта подписи следователи легко добились от Кипреева: его припугнули арестом жены, и Кипреев подписал.

Вот этот страшный нравственный удар Кипреев пронес сквозь всю жизнь. Немало в жизни арестантской есть унижений, растлений. В дневниках людей освободительного движения России есть страшная травма – просьба о помиловании. Это считалось позором до революции, вечным позором. И после революции в обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев не принимали категорически так называемых «подаванцев», то есть когда-либо по любому поводу прошивших царя об освобождении, о смягчении наказания.

В тридцатых годах не только «подаванцам» все прощалось, но даже тем, кто подписал на себя и других заведомую ложь, подчас кровавую, – прощалось.

Живые примеры давно состарились, давно сгибли в лагере, в ссылке, а те, кто сидел и проходил следствие, были сплошь «подаванцы». Поэтому никто и не знал, каким нравственным пыткам обреч себя Кипреев, уезжая на Охотское море — во Владивосток, в Магадан.

Кипреев был инженер-физик из того самого Харьковского физического института, где раньше всего в Советском Союзе подошли к ядерной реакции. Там работал и Курчатов. Харьковский институт не избежал чистки. Одной из первых жертв в атомной нашей науке был инженер Кипреев.

Кипреев знал себе цену. Но его начальники цену Кипрееву не знали. Притом оказалось, что нравственная стойкость мало связана с талантом, с научным опытом, научной страстью даже. Это были разные вещи. Зная о побоях на следствии, Кипреев подготовил себя очень просто — он будет защищаться как зверь, отвечать ударом на удар, не разбирая, кто исполнитель, а кто — создатель этой системы, метода номер три. Кипреев был избит, брошен в карцер. Все начиналось сначала. Физические силы изменяли, а вслед за физической изменяла душевная твердость. Кипреев подписал. Угрожали арестом жены. Кипрееву было безмерно стыдно за эту слабость, за то, что при встрече с грубой силой он, интеллигент Кипреев, уступил. Тогда же, в тюрьме, Кипреев дал себе клятву на всю жизнь никогда не повторять позорного своего поступка. Впрочем, только Кипрееву его действие казалось позорным. Рядом с ним на нарах лежали также подписавшие, оклеветавшие. Лежали и не умирали. У позора нет границ, вернее, границы всегда личны, и требования к самому себе иные у каждого жителя следственной камеры.

С пятилетним сроком Кипреев явился на Колыму, уверенный, что найдет путь к досрочному освобождению, сумеет вырваться на волю, на материк. Конечно, инженера оценят. И инженер зарабатывает зачеты рабочих дней, освобождение, скидку срока. Кипреев с презрением относился к лагерному труду физическому, он скоро понял, что ничего, кроме смерти, в конце этого пути нет. Работать, где можно было применить хоть тень специальных знаний, которые были у Кипреева, — и он выйдет на волю. Хоть квалификацию не потеряет.

Опыт работы на прииске, сломанные пальцы, попавшие в скрепер, физическая слабость, щуплость даже — все это привело Кипреева в больницу, а после больницы на пересылку.

Беда была еще и в том, что инженер не мог не изобретать, не искать научных технических решений в том хаосе лагерного быта, в котором инженер жил.

Лагерь же, лагерное начальство смотрело на Кипреева как на раба, не более. Энергия Кипреева, за которую он сам себя клял тысячу раз, искала выхода.

Только ставка в этой игре должна быть достойной инженера, учебного. Эта ставка — свобода.

Колыма не только потому «чуждая планета», что там «девять месяцев в году» зима. Там в войну сто рублей платили за яблоко, а ошибка в распределении свежих помидоров, привезенных с материка, приводила к кровавым драмам. Все это — и яблоки, и помидоры, — разумеется, для вольного, вольнонаемного мира, к которому заключенный Кипреев не принадлежал. «Чуждая планета» не только потому, что там «закон — тайга». Не потому, что Колыма — сталинский спецлагерь уничтожения. Не потому, что там «дефицит» — махорка, чифирь-чай; что это валюта колымская, истинное ее золото, за которое приобретается все.

И все же дефицитней всего было стекло — стеклянные изделия, лабораторная посуда, инструменты. Хрупкость стекла усиливали морозы, а норма «боя» не увеличивалась. Простой градусник медицинский стоил рублей триста. Но подпольных базаров на градусники не существовало. Врачу надо заявить уполномоченному райотдела о предложении, ибо медицинский градусник прятать труднее, чем Джоконду. Но врач никаких заявлений не подавал. Он просто заплатил триста рублей и принес градусник из дому мерить температуру тяжелобольным.

На Колыме консервная банка — поэма. Жестяная консервная банка — это мерка, удобная мерка всегда под рукой. Это мерка воды, крупы, муки, киселя, супа, чая. Это кружка для «чифиря», в ней так удобно «подварить чифирку». Кружка эта стерильна — она очищена огнем. Чай, суп разогревают, кипятят в печке, на огне костра.

Трехлитровая банка — это классический котелок доходяг, с проводочной ручкой, которая удобно прикреплена к поясу. А кто на Колыме не был или не будет доходягой?

Стеклянная банка — это свет в раме деревянного переплета, ячеистом, рассчитанном на обломки стекла. Это прозрачная банка, в которой так удобно хранить медикаменты в амбулатории.

Пол-литровая банка — посуда для третьего блюда лагерной столовой.

Но не термометры, не лабораторная посуда, не консервные банки главный стеклянный дефицит на Колыме.

Главный дефицит — это электролампа.

На Колыме сотни приисков, рудников, тысячи участков, разрезов, шахт, десятки тысяч золотых, урановых, оловянных, вольфрамовых забоев, тысячи лагерных командировок, вольнонаемных поселков, лагерных зон и барачков отрядов охраны, и всюду нужен свет,

свет, свет. Колыма девять месяцев без солнца, без света. Бурный, незакатный солнечный свет не спасает, не дает ничего.

Есть свет и энергия от сдвоенных тракторов, от локомотива.

Промприборы, бутары, забой требуют света. Подсвеченные юпитерами забой удлиняют ночную смену, делают производительней труд.

Везде нужны электролампы. Их возят с материка – трехсотки, пятисотки и в тысячу свечей, готовых осветить барак и забой. Неровный свет движков обрекает лампы на преждевременный износ.

Электролампа – это государственная проблема на Колыме.

Не только забой должен быть подсвечен. Должна быть подсвечена зона, колючая проволока с караульными вышками по норме, которую Дальний Север увеличивает, а не уменьшает.

Отряду охраны должен быть обеспечен свет. Простой активкой (как в приисковом забое) тут не обойдешься, тут люди, которые могут бежать, и, хотя ясно, что бежать зимой некуда и никто на Колыме зимой никогда никуда не бежал, закон остается законом, и, если нет света или нет ламп, разносят горящие факелы вокруг зоны и оставляют их на снегу до утра, до света. Факел – это тряпка в мазуте или бензине.

Электролампы перегорают быстро. И восстановить их нельзя.

Кипреев написал докладную записку, удивившую начальника Дальстроя. Начальник уже почувствовал орден на своем кителе, кителе, конечно, а не френче и не пиджаке.

Восстановить лампы можно – лишь бы было цело стекло.

И вот по Колыме полетели грозные приказы. Все перегоревшие лампочки бережно доставлять в Магадан. На промкомбинате, на сорок седьмом километре был построен завод. Завод восстановления электрического света.

Инженер Кипреев был назначен начальником цеха завода. Весь остальной персонал, штатная ведомость, выросшая вокруг ремонта электроламп, – был только вольнонаемным. Удача была пущена в надежные, вольнонаемные руки. Но Кипреев не обращал на это внимания. Его-то создатели завода не могут не заметить.

Результат был блестящим. Конечно, после ремонта лампы долго не работали. Но сколько-то часов, сколько-то суток золотых Кипреев сберег Колыме. Этих суток было очень много. Государство получило огромную выгоду, военную выгоду, золотую выгоду.

Директор Дальстроя был награжден орденом Ленина. Все начальники, имевшие отношение к ремонту электроламп, получили ордена.

Однако ни Москва, ни Магадан даже не подумали отметить заключенного Кипреева. Для них Кипреев был раб, умный раб, и больше ничего.

Все же директор Дальстроя не считал возможным вовсе забыть своего таежного корреспондента.

На великий колымский праздник, отмеченный Москвой, в узком кругу, на торжественном вечере в честь — чью честь? — директора Дальстроя, каждого из получивших ордена и благодарности, ведь кроме правительственного указа директор Дальстроя издал свой приказ о благодарностях, награждениях, поощрениях, — всем участвовавшим в ремонте электроламп, всем руководителям завода, где был цех по восстановлению света, были, кроме орденов и благодарностей, еще заготовлены американские посылки военного времени. Эти посылки, входившие в поставку по ленд-лизу, состояли из костюма, галстука, рубашки и ботинок. Костюм, кажется, пропал при перевозке, зато ботинки — краснокожие американские ботинки на толстой подошве — были мечтой каждого начальника.

Директор Дальстроя посоветовался с помощником, и все решили, что о лучшем счастье, о лучшем подарке инженер-зэка не может и мечтать.

О сокращении срока инженеру, о полном его освобождении директор Дальстроя и не предполагал просить Москву в это тревожное время. Раб должен быть доволен и старым ботинкам хозяина, костюмом с хозяйского плеча.

Об этих подарках говорил весь Магадан, вся Колыма. Здешние начальники получили орденов и благодарностей предостаточно. Но американский костюм, ботинки на толстой подошве — это было вроде путешествия на Луну, полет в иной мир.

Настал торжественный вечер, блестящие картонные коробки с костюмами громоздились на столе, затянутом красным сукном.

Директор Дальстроя прочел приказ, где, конечно, имя Кипреева не было упомянуто, не могло быть упомянуто.

Начальник политуправления прочел список на подарки. Последней была названа фамилия Кипреева. Инженер вышел к столу, ярко освещенному лампами — его лампами, — и взял коробку из рук директора Дальстроя.

Кипреев выговорил раздельно и громко: «Американских обносков я носить не буду», — и положил коробку на стол.

Тут же Кипреев был арестован и получил восемь лет дополнительного срока по статье — какой, я не знаю, да это и не имеет никакого значения на Колыме, никого не интересует.

Впрочем, какая статья за отказ от американских подарков? Не только, не только. В заключении следователя по новому «делу» Кипреева сказано: говорил, что Колыма — это Освенцим без печей.

Этот второй срок Кипреев встретил спокойно. Он понимал, на что идет, отказываясь от американских подарков. Но кое-какие меры личной безопасности инженер Кипреев принял. Меры были вот какие. Кипреев попросил знакомого написать письмо жене на материк, что он, Кипреев, умер. И перестал писать письма сам.

С завода инженер был удален на прииск, на общие работы. Вскоре война кончилась, лагерная система сделалась еще сложнее — Кипреева как сугубого рецидивиста ждал номерной лагерь.

Инженер заболел и попал в центральную больницу для заключенных. Здесь в работе Кипреева была большая нужда — надо было собрать и пустить рентгеновский аппарат, собрать из старья, из деталей-инвалидов. Начальник больницы доктор Доктор обещал освобождение, скидку срока. Инженер Кипреев мало верил в такие обещания — он числился больным, а зачеты дают только штатным работникам больницы. Но в обещание начальника хотелось верить, рентгенокабинет не прииск, не золотой забой.

Здесь мы встретили Хиросиму.

— Вот она — бомба, это то, чем мы занимались в Харькове.

— Самоубийство Форрестола. Поток издевательских телеграмм.

— Ты знаешь, в чем дело? Для западного интеллигента принимать решение сбросить атомную бомбу очень сложно, очень тяжело. Депрессия психическая, сумасшествие, самоубийство — вот цена, какой платит за такие решения западный интеллигент. Наш Форрестол не сошел бы с ума. Сколько встречал ты хороших людей в жизни? Настоящих, которым хотелось бы подражать, служить?

— Сейчас вспомню: инженер-вредитель Миллер и еще человек пять.

— Это очень много.

— Ассамблея подписала протокол о геноциде.

— Геноцид? С чем его едят?

— Мы подписали конвенцию. Конечно, тридцать седьмой год — это не геноцид. Это истребление врагов народа. Можно подписывать конвенцию.

— Режим закручивают на все винты. Мы не должны молчать. Как в букваре: «Мы не рабы — рабы не мы». Мы должны сделать что-то, доказать самим себе.

— Самим себе доказывают только собственную глупость. Жить, выжить — вот задача. И не сорваться... Жизнь более серьезна, чем ты думаешь.

.....
Зеркала не хранят воспоминаний. Но то, что у меня прячется в моем чемодане, трудно назвать зеркалом — обломок стекла, как будто

поверхность воды замутилась, и река осталась мутной и грязной навсегда, запомнив что-то важное, что-то бесконечно более важное, чем хрустальный поток прозрачной, откровенной до дна реки. Зеркало замутилось и уже не отражает ничего. Но когда-то зеркало было зеркалом, было подарком бескорыстным и пронесенным мною через два десятилетия – лагеря, воли, похожей на лагерь, и всего, что было после XX съезда партии. Зеркало, подаренное мне, не было коммерцией инженера Кипреева – это был опыт, научный опыт, след этого опыта во тьме рентгеновского кабинета. Я сделал к этому зеркальному куску деревянную оправу. Не сделал – заказал. Оправа до сих пор цела, ее делал какой-то столяр из латышей, выздоравливающий больной – за пайку хлеба. Я уже мог тогда дать пайку хлеба за такой сугубо личный, сугубо легкомысленный заказ.

Я смотрю на эту оправу – грубую, покрашенную масляной краской, какой красят полы, – в больнице шел ремонт, и столяр выпросил «чуток» краски. Потом раму лакировал – лак давно стерся. В зеркало ничего не видно, а когда-то я брился перед ним в Оймяконе, и все вольняшки завидовали мне. Завидовали мне до 1953 года, когда в поселок кто-то вольный, кто-то мудрый прислал посылку зеркал, дешевых зеркал. И эти крошечные копеечные зеркала – круглые и квадратные – продавались по ценам, напоминающим цены на электролампы. Но все снимали с книжки деньги и покупали. Зеркала были распроданы в один день, в один час.

Тогда мое самодеятельное зеркало уже не вызывало зависть моих гостей.

Зеркало со мной. Это не амулет. Приносит ли это зеркало счастье – не знаю. Может быть, зеркало отражает лучи зла, не дает мне раствориться в человеческом потоке, где никто, кроме меня, не знает Колымы и не знает инженера Кипреева.

Кипрееву было все равно. Какой-то уголовник, почти блатной, рецидивист пограмотней, приглашенный начальником для обучения грамотный блатарь, постигающий тайну рентгенокабинета, включающий и выключающий рычаги, блатарь, что шел по фамилии Рогов, учился у Кипреева делу рентгенотехники.

Тут у начальства были намерения немалые, и меньше всего начальство думало о Рогове, блатаре. Нет, но Рогов поселился с Кипреевым в рентгенокабинете, стало быть, контролировал, следил, доносил, участвовал в государственной работе, как друг народа. Постоянно информировал, предупреждал всякие беседы, визиты. И если не мешал, то доносил, блюл.

Это была главная цель начальства. А кроме того, Кипреев готовил смену самому себе – из бытовиков.

Как только Рогов научился бы делу — это была профессия на всю жизнь, — Кипреева послали бы в Берлаг, номерной лагерь для рецидивистов.

Все это Кипреев понимал и не собирался противоречить судьбе. Он учил Рогова, не думая о себе.

Удача Кипреева была в том, что Рогов плохо учился. Как всякий бытовик, понимающий главное — что начальство не забудет бытовиков ни при каких обстоятельствах, — Рогов не очень внимательно учился. Но пришел час. Рогов сказал, что он может работать, и Кипреева отправили в номерной лагерь. Но в рентгеноаппарате что-то разладилось, и через врачей Кипреева снова прислали в больницу. Рентгенокабинет заработал.

К этому времени относится опыт Кипреева с блендой.

Словарь иностранных слов 1964 года так объясняет слово «бленда»: «4) диафрагма (заслонка с произвольно изменяемым отверстием), применяемая в фотографии, микроскопии и рентгеноскопии».

Двадцать лет назад в словаре иностранных слов «бленды» нет. Это новинка военного времени — попутное изобретение, связанное с электронным микроскопом.

В руки Кипреева попала оборванная страница технического журнала, и бленда была применена в рентгенокабинете в больнице для заключенных на левом берегу Колымы.

Бленда была гордостью инженера Кипреева, его надеждой, слабой надеждой, впрочем. О бленде было доложено на врачебной конференции, послан доклад в Магадан, в Москву. Никакого ответа.

* * *

— А зеркало ты можешь сделать?

— Конечно.

— Большое. Вроде трюмо.

— Любое. Было бы серебро.

— А ложки серебряные?

— Годятся.

Толстое стекло для столов в кабинетах начальников было выписано со склада и перевезено в рентгенокабинет.

Первый опыт был неудачен, и Кипреев в бешенстве расколол молотком зеркало.

Один из этих осколков — мое зеркало, кипреевский подарок.

Второй раз все прошло удачно, и начальство получило из рук Кипреева свою мечту — трюмо.

Начальник даже и не думал чем-нибудь отблагодарить Кипреева. К чему? Грамотный раб и так должен быть благодарен, что его держат в больнице на койке. Если бы бленда нашла внимание начальства, получена была бы благодарность — не больше. Вот трюмо — это реальность, а бленда — миф, туман... Кипреев был вполне согласен с начальником.

Но по ночам, засыпая на топчане в углу рентгенокабинета, дождавшись ухода очередной бабы от своего помощника, ученика и осведомителя, Кипреев не хотел верить ни Колыме, ни самому себе. Ведь бленда же не шутка. Это технический подвиг. Нет, ни Москве, ни Магадану не было дела до бленды инженера Кипреева.

В лагере не отвечают на письма и напоминать не любят. Приходится только ждать. Случая, какой-то важной встречи.

Все это трепало нервы — если эта шагреновая кожа еще была цела, изорванная, истрепанная.

Надежда для арестанта — всегда кандалы. Надежда — всегда несвобода. Человек, надеющийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек, не имеющий надежды. Пока инженер ждал решения об этой проклятой бленде, он прикусил язык, пропускал мимо ушей все шуточки нужные и не нужные, которыми развлекалось его ближайшее начальство, не говоря уж о помощнике, который ждал дня и часа своего, когда будет хозяином. Рогов и зеркала уж научился делать — прибыль, навар обеспечен.

О бленде знали все. Шутили над Кипреевым все — в том числе секретарь парторганизации больницы аптекарь Кругляк. Мордастый аптекарь был неплохой парень, но горяч, а главное — его учили, что заключенный — это червь. А этот Кипреев... Аптекарь приехал в больницу недавно, истории восстановления электрических лампочек нигде не слышал. Никогда не подумал, что стоило собрать рентгеновский кабинет в глухой тайге на Дальнем Севере.

Бленда казалась Кругляку ловкой выдумкой Кипреева, желанием «раскинуть темноту», «зарядить туфту» — этим-то словам аптекарь уже научился.

В процедурной хирургического отделения Кругляк обругал Кипреева. Инженер схватил табуретку и замахнулся на секретаря парторганизации. Тут же табуретку у Кипреева вырвали, увели его в палату.

Кипрееву грозил расстрел. Или отправка на штрафной прииск, в спецзону, что хуже расстрела. У Кипреева в больнице было много друзей, и не по зеркалам только. История с электролампами была хорошо известна, свежа. Ему помогали. Но тут пятьдесят восемь и пункт восемь — террор.

Пошли к начальнику больницы. Это сделали женщины-врачи. Начальник больницы Винокуров не любил Кругляка. Винокуров ценит инженера, ждал результатов на запрос о бленде, а главное, был незлой человек. Начальник, который не использовал своей власти для зла. Самоснабженец, карьерист Винокуров не делал людям добра, но и зла не хотел никому.

— Хорошо, я не передам материал уполномоченному для начала дела против Кипреева только в одном случае, — сказал Винокуров, — если не будет рапорта Кругляка, самого пострадавшего. Если будет рапорт — дело начнется. Штрафной прииск — это минимум.

— Спасибо.

С Кругляком говорили мужчины, говорили его друзья.

— Неужели ты не понимаешь, что человека расстреляют? Ведь он бесправен. Это не я и не ты.

— Но ведь он руку поднял.

— Руку он не поднял, этого никто не видал. А вот если бы я ругался с тобой, то по второму слову дал бы тебе по роже, — потому ты во все лезешь, ко всем цепляешься.

Кругляк, добрый малый по существу, совсем непригодный для колымских начальников, сдался на уговоры. Кругляк не подал рапорта.

Кипреев остался в больнице. Прошел еще месяц, и в больницу приехал генерал-майор Деревянко, заместитель директора Дальстроя по лагерю — самый высокий начальник для заключенных.

В больнице начальство любило останавливаться. Там было где остановиться большому северному начальству, было где выпить и закутить, было где отдохнуть.

Генерал-майор Деревянко, облачившись в белый халат, ходил из отделения в отделение, разминаясь перед обедом. Настроение генерал-майора было радужным, и Винокуров решил рискнуть.

— Вот у меня есть заключенный, сделавший важную для государства работу.

— Что за работа?

Начальник больницы кое-как объяснил генерал-майору, что такое бленда.

— Я хочу на досрочное представить этого заключенного.

Генерал-майор поинтересовался анкетными данными и, получив ответ, помычал.

— Вот что я тебе скажу, начальник, — сказал генерал-майор, — там бленда блендой, а ты лучше отправь этого инженера... Корнеева...

— Кипреева, товарищ начальник.

– Вот-вот, Кипреева. Отправь его туда, где ему положено быть по анкетным данным.

– Слушаюсь, товарищ начальник.

Через неделю Кипреева отправили, а еще через неделю разладился рентген, и Кипреева вызвали снова в больницу.

Теперь уже было не до шуток – Винокуров боялся, чтоб гнев генерал-майора не пал на него.

Начальник управления не поверит, что рентген разладился. Кипреев был назначен в этап, но заболел и остался.

Теперь не могло быть и речи о работе в рентгенокабинете. Кипреев понял это хорошо.

У Кипреева был мастоидит – простуженная голова на лагерной приисковой койке, – и операция была жизненным показателем. Но никто не хотел верить ни температуре, ни докладам врачей. Винокуров бушевал, требуя скорейшей операции.

Лучшие хирурги больницы собирались делать мастоидит кипреевский. Хирург Браудэ был чуть не специалист по мастоидитам. На Колыме простуд больше чем надо, Браудэ был очень опытен, сделал сотни таких операций. Но Браудэ должен был только ассистировать. Операцию должна была делать доктор Новикова, крупный отоларинголог, ученица Воячека, много лет проработавшая в Дальстрое. Новикова никогда не была в заключении, но уже много лет работала только на северных окраинах. И не потому, что длинный рубль. А потому, что на Дальнем Севере Новиковой многое прощалось. Новикова была алкоголичка запойная. После смерти мужа талантливая ушница, красавица скиталась по Дальнему Северу. Начинала блестяще, а потом срывалась на долгие недели.

Новиковой было лет пятьдесят. Выше ее не было по квалификации человека. Сейчас ушница была в запое, запой кончался, и начальник больницы разрешил задержать Кипреева на несколько дней.

В эти несколько дней Новикова поднялась. Руки у нее перестали трястись, и ушница блестяще сделала операцию Кипрееву – прощальный, вполне медицинский подарок своему рентгенотехнику. Ассистировал ей Браудэ, и Кипреев лег в больницу.

Кипреев понял, что надеяться больше нельзя, что в больнице он оставлен не будет ни на один лишний час.

Ждал его номерной лагерь, где на работу ходили строем по пять, локти в локти, где по тридцать собак окружали колонну людей, когда их гоняли.

В этой безнадежности последней Кипреев не изменил себе. Когда заведующий отделением выписал больному с операцией мастоидита,

серьезной операцией, заключенному-инженеру спецзаказ, то есть диетическое питание, улучшенное питание, Кипреев отказался, заявив, что в отделении на триста человек есть больные тяжелее его, с большим правом на спецзаказ.

И Кипреева увезли.

.....

Пятнадцать лет я искал инженера Кипреева. Посвятил его памяти пьесу — это решительное средство для вмешательства человека в загробный мир.

Мало было написать о Кипрееве пьесу, посвятить его памяти. Надо было еще, чтоб на центральной улице Москвы в коммунальной квартире, где живет моя давняя знакомая, сменилась соседка. По объявлению, по обмену.

Новая соседка, знакомясь с жильцами, вошла и увидела пьесу, посвященную Кипрееву, на столе; повертела пьесу в руках.

— Совпадают буквы инициалов с моим знакомым. Только он не на Колыме, а совсем в другом месте.

Моя знакомая позвонила мне. Я отказался продолжать разговор. Это — ошибка. К тому же по пьесе герой — врач, а Кипреев — инженер-физик.

— Вот именно, инженер-физик.

Я оделся и поехал к новой жилище коммунальной квартиры.

Очень хитрые узоры плетет судьба. А почему? Почему понадобилось столько совпадений, чтобы воля судьбы сказала так убедительно? Мы мало ищем друг друга, и судьба берет наши жизни в свои руки.

Инженер Кипреев остался в живых и живет на Севере. Освободился еще десять лет назад. Был увезен в Москву и работал в закрытых лагерях. После освобождения вернулся на Север. Хочет работать на Севере до пенсии.

Я повидался с инженером Кипреевым.

— Ученым я уже не буду. Рядовой инженер — так. Вернуться бесправным, отставшим — все мои сослуживцы, сокурсники давно лауреаты.

— Что за чушь.

— Нет, не чушь. Мне легче дышится на Севере. До пенсии будет легче дышаться.

<1967>

ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ



МОЙ ОТЕЦ

Отсутствие отца мне не мешало и очень мало меня трогало. Я даже не знала, для чего он нужен. Мама – это понятно! Готовит, стирает, штопает, работает и устраивает мне время от времени головной боли. Росла я вольно, с утра до ночи предоставлена сама себе, школе и улице. Точно так же росли почти все мои дворовые друзья, но мы очень много читали.

Впервые о том, что мой отец жив, я узнала по дороге в детский сад летом 1945 года. Я хорошо помню этот день. Дорога в детский сад шла через заброшенное старое кладбище, сплошь заросшее кустами сирени. Нас – ребятшек со всего двора – по очереди отводила и забирала чья-нибудь мама. В этот день была очередь моей. Она шла по тропинке и все время перечитывала какое-то письмо, а мы ошалело носились вокруг. Потом она вдруг ухватила меня за платье, притянула к себе и сказала: «Твой отец жив, только об этом не надо говорить!» – и заплакала. Я, кажется, перепугалась, но потом весь день в детсаду пританцовывала и всем повторяла: «У меня жив папа!» Как можно не говорить, когда есть папа! Вечером мама опять читала письмо. Писала женщина, врач, которая в больнице на Колыме делала папе операцию, лечила его и, узнав его

историю, без его согласия решила написать нам. Совсем недавно я узнала ее имя – Анна Леонидовна... Мама написала отцу, но ответа не получила.

А через год-два, где-то в 1947 или 1948 году (точно не помню), пришло второе известие о папе. Уже через много лет я узнала, что это было первое и единственное личное послание отца с Колымы с извещением о втором, десятилетнем сроке и требованием (именно требованием, а не просьбой), чтобы мама официально от него отказалась и жила спокойно. Надежды выйти оттуда живым у него не было. Даже посылку, которую мама, не взирая на его распоряжение, отправила, он вернул обратно. Такой уж он был человек. Решал раз и навсегда, как отрезал. И никогда своих решений не пересматривал! И больше никогда, ни одного слова об отце я не слыхала от мамы до самого 1956 года. Не отказалась, сохранила все его документы, вплоть до диссертации (все это возила с собой в эвакуацию и обратно) и молчала. И я не спрашивала. Став постарше и помня, что отец, кажется, жив, я строила совершенно фантастические планы его розыска, но ни с кем и никогда этими планами не делилась. Лишь один раз, окончив школу и подавая документы в институт, я спросила у мамы, что написать об отце. Она подумала и сказала: «Пиши – погиб на фронте». И все.

Когда начались процессы по реабилитации, маму вызвали в Военную прокуратуру, сообщили, что он жив, его дело пересматривается, и дали его адрес. Так мы узнали друг о друге. Мне было девятнадцать лет, когда папа впервые приехал к нам и сразу же стал для меня самым умным, самым интересным, самым главным человеком в жизни. Эрудирован он был необычайно, очень много знал и умел. Был прекрасным рассказчиком и великим спорщиком.

К сожалению, почти двадцатилетняя отцовская каторга родителей не сблизила, а отдалила. Папа жил в Ухте, мы в Харькове и ежегодно ездили в гости друг к другу – то он к нам, то я к нему.

Обо всем, что с ним произошло после ареста в феврале 1938 года, я узнала уже от него. Судил его Военный трибунал, получил он восемь лет, статья 58, и в сентябре он уже был на Колыме. На общих работах провел более десяти лет. В июле 1946 года получил второй срок – десять лет. Итого – восемнадцать лет.

Почти документально его пребывание на Колыме описал Варлам Тихонович Шаламов в рассказах «Иван Федорович» и «Житие инженера Кипреева». С Варламом Тихоновичем папа провел на «одних нарах» в Центральной лагерьной больнице почти два года. Он на самом деле «изобрел» заново электрическую лампочку, организовал и пустил электроламповое производство – в тех условиях вещь почти невыполнимая. И на самом деле швырнул коробку с американским костюмом, сказав: «Я чужие обноски не ношу!» За что и получил добавочные десять лет. Шаламов писал в своих воспоминаниях, что Г. Г. Демидов – один из самых умных и достойных людей, встреченных им на Колыме.

В конце сороковых годов на Колыме разыскивались и вывозились в Москву «выжившие» ученые-физики для работы над атомной бомбой. Попал

под это распоряжение и отец, но уже после приезда в Москву выяснилось, что он не ядерщик, а электрофизик. Добывать срок его отправили в Коми АССР, в Инту. Здесь он освободился, переехал в Ухту, где начал работать на Ухтинском механическом заводе. В 1958 году был реабилитирован.

Папа был очень сильным и гордым человеком. Талантлив был удивительно. Свой первый патент на изобретение получил в 1929 году в возрасте двадцати одного года. Разнообразие его интересов поражало. С третьего курса физико-химического факультета Харьковского университета его забрал Ландау к себе в лабораторию. Когда его однокурсники защищали дипломные работы, папа защитил кандидатскую диссертацию. Начав работать на заводе в Ухте, сразу же занялся изобретательством. И через два-три года его портреты висели на центральной площади города с надписью «Лучший изобретатель Коми АССР». О нем писали в газете. Но и он в это время уже начал писать.

Когда-то папа сказал мне, что еще на Колыме поклялся выжить во что бы то ни стало, чтобы описать этот «ад». Он слово сдержал и теперь должен писать. Он не прятался, давал друзьям и знакомым читать написанное и в конце концов привлек к себе внимание соответствующих органов. Его пробовали уговорить изменить тематику, предлагали членство в Союзе писателей, большой тираж. Специально приезжал человек из Москвы, целую неделю читал, душевно разговаривал и уговаривал. Папа категорически отказался. И тогда началось... Его портреты были сняты, и, хотя его предложения продолжали приносить экономический эффект, говорить об этом не рекомендовалось.

Выйдя на пенсию, папа поселился в Калуге и по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки сидел за машинкой. Его произведения ходили в самиздатовских списках, несколько раз ему предлагали переправить их за границу. Он категорически был против, считая, что такие вещи нужны нашему читателю. Понимая, что он находится под пристальным вниманием КГБ, папа четыре экземпляра своих произведений (из пяти машинописных и переплетенных) отдал друзьям в другие города.

Один такой экземпляр – пять больших томов, с дарственной надписью – был у меня. В августе 1980 года одновременно по всем этим адресам в пяти городах были произведены обыски и все отцовские рукописи арестованы. Забрали все до последней строчки, не осталось ни одного черновика.

После такого удара папа уже не оправился.

В феврале 1987 года его не стало. За несколько дней до смерти, посмотрев фильм «Покаяние», совершенно потрясенный, папа сказал: «Кажется, можно обращаться с просьбой вернуть!»

После его смерти я обратилась в ЦК к А. Н. Яковлеву. Он помог. Вскоре рукописи отца мне были возвращены.

ДУБАРЬ

Унылый звон «цинги», куска рельса, подвешенного на углу лагерьной вахты, слабо донесся сквозь бревенчатые стены барака и толстый слой льда на его оконцах. Старик дневальный с трудом поднялся со своего чурбака перед железной печкой и поплелся между нарами, постукивая по ним кочергой:

– Подъем, подъем, мужики!

Все мы, обитатели холодного и обшарпанного барака политических заключенных, «контриков», как нас называли жившие в куда лучших условиях уголовники и лагерные надзиратели, слышали эти ненавистные сигналы утренней побудки не в первый, а большинство тут даже не в тысячу первый раз. Да и все остальное было сейчас обычным, таким же, как и во всяком другом из бесконечной вереницы таких же утр. И это наше привычное, доведенное почти до автоматизма, безропотное подчинение железному распорядку каторги и глухой, но всегда почти чисто пассивный, внутренний протест против него, давно уже воспринимаемый, как тоже ставшая привычной застарелая боль, и двухэтажные нары «вагонного типа», и сизый полумрак барака.

Люди на каторге всегда расстаются со сном только с мучительной неохотой, так как это самое счастливое из доступных им состояний. Сон не только дает забвение от тусклой и безрадостной действительности, но и возвращает иногда в полузабытый мир «воли». Правда, обрывки смутной памяти о прошлом всегда самым причудливым образом переплетаются с куда более реалистическими видениями настоящего. Но во сне не бывает ни настоящей голодной тоски, ни мучений холода, ни страданий непомерного мускульного усилия, постоянно ощущаемого каторжниками наяву. Поэтому они цепляются не только за каждое лишнее мгновение настоящего сна, но и того полусна, которое следует непосредственно за пробуждением и обычно продолжается недолго. Однако при сильном желании, некотором усилии эту стадию полусонного оцепенения можно во много раз затянуть.

Каждый, кому с крайним нежеланием приходилось подниматься спозаранку, знает, что после такого вставания можно довольно долго двигаться, что-то делать, даже произносить более или менее осмысленные фразы и не просыпаться окончательно. В лагере такое состояние повторяется изо дня в день, каждое утро и на протяжении многих лет. В результате вырабатывается еще одна особенность каторжанской психики, во многом и так отличной от психики свободного человека, – способность едва ли не в течение целых часов после подъема

сохранять состояние полусна-полубодрствования. Вольно или невольно заключенные лагерей принудительного труда культивируют в себе эту способность, оттягивая полное пробуждение до крайнего возможного предела. Зимой таким пределом является выход на жестокий, предрассветный мороз. Но и в более теплое время года некоторые лагерники умудряются оставаться в каком-то сомнамбулическом состоянии и на плацу во время развода и даже на протяжении всего пути до места работы, хотя этот путь нередко измеряется целыми километрами. Это, конечно, своего рода рекорд. Но в той или иной степени таким образом ведут себя все без исключения люди, осужденные на долгий подневольный и безрадостный труд. И это даже в том случае, если норма официально дозволенного им ежесуточного сна сама по себе является достаточной.

Вот и сегодня мы привычно сопротивлялись наступлению настоящего бодрствования, не только когда слезали с нар и напяливали на себя свои изодранные и прожженные у лесных костров ватные доспехи, но даже когда протирали глаза пальцами, слегка смоченными водой из-под раковины. Каждый понимал, что с полным пробуждением приходит и отчетливое осознание действительности. А она заключалась в том, что очередной из бесконечной вереницы безликих каторжных дней уже наступил, хотя сейчас только пять утра. И что он будет продолжаться бесконечно долго, пока около семи вечера мы, до изнеможения усталые, заиндевевшие и оочевевшие на жестком морозе, снова ввалимся в этот барак. И что на протяжении этого дня будут хождение и стояние под конвоем, тяжелая и осточертевшая работа в лесу, окрики и понукания, обзывания «фашистом» и «контриком». Что не раз, наверно, посетят горькое чувство бессилия и та злая тоска неволи, от которой захочется завывать и боднуть головой ближайший лиственный ствол.

Вообще-то в подобных мыслях и настроениях, если судить о них беспристрастно, проявлялась наша черная неблагодарность своей лагерной судьбе. Ведь мы находились не в каком-нибудь из страшных лагерей дальстроевского «основного производства», а в лагере, обслуживающем сельское и рыболовецкое хозяйство, мечте сотен тысяч колымских каторжников, погибавших на здешних приисках и рудниках, по условиям труда и быта заключенных мало чем отличавшихся от финикийских. Но таков уж человек по самой своей природе. Он редко бывает вполне доволен даже более высоким уровнем жизненного благополучия, чем тот, на котором находились мы, заключенные галаганского сельхозлага, приткнувшегося к прибрежным сопкам реки Товуй, почти у самого ее впадения в Охотское море.

Наша ежедневная утренняя война за сохранение свинцовой приглушенности чувств и мыслей и сегодня, как всегда, шла с переменным успехом. Пробежка по морозу в столовую за получением утренней хлебной пайки и миски баланды неизбежно отгоняла благодатное оцепенение. Но до выхода на развод обычно оставалось еще некоторое время. Уже в полном «обмундировании» все мы сгрудились у печки, чтобы запастись теплом на время стояния на плацу, и все, как всегда, стоя уснули.

«Цинга» завякала снова. Идеально дисциплинированные арестанты должны были, согласно лагерному уставу, «вылетать» на развод уже с первым ее ударом. Но такие арестанты существуют лишь в воображении составителей этих уставов. Реальные же заключенные, даже в свирепых горных лагерях, где за «резину» с выходом из барака можно схлопотать добрый удар дубинкой, эту «резину» тянут. Особенно когда на дворе такой мороз, как сегодня. Судя по фонарям вокруг зоны, едва видимым сквозь густой туман, и по колющему ощущению в легких, он перевалил сейчас далеко за пятьдесят. Здесь был крайний юг «района особого назначения», «Колымский Крым», как его называли заключенные. Но стоял уже март, время, когда даже в этом «Крыму» солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. Для Дальнего Севера эта поговорка часто оказывается даже более верной, чем для мест, в которых она родилась.

В нашем благодатном лагере дубинка применялась редко, в руках у теперешнего нарядчика Митьки Савина мы никогда ее не видели. Нарядчик, однако, всюду остается нарядчиком. Вот-вот он ворвется сюда, крепкий краснорожий парень, и сквозь клубы морозного пара — дверь в барак Митька за собой не закроет — донесется его знакомое: «А вы тут что, мать вашу так и этак, особого приглашения дожидаетесь?!» Но это и будет как раз то ежедневное «особое приглашение», после которого тянуть «резину» с выходом более нельзя.

Митька вбежал, как всегда, стремительно, но дверь за собой почему-то закрыл. И вместо обычной беззлобной брани — наш нарядчик был мужик неплохой, не чета придуркам-хриstopродавцам в горных лагерях — мы услышали от него неожиданное:

— Продолжай ночевать, мужики! День сегодня — активированный...

Что ни говори, а лагерь Галаганных — действительно курорт! В летнее время, конечно, и здесь ни о каких выходных не может быть и речи. Но зимой один-два таких дня выпадают почти в каждом месяце. Это, собственно, даже противозаконно, так как в те предвоенные годы свирепость ежовщины в местах заключения еще не была изжита и официально никаких дней отдыха для заключенных не полагалось

круглый год. Отступления от этого правила делались только в лагерях подсобного производства, вроде нашего Галаганных, в периоды, когда не было никаких важных работ, да и то имея в виду, главным образом, санаторную функцию этих лагерей. Дело в том, что на здешние, легкие, по лагерным понятиям, работы ежегодно отправлялись для поправки уцелевшие дистрофики, «доходяги» с присков и рудников Дальстроя. Они-то и составляли основную часть мужского населения подсоблагов, подлежащую возвращению основному производству после одного-двух лет «курорта». Если, конечно, дистрофические изменения у этих людей окажутся обратимыми, что было далеко не всегда. Постоянными жителями «до конца срока» здешнего сельхозлага были только женщины, старики и инвалиды.

Ежовско-бериевский запрет на выходные дни для лагеря обходили при помощи объявления их днями общей санитарной обработки, активированными по погодным условиям, как сегодня, или необходимости произвести крупные внутризонные работы. Это была начальническая «ложь во спасение», но, понятно, только наполовину. Редкий из таких дней обходился без вывода всех отдыхающих на заготовку дров, уборку снега и тому подобные работы. Но это случалось обычно уже после обеда. С утра же можно было поспать «от пуза», что и было главной реальной удачей наших выходных дней.

После Митькиного объявления угрюмое молчание в бараке сменилось радостным галдежом. Оно было, как всегда, неожиданным. Лагерное начальство опасалось обвинения в запланированных поблажках для заключенных, большая часть которых была «врагами народа». Но продолжался этот галдеж очень недолго, приглашать к продолжению сна дважды здесь никого не приходилось. Торопливо раздевшись, все снова улеглись на свои, набитые сенной трухой или древесными опилками матрасы и через каких-нибудь пять минут спали. После «легких» работ на повале и раскряжовке даурской лиственницы, твердой на морозе, как дуб, и тяжелой, как камень, здешние «курортники» могли проспать вот так суток трое, делая перерывы разве что на обед. Впрочем, как уже говорилось, тут действовало еще и наше постоянное стремление «уйти в сон» при всякой, даже малейшей возможности.

Однако на этот раз я уснул менее крепко, чем обычно, и проснулся от дребезжания ведра, неловко опрокинутого дневальным. Лед на оконцах пунцово рдел от разгоравшейся над близким отсюда морем зари. Вот-вот должно было взойти солнце. Значит, со времени сигнала на развод прошло уже часа полтора. Спать можно было еще долго, даже если в обед нас куда-нибудь погонят. Повернувшись на другой

бок, я начал приминать слежавшиеся опилки в своем матрасе по форме уже этого бока. До нового изменения положения он будет казаться мягким. Я еще продолжал свою возню с неподатливым ложем, когда в барак вошел нарядчик. Вид у Савина был несколько смущенный, как у человека, явившегося с каким-то неприятным или щепетильным поручением, которых добрый малый очень не любил. Для кого-то из жителей барака это не предвещало ничего доброго. Не закончив скульптурной обработки своего матраса, я затих на нем, натянув на голову одеяло.

Посоветовавшись о чем-то с дневальным, Митька пошел по проходу между нарами, пристально и озабоченно всматриваясь в лица спящих людей. Так и есть, он искал подходящий «лоб», а может быть, и несколько «лбов» для какой-то паскудной работенки внутри лагеря, вроде колки дров для кухни, таскания воды с речки. Возможно, я был не единственным человеком, кого разбудило загремевшее ведро, но несомненно, что все так же, как и я, еще плотнее закрыли глаза и засопели еще громче. Если уж и необходимо вкалывать в свой в кои веки выпавший выходной день, так хоть не с утра по крайней мере!

Нарядчик остановился напротив места Спирина, бывшего колхозника откуда-то из Вятской области. Чуть живого от изнурения, этого мужика привезли сюда прошлой осенью с небольшим этапом таких же «доходяг». Как почти все, перенесшие тяжелую форму дистрофии, Спирин долго не мог оправиться от животного страха перед голодом. Рискуя заночевать в карцере, он до совсем недавнего времени прятал под матрас куски выпрошенного, а то и украденного хлеба, съесть который сразу не мог. Теперь, правда, у бывшего «доходяги» голодный психоз начал уже проходить.

Митька долго дергал спящего за ногу, пока тот наконец не проснулся и испуганно вскинулся:

— А? Чего?

— Каши пульман хочешь заработать? Вот такой! — Нарядчик показал руками размер «пульмана» — огромной миски, применяемой обычно для кухонных нужд. Какую-нибудь пару месяцев тому назад за такую миску овсяной каши Спирин согласился бы вкалывать до полуночи даже после полного рабочего дня. На это, очевидно, и рассчитывал Савин. Он хотел найти добровольца на какую-то, по-видимому, довольно тяжелую работу. Но у нарядчика было право и просто приказать любому здесь выйти на такую хозяйственную работу, притом безо всякого обещания награды. А если назначенный им зэк начнет упрячиться, позвать дежурного коменданта по лагерю. А с тем разговор короткий: или подчиняйся или садись до утра

в кондей – карцер! Практически, однако, применять такой способ придурки стеснялись даже в горных лагерях. Какой же ты, к черту, нарядчик или староста, если без помощи надзирателя не можешь совладать с рядовым лагерником?

Тем более неприличным было бы приглашение дежурного в барак смиренных «рогатиков», да еще со стороны в общем-то благожелательного и покладистого Митьки.

Однако его расчет на приманку обильной жратвы для недавнего дистрофика тоже, видимо, не оправдывался. Спирин выслушал предложение нарядчика безо всякого энтузиазма, глядя на него хмуро и подозрительно:

– А чего делать-то надо?

Он, впрочем, не совсем еще проснулся. Вместо прямого ответа Савин спросил:

– Ты на прииске в похоронной бригаде кантовался?

Вопрос, очевидно, был задан в целях более тонкого подхода к главной теме начатого разговора. Но сделан он был явно неудачно, так как вятский нахмурился еще больше:

– Тебе бы такой кант! Говори, что надо?

Никогда не бывавший в лагерях-«доходиловках», Митька допустил весьма неловкий ход. Бригады могильщиков, подчас весьма многочисленные, комплектовались из тех, кто уже не годился более для работы на полигоне и сам был кандидатом в дубари*. Однако и тон ответов нарядчику со стороны недавно смиренного «доходяги» был неожиданно грубым и непочтительным. Савин вспыхнул было, но сдержался:

– Могилу, понимаешь, надо вырыть! Сегодня ночью в больнице какой-то штымп** дуба врезал...

Худшего предисловия к такому предложению, чем напоминание невольному могильщику о его печальных обязанностях, нельзя было, вероятно, и придумать. Спирин ответил еще более грубо и зло:

– Пустой твой номер! Не буду я никакой могилы копать...

Он снова улегся на своих нарах и демонстративно натянул на голову одеяло. И без того красное лицо Савина побагровело. Слабину почувствовал чертов штымп! После горного, где за такую непочтительность к нарядчику тут же дрына схватил бы. Смирный был, а теперь гляди, как обнаглел... Митька украдкой огляделся, не видит ли кто его конфуза. Однако храп и сопение вокруг были всеобщими

* Покойник (лагерное).

** То же, что и фрайер, но с оттенком презрительности. Обычно «штымп» – малоразвитый человек. – Прим. автора.

и дружными. Славив кое-как с раздражением и досадой, он опять подергал за ногу несговорчивого вятского:

– Слышь, Спирин? Выроешь яму – завтра целый день отгула получишь... На работу не погоню, свободы не видать!

Наш благодушный нарядчик корчил из себя этакого шибко бластного, хотя сидел за мелкую растрату в захудалом сельпо.

Но даже обещание круглосуточного сна в дополнение к каше не соблазнило Спирина. Он только еще выше натянул на голову свое куцее одеяло, так что оголились ноги. Чтобы закрыть их, вятский должен был поджать острые коленки к животу.

– С дежурняком выведу! – вскипел нарядчик. Однако упрямый мужик повторил, приподнявшись:

– Говорю, пустой твой номер! Не знаешь, что ли, что грыжа у меня на повале объявилась... А не знаешь, так у лекпома спроси!

Савин закусил губу. Он просто забыл, что уже с месяц как Спирин, хотя он и продолжал числиться в бригаде лесорубов, занимается в лесу только работами «не бей лежачего», вроде сжигания сучьев, отгребания снега от деревьев, спиливать которые будут другие. Грыжа в лагере – это редкостная удача, от нее и не помрешь, и ни на какие сколько-нибудь тяжелые работы не пошлют даже в горных. Отсюда, конечно, и проистекает наглое поведение недавно смиренного мужичонки...

Махнув рукой, нарядчик отошел от его места и снова принялся шарить глазами по нарам, но теперь уже более решительно и зло. За непочтительность с ним Спирина кому-то, видимо, придется отдуваться. Хмуро поведив глазами вокруг, Савин остановил свой взгляд на мне. Я плотно зажмурил прищуренные до этого глаза, но тут же, почувствовав прикосновение Митькиной руки, открыл их. Было очевидно, что мой сегодняшний выходной пропал.

У меня не было ни спасительной грыжи, ни почтенного возраста, ни даже обыкновенной «слабосиловки». На таких, как я, в лагере полагалось «пахать», и сослаться для отказа рыть кому-то могилу мне было решительно не на что. При других обстоятельствах можно было бы рассчитывать на свойственное многим деревенским некоторое уважение к образованности. Но сейчас Митька был зол и вряд ли потерпел бы новые препирательства. Поэтому я не стал даже прикидываться, что не знаю, в чем дело, а сразу же встал и начал зло натягивать на себя свои драные шмутки, отводя душу руганью. И угораздил же черт этого дубаря загнуться именно сегодня! Кстати, кто он такой?

Нарядчик, оказывается, этого не знал. Час тому назад начальник лагеря приказал по телефону нарядить одного из отдыхающих заключенных на рытье могилы. Кто такой этот дубарь и откуда попал

в нашу больницу, Митька мог только предполагать. Скорее всего, его привезли из какой-нибудь дальней рыболовецкой или лесной командировки. Из находившейся в местной больничке заключенных ни одного кандидата в покойники как будто не было.

Смертность в этом лагере была вообще незначительной. В трудовых лагерях она и повсюду была бы ниже обычной, если бы не искусственно созданные условия работы и быта заключенных. На Колыме их косила смерть от изнурения, голода и холода, бесчисленных травм, конвоирских пуль. Там же, где ничего этого нет, лагерники умирают редко. Среди них мало престарелых и совсем нет детей, быстро и решительно пресекаются эпидемии. Прежде бичом заключенных северных лагерей была цинга. Но с тех пор, как против нее стали применять отвар хвои, страшный когда-то скорбут* почти утратил свое былое значение как фактор смертности даже за Полярным кругом.

Оставалась еще простуда. Но о ней в Галаганных мы мечтали как о большой удаче. Если не считать не столь уж частой возможности покалечиться, она была едва ли не единственным шансом покантоваться в бараке или лагерной больнице. Но в том-то и дело, что простуда нас почти не брала. Никто даже не кашлял после целодневной работы в поле или в лесу под холодным дождем нередко вперемешку со снегом, бултыхания в ледяной воде на сплаве, спанья на мокрой холодной земле. Накапливаясь на каких-то внутренних «текущих счетах», все это проявлялось потом в виде ревматизмов, радикулитов, ишиасов и прочей благодати. А пока что даже нарочитая пробежка по снегу босиком, в одном белье из бани, находившейся в полукилометре от лагеря, не давала никаких непосредственных результатов.

Правда, такая сопротивляемость приходит не сразу. Ею отличаются те, кто уже прошел процесс естественного, так сказать, отбора. Отбор этот начинается уже с тюрьмы и этапа. Здорово мрут лагерники-новички поначалу даже в таких лагерях, как вот этот Галаганных. От неприспособленности к тяжелому труду, перемены климата, недостатка витаминов, простудных воспалений легких и почек и, наверно, просто от тоски, хотя в официальных диагнозах она и не значится. Постепенно остаются только те, кто приобрел против всего этого достаточный иммунитет.

Вереницы смертей следовали также после каждого привоза сюда доходяг из горных. Голодное изнурение на определенной стадии приводит к таким изменениям во всех почти органах дистрофика, что ни в каких условиях человек не является более жизнеспособным. К концу каждой зимы все такие были уже на кладбище. Поэтому

* То же, что цинга. — *Прим. ред.*

сейчас не только смертельное, но даже просто серьезное заболевание было в нашем лагере явлением довольно заметным. Однако же не только я, но даже лагерный нарядчик о таких случаях не знал.

Злобствуя по адресу так некстати подвернувшегося дубаря, я не заметил сначала, что Савин дожидается, пока я оденусь, даже и не думая подыскивать мне напарника. Может, он уже нашел кого-нибудь в другом бараке? Оказалось, нет, ему приказано послать на кладбище только одного землекопа. Я изумился: как одного? Могила — это здоровенная яма сечением ноль шесть на два метра и два метра глубиной! В долине Товуя, где находилось наше кладбище, грунт — глина вперемешку с речной галькой. Когда такая смесь замерзает, то становится прочней бетона. А мерзлая она сейчас на всю глубину ямы, так как промерзание сверху сомкнулось с вечной мерзлотой. Работы там, по крайней мере, на две полные дневные нормы для двух землекопов! В одиночку до наступления темноты мне вряд ли удастся выбить могилу в приречной мерзлотине больше, чем на третью часть ее нужной глубины...

Савин и сам понимал все эти соображения, но на все мои вопросы только пожимал плечами: приказано выделить только одного могильщика. Начальник сказал это ясно и добавил, что завтра же этому человеку следует предоставить отгул...

Все было похоже на какое-то недоразумение. О каком отгуле завтра могла идти речь, если один человек провозится с ямой на кладбище по крайней мере два дня! А если так, то к чему такая срочность? Да и вообще сейчас зима и покойник в мертвецкой больницы может ждать погребения хоть до самой весны. Его, конечно, туда уже внесли. Сегодня воскресенье, и у вольных тоже выходной. Выходной он и у нашей спецчасти, которая оформляет умерших лагерников в «архив-три». Займется она этим только завтра, когда дубарь совсем закоченеет. Но без отпечатков пальцев, снятых с уже умершего человека, его в этот архив зачислить нельзя, будь он мертв хоть трижды. Для одной только «игры на рояле»^{*} мертвое тело придется отогреть при комнатной температуре больше суток... Получалась какая-то чепуха. Может быть, все-таки Савин что-нибудь напутал? А насчет завтрашнего отгула, обещанного якобы начальником, и просто соврал для большей убедительности? Но Митька божился, что не врёт: свободы не видать! Хорошо, если так! А то ведь обещание заключенного нарядчика вовсе не закон для какого-нибудь Осипенко. Это был самый противный из здешних дежурных надзирателей, «комендантов», как их тут называли. Сколько раз уже бывало при утреннем обходе:

^{*} Снятие отпечатков пальцев.

- А этот почему в бараке околачивается?
- Отгуливает за вчерашнюю работу, гражданин комендант!
- Ничего не знаю...

Чтобы умерить мое сожаление об оставленных нарах, Митька сказал, когда вдвоем с ним мы выходили из барака:

— Ты особенно не расстраивайся! Этим, — он показал через плечо на дверь, — спать только до двенадцати. С обеда приказано всех на «длясэбные» работы выгонять, будем от зонного ограждения снег отбрасывать. Вон сколько его навалило...

«Длясэбными» в нашем лагере называли работы, которые мы выполняли летом после четырнадцатичасового рабочего дня, а зимой в такие вот редкие и куцы выходные дни. Надзиратель Осипенко, возмущаясь вялостью, с которой заключенные копошились на этих работах, ругался и говорил:

— Ну, що вы за народ? Для сэбэ и то робить не хочете!..

Так как в сверхурочном порядке нам чаще всего приходилось заниматься такими делами, как рытье ям под новые столбы для колючей проволоки, выпрямление покосившейся вышки или ремонт карцера, самое непосредственное отношение к нам которых действительно не вызывало сомнения, то их и прозвали «длясэбными». Заодно прозвище «Длясэбэ» получил и сам Осипенко.

Савин выдал мне лом, кирку и лопату и посоветовал не слишком уж строго придерживаться при рытье могилы ее официально установленных размеров, особенно по длине и ширине. С тех пор как вышел приказ хоронить умерших в заключении без «бушлатов», прежней необходимости в соблюдении полных габаритов лагерных могил более нет. Митька имел в виду «деревянные бушлаты» — подобие гробов, в которых умерших лагерников хоронили до прошлого года. И хотя эти гробы сколачивались обычно всего из нескольких старых горбылей, гулаговское начальство в Москве и их сочло для арестантов излишней роскошью. Согласно новой инструкции по лагерным погребениям, достаточно для них и двух старых мешков. Один нахлобучивается на покойника со стороны головы, а другой — ног, и оба этих мешка сшиваются по кромке. Даже если труп принадлежит какому-нибудь верзиле, то и такой не предъявит претензии, если его положат на бок или слегка подогнут ему колени. С точки зрения могильщика новую погребальную инструкцию Главного управления можно было только приветствовать.

Проводив меня через вахту, нарядчик передал мне еще один приказ начальника лагеря: по дороге на кладбище зайти в лагерную больницу и обратиться за чем-то к дежурному санитару. Зачем именно,

Савин не знал, но высказал предположение, что в больнице я получу указания, в каком месте кладбища рыть могилу и как ее ориентировать. Дело это серьезное. Могилы заключенных всегда располагаются в строго определенном направлении и наносятся на план, хранящийся в спецчасти лагеря. Завернуть в лагерную больничку труда не составляло, она находилась почти сразу же за зоной по дороге к кладбищу.

На мой стук в дверь больнички вышел дежурный санитар. Я хорошо знал этого хитроватого темнилу* Митина. До заключения он был следователем по уголовным делам и отличался удивительной способностью чуть не во всех действиях и поступках окружающих усматривать какой-то мелкий, низменный практицизм.

– С отгулом? – спросил он меня, поздоровавшись.

– Савин говорит, что обещал начальник... – пожал я плечами.

– Тогда тебе повезло! Работенка-то не бей лежачего...

– Это три куба мерзлотины выбить – «не бей лежачего»!

– Каких там три куба? Да и сам сейчас увидишь! Пошли в морг...

Санитар открыл маленький дощатый сарайчик, стоявший чуть поодаль от больничного барака и снаружи ничем не отличавшийся от обычного дровяного. Но внутри этого сарайчика на вбитых в землю кольях возвышались два узких, сколоченных из горбыля настила. Они напоминали узкие и высокие столы. Один из этих столов был пуст, поперек другого лежал небольшой сверток, сделанный, по-видимому, из обрывка старой простыни.

– Вот, принимай своего дубаря! – провозгласил Митин, протягивая мне сверток с таким видом, с каким вручают имениннику приятный сюрприз-подарок. – Сегодня ты не только могильщик, но и похоронщик...

Я принял легонький пакет с недоумением:

– Что это?

В белую тряпку было завернуто что-то твердое и продолговатое, напоминающее на ощупь небольшую статуэтку. Поняв, что это, я вздрогнул от неожиданности: мертвый ребенок!

– Одна из нашей жензоны родила ночью, – пояснил довольный моим изумлением Митин. – Прошлым летом на сенокосе нагуляла... Да недоносила месяц, всего часа четыре только и пожил...

Я держал сверток одной рукой на отлете, испытывая к его содержанию чувство невольной брезгливости.

Мысль о выкидыше вызывала у меня представление о чем-то уродливом и отталкивающем, а что-то в этом роде было и здесь. Впрочем,

* *Темнила* – заключенный, под разными предлогами уклоняющийся от работы или выполняющий работу, не соответствующую его возможностям. – *Прим. автора.*

трупик несчастного недоноска был сейчас заморожен. Места же на кладбище понадобится для него немногим больше, чем для котенка. Соответственно пустяковой должна быть и глубина могилы. Митин, кажется, прав, и мне сегодня действительно повезло. Особенно если я получу обещанный отгул завтра.

— Допер теперь, почему работенка блатная? — спросил меня довольный Митин. — А то: «три куба!»... Тут и половины куба много будет... — Он взялся за ручку щелястой двери сарайчика. — Вот и все, дуй теперь с ним на кладбище! Да только не на вольное, гляди! Потомственному крепостному на нем не место... — В шутовой форме санитар меня предупреждал, видимо, чтобы я, соблазнившись близостью поселкового кладбища, не поленился тащить трупик на более отдаленное лагерное. Я и не думал этого делать, но шутка Митина навела меня на мысль, что покойный младенец и в самом деле имеет право быть погребенным не на тюремном кладбище.

— А что, разве его в «архив-три» занесут? — сердито спросил я бывшего следователя.

Но он счел за благо сделать вид, что принял мой вопрос за известную шутку, ослабил и отрицательно pokrutil головой:

— В «архив» наш дубарь еще не годится, на рояле играть не умеет... — Потом Митин посерьезнел и понизил голос, хотя ни в сарае, ни вокруг сарая никого не было: — Между нами... Начла с доктором договорились через загс этого рождения не оформлять... В истории болезни роженицы будет записано, что ей произведена эмбриотомия, это когда плод по кускам извлекают, понял?

Я утвердительно кивнул, дело понятное. Больнице не нужен лишний случай «летального исхода» в ее стенах, лагерю — лишнее свидетельство недостаточно строгого соблюдения в нем режима заключения. Любовная связь между лагерниками и лагерницами категорически запрещена. Не должно быть, следовательно, и ни одного случая деторождения. Но это в теории. На практике же в смешанных лагерях добиться такого положения невозможно. Поэтому существовало нечто вроде негласного и неофициального предела числа деторождений на каждую сотню заключенных женщин. Превышение этого предела являлось одним из самых отрицательных показателей работы лагерного надзора, особенно не нравившимся вышестоящему начальству. И не только из ханжеских или чисто тюремщицких соображений. К ним примешивался еще и бухгалтерский меркантильный интерес. Дело в том, что прижитые в лагере дети воспитывались в специальных приютах, содержавшихся за счет бюджета соответствующего лагерного управления. И как ни жалки были эти «инкубаторы»

для сирот при живых еще родителях, они, требуя известных расходов, ухудшали показатели финансового плана лагуправлений со всеми последствиями для премий его руководящему персоналу. Отсюда в немалой степени вытекал и интерес лагерного начальства к нравственности своих подопечных. Возможно, что сокрытие появления на свет очередного «инкубаторного» ребенка, в котором участвовал и я, решало вопрос: в пределах ли «нормы» или за этими пределами находится показатель добродетели безбрачия в нашем лагере, скажем, за текущий квартал.

Когда я, зажав под мышкой пакет с маленьким покойником, взваливал на плечо свои громоздкие инструменты землекопа, Митин, снова оглядевшись и понизив голос, хотя никого кругом по-прежнему не было, сказал еще более доверительным тоном, чем прежде:

– Доктор приказал мне проверить потом, не затуфтил ли похоронщик. Люди, знаешь, у нас всякие. Иной зарост дубарика в снег, а весной может неприятность получиться... Ну, на тебя-то я надеюсь...

Вряд ли ему кто-нибудь давал такое поручение. Просто хитрец делал мне новое замаскированное предупреждение. Этому человеку, возможно, в результате его профессиональной практики всегда казалось, что если кто-нибудь может злоупотребить своей бесконтрольностью, то он непременно это сделает. В общем-то неплохой и по-своему неглупый мужик, Митин, хотя и довольно благодушно, подозревал всех в плутовстве. Меня это злило и вызывало желание треснуть по ухмыляющейся физиономии санитаря своим свертком. Но я только буркнул:

– Надежда – мать дураков!

И пошел по дороге, ведущей вдоль реки к морскому берегу.

До моря отсюда было не более полутора-двух километров. На самом его берегу стояли, не видные отсюда, склады соленой рыбы. На лагерное кладбище надо было свернуть, немного не доходя до этого поворота, в противоположную сторону.

Из-за поворота дороги неожиданно показался надзиратель Осипенко, шедший мне навстречу. Бегал, наверно, на рыбные склады проверять, на месте ли сторожа из заключенных. А главное: не гостит ли у них кто-нибудь из приятелей, явившихся сюда с целью стащить или выпросить рыбину? Вряд ли всякий другой из наших лагерных надзирателей поперся бы сюда в такой мороз ради сомнительной возможности кого-то на чем-то изловить, хотя это и входило в их обязанности. Другое дело – Осипенко. Постоянное усердие, иногда не по разуму, всегда отличало этого туповатого вохровского служаку.

То, что он дежурит сегодня, хорошо. Не будет дежурить завтра, а это увеличивает мои шансы на завтрашний спокойный отдых. Однако встретаться с этим болваном «Дляэбэ» мне не хотелось даже сейчас, хотя придраться ему, казалось бы, и не к чему. Но со своими обычными вопросами «Куда идешь?» и «Чего несешь?» он непременно пристанет. И я ускорил шаг, чтобы поскорее свернуть на чуть заметную боковую дорожку на кладбище и избежать неприятной встречи с «Дляэбэ» нос к носу. Но я успел сделать по этой дорожке только несколько шагов, когда услышал его окрик:

– Стой!

Комендант жестом издали приказал мне остановиться и вернуться на дорогу.

– Куда идешь? – спросил он, подходя.

Направление пути и мои инструменты могильщика отвечали на этот вопрос достаточно красноречиво. Но мало ли что? Ведь кирку, лопату и пудовый лом арестант может тащить и просто «с понтом», только для отвода надзирательских глаз! В действительности же направляться на вожделенные склады с каким-то подношением для тамошних сторожей. «Недоверие к заключенному – высшая добродетель тюремщика!» – патетически восклицал мой сосед по нарам, бывший учитель истории, перефразируя известное выражение Робеспьера о революционных добродетелях.

Когда я ответил надзирателю, что иду вот на кладбище копать могилу, последовал неизбежный второй вопрос:

– А несешь чего? – А за ним и приказание: – А ну покажь!

Преодолевая досаду и заранее возникшее отвращение к тому, что я увижу сейчас, я развернул простыню и обнажил верхнюю половину тельца своего покойника.

По моим тогдашним представлениям, все без исключения новорожденные были морщинистыми, дряблыми комочками живого мяса, дурно пахнущими и непрерывно орущими. Смерть и мороз должны были ликвидировать большую часть этих неприятных качеств. Но оставался еще внешний вид, который у недоноска, вероятно, еще хуже, чем у нормального ребенка.

Контраст между этим ожидаемым, и тем, что я увидел, был так велик, что в первое мгновение у меня возникло чувство, о котором принято говорить как о неверии собственным глазам. А когда оно прошло, то сменилось более сложным чувством, состоящим из ощущения вины перед мертвым ребенком и чего-то еще, давно уже не испытываемого, но бесконечно теплого, трогательного и нежного.

Желтовато-розовое в оранжевых лучах полярного солнца, крохотное тельце казалось сверкающе чистым. И настолько живым и теплым, что нужно было преодолевать в себе желание укрыть его от холода.

Голова ребенка на полной шейке с глубокой младенческой складкой была откинута немного назад и повернута чуть вбок, глаза плотно закрыты. Младенец казался уснувшим и улыбающимся чуть приоткрытым беззубым ртом. Во внешности этой статуетки из тончайших органических тканей, которые мороз сохранил в вечности такими, какими они были в момент бессознательной и, очевидно, безболезненной кончины маленького человеческого существа, не было решительно ничего от страдания и смерти. Я, наверное, нисколько бы не удивился тогда, если бы закрытые веки мертвого ребенка вдруг дрогнули бы, а его ротик растянулся еще больше в улыбке неосознанного блаженства.

«Длясэбэ» на некоторое время уставился на маленького покойника с каким-то испугом. Потом он сделал рукой жест от себя, с которыми произносили, наверное, что-нибудь вроде «Чур-чур меня!», и, круто повернувшись, зашагал прочь.

А я, несмотря на жестокий мороз, долго еще стоял и смотрел на мертвое тельце, положенное мною в снег. Под заскорузлым панцирем душевной грубости, наслоенной уже долгими годами беспросветного и жестокого арестантского житья, шевельнулась глубоко погребенная нежность. Видение из другого, почти забытого уже мира разбудило во мне многое, казавшееся давно отмершим, как бы упрямленным за ненадобностью. Были тут, наверно, и неудовлетворенное чувство отцовства, и смутная память о собственном, рано оборвавшемся детстве. Хлынув из каких-то тайных душевных родников, они разом растопили и смыли ледяную плотину наносной черствости. Теперь не только грубое слово, но даже грубая мысль в присутствии моего покойника показалась бы мне оскорбительной, почти кощунственной.

Осторожно, как будто опасаясь его разбудить, я снова завернул мертвого ребенка в его тряпку и понес свой сверток дальше, на кладбище. Но уже не так, как нес его до сих пор, небрежно и безразлично, а как носят детей мужчины, бережно, но неловко прижимая их к груди. Было очень нелегко тащить в гору по непротоптанному снегу тяжелый, раскатывающийся на плече инструмент. Но я предпочитал доставать из-под глубокого снега то и дело сваливающийся лом, чем подхватывать этот лом рукой, занятой покойным младенцем.

Ближе к кладбищу снег становился все глубже, так как здесь, на краю долины, выступы сопки задерживали его от сдувания в море. Все чаще

приходилось останавливаться и отдыхать. И всякий раз при этом я отворачивал простыню и подолгу глядел на лицо ребенка. Маленький покойник парадоксальным образом напоминал мне о жизни. О том, что где-то, пускай в бесконечной дали, эта жизнь продолжается. Что люди свободно зачинают и рожают детей, а те платят своим матерям и отцам такими вот улыбками еще не осознавших себя, но тем более счастливых существ. Существует, наверно, такая жизнь и ближе, даже, может быть, совсем рядом. Но и на ней здесь лежит все очерняющая, все опорочивающая и искажающая тень каторги.

Мне очень хотелось прикоснуться к коже ребенка, казавшейся теплой и атласно мягкой. Но я знал, что будет ощущение не тепла, а холодного полированного камня, которое разрушит желанную иллюзию. И усилием воли заставлял себя не поддаваться этому соблазну.

Кладбище нашего сельхозлага, хотя оно и принимало к себе немало жертв других здешних лагерей, ни по занимаемой им площади, ни по числу погребений не шло ни в какое сравнение с кладбищами при лагерных приисках и рудниках. Там число уже мертвых почти всегда во много раз превышает число еще живых заключенных. Здесь же место, отведенное под могилы умерших в заключении, занимало на самом низу склона сопки лишь небольшую площадку. Со стороны моря она была ограничена крутым обрывом к широкой полосе прибрежной гальки.

Надо было точно знать, где находится наше кладбище, чтобы отличить его зимой от всякого другого места на склоне сопки. Ряды низеньких продолговатых бугров едва угадывались теперь под толстым слоем снега, засыпавшего их выше лагерных «эпитафий», больших фанерных биров, величиной с тетрадный лист, укрепленных на каждой могиле на небольшом деревянном колышке. Химическим карандашом на фанерках были выписаны «установочные данные» покойных, тот тюремный полушифр, в котором всегда сконцентрирована трагедия целой человеческой жизни. Однако сейчас на всем кладбище виднелась поверх снежных сугробов только одна из этих эпитафий, да и то лишь частично. Она была установлена на могиле, расположившейся почти на самом краю обрыва. Ветер с моря сдул вокруг нее снег и обнажил фиолетовые буквы и цифры. Они сильно расплылись от осенних дождей, и разобрать можно было только цифры 58-9 и 15. Этого было, видно, достаточно, чтобы понять, что погребенный здесь человек осужден за контрреволюционную диверсию на пятнадцать лет заключения. Судя по этим данным и относительной свежести надписи, это был один из товарищей Спирина, голодное изнурение которого дошло уже до необратимой стадии «Д-3»,

и он, полежав в нашей больнице месяца полтора, умер. Про него еще говорили, что он «остался должен» прокурору больше двенадцати лет.

Однако вопрос об этом человеке и его «долге» был сейчас праздным. Надо было высмотреть место для могилки. Да вот хотя бы здесь, рядом с могилой диверсанта, на самом краю каторжной колымской земли.

Своего покойника я решил положить головой к морю, хотя это и не по правилам, все покойники здесь лежат в другом направлении. Но гулаговские правила для него ведь и не обязательны. Не нужна над ним и фанерная эпитафия, повествующая о преступных деяниях покойного, действительных или выдуманных. Никакой, даже самый дотошный прокурор не смог бы сочинить такой эпитафии для младенца, вообще не совершившего никаких еще деяний. Формально он не существовал ни одной секунды из тех нескольких часов, которые прожил, и не имел даже имени.

Жизнь этого противозаконно появившегося на свет новорожденного не была нужна никому, даже его матери. «Оторва!» — махнул рукой по ее адресу Митин. На этот раз он был, скорее всего, прав. Женщины — профессиональные уголовницы — существа, обычно совсем опустившиеся. Даже когда их освобождают из лагеря именно потому, что они матери малолетних детей, далеко не все из них забирают из «инкубаторов» своих ребятишек. И уж подавно никогда почти не интересуются ими, не только оставаясь в заключении, но и заканчивая свой срок. Мне случалось видеть этих несчастных, полуголодных, одетых в убогую, пошитую из лагерного утиля одежку детей, явившихся на свет только благодаря надзирательскому недосмотру.

Однако у тех из прижитых в заключении детей, которые зарегистрированы как новоявленные граждане Советского государства, всегда числятся формально известными не только их матери, но и отцы. Регистрация новорожденных проводится через спецчасть лагеря, а та настойчиво требует от «мамок», чтобы они непременно назвали отца ребенка, пусть только предполагаемого. Оставлять незаполненной графу об отцовстве лагерного ребенка значило бы расписаться уже не в одном, а в двух упущениях. Впрочем, особых осложнений тут никогда не возникало. Мужчины-лагерники, которых, нередко совершенно для них неожиданно, производили в отцовское звание, почти никогда против этого не протестовали. Дело в том, что оно решительно ни к чему их не обязывало ни теперь, ни потом, кроме, правда, трехдневной отсидки в карцере «с выводом» за противоуставную связь с женщиной. Оставить такую связь безнаказанной лагер-

ное начальство права не имело. А поскольку факт рождения ребенка выдавал виновного в этом проступке с поличным, то счастливый папаша расписывался одновременно на двух бумагах: акте о рождении нового человека и приказе о водворении отца этого человека в лагерный кондей.

За всю историю нашего Галаганных всерьез принял свое отцовство только один заключенный. Это был жулик из Одессы, еврей по национальности, по блатному прозвищу, как водится, Жид. Отсидев после рождения в лагерной больнице своего сына положенные трое суток, отец выпросил ребенка у его матери через дневальную барака «мамок-кормилок» и демонстративно прошелся с ним по двору лагерной зоны. Встретив начальника лагеря, Жид смиренно снял перед ним картуз и от имени своих родителей пригласил его в гости в Одессу. Сам он принять дорогого гостя пока не может, но старики-де, уверял бывший фармацевт с пересыпского базара, будут рады приветствовать человека, официальным приказом по лагерю отметившего рождение их внука. Однако начлаг не оценил ни остроумия, ни вежливости Жида, и тот снова отправился ночевать в «хитрый домик» в дальнем углу зоны.

Я расчистил снег на месте будущей ямы и собрал его в небольшую кучку несколько поодаль от нее. Снова отвернул простыню от лица своего покойника и положил его на склон снежного холмика таким образом, чтобы видеть ребенка во время работы. Как я и предполагал, промерзший грунт речной долины по крепости мало уступал бетону. Даже не замерзшая смесь каменной гальки и глины — настоящее проклятие для землекопа. Сейчас же лом и кирка то высекали искры из обкатанных камешков кварца, гранита и базальта, то увязали в цементированной глине. Ямка была всего по колено, когда я, несмотря на жгучий мороз, снял свой бушлат и продолжал работу в одной телогрейке. Для погребения маленького тельца этой ямки было бы уже достаточно, но я упорно продолжал долбить неподатливый грунт, пока не выдолбил могилку почти с метр глубиной. Затем в одной из ее стенок я сделал углубление наподобие небольшого грота. Покончив с этим, взобрался высоко на склон заснеженной сопки — туда, где должны были находиться заросли, сейчас их правильнее было бы назвать залежами, кедра-стланика. Отрыл их, нарубил лопатой хвойных, ярко-зеленых веток и спустился с ними вниз. Долго и тщательно выкладывал этими ветками дно и стенки гротика. Затем, в последний раз поглядев на лицо ребенка, закрыл его простыней и положил трупик на ветки. Ветками покрупнее заложил отверстие грота и засыпал яму. Кропотливо и старательно пытался потом

придать рассыпающейся кучке мерзлой глины с катышами гладкой гальки вид аккуратной усеченной пирамиды.

Несмотря на привычку к тяжелой, ломовой работе, я устал. Надел свой бушлат и присел рядом на могилу диверсанта. Я так долго возился с погребением, что недлинный еще, мартовский день уже приближался к концу. На краю заснеженного обрыва темнел насыпанный мною бурый холмик. Внизу расстиралось замерзшее море, до самого горизонта покрытое торосами. Налипший на них снег розовел под лучами совсем уже низкого солнца.

Стояла глубокая, торжественная тишина. Наверно, такой глубокой она бывает еще на застывших планетах. Должно быть, и там вот так же величаво плывет над хаосом мертвой материи неяркое, потухающее светило.

Неправдоподобно огромный сейчас оранжевый диск солнца почти уже касался горизонта своим нижним краем, готовясь закатиться за него по-арктически медленно. Выше чистое бледно-розовое небо через неуловимые цветовые переходы постепенно становилось светло-синим. Только здесь, в этих неприятных северных краях, оно бывает таким нежным, таким чистым и таким равнодушным к человеку.

Конечно же, я не в первый раз видел этот первозданный пейзаж, в котором и прежде замечал что-то от холодного величия Космоса. Однако только сейчас закат над полярным морем вызвал у меня не только мысль, но и как бы чувство суровой гармонии мира. Мне казалось, что я ощущаю беспредельность и холод пространства, в котором движется наша планета, и его равнодушие к тому эфемерному и преходящему, что возникает иногда в глухих уголках Вселенной и зовется Жизнью. Жалкая и уродливая – она всего лишь плесень, которая ждет своего часа, чтобы быть навсегда уничтоженной мертвыми, но вечными силами Природы.

Но тут же во мне возник протест против этого пессимистического вывода, навеянного созерцанием впечатляющей картины царства холода. Жизнь только кажется скромной и слабой по сравнению с враждебными ей силами. Однако выстояла же она против этих сил и даже сумела развиться до степени разумного сознания, как бы отразившего в себе всю необъятную Вселенную. И это только начало! Несмотря на присущие всякому развитию тяжелые детские болезни, именно разумным формам жизни, а не мертвой материи будет принадлежать в конце концов главенствующее положение в мире!

Могильщиков с легкой руки Шекспира исстари принято считать чуть ли не профессиональными философами. Это сомнительное мнение было бы, вероятно, ближе к истине, если бы профессию погребав-

теля, как и все другие профессии, впрочем, люди бы себе выбирали. А что касается строя мыслей случайных ее обладателей, то он, как правило, такой же, как и у остальных людей. В лагере, во всяком случае, я не наблюдал какого-либо воздействия профессии могильщика на психологию тех, кто даже очень подолгу работал в похоронных бригадах. Постоянно обслуживая Смерть, они, как и все, постоянно думали и говорили о Жизни, причем в самых прозаических ее проявлениях, вроде лагерной пайки, баланды и сна на барачных нарах. Впрочем, наверно, даже те из них, кто обладал философским складом ума, памятуя о враждебно-насмешливой настроенности лагеря к сентиментальному философствованию, вряд ли могли быть так же велеречивы, как знаменитый могильщик из «Гамлета». Вот и я, например, никому здесь не признаюсь, что расчувствовался при виде маленького дубаря, а зарыв его, думал не о миске дополнительной баланды, которую получу сегодня за эту работу, а о путях мироздания. Тем более что и высокому строю своих мыслей, и торжественному настроению, с которым я наблюдал закат над арктическими льдами, я был обязан случайности. Не встретить меня на дороге сюда надзиратель Осипенко, не заставь развернуть мой сверток, я ни за что бы не сделал этого по собственному почину. Я давно бы уже наспех и как попало зарыл бы в землю этот сверток, заботясь только о том, чтобы его не вымыли вешние воды или не разрыли ездовые собаки. А закончив работу, поспешил бы в лагерь, думая, что пофартило мне все-таки здорово. Заработать целый день отдыха за каких-нибудь два-три часа работы удается не часто. Если, конечно, нарядчик не врет, что этот отдых обещан мне самим начальником.

Несколько ослабевший днем мороз начал крепчать снова, и теперь плохо помогал даже бушлат. Да и вообще была пора уходить отсюда, тем более что с раннего утра я ничего еще не ел и мысль об обогреве и сытном ужине начала заслонять собой все остальное. И все же мне хотелось сделать для погребенного ребенка что-то еще. Повинуясь этому желанию, я сбил киркой лопату с ее черенка и той же киркой перебил этот черенок на две неравные части. Затем вытащил веревочку из одного из своих ЧТЗ* и крест-накрест связал обломки палки. Импровизированный крест я воткнул в могильный холмик.

Солнце неохотно закатилось, оставив после себя полосу оранжевой зари, над которой в ставшем еще более холодным небе продолжали свою игру нежные оттенки розового и голубого. Какое-то мгновение после его захода верхние края торосов продолжали крас-

* По названию трактора – ироническое название лагерной обуви, пошитой из старых автомобильных покрышек.

новато светиться, затем они разом погасли. Бескрайнее нагромождение льдов внизу стало еще угрюмее и начало скрываться в холодной мгле. А над его темным хаосом на фоне гаснущего заката отчетливо рисовался водруженный мною символ и знак христианства. Сумерки скрыли убожество креста, а красноватый фон зари усилил его мрачную выразительность.

Логически этот крест был, конечно, совершенно не оправдан. Я не верил в Бога, а зарытый под ним ребенок не принадлежал никакой религии. Но он не был также и просто сентиментальной данью традиции, знакомой с далекого детства. Главная причина водружения мною, убежденным атеистом, религиозного знака на могиле безымянного ребенка заключалась, вероятно, в другом.

Я все еще находился во власти мысли о противостоянии Живой и Мертвой материи и не хотел, чтобы холодный хаос льдов и гор сразу же поглотил и растворил в себе останки маленького человеческого существа. Поэтому-то, наверно, следуя древнему стремлению Человека Разумного и утверждению Жизни даже после смерти, почти подсознательно установил ее знак на могиле усопшего. Этот знак был примитивен и прост, но он являлся символом правильной геометрической формы, которой Хаос враждебен и чужд. Это представление, скорее всего, и лежало в основе сооружения таких надгробий, как всевозможные обелиски, пирамиды и те же кресты.

Меня вдруг охватило чувство благоговения, как верующего в храме. Ушли куда-то мысли о еде, отдыхе и тепле. Это было, вероятно, то состояние возвышенного и умиленного экстаза, которое знакомо по-настоящему только искренне верующим людям. Под его воздействием я развязал тесемки своего каторжанского треуха и обнажил голову. Мороз сразу же охватил ее калеными клещами и больно обжег уши, реальность оставалась реальностью. Я надел шапку, смахнул с бушлата несколько круглых, похожих на градины льдинок и, подобрав с земли свой инструмент, начал спускаться в долину.

ДЕЛО ТАТЬЯНЫ МЯГКОВОЙ



О МОЕЙ МАТЕРИ

Моя мать, Мягкова Татьяна Ивановна, родилась в 1898 году в Тамбове в семье присяжного поверенного. Окончила гимназию. События революционных лет увлекли ее. Она поверила в провозглашенные большевиками лозунги. Участвовала в Гражданской войне. Была оставлена в Киеве в подполье во время занятия города войсками Деникина. Там она проявила достаточно смелости и выдержки («Летопись революции». М., 1926).

В 1927 году мама была исключена из партии за несогласие с партийной политикой Сталина, в 1928 году она была выслана в Астрахань, где продолжала активную оппозиционную работу, затем ее выслали в Челкар (Казахстан).

Мне тогда было четыре года, и я оставалась на руках бабушки под опекой отца, в то время наркома финансов Украины. В 1930 году отец приезжал в Челкар и убеждал маму отказаться от оппозиционных взглядов, подписать «отречение» (как тогда это называлось) и вернуться к дочери. После долгих колебаний мама согласилась с его доводами и присоединилась к очередному письму ссыльных с отказом от оппозиционных взглядов.

В это время отца перевели на работу в Москву и вся семья поселилась в «Доме на набережной».

В январе 1933 года маму опять арестовали. Она проходила по групповому делу Ивана Никитьевича Смирнова (о реабилитации группы И. Н. Смирнова, и в том числе Мягковой Татьяны Ивановны, я узнала из сообщения Комиссии Политбюро ЦК КПСС в «Правде», № 152 от 31 мая 1990 года).

Арестовали маму ночью, меня не будили, и когда я, проснувшись, стала ее звать, подошел отец и пояснил, что мама заболела и ее увезли в больницу. Этой версией маминого исчезновения мне долго морочили голову, и я этому верила.

Но когда в январе 1934 года арестовали отца (как украинского националиста, стремившегося создать украинскую буржуазную республику, а также подготавливавшего убийство Сталина, Постышева и др.), пришлось бабушке со мной объясняться.

Бабушка стремилась воспитать во мне любовь и уважение к родителям и одновременно любовь и уважение к Советской власти. Задача трудная, но она сумела ее выполнить. В доме часто повторялось принятое тогда: «Лес рубят – щепки летят».

После ареста отца остались: бабушка, тетя (мамина сестра) с сыном и я. Из «Дома на набережной» нас выселили. Бабушке дали квартиру в районе Шаболовки, где мы с братом и выросли.

Бабушка искренне верила, что Сталин не знает о размерах репрессий.

Я росла нормальным советским ребенком, пионеркой, комсомолкой, дружила с ребятами из рабочих семей, так как район наш был заводским. Единственно, чего бабушка не смогла мне внушить, – это уважения к Сталину. Я его не любила не только из-за судьбы родителей, но и за бесконечное славословие в его адрес. Я понимала, что при желании он может моментально это пресечь. Значит – не хочет. В школьные годы порой я просто выдергивала штепсель серой тарелки громкоговорителя.

Отца осудили на 10 лет и отправили на Соловки. Переписку с нами ему не разрешили.

Мама трехлетний срок отбывала в Верхнеуральском политизоляторе. Оттуда она писала нам каждую неделю. Она интересовалась всеми подробностями моей жизни. Ее влияние на формирование моих взглядов было велико.

В 1936 году маму выпустили из политизолятора и отправили в ссылку в Уральск. К счастью, бабушка сразу собралась и поехала повидаться с мамой.

Меня она обещала отправить к маме после окончания учебного года. Бабушка пробыла у мамы две недели. Это оказалось последней радостью в маминой жизни. Через несколько дней после отъезда бабушки маму перевели в Алма-Ата. Здесь она вновь мыкалась в поисках работы и комнаты, пригодной для нашей с ней жизни. В конце концов, не найдя комнаты, она посели-

лась в комнате ссыльного археолога, который на лето уезжал в экспедицию. Мне взяли билет, нашли попутчиков и дали телеграмму о моем выезде. Но условленного ответа не получили. На вторую телеграмму с оплаченным ответом последовало: «Адресат не проживает». Билет был сдан. Мама исчезла. Мне не суждено было познакомиться с мамой в более взрослом возрасте (мне было двенадцать лет).

Только через несколько месяцев получили от нее телеграмму из Магадана. Вскоре мы узнали, что постановлением Особого совещания она вновь была осуждена на 5 лет лагерей.

В 1937 году пришла от мамы телеграмма: «Не работаю Адрес Нагаево Новый Магадан Возможен переезд Не тревожьтесь длительным промежутком известий». Промежуток оказался бесконечным... Это была последняя весточка от мамы.

Официально сообщили, что мои родители вновь осуждены на 10 лет «без права переписки». Бабушка сделала все, чтобы не фиксировать моего внимания на этой стороне нашей жизни.

Но однажды зимой я увидела необычный сон.

Сначала я ощутила себя среди широкого водного простора. В руках я держала две общие тетради в коричневых клеенчатых переплетах.

Я открыла одну из них и увидела знакомый почерк мамы. Первые фразы были очень странными: «Когда ты будешь читать эти строчки, я уже буду на морском дне...»

Прочла я еще несколько строк, которые теперь не помню. Затем ощущение морского простора исчезло... Меня охватил ужас. Появились трубы огромного диаметра с бегущей по ним водой.

Чувство ужаса нарастало, охватило все мое существо – и я проснулась.

Никогда в последующей жизни мне не приходилось испытать что-нибудь похожее на леденящий животный ужас той ночи.

Потом пришла война. Многое было пережито и передумано. Ощущения той ночи остались только в памяти.

В 2003 году я узнала из газетной заметки о том, что часть приговоренных к расстрелу в Магадане грузили в трюмы барж, выводили эти баржи в море и топили...

Мира Варшавская, колымская солагерница мамы, после возвращения с Колымы, через знакомых разыскала меня. Я иногда у нее бывала. Жила она на Шаболовке в малюсенькой комнатке у черного хода.

В шестидесятых годах Мира и колымчанка Соня Смирнова пришли ко мне домой. Соня начала без обиняков:

– Я хочу тебе рассказать не очень веселые вещи. Вероятно, я была последней, кто видел твою маму... В это время на Колыме проходила полоса новых обвинений и новых сроков для политических заключенных. Их привозили

из дальних лагерей для того, чтобы объявить их новые вины и новые сроки трудовых лагерей без права переписки. Вновь осужденных помещали в большой барак с нарами в два яруса. В таком бараке оказались и мы с Таней. По ночам часто приходила команда охраны. Старшой зачитывал очередной список осужденных, которым надлежало следовать на выход с «вещами». Людей уводили для отправки в сверхдальние лагеря, как мы тогда считали. В одну из таких ночей вызвали твою маму. Я вскочила, помогла ее собрать вещи. Мы расцеловались. «Скоро и я вдогонку за тобой», – напутствовала я Таню...

Но больше я ее никогда не увидела.

* * *

Теперь благодаря магаданскому литератору А. М. Бирюкову я узнала подробности гибели моей матери на Колыме.

Рада Полоз

ИЗ ПИСЕМ А. М. БИРЮКОВА Р. М. ПОЛОЗ

Уважаемая Рада Михайловна!

Так вышло, что первым архивным делом, которое мне удалось получить после возвращения в Магадан, стало дело Мягковой Т. И. Постараюсь описать Вам его суть. Дело невелико. В описи названы лишь восемь листов, девятым следует выписка из протокола Тройки УНКВД по ДВК (Дальневосточному краю) от 3 ноября 1937 года: постановили... расстрелять.

В приложенных к делу материалах, на листе 17-м, помещен акт (с грифом «Совершенно секретно»):

17 ноября 1937 г.

ДВК г. Магадан

Настоящий акт составлен в том, что согласно решению тройки УНКВД по «ДС» и утвержденного тройкой УНКВД по ДВК приведен в исполнение приговор в отношении Мягковой Татьяны Ивановны, 1898 г. рождения, урожен. г. Тамбова, осужденной к ВМН – расстрелу.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.

Начальник 3-го отдела УГБ УНКВД по «ДС»

лейтенант госуд. безоп.

(Бондаренко)

И. о. коменданта УНКВД по «ДС»

мл. лейт. госуд. безоп.

(Соколов)

Начальник внутренней

тюрьмы УНКВД по «ДС»

(Кузьменков)

Все три подписи на экземпляре акта присутствуют.

В деле имеются два протокола допроса Т. И. Мягковой (оба от 26 сентября 1937 года), протоколы допроса свидетелей (соседки Т. И. по лагерному бараку — «комнате», как сказано в протоколе) и Кадочникова А. М. (стрелка ВОХР).

Суть дела (обвинение формально не предъявлялось; нет в деле ни постановления о его возбуждении, ни обвинительного заключения) состоит в том, что 14 сентября 1937 года, при этапировании группы троцкистов, остановленной у изолятора пос. Ягодный, з/к Мягкова вступила в разговор с находившимся в этом этапе знакомым, троцкистом Поляковым, и пыталась ему что-то передать. На требование стрелка Кадочникова, сопровождавшего этап, отойти «...стала кричать на весь лагерь: “Фашисты, наймиты фашистские, я знаю, что при этой власти не щадят ни женщин, ни детей. Скоро вам конец будет с вашим произволом” (показания Кадочникова)».

Свидетельница 27 сентября показала, что, проживая с Мягковой в одной комнате со дня ее прибытия в УДС (Управление Дальнего Севера — так в то время именовался Дальстрой со всеми подразделениями), установила, что «...Мягкова является неразоружившейся троцкисткой, четырежды судившаяся за К. Р. троцкистскую деятельность. Муж Мягковой осужден на 10 лет также за К. Р. деятельность. Будучи в Ягодном, Мягкова систематически устанавливала связь с троцкистами, как с этаплируемыми, так и с находящимися в УДС. У нее была связь налажена хорошо, т. к. при появлении этапа Мягкову тут же ставили в известность».

Вот, собственно, и все доказательства. В описи дела названы также «аг. (вероятно, агентурные) материалы» — л. д. 3, но вместо них подшит чистый лист.

По описи 1937 года дело завершается «Справкой об активной к-р подрывной деятельности во время нахождения в Севвостлаге» — так она озаглавлена. Справка выполняет роль — это мое предположение — и обвинительного заключения (коль скоро его нет), и постановления Тройки УНКВД по «ДС», на которое ссылается протокол Тройки УНКВД по ДВК. «Справка» подписана начальником райотдела Громовым (он вел следствие), зам. начальника УНКВД по «ДС» Веселковым и начальником Управления Севвостлага Филипповым 30 сентября 1937 года.

В преамбуле документа перечислены все прошлые меры наказания, примененные к Т. И. Мягковой:

«1. В 1927 году за к-р троцкистскую деятельность выслана из города Харькова в Астрахань.

2. В 1928 году за к-р троцкистскую деятельность Особым совещанием ОГПУ сослана в Казахстан на 3 года.



Татьяна Мягкова (крайняя справа) и ее подруги Соня Смирнова (крайняя слева) и Мария Варшавская (вторая слева). *Казахстан. Челкар. 1929*



Татьяна Мягкова в ссылке. На верблюде – Софья Смирнова (спереди) и Мария Варшавская. *Казахстан. Челкар. 1929*

3. В 1933 году Особым совещанием за к-р троцкистскую деятельность осужден (так в документе. — А. Б.) на 3 года политизолятора.
4. После отбытия наказания в политизоляторе приговорена Особым совещанием НКВД на 3 года ссылки в Казахстан.
5. В 1936 году за к-р троцкистскую деятельность Особым совещанием НКВД осуждена к 5 годам ИТЛ».

Эти данные будут приведены и в выписке из протокола Тройки УНКВД по ДВК, к ним прибавятся и содержащиеся в «Справке» обвинения 1937 года: «...находясь в лагере, систематически устанавливала связь с заключенными троцкистами. Держала голодовку в течение шести месяцев. Высказывает к-р пораженческие идеи».

Дело, конечно, жуткое. Не только тем, что в нем попораны все юридические нормы даже того бесправного времени. Жуткое по абсолютной неадекватности «преступления» и наказания: расстрел за факт общения со знакомым через колючую проволоку.

Неадекватность эта объясняется, вероятно, тем, что в 36–37-м годах — в хваленые берзинские годы! — на Колыме шла борьба с доставленными сюда в большом количестве летом 1936 года троцкистами. Было несколько крупных групповых дел, рассмотренных Военным трибуналом войск НКВД при «ДС» в начале и первой половине 37-го года. А дело Мягковой, по всей вероятности, — один из последних эпизодов этой жуткой кампании.

Обо всей этой истории пока очень мало известно. Я попытаюсь заняться этой темой подробнее, а потому буду Вам признателен за все имеющиеся у Вас сведения и документы, имеющие отношение к личности и судьбе Т. И. Мягковой.

...Простите за горькие минуты, которые Вам пришлось пережить над этим письмом. Молча жму Вашу руку.

Уважаемая Рада Михайловна!

...История того, как доставили на Колыму шесть тысяч (а не двести человек, как я писал Вам раньше) заключенных троцкистов, как искали они здесь справедливости (хотя бы в предоставлении статуса политзаключенных), как пытались продолжать борьбу со сталинизмом и как были уничтожены в течение считанных лет, — грандиозна даже на фоне всенародной трагедии. И судьба Вашей мамы — одно из звеньешек этой страшной истории.

...На Колыме Поляков был осужден 11 октября 1937 года. Выписка из протокола заседания Тройки УНКВД по ДВК:

«...49. Поляков Вениамин Моисеевич.

Обвиняется: член к-р троцкистского комитета, участник к-р демонстрации во Владивостоке. Организатор бунта по пути следования в Нагаево. Проводил вербовку участников голодовки, сам принимал участие в голодовке. Составлял и подписывал к-р протесты и заявления. Отказчик от работы».

Поляков был расстрелян 26 октября 1937 года. Акт о расстреле подписан начальником 4-го отдела УГБ УНКВД Мосевичем, и. о. коменданта УНКВД мл. лейтенантом гос. безопасности Соколовым, нач. внутр. тюрьмы УНКВД Кузьменковым...

ИЗ ПИСЕМ ТАТЬЯНЫ МЯГКОВОЙ МАТЕРИ, ФЕОКТИСТЕ ЯКОВЛЕВНЕ МЯГКОВОЙ

9/VIII – Магадан

...Магадан довольно интересный город. Конечно, и здесь острейший жилищный кризис. Но в самых скверненьких палатках (не подумайте, что палатки эти просто брезентовые. Они имеют деревянный остов – стены, деревянный пол, а брезент натягивается уже сверху) электричество.

Очень хорош Магадан вечером, когда смотришь на него откуда-нибудь сверху. Недалеко от него (километров 6) порт Нагаево. Бухта исключительно хороша для стоянки пароходов – и очень красивая. Море меня всегда успокаивает, даже когда на него смотришь издали. И опять особенно хорошо вечером. Тогда огоньки на берегу залива напоминают Ялту. Сопки кругом покрыты «лесом». Это лиственница, сосна и, кажется, ольха. Но все страшно мелкорослое, а внизу мох, почва, вероятно, болотистая. Когда идешь – она мягко пружинит, хотя сырость и не чувствуется. Брусники и маслят – страшное количество...

9/X – 1936 г. – Магадан

... Что о себе? Я уже опять начала жить. От этой скверной привычки я так, вероятно, и не отделаюсь. Я не могу, конечно, утверждать, что «жизнь моя течет в эмпиреях», но я уже довольно давно привыкла обходиться без эмпирей и при этом все-таки одобрять жизнь. Нет, все-таки «одобрить» эту свою жизнь мне что-то не хочется, но – что греха таить – я уже ощущаю удовольствие от кое-каких жизненных явлений и процессов, причем иногда в совершенно неожиданные моменты. Например, во время рубки дров или... стирки белья. Приятно взмахнуть топором, чтобы полено треснуло, приятно смотреть на зем-

лю в инее, приятно ощущать себя живущей и что-то делающей. Ты уже понимаешь, что все в порядке и что это ощущение — наилучший признак возвращающегося душевного здоровья? Получается, правда, некоторое раздвоение: выводы логические у меня довольно пессимистические (относительно себя, конечно), а неразумный оптимизм опять, по своему обыкновению, начинает вылезать из всех пор. Ну и пусть вылезает, и к черту логику. Так ведь, мамусик?..

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО К ДОЧЕРИ

Ягодный 18/IX 1937 г.

Обезьянка моя любимая, дорогая моя девчурочка, зоренька ясная моя, далекая-далекая! Вот тебе первый мой рисовальный блин... Ну, конечно, раз первый, так комом... И все-таки я довольна, что наконец что-то такое тебе посылаю. По правде сказать, нужно было бы расставить номерочки, как ты иногда делаешь, и надписать, чтобы ты не приняла сопки за облака. Во всяком случае, сообщаю во избежание всяческих недоразумений, что на самом первом плане лежит старый трухлявый ствол давным-давно упавшего дерева и из него торчат сучки от бывших когда-то веток. Этого ты, кажется, без объяснений никак не поймешь... А я, когда рисовала, сидела на еще большем стволе. Это дерево настолько широкое, что, когда я кончила рисовать, я разлеглась на нем, подложила под голову книгу и смотрела в небо. Солнце грело сегодня так, что в одном платье было очень жарко... По рисунку ты можешь видеть, что природа здесь не особенно богатая. Но после Магадана она имеет свою прелесть, прежде всего потому, что есть лиственные деревья, а не одна только лиственница. Очень противное дерево — ни рыба ни мясо. Совсем хвойное, а хвоя осенью желтеет и осыпается. Еще прошлый выходной день тут была настоящая золотая осень. Лесок, по которому мы бродим, пересекается горной речкой Дебин. У нее масса рукавцев и ручейков, так что приходится бесконечно перебираться через воду. В очень многих местах перекинуты или сами перекинулись стволы деревьев, то тоненькие, то толстые. По тоненьким хожу с опаской: хоть утонуть никак нельзя — выше пояса нигде вода не достигает, но перемокнуть в холодной-прехолодной воде тоже не очень приятно. Иногда речушка становится узенькой, и мы через нее перепрыгиваем (вчера моя товарка как прыгнет, да со всего размаху и свалилась в воду около берега, пришлось обсушиться на солнышке). А вообще эта речушка с кустарником, деревьями, галькой на берегу и постоянным шумом

бегущей воды очень хорошо действует на мое настроение. Сядешь или ляжешь на ствол дерева, слушаешь журчанье воды и думаешь: «вот, была бы здесь Радусинка, мы с ней вместе через речку перебирались бы и кораблики пускали...»

...А за речкой болото. Вода только кое-где видна. Все оно покрыто толстым-претолстым слоем разноцветного мха, очень красивого. Нога тонет. Идешь как на пружинах. На болоте — ягоды. Первый раз, как мы на них наткнулись — мы не догадались, что за ягоды: сидит красненькая ягодка на тоненькой-тоненькой ниточке. Собственно, и ниточка и ягодка лежат на мху, и листьев тоже почти нет. Мы едим их и рассуждаем, ядовитые они или нет. А они невкусные, кислые, и видеть, что незрелые. Наконец кто-то из нас догадался: «Да ведь это клюква!» — «А, клюква, ну тогда ем дальше. Она сразу вкуснее стала»... Ну, а если немножко взобраться по сопке вверх, там растет брусника. Не очень много ее, но такая она вкусная и красивая была сегодня: созрела по-настоящему, да слегка ее приморозило — букетик просто чудесный. Хотела я его донести до дому, чтобы тебе нарисовать, да на этой бумаге нельзя рисовать красками, они расплываются — это во-первых, а во-вторых, я ее нечаянно по дороге съела... Ну, а населения в этом лесу мало. Изредка встречаемся с моим любимым бурундучком, раз или два пролетит кобчик, трясогузочка желтенькая почирикает — и все. И все-таки так приятно ходить, сидеть на пнях и упавших деревьях и вдыхать запах опавших листьев...

...По ночам уж нередко заморозки, тогда мы растапливаем свою железную печурку. Дрова весело трещат, и по потолку играют световые пятна. Лежишь под одеялом, смотришь на них, а думаешь о Радусиночке. Миленькая моя, у меня к тебе просьба: можешь писать мне регулярно хоть два раза в месяц, а то так давно нет от тебя ничего, моя звездочка, и я теряю тебя из виду: не зная, что ты делаешь, с кем дружишь, что читаешь, чем интересуешься. Мне сейчас не очень легко живется, детуся, очень уж я далеко от вас и совсем-совсем одна. А твои письма для меня главное, и они сделают мою жизнь радостной. И еще — каждые три месяца снимайся в моментальной фотографии. Обо всем пиши, родная, я хочу знать, о чем ты думаешь, кого ты любишь, с кем играешь, с кем ссоришься... Давай губенки — крепко, крепко целую мою единственную.

Мама

ЕКАТЕРИНА КУХАРСКАЯ



С Катей Кухарской я подружилась в 1940 году на мелиорации. И я, и она были звеньевые. Мы рыли каналы. Впрочем, рыли – не то слово: в пятидесятиградусный мороз мы кайлами отбивали куски, крепкие, как гранит. Потом мы их выкидывали на бровку. Мое и Катино звено резко отличались почти ото всех звеньев, особенно от тех, где работали бытовички. Чем? Дружбой, товарищескими отношениями. Мы жалели слабых и давали им более легкую работу. Сильные били кайлами, слабые выбрасывали грунт. Во многих звеньях были ссоры, взаимные упреки, счеты, кто лучше работает, кто халтурит и т. п. В наших – никогда. Все работали изо всех сил, чтобы не подводить товарищей.

У Кати срок был 5 лет. Она его окончила и уехала в Магадан. Мы расстались и встретились лишь в 70-х годах. Она жила в Полтаве, я – в Москве. Она меня разыскала и в течение многих лет приезжала на две-три недели в Москву и гостила у меня. Я узнала ее историю.

Еще молодой девушкой она вышла замуж за американского анархиста, выходца из России, который, узнав об Октябрьской революции и всей душой ей сочувствуя, приехал в Россию. Недолго они прожили: он был арестован и попал в Ташкент в ссылку. Она поехала за ним. Там он работал столяром,

она – портнихой. Они любили друг друга. Несмотря на положение ссыльных, это был счастливый период в их жизни.

В 1936 году их арестовали. Кате дали 5 лет и отправили на Колыму. Он получил 8 лет, и, куда его дели, Катя не знала. Катя написала своей хозяйке в Ташкент с просьбой прислать вещи, если что-нибудь сохранилось. Хозяйка тотчас же собрала бедное Катино имущество и прислала ей на Колыму. А среди вещей находилась драгоценность: маленькая карточка мужа с надписью «Норильск». А через некоторое время она получила от него письмо.

После войны Катя сумела добиться разрешения на выезд с Колымы и поехала в Норильск. В селении, немного не доезжая Норильска, ее остановили: дальше ехать без пропуска нельзя. Катя поступила в столовую поварихой и искала связи с мужем. Это оказалось легко: в село часто ездили шоферы из Норильска, и через них она завязала переписку с мужем, который работал столяром в театре. Один шофер, друг Катиного мужа, провез ее в Норильск, укрытую пустыми мешками. В Норильске Катя поступила в театр костюмершей. Они с мужем скрывали свое знакомство (фамилии были разные). Катя только клала в условленное место для него что-нибудь съестное.

Когда он освободился, они отпраздновали свадьбу и остались работать в театре. Это было счастливое время. Каждый день в обеденный перерыв они бежали в Катину комнатку обедать, после работы – читали, бродили, общались с немногими друзьями. Так прошел год. Однажды он плохо себя почувствовал и ушел на обед раньше обычного. Катя бегом побежала к себе и застала его лежащим на полу, умирающим. Спасти его было нельзя – тяжелый инфаркт.

Через несколько лет Катя отыскала брата покойного мужа, который жил в Полтаве, и по его приглашению поехала туда.

Когда ей минуло 80 лет, она заболела и умерла очень одинокой.

Ольга Слиозберг

БУДЬ ЧТО БУДЕТ

ТРАНЗИТКА

39-й год. После полутора лет заключения в строжайшей политической тюрьме нас отправляли куда-то на Дальний Восток.

Группу женщин из «черного ворона» из двери в дверь пересадили в товарный вагон с зарешеченными окошечками вверху и наглухо закрыли. Только и успели мы рассмотреть часть таких же наглухо закрытых вагонов и деревья, настоящие деревья возле тупика, где стоял поезд.

Все сбились возле окошек. По очереди влезали на выступ вагонной стены и выглядывали на «волю».

Оказывается, она существует – живая, забытая жизнь. Деревья под ветром показывают серебристую изнанку листьев, вдалеке крестьянин гонит корову, черная коза, опершись передними ножками на ствол, объедает листья молодого деревца...

Вначале мы, отупевшие после тюремной изоляции, отвыкшие от людей, очутившись в обществе семидесяти товарищей по несчастью, были ошеломлены. Стали знакомиться, искать землячек, устраниваться на нарах.

...В Новосибирске весь эшелон водили в баню. Это было грандиозное мероприятие! Мы, цепляясь за решетку окна, разглядывали колонны мужчин, проходящие в окружении конвоя мимо нашего вагона.

Искали своих, но узнать даже самого близкого человека среди этой толпы людей, обезличенных одинаковой одеждой, отросшими, почему-то у всех рыжеватыми бородами и общим выражением измученных желтых лиц, было невозможно.

Повели нас. Группа женщин в темных тюремных платьях, лиловых косынках и больших незашнурованных ботинках, окруженная конвоем с рычащими и рвущимися на поводках собаками, производила, наверно, жуткое впечатление.

– Врагов народа гонят! – кричали забегающие вперед мальчишки. Мы видели ужас в глазах встречных прохожих, а сами радовались свежему воздуху, впечатлениям, предстоящей бане.

Приехали во Владивосток. Нас поместили в женское отделение пересыльного лагеря где-то на окраине города. Женский лагерь состоял из четырех барачков, огороженных колючей проволокой с трех сторон и дощатым высоким забором со стороны мужского лагеря.

Опять, как в вагоне, мы имели возможность разглядывать бесконечные вереницы мужчин, проходящие за колючей проволокой к воротам мужской пересылки. Часами стояли унылые женские фигуры за проволокой, вглядываясь в проходящих. Никто их не прогонял, но очень редко удавалось им обнаружить кого-нибудь из близких или знакомых. В таких случаях потом у щелей забора они вели с ними долгие разговоры, расспрашивали о мужьях, братьях.

В женских бараках вдоль стен стояли четырехъярусные нары с узким проходом между ними. В первую же ночь выяснилось, что лампочка в бараке не горит и что спать не придется, потому что на людей накинута неистощимая полчища клопов. Они лезли отовсюду, сыпались с потолка, крупные, свирепые, не было никакой

возможности от них защититься, и все выбрались во двор. Долго отряхивались, отплеывались и стали устраиваться на ночь во дворе. Ночи были приморские: сырые, холодные, а все, что было у многих из нас, это один бушлат и на себя и под себя.

Среди валявшегося в углах двора строительного хлама разыскивали куски фанеры, доски и, почистив их, укладывались. Я объединилась с двумя симпатичными мне ленинградками. Одна – сотрудник какого-то научно-исследовательского института, Наташа, другая – работник Ленинградского горсовета латышка Алла, когда темнело, поджидали меня за углом барака. Старостой пересылки была полная крикливая бытовичка, «бешеная корова», как ее звали за глаза. Она не разрешала нам снимать на ночь дверь с петель – непорядок, мол, а у нас не было другого выхода. Из хлама во дворе все было выбрано, а широкая одностворчатая дверь из толстых досок нам очень нравилась. Втроем мы прекрасно укладывались на ней, подстелив один бушлат и укрывшись двумя другими. Обычно мы выжидали, пока «бешеная корова» уляжется спать, но она скоро разгадала наши маневры и настигала нас тогда, когда мы, кряхтя, снимали дверь или волокли ее. Мы бросали свою добычу, староста носилась за нами вокруг барака и вопила:

– Повесьте сейчас же дверь на место, я начальнику пожалуюсь!

Мы подтаскивали дверь к месту и, когда староста, усталая и удовлетворенная тем, что ее приказ хоть отчасти выполнен, уходила спать, снова тащили ее в угол двора. Утром мы ее вешали на место до того, как вставала староста. Эта комедия повторялась изо дня в день. Клопы из бараков в поисках добычи ползли по двору целыми процессиями, приходилось преграждать им путь водой. Все наблюдали впервые в жизни такое явление.

После долгой жизни за толстыми стенами мы вдруг очутились на пригорке двора, открытого всем ветрам день и ночь. Похлебку привозили в походных кухнях два раза в день. Она была такого качества, что уже на третий день все предпочитали есть свой кусок хлеба с самодельным квасом, не прикасаясь к ней.

Началась эпидемия желудочных заболеваний. Сначала поднималась температура, а дня через два открывалась дизентерия. Врачи со своей аптечкой были беспомощны. Первых больных забрали в больницу, но через несколько дней они приплелись обратно, упросив главного врача больницы выписать их.

– Там скорее помрешь, чем поправишься, – говорили они.

Персонал больницы состоял главным образом из уголовников – «друзей народа», как их в шутку называли, противопоставляя «врагам

народа» – политическим. Им всегда начальство отдавало предпочтение при назначении на низшие должности лагерной администрации, на легкие, «хлебные» работы. За больными они вовсе не ухаживали, обирали их и самым наглým образом распоряжались продуктами питания. Это была укоренившаяся традиция, и никто с ней или не пытался, или не мог бороться.

Когда эпидемия приобрела широкие размеры, администрация приняла решительные меры: в стороне от старых были построены новые палаточные бараки с совершенно чистыми, пахнущими сосной нарами; заключенные врачи получили медикаменты, в пристроечке одного барака была устроена кухня, и несколько добровольных хозяек из заключенных, получая хлеб и сухой паек, взялись готовить пищу. Кормили больных далеко не диетическими блюдами из овсянки, соленой рыбы, плохой картошки, но все пошло на поправку.

В это время кое-кого из нас стали посылать на работы в больницу, кухню, на огороды подсобного хозяйства. Недавно ушел большой этап из засидевшихся на транзитке уголовников, и не хватало рабочих. Мне пришлось дня три проработать на кухне с остроносенькой Аней, бывшей на воле начальником отдела Госплана. В кухне, как и в больнице, тоже было засилье уголовников.

В больших цементных чанах в позеленевшей воде мокли тресковые головы, подгнившая картошка. Гудели тучи мух. У окна сидел коренастый человек в грязном халате с бритым актерским лицом. Перед ним стояли на подоконнике тарелка с жирными горячими лепешками и стакан крепкого чая. К стеклу была прислонена открытая книга.

– Кто это? – спросила я девчонку, вытаскивающую черпаком из чана гнилые тресковые головы в ведро для закладки в котел. Я мыла рядом картошку.

– Это пахан, аферист, – с уважением прошептала она, скосив глаза в его сторону.

К концу дня Аня завязала с паханом, который опять сидел у окна, разговор.

– Что это вы читаете? – спросила она, кивнув на раскрытую книгу.

– Глупую книгу одну. Диккенса.

– Почему глупую? Не нравится?

– Вранье все. Таких людей не бывает.

Потом Аня, вспомнив, вероятно, свою прежнюю деятельность, стала высказывать ему свои соображения об улучшении порядков на кухне:

– Надо чаны сделать проточными, выгнать мух, натянуть марлю на окна, перенести помойку в глубь двора.

— А зачем это все нужно? — не отрывая глаз от книги, спросил он.

— Чтобы продукты не портились, не загнивали. Посмотрите, что вы закладываете в котел.

— Мы их получаем тоже не очень... А потом, мы этого не едим, — и он брезгливо сморщился.

— Да, но другие!

— А до других мне нет дела. Даже здесь надо *уметь жить!* — И, взглянув на Аню холодным взглядом серых глаз, добавил: — Начальство наше довольно, значит, все в порядке, а вы забываете, что вас сюда прислали не на руководящую должность, а чер-но-ра-бо-чей.

ГОРЯЩИЙ ПАРОХОД

К концу лета начальство пересылки стало собирать группу в этап. Работала медицинская комиссия. Слабых, больных не брали. О месте назначения нам не сообщали, но все знали, что этапы отсюда идут только на Колыму.

В последний день перед отправкой прибыла большая группа уголовниц. Старые, молодые, оборванные и одетые даже с некоторым шиком, они подняли суету, шум и ругань во дворе возле старых барачков, куда их поместили. Ругались они виртуозно, как будто старались перешеголять мужчин. Вечером, когда прибыл этап на пристань, оказалось, что большой океанский пароход не готов к приемке пассажиров. Вокруг парохода суетились маленькие ремонтные суденышки. «Плохое начало пути», — говорили скептики. Нас завели за склады, и здесь, на огороженной площадке, мы дождались утра. Утром, как видно, все уладилось, и гуськом по высоченному трапу все полезли на пароход. В глубоком трюме с четырехъярусными нарами разбили всю толпу на сороковки, назначив старост для получения и дележки пищи. Старосты три раза в день выходили на палубу, видели зеленоватые волны с белыми гребнями за высокими бортами, бесконечный простор, дышали свежим морским воздухом. Все им завидовали.

Вечером блатнячки, расположившиеся в одном крыле трюма, поближе к люку, развернули свою самодеятельность. В широком проходе между нарами отплясывали и русскую, и «танец Шамиля», и лезгинку. Музыканты, поджав по-турецки ноги, сидели на нарах. Одна на гребешке вела мелодию, остальные подпевали, отбивали такт ложками. Оркестр был спевшийся, музыка подымающей, зажигательной. Особенно хорошо плясала лезгинку за мужчину высокая тонкая девушка с шапкой кудрявых черных волос, похожей на папаху горца. Сцепив пальцы опущенных рук, глядя в землю, со страстью и какой-то

тоской выплясывала она перед своей холодной партнершей, потом раскидывала руки и неслась по кругу, как птица, перебирая легкими ногами, как настоящий грузин. Все дружно ей аплодировали, вызывали на «бис».

Пели свои печальные песни:
Позабыт, позаброшен,
С молодых юных лет
Я остался сиротою,
Счастья, доли мне нет...

Кто-то из зрителей присоединился к хору. Из блатнячек лучше всех пела хиленькая, кривоногая Дашка. Ее руслановский голос выделялся из всего хора. Она пристраивалась где-нибудь на ступеньках лестницы, на краю нар, поджимала ноги и заливалась. Когда все уже устали и замолкли, она вдруг запела:

Средь глубоких снегов затерялося
Небогатое наше село... –

и так хорошо она пела, что все мы опять дружно хлопали.

На второй день пути все почувствовали, что на пароходе творится что-то неладное. Старост утром не вызывали за баландой, на палубе над нами слышался грохот, топот, как будто перетаскивали какие-то тяжести, через полуоткрытый люк слышались крики команды.

– Что случилось? – волновались в трюме женщины, но никто не отвечал.

К этому времени многих мучила морская болезнь. Воды в бочке не было. Стали кричать:

– Воды, воды! Дайте воды! – и опять не было ответа.

Только к полудню какой-то конвоир наклонился над люком и сказал:

– Тише, не шумите! Пожар на пароходе.

Вот тут и началось! Кто-то пустил слух, что под нами погружен бензин, что показался из-под пола дым. Группа блатнячек, размахивая кулаками под люком, кричала:

– Это все они, враги народа! Они на воле вредили и здесь подожгли! Уберите их отсюда, а то мы им самосуд сделаем!

Пытались их увещевать:

– Да перестаньте вы бесноваться, вы же ничего не знаете!

– Знаем! – вопили они, а когда конвоир стал затягивать люк брезентом, вероятно, для того, чтобы не были слышны эти крики наверху, поднялся сплошной истеричный вой: – Люк закрывают, ко дну идем!

Минут через десять люк открыли, и по лестнице спустился пожилой моряк.

— Что вы шумите? Я капитан. В чем дело?

— Что случилось? Объясните, пожалуйста.

— Это верно, что под нами бензин погружен?

— Политические подождите паролод? — посыпались вопросы.

— Не все сразу. На пароходе пожар. Ночью из мужского трюма уголовники проломали стену в соседний трюм, груженный продуктами. Грабили со спичками, обронили огонь, и вот результат. Огонь проник глубоко. Тушить мы можем только паром, и ликвидировать пожар нелегко. Под вами не бензин, а печенье. Печенье, понимаете? Не подымайте паники. Мы дали сигнал о помощи, и к нам подошел встречный паролод. Он будет сопровождать нас до места. Если будет опасность, людей перегрузим. Ясно? Старостам наверх. Получать рыбу и сухари. Горячей пищи сегодня тоже не будет.

После его ухода все долго молчали. Старосты принесли соленую рыбу и сухари, спустили на веревке в ведрах воду.

К вечеру блатнячки вытолкнули откуда-то из угла девушку. Она озиралась и отступала, пятясь, к лестнице. Села на нижнюю ступеньку, тревожно, исподлобья оглядывая преследующих ее женщин.

— Ты говори, подлюка, ты знала, знала?

Она молчала. К ней подошла пожилая растрепанная женщина и спросила в упор:

— Галька, у тебя вчера ночью Василий был?

— Ну, был.

— Чего он тебе говорил?

— Чего говорил? Говорил, погуляем завтра, Галька, поедим колбасы, печенье, шоколаду. Вот.

— И ты молчала? Столько людей готовы погубить из-за жратвы!

— А что мне, доносить?

Блатнячки плевали ей в лицо, шлепали по щекам, но не сильно. Все-таки свой брат. Утром Гальку куда-то увели.

Старосты рассказывали, что всех мужчин вывели на палубу. Среди них много жертв. Кто задохнулся от дыма в трюме, кто застрелен конвоиром, стоявшим на посту у люка, когда все ринулись наверх, кто задушен в этой свалке. Завтра возьмут женщин шить похоронные мешки.

Весь следующий день женщины, которых не брала морская болезнь, шили на палубе похоронные мешки. Светило солнце, мощные волны вздымали нос парохода, а на носу лежали рядами покрытые брезентом трупы.

Сколько их?

МЕЛИОРАЦИЯ ПЕРВАЯ

Наш этап прибыл из Магадана в далекий таежный поселок. Это была «тайга», та «тайга», которой в Магадане боялись как смерти, но тайги, леса здесь не было. За поселком, уходя вдаль, лежала разрезанная дорога, а по сторонам раскинулась заснеженная долина с редкими группочками хилых лиственниц и зарослями низкого кустарника.

Всю группу прибывших «тюрячек» (заклученных, имеющих приговор: тюремное заключение) послали на мелиорацию. Был конец апреля. В долине солнце пригревало, снег подтаивал. По линии, намеченной дорожным инженером, нужно было расчищать подтаявший снег и кайлом пробивать в мерзлом каменистом грунте каналы для спуска весенней воды.

Сначала никто не знал, как взяться за кайло, потом руки как-то сами стали приспособляться, и к концу недели уже кое-что стало получаться. Раньше всех научилась кайлить грузинка Тамара. Как ни странно, Тамара – студентка, дочь крупного тбилисского инженера, не знавшая никогда физического труда, раньше всех осваивала любую работу. Все стали ходить к ней учиться.

Под снегом как-то обнаружили невыкопанный с осени, промороженный, сладкий турнепс. Это был целый праздник, жаль, что его оказалось мало.

Снег таял. Побурели сопки. Журчали и пели ручьи, рядом с островками рыхлого снега зацветали огненные жарки, тянулись караваны гусей, уток.

Когда прошла вода по старым и кое-как пробитым новым каналам, мы стали реставрировать старые. К этому времени мы уже кое-чему научились. Подносили грунт, трамбовали и потом сами любовались результатами своих трудов. Из размытого оврага получался ровный канал, борта хорошо утрамбованы, в меру крутые, как у гранитной набережной в Ленинграде, шутили некоторые.

Местами возле каналов целые поляны были покрыты сухими кочками, похожими на головы с тонкими шеями закопанных в землю людей. С макушек их, как редкие волосы, свисала сухая трава. На них мы разогревали еду в консервных банках, разжигая костерки, и, уходя, оставляли после себя целые полчища обгорелых, черных голов.

Летом нас перебросили на галечный карьер и ремонт дорог. В полукилометре от большой дороги мы раскайливали залежи гальки, грузили ее на машину. К нам был прикреплен вольный шофер

Тимка-хромой со своей машиной. Худенький, подвижный, с озорными мальчишескими глазами, он был нам добрым товарищем.

Ходили мы в самодельных шароварах из мешковины (единственный доступный нам за пайку вид мануфактуры) для защиты от свирепых оводов, в накомарниках с туго затянутыми тесемками. Комары висели над нами тучей, назойливо звенели, пробивали кофты, присасывались через малейшую щелочку в одежде.

При таком засилье гнуса мы все же ухитрялись купаться в холодных, чистых мочажинах болотистой низинки за карьером. Дни стояли жаркие. После дня тяжелой, грязной работы трудно было устоять перед этим соблазном. Сначала самые рьяные любители купанья выработали особую технику, и ею стали пользоваться все.

Нужно было густо намылить мочалку, молниеносно сорвать одежду и намылиться. Оказывается, комары не переносят мыльной пены. Они яростно гудели вокруг нас и ничего не могли поделать. Мы торжествовали. Потом нужно было обмыться в ледяной луже и также молниеносно одеться. Но как бы быстро ни старался это сделать, они так успевали изжалить за эти несколько секунд, что тело горело, как после десятикратного душа «Шарко».

К нам стали заглядывать какие-то подозрительные разведчики. Они оставляли машину на дороге, слышав женские голоса, и бежали посмотреть. Приглядывались, расспрашивали, заигрывали. Отвечали им не очень любезно.

– Подумаешь, интеллигенция! – шипел какой-нибудь мужик. – Вот мы тебе устроим «трамвайчик», краля, тогда узнаешь, что нужно! – и уходил к своей машине, еще что-то издали выкрикивая. Мы, конечно, врали, что конвоир повел больную в контору, сейчас вернется, а сами боялись до смерти. Если они дознаются, что мы здесь одни в шести километрах от поселка и полутора километрах от конторы, того и жди налета.

Эти лихие колымские шоферы, прожженные приисковые волки, способны на все. Они годами не видели женщин на прииске и, вырвавшись на трассу, старались воспользоваться всеми возможностями, которые, по их мнению, давала поездка. Бывали случаи, когда захватывали женщин прямо на улице, за воротник бушлата втаскивали за борт машины и увозили далеко на трассу. Потом находили где-нибудь в канаве ее истерзанный труп, если находили. Это называлось «попасть под трамвай» на колымском жаргоне.

Нас было в бригаде двенадцать человек, и хотя мы были объединены случайно, эта бродячая жизнь, общность интересов да еще схожесть причин, по которым мы попали сюда, сдружили нас. Нужно

рассказать хотя бы о тех, с которыми еще не раз приходилось сталкиваться на лагерных путях. Латышка Алла – работница Ленинградской швейной фабрики в прошлом. В 1919 году была избрана депутатом Ленсовета, работала с Н. К. Крупской по борьбе с беспризорностью, всегда с упоением вспоминала эти трудные, незабываемые годы.

Невысокая, приземистая, с прямым, чистым взглядом голубых глаз и детским, всегда неожиданным при ее суровой внешности смехом. Она была настоящим потомственным ленинградским пролетарием по психологии. Честный, упорный, в полную силу труд был ее природой, и здесь она не изменяла себе. Ее исключительную честность, справедливость чувствовали все, даже обленившиеся, испорченные воровцы. Всякую дележку всегда поручали ей, и ни у кого не возникало сомнений, что все сделано самым справедливым образом, когда она, сжав губы в ниточку, строгим взглядом проверяла разложенные куски хлеба или кучки сахара. Возле нее терлась голосистая Шурка, курносая, веснушчатая блатнячка. Шурка была «съявка», мелкая воровка, неудачливая, вечно попадающаяся, презируемая блатной аристократией. У нее был деревенский, полевой голос, да и во всей повадке, пронесенной через детдомовскую и блатную жизнь, чувствовалась здоровая деревенская закваска.

Как-то в бане Алла одевалась рядом с ней и увидела, что Шурка надевает кофту прямо на голое тело.

– Где твоя рубашка?

– Нету.

– Где же она, хоть казенная?

– За пайку променяла, – буркнула Шурка.

Вечером Алла, сидя под лампочкой, вышивала (побочный заработок за пайку). Подсела Шурка. Алла долго молчала, потом вынула ключик и, отдавая его Шурке, сказала:

– Ты знаешь, где моя постель? Вон там в углу. За подушкой чемодан. Открой и найди себе там рубашку. – Алла была из тех «тюрзачек», которым выдали личные вещи при отправке в лагерь.

Шурка была ошеломлена – ей, воровке, такое доверие!

Она с сомнением повертела ключик в руках – нет ли тут какого подвоха? – и, понурясь, пошла к нарам. Выбрала она себе рубашку самую старенькую, принесла и показала Алле, сказала «спасибо» и потом долго сидела возле нее, присматривалась и молчала.

Когда, уже в «тайге», набирали бригаду на мелиорацию, Шура попросила прораба взять и ее. За Аллой она ходила как привязанная.

Тамара – грузинка лет двадцати четырех. Когда она сердилась, ее темные глаза округлялись и в упор смотрели на собеседника. Причин

для этого здесь было достаточно. Ей, деликатной, тактичной, человеку тонкой культуры, в лагере приходилось сталкиваться с такими грубыми, грязными сторонами жизни в среде и заключенных, и тех, кто ими управлял, что она, хоть и старалась многого не замечать и отмалчиваться, частенько взрывалась. Тогда она, гневно сверкая округлившимися глазами, с грузинской запальчивостью выкладывала все.

Тамара сидела в бараке за столом и что-то писала. К сидящей рядом с ней ленинградке — культурной, рафинированной, не то писательнице, не то переводчице, пришла в гости домработница местного начальника (они брали лагерниц за неимением другой рабочей силы). Чернобровая горбоносая женщина, жена дипкурьера в прошлом, оживленно рассказывала, как ей живется в домработницах, как она ухаживает за грудным ребенком начальника, причем свой рассказ с какой-то лихой бравадой пересыпала отборнейшей руганью.

— Он такой хитрый, б...! Ты бы видела! Только я его перепеленаю, а он, так его и так, опять мокрый! Я его раскрою и говорю: лежи, на х..., мокрый, а он орать!

Тамара не выдержала.

— Что стоит ваша культура? — Три копейки! Если жизнь вас бросила в эту помойную яму, в среду человеческих отбросов, то вы, вместо того чтобы бороться с их отвратительными привычками, еще глубже засовываете головы в эти помои — подражаете им! Кому вы подражаете? Жалким, искалеченным людям. Многие из них не знают другого языка, а вы — какое достижение! — выучили десяток похабных слов и забыли все другие способы выражать свои чувства!

На мелиорации она сдружилась с Наташей — сотрудником Ленинградского научно-исследовательского института, и они, таская землю на носилках, могли часами беседовать на отвлеченные темы.

В весенне-летний период мы очень мало спали. Круглые сутки светило солнце, работали по четырнадцать часов да еще по два часа вечером стояли на проверках во дворе, съедаемые комарами. Некоторые спали стоя и даже видели сны. Тамара с Наташей на работе устроили себе такой режим: возле того места, где они брали землю, бросали рогожку и, пока одна насыпала на носилки, другая бросалась на рогожку и моментально засыпала. И простоя не было, и минутки сна перепали.

Дисциплина в бригаде как-то сама собой сложилась. Все работали добросовестно, никто не отлынивал, и уголовники смеялись над нами.

— Вы сюда приехали работать или срок отбывать? — спрашивали они. — На таких дураках воду и возят!

Ольга — журналистка по профессии, высокая, подвижная, энергичная, с неизменной саркастической улыбкой на длинных губах.

Чувство юмора помогало ей жить здесь, да и окружающим подбавляло бодрости. У нее остался в Москве с бабушкой двенадцатилетний сын. Он писал: «Мама, когда же кончится твоя командировка?»

Адреса всех лагерных пунктов, куда нас перебрасывали в зависимости от работы, всегда были: женкомандировка номер такой-то. Мальчик привык, что мать часто ездила в командировки и быстро возвращалась. В девять лет жизнь у него резко изменилась. Отец куда-то вовсе исчез, а мать в командировке, которая уж очень затянулась. Он убежал от бабушки и с адресом женкомандировки в кармане был обнаружен в Туле на платформе товарного поезда, груженной новенькими автомашинами. Железнодорожники Тулы дали матери телеграмму: «Заберите сына обнаружен Туле беспризорничает». Ольга заметалась. Хорошо, что вслед пришла другая телеграмма – видно, догадались по материнскому адресу, что она не вольна в своих действиях: «Сын надежными людьми отправлен Москву Волхонка 6», то есть к бабушке.

Пана – из Ленинграда, по национальности белоруска. Женственная фигура с покатыми плечами, большой грудью, льняными косами вокруг головы, маленькими, глубоко посаженными голубыми глазами и носом уточкой. Работала она по-женски, без больших усилий, но не отвлекаясь, настойчиво. Смирненно все переносила, а когда приходилось уж очень туго, так же смиренно плакала. Муж ее, выдвижец революции, был заместителем начальника Ленинградского порта, пять лет с семьей прожил в Бельгии, обучаясь морскому делу, и в первый месяц после ареста был расстрелян. Пана знала об этом. В лагере она без конца писала и посылала заявления о розыске своих троих потерянных детей. Иногда эта смиренная Пана вдруг делалась раздражительной, задиристой, резко спорила со всеми, устраивала «бунт раба», как называла Ольга эти вспышки.

Белокурая татарка Асхаб известна была тем, что без запинки разгадывала сны, игравшие немалую роль в нашей жизни. Скоро мы поняли, что ее толкования сводилось к одному и тому же:

– Письмо получишь хорошее. В казенном доме в твоём деле разбираются. Скоро на свободу пойдешь, – и тому подобное.

Мы охотно слушали такие слова, подогревающие надежду. Добрая душа! Она знала, что нам нужно.

ПОКОС ПЕРВЫЙ

В июле дорожную бригаду дополнили и перевели на покос. Здесь бояться было нечего, так как поселили нас, тридцать женщин, вдали от людей и дорог, на старом, заброшенном кирпичном заводе.

Охраны первое время не было. Или не хватало охранников, или мы не внушали лагерному начальству никаких опасений.

На берегу северной речки, обросшей небольшими лиственницами и кустарником, стояли полуразрушенные сараи, пустые навесы и два сохранившихся барака. В одном половина была кухней и столовой. Столовая с подпирающими низкий потолок столбиками, жестяной лампой под круглым ржавым колпаком, грубыми дощатыми столами, и скамейками, и утрамбованным земляным полом, напоминала средневековую харчевню у проезжей дороги. В другой половине и во втором бараке были общежития со старыми двухъярусными нарами и тоже земляным полом. Мы набили тюфяки сеном из остатков прошлогодних стогов и расположились просторно, компаниями.

На следующий день появился наш начальник Левка-бригадир, молодой добродушный парень. Он недавно окончил срок, присужденный за шоферскую аварию. Это была его первая «вольная» работа. Сразу же он сказал нам:

– Нужно работать – вы сами знаете. Подгонять вас и следить за вами я не буду, но, если будете хорошо работать, я смогу добывать вам добавку к хлебному пайку и еще что-нибудь, там посмотрим. Хорошая работа на покосе поощряется как тяжелая, сезонная.

– Мы не умеем косить! – завопили все хором. – Кто нас научит?

– Завтра я вам пришлю старика, он вас всему научит.

Действительно, на следующий день пришел квадратный старик с иссеченным морщинами лицом – Нилыч. Он учил нас косить: когда нужно пяткой, когда носком, а когда и всей косой, прилаживал держак по росту, клепал косы и учил нас точить их, не калеча пальцев. Когда пришло время, стоговал сено и заставлял нас помогать ему. Он устраивался где-нибудь под одиноким деревом, и звонкие удары по железу разносились далеко. По этим звукам мы его находили.

Косили мы в широкой пойме реки. Выше тянулась бесконечная кочковатая земля, перемежающаяся рыжими торфяниками. Этот убогий кочкарник был неистощимым кладезем разнообразных северных ягод. На кустиках между кочками росла голубика разных оттенков и формы: от голубой до черной, круглая, продолговатая и почти четырехугольная. Ягод было так много, что можно было снимать их с кустов пригоршнями. На кочках атели заросли княженики – самой вкусной и душистой северной ягоды. Это был какой-то гибрид, по форме и по вкусу, малины с земляникой. На темных, будто горелых площадках торфяников были видны издалика желто-розовые ягоды морошки.

Далеко впереди, справа от приречной долины, маячили круглые, лесистые, с голыми верхушками сопки.

Под неугасающим солнцем быстро прогорало колымское лето. На глазах зацветали и осыпались цветы, травы, созревали ягоды. Все торопилось процвести и принести плоды за короткий, напоенный круглосуточным солнечным светом и теплом период между бесконечными зимами.

Утрами хорошо косилось по росе, но попадались места, где мешали ягоды. Когда под косой между стеблями травы падали срезанные ягоды княженики, все сначала наклонялись, потом косы втыкались лезвиями вверх, и, пока не наедались ягод, работа не клеилась. Покончив с ягодами, все выстраивались по сложившемуся порядку одна за другой.

Научилась косить опять раньше всех Тамара. Она шла первой, широко, по-мужски забирая полукруг косой. За ней шла близорукая Люба. Сильная, ловкая там, где не мешала ей близорукость (очки были давно потеряны), она приладилась к этой работе с объектом перед глазами и определенностью места в ряду других и не отставала от Тамары, но стоило ей выйти из ряда, она терялась. Она совершенно не умела ориентироваться в поле, в лесу. Выручала ее Пана. Каждое утро можно было слышать:

– Пана, где моя коса?

– А где ты ее воткнула?

– Там, где все, – неуверенно говорила Люба.

Пана разыскивала косу.

Вечером Люба опять начинала беспокоиться:

– Где моя телогрейка? Паночка, ты не видела моей телогрейки? Я положила ее под горелым деревом.

– Ты посмотри, сколько горелых деревьев кругом.

Люба растерянно поворачивалась, шурила свои близорукие глаза, а Пана, ворча, что вещи нужно класть на бугорок или вешать на дерево, шла искать телогрейку.

Становилось жарче, комары прятались, и мы начинали сбрасывать тяжелые кофты и юбки. Если подходил Нилыч и все начинали одеваться на ходу, он ворчал:

– Что вы одеваетесь? Я на вас и не смотрю вовсе.

Левка издали обычно кричал:

– Я иду-у-у! – И мы одевались. Подойдя, он устраивал перекур. Все собирались под копной и, обсуждая бригадные дела, отдыхали.

Левка был доволен.

– Ничего работаете, неплохо! – говорил он.

За четырнадцатичасовой рабочий день можно было добиться хороших результатов даже при нашем небольшом умении. Пройденный большой кусок долины был густо покрыт копнами и рядками подсыхающего сена. Левка добывал в добавку к хлебному пайку муку, соленую рыбу и сыворотку, на которой повариха пекла булочки. Во внутренние дела бригады Левка не вмешивался.

— Вот вам продукты, дрова, посуда, и устраивайтесь, как хотите.

И мы устраивались. У нас была полнейшая демократия: большинством голосов выбирали повариху и дневальную хозяйку, так сказать, и, если кто-нибудь из них оказывался не совсем подходящим в своей роли, переизбирали без споров и обид.

Утром завтракали вареной соленой рыбой и чаем, когда с сахаром, а когда и без него, и, положив в карманы по темной свежей булочке, выходили на покос. Солнце, пахучий ветер, простор после тюрьмы доставляли истинное наслаждение. Приятно было после нескольких часов работы забраться на плешинку среди высокой травы, покрытую шапкой крупной голубики, и позавтракать булкой с ягодами.

Однажды, лежа на такой плешинке, я услышала над собой жалобный крик, как стон. Я подняла голову. Надо мной летел, видно, отбившийся от стаи гусь, а вокруг него вились два ястребка и били его в голову. Вскочив, я стала кричать, бросать комьями земли, но они были высоко, и мои крики не подействовали. «Никто не может помочь тебе, друг, каждый умирает в одиночку», — пронеслось у меня в голове, пока он, устало махая крыльями, все более снижаясь, не скрылся со своими преследователями за перелеском.

Как-то, возвращаясь с покоса, я сказала неожиданно для себя, как будто со стороны толкнула меня эта боль:

— Хоть бы письмо получить, что ли!

Уже три года я ничего не знала о муже. Большинство женщин, попав в лагерь, связались с родными, получали письма, посылки. На мои запросы, поиски я не получала ответа.

За мной последним в цепочке шел Нилыч.

— Вот придем — я тебе напишу письмо, — постарался он меня утешить.

— На что оно мне нужно, твое письмо?

И вдруг тем же вечером в барак ворвалась Алла, потрясая двумя конвертами:

— Тебе два письма!

Увидав на конвертах почерк мужа, я не поверила своим глазам. Никогда у меня не бывало предчувствий, а тут такое совпадение!

Это было чудо, что эти письма, посланные наугад во Владивостокскую транзитку, прошли по моим следам через Магадан, за 600 километров, в поселок, нигде не потерялись, не потонули при переправе через речки и нашли меня на дальнем покосе!

Муж писал, что он в заполярном Норильске, жив, здоров, работает в макетной мастерской проектного отдела, ищет меня. Ему сказали, что через Владивостокскую транзитку прошло на Колыму много женщин, и он пробует послать весточку по этому пути. Если получишь, постарайся телеграфировать свой адрес. Наутро через Левку была послана телеграмма, и у нас завязалась переписка.

Лето подходило к концу. Все дальше мы продвигались по долине. Сопки приблизились, под ногами чавкала холодная, как лед, вода. Ботинки размокали как кисель, и ноги в них скользили по мокрой траве. Приходилось их сбрасывать и, затянув тесемками носки, чтоб не сползали, шлепать по холодным лужам, стаскивая на вилах сено в копны или подвозя его на самодельных волокушах к стогам. Начались заболевания полиартритом. К этому времени появилась в командировке охрана. Четыре человека жили в отдельном домике, мало вмешиваясь в нашу жизнь. Только проверяли по вечерам, все ли на месте.

Ходить на базу обедать стало далеко, несподручно. Нам дали для хозяйств белую якутскую лошадку. На ней верхом, без седла ездили по очереди за обедом. Лошадь была дикая, и, бывало, наскачешься, пока взгромоздишься на нее. В обеденный час все кидались на ягоды. Когда привозили обед и Шурка начинала сзывать, все вылезали из кустов с черными ртами и пучками усыпанных голубицей веток в руках. Ягод мы съедали уйму. Деликатесом считалась селедка с голубицей. Трехкилограммовое ведро ягод и две селедки – обычная порция на двоих.

Пока шел покос на луговине, на ягоды времени не хватало, собирали в обед и после работы немного, так как вечерами уже темнело, а когда стали косить на кочках под сопками, в перелесках на склонах сопки, Левка поставил такие условия:

– Накосите каждая по копне и можете идти по ягоды.

Мы сбивали затупившимися косами старник, мелкие кустики, все, что попадалось, складывали воздушную копну и, забрав котелки, отправлялись по ягоды.

Перейдя широкий пояс залитых водой кочек, выходили на сопки. Вот где открывался простор, ширь! Высоченные деревья, трава в человеческий рост, бурелом, все более открывающиеся дали! Чем выше взбирался на сопку, тем фантастичнее становился пейзаж. Деревья

исчезали, между замшелыми валунами зловеще бугрились пауки стланника и расстился ковер крупной, прячущей свои гроздья под лакированными листочками брусники.

Тут сказывался характер каждого. Очень азартные бегали с места на место, забывая обо всем, другие, не сходя с места, набирали не меньше.

На последние две недели меня выбрали дневальной. Пришлось заняться хозяйственными заботами. Позавтракав вместе со всеми, я брала ведро и уходила в тундру. На южных сторонах сопки я собирала в зарослях крупные подмороженные ягоды шиповника. За сопками была долина с озерком посередине, покрытая пушистым, пружинящим ковром мхов разных оттенков. Там я собирала клюкву.

Как-то раз, возвращаясь с полным ведром ягод, я увидела, что впереди меня упала утка, сбитая ястребом. Я поставила ведро под кустик и пошла посмотреть, что там происходит. Ястреб, вцепившись когтями, рвал утку. Рядом сидел другой, ожидая очереди. Когда я стала подходить, ястреб уставился на меня злыми, немигающими глазами и потом, нехотя взмахнув крыльями, взлетел. За ним поднялся второй, а утка сгоряча метнулась под кустик и замерла там. Я взяла ее, и она доверчиво притихла у меня в руках. «Знала бы ты, что это еще худший хищник», – подумала я. Принеся ее домой, я сдала ее поварихе, которая на следующий день накормила всех супом с утятинной.

Холодало. Побелели верхушки сопки, и внизу стал сыпать мелкий снежок. Пришли подводы, и мы перекочевали в лагерь. Еще пару недель ходили по полям и рвали обледеневшими рукавицами из-под снега турнепс.

ЛЕСОПОВАЛ

В конце сентября в числе шестидесяти человек я попала на лесоповал. В декабре 1941-го у меня и мужа заканчивался пятилетний срок. Мы списывались, уславливались о месте встречи. Все помыслы мои были в будущем, но грянула война. Мне и многим другим объявили, что наше освобождение задерживается до конца войны.

Война! Это всенародное бедствие заставило меня сжаться, свое горе отодвинуть на второй план, но и забыть о нем было нельзя.

С начала войны я перестала получать письма от мужа. Что случилось? Адрес был известен, а письма не приходили. Что-то случилось. Что? Все беды, общие и личные, сошлись вместе, но меня, как и других, поддерживала надежда, что беды кончатся, пройдут, переживутся.

Бригада на лесоповале состояла из тех же обыкновенных русских женщин набора 37-го года. Многие из них знали или догадывались о гибели мужей, многие оставили детей и не могли разыскать их,

и, как ни странно, они мало плакали. Что это? Защитная броня, закалка или свойство характера «все выносящего русского племени»? Пережившие крушение, катастрофу, голодные, холодные, оказавшиеся среди человеческих отбросов, они, то есть большинство из них, не подличали, не продавались за вожаденнейший кусок хлеба и даже смеялись.

Забрали нас в лес после третьего покоса, который был далеко не таким благополучным, как первый и второй. Сразу после начала войны руководство лагерей резко сократило рацион заключенных. На тяжелых работах выдавали первой категории (то есть выполняющим норму) 500 граммов хлеба и жалкий приварок. Мы были голодны, как волки, уже на покосе. Ветер, солнце, тяжелая работа, недоедание высушили всех, и мы стали худыми и черными, как щепки. Весь день мерещился запрятанный с утра под подушку кусочек черного, тяжелого хлеба. Хлеб вволю! Это была навязчивая, недостижимая мечта всех.

Этап на лесоповал вышел затемно. До первой речки нас подвезли на платформах грузовой узкоколейки — «кукушки». Через первую речку переправились на лодке, через вторую, узкую, перешли по перекинутому стволу и вышли на дорогу. С самодельными рюкзаками за плечами мы тянулись гуськом по едва заметной, залитой в выбоинах водой дороге. Уже побелели верхушки сопки, а внизу еще горела красками осень. Мелкие кустики березняка стояли багровыми облачками, пожелтели редкие лиственницы, одуряющий запах увядающих тундровых трав смешивался с запахами болота.

К вечеру стали подходить к цели. В глубокой долине, защищенной от ветров сопками, стеной стоял дремучий старый лес.

— Вот это тайга так тайга! Как же мы будем валить ее?

Некоторые восторгались красотой настоящего осеннего леса.

— Красивое местечко, будь оно проклято! Лучше бы его не видеть, — ворчали третьи.

Скоро открылась поляна с разбросанными на ней темными от непогоды рублеными избушками с маленькими окнами и висевшими на сорванных петлях вкривь и вкось дверями.

Невдалеке от избушек протекала по чистым камешкам прозрачная речка. Раньше здесь был мужской лагпункт. Валили строевой лес, гнули дуги, делали оглобли, финстружку. Весной мужчин забрали для пополнения на прииски.

Пока поварахи варили баланду на костре, мы, как всегда, принялись вычищать это давно брошенное жилье и устраиваться.

На второй день прибыла охрана и поселилась в крайней избушке. С ними приехали два бригадира из бытовиков. С вечера объявили

норму: 13 кубометров на пилу. Свалить с корня, разделить, уложить в штабеля. Счастливчики попали на финстружку. Работа на станках в сарае с железной печкой посредине была привилегированной, и за нее шла отчаянная борьба.

Ко мне в напарницы попала молодая ленинградская балерина Маргарита. Обе мы были в лесу впервые. Для начала мы решили поучиться приемам лесной работы у опытных лесовичек и стать на разводе в ряд с мужеподобной высокой Клавой и ее здоровой, сильной напарницей Милькой. Стать в ряд нам удалось, но, когда все разошлись по отведенным делянкам, мы только издали видели их фигуры, а что и как они делают, разглядеть не могли. Ходить к ним учиться было некогда, и мы принялись по своему разумению пилить, рубить и стаскивать лес в штабель. Возвратясь с работы, мы узнали, что некоторые пары с первого дня перевыполнили норму. Трудно было понять, как они ухитрились это сделать. Мы выбивались из сил и все-таки не дотянули.



Г. К. Вагнер. «Сухая» вода. Из альбома «Колыма». Январь 1946 года

Пошел снег. Он валил так настойчиво, неутомимо круглые сутки, что скоро все кругом побелело и лес стоял, как заколдованный. Незамерзающие полыньи на речке дымились туманом при все усиливаю-

щихся морозах. В избушках жарко горели печки, дров не жалели. Это было единственное, чего здесь было вволю.

Нар в избушках не было. Рядами стояли топчаны из мелких круглячков, ребра которых чувствовались через тощие тюфяки, набитые стружкой. Такой же, из круглячков, был пол. Наступал на один конец ствола – подымался другой. Освещения не было. Кое у кого были самодельные коптилки с одним или двумя фитильками, и они, как лампадки, светились по углам их владелиц. Керосин, а иногда и бензин выпрашивали у трактористов, вывозивших лес.

Моя напарница Рита, подвижная, энергичная, даже в лагерных одеждах выглядела изящно со своей точеной фигуркой и детским, с острым подбородочком лицом. Мы решили с ней на работу хлеба, даже самого маленького кусочка, не брать, у костров не греться, согреваться только движением. Пока морозы были не очень большими, мы это решение осуществляли, да и потом, когда прижали настоящие таежные морозы, редко прибегали к кострам. Разве уж когда ноги совершенно заоченеют в худых валенках. У костра оттаиваешь, вся одежда сыреет, и потом еще жестче схватывает мороз. А маленький кусочек хлеба, разогретый на костре и съеденный среди дня, вызывал такой невыносимый приступ аппетита, что лучше было забыть о еде до вечера.

День укорачивался. Выходили затемно в ватных брюках, телогрейках, перетянутых веревочками, в завязанных под подбородком ушанках, с пилами и топорами. Шли одной протоптанной в сугробах тропкой, пока не разбрелись по делянкам. Когда приступали к работе, начинало чуть-чуть светать.

Кое-каким приемам мы с Ритой научились, но, выбиваясь из сил, не давая себе ни минуты передышки, едва вытягивали норму. Весь день мы пилили, рубили мелочь, таскали бревна на плечах, а большие, с тяжелыми комлями подкатывали по рельсам из стволов и «дрынами», то есть палками как рычагами, взваливали в штабель. Даже не верилось, что мы своими руками могли взгромоздить в штабель такие бревнищи. Зато они давали кубики!

Все же было удивительно, что некоторые пары ежедневно нормы перевыполняют. Когда я спрашивала Клаву об этом, она, посмеиваясь, говорила:

– Даже когда лес валишь, надо соображать!

Морозы крепчали. В ноябре минус 50 градусов стали обычными. Рядом с нами часто работала одна пара. Мы видели, как копошатся над обледенелыми стволами их закутанные фигурки. Когда они начинали развязывать сверху какой-нибудь засыпанный снегом завал,

то были похожи на мух, ползающих по горке рафинада. Это были круглолицая когда-то, а теперь с худым, плоским лицом Вера и ее подружка, русская немочка из города Энгельса, Нина. Нина своими правильными чертами лица, большими синими глазами похожа на рафаэлевскую мадонну, а вся ее хрупкая, слабая фигурка так не подходила к лесной работе, что было особенно жалко на нее смотреть.

Работала иногда рядом и Пана со своей напарницей. У них дела были еще хуже, чем у нас. Они сразу попали на вторую категорию, то есть на 300 граммов хлеба. Следствие усугубляло причину. Сил становилось все меньше, и возврата на первую категорию уже не могло быть. В январе их с цинготными язвами на опухших ногах вывезли в поселковую больницу.



Г. К. Вагнер. Поэзка. Из альбома «Колыма». 1946 год

Настроение к этому времени у всех было мрачное, какое-то напряженно-сосредоточенное. Снабжала лагпункт продуктами пожилая полька с суровым, обветренным лицом, завхоз Ядвига. На удивление всем, она справлялась с этой более чем мужской работой. В ее распоряжении были две диковатые якутские лошади, на которых она в переметных сумах возила продукты, пока не установилась санная дорога. Дорога 70 с лишним километров туда и обратно. В пути ей

приходилось переправляться через речки, грузить на лошадь свалившиеся мешки, отмеривать пешком десятки километров.

Зимой, когда замерзли реки и можно было возить груз на санях, стало полегче, но донимал холод, ветер, да и дорога была скорее только по названию дорогой. Ее заметало, заваливало сугробами так, что каждый раз приходилось пробивать ее заново. По ней почти никто больше не ездил. Трудно понять, почему Ядвиге не давали помощницу. Из этих поездок через день она возвращалась черная, обмороженная, без сил. Пока отогревалась, все ее обступали, расспрашивали о новостях с фронта, о событиях в лагере, разбирали письма, которые она первым делом заочневшими руками выкладывала на койку.

Как-то она сообщила, что в лагере есть слух, что лесовикам собираются прибавить хлеба: 1-й категории до 800 граммов, второй до 500. Это сообщение вызвало такую бурю возбуждения, надежд, что Ядвига сама испугалась.

— Эх, напрасно, — говорила она своей приятельнице, — я сказала об этом, не дождавшись решения! Разве можно голодным людям подавать надежду, не зная наверняка? Хотелось порадовать, а теперь меня грызет чувство вины.

Только и было разговоров, что об ожидаемой прибавке. Ядвигу ждали, как бога, но слух не подтверждался. После каждого приезда Ядвиги с плохими вестями наступала депрессия. Все ходили мрачные, злые. Возникали ссоры, перебранки. Рита даже подралась с одной блатнячкой из-за пилы. Мы за своим инструментом следили, отдавали вовремя править, точить. Она пришла раньше, и наша пила, как видно, ей понравилась больше, чем своя. Подросла Рита, стала ее отнимать, и, бросив пилу, они схватились врукопашную. Когда я подошла, они тузили друг друга, катаясь по полу. С помощью подоспевшего бригадира справедливость была восстановлена.

В это время из-за отсутствия радостей, наверно, у некоторых женщин стали возникать не совсем здоровые отношения. Например, у одной пары была какая-то ненормальная дружба с выяснениями отношений шепотом по ночам, с ревностью, со слезами. Были и другие случаи, которые бросались в глаза и вызывали у окружающих резкое осуждение. Вообще лесбийская любовь бытовала среди уголовниц в довольно открытой форме. Помню первые впечатления в лагере совхоза. Нас привезли вечером, и я уснула в темноте на отведенных нарах. Утром я увидела напротив обвешанную простынями кабинку на нижних нарах и маленькую, растрепанную женщину в ней. В барак вошел мужчина в круглой барашковой шапке, сапогах, брюках. Женщина кинулась к нему, стала страстно целовать его в шею, в губы,

завлекла его в кабинку и прильнула к нему. Удивленная, я спросила соседку:

— Разве у вас разрешают мужчинам приходить в барак?

Она глянула в их сторону:

— Какой же это мужчина? Это Машка-кобёл!

Оказывается, здесь было несколько таких мужеподобных женщин, подражавших мужчинам в одежде, повадках.

Лагерное начальство вело с ними борьбу. Отнимали у них мужскую одежду, наказывали карцером, но они снова раздобывали ее и продолжали вести свой образ жизни. Когда надоедало с ними возиться, их оставляли в покое, они нагтели, и снова приходилось начинать преследование. В общем, это было привычное явление, и зародыши его в форме такой не совсем нормальной, ревнивой дружбы стали появляться среди нас. Первые полтора месяца в лесу медпунктом ведала врач, знакомая всем Софья Михайловна. Очутилась она на лесоповале, потому что не могла приладиться к лагерной обстановке в поселке. Добрая, рассеянная, бесхарактерная, она то давала без разбора освобождения от работы, попадаясь на удочки симулянтов, то под нажимом сверху начинала сокращать эти освобождения. Тогда в медпункте разговоры происходили такие. Стонущую больную радикулитом она энергичным тоном спрашивала:

— Ну как, помогло тебе лекарство?

— Да вроде... — нерешительно тянула та.

— Вот, вот! Теперь ты чувствуешь себя лучше, да? Я тебе выпишу еще этого лекарства, — и не дав ей вымолвить больше ни слова, выпроваживала из медпункта.

Потом она изобрела годную на все случаи формулировку:

— Мы сделаем так: сегодня ты пойдешь на работу, а завтра посмотрим.

Вот эту Софью Михайловну забрали от нас в лесной лагпункт штрафных уголовниц. Оттуда в январе к нам прибыли две женщины. Одна — жена крупного советского журналиста Катя и знакомая Шурка. Они после выписки из поселковой больницы постарались больше туда не возвращаться. Попали они обе в штрафной лагпункт совершенно случайно. Он сначала считался обыкновенным, а потом сделали его штрафным и направляли туда соответствующий контингент, а попавшие вначале так и остались там. Выглядели они ужасно. Шурка после воспаления легких была похожа на скелет, а у Кати едва затаились цинготные язвы на тонких лодыжках.

О штрафниках они рассказывали что-то страшное: озверевшие от голода и холода уголовницы накинудились на врача с топорами,

поранили голову, порубили затылок за то, что она не давала освобождений от работы по их требованиям. Теперь она лежит в больнице при смерти. В карцере случайно попавшую туда тихую пожилую женщину три блатнячки зверски убили, растерзали и развешали ее кишки по гвоздикам. Все возмущались, ругали их, плевали им в лицо, когда они выходили из карцера с бачком за едой. Кричали им:

– Разве вы люди? Вы хуже зверей! Зачем вы это сделали?

Оглядываясь, затравленные, они бубнили:

– Мы хотели сделать преступление, чтоб нас забрали в тюрьму.

Вот в такую обстановку попала Софья Михайловна. Все ее жалели, потому что все же она не была вредной. Не сносить ей там головы! В декабре-январе день был короток. В избушках было темно. Редко удавалось владелицам коптилок раздобыть горячее, и освещали их только трепещущие блики огня из открытой печки. Иногда удавалось затащить к себе лекпома – черноглазую Женю, назначенную к нам после Софьи Михайловны. К медицине она не имела никакого отношения, но в таком медпункте с его набором несложных лекарств и рыбьим жиром на все случаи не особенно и нужны были медицинские знания. Зато у нее была замечательная память. В эти темные вечера она читала нам по памяти всего «Евгения Онегина» главу за главой, «Русских женщин» Некрасова, «Демона» Лермонтова. Сходились жители других избушек, и все слушали, затаив дыхание, пока мы были еще способны хоть что-нибудь воспринимать. Потом духовные интересы иссякли.

В этот период случилось несчастье. Нина пошла на соседнюю делянку погреться у костра, и на нее с треском свалилась подпиленная соседями большая лиственница, накрыв ее своей кроной. Вера дико закричала. Когда сбежавшиеся на крик люди оттащили крону, на снегу без движения лежала хрупкая даже в лагерных одежках фигурка Нины. Ее иконописное лицо почернело, из носа текла тоненькая струйка крови. Сердце слабо билось. Послали гонца в лагпункт, и Женя с вохровцем повезли ее в больницу. На этом неблизком пути она умерла, не приходя в сознание.

Ночью сквозь сон я услышала какие-то необычные звуки. На кровати, через одну от меня, сидела Вера и монотонно, ударяя кулаком о ладонь, твердила рыдающим голосом:

– Так не может быть, не может быть!

Что она хотела этим сказать?

Однажды мне понадобилось зажечь костер, и я отправилась за спичками или головешкой к Клаве с Милькой, работавшим недалеко от нас. Подошла я как-то тихо и увидела, что они в разгово-

ченном снегу очищают старый штабель, спиливают круглячки торца с пометками и перетаскивают бревна в новый. Я постояла, пока они не завалили снегом место старого штабеля, и, не попросив спичек, пошла обратно. Так вот в чем их секрет! Бригадирам было нужно, чтобы в бригаде для примера другим были такие передовики, и они смотрели сквозь пальцы на их махинации, как я узнала позже.

«Может быть, правильно они поступают, — думала я, — если нам дана такая непосильная норма».

Недалеко от наших разработок был в лесу лагпункт каким-то образом избежавших приисков мужчин. Они говорили, что у них норма 9 кубометров на пилу. Такие курьезы могли быть в тех условиях. Кто знает, чем руководствовались нормировщики, устанавливая женщинам такую норму? Или осталась она нам в наследство от мужчин, работавших до нас здесь?

В лесу были кое-где разбросаны старые штабеля, и обозначались они сугробами. После этого открытия однажды на нашей делянке мы обнаружили тоже старый, заваливающий штабелек. Мы его перетащили и очень боялись, что бригадир нас разоблачит. Но он замерил, ничего не заметив. Повезло! Мужчины с соседнего лагпункта появлялись и возле нас с «жениховской» буханкой хлеба под мышкой (бог знает, какими невероятными усилиями раздобытой), но Рита гоняла их немилосердно. Они ушли искать успеха в другие звенья и больше на нашем горизонте не появлялись.

Случилось так, что мы с Ритой заблудились. Первый день все работали на новых, дальних участках. Наша делянка была на самом краю. Мы, как всегда, очень торопились и не заметили, что все соседние пары ушли. Смеркалось. Мы подошли к костру соседей, покричали, стали искать тропинку, по которой пришли все утром, и никак эта проклятая тропинка не находилась в сумерках. Идти по целине невозможно. В оврагах, завалах будешь проваливаться по грудь и через час выбьешься из сил. Но нужно было искать дорогу, темнело, и мы уходили далеко по едва заметным не то старым человеческим, не то звериным следам и шесть раз возвращались по своим к тому же костру. Жгучий мороз обледенит наши шапки, ресницы. В шестой раз мы забрались в какую-то чащобу, потому что нам показалось, будто впереди виднеется туман, всегда стоящий над незамерзающими полынками речки. А это оказалась снежная гора в лесу. Походка Риты, шедшей впереди, стала какой-то пьяной, как и у меня, наверно. Она упала в сугроб и не хотела подниматься.

— Ты с ума сошла, подымайся сейчас же! — закричала я на нее.

Потом упала я, и она меня поднимала, и мы побрели опять к тому же костру. Здесь мы решили раздуть костер и отдохнуть. Кричать мы боялись из опасения, что нас могут услышать на мужской командировке. Была уже глубокая ночь, стояла звонкая, морозная тишина вокруг. Когда мы опять побрели наугад по целине, где-то далеко-далеко послышались звуки — удары об рельсу в нашем лагпункте. Мы воспрянули и двинулись на звук напролом. Потом стали слышны свистки, крики. Нас ищут! И мы стали кричать что было сил.

Оказывается, Вера из нашей избушки поздно ночью прибежала к вохровцам с сообщением, что двое не вернулись из лесу. Охранники подняли тревогу, стали колотить в рельсу и с двумя добровольцами отправились на поиски.

Слабость все больше одолевала меня. Утром я лежала пластом и, казалось, не могла двинуть рукой, шевельнуть пальцем, а нужно было натягивать худые одежды и идти в морозную тьму. Шла я, еле волоча ноги, а когда начинала пилить или рубить мелочь, в глазах у меня темнело, и я падала. Я стала «доходягой», и толку на работе от меня не было. Рите я стала обузой. Она растирала мне лицо снегом, плакала:

— Ну что мне делать с тобой, что делать?

Как-то, приплетясь из кухни после работы, я упала возле койки, разлив драгоценные две ложки варева. Позвали Женю. Когда я пришла в себя, она смерила температуру: 35,2, и, задумчиво глядя на меня, сказала:

— Надо бы отвезти тебя в больницу, но боюсь, не примут. Там переполнено, забиты даже подсобные помещения, коридоры, а у тебя как будто нет никакой болезни. Пониженная температура и обмороженные ноги не в счет. У всех ноги обморожены. Я поговорю с бригадиром.

«Хоть бы простудиться, что ли», — вяло думала я, лежа ночью без движения. Когда все уснули, я накинула телогрейку, сунула ноги в валенки и, держась за стены, выбралась за барак. Там, сбросив телогрейку, спустила рубаху и прижалась голой спиной к промерзшим торцам сруба. Я даже не чувствовала холода и стояла так, пока меня не стала бить крупная дрожь. Тем же путем я вернулась в барак.

Наутро не только не появилось никаких признаков простуды, а я даже не кашлянула. Обозлившись, в следующую ночь я повторила свой выход, но без валенок, и наутро у меня зверски разболелись зубы. Это было все, чего я добилась своим активным вмешательством в ход событий. Я плелась на работу с зубной болью, голова гудела, и я уж совсем не была способна ни на что.

Вечером, сидя возле печки, прикладывала к щеке завернутый в тряпку горячий кирпич. В душе были и горечь, и смех: ну и закалка! Нет, видно, не удастся мне вырваться отсюда, пусть будет что будет! Но даже в этот период мне не приходила в голову мысль, что, может быть, это конец. Самое трудное, но не конец!

Через два дня бригадир перевел меня на «блатную работенку», как он сказал, «у печки». Заключалась она вот в чем: я должна была выходить на ночную смену в баню, топить печь и готовить чурбаки для финстружки. Чурбаки пилили две специальные пильщицы, целый день раскачивающиеся, как заведенные, возле козел. Толстенские мерзлые чурбачки, 60 см длины, они накидывали возле дверей бани. Дрова для топки печки я должна была заготовить сама. Для этого я вставала часа в три и шла пилить и колоть дрова. Делала я все это очень медленно, так как сил у меня внутри совершенно не было.

Чурбаки я должна была перетащить в баню и уложить на полки. В одном углу на расстоянии полутора метров от стен стояла обложенная камнями печка-бочка, а над ней по стенам были устроены в четыре ряда полки. На них я укладывала чурки для оттаивания, натаскивала дров и начинала топить печь. Когда нагревались камни возле нее, я поливала их водой, чтобы чурки в пару поскорей оттаивали. Ночью я должна была выкупать их в корыте с горячей водой, снова уложить на полки и ошкурить сорок чурок для первого задела финстружки.

Всех этих занятий мне с лихвой хватало на полдня и всю ночь. В моем распоряжении были жестяная коптилка с двумя фитильками и бочка с водой. Не знаю, сколько раз за ночь я теряла сознание, повисая на краю бочки с водой или сваливаясь на пол, но приходилось подниматься и браться за выполнение своих обязанностей. Работой «у печки» нужно было дорожить. О таком блаженстве я даже и мечтать не смела! А потом я здесь никого не связывала, никому не была обузой.

Однажды у меня провалились внутрь коптилки оба фитилька. Я открыла дверцу печи и на бревнышке, на расстоянии полутора метров от дверцы, хотела заправить фитильки. Как только я приоткрыла крышку коптилки, бензин у меня в руках вспыхнул столбом, разбрызгивая огонь вокруг. Вспыхнула сухая стружка на полу. Плающую коптилку я сразу махнула в жерло печи и принялась затапывать огонь на полу.

— Что у тебя там случилось, Катерина? — закричал сосед-инструментальщик, тоже работавший ночью.

У него была пристрочка возле бани; наша общая стена рассохлась от жара моей печки, и он увидел взметнувшееся пламя сквозь щели.

– Пожар, дед! Помогай тушить!

Он прибежал, и мы затоптали и залили огонь на полу. Дед позвал Женю, и она забинтовала мои обгоревшие руки, смазав их тем же рыбьим жиром. Дали другую коптилку.

Полки над печкой были сделаны из редких планок на угольниках. В одной полке в самом углу угольник надломился, и полка скосилась под тяжестью чурок. Я не раз говорила деду:

– Почини мне полку, не то эти чурбаки когда-нибудь свалятся мне на голову.

– Починю, починю! Вот немного управлюсь и починю.

Как-то ночью, когда я укладывала после купанья верхний ряд чурок в самом углу, полка окончательно сломалась, и все они посыпались на мою голову. Выбраться из угла под градом сыплющихся поленьев я не могла, прикрыла голову руками, но чувствовала, что они меня настукали порядком.

– Что у тебя там опять? – закричал дед.

– Полка обломилась! Говорила я тебе.

Он пришел с инструментом, починил полку и, жалостливо поглядев на меня, покрутил головой.

– Что, хороша?

– Да уж...

Голова у меня болела. Добравшись утром до постели, пожевала хлеб и улеглась. Пришла с работы к вечеру соседка и, приглядевшись ко мне в полутьме барака, спросила:

– Что с тобой? Ты посмотри на себя! – и поднесла мне маленькое зеркальце. На моем похожем на череп лице разлились вокруг провалившихся глаз сине-багровые кровоподтеки, бледные обтянутые губы приоткрывали зубы.

– Да-а-а!.. Забери, пожалуйста. Это меня чурки в бане настукали.

Через день отправляли в поселок транспорт больных, и меня забрала с ними.

СОЛОМОНОВСКАЯ СЛАБОСИЛКА

В больницу меня не приняли.

– Некуда. Вам нужен курорт, а не больница, – сказал врач и отправил в лагерь со справкой, что я гожусь только на легкую работу. Это было хорошо – меньше шансов попасть опять на лесоповал, чем после недели, проведенной в больнице.

В лагере меня встретила старая знакомая по Ташкентской тюрьме Надя. После Ташкента пути наши разошлись, и я о ней ничего не знала. В Магадане я работала на рытье канав для теплоцентрали. Однажды, возвращаясь с работы, я увидела впереди на дорожке невысокую фигурку в очень знакомом белом шерстяном платочке на голове. Я забежала вперед и заглянула в лицо: Надя!

Она работала заведующей вышивальной мастерской лагеря. На этой должности надо было, кроме умения вышивать, обладать дипломатическими способностями при обслуживании жен высшего начальства, которые пользовались услугами лагерных вышивальщиц, как помещицы – работой своих крепостных. Вечером Надя принесла мне стопку лагерного чистенького белья. Это было очень кстати, так как работала я на тяжелой, грязной работе, а вся наша группа не получила при отправке из тюрьмы вещей и приехала в одной смене тюремной одежды.

Когда я из Магадана попала на этап в «тайгу», мы опять надолго расстались. Через два года, возвратясь в лагерь с покоса, я увидела среди прибывших из Магадана этапников Надю. Тут уж я как старожил совхоза принимала ее.

– Как ты сюда попала, что случилось?

– Не поладила с одной начальницей. Она хотела, чтобы я каждый вечер ходила к ней на дом и обшивала ее и ее семью. Это было мне не по силам и не по душе. Я отказалась и в первый же этап загремела.

Ее сразу приняли в вышивальную мастерскую, и скоро она стала заведующей и здесь. Общих работ Надя очень боялась. Когда я, прибегая со второй мелиорации, заходила к ней в барак придурков (так называли лагерную службу), она с ужасом в глазах смотрела на мои огрубевшие, тяжелые руки, обмороженное лицо. Жила она также скудно, убого, как и мы, но в тепле, относительной чистоте, не тратя сил на непосильную работу.

– Боюсь общих работ до смерти! – признавалась она. Этот страх, видимо, вынуждал ее лавировать, в чем-то прилаживаться к лагерным начальникам, но она никогда в отношениях с ними не поступалась человеческим достоинством, умела держать себя умно, независимо даже в этих условиях. С ней считались.

Надя встретила меня в качестве нарядчицы. Вышивальная мастерская была закрыта на ремонт. Она сразу меня не узнала. Кроваподтеки, покрывавшие мое лицо, за неделю посветлели и отливали всеми цветами радуги.

– Принимай, Надя. Узнаешь?

Она вгляделась, прочитала справку.

– Неужели это ты? Что с тобой, откуда ты?

Подумав, она отправила меня полежать пару дней, а потом назначила на работу в починочную мастерскую зоны в ночную смену.

Руководил этой мастерской пожилой портной Соломон Яковлевич. Мастерская состояла из большой комнаты с железной печкой посередине, обставленной двенадцатью сапожничьими стульчиками. Из большой комнаты был вход без дверей в комнатку Соломона Яковлевича, в которой он и жил. Ему волей-неволей было слышно все, что говорилось в мастерской.

На нашей обязанности лежала починка за ночь принесенной из мужского и женского лагерей одежды. Сколько бы ее ни принесли, мы должны были успеть починить ее всю, иначе на разводе кто-нибудь мог отказаться выходить на работу из-за отсутствия одежды, и нам грозил разгон на общие работы из-под крыши, от печки.

Шили мы эту вонючую рвань, запахнувшись фартуками из мешковины, закатав рукава, нитками, надерганными из мешковины же дневной сменой. До мастерской я добиралась очень долго, держась за стены барачков, не могла ходить, но, усевшись на стульчик, руками могла работать. С начала смены мы, не отвлекаясь ничем, кроили заплаты, латали, шили. Часов в двенадцать все вытаскивали, что бог послал, разогревали на печке и обедали. Чаще всего это были две ложки жидкой каши в консервной банке и кусочек хлеба, если хватало терпения не съесть его до ночи. После такого обеда еще больше хотелось есть, и начинались бесконечные, бессмысленные разговоры о еде. Под затухающей лампочкой (лагерный движок к этому времени выдыхался) вся эта компания выглядела, как собрание сумасшедших. Сначала говорила одна, потом включались все. Кто говорил об утке с горошком, кто о блинах и булках, кто о запеченном в тесте окороке, аппетиты разгорались, и скоро каждый бормотал что-то свое, глядя в одну точку и не слушая других. Когда занятие это всем приелось, кто-то предложил такую игру: каждый день дежурный приглашает всех остальных в гости и «угощает», как и чем хочет. Полный простор фантазии. Отдав таким образом дань этому самообману, больше никому на эту тему мы говорить не разрешали. Часам к двум лампочка затухала совсем. Зажигали коптилку и шили в полутьме, пока не заканчивали все. Разные выдавались смены. Иногда бывало, что напряжение спадало, можно было не спешить, и, доделывая работу, рассказывали разные истории, прочитанные когда-то романы.

Кто-то из знавших Маню попросил:

– Маня, расскажи, как тебя выдавали замуж.

— Я вам уже рассказывала, — потягиваясь, говорила Маня. — Сколько можно?

— Ты в бараке рассказывала, а здесь никто не слышал, правда?

— Правда, правда! Расскажи, Маня, просим!

Помолчав, Маня начинала:

— Ну, жили мы в Уфе. Такой есть город Уфа. Семья была у нас бедная, отец — биндюжник. Знаете, что такое биндюжник? Это на своей лошади и телеге возить груз. Отец свою лошадь берег больше, чем нас, своих детей, а нас было девять штук. Мать была у нас строгая, ну и, конечно, хотела девочек, когда они стали подрастать, поскорей выдавать замуж. А нас из девяти было шесть. Старших двоих выдали в дальние местечки, а тут я подросла. Смотрите, я и теперь толстая, а тогда была, как репа, круглая, белая! — Она трясла своей большой, в мелких кудряшках головой и разводила руки, показывая, какая она была. И дальше шел рассказ на непередаваемом жаргоне о том, как многочисленная родня, «весь кагал», собралась в доме на смотрины жениха для нее, привезенного сватом. Шел 18-й год. Какие-то бандиты увели у отца лошадь, и он не знал, как прокормить всю свою ораву.

Ее посадили за стол распутывать моток ниток. Она сидела, не подымая глаз, но все-таки немножечко смотрела. Такой высокий, в лапсердаке и в темных очках. Почему в очках? Что, он не может смотреть на людей без очков? У Мани, нарочно конечно, упали нитки, она нагнулась и заглянула ему под очки. Бож-же мой! У него же нет одного глаза!

— Я встала, швырнула моток ниток на стол и сказала, что я не хочу замуж. Не хочу, и все! Что я, калека? Я пойду и заработаю себе на кусочек хлеба.

Отец хватался за голову, мать взяла Маню за руку и вывела, а сама стала отчитывать свата (Маня слышала их разговор в полуоткрытую дверь) за то, что он привел бракованного жениха.

— Ну что ж, что нет глаза? Были бы руки и голова! Его и на войну потому не взяли. Была бы ваша дочка за ним, как у бога за пазухой, как говорится. Не хотите себе добра — не надо! Пойдем, Ефроим, мы не туда попали!

— Ну и что ты стала делать?

— Я сначала решила уехать, — и она смотрит на всех удивленным взглядом, как будто сама поражаясь такому своему решению.

— Куда же ты собралась?

— У нас был старший брат, каторжанин. После революции он ехал домой и заболел в Иркутске. У него была чахотка. Он писал: «Маня, приезжай ко мне хоть ты, повидаемся, поживем с тобой». И я, такая

смелая, такая смелая, чуть не поехала! — И она опять смотрит на всех удивленно.

— Так и не поехала?

— Ну, знаете, такое время, война кругом. — И она вздыхала. — Брат кое-как добрался до нас сам.

— А потом?

— Потом поступила в газетную экспедицию тюки таскать.

Несмотря на русское окружение в Уфе, где она прожила всю жизнь, еврейский акцент, интонации у нее не выветрились. Она, например, могла сказать вместо «педагог» — «падигох» или «подумаешь, какая ты благородица!». Когда ей говорили: «Маня, есть слова «благородная» и «богородица», а слова «благородица» нет», она отвечала: «У вас нет, а у меня есть».

Это было артельное, добрейшее существо. Если у кого терялся ботинок, портянка, варежка, порвались шнурки — обращались к ней. Она залезала под нары, где у нее хранилось припасенное на всякий случай лагерное добро, и, ворча: «Все раскидываете, неряхи, все у Мани должно быть!» — вытаскивала что-нибудь подходящее.

Ночью, когда ей нужно было пройти в конец зоны, она спрашивала:

— Кто пойдет со мной, а?

— Ты такая смелая, Маня, иди одна.

Она закрывала дверь и долго топталась за нею, скрипя валенками, опять приоткрывала, всовывала голову:

— А может, кто пойдет, девочки?

Соломон Яковлевич допоздна сидел в своей каморке и читал при свете коптилки. Иногда вмешивался в наши дела, разговоры, иногда рассказывал о событиях дня. Днем у него работала самая что ни на есть слабосилка. Были там несколько цинготниц, и среди них Пана, так и не вылечившаяся до сих пор, были две длинные, тощие «профессорши», как их почему-то называли, избравшие своей специальностью подбирание объедков в столовой. Они поделили столовую пополам и интеллигентно ссорились шипящими голосами, если одна из них затесывалась на «чужую» половину. Когда человек опускался до того, что терся возле столов и выпрашивал остатки черной жижи, из которой было выловлено все съедобное, — это была последняя ступень.

Лагерь к этому времени наполнился толпами дистрофиков с лесоповала, вяло бродящих по двору. Трудно было узнать кого-нибудь среди этих теней. Там, где должны быть выпуклости, были впадины, выперлись черепные кости, запали глаза. Знакомое выражение тупого безразличия, равнодушия ко всему на свете глядело из глаз.

У «профессорш» появилось много конкуренток. Они околачивались в столовой и жадно смотрели в рот всем, кто ел хоть что-нибудь.

Когда выяснилось, что к посевной останется очень мало работоспособных людей, в лагере были организованы так называемые оздоровительные пункты для дистрофиков. Немного усиленное питание в течение двух недель было жалкой подкормкой для совершенно истощенных людей. В выделенном для оздоровительного пункта бараке они копались в своих тряпочках, жарили, кому удавалось добыть, в котелках шрот (соевые выжимки) – скотский корм с молфермы, от которого невероятно пучило и во рту был вкус машинного масла. Были смертные случаи у людей и даже у скота, когда шрот разбухал внутри. Во время обеда все очень восторженно отзывались о супе с картошкой, о каше, более густой, чем в общей столовой.

– Божественный суп... Прелестная каша... – шелестели они сухими губами, благоговейно, понемножку зачерпывая ложкой еду.

Соломоновская слабосилка – это были «доходяги», способные еще кое-как шевелить руками. Они крутили и вощили выдернутые из мешковины нитки для нас, ночной смены, по десять раз на день ссорились, мирились. Соломон Яковлевич говорил:

– Если они не сумасшедшие, то я наверняка с ними сойду с ума!

Заканчивалась ночь. Мы сбрасывали фартуки, отмывали руки, заворачивали нагретые на печке кирпичи в тряпки и расходились по баракам. Кирпич засовывался под одеяло, так как в бараках почти совсем не топили. Хозтранспорт – бычки – выбыли из строя от холода, и некому было привезти дров. В темной столовой с одной тусклой лампочкой в раздаточном окне получали пайку, проглатывали утреннюю баланду, отдавая совсем уж пустой остаток в жадные руки собирательницы объедков.

ЗАКРОЙНЫЙ ЦЕХ

Конец войны застал меня в закройном цехе швейной фабрики Магаданского промкомбината. (Осенью сорок третьего года я попала в этап, набранный в совхозе для промкомбината.)

Когда пришла по радио эта радостная весть, вспыхнул стихийный митинг во дворе фабрики. Все побросали работу, выбежали во двор, взбираясь на ящик, говорили речи, обнимались, плакали. Пересидчиков, то есть тех, чье освобождение было задержано до конца войны, поздравляли:

– Завтра вы будете на свободе!

Лагерь гудел, наполнился слухами. Каждый день приносил новые из «достоверных источников».

— Завтра начнут освобождать, — говорила начальница Севлага на приеме такой-то.

— Видели списки пересидчиков в конторе.

— Нарядчица говорила, что в первую очередь будут освобождать тех, кто имеет три благодарности.

— В газетах объявлена амнистия.

И тому подобное.

Особенно рьяными распространителями слухов были, конечно, пересидчики, которых в это время в лагере было много. Они действительно ждали освобождения завтра. Каждый день они переносили это свое напряженное ожидание на завтра, не дальше. На больший срок их терпения не хватало. Они жадно ловили все слухи, приукрашали их, вечером верили, днем разочаровывались, а следующим вечером опять верили. Год с лишним, проведенный в лагере после окончания войны, был очень тяжелым.

Пересидчица Галя пришла на работу, надев юбку поясом вниз.

— Галька, как ты юбку надела?

— А что? — недоуменно оглядывала она себя. — А я думаю, чего это юбка на мне так свободна стала, да и подвязала ее веревочкой.

— Что пересидчик, что сумасшедший — одно и то же! — говорили все.

В закройном я работала третий год. Мои обязанности заключались в том, что я принимала материал на складе, сообщавшемся с закройным цехом, списывала его в раскрой, выдавала крой в пошив и вела учет того и другого. К концу месяца приход и расход тысяч метров должны были сбалансироваться. Фабрика шила на всю Колыму.

В цехе был большой закройный зал с тремя длинными оцинкованными столами и резальной машиной, вмонтированной в средний стол, лаборатория, где разрабатывались лекала кроя, и комната мастеров с полками для мануфактуры по одной стене, закрытыми длинной занавеской. Готовый крой белья, телогреек, брюк, бурок, брезентовых палаток и прочего в туго увязанных пачках складывался штабелями в углу цеха.

Три вольных сменных мастера командовали девушками, делавшими настил и наносившими рисунок кроя. Резал крой на машине обычно старший мастер Толя-узбек, лет тридцати, тоже пересидчик.

Лето сорок пятого прошло без перемен. Тянулась день за днем та же голодная убогая жизнь. Иногда удавалось заработать вышивками лишний кусок хлеба у тех, кто работал в больнице или других «хлебных» местах, выменять пайку у работающих в овощехранилище на десять сырых картошек и устроить курс лечения от обостряющейся цинги, то есть каждый день съедать по одной мелко нарезанной

и политой рыбьим жиром картошке. На работе с восьми до восьми удавалось немного забываться.

Ночью дежурил сменный мастер. Выдавал крой. Иногда Толя оставался на ночь в цехе, если почему-либо не выходил сменный мастер. Он был хорошо грамотен, говорил с акцентом, любил шутку, но русский юмор доходил до него не сразу. Расскажет кто-нибудь анекдот, смешную историю, он отойдет молча, а через полчаса, занимаясь чем-нибудь у стола, вдруг начнет хохотать. Дошло!

Однажды после ночи он стал с волнением рассказывать, что ночью не хватило кроя.

— Сто двадцать женщин сидят на конвоире, и нечего дать!

Сменный мастер Женя засмеялась:

— Что вы говорите, Толя? Разве могут сто двадцать женщин сидеть на одном конвоире? На конвейере, может?

— А, я не понимаю ваш язык! Конвоир, конвейер — какая разница!

Иногда он начинал бунтовать из-за того, что его называют Толей:

— Какой я Толя? Я Хикматтулла!

— Это очень длинно, — возражали ему и продолжали называть Толей.

Мне с ним приходилось иногда выяснять недоразумения, проверять оформляемые им документы раскроя. Когда он сердился на меня, он ехидно говорил:

— Вы интэрэсный человек!

Скажешь ему:

— Толя, что вы тут понаписали? Нет же этого кроя, где он?

— Вы интэрэсный человек! Что я его, в карман спрятал?

На фабрику приходили комиссии от политотдела, управления лагерей, которым все пересидчики задавали один и тот же вопрос:

— Когда нас освободят?

— Скоро. Скоро пойдете на свободу.

Им как будто было даже неудобно отвечать так неопределенно на законные, прямо поставленные вопросы, а слушать без конца обещания было невыносимо. Некоторые отсидели уже по два срока. Расстроенная всякий раз после таких посещений, я забиралась в Толину комнату под занавесь и там, на мешках с лоскутом, выплакивалась. Толя как-то меня обнаружил там за этим занятием и потом всем говорил, если меня искали:

— Под полками, наверно. Плачит.

В цехе появилась пани Мария. Она упаковывала крой в пачки. Пожилая смиренная западная украинка, она всех называла панами. Пан Толя, пани Женя и так далее.

– У нас давно нет панов. Что ты нас так называешь? – говорили ей.

– Я иначе не могу. Як шо вы не хочете, я буду зваты вас «ваше панство».

– Еще лучше!

В результате все стали звать ее «пани Мария».

Я забиралась иногда под занавесь в комнате мастеров, чтобы послушать, как Толя с Марией заканчивают день. Каждый из них говорил с акцентом на свой лад. Толя говорил быстро, сердито:

– Пани Мария, что ты сегодня делал?

– Я, ваше панство, – тянула она, заглядывая в бумажку, – робыла сто двацять тилигрейки, сто двацять бруки, сто пачик сковородки...

– Какие сковородки, что ты городишь? Говори по-человечески!

– Ну, я не знаю, как воны звуться, – тянула пани Мария.

– Косоворотки, – догадывался Толя.

Это было ежевечернее представление.

В нашем цехе работало много молодежи. Из прибывающего на фабрику пополнения Толя всегда старался отвоевать самых молодых.

– Какие девишки, какие девишки! – восторгался он, придя с осмотра вновь прибывших. – У одной ресницы, как кинжалы, а глаза, как пули!

– Опасная девушка, не берите! – шутила Женя.

Однажды, придя с очередного осмотра, он сказал мне:

– Какая девишка там есть! Красивая и совсем печальная. Не говорит, не смеется. Что за человек!

Дина попала в наш цех при распределении. У нее были большие карие печальные глаза, опущенные углы рта на бледном лице. Говорила она тихо, мало, только отвечала на вопросы и никогда не смеялась. Да и не на всякий вопрос у нее можно было дожидаться ответа. За неделю наши любопытные девчонки только и узнали, что по самым страшным военным статьям она осуждена на 25 лет лагерей.

О себе она ничего не хотела рассказывать. Иногда, если ее донимали вопросами, она только подымала на спрашивающую свой глубокий, печальный взгляд и ничего не отвечала.

Постепенно все оставили ее в покое, и она прожила среди нас много месяцев такой печальной, молчаливой тенью.

Однажды я застала ее в конце фабричного двора, у дорожки. Оттуда, с нашего бугра, через невысокий забор была четко видна вдалеке бухта Весёлая. Залитая солнцем гладь, окаймленная слоистыми цветными обрывами, была, как прекрасный мираж. Дина стояла, положив подбородок на руки, сложенные на заборе, и, не отрываясь, смотрела на бухту. Слезы стояли в ее глазах.

И лето сорок шестого прошло без перемен. Потерявшая веру, отупевшая от бесплодного ожидания, я работала с трудом, вяло, заставляя себя. Изредка приходили письма от мужа с вымаранными цензурой целыми абзацами, тоже безнадежные, мрачные. А работа требовала все больше внимания, времени. Начались перебои в доставке мануфактуры, кроили целые партии шевиота на телогрейки, на склад навалили американских подарков, прошедших все фильтры заинтересованных лиц, и все шло в раскрой. Фабрика стегала разноцветные бурки, шила из шевиота каторжанские телогрейки с полосами для номеров на спине для прибывающих большими партиями западников, власовцев, полицаев, бывших пленных, немецких подружек, всего этого откатившегося до далеких пределов страны вала войны. Пошив вырос вдвое, а виды материалов менялись по несколько раз на день. Заведующая фабрикой разрешила мне взять помощницу для учета. Я предложила Дине, выяснив, что она закончила десять классов перед войной.

— А я сумею?

— Конечно. Ничего сложного там нет. Привыкнешь.

И она перешла в лабораторию цеха.

У нас появилась курносая, веснушчатая девчушка с нагловатыми глазами — Клавка.

— Клавка, ты за что попала?

— Ворovala, ворovala и попалась, — отвечала она окающим говорком.

— А что ты ворovala?

— Муку ворovala, — говорила она, покусывая губы и вроде бы несколько смущаясь, но через минуту подымала на спрашивающую свой нагловатый взор и продолжала с вызовом, смеясь: — У нас все ворovali. Я работала помзавмельницей. Девчонка была. Назначили, некому было работать. Зарплата у меня была четыреста девяносто рублей, а кусок мыла стоил пятьсот. И все ворovali. Женщины нарочно просились в ночную смену, чтоб набрать муки. Затариться — это называлось. Шили такие длинные шаровары с завязками, насыпали муки, сверху юбку, и все! Одна так затарилась, пожадничала, что упала темной ночью в канаву, а подняться не может. Катается в канаве, стонет. Шли рабочие, подняли, смеются: «Ну, и затарилась ты, Машка! Тебя и на подводе не увезешь, чистый куль». Заведующему я помогала. Две машины отправили налево, а на третьей попались. Ему десять, мне пять.

С Диной мы жили в одном бараке, только в разных углах. Как-то рядом со мной на нижних нарах освободилось место, и я предложила Дине занять его:

– Не будешь вскакивать позже всех и бежать на работу голодная (как у нее частенько бывало).

– Я очень беспокоюсь сплю, буду будить вас ночью, – смущенно говорила она, – а утром меня одолевает сон.

– Зато я сплю крепко и ничего не слышу. Переходи, переходи, если тебя это устраивает.

– Хорошо.

В первую же ночь я проснулась от сдавленного, приглушенного крика. Дина металась, мучительно, глухо кричала. Я окликнула ее несколько раз, она перевернулась на бок и затихла. Через некоторое время все повторилось. Вечером, когда мы укладывались спать, я спросила ее:

– Что тебе вчера снилось? Наверно, что-то страшное.

– А что, я кричала?

– Да.

Она помолчала, а потом глухо сказала:

– У меня всегда это в душе. Только днем я могу сдерживаться, а ночью... – и замолкла.

Недели через две Дина пришла с работы возбужденная, укрылась одеялом с головой и стала плакать.

– Что с тобой, Диночка, что случилось?

Она не ответила, а когда все уснули, она откинула одеяло и, опершись голой рукой на разделяющую нас доску, всхлипывая, сказала:

– Во мне все перевернулось сегодня. Приехала та, из-за которой мне дали такой срок. И она попала тоже сюда, надо же! Не могу ее видеть!

Так она рассказала мне конец своей истории – суд, а потом вечерами, горячо дыша мне в ухо, прерывающимся шепотом рассказала ее всю.

Перед войной Дина закончила школу, собиралась в вуз из маленького белорусского городка, где она жила с отцом, матерью, сестрой и двумя младшими братьями. Отец работал машинистом на железной дороге и, когда началась война, сразу ушел в армию. Эвакуироваться они не успели, кроме старшей сестры – учительницы, уехавшей со своей школой. Все случилось так быстро, неожиданно, что мать ничего не смогла организовать.

Когда война отодвинулась в глубь страны, старший брат ушел к партизанам, младший, пятнадцатилетний Юрик, бегал куда-то, шептался с мальчишками и потом тоже исчез. Ночью однажды он вызвал Дину и попросил еды. Посещения его стали повторяться, а когда приходиться стало опасно, в доме поселились немцы, Дина встречалась

с ним в условленном месте. По просьбе братьев она связалась с человеком из подполья, выполняла поручения партизан. Но грянул удар. Неизвестный человек сообщил, что братья попались на разведке. Оба. Вечером забрали Дину. Она просидела у немцев полтора года. К счастью, ей попался молодой следователь, который, как видно, ее жалел. Возможно, и среди гестаповцев встречались люди, у которых осталось что-то человеческое. Он перевел Дину в менее значительную группу заключенных, матери изредка разрешалось приносить передачу. Когда под немцами стала гореть земля, следователь вызвал ее и стал кричать:

– Ты будешь отвечать, когда тебя спрашивают? Германия пойдешь, в шахту загоню! – Между криками он сказал шепотом: – Я тебя выпущу, скрывайся, – и в последнюю ночь перед отступлением выпустил.

Это была страшная ночь. Городок горел, люди метались, гремели уходящие танки, стрекотали мотоциклы, где-то щелкали выстрелы.

Мать спрятала Дину на чердаке, завалив ее хламом. Вечером она услышала через незастекленное чердачное окно разговор двух мальчишек:

– На барсуковой поляне партизан расстреливают. Побежали – может, кто живой останется.

Следующей ночью Дина пошла в лес на свой страх и риск, ничего не сказав матери. Еще проходили кое-где остатки немецких войск, обозов. Поляна была покрыта трупами. Их даже не успели побросать в яму, вырытую, как видно, ими самими. Дина со спичками долго ползала среди трупов, искала братьев. Младший лежал с чистым лицом, только темное пятно растеклось по майке, а старшего она узнала по рубашке. Все лицо было разворочено.

– Эта ночь никогда не забывается, и с тех пор у меня всегда стоит внутри этот крик. Сжимается что-то вот здесь, – она прикоснулась к шее, – и хочется кричать.

Когда пришли наши, Дину арестовали, потому что ее освобождение из немецкой тюрьмы показалось подозрительным. Эта новая напасть кончилась бы, вероятно, не так трагично, если бы не появилась девушка, учившаяся с Диной в одной школе, которая работала у немцев во время оккупации и теперь, спасая свою жизнь, показывала без разбора на всех, как на работников немецкой разведки. Ее возили по всем тюрьмам для опознания. О Дине она сказала на суде:

– Кажется, она работала в опергруппе номер...

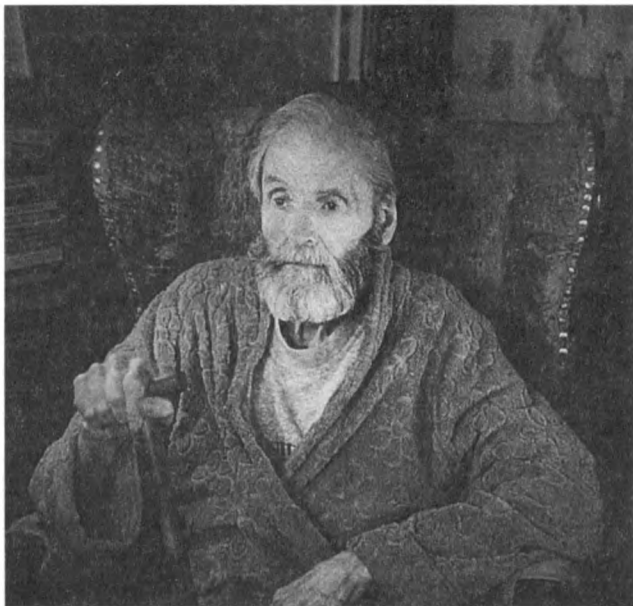
Этого было достаточно. Свидетелей, знавших Дину и ее семью, даже не вызвали. Дину включили в наспех объединенную группу разного сброда и по групповому обвинению двоих расстреляли, а ей дали

25 лет. В тюрьме Дина заболела тифом и, совсем еще слабая, была отправлена в этап. Свое состояние она скрывала, не хотела отстать от каких-то девушек, которые ухаживали за ней во время болезни.

— Они меня тащили в строю под руки. Когда все это на меня свалилось, я забыла, что значит смеяться...

В сорок шестом году, когда я уже ушла из закройного цеха, Дина получила извещение, что ее дело пересмотрено. Отец, вернувшийся с фронта, собрал свидетелей, добился пересмотра дела, и прежний приговор был заменен пятилетним.

ГЕОРГИЙ ВАГНЕР



В доме ботаников Мейеров в Московском ботаническом саду на 1-й Мещанской идет разговор о племяннике одной из гостей – Георгии Карловиче Вагнере. Талантливый художник Рязанского музея, рассказывает она, родился в полунемецкой семье в 1908 году в г. Спасске Рязанской губернии, уже в 1935 году имел неприятности из-за родства с «фашистским композитором» Рихардом Вагнером, запрещенным тогда в Большом театре, а в 1937 году и вовсе был арестован за неосторожную критику властей, санкционировавших модное в 1930-е годы уничтожение памятников архитектуры прошлого – Сухарева башни, Храма Христа Спасителя, Красных ворот в Москве и др. В результате 10 лет Колымы (из них 5 – в лагере).

В 1949 году его выслали из Рязани *бессрочно* (!) в Красноярский край. Потом была Ангара, лесоповал в тайге...

В 1955 году он вернулся в Москву, а в 1956 году был реабилитирован за отсутствием состава преступления... В судьбе ее племянника, рассказывала та же гостя, огромное участие принимала другая ее сестра – Нина Владимировна Лызлова, поставившая целью жизни спасение Гурлика. Она посылала ему продукты и книги. Благодаря ей он был в курсе всего современного

искусствоведения. В его судьбе, продолжала она, пыталась принять участие великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина, вступившая с ним в оживленную переписку. Наивная идеалистка, получив личную просьбу Сталина записать понравившийся «корифею всех наук и искусств» 27-й концерт В. Моцарта, она согласилась, рассчитывая при благодарственном звонке вождя отказаться от гонорара, но попросить свободу невинному Георгию Вагнеру... Запись осуществилась, звонка не последовало!.. Теперь он – в Москве, заключала тетка, и только что с огромным трудом устроился на лаборантскую работу в Институт археологии.

Георгий Карлович, понимаю я, это – тот самый человек измученно одухотворенного облика, который с недавнего времени по протекции профессора нашего института Н. Н. Воронина шифрует в архиве института негативы. Он молчаливо присутствует на всех заседаниях нашего сектора славяно-русской археологии и иногда делает себе какие-то пометки.

Десять лет Колымы, понимаю я, не убили в нем тяги к научному творчеству! Беда же в том, что, интеллигент прежнего склада, он никому не может отказать и вечно вынужден разрисовывать то стенгазету, то писать бесконечные объявления...

– Знаете, – говорит он мне как-то, – за этот год (1957) я сдал в печать восемнадцать статей...

И вот начали выходить эти работы одна за другой, и какие это были работы!..

Он часто стал выступать у нас с докладами на разные искусствоведческие темы и однажды развернул перед нами детальный план реконструкции Георгиевского собора в Юрьеве Польском, построенного в 1230–1234 годах, обрушившегося в XV веке и примитивно восстановленного зодчим Ивана III Ермолиным в 1471 году.

Всему институту памятен день 15 марта 1968 года, когда было объявлено о кандидатской защите Георгия Карловича. Этого события ждали очень долго – встретилась масса препятствий: у диссертанта не было диплома о высшем образовании. Никогда, кажется, не забыть взрыва аплодисментов – справедливость в этот день хоть в малой степени была восстановлена! Тихий, скромный Георгий Карлович был к этому времени известен всем, ликовал весь институт! Дело в том, что диссертант пробыл лишь пятнадцать минут кандидатом искусствоведения, по решению Ученого совета после «кандидатского» диспута в него был включен третий оппонент, и бывший колымский зэк, ко всеобщему восторгу, единогласно был объявлен доктором искусствоведения... Георгий Карлович стоял в зените своей славы!

С тех пор им опубликованы сложнейшие монографии и огромное количество статей по самым разным темам искусствоведения.

Умер Г. К. Вагнер в 1995 году.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЗА... СУХАРЕВУ БАШНЮ

Сухогруз «Кулу» вмещал в трюмы с трехэтажными нарами до трех тысяч человек. Когда дошла моя очередь вступить на этот корабль верующих и неверующих, то все нары были битком набиты, так что не оставалось ничего иного, как разостлать свое пальто прямо в проходе по железному днищу, на котором плескалась грязная вода.

Проснулся я от весьма ощутимой качки и глухих ударов волн в борт. Пока я спал, наш транспорт потихоньку, по-воровски снялся с якоря и уже приближался к заливу Лаперуза между Сахалином и Японией. Ночь выдалась ветренная, большие волны ходили ходуном, хлестал холодный дождь. На «Кулу», естественно, не было туалетов, по нужде надо было вылезать на палубу и пользоваться подвешенными к бортам деревянными уборными. Придумано остроумно, не надо никаких уборщиков, все поглощало море. Но добраться до уборных во время качки, а главное, находиться в них требовало своего рода акробатического искусства. По всей палубе, громко гремя, катались бочки, видимо, сорвавшиеся с креплений, а может быть, по российскому «авось», и вовсе не закрепленные. Можно было легко попасть под катившуюся бочку, а они были не пустыми. Сквозь крошечную темень где-то справа мелькали огоньки японского поселка. Во тьме я разглядел серый силуэт морского судна. Японец? Да, это был один из сторожевых японских судов, в задачу которого, вероятно, входила проверка, какой груз везет советский транспорт. Проверка была формальная, свелась к непонятным мне крикам. Я понял, почему «Кулу» вышел из Золотого Рога потихоньку и шел без всяких огней. Но что могла дать настоящая, неформальная проверка? Абсолютно ничего! Советский транспорт не вез оружия, а до остального японцам не было дела.

От Охотского моря у меня не осталось особых впечатлений. Оно было похоже на расплавленный и мерно колышущийся свинец с белыми гребнями громадных волн. А ведь я впервые видел море, с которым с детства связывал поэтические картины, усвоенные по рассказам Станюковича. Под влиянием этих рассказов я даже одно время готовился стать моряком! Вот тебе и «моряк» поневоле.

...Приближение к Магадану живо напоминало мне рассказ Короленко «Без языка», в котором с изумительной наглядностью описано, как постепенно из воды вырастают американские небоскребы, вырастают все больше и больше, пока не открылся весь Нью-Йорк.

У нас роль этих небоскребов играли прибрежные скалистые острова. Они сначала появились, медленно оставались сзади, а «Кулу» все шел и шел, пока впереди не обрисовалась цепь сопок. Сухогруз подошел к невзрачному причалу, и мы вступили на колымскую землю. Неприглядная это была земля, все камень, камень и камень. На сопках — мхи. Дорога к магаданской пересылке вела в гору, и наше унылое шествие было очень похоже на «шествие на Голгофу», запечатленное кистью многих великих художников. Вместо деревянного креста разве не несли мы крест мысленный? Но наше шествие никто не рисовал и не фотографировал, хотя это могло бы очень пригодиться для постановок будущих антифашистских фильмов. И весьма предусмотрительно не запечатлевали: теперь кое-кто может говорить, что этого вовсе не было, даже если и было!

Шел август 1937 года. На пересылке мы, как и во Владивостоке, оказались среди разноразмерных арестантов. Никакого разделения между нами не было. Внутри зоны люди бродили свободно, обменивались шмотками, воровали. У меня в первые же часы украли рюкзак со всем содержимым. Впрочем, я вскоре понял, что лучше вообще не иметь никакой собственности (кроме одежды, да и то плохой), все равно блатарями будет украдено или отнято. Я даже не знаю, к какой социальной категории нас можно было отнести. К люмпен-пролетариату? Нет, у него хоть что-то было. У нас же не было никакого «что-то», даже собственной миски.

Как художник, я не мог не обратить внимания на специфику окружающего. Тайга почти вся была вырублена, оставались маленькие островки. Сопки покрыты, главным образом, мхами, которые в августе становятся разноцветными, похожими на персидский ковер. Это радовало глаз, хотя низко спускающиеся над сопками сизые тучи выглядели угрюмо. На склоне сопки паслись маленькие лошади. Меня поразило, что это были не местные маленькие «якуты», а мощные, дородные, упитанные кони, вероятно, специально отобранные для тяжелых условий Колымы. Какая оплошность! Как раз именно эти европейские красавцы чрезвычайно плохо переносили морозы.

Сам Магадан в 1937 году представлял маленький поселок из деревянных домиков и бараков. Лагерная баня была в каком-то миниатюрном бревенчатом срубе. Конечно, о настоящей санобработке и здесь нечего было думать. А тело так просило воды, воды, воды...

Вскоре нас стали партиями погружать в полуторки и отправлять в глущь Колымы.

* * *

Колыма от Магадана до поселка Сусуман тогда прорезывалась неплохим шоссе, проложенным сквозь горы, долины и даже скалы. Это было грандиозное шоссе. До Сусумана насчитывалось 600 километров, кроме того, было немало ответвлений в разные стороны. Колымские водители отличались лихачеством, и подчас их смелые выражи у скал рядом с пропастью заставляли нас по-звериному прижиматься друг к другу. Как будто это могло спасти. В каждой машине утрамбовывались двадцать пять человек. На переднем (около кабины) сиденье находились два красноармейца с винтовками.

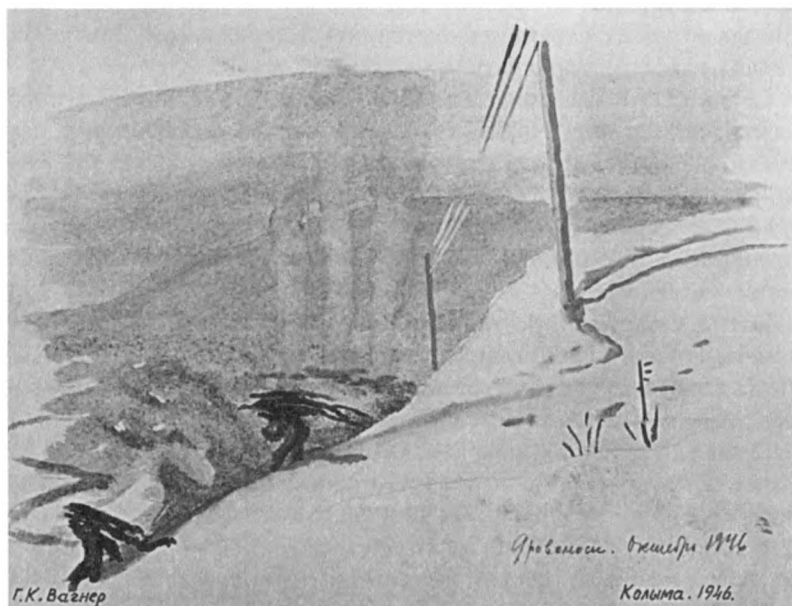
Где-то на 250-м километре сделали остановку на обед. Его давали в кое-как сколоченной у шоссе фанерной палатке, что никак не вязалось с рассказами о богатой Золотой Колыме. Не связывалась с этим и пшенная похлебка, густо сдобренная томатной пастой. Чего-чего, а этой томатной пасты, вероятно, было завезено на Колыму столько, что ее вкус уже вскоре вызывал отвращение.

И вот Сусуман. Рядом протекает речка Берелех, так что вся широкая долина носит это название. Много позже я узнаю, что в долине Берелех в доисторическое время водились мохнатые мамонты, и один мамонтенок чуть ли не целиком, то есть со всеми потрохами и даже пищей в желудке, будет найден в мерзлоте именно здесь. Сусуманцы встретили нас радушно и стали бросать (мы расположились на траве) банки разных консервов. Кое-кто из наших, сильно отошавшие и с жадностью набросившиеся на неожиданный дар, поплатились отравлением. А нам нужно было пешком добираться до Берелехской долины на только что основанный прииск «Мальдяк». Отдохнув немного, мы тронулись в путь, сопровождаемые, конечно, неизменным конвоем. Нас было двадцать пять человек. Шли по болотистой местности, перешагивая с кочки на кочку. Идти предстояло около пятнадцати километров. И хотя груза у нас никакого не было, но все же это расстояние мы одолеть не смогли. Пришлось заночевать.

Это была первая ночь в колымской тайге. Правда, тайга не выглядела так, как ее показывают в кино. Крупные деревья уже повырубали, росли в основном чахлые молодые лиственницы и кусты. Мы разбили ночевку, наломали стланика для подстилки. Самое страшное — начали одолевать комары. Пришлось все время поддерживать дымокур, сон не шел, и ранним утром мы снова двинулись в путь. Шли в белом густом тумане, шли понуро, как вдруг где-то впереди



Г. К. Вагнер. «Акрополь» на вершине Коралловой сопки.
Из альбома «Колыма». 1946 год



Г. К. Вагнер. Дровносы. Из альбома «Колыма». Октябрь 1946 года

сквозь туман прозвучал удар колокола. Это было потрясающе! Тайга, бездорожье, безлюдье, 600 километров от Магадана — и вдруг звон колокола. Совсем, как в «Рассвете на Москве-реке» Мусоргского. Конвойные объяснили, что мы подходим к стану «Мальдяк», на котором прозвучал утренний «подъем».

Стан — это еще не сам прииск «Мальдяк». От стана до «Мальдяка» десять километров, но уже по другой, более лесистой долине. Стан — приисковая база. Она, по-видимому, была заложена здесь еще до возникновения прииска на речушке Мальдяк, извиляющейся между высоких старых лиственниц. Бросались в глаза добротные строения складов и других домов. Вот только помещение кухни-столовой опять поразило своей карточной «архитектурой». Видно было, что эта столовая не для аборигенов, а для всякого проходящего арестантского люда. Так или иначе, а нас снова накормили досыта пшеничным супом с томатом, причем здоровенный повар-блатарь приговаривал: «Ешьте, ешьте, братцы, от пуза. Колыма богатая, не скупится». Между тем в пшеничном супе не было ни картофелины, ни лука, хотя сушеные россыпи и того и другого мы видели тут же на разостланных брезентах.

* * *

Мы готовились к отправке на прииск «Мальдяк», но нам объявили, что мы пойдем на сенокос, для чего тут же была сформирована бригада во главе с украинцем-бытовиком Клеменчуком. Бригада состояла из десяти-двенадцати человек.

Сенокос! Это была моя самая любимая в детстве работа, к которой мы относились, как к празднику. Кто работал на сенокосе, тот знает, что это далеко не легкий труд, но тяжесть его искупается поэтической обстановкой, особенно когда сенокос ведется среди лесных полей и перелесков. Немало таких мест мы прошли на пути от Сусумана к стану «Мальдяк». Теперь нам предстояло вернуться туда, скашивать кочки, метать стога.

Житье у нас было по колымским условиям вольное, то есть без конвоя, что меня даже удивило. Ведь кругом тайга, беги, куда хочешь. Но на побег может решиться только крайне неблагоприятный блатарь. Мне встретятся такие случаи, но об этом в своем месте.

Я умел косить, но выпало стать коноводом, что тоже приятно, так как я с детства любил лошадей и мог с ними обращаться. Мне поручили красивую европейскую лошадь, с которой, однако, вышло немало хлопот: она хорошо взбиралась на сопки (во время наших переходов с места на место), но совершенно не умела спускаться с них. Приходилось совершать с ней километровые крюки.

На сенокосе я впервые услышал слово «пахан» (отец). Так меня называли, вероятно, за мою отросшую черную бороду.

Три недели на сенокосе в конце августа и начале сентября 1937 года остались единственно светлыми в моих колымских воспоминаниях. Именно здесь, на сенокосе, я получил первое письмо от Али — моей будущей жены. Она писала о смерти матери и мужа. Ее замужество в свое время разлучило нас. Теперь я твердо знал, что вернусь именно к ней, к Але, с которой вместе рос и которую чуть было не потерял. Я воспринял это как предначертание Судьбы, в силу ее я все больше и больше верил.

Мы косили траву до первого снега, который выпал в сентябре и уже не таял. Теперь нас ожидал прииск «Мальдяк».

* * *

Прииск этот тогда представлял едва обжитое место. Стояло три рубленых дома для начальства и геологической службы да столько же брезентовых палаток. Нам предстояло: построить каркасы для двух десятков палаток, установить столбы электроосвещения, прокопать водоотводную канаву со стороны сопки. Сами мы разместились в одной из существующих палаток, да так в ней и остались на зиму. Пока сильные морозы не грянули, работа наша спорилась, так как у нас был очень дельный бригадир Клеменчук, который умел все устроить для бригады. Это был своего рода солженицынский Тюрин из «Одного дня Ивана Денисовича». С наступлением колымских морозов работа усложнилась. Земля стала, как бетон. Чтобы выкопать яму для столба, нужно было долбить землю ломом с проходкой одного-двух сантиметров за час. А силы, немного накопленные за сенокос, стали быстро таять. Питание на прииске не шло ни в какое сравнение с тем сухим пайком, который выдавался нам на сенокосе. Жидкий овсяный суп с непременно горбушей, немного каши. И никаких овощей, не говоря уже о мясе. Получив пищу в самодельные (из консервных банок) котелки, мы бежали от кухни скорее в палатку, чтобы съесть обед теплым. Хлеб нормировали согласно выработке, от 900 до 400 граммов штрафного пайка. Хлеб подчас настолько замерзал на складе, что мы распиливали буханки двуручной пилой.

Сейчас мне трудно представить, как это мы могли переносить морозы в 40–50 градусов* в палатке из одного слоя брезента, «утепленной» изнутри только листами фанеры. Никакой прокладки мхом не было, да и откуда взять мох, когда снег покрыл землю уже на толщину более полуметра. Заранее же заготавливать его было еще некому.

* Очень редко было 60 градусов (на Сусумане). — *Здесь и далее прим. автора.*

В палатке с нарами стояли и круглосуточно топились две печки-бочки, пожирающие несметное количество топлива. Сушняк был выбран с сопок еще в начале зимы. Теперь мы срубали полусухие лиственницы и стаскивали их вниз. А к концу зимы очередь дошла и до свежих лиственниц. Когда в мае 1938 года я покидал «Мальдяк», все сопки кругом были голые. Мертвая картина! А ведь прииску еще надо было существовать. И даже не один год. Ясно, что планирование энергетических ресурсов отставало от планов золотодобычи, за что Дальстрою в свое время пришлось жестоко расплачиваться. Но я залез уже не свою сферу. Вернусь к нашей жизни на «Мальдяке». Впрочем, это была не жизнь, а медленное угасание.

Как и в этапном вагоне, в мальдякских палатках для заключенных не было войны между «врагами» и «друзьями» народа. К тому же в палатках не было разделения на половины: «политическую» и «бытовую». Размещались на нарах побригадно, а бригады были смешанные. Относительно мирное сосуществование объяснялось, видимо, тем, что все одинаково осознавали драматичность положения в тайге за 600 километров от главного начальства, когда малейшее нарушение баланса могло привести к общей гибели.

Мое положение еще больше ухудшилось с расформированием бригады Клеменчука, когда я попал на основные земляные работы. В зимнее время они состояли в так называемой вскрыше торфов*, то есть в снятии пустой от золота породы и отвозе ее в сторону, на отвал. Эта пустая толща достигала порой восьми метров, будучи цементированной морозом до крепости бетона. Простым кайлом такую породу не возьмешь, тем более что норма выработки на одного человека была громадная, шесть-восемь кубометров! Для ускорения работ (торф нужно было вскрыть к весенне-летнему промывочному сезону) применялись взрывы, а для зарядки бурок аммоналом нужно было пробуравливать эти бурки. После взрыва нам надлежало дробить глыбы на более мелкие куски и отвозить торф на отвал. Сначала вручную – на коробах-салазках, а позднее – посредством электрической тяги. Особенно тяжело было в ночную смену при рабочем дне в двенадцать часов (во время войны – шестнадцать часов). К утру силы иссякали, стоящие на бортах забоя охранники это видели и большей частью не кричали на нас. Плюс ко всему еще постоянная угроза обморожения. Ватный бушлат, телогрейка под ним, ватные брюки, ватная шапка и рукавицы кое-как защищали от холода. Но нельзя было спасти лицо и особенно нос. Закутывание лица шарфом ухудшало положение, так как под ним образовывался пар, который превращался

* Колымские торфа не следует путать с европейским торфом.

в лед. У меня особенно страдал нос. Он и до сих пор мерзнет даже при небольшом морозе. Более же всего страдали южане и... европейские лошади. У моего напарника Гугулы Легошвили лицо было все в кровоподтеках. Он все время бормотал: «Пропал, совсем пропал». Пропал ли он? Это был молодой, красивый и физически очень крепкий грузин.

Сначала я выполнял норму и не отставал от забойщиков. Я даже начал немного гордиться. Но вот что-то надорвалось, и я очутился на «больничном листке». Как больной я был приставлен к легкой работе: собирал сухой хворост в ближайших зарослях. Зимой в лагерь провели радио, я слушал какую-то передачу, как вдруг Рейзен запел мой любимый романс Бородина «Для берегов отчизны дальней». Впечатление от этого было, пожалуй, еще более сильное, чем от колокола в тумане. Я заплакал. Хорошо, что никто не видел моей слабости, больше этого не повторялось. Как звон колокола в «Рассвете на Москве-реке» ассоциируется у меня с туманом на стане «Мальдяк», так и романс Бородина всегда напоминает об этом страшном прииске.

Призрачным лучом света на «Мальдяке» была моя временная работа в геологической части в качестве чертежника-копировщика. Устроился я на эту прекрасную работу при помощи одного из бытовиков-чертежников. Добрые, интеллигентные геологи вникли в мое положение и пытались облегчить его. Они отвели мне рабочее место в самом теплом углу помещения, не критиковали за мои дрожащие линии горизонталей, даже немного подкармливали. Мне казалось, что я попал в рай. И геологи казались мне богами или ангелами. Но нарядчик-блатарь, узнав о моем «припухании»* у геологов, в бешенстве изгнал меня из рая, и я очутился в штрафной бригаде.

Бригада штрафников состояла из таких же, как я, «нарушителей» лагерного порядка, лиц разного возраста, разной «материковой» профессии, объединенных карточкой штрафников с 400 граммами хлеба и худшим, чем у остальных, обедом. В забое, где нам надлежало бурить бурки для зарядки их аммоналом, бригадир Морозов даже иногда помогал мне или же посылал для передышки на сопку за дровами. Я долго не возвращался, и единственной репликой бригадира было: «Ну, Вагнер, тебя только за смертью посылать». Судя по поведению, Морозов был отпетый блатарь. Только такие, как он, способны были ответить матом на ругань начальства и не поплатиться за это.

При начальнике Дальстроя Павлове жестокость доходила до того, что отказчиков от работы вывозили в забой и ставили на мороз в одном

* «Припуханием» называется пристройство к какому-либо теплему местечку, к легкой работе. Или же просто безделье.

нижнем белье. Конечно, это были в основном блатари, народ вообще не только продвунной, но и гордый в самозащите. Саморубами* были они, а не «политические». В БУРах сидели чаще всего они.

Штрафная категория питания делала свое дело. Я дошел до того, что не стыдился собирать отбросы на кухонной помойке, успокаивая себя тем, что все бактерии при сорока градусах мороза погибли. Начали пухнуть ноги. Слабел дух. Я постепенно превращался в фитиля**. За этим состоянием обычно следует смерть. И тут я вспомнил, что один из моих напарников по сенокосу Лапшин (как хорошо, что я запомнил его фамилию) при расставании (он был оставлен на стане «Мальдяк» при пекарне) сказал мне: «Будет туго – приходи, дам хлеба». И я решил пойти. До стана, как я уже упомянул, было около десяти километров. Туда и обратно – двадцать. Дойду ли? Стояли январские морозы, но не более двадцати пяти градусов. Это терпимо. В юности я совершал большие переходы и знал, как надо управлять телом, дыханием. Надо идти размеренно, не волнуясь, дышать в такт работе ног. И главное, все время верить в то, что я дойду, вернусь и все будет если и не хорошо, то и не плохо. Еще лучше, если думать о чем-то очень и очень светлом, радостном. Я дождался воскресенья (до войны по воскресеньям не работали) и не торопясь пошел. Я дошел туда и обратно. Дошел не обморозившись. Правда, Лапшин хлеба дать мне не смог, но он дал полный противень подсушенных корок и кусков, издающих запах подсолнечного масла. Конечно, я поделился со своим приятелем Виноградским, но, не скрою, большую часть оставил себе. За «переход» и за риск.

Но разве эти куски хлеба могли помочь при дистрофии? Однажды, возвращаясь с работы, Морозов предложил: «Хотите жрать мясо? Если хотите – так пойдем к сопке, там в распадке брошена туша лошади с ободранной кожей. Будь лошадь больная, заразная – так ее не бросили бы. Здоровая. Вероятно, пала от недоедания». Ни слова не говоря, мы повернули и пошли по его указанию. Нарубили себе разных кусков и пошли в лагерь. Теперь задача состояла в том, чтобы суметь незаметно пронести все через вахту. Мясо – это такая вещь, происхождение которой заставляет задуматься. А задумываться вахтеры не хотят. Зачем им думать? Пусть думает начальство. Надо было перехитрить вахтеров, и кто-то из бригады не нашел ничего лучшего, как временно бросить мясо в окологлагерный шурф, а потом при удоб-

* Саморубы – те, кто отрубал себе части ступни или кистей рук, чтобы избежать тяжелой работы.

** «Фитилем» называется дистрофик, уже потерявший возможность следить за своей внешностью.

ных случаях частями извлекать его оттуда. Но этому плану не дано было осуществиться. На вахте про шурф уже проведали, и едва мы расположились на отдых, как нас стали таскать к начальству и угрожать расправой. Помню, какой-то офицерский чин стыдил меня, как это я, музейный работник (откуда он узнал это?), мог участвовать в такой «грязной» истории. Он намекал на возможность получить дополнительный срок, и хотя это и было очень страшно, но я проговорил: «Мне теперь все равно». А мне вовсе не было все равно, надо было жить, я хотел вернуться домой.

Кому-то все же удалось пронести кусок конины. Мы варили ее в большой консервной банке, сладкий запах растекался по палатке.

Вскоре произошло самое страшное в моей колымской эпопее, поставившее меня между жизнью и смертью.

* * *

Я продолжал работать в штрафной бригаде Морозова. Теперь ее поставили на подвозку воды и подноску дров для бойлеров. Работа не нормированная, но не допускающая перебоев. Впрочем, подвозили мы тогда только лед. Гугула Легошвили был хорошим напарником, бойлеристы были нами довольны и позволяли в перерывах греться у «самовара». Хуже было на заготовке дров. Леса на сопках почти не осталось, стояли одинокие деревья. Мы сваливали их, а затем стаскивали с сопки вниз, к бойлеру. Стаскивать было нетрудно, а на то, чтобы взбираться на сопку по три или четыре раз в день, уходили последние силы. Нас пробовали стимулировать жареными пончиками, которые приносили прямо на сопку в бидоне. Но за это премиальное блюдо надо было платить по пятнадцать-двадцать копеек за штуку, а у меня не водилось даже копейки. Моя зарплата была со знаком минус. Чтобы не глядеть на жующих товарищей, я отправлялся к костру, неизменно разводимому в обеденный перерыв.

Костер мы использовали и в санитарных целях. В больших консервных банках кипятили белье, выводя изнуряющих блох. Лагерная «жарилка» не могла с этим справиться.

К весне 1938 года на прииске очень увеличилась смертность. Хоронили без всяких гробов. Откуда на прииске доски?

Итак, все, казалось, шло своим чередом. К голодному состоянию я стал привыкать в том смысле, что терял надежду на лучшее. И вот однажды, в ночь на 1 мая 1938 года нарядчик разбудил меня и велел идти на вахту. Такое было впервые со времен ночных вызовов в Рязани на очередной допрос. У вахты в ночной мгле уже стояли несколько человек, что меня еще больше насторожило. После короткой

переклички нас вывели за зону и повели в сторону соседней сопки, по распадку. Уж не на расстрел ли, мелькнуло в моей голове. Не может быть. Без приговора все же не расстреливают. Увы, я и не подозревал, что нас ведут именно для того, чтобы состряпать такой приговор.

Дорога, вернее – тропа, уперлась в бревенчатый барак. Недалеко были два-три более добротных строения. Я ничего не знал об этом «таинственном хуторе», а между тем это было не что иное, как мальдякское отделение НКВД, а деревянный барак – тюрьма при нем.

Тюрьма-барак с двухъярусными нарами была битком набита разными людьми. Среди них я узнал двух-трех из своей палатки. Мы лежали на манер шпротов в консервной банке.

В тот же день, 1 мая, меня повели на допрос. Я очутился в довольно просторном кабинете с большим столом, за которым сидел молодой следователь. Пошли вопросы: почему занимался саботажем (не выполнял нормы); кто вместе со мной входил в лагерную эсеровско-меньшевистскую организацию, ставящую своей целью свержение (с помощью японцев!) Советской власти на Колыме?

Я монотонно отвечал: «саботажем не занимался», «в эсеровско-меньшевистскую организацию не входил» и так далее. Мне показалось, что следователь понял бесполезность допроса и вскоре отправил меня обратно в тюрьму-барак. Добавлю, что никакого ордера на арест он не предъявлял. Да и было бессмысленно его требовать. Я уже потерял веру в законность.

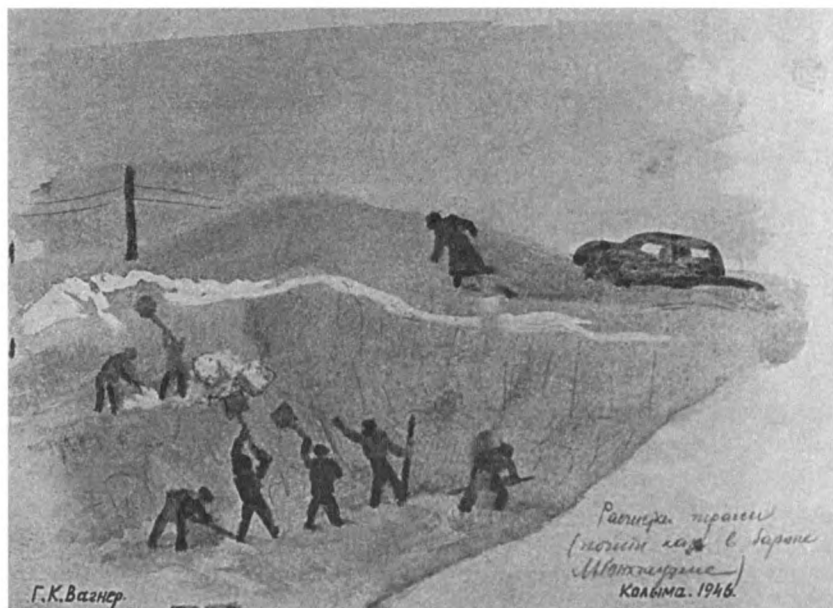
Для того чтобы отработать свою тюремную пайку, нас вывозили работать в забой. Это был уже не произвол, а садизм.

Всех сидящих в барак-тюрьме перетаскали на допросы. Что же дальше? Этот вопрос занимал всех, и никто не мог на него ответить ввиду необычности ситуации. А вопрос решился просто. Подогнали к барак-тюрьме ставшую «родной» полуторку, набили ее до отказа и без всякого объяснения повезли неизвестно куда. Сначала ехали знакомой дорогой на Сусуман. Потом направились на юг. В Магадан? Нет, не может быть. Ни мы, ни конвой, ни машина для столь дальнего пути не подготовлены. Доехав до крупного поселка Ягодное, стоявшего на главной трассе, машина свернула на боковое шоссе, и через два перевала мы очутились в поселке Хатыннах.

Хатыннах – это не лагерь, а административный центр, в котором в 1938 году находилось Северное горнопромышленное управление Дальстроя (СГПУ). Тут же был и районный центр НКВД. Нас

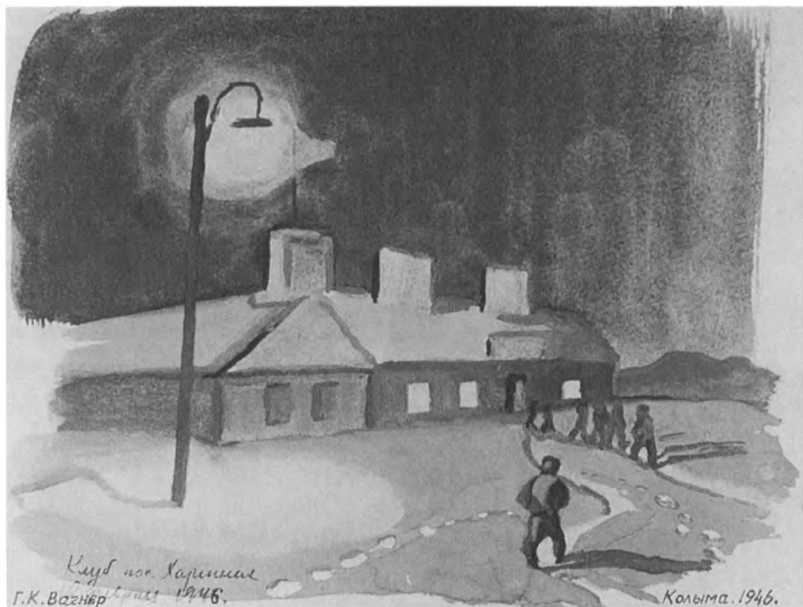


Г. К. Вагнер. Пекучь хлеб. Из альбома «Колыма». 1946 год



Г. К. Вагнер. Расчистка трассы. Из альбома «Колыма». 1946 год

ссадили с грузовика и сразу повели мимо поселка вверх по склону сопки. Шли по траншее, прокопанной в чуть ли не двухметровой толще снега. А ведь был уже май! Дошли до такого же барака-тюрьмы, как и на «Мальдяке». Бревенчатое здание без окон, но с массивной дверью было обнесено колючей проволокой, у одного из углов ограды возвышалась деревянная вышка с мощным прожектором. Под ней громоздилась куча одежды – бушлаты, телогрейки, ватные брюки, разного рода обувь, шапки... Что это? Одежда расстрелянных? Вопрос так и повис в воздухе, так как нам скомандовали: сбрасывай с себя все, кроме нижнего белья! Оказывается, раздеваться до белья было просто необходимо, иначе в переполненном помещении можно было умереть от жары и духоты. И опять же, несмотря на глубокий снег! Так мы, как живые покойники, втянулись в новую, уже пятую для меня по счету (начиная с внутренней тюрьмы рязанского НКВД) хатыннахскую барак-тюрьму.



Г. К. Вагнер. Колымский вечер. Из альбома «Колыма». 1946 год

Мы снова оказались с бытовиками. Они как «друзья народа» возлежали на нарах, охватывающих две стороны. Мы же, «враги», частью стояли на полу, частью сидели. Еду давали один раз в день, воды не хватало, так что нам приходилось во время оправки катать из

снега шарики и запихивать их за пазуху, чтобы в камере потихоньку сосать. Ни это сосание снега, ни то, что мы выходили на снег босиком, не вызывало никаких заболеваний. Организм выработал почти железную силу сопротивления.

Через три дня меня вызвали на допрос. Приказали одеться, но я, конечно, ничего не мог найти своего в этой мерзкой куче. Надел первое попавшееся и пошел вниз по той же траншее в снегу, как по окопу. Молодой бравый следователь, чуть ли не тот самый, который допрашивал меня на «Мальдяке», с тем же наглым лицом. Как я и полагал, вопросы пошли те же самые, стандартные, мне не приходилось ничего соображать заново. Следователь осыпал меня бранью. Нет, не матом, а такими эпитетами, как «эсеровский подонок», «белогвардейская сволочь» и тому подобное. Особенно его злило, что я выслушивал его филиппики равнодушно, стоя навывтяжку, как он приказал.

– Ты белый офицер, – кричал он, – раз ты так стоишь по команде «смирно», то ты не иначе как белый офицер!

Во времена белогвардейщины мне было только двенадцать-тринадцать лет! Я даже улыбнулся. Тогда он схватил со шкафа резиновую дубинку и начал меня бить. Он бил по шее, потом по темени. Черепа проломить он, конечно, не мог, но сотрясения мозга я боялся. Стоял не шелохнувшись. А что было делать? Уклоняться? Так это еще больше разозлит негодяя. Дать ему хорошенько сдачи? Но разве у меня хватило бы сил? К тому же это был верный повод приписать мне террор. Тут бы, в Хатыннахе, мое брэнное тело и осталось. А мама, отец, братья, Аля?

Ничего не добившись физическими приемами, следователь попытался деморализовать меня психически. Он приказал отнести меня в особую камеру, где уже находились пять-шесть человек. Нам велено было стоять. Сесть можно было на пять минут, когда приносили баланду. Поел сидя и снова стоять. За этим строго следил охранник, находившийся с винтовкой тут же в камере. Я простоял четверо суток. Дремал, прислонившись (да и то украдкой) к стене. На отек лица и рук я не обращал внимания, а вот на свои ноги мне смотреть было страшно.

Следователи продолжали обрабатывать других заключенных. Я слышал, как истощно кричал Юра Скорняков. Он тоже ничего не подписал. Подписавших мы уже больше не видели. Говорили, что им предоставлялись кровать и «ресторанный» обед. Потом был слух, что их отвозили на командировку в сопках под названием Серпантинка, где расстреливали под звуки работавшего трактора...

Хотя я и не подписал протокола, но ждал той же участи. Через четыре дня стояния меня снова повели по снежной тропе в барак-тюрьму.

Теперь я шел по снежной слякоти босиком, так как никакой обуви надеть на свои слоновые ноги не мог. Вспомнилась история сорока христианских мучеников Севастии, простоявших ночь в ледяном озере. В наше время сходную историю с верующими украинками описала в своем «Крутом маршруте» Е. Гинзбург.

После пережитого я втиснулся в барак-тюрьму, как в родной дом. Меня положили на пол, и в тюремном тепле я испытал чувство блаженства...

Неизвестно, чем бы закончилась вся эта хатыннахская драма. Мы, конечно, ожидали самого худшего. Но вот однажды в конце мая двери тюрьмы-барака открылись, и нам было велено выходить. Что случилось? Никто ничего не знал. Поползли разные слухи. Говорили, что арестован полковник Гаранин, начальник колымских лагерей, арестован в связи с какими-то процессами, происходящими в Москве. Во всяком случае, явно что-то произошло, и произошло в лучшую для нас сторону. Обросших, одетых в лохмотья, нас повели куда-то по хатыннахской долине. Наступила весна, снег бурно таял, речка Хатыннах разлилась, и через нее начали строить деревянный мост, но так и не достроили; на проложенные через реку бревна еще не настелили доски. Можно было либо идти по бревнам, балансируя, как канатоходец, либо идти вброд. Балансировать я не мог, от резиновой дубинки у меня временно испортился вестибулярный аппарат. Вброд шлепать тоже было боязно: теперь, немного расслабившись, я легко мог заболеть. И я пополз по бревнам, как таракан, вызывая добродушный смех товарищей по несчастью. Так добрались мы до лагеря Нижний Хатыннах.

Вероятно, это был очень старый лагерь. На его территории за мощной колючей проволокой виднелись очень добротные бревенчатые здания: столовая, больница, клуб и бараки для заключенных. Я впервые увидел настоящие бревенчатые бараки, каких не было даже в Магадане. В глубине лагеря стоял БУР*, в который нас и водворили под замок. Он был обнесен особым проволочным ограждением. И все это для нас, «доходяг», не способных не только бежать, но и идти нормальным шагом. Здесь, на Нижнем Хатыннахе, я пробыл до начала войны.

* * *

Нижний Хатыннах считался штрафным лагерем. На растянувшемся на десяток километров прииске имени Водопьянова он составлял отдельный участок. Он был обнесен двумя высокими рядами колючей проволоки, имел по углам ограды смотровые вышки с вооружен-

* Барак усиленного режима.

ной охраной, а внутри зоны – уже упомянутый БУР, тоже за колючей оградой. Расположенный на возвышенности при слиянии двух долин, Нижний Хатыннах был похож на древнерусскую деревянную крепость. Его крепостной образ резко контрастировал с окружающей природой. Склоны сопок с густой кустистой растительностью даже в мае привлекали взор своей живописностью.

Удивительно устроен человек! Оставив позади тысячи километров, море, колымскую трассу, уже вкусив «прелести» лагерей, допросов, перенеся побои, он, находясь даже за тремя рядами проволочного ограждения, смотрит на запроволочную природу и говорит сам себе: а ведь здесь не так уж и плохо! Невольно вспоминается поэтическое начало толстовского «Хаджи Мурата», где автор описывает растущий на обочине дороги и весь исковерканный колесами куст татарника: «Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаза. Но он все стоит и не сдается человеку».

Из БУРа нас выводили на работу в забой и после работы снова забирали в бараки. Но вскоре всех перевели в обычные бараки. Теперь вслед за Виноградским я потерял и Скорнякова, он застрел где-то в Хатыннахе. Началось противостояние злу в одиночку. Насколько бесполезны были одиночные меры протеста против этого зла, я смог наблюдать по судьбе трех лагерников, попытавшихся совершить побег из крепости Нижнего Хатыннаха. Их тут же поймали и, раздев до нижнего белья, натравили на них овчарок.

Это было ужасное зрелище... Вероятно, это был «показательный спектакль» для всех заключенных.

Естественно, что у нас, штрафников, рабочая выработка была мизерной. Мы все же работали, так как полная обструкция (как на «Мальдяке») действительно пахла саботажем, а за этим не замедлили бы репрессии. Нужно было не только «оправдать» штрафную пайку, но и попытаться подняться хотя бы до 3-й категории. Это долго не удавалось, а силы все таяли и таяли. Наступило лето, началась жара, в которую при комарах работать было в несколько раз тяжелее. Стали больше привлекать ночные смены. Но они уносили силы от недосыпания. Однажды, освобожденный по болезни от работы в забое, я по заданию старосты подметал территорию лагеря около барачков и чем-то обратил внимание на себя этого блюстителя порядка. Старосту (из бытовиков, конечно) звали патриархально: Иван Иванович. И вот этот Иван Иванович задает мне вопрос:

– Кем был на воле?

Я быстро сообразил:

– Художником.

— Художником?! — обрадованно воскликнул староста. — Так что же, ты можешь зарисовать меня?

— Могу, конечно, если в тюрьме не разучился.

— Вот что. Бросай метлу и приходи в мою конторку. Что нужно для рисования? Бумагу? Карандаш? Приходи, все достану.

Это было началом облегчения в моем положении. Старосту я, конечно, «зарисовал», портрет получился сравнительно похожим. «Награду» я получил в виде большого (около килограмма) ломтя черного хлеба. Светлая память моему рязанскому учителю рисования...

Уверовав в меня, староста решил разукрасить входную арку в лагерь, для чего освободил меня от общих работ еще на несколько дней. Я начал прилежно вырезать из фанеры какую-то фигуру забойщика и в первое же утро попался на глаза лагерному обходу*. Участвующий в обходе воспитатель лагеря** В. К. Даркевич спросил меня: действительно ли я художник и могу ли оформлять стенгазеты? Получив утвердительный ответ, он спросил еще: «Какая статья?» Услышав, что не статья, «КРД»***, он поморщился, но уже не отступал: «Ладно, приходи». Так я перешел из категории рабочего в так называемые «придурки».

Владимир Карлович был на редкость хороший человек и делал все возможное, чтобы смягчить наше положение. Он не произносил на утреннем разводе агитационных речей, никого не подвергал дисциплинарным взысканиям, хотя имел на это право. Ко мне В. К. Даркевич был очень внимателен и уважителен, хотя и называл меня на «ты». Но это было не оскорбительным тыканьем. Он помог мне избежать этапа на Эльген. Эльген считался сельскохозяйственным лагерем, многие из нас по незнанию стремились туда попасть. К тому же там были женщины. Я знал многих крепких мужчин в Нижнем Хатыннахе, которые под выходной день до войны совершали любовные походы на Эльген, хотя до него было несколько десятков километров. И вот из-за начавшегося у меня процесса цинготной отечности я был «вызван на этап», то есть на Эльген. Тут и вмешался В. К. Даркевич. Он пообещал мне поддержку, если я хочу остаться на Нижнем Хатыннахе. И я остался.

Я жил в общем бараке, нес очередное дежурство (мытьё полов и прочее), обедал в столовой из общего котла, правда, уже не штрафной, а по 3-й категории (600 граммов хлеба).

* Обход лагеря совершается каждое утро после выхода всех бригад за вахту. Цель — выявить укрывшихся от выхода на работу.

** Воспитателем в лагере называется временнонаймный работник, ведающий агитацией, пропагандой и клубной работой.

*** Контрреволюционная деятельность.

Шли дни, месяцы, годы. Срок моего заключения уже перевалил за половину. После слухов об аресте Ежова и Гаранина появилась надежда на то, что впереди будет не так страшно. К слову сказать, с портретом Ежова, который мне задали нарисовать к какому-то празднику, в свое время получился конфуз. Только выставили «мой» портрет высоко, на крышу управления лагеря, как через несколько часов его там не увидели. Уж не забраковал ли кто из большого начальства мою работу?

В 1941 году, почти накануне войны, я получил письмо от мамы с известием, что скончался мой отец. Тяжелей всего мне было оттого, что он так и не увидел меня вернувшимся. И никто не увидел — ни мама, ни братья.

Мой срок кончался в январе 1942 года. И вдруг — война... Многие из нас снова начали терять надежду на возвращение.

* * *

«Звонок» — это, по-лагерному, конец срока заключения. До «звонка» мне оставалось полгода. После четырех с половиной лет всего пережитого полгода казались сушим пустяком. Однако именно эти полгода оказались для меня очень тревожными. Несмотря на несколько лучшее, чем на штрафном пайке, питание, цинготные опухоли на ногах и на других частях тела все увеличивались. Впрочем, все по порядку. С вступлением СССР в войну повсюду стали организовывать агитпункты, в том числе и на Хатыннахе. Для агитпункта нужен был не один художник, я уже не справлялся со своей работой. Так в Хатыннахе появились мои сотоварищи с других командировок, и пребывание нам определили на центральной командировке «Полярный». Днем, работая в агитпункте, мы имели свободное хождение по всему Хатыннаху и даже за его пределами, но на ночь обязаны были водворяться «в зону» на «Полярном». Но мы довольствовались и этой полусвободой, хотя в агитпункте, где постоянно толкались политработники и вообще вольный служилый люд, атмосфера была подчеркнута патриотической, а в зоне велись всякие разговоры. Правда, я не помню, чтобы кто-то высказывал антисоветские или пораженческие мысли, но твердая вера в победу нашей армии была все же не у всех. Последовали доносы. От такого доноса пострадал мой близкий знакомый москвич Марголин. Однажды я встретился с ним около Хатыннаха, его вели двое конвойных. Мы обменялись печальными прощальными взглядами. Больше я его нигде не видел. Оглядываясь в почти полувековое прошлое, в котором немало уже подернулось дымкой забвения, я все же могу с полной определенностью

сказать, что в нашем художественном сознании полностью господствовала агитпунктовская атмосфера. Мы не были политиками и плохо разбирались в соотношении военных сил, но постоянная работа над образами победы, конечно, укрепляла дух. У меня, кроме того, как бы воскрес живой интерес к памятникам древней русской архитектуры, которыми я занимался до ареста, и я составлял своего рода радиолекции для местного радио, которые читали (без упоминания моего имени, конечно) работники агитпункта.

Хотя отношение к нам, художникам, было весьма доверительное, я снова чуть было не очутился на грани катастрофы. И опять из-за портрета. На этот раз я рисовал портрет Сталина для агитпункта. За оригинал я взял его фотографию, где он, стоя за столом на фоне красных знамен, произносит речь. Что дернуло меня увлечься изображением красноватых рефлексов (от знамен) на пальцах его рук — ума не приложу. Но только при приемке портрета разразился скандал, чуть не кончившийся для меня обвинением в заведомом поклепе на Сталина. Я едва оправдался необходимым соблюдением законов рефлекса, без чего портрет не может считаться художественным. Несколько позднее так было с портретом В. И. Ленина, но там я пережелтил цвет лица.

Недолго было наше хатыннахское художничанье. Зимой 1941–1942 годов агитпункт был переведен в поселок Ягодное. Там под агитпункт был отведен весь нижний этаж нового двухэтажного бревенчатого дома. Но при агитпункте остался только я, остальные художники были распределены по другим местам. Вместо, казалось бы, улучшения моего положения (центральный агитпункт — гарантия от общих работ) оно существенно ухудшилось. Я не имел своего угла в зоне, в которую обязательно должен был возвращаться на ночь. В зоне меня считали чужим, а вне зоны у меня и вовсе не могло быть пристанища. Хорошие знакомые среди вольных были, но я оставался «врагом народа», и никто не решился бы дать мне приют. Кроме того, ухудшилось питание. Не только из-за войны (хотя и это имело место), сколько из-за потери связи с товарищами-художниками. На Хатыннахе у нас был общий котел, теперь же я снова сел на 3-ю категорию. К началу весны открылись на ноге цинготные язвы, я работал, стоя на одной ноге, другая покоилась на подпорке. Никакие медицинские средства не помогали. Половина зубов выпала еще на Хатыннахе, я шамкал, как старик. Неужели не дотяну? Наконец я попал в лагерную больницу. Врачи прекрасно относились ко мне. Что только они не придумывали. Но все было тщетно. Вернее, малоэффективно. Наконец раны-язвы стали очень медленно затягиваться.

Пробил уже мой «звонок» (21 января), но меня все не выпускали из лагеря. Наконец в мае, с задержкой в пять месяцев, мне объявили, что я должен покинуть и больницу, и лагерь. В таком плачевном состоянии я встретил «волю».

Куда я денусь с такой ногой? Я ведь знал, что по окончании срока мы, бывшие лагерники, не могли сразу выехать «на материк». Шла война, и нужно было золото, золото и еще раз золото. Из отбывших срок был сформирован, вернее, превращен из исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) в вольнонаемный прииск имени Водопьянова. Тот самый, в систему которого входили и Нижний Хатыннах, и «Полярный». Значит, я должен был отправиться в «родные места». С одной стороны, это меня весьма устраивало, а с другой... Как я туда доберусь? Никакой транспорт мне не полагался. И как я смогу работать? Даже врачи не могли ничем помочь. Они хорошенько заклеили и забинтовали мои раны, мы трогательно простились, и я вышел через вахту «на волю». От Ягодного до прииска имени Водопьянова было около двадцати километров, даже больше. Пешком я не смогу пройти. Грузовые машины ходили не часто. Я пристроился на обочине шоссе и в наступающих сумерках уже начал впадать в уныние, как из-за поворота выползла полуторка, тяжело нагруженная дровами. Шофер (Ершов, я никогда не забуду его фамилию) разрешил мне залезть на самый верх (в кабине сидел какой-то человек), и таким образом, полузамерзший от северного ветра и сравнительно быстрой езды, я въехал в знакомый Хатыннах.

Я не знал тогда, что мне придется проработать здесь еще пять лет!

АЛЕКСАНДР ГОРБАТОВ



Александр Васильевич Горбатов (1891–1973) родился в деревне Похотино Палехского района Ивановской области. Солдат русской армии. В годы Гражданской войны командовал кавалерийской бригадой.

Арестован 21 октября 1938 года. 21 мая 1939 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала комбрига А. В. Горбатова «участником антисоветского военно-фашистского заговора» и приговорила к 15 годам ИТЛ. Срок отбывал на колымском прииске «Мальдяк». Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 4 апреля 1940 года приговор был отменен и дело направлено на доследование. Освобожден 5 марта 1941 года.

В годы Великой Отечественной войны командовал армией. После войны был комендантом Берлина.

Впервые воспоминания А. В. Горбатова опубликованы в урезанном виде в 1964 году в журнале «Новый мир». Тогда же состоялась встреча А. В. Горбатова с работниками и авторами издательства «Советский писатель». На ней Александр Васильевич рассказал и о том, что не смог опубликовать «Новый мир», в частности, как он, назначенный комендантом Берлина, звонил коменданту Вены, чтобы обменяться с ним опытом в налаживании мирной жизни.

И тут выяснилось, что «коменданты двух европейских столиц – два сокамерника 1938 года».

Александр Васильевич говорил, что смолоду дал себе слово не пить, не курить и не сквернословить. И ни разу – ни в тюрьме, ни в лагере, ни на фронте не нарушил этот зарок. Потом из зала посыпались вопросы, Горбатов отвечал четко, обстоятельно. И лишь на один ответил как-то нехотя. Его спросили, что он знает о судьбе пытавшего его в 1938 году следователя. «Стал большим начальником, построил под Москвой дачу...» В наступившей тишине раздался возглас сына расстрелянного советского маршала Якира: «Как же вам удалось, генерал, не выругаться, сдержать свой зарок?!»

В тот же день А. В. Горбатов отобрал из своей новомирской публикации этот отрывок для книги воспоминаний узников Колымы.

До выхода ее... оставалось сорок лет.

С. Виленский

В КОЛЫМСКОМ ПЛЕНУ

...В то время как жена хлопотала за меня, наш эшелон медленно увозил нас на восток, все дальше и дальше от родных мест, от родных людей, и каждого из нас терзала мысль: за что? кто виноват в наших мучениях? что нас ожидает?

Я думал: как хорошо шли дела, как уважали меня подчиненные и начальники, как я гордился каждой новой стройкой и достижением в стране, как гордилась мной моя семья... А теперь, вероятно, все знакомые отвернулись от моих близких из-за меня... Для санитарной обработки наш печальный эшелон останавливался в Новосибирске, Иркутске, Чите. Боясь, как бы во время мытья в бане меня не обокрали уркаганы, я мылся правой рукой, а в левой держал деньги. Помню – это было в Иркутске, – вымывшись, мы шли одеваться. Неожиданно один из уголовников повалил меня на пол, а двое других разжали мой левый кулак и отняли деньги под громкий смех одних и гробовое молчание других заключенных.

Протестовать и жаловаться было бесполезно.

В пути и на остановках мы видели много воинских эшелонов с войсками, артиллерией, танками и машинами на платформах. Мы не знали, куда эти эшелоны следуют: может быть, началась война с Японией? Я думал, что, если японцы прикуют наши силы к востоку, немцы ударят с запада...

Все эти возможные события мы как-то связывали с нашей судьбой. Одни говорили: если начнется война, будет не хватать

продовольствия, и мы погибнем; другие говорили: нет, тогда нужны будут люди, умеющие воевать, и нас освободят; третьи уверяли, что теперь нас на Колыму не повезут, так как путь туда закрыт... Военных, которые были среди нас, больше, чем собственная судьба, волновал вопрос: если действительно началась война, то сколько будет излишних потерь в частях и соединениях, которые лишились в связи с арестами опытных командиров!*

Миновал Нерчинск, мы уже воинских эшелонов не видели. Я подумал: «Вероятно, войска передвигаются в Монголию». Действительно, в это время начались военные действия на Халхин-Голе. О них я узнал много позже.

Наконец нас привезли во Владивосток и разместили за городом в деревянных бараках, обнесенных колючей проволокой. В бараках было много заключенных, прибывших ранее. Здесь нас продержали дней десять. Стало ясно, что, во-первых, войны с Японией нет, а во-вторых, что везут нас на Колыму. Задержали же нашу отправку потому, что поджидали другие эшелоны, чтобы заполнить большой корабль.

Однажды я услышал голос дежурного по лагерю: «Кто хочет пойти на работу, носить воду в кипятильники?» Соскучившись по работе, я немедленно изъявил желание пойти туда и боялся только, как бы кто не перехватил эту работу; на мое счастье, конкурентов не оказалось.

Воду для заключенных кипятили в двенадцати походных военных кухнях старого образца, стоявших неподалеку от бараков, а водонапорная колонка была оттуда примерно в ста метрах. Очутившись в стороне от общей сутолоки, не видя грустных лиц и не слыша охов и вздохов, я, насколько можно, успокоился, расправил плечи и с большим удовольствием стал трудиться. Погода была хорошая, светило

* В результате необоснованных массовых репрессий 1937–1938 годов был нанесен огромный ущерб Красной Армии. Жертвами сталинского произвола стали: три маршала Советского Союза из пяти, два командарма первого ранга из четырех; двенадцать командармов второго ранга из двенадцати; 60 комкоров из 87; 136 комдивов из 199; 221 комбриг из 397. Подвергшихся репрессиям командиров и политработников в воинском звании «майор» и ниже – десятки тысяч, что повлекло за собой острую нехватку командного состава, неуккомплектованность частей, соединений, объединений и их штабов квалифицированным офицерским составом. По архивным данным, недокомплект некоторых полевых управлений даже по штатам мирного времени. Так, например, управление 13-й армии на 21 июня 1941 года было укомплектовано личным составом на сорок процентов. Не хватало шестидесяти четырех человек начальствующего состава. («Военно-исторический журнал», 1988, № 10, с. 22–29.)

солнце, дул приятный ветерок. Расстегнув ворот военной гимнастерки, я подставил ветру грудь, с упоением вдыхал свежий воздух и думал: спасибо вам, солнце и ветер, за то, что вы милостивы к нам, невинно осужденным...

Осужденный по «бытовой» статье, бригадир рабочих у кипятильников, видя мое усердие, сказал, что всегда будет приглашать меня на работу. Я был этому рад — работа мне нравилась, и я старался всю, работал днем и ночью и уходил в барак лишь на поверку и поесть.

Как-то утром пришла за кипятком большая группа женщин. У каждой в руках было по два ведра. От них я узнал, что прибыл эшелон женщин, осужденных по статье 58. Командир 7-го кавкорпуса Григорьев был арестован год назад; не исключено было, что среди арестованных находится и его жена. Еще будучи на свободе, я слышал о том, что часто арестовывали сперва мужа, а потом жену. Я спросил женщин, нет ли среди них жены командира корпуса Григорьева — Марии Андреевны Григорьевой.

— Нас так много... Мы не знаем, есть ли среди нас такая, — сказала одна из женщин. — А что ей передать, если ее найдем?

— Скажите, чтобы пришла за кипятком завтра утром, что ее хочет видеть Горбатов, бывший командир дивизии.

— Хорошо, поищем, спросим, — раздался голоса.

На следующий день утром женщины снова пришли за кипятком, но среди них оказалась не жена Григорьева, а ее племянница, которая воспитывалась у них с малых лет, а затем вышла замуж за начальника особого отдела дивизии Бжезовского. Сперва арестовали ее мужа, а потом вскоре и ее.

— Вот где встретились, Александр Васильевич, — сказала она.

— Да, Любочка. Не ожидал увидеть вас когда-нибудь в такой обстановке.

Ее обвинили в шпионаже, осудили, и она следует на Колыму.

Нам удалось поговорить через проволочный забор еще один раз.

Наш пересыльный лагерь пополнялся все новыми и новыми людьми, прибывшими с очередными эшелонами. Затем нас перевезли в бухту Находка, загнали в трюмы парохода «Джурма», и мы отплыли в Магадан.

Тоска, безысходное горе еще сильнее придавили несчастных людей, когда корабль удалялся от материка. Даже меня, ни на минуту не терявшего надежды на реабилитацию и освобождение, временами охватывало чувство обреченности.

На пароходе нас было около семи тысяч, скученных, без каких-то элементарных удобств, в отдельных отсеках. К скоту относились

доброжелательнее, милосерднее, чем к нам, безбилетным «пассажирам» парохода «Джурма».

Время от времени нас выводили на палубу подышать свежим воздухом. Однажды во время прогулки мы видели, как проходил через ворота Лаперуза наш советский транспорт; справа виднелся японский берег, а слева — южная оконечность Сахалина, захваченного японцами в 1904—1905 годах. Нас охватила какая-то тревога, мы даже говорили от волнения тихо. Я думал в то время: если не освободят до войны, которую считал неизбежной, с Германией и Японией, то во время войны отсюда не вырвешься — эти ворота закроются для пароходов, и останется единственный маловероятный путь по воздуху...

До ворот Лаперуза погода стояла хорошая, а когда вошли в Охотское море, начались штормы, качка была невероятной, наш океанский пароход бросало как щепку. Хотя меня мутило меньше, чем других, я тоже страдал, потому что в трюмах было очень душно, а в шторм на палубу нас не выпускали: капитан и начальник конвоя опасались, как бы кого из нас не смыло волной, а потом отвечая за нас, если не хватит по счету!

В Охотском море со мной стряслось несчастье. Рано утром, когда я, как и многие другие, уже не спал, ко мне подошли два уркагана и вытащили у меня из-под головы сапоги. Сильно ударив меня в грудь и по голове, один из уголовных с насмешкой сказал:

— Давно продал мне сапоги и деньги взял, а сапог до сих пор не отдает.

Рассмеявшись, они с добычей пошли прочь, но, увидев, что я в отчаянии иду за ними, они остановились и начали меня снова избивать на глазах притихших людей. Другие уркаганы, глядя на это, смеялись и кричали:

— Добавь ему! Чего орешь? Мы знаем, что сапоги давно не твои.

Лишь один из политических сказал:

— Что вы делаете, как же он останется без сапог?

Тогда один из грабителей, сняв с себя опорки, бросил мне.

Я не раз слышал в тюрьме рассказы о скотской грубости уголовных, но, признаться, никогда не думал, что они могут так безнаказанно грабить заключенных на глазах у всех. Как бы там ни было, я лишился сапог, а жаловаться было бесполезно, так как охрана во главе с начальником ладила с уркаганами, давая выход их склонности к насилию и пользуясь ими для еще худшего угнетения нас, «врагов народа».

Моим соседом по нарам был крупный инженер, не раз бывавший за границей, — Л. И. Логинов. С ним мы быстро сошлись и частенько беседовали на различные темы.

Самым приятным временем суток были те 30 минут, когда нас вывели на палубу подышать свежим воздухом.

В эти изнурительные семь суток плавания мы питались сухим пайком, который доходил до нас в сильно урезанном виде, да получали немного кипятку. Многие не выдержали такого режима и заболели.

По уменьшавшемуся ходу, ослабевшей работе двигателей, беготне по палубе и крикам мы догадались, что подходим к берегу. Вот застопорились машины, слышен был топот ног над головой. Через час открылся наш люк и раздалась команда: выходи на палубу! Началось обычное построение по пятеркам и передача человеческого «груза» новому конвою.

...Нет сомнения, что большая роль в первоначальном развитии и эксплуатации Колымского края принадлежала заключенным — с тех пор, конечно, как сюда стали посылать так называемых «врагов народа», то есть людей высокой квалификации в самых различных отраслях труда, привыкших трудиться не за страх, а за совесть. Но нет сомнения и в том, что эти же люди могли бы принести пользу неизмеримо большую, если бы они не были удручены неотвязной мыслью о своем незаслуженном унижении, если бы их не терзала тревога за судьбу своих близких, если бы они жили в сколько-нибудь человеческих условиях и если бы их трудовыми усилиями распоряжались знающие и добросовестные руководители, а не упоенные случайно доставшейся им бесконтрольной властью «надзиратели».

Пройдет еще много времени, прежде чем в полной мере будет оценен этот мрачный период в жизни нашей страны, прежде чем будет оценена эта «эпоха», когда по наговорам, без суда и следствия преданные стране люди бросались в тюрьмы. Когда случайные люди без санкции прокурора и суда срывали с военных ордена, знаки различия, а у коммунистов без разрешения парторганизации отнимали партбилеты. Но тогда будет труднее разобраться: сойдут в могилу те немногие из невинно осужденных, которые работали в этом крае, вынесли на себе все беззаконие, не уступавшее «специальному следствию». Некому будет сказать, что было правдой, а что — вымыслом.

...Моим соседом по нарам был в колымском лагере бывший начальник политотдела одной железной дороги, который даже хвалился тем, что оклеветал около трехсот человек. Он говорил: «Чем хуже, тем лучше, — скорее все разъяснится». Кроме того, в массовых арестах, репрессиях, жестокости он видел какую-то «историческую закономерность», приводил примеры из времен Ивана Грозного и Петра Первого...

Хотя я не скрывал крайнее нерасположение к этому теоретизирующему клеветнику, он всегда старался завести со мной разговор. Меня это сначала злило; потом я стал думать, что он ищет в разговорах успокоения своей совести. Но однажды он вывел меня из терпения, и я сказал:

— Такие, как ты, сильно запутали клубок, и распутать его будет трудно. Но все равно распутают. Если бы я оказался на твоём месте, то давно бы повесился.

На следующее утро его нашли повесившимся. Несмотря на мою большую к нему неприязнь, я долго и болезненно переживал эту смерть.

В июле 1939 года я попал на прииск «Мальдяк», что в 650 километрах от Магадана. Везли нас на машинах пять суток, первые 450 километров — по выбитому шоссе, а остальные 200 километров — по грунтовой дороге.

«Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Стреляю без предупреждения», — эти слова вместо молитвы произносили наши конвоиры, молодые воины, прежде чем будет подана команда: «Шагом марш!»

Мы удалялись от Магадана в глубины неизвестного нам края. Поднимаясь все выше, мы все реже видели человеческое жильё. На перевале невольно залюбовались красивым нагромождением гор. Один из осужденных даже воскликнул, странно смешивая восхищение с горькой иронией:

— Смотрите, как высоко вознесла нас судьба! Когда бы мы еще увидели такую красоту?

...Строили догадки, кто были первые, что шли пешком по этим местам в поисках золотого клада. Гибли одни, за ними шли другие. И вот пришла наша очередь.

Поселок при золотом прииске «Мальдяк» состоял из деревянных домиков в одно-три окна. В этих домиках жили вольнонаемные служащие. В лагере, огороженном колючей проволокой, было десятков больших, санитарного образца, двойных палаток, каждая на пятьдесят-шестьдесят заключенных. Кроме того, были деревянные хозяйственные постройки: столовая, кладовые, сторожка, а за проволокой — деревянные казармы для охраны, и там же шахты и две бутары — сооружения для промывки грунта.

Нас пересчитали, завели за проволоку. Первый раз за пять суток дали горячую пищу.

В нашем лагере было около четырехсот осужденных по 58-й статье и до пятидесяти уркаганов, закоренелых преступников, на совести

которых была не одна судимость, а у некоторых по несколько, даже до восьми ограблений с убийством. Именно из них и ставились старшие над нами.

Грунт для промывки золота добывался на глубине тридцати-сорока метров. Поскольку вечная мерзлота представляет собой крепкую как гранит массу, мы работали шахтерскими электрическими отбойными молотками. Вынутый грунт подвозился на тачках к подъемнику, поднимался по стволу на-гора, а затем доставлялся вагонетками к бутарам.

Наш прииск был на хорошем счету, там добывали за сутки до нескольких килограммов, а то и десятков килограммов золота. Попадались и довольно крупные самородки; сам я их не видел, а только слышал о них; мне удалось найти лишь три маленьких самородка, самый крупный весил сто пятьдесят граммов.

Некоторые из старожилы заключенных были настоящими старателями. Они спускались в шахту с водой и лотком для промывки грунта и редко когда не намывали двадцати пяти – тридцати граммов золота. Я часто наблюдал, как они осматривают стены шахты, иногда освещая их дополнительно карманным фонариком. Найдя подходящее место, эти мастера своего дела начинали отбивать грунт и промывать его в лотке. Был случай, когда один из таких старателей не выходил из шахты семьдесят часов. Еду и воду ему приносили в шахту. В результате за это время он намыл почти два килограмма золота.

Работа на прииске была довольно изнурительная, особенно если учесть малокалорийное питание. На более тяжелую работу посылали, как правило, «врагов народа», на более легкую – уркаганов. Из них же, как я уже говорил, назначались бригадиры, повара, дневальные и старшие по палаткам. Естественно, что то незначительное количество жиров, которое отпускалось на котел, попадало прежде всего в желудки урок. Питание было трех категорий: для не выполнивших норму, для выполнивших и для перевыполнивших. В числе последних были уголовники. Хотя они работали очень мало, но учетчики были из их же компании. Они жульничали, приписывая себе и своим выработку за наш счет. Поэтому уголовники были сыты, а мы голодали.

На зиму палатки, где мы жили, утеплялись толстыми стенками из снега. Топка железных печей не лимитировалась: сколько принесем дров из леса после рабочего дня, столько и сожжем. Морозы в сорок–пятьдесят градусов в этих местах – обычное явление. Бежать было некуда, поэтому выход за проволоку особенно не контролиро-

вался. Пойдешь, бывало, к охраннику, скажешь, что «иду за дровами», и выходишь за проволоку свободно. Если хочешь поесть, кроме того, что получаешь в столовой, сначала принесешь дров хозяину какого-нибудь деревянного домика и за это получишь кусок хлеба, в зависимости от объема твоей вязанки. Но так как вольнонаемные едут работать «туда» из-за длинного рубля, то эти люди не особенно были щедры и лишней корки не давали. Конечно, и среди них были добрые люди. Этими людьми мы дорожили как единственной возможностью подкормиться, но у них имелись свои постоянные носильщики и пильщики дров. Бывали и такие случаи. Мы и уркаганы наряжались за дровами в лес. Мы, «враги народа», шли в лес, а уголовники туда не ходили, а поджидали нас недалеко от лагеря, отбирали дрова, в лучшем случае со словами: «Мы вам поможем поднести дрова», а затем уходили с дровами в лагерь, а мы, не имея права возвращаться без дров, снова шли в лес за три километра. Но бывало и хуже, на кого попадешь: и дрова отнимут, и вдобавок изобьют, а били они сильно, со злобой, приговаривая: «Ты — коммунист, ты защищал Советскую власть в Гражданскую войну, ты ее укреплял, так вот тебе в благодарность от власти и от нас!»

Моим соседом по нарам был Михайло Иваныч с Украины. Он был архитектором, в лагерь прибыл раньше меня на год. Человек наблюдательный, он умел делать правильные выводы. Однажды вечером Михайло сказал мне:

— Смотрю на тебя, Васильевич, и вижу: ты неправильно, горячо взял с места, тебя ненадолго здесь хватит. Имей в виду: сколько бы ты ни работал, все равно у тебя ста процентов не будет, баланду будешь есть третьего сорта, а уркаганы, не работая, будут получать первого сорта. Они твою выработку запишут себе, а свою — тебе. Здесь так было и так будет. А еще я вижу, ты очень строптив, часто указываешь уркам на их недостатки и споришь с ними. Поверь мне, это к добру не приведет, ты этих ублюдков не перевоспитаешь, а только ожесточишь против себя и причинишь себе большой вред. Уркаганы здесь крепко спаяны между собой, как говорится, все за одного, один за всех. Охрана и администрация на их стороне. — И еще тише добавил: — Наш бригадир — отъявленный бандит, он у них за главного, что он скажет своим, то с тобой и сделают.

— Я вижу, что мне со своим непримиримым характером будет плохо в этой обстановке, главное — то, что не могу смириться с этим издевательством и безобразием, — отвечал я.

— А ты и не смиряйся, но и не вступай с ними в ссоры — в могиле будет хуже.

— Не могу так, поверь мне, я уступаю только силе.

— Так это и есть сила. Я тебя предупредил, — сказал Михайло, — а делай как хочешь.

Прошла осень, а вслед за ней наступила суровая зима. Мнение Михайла, высказанное когда-то, подтвердилось. Работавшие рядом выработывали меньше меня, но, будучи более покладистыми, с наружных работ были переведены в шахту, где было тихо и относительно тепло. Я и мне подобные остались наверху.

Мороз с сильным ветром делал свое дело. Сил становилось все меньше и меньше, работать стало труднее, еле дотягивали вагонетку до отвала.

Вскоре со мной приключилось несчастье: начали пухнуть ноги, расшатались зубы. Мой организм, считавшийся железным, сдавал. Ноги стали как бревна, уже не сгибались. Вечерами собирались около меня самые близкие, на всякий случай взяли адреса моих родных. Но голова была ясная. Начал даже спокойно думать о самом плохом... Товарищи заботились как могли. Пошел к врачу. Его обязанности выполнял фельдшер, осужденный за какую-то безделицу на десять лет. Человек он был порядочный. Фельдшер записал меня в инвалиды и устроил сторожем для охраны летней бутары. Эта работа считалась привилегированной, там не нужно гонять тяжелую тачку и вагонетку, только посматривай, чтобы не растащили сухой лес на отопление палаток.

...Прошла зима, морозы стали слабее. Но мы уже недосчитывались многих товарищей.

Я получил посылку, правда, изрядно опустошенную; все, что в ней оставалось съестного, мы съели коллективно, нашей небольшой сплоченной группой. Получил и письмо. Жена скрывала горе, но я читал между строк: никаких перемен в нашей судьбе не предвиделось.

Не раз и не два уркаганы делали на мой снежный домик налеты, забирали запасы дров, с таким трудом расщепленные пеньки, а в благодарность ругали на чем свет стоит или избивали до полусмерти.

Работа моя была нетрудная, и я не раз благодарил в душе доброго фельдшера. Но ноги продолжали пухнуть, и колени перестали сгибаться. Пришлось снова идти к фельдшеру. Он полностью меня «активировал», то есть составил акт, что я инвалид, и написал заключение о том, что необходимо отправить меня из «Мальдяка» в лагерь, что в 23 километрах от Магадана.

Теперь все зависело от начальника лагеря. На мое счастье, он утвердил акт, и в конце марта 1940 года я оказался под Магаданом.

Это, только это спасло меня от неминуемой гибели. К моему великому сожалению, я забыл фамилию фельдшера, который работал в то время на «Мальдяке». Но чувство благодарности к нему я сохранил навсегда и очень сожалею, что не могу его отблагодарить.

Когда я в первый раз прибыл из Владивостока в Магадан, то его окрестности показались мне дикими. Но теперь, после того как я пожил в «Мальдяке», район Магадана показался мне уютным, и воздух там совсем другой — как будто я попал в ноябре из северных окраин в Сочи!

Размещены мы были в большом барачном лагере у подножия гор. Четыре дня нас, обессиленных болезнью и долгим, трудным путем, на работу не посылали.

Но быстро, как сон, промелькнули эти четыре дня отдыха. Потом мы снова взялись за работу — носили на себе или стаскивали волоком с гор за четыре километра по 0,54 кубометра древесины в день. И новая действительность заслонила как туманом мальдякские воспоминания.

Читателям будет трудно представить себе картину, как по склонам гор, растянувшись на четыре километра, вереницей бредут исхудалые люди — не люди, а тени, вытянув, как журавли в перелете, шеи вперед, и, напрягая последние силы, тянут древесину. Тяжело тащить груз с горы, еще тяжелее по ровной местности, а при самом незначительном подъеме он становится просто убийственным. Люди спотыкаются, падают, встают и снова падают, но груз трогается с места лишь тогда, когда приходит на помощь кто-нибудь другой, сзади идущий. Так доставляется древесина в лагерь.

Как-то во время четырехдневного отдыха мы рассказывали друг другу свою прошлую жизнь. Рассказывал и я свою. Один из моих знакомых по переходу, Л. И. Логинов, спросил:

— А теперь, Александр Васильевич, не бранишь себя за честный труд, за то, что столько в жизни старался? Не настроило по-другому решение шемякина суда?

— Нет, Леонид. Если бы пришлось начать жизнь сначала, я бы повторил ее, хотя бы и знал, что окажусь на Колыме. Если окажусь на воле, то снова буду служить, хоть сверхсрочником в роте или эскадроне. А суд — что с него взять? Ему так кто-то приказал...

— Иного ответа я от тебя и не ожидал, — сказал Леонид Игнатьевич и добавил: — Я тоже так. Согласился бы всю жизнь быть простым рабочим, но только на воле и чтобы знали, что я ни в чем не виноват.

«Враг народа», прекрасный инженер Леонид Игнатьевич Логинов пробыл на Колыме до 1954 года. Наша дружба еще более окрепла;

он часто, когда было время, бывал нашим дорогим гостем в Риге, в мою бытность командующим войсками Прибалтийского военного округа, и в Москве, на улице Качалова, когда я был переведен на службу в Москву. Думая о моем друге Леониде Логинове, с которым свела нас тяжкая участь, скажу кратко: с таким и за таким человеком можно идти и в огонь и в воду.

Однажды мне снилось, что пришел приказ о моем немедленном освобождении, что все знают об этом приказе, но проходят дни, недели, а мне его не объявляют. Как я поносил начальство! После оклика «поднимайся» бывал рад, что это только сон. Иначе за мои речи не избежать бы мне прибавления срока.

Но в тот же день мне пришлось пережить прискорбный случай. Получив от жены очередной денежный перевод, я решил полакомиться и соблазнился на покупку у одного из уркаганов банки рыбных консервов. В то время как я доставал из платка деньги, к нам подошли еще два уркагана, выхватили у меня платок с деньгами и под смех остальных спрятались в толпе людей, шедших в столовую. Обида страшная! И не так было жалко денег, как пачки писем от жены и ее фотографии. Их вместе с деньгами выхватили у меня из рук эти мошенники. Каждое письмо я перечитывал множество раз, а оставаясь один, глядел на фото. Этих злодеев я встречал не раз, просил их вернуть хотя бы фотографию, но они лишь смеялись в ответ. Когда я вскрыл банку, то вместо рыбы обнаружил в ней песок.

Люди по-разному реагируют на тяжелый труд. Одни, едва добравшись до нар, сразу же отдаются сну, хотя и тревожному; другие, ворочаясь с боку на бок, долго не засыпают. Я спал плохо. На работе не было времени отдаваться думам, а ночью, при тусклом освещении, думаешь о прошлом, настоящем и будущем.

Вспоминал я и Лефортовскую тюрьму. Как тогда мечталось поскорее попасть в какой-либо лагерь, работать, дышать свежим воздухом! Но я никогда не предполагал, что есть такие лагеря, как наш. Теперь, голодный, лежа на нарах, я мечтал: как было бы хорошо попасть в тюрьму хоть дней на пять, отлежаться, отдохнуть в тепле, досыта поест хлеба!

Много думал о жене — как трудно ей, многострадальной, сразу лишиться отца, брата и мужа. Вспоминал о том, как мы с ней жалели арестованных наших знакомых, не подозревая, что и наше горе стоит уже за дверью.

Но больше всего мои думы были заняты судьбой моей Родины. Если бы, думал я, арестовали только меня — это было бы мое личное

горе. Но арестовано столько преданных и ответственных работников всех специальностей. Это уже горе всей страны. Считая неизбежной и близкой войну, я думал: как будут вести бои и операции только что выдвинутые на высокие должности новые, не имеющие боевого опыта командиры? Пусть они люди честные, храбрые и преданные Родине, но ведь дивизией будет командовать вчерашний комбат, корпусом – командир полка, а армией и фронтом – в лучшем случае, командир дивизии или его заместитель... Сколько будет лишних потерь и неудач! Что предстоит пережить стране в связи с этим!

ЛЕВ ГАВРИЛОВ



О МОЕМ ОТЦЕ

В 1937 году мне было три года. Мы жили в Москве, в Доме правительства на набережной. На дверях соседей все чаще появлялись сургучные печати.

Отца арестовали в июне. Его обвиняли по 58-й статье и приговорили к десяти годам заключения плюс пять лет поражения в правах. Наша мама, предчувствуя свою участь, сделала все возможное, чтобы спасти жизнь своих детей. Она увезла меня и мою пятилетнюю сестру Свету в город Майкоп к бабушке, а сама вернулась в Москву, где ее арестовали и осудили на пять лет как «члена семьи врага народа».

В 1948 году отца арестовали повторно. Следствие тянулось около года, затем отца сослали на вечное поселение в Игарку, а потом в Норильск. Мы с мамой, с трудом собрав деньги на дорогу, поехали к нему разделить все тяготы ссылки.

В ссылке отец и мать находились восемь лет. После реабилитации, когда уже жили в Москве, к праздникам они получали двести-триста писем со всех

На фотографии Лев Гаврилович Гаврилов и его жена Антонина Васильевна Муравлёва. 1932 год

концов страны – у них было много друзей. Мои родители были люди жизненно-бывые и отзывчивые. Отец мечтал запечатлеть на бумаге главное, что он пережил, чему он был свидетелем, но успел написать лишь часть – книгу «Золотой мост» о 1941–1942 годах на Колыме.

Умер отец в 1969 году.

Рамона Гаврилова

З/К – ЗАПАСНОЙ КОММУНИСТ

В сорок первом в нашей бригаде картонажников добровольной подпиской на заем обороны было охвачено сто процентов бригадников. Больше половины из них, в том числе и я, полностью отдавали государству все «премвознаграждение», как называлась здесь, в инвалидном лагере, денежная оплата труда, рассчитанная на то, чтобы зэк мог приобрести себе махорки, нитки, пуговицы и кое-что из жизненно необходимых мелочей.

Свой вклад в оборону страны я считал существенным и реальным, когда из последних сил добывал золото. А теперь... Клеить конвертики – разве это дело!

В одну из ночей у меня мелькнула мысль, которую обязательно надо было осуществить. Это было единственно реальное, что я еще мог сделать для своей страны...

Не откладывая задуманного, на другой же день отправился в больничный городок. Тропинка, протоптанная среди высоких сугробов, привела меня к знакомому терапевтическому бараку, в котором я начал свою жизнь на Инвалидке.

В кабинете доктора все было по-прежнему. Так же лежала на столе кучка медицинских книг. Около них стояла деревянная березовая чернильница местного производства. Тут же была шахматная доска с несколькими расставленными на ней фигурами.

– А, Лев Гаврилович! Дорогой мой, сколько лет, сколько зим. Садитесь, садитесь – гостем будете!

Петр Михайлович усадил меня у стола на единственный свой стул, а сам на больничной белой табуретке пристроился напротив.

– А я думал, вы меня совсем забыли. Ну, с чем пожаловали?

– Хочу вот протезы снять. К дантисту мне попасть надо.

– А зачем их снимать? Что, зубы под ними болеть начали? Тогда снять, конечно, придется. Зубы подлечить, а потом опять их надеть.

– Нет, зубы не болят, я просто мосты снять хочу. Потом как-нибудь скажу вам причину.

— А-а! Ну, пожалуйста, пожалуйста! Могу это сделать. А вам, кстати, повезло, дантист теперь у нас хороший.

Больше недели затянулось снятие коронок. Неприятная и болезненная процедура. Зубной врач, оказавшийся пожилым и добродушным человеком, несколько раз вызывал меня на откровенность, пытаюсь узнать, зачем я это делаю. Я ссылался на то, что под коронками болят зубы. Но с каждым снятым мостом он убеждался в том, что зубы под коронками вполне надежные. Это еще больше усиливало его любопытство.

— Вы поймите, — говорил он, — зубы были у вас под защитой коронок. Теперь, когда мы их обнажили, зубная ткань начнет быстро распадаться. Неизбежны сильные зубные боли. Одумайтесь! Это безрассудно! Вы рискуете потерять все зубы.

Вручая третий снятый мост, не удержался и спросил:

— Вы намерены продать мосты?

— Нет, доктор, я золотом не торгую.

— Понятно, понятно... — сказал он. Что он под этим имел в виду, мне так и осталось неизвестным.

Все снятые четыре золотых моста я хранил во внутреннем кармане, который пришел к нижней рубашке. Так что постоянно ощущал их прикосновение к груди. Не расставался с ними и ночью.

И вот я у начальника КВЧ.

— Садись, Гаврилов! В чем дело?

«Значит, помнит еще. Не забыл фамилию», — подумал я и протянул пакет:

— Вот, здесь и заявление, и вложение. Просьба направить по указанному адресу.

Начальник взял пакет, вынул короткое заявление, осмотрел содержимое пакета и уставился на меня.

— Значит, в фонд обороны, ну-ну, — сказал он как-то неопределенно.

— Можно надеяться, что все это отправят по назначению?

— Можешь не сомневаться.

— Спасибо вам!

— Мне-то за что? Это тебе надо «спасибо» сказать...

Прошло почти два месяца. И вдруг на вечерней поверке надзиратель объявил:

— Гаврилов, к начальнику!

Это было совершенной неожиданностью. Вереницей мелькнули самые разные мысли и догадки. Нарушение какое-нибудь? Вроде ничего не было. Никаких лагерных грехов за собой не чувствовал.

Может быть, из Москвы какой-нибудь ответ? По поводу пересмотра? Но недели две тому назад пришла коротенькая стандартная бумажка от военной прокуратуры: «В ответ на заявление з/к Гаврилова Л. Г. сообщается, что оснований для пересмотра дела нет». Многие получили такие бумажки. И к этому уже привыкли.

Торопливо направился к вахте.

— Заключенный Гаврилов, вызван к начальнику лагеря! — нагнувшись к окошечку, проговорил в один прием без передышки,

— Имя? Отчество? — раздалось оттуда.

Услышав ответ, надзиратель оттянул железный засов, закрывавший дверь, и что-то буркнул конвоиру.

До небольшого домика, расположенного за зоной неподалеку от вахты, шел в тревоге — нет ничего хуже неизвестности.

— Куда прешься? Не туда! — грубо остановил меня дежурный, когда я взялся за ручку двери с надписью: «Начальник лагпункта». — Вон дверь рядом! К следователю!

В душе захолонуло. Вхожу. За столом — следователь в форме. Молодой человек. Что-то пишет. При моем появлении даже головы не поднял.

— Здравствуйте, заключенный Гаврилов Лев Гаврилович явился по вызову.

— Установочные данные?

— Рождения 1899 года, статья пятьдесят восемь, пункты семь, одиннадцать и восемь через семнадцать. Срок — десять лет тюремного заключения, пять — поражения в правах.

Следователь, не торопясь, вынул портсигар. Достал папиросу. Закурил... Сделав глубокую затяжку, медленно выпустил дым прямо мне в лицо. Я молча стоял, переминаясь с ноги на ногу, и следил, как дым начал подниматься кверху кольцами. Первое... Второе...

Понял, что меня рассматривают, изучают и в то же время стараются продлить тягостную неизвестность. Какая-то внутренняя собранность, которая приходит в минуты опасности, усиливала готовность отразить то, что нависло над тобой. Он готовится к прыжку, а я — к отпору, к самозащите.

Вдруг следователь резко встал. В упор уставился мне в лицо, как бы всматриваясь в человека, которого долго искал и наконец нашел и узнал.

— Садись! Зэк Гаврилов, нам все известно! Поэтому — предупреждаю! Не запирайтесь и говорить только правду! Если хочешь, конечно, облегчить свое положение. А оно у тебя нелегкое...

Молчу. Надо дожидаться и понять, что он от меня хочет.

– Итак повторяю, нам все известно. От тебя формальности ради требуется получить только подтверждение. Ничего, о чем здесь скажешь, в лагере никто не будет знать. Все останется в полной тайне. А тебя, возможно, переведем в другой лагерь с более мягким режимом, – уговаривающе и вполне миролюбиво произнес он.

«Значит, не личное дело? Покупает, вербует в свидетели против кого-то, – мелькнуло в голове, – или провоцирует? Пустой это номер».

– Скажи подробно, ничего не утаивая, какие у тебя разговоры и с кем из заключенных были? – Его голос опять стал резким.

– Со всеми были.

– Я тебя не о всех спрашиваю, а о тех, кого ты близко знаешь. Ты хорошо знаешь, кого я имею в виду. Ну, говори! О чем и с кем были разговоры?

– Обо всем были. О работе, питании, семейных делах.

– Гаврилов! Не придуривайся! Еще раз повторяю, нам все известно. Я не о таких разговорах спрашиваю, а о политических и о войне. С кем? Отвечай!

– Были разговоры о войне. Мы их часто ведем. Каждую весть, каждую проникшую к нам сводку Информбюро обсуждаем. И ждем не дождемся, чтобы скорее наша земля от фашистов очищена была.

– Значит, выходит, па-а-триотические разговоры, изменники родины, ведете? Так? Продолжаешь маскироваться? Не хочешь правду сказать? У меня скоро расколется! Как перчатку, всего выверну! – Голос его поднялся до крика.

Стопудовая тяжесть стала наползать на плечи и давить книзу. Вот тебе и зима – лето, зима – лето... Новый срок... Антонина, дети... Нет, видимо, теперь их и не увижу. Комок горечи и злобы подкатил к горлу. Ну что же? Защищаться, бороться так бороться до конца!

– Да, патриотические! – скорее выкрикнул, чем ответил, я. – Нас здесь немало настоящих патриотов, верных Родине и партии людей. Мы и на фронт просились, а нас не пустили. Все премвознаграждения отдаем на заем обороны. И дети наши, оставшиеся там, на материке, которые ждут нас, тоже растут как патриоты. Старшие – на фронте, за младших в бой идут.

– И сколько у тебя детей? – спросил следователь. – За кого это из них в бой идут?

– Пятеро. Два сына в армии.

– Отвечай по существу! Итак, у тебя ни с кем никаких в лагере контрреволюционных разговорчиков не было? Ну?

— Не было и не могло быть. Потому что я такой же контрреволюционер, как и вы.

— Сволочь! — крикнул, вскочив, следовательно. Он ударил кулаком по столу так, что даже звякнул настольный звонок. — Свое знай, вредитель! Не забывай, с кем говоришь, а то я тебя так проучу, что небо в овчинку покажется, и как звать тебя, забудешь.

Удивительно, как меняется его голос, от вкрадчивых уговоров — до крика. Наигранно как-то это все.

Следователь сел, вынул еще одну папиросу. Снова закурил. Предложил как ни в чем не бывало:

— Садись! Скажи, Гаврилов, ну, а с лагерным начальством у тебя были какие-нибудь разговоры? Ну, допустим даже, патриотические. Кто и в чем именно тебя уговаривал? О чем говорили? Подробней, подробней отвечай!

— Я не помню таких разговоров, да и ни с кем из начальства у меня их не было.

— Та-ак! Значит, Иван Непомнящий, с лагерниками не говорил, с начальством никаких разговоров не вел, а если и вел, то не помнишь. Ну, ничего, я тебе напому! А кто у тебя из заключенных самый близкий друг?

— Был у меня близкий друг — Миля, но... — и я, спохватившись, умолк. «Вот проклятая привычка всегда правду говорить, и зачем это черт дернул меня вспомнить Либерберга. Будут еще ни за что ни про что парня таскать».

— Ну, и что «но»? Что «но»? Как его фамилия? Может, тоже не помнишь?

— Фамилия? — Секунду помолчав, я продолжал: — У него нет теперь ее. Номер есть. На бирке, к ноге ему привязали. Когда на прииске хоронили...

— Та-ак, выходит, значит, одним дружком меньше стало? А здесь что же, и друзей себе не нажил?

— Нет, не успел!

— Так вот что, Гаврилов, надоело мне с тобой зря время терять. Хотел я тебе помочь, а ты своим запирательством сам без мыла в петлю лезешь.

Следователь перебрал на столе какие-то бумаги. Затем, взяв пару листов, поднял их и помахал ими в воздухе.

— Вот они! Показания, вполне изобличающие тебя! Разговоры с тобой мы еще продолжим! Это пока все цветики — ягодки будут впереди! Заруби себе на носу, что только чистосердечное признание облегчит твою участь! А не признаешься — сам пеняй на себя! —

Он немного помолчал и затем обычным голосом уговаривающего человека закончил: — Мы же знаем, что ты умный человек, Гаврилов! И не только о себе, но и о детях своих подумай! Они ведь ждут твоего возвращения... А ты уперся, как бык. Что, торопишься деревянный бушлат получить, чтобы поскорее и тебе бирку на ногу привязали? Не будь дураком! А сейчас ступай и подумай!

Я встал. Следователь покрутил ручку настольного звонка.

— Отведите подследственного в камеру!

До вахты дошли с конвоиром молча.

— В следственную его, — распорядился конвоир.

Дежурный открыл одну из камер и втолкнул меня в нее под призывное: «Давай заходи! Давай!»

В камере было пусто. Я один. Следственная — небольшая одноместная камера. Электричества почему-то не было. Его заменяли «летучие мыши». Скупой свет освещал голые нары и маленькое окошко с решеткой, выходящее в зону. На окошке — высокий деревянный наружный козырек.

Открылся глазок в двери. «Смотрят — как себя вести буду». Я забился в угол на нары. Глазок через некоторое время закрылся. Наверное, дежурный удовлетворен моим поведением. Теперь можно было собраться с мыслями. Подумать, что же произошло, что ждет впереди...

Мысли прервал настойчивый тихий стук с интервалами из камеры справа. Перерыв... Опять стук... Снова перерыв... Снова стук. Вызывают, интересуются, кто, за что... Морзянки я не знал. Отвечать не стал.

На следующий день после отбоя, когда в соседних камерах все утихомирились и легли спать, за мной пришли.

Снова тот же кабинет. Тот же следователь.

— Ну, зэк Гаврилов, одумался? Говори, в чем признаешь себя виновным? Слушаю.

— Я не знаю, в чем провинился! Вы сами скажите, гражданин следователь, а я к тому, что сказал вам вчера, ничего больше добавить не могу.

— Но ведь ты же мне ничего не сказал!

— А мне и нечего говорить.

Он протянул мне коробку «Казбека» и спички:

— Кури, Гаврилов!

Закуриваю.

— Скажи, Гаврилов, тебя здорово били? — Тон вопроса какой-то сочувственный.

Не пойму, к чему он клонит. А-а! Это, наверное, по поводу того, что я писал о методах следствия в 37-м году. Значит, будет проводить переследствие. Я каким-то радостным и приподнятым голосом начал отвечать:

— Знаете, на Лубянке меня не били. Но допрашивали меня конвейером — десять суток подряд...

— Да я не об этом тебя, — перебил следователь, — не о тридцать седьмом годе и не о Лубянке. Меня это совсем не интересует. Я спрашиваю: здесь вот, в лагере, месяца два-три тому назад, когда тебя крепко били, кто бил и почему? Можешь не бояться и сказать мне всю правду!

— Никто, — отвечаю, — меня не бил. Вот раз только в столовой раздатчик селедкой по лицу ударил. Ему показалось, что я не кряду селедку беру, а вытягиваю из-под низу — ту, которая побольше...

— Не крути мне мозги, Гаврилов, я не о лагерных драках спрашиваю, а кто тебя из начальства бил? Ну! — Голос его стал тверже и требовательней.

— Никто!

— Никто? Ну, а в карцере сколько продержали?

— Нисколько. Ни одного дня не сидел. Хотел раз меня надзиратель оформить. Он заправку постелей проверял, а у меня в изголовье чистые блокноты нашел...

— Я не о блокнотиках тебя спрашиваю! Значит, бить тебя не били, в карцере не держали. Чем же тебе тогда угрожали? Отвечай?

— Ничем никто мне не угрожал. Я не понимаю, к чему вы все это?

— А вот сейчас поймешь! Нам и без тебя известно, да и вещественные улики против тебя!

— Какие улики? — недоумеваю спрашиваю следователя.

— А это что? Признаешь? Теперь отпираться ни к чему? Ну! — Следователь достал из стола мой серый пакет, высыпал на стол четыре золотых моста.

— Мои, гражданин следователь!

— Та-ак! Значит, твой? А я думал, что ты и от этого отпираться будешь. Ну, что же, ты сам их добровольно вырвал из своего рта или тебе в этом помогли?

— Да, вполне добровольно! Правда, не сам вырвал, а мне помогли снять их по моей просьбе в санчасти.

— Я не об этой помощи спрашиваю. А о том, как помогло тебе в этом начальство? Как принудили тебя к этому — угрозами или посулами какими? Отвечай! Не бойся. Я же сказал, что нам все известно.

– Я говорю правду. Снял я золотые протезы совершенно добровольно. Никто меня к этому не принуждал. Это единственное, что у меня осталось и что я мог отдать в Фонд Обороны...

– За это золото на вольной зоне можно получить и хлеб, и сахар, и табак, и масло. Не один месяц можно безбедно прожить! Здесь, пожалуй, граммов сто будет. А ты мне баки заливаешь, что добро-о-вольно! Ну, рассказывай, кто и как тебя принуждал?

Следователь взял мосты, подбросил их несколько раз на ладони, как бы прикидывая, сколько они весят. Протянул их мне:

– На! Возьми назад! Никто их у тебя брать не будет. Советское государство и без твоей помощи обойдется! Продуктов на них достанешь.

– Не возьму!.. Не имеете права!.. Бригадир могильщиков урка Жох выбивает золотые зубы у мертвецов и продает их на вольной зоне. У меня мертвого ему не придется их выбить. Я сам, живой, снял! И вам не удастся мне их вернуть. Себе присвоить можете, но не от меня оторвете, а от Родины!

– Мо-олчать! Как ты смеешь так разговаривать? Еще голос поднимает?! – закричал следователь – и вдруг сказал совсем спокойно: – Курите, Гаврилов. Возьмите эту коробку папирос – она ваша. Ну, чего вы в пузырь лезете? Я же обязан был вас допросить. Надо было проверить, что эти протезы действительно ваши и что они сданы добровольно, без всякого принуждения.

– В том, что они мои, вы можете удостовериться прямо сейчас. Вот вам доказательство. Посмотрите! – И я широко раскрыл рот, где на месте коренных зубов было пусто и лишь впереди на кровоточивших от цинги деснах торчало несколько пожелтевших резцов.

– Знаю. Это мне все известно. Сейчас подпишите протокол, что золото принадлежит лично вам, сдано добровольно, без принуждения. Оно будет передано по назначению, а к вашему формуляру присокупят квитанцию.

Как в тумане прочитаны два коротких вопроса и мои ответы на них. Подписан протокол. Встаю.

– Разрешите идти?

– Нет, постой! Скажи, Гаврилов. Вот ты, осужденный враг народа, а почему так поступаешь?

– Почему я так поступаю? Вам это трудно понять. Для вас я, по бумажкам, с которыми меня сюда препроводили, враг народа. А для меня это – скоморошья личина, которую надели на меня. Надел ее тоже следователь. Но он был по-своему честен. Я перед ним ни в чем не признался – мне не в чем было признаваться, а вот он

признался, что оформляет меня «по спискам». «Так надо партии», — повторяя чьи-то чужие слова, сказал он мне, хотя ни я, ни он не понимали, зачем это нужно партии. Эти две буквы «ЗэКа», которые ныне всюду сопровождают мое имя, в вашем понимании означают — заключенный, а в моем — запасной коммунист.

— Ха-а, ха-а, ха! Запасной! Ха-ха-ха! Коммунист! Да ты просто комик! — Он взглянул на меня, словно увидел впервые, и снова расхохотался: — Ты... Ты... Знаешь, кто ты! Комик! Запасной комик!

Этот раскатистый хохот я слышал и за дверью. Он мне чудился и в бараке, когда я пробрался в свой угол и улегся на нарах... Соседи ни о чем не расспрашивали, только кто-то буркнул:

— Ну, слава Богу, вернулся.

ГАЛИНА КОВАЛЕНКО



Рассказываю о Галине Сергеевне Коваленко по праву дочери ее друзей: Талдыкина Петра Герасимовича и Рыжавской Елизаветы Викторовны.

Впервые встретилась я с Галиной Сергеевной в период «оттепели», в 1956 году, когда она вернулась из лагерей в Москву. Очень тепло отзывалась о ней моя мама: «Галя вынесла все: и гибель мужа в сталинском застенке, и 20-летнее заключение в тюрьмах и лагерях. Но самое страшное – гибель единственной дочери на фронте...»

Галя Коваленко родилась 20 февраля 1900 года в селе Тарасовка Звенигородского уезда Киевской губернии (ныне Черкасская область) в семье безземельного крестьянина. В четырнадцать лет, проучившись в сельской школе всего три года, Галя «пошла в люди». В 1919 году она вступила в большевистскую партию. После изгнания с юга Украины белогвардейской армией и интервентов возглавила отдел Охраны материнства и младенчества при Херсонском горздраве. В 1920 году вышла замуж за Дмитрия Ивановича Рыбака. В 1921 году переехала с мужем в Москву. В этом же году поступила на рабфак 1-го МГУ им. Покровского, который закончила в 1925 году и тут же поступила на медицинский факультет. В 1928 году при обсуждении объявлен-

ной новой политики партии в сельском хозяйстве высказала свое мнение о постепенном введении колхозов. Выступление было расценено как троцкистское. Тут же вынесли решение об исключении ее из партии и из университета.

15 апреля 1936 года она была арестована...

Ее дочь в 1941 году со 2-го курса МГУ (она училась на биофаке) ушла добровольно медсестрой на фронт. Надя Коваленко-Рыбак погибла в январе 1943 года под Нижнедевицком Воронежской области.

В 1956 году Галя вернулась в Москву.

Скончалась Галина Сергеевна Коваленко 18 марта 1991 года.

Владина Талдыкина

ЛАТЫНЬ

...15 апреля 1936 года меня арестовали. Муж в это время был в заграничной командировке. Четырнадцатилетняя Надюша осталась одна. После возвращения мужа арестовали. Дочери сказали, что он осужден на десять лет без права переписки, а на мой запрос после освобождения ответили, что он умер от рака.

Судила меня Военная коллегия Верховного суда под председательством Никитченко. Дали десять лет тюремного заключения и пять лет поражения в правах по статье «за участие в контрреволюционной организации, ставящей себе целью свержение правительства». Началась моя трагическая эпопея с помещения в Ярославскую тюрьму.

Через два с половиной года нас, «ярославцев», вывезли на Колыму, в августе 1939 года. На Колыме, в Магадане я работала сперва на стройке первого многоэтажного кирпичного жилого дома на улице Сталина. Затем, когда началась пурга, строительство остановилось, нас сняли и погнали в Промкомбинат, где только что был возведен каркас для будущей швейной фабрики. А так как общежития не было, то нас поместили в этот же недостроенный каркас. На Промкомбинате я проработала до 1943 года — была резчиком в закройном отделении пошивочного цеха. Когда не хватало материала, закройное отделение стояло; тогда нас посылали на уборку снега к бухте Веселой. Летом — на торфе. Но однажды нам предложили пойти в металлоцех. Я согласилась, так как всегда любила осваивать новые специальности. Там я работала на никелировке и на регенерации олова, в котором нуждалась оборонная промышленность.

Как получилось, что я пришла в медицину?

Нас гоняли в спецпропускник на другой конец Магадана по ночам — чтобы не потерять рабочий день. Когда мы однажды шагали туда вместе с секретаршей начальника лагеря, она сказала мне, что

начальнице нравятся письма и фотографии моей дочери Нади, которая была тогда на фронте. Все письма проходили через руки начальницы — в них любовь, горе, радости, тоска и надежда. Начальница сказала: «Мне нравятся письма дочери этой строптивой Коваленко». И я сразу подала заявление с просьбой отправить меня на фронт в любом качестве.

Когда же пришло страшное сообщение о гибели моей девочки, начальница вызвала меня и сказала, что мне отказано в посылке на фронт «постатейно». «Но мы можем вам помочь, — добавила она, — другим путем. Нам отказано в присылке с материка среднего медперсонала, и Санитарному управлению Дальстроя предложено организовать на месте подготовку своих кадров. Мы просмотрели все дела, проверяя образование. Нам некогда учить латыни, а вы, кажется, занимались в МГУ на первом курсе медицинского факультета. Если вы согласны, мы направим вас в больницу для заключенных на двадцать третий километр...» Я согласилась.

Нас было человек восемь.

Занятия велись без отрыва от работы, в свободное от дежурств время. Преподавателями были врачи-заключенные.

Доктор Николай Сергеевич Минин — профессор, блестящий хирург и не менее блестящий преподаватель. До ареста заведовал Акушерско-гинекологической клиникой в Ленинграде.

Профессор Али Аскерович Атаев — бакинец, акушер-гинеколог. На первом всесоюзном съезде врачей в 1935 году его доклад шел первым. Осужден за связь с международной буржуазией, так как после окончания мединститута в Москве он проходил практику в Германии у профессора Штейнберга.

Виктор Константинович Манкевич — ларинголог, высокообразованный, культурный человек. До ареста заведовал Отделом здравоохранения Узбекистана.

Михаил Самойлович Уманский — патологоанатом, ранее работавший на Украине. Прекрасный был педагог. Он приехал в Магадан как вольнонаемный, но по доносу его арестовали за связь с троцкистами (он помог материально семье заключенного).

Окулист Лоскутов, которого все звали дядей Федей, на курсах не преподавал, но очень помогал ознакомиться с его специальностью. Прекрасный был человек. При гарантинщине получил второй срок — 10 лет за написанную им и кому-то неосторожно прочитанную басню...

Макс Давидович Вольберг — бывший заведующий институтом им. Склифосовского. От него мы получили практические навыки.

Рядом с такими специалистами мы очень многому научились. При смерти больного, которого лечил ее врач, сестра была обязана присутствовать на вскрытии умершего. Руководил этим патолого-анатом Уманский. Попутно он многое нам объяснял, и мы получали великолепные уроки анатомии.

Во время курсов я работала в костно-туберкулезном отделении. Учиться приходилось каждый день после дежурства (ночного или дневного). Кроме того, каждый из нас был обязан сдать по одному ведру брусники, для чего нас отправляли в тайгу.

Потом меня перевели в детское отделение, где лечили детей заключенных. Иногда мне приходилось отвозить поправившихся детей в детский городок на Эльген.

Видя, в каком запущенном и истощенном состоянии к нам поступают с приисков больные, я решила попросить направить меня на какой-нибудь прииск. Заведовала больницей двадцать третьего километра врач-фронтвик (она рассчитывала найти здесь своего арестованного мужа). Она дала разрешение направить меня на оловянно-обогатительную фабрику на рудник Бутугычаг, в лаготделение «Детрин».

Что входило в мои обязанности? Осмотр больных, выдача освобождения от работы по состоянию здоровья, лечение. Я жила в маленьком медпункте.

Командировка «Детрин» была женской. В 1944 году туда привезли – впервые на Колыму – каторжанок. В основном это были женщины с Западной Украины, но были и ингушки, и русские. Обвиняли их в сотрудничестве с оккупантами или в связях с бандеровцами.

Однажды, проверяя чистоту, наличие кипяченой воды и отопление (это тоже входило в мои обязанности), я обратила внимание на то, что во дворе почти нет дров. Я сказала сопровождавшему меня дежурному надзирателю, чтобы он передал начальнику, что необходимо срочно заготовить дрова. Он заговорил совсем о другом – в прошлую зиму это место было заполнено трупами умерших и расстрелянных, которые лежали штабелями, как дрова. Я удивилась: «Почему же их не хоронили?» Он ответил, что в основном это были расстрелянные. Однажды в лагерь приехал Гаранин и велел вывести всех мужчин из бараков. Их построили. Он дал команду каждому второму или третьему выйти на три шага вперед. Их вывели за барак, через некоторое время оттуда раздались выстрелы...

Я была потрясена. Спросила: «Там же были люди, которые хорошо работали, выполняли план?» Он ответил: «Гаранин с этим не счи-

тался. Там были и бригадиры, и выполнявшие план – расстреляли всех». Так Гаранин справлялся всюду, куда бы ни приезжал.

Как фельдшера, меня вызывали иногда на «поднятие трупа». В глубине тайги делали бочкотару, там застрелился пекарь. Меня отправили туда. Пришлось ехать далеко. Дело было весной, когда обнажается почва и вода размывает обрывы. И я увидела обнажившиеся захоронения лагерников – черепа, гробы, – некоторые с развалившимися стенками...

На «поднятии трупа» я должна была вместе со следственной комиссией составить акт о случившемся и установить, сам человек покончил с собой или застрелен кем-то. Надо было найти место вхождения и выхода пули. Если пуля осталась в трупе, я должна была найти ее и показать следствию. Были случаи, когда кончали с собой вховцы. Но в таких случаях меня не вызывали.

ЕЛЕНА ТАГЕР



Елена Михайловна Тагер (1895–1964) родилась в Петербурге в семье железнодорожного служащего, училась в университете.

В голодном 1921 году, живя в Поволжье, служила переводчицей в АРА (Американская администрация помощи), за что в 1923 году была выслана в Архангельск, работала в лесхозе экономистом.

В 1928 году вернулась в Ленинград, занялась литературной работой (изданы две книги – «Зимний берег» и «Ревизоры»). Сотрудничала в журналах.

В 1938 году арестована вторично – 10 лет Колымы.

После освобождения («минус центры») поселилась в Бийске.

В 1951 году – третий арест, высылка в Северный Казахстан.

После реабилитации жила в Ленинграде.

СВЕРКАЛА МОРОЗНАЯ ЧАЩА...

Сверкала морозная чаша,
Когда кочевали вдвоем
Слепое несчастье ваше
И зоркое горе мое.

Споткнуться на каменной глыбе ль,
В сугробы ли замертво пасть?
Лихая колымская гибель
Над нами разинула пасть.

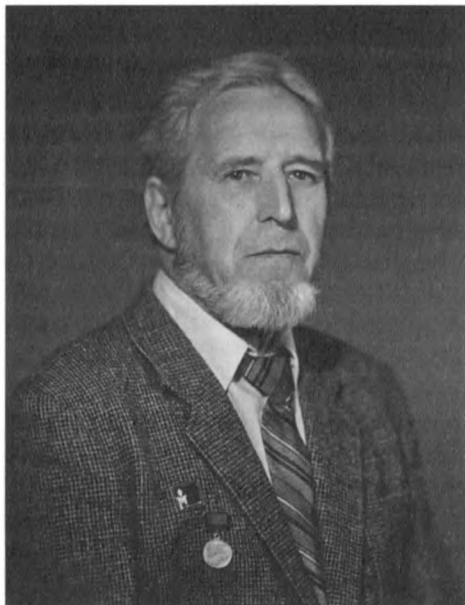
Считаться родством мы не будем,
Считать мы не будем корысть;
Спасли вы, отпетые люди,
Мою пропадавшую жисть.

По слову седого бандита
Меня усадили к костру;
Воровка ворчала сердито:
«Дай руки-то, снегом потру!»

Гулящие девочки чаем
Старались меня отогреть:
«Вы пейте. Мы сроки кончаем,
А вам еще сколько терпеть!»

И в беглом пустом замечаньи
Горячая жалость была...
А звезды в великом молчаньи
Смотрели на наши дела.

ЛЕВ ШАПП



С Львом Эдуардовичем Шаппом мы вместе учились в московской 324-й школе Бауманского района в Большом Вузовском переулке.

В школе было много детей крупных партийных деятелей, военных, дипломатов. Во второй половине 30-х годов почти всех родителей арестовали. Директор и учитель литературы Александр Аполлонович Филичев (в просторечии «Аполлон») старался, как мог, помогать детям репрессированных.

Мой одноклассник Левочка Шапп – добрый, открытый, чуть насмешливый, с белокурыми вьющимися волосами и голубовато-серыми глазами. Родители его были потомками тех немцев, которых пригласили в Россию Петр I и его преемники. Дети в доме Шаппов говорили на двух языках.

Отец Левы служил где-то бухгалтером, и семья из пяти человек жила на его скромную зарплату. Позднее я увидела его фотографию. Это был человек с умным лицом и живыми глазами.

Мать Левы я видела однажды, когда она пришла к нашей классной руководительнице. Это была красивая женщина. У ног ее томились маленькие мальчик и девочка, ее младшие дети. Когда мужа арестовали, она, чтобы прокормить детей, стала преподавательницей немецкого и английского языков в одном

из вузов, хотя оформлена была уборщицей. Арест не миновал и ее, но произошел он позднее. Ни отец, ни мать не вернулись из заключения и лишь посмертно были реабилитированы. Мне думается, что воспитание, полученное в семье, помогло Лева выдержать все круги ада, которые ему суждено было пройти.

Последний год пребывания в школе начался для нашего 10 «Б» напряженно. А утром 23 октября 1936 года Лева не явился на занятия. Накануне ночью его арестовали.

«...Через два месяца после того, как взяли отца... в двенадцать часов ночи в квартиру снова пришли из ГПУ. Мы с мамой были уверены, что это за нею. В соседней комнате крепко спали мои маленькие сестренка и братик. Я сразу со страхом подумал: что я буду с ними делать? И когда оказалось, что это за мной, я был рад...» – рассказывал он об аресте. Между двумя арестами он успел закончить десятый класс вечерней школы в Стерлитамаке и тридцати одного года от роду получил аттестат зрелости. На поселении встретил достойную, тоже репрессированную девушку, женился на ней, у них родился сын Артур. На свободе пришлось начать с должности распространителя театральных билетов, а потом горько разрешил назначить его заместителем директора театра. В 1971 году Лева Шапп руководил в Стерлитамаке строительством Дворца культуры завода синтетического каучука, а затем стал его директором. В 1961 году он был принят в члены Союза театральных деятелей, а в 1971 году – удостоен звания заслуженного работника культуры Башкирской АССР.

В 1994 году Лева с женой, сыном и внуками уехал к родным в Германию.

Флора Сыркина

РОКОВАЯ ПОРА

Вернулся к жизни я на топчане в едком запахе нашатырного спирта. Надо мною двое в белых халатах. Больница... Дотянул, значит!

– Очнулся! Это хорошо! Где болит?

– Дышать, дышать... Задыхаюсь!

Доктор Куликов бережно опустил руку на грудь.

– Фарух, раздень его. Нет, ты лежи спокойно!

Пальпирует. Весь внимание... Собрал молча свою деревянную старомодную трубочку, склонился, слушает слева, слушает справа, слушает сердце.

– Срочно пункцию!

Толстая игла большого стеклянного шприца легко проткнула пергамент кожи, с усилием прошла через что-то неподатливое и остановилась в левом легком. Шприц медленно вытягивает красно-бурую субстанцию.

Шприц, второй, третий... Пол-литра, литр, полтора... Где уж тут было rassосаться от порошков и йодовых смазок лагпунктовского эскулапа.

— В рубашке ты, хлопец, родился. Будешь жить!

— Спасибо, доктор!

— Спасибо?! Смотри-ка, не забыл! Все только вопят: «Спасите, доктор!»

Похоже, буду жить. Однажды доктор Белоножка спас меня, умирающего среди лета и тепла от дизентерийного истощения. Всего стопку соляной кислоты дал он мне из бутылки, пылившейся на полке лекпوما, безуспешно лечившего меня порошками и пилюлями. Теперь спас доктор Куликов.

Через некоторое время я был «приговорен» к новой пункции. Кровь моя из-за цинги, истощения, побоев солдатскими сапогами перерождалась в бурую жидкость, которая снова стала переполнять левое легкое и, упираясь в ограду ребер, выталкивала сердце вправо. Шла борьба за мою жизнь.

Однажды при раздаче лекарств, пока Фарух дожидался, чтобы я при нем проглотил свои пилюли, я сказал ему, чтобы он не караулил меня, что нет мне никакого резона затягивать лечение. В октябре срок кончается.

— А по какой статье сидишь?

— Пятьдесят восьмая! Особым совещанием. С октября тридцать шестого. Пять лет.

— Откуда? Фамилия у тебя не русская.

— Я немец, из Москвы.

— А меня взяли в Таджикистане, но родом я из Персии. Тоже пятьдесят восьмая.

— А я в Бутырках сидел с одним иранцем. Интересный мужик... чуть не царского рода, а революционер — воевал против вашего шаха. Поднял восстание, потерпев поражение, отступал к нашим границам, попросил политического убежища. А его посадили на шесть лет за шпионаж. Саляр Бованд. Его должны знать в Иране.

— Саляр Бованд?! Ты знаешь Бованда?!

Бросив на мою ответственность неприкосновенный ящик с медикаментами, он убежал. Через несколько минут их было уже двое.

— Расскажи ему, кого ты видел в Москве!

— Лео Саляр Бованда, племянника шаха Ирана, руководителя восстания, курсанта Военной академии имени Фрунзе, в апреле тридцать седьмого года в пересыльной камере Бутырок, осужденного Военной коллегией за шпионаж на шесть лет тюремного заключения...

Оба — из состоятельных иранских семей. Оба получили медицинское образование во Франции, там увлеклись социалистическими идеями. Вернувшись на родину, примкнули к антишахскому демократическому движению, активно готовясь к вооруженному восстанию под руководством Бованда. В восстании принимали участие один как командир отряда, другой — как врач. После поражения были интернированы в Таджикистане. После ареста Бованда их «взяли» в числе других для добывания «чистосердечных» показаний. Особым совещанием осуждены за контрреволюционную деятельность на 10 лет. И вот Колыма. Здесь судьба свела их с Сергеем Ивановичем Куликовым. Он добился для них разрешения работать по специальности в своей больнице. Доктор успешно лечил жену гражданина начальника, и ему многое разрешалось...

Фарух передал мне новость. В лагере, на территории которого расположена больница, отбывших срок наказания не освобождают. Как не освобождают, если срок наказания истек? Что-то тут не так. Может быть, исчисляют срок не со дня ареста, а со дня осуждения? Или в сроках ошибка? Как же так — «не освобождают»!

Говорят, война! У вольнонаемных отобрали радиоприемники. Они знают, но молчат. При чем тут война? Срок-то я свой отбыл! Закон есть закон... и не договорил... Нет закона в стране беззакония! Есть распоряжения, постановления, директивы, мнения...

Благодаря доктору Куликову меня не выписали на общие работы — оставили в больнице помощником санитары.

Каждый прожитый день, как часовой механизм, подталкивает стрелку судьбы к *воле*, к 23 октября 1941 года, окончанию срока. 23-го жду вызова на освобождение. В напряжении Фарух и другие... Теперь не слухи из «кухни Филатова», а факт решит злободневный вопрос. Жду 24-го, 25-го... 26 октября мне стукнуло 23 года! Гложут сомнения, будоражит близость свободы, гнетет страх: а вдруг нет? 29-го — день заявлений. О нем почти забыли. Уже никто никуда не пишет с тех пор, как отменили письма «временно по техническим причинам». Я пишу заявление в УРЧ, что срок кончился, что, видимо, забыли, затеряли... 7 ноября — праздник, не до меня. Надо проводить предпраздничные шмоны. После праздника ночью:

— Без вещей!

Как тогда, перед допросами на Лубянке, задрожало часто-часто сердце, и холод в груди...

— Фамилия?

Имя, отчество, год рождения... Сверил, смотрит в бумажки. «Да не тяни ты!..»

— Значится, так... Освобождения тебе покудова не будет... Есть решение задержать в лагере до конца войны.

— Как задержать!!! Почему задержать? Я отбыл срок безвинного наказания! Как можно задерживать, когда срок окончен? Незаконно это! Сколько же можно?..

— Столько, сколько органы сочтут нужным. Не ты один задерживаешься, много вас тут таких. Вот бумага, здесь все указано. И подпись, и печать, все путем, значит, законно. Вот здесь распишись, — и заскорузлый палец прижал листок около чернильной галочки.

— Нет! Нет такого права — держать без срока. Ничего подписывать не буду!

— Что-что? — выпрямился гражданин начальник. — Говоришь, срок ни за что отсидел? Все вы тут ни за что... Как же ни за что, когда и сейчас против Советской власти выступаешь, против народа выступаешь? Как же тебя на волю выпустить, не разоружившегося? И слова какие: произвол! подписывать не буду! Да и не надо! Сам напишу: «Объявлено лично двенадцатого ноября сорок первого года». Эко дел-то! А ты думал, уговаривать буду, контра! — Вызвал конвоира. — В карцер его!.. Ладно, веди в больницу.

Весной комиссия отправила меня на общие работы. Еще один лагерь...

В зоне повели в столовую. Получил полпайки хлеба, миску баланды, черпак каши перловой. В теснотище нашел свободное место за столом. Ложек нет — привычное дело. Выпил миску через борт до дна, стяхнул крупинки в рот и поставил миску... А хлеба нет!.. Вокруг смеющиеся наглые хари: я не я! Укralи пайку!

Кто-то сказал:

— Привезли американскую муку. Будут печь белый хлеб.

— Вольным, наверное? Разве бывает затируха из белой муки?

Но наступило удивительное утро. Дневальный принес в своем фанерном ящике белый хлеб. Вдвое больше хлеба, чем раньше. Те же 700 граммов, но белый, такой легкий, такой объемный против сырых комков тяжелого черного хлеба. Белый хлеб! Все мы, как «сели», так белого и не ели, в руках даже не держали. И вот белые, пышные, лежат пайки в праздничном порядке на столе! Пробовали новинку, отщипывая кусочки (кусать цинга не давала), жевали и глотали с особым уважением. Белая, да еще американская!.. А от куска уже кусочек остался. Ну и пусть! Надо хоть раз по-настоящему распробовать! Вкус, объем — это, конечно, здорово, но черный хлеб сытнее — дольше ощущалась его приятная тяжесть.

И еще о хлебе. Как-то повезло: с общих работ попал на пилку дров для пекарни. Однажды появилось начищенное, надушенное до приторности начальствующее лицо. Оно прошло в пекарню, ходило, смотрело. Уже отбывая, проходя мимо нас, работающих: «Кто такие?» Отрапортовали, как положено. Спрашивает меня повторно:

– Как фамилия? Еврей, что ли?

– Нет, немец.

– Как немец?! Вы что на пекарне фашиста держите?

Нарядчик оправдывается:

– Из ОПП* он, да и срок уже отбыл.

– Что значит отбыл? Раз в лагере – значит, не отбыл. Потому и не отбыл, что фашист! А вы его ближе к хлебу народному... Убрать! Завтра же на общие!..

* Оздоровительно-профилактический пункт.

НАДЕЖДА ИОФФЕ



О МОЕЙ МАТЕРИ

Надежда Адольфовна Иоффе (1906–1999) родилась в Берлине в семье революционера, друга Троцкого, А. А. Иоффе, бывшего первым послом большевистской России в Германии и Японии и покончившего самоубийством в 1927 году в преддверии наступающего террора.

Естественно, что жизнь и взгляды отца и близких ему людей (Ленина, Троцкого, Раковского и др.) оказали на мою мать огромное влияние.

В 1922 году она была сослана на три года в Красноярск. Потом снова арест, тюрьма, лагерь. По постановлению Особого совещания – пять лет. Колыма. В 1946 году снова арест. Ссылка в Красноярский край.

После реабилитации Н. А. Иоффе собирает четверых своих дочерей и возвращается в Москву. Для дочерей и внуков она – пример человеческого достоинства.

В 1992 году вышла ее книга «Время назад». В 1993 году она издана на английском языке в Америке. Переведена на немецкий и французский языки.

Лариса Десятникова

ВРЕМЯ НАЗАД

...Видимо, где-то произошли большие события. У нас сменили все лагерное начальство. Большинство из них не только сменили, но и посадили, в основном, все ленинградское руководство, сосланное по Кировскому делу.

Такие спецкомандировки, как наша, видимо, имеются и в других местах. Усиление режима идет под лозунгом: «Кончились вам филипповские поблажки» (Филиппов – бывший начальник УСВИТЛАГа*).

Из мужского лагеря все время идут этапы. Куда – неизвестно. Так как я каждый день стираю пеленки, мне разрешено выходить «вне очереди» за водой. Иногда я видела, как отправлялись эти этапы: в кузове грузовика люди стоят впритык друг к другу. Однажды я увидела, как у одного из заключенных, когда он влезал в машину, упала шапка. Он остался с непокрытой седой головой на сорокаградусном морозе – старый, седой человек. Шапка лежала на земле, у самых ног конвойных. Он просил их поднять, но они не подняли. Потом машина тронулась. Так он и уехал без шапки...

Однажды наша Лида, которая всегда все знала, сообщила, что в лагерь приехал «большой начальник» – новый начальник УСВИТЛАГа полковник Гаранин. В тот день я была дежурной и ходила в мужскую зону за хлебом и сахаром.

Гаранин стоял возле проходной. Мы прошли близко, и я его разглядела. Он смотрел на проходящих мимо людей, как будто они стеклянные – сквозь них. Во дворе стояла группа заключенных. У дверей столовой мы остановились, я оглянулась. К Гаранину подходил какой-то ээк, сгорбленный, как будто горбатый. Он шаркал ногами и откашливался, видимо, собираясь с духом, чтобы заговорить. «Гражданин начальник, я очень болен – прошу, пусть переведут на более легкую работу, прошу...» Он, кажется, говорил еще что-то, но его уже не было слышно. Гаранин сразу оживился, задвигался, потом только я сообразила, что это он вытаскивал пистолет из кобуры. «Работать не хочешь... мать... мать... мать...» И он выстрелил в упор. Человек упал.

Наш конвоир растерянно пробормотал: «Входите, входите, нечего стоять», – подталкивая нас к дверям столовой.

Послеродовой период в почти неотопленной палатке кончился для меня тяжелой грудницей. Я пролежала несколько дней с температурой выше сорока градусов, а потом меня с Лерой отправили в Усть-Таежную, в ту больницу, где она родилась.

* Управление Северо-восточных исправительно-трудовых лагерей.

Андрей Михайлович Жегин продержал меня в больнице два месяца, хотя грудница у меня давно уже прошла. Он знал, что такое наша спецкомандировка. Я лежала с ребенком в отдельной палате, других заключенных здесь не было, а держать нас вместе с вольнонаемными — не положено.

Правда, под Новый, 1938 год привезли еще одну женщину из лагеря. Звали ее Зина Капустина. Она отравилась. Андрей Михайлович сразу сказал, что сделать ничего нельзя и жить ей осталось считанные дни. Умирала она от уремии.

Ее положили в отдельную палату. Собственно, это была даже не палата, а что-то вроде кладовки, маленькая комната без окна. Я спросила — почему не ко мне. Андрей Михайлович ничего не ответил, только сказал, что лучше к ней не заходить. Но я все-таки зашла. Я подумала, что, может быть, ей страшно умирать совсем одной.

Зине Капустиной было двадцать пять лет, но на вид можно было дать сорок. Она не ответила на мое «здравствуйте» и молча смотрела на меня. Я спросила: «Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» Она отрицательно покачала головой и, чуть подняв руку, махнула ею по направлению к двери. А когда я была уже на пороге, очень тихо сказала: «Спасибо».

На другой день я проходила мимо палаты, где лежала Зина. У нее делали уборку, и дверь была открыта. Она изменилась даже за одни сутки: землисто-серое лицо, лицо трупа. Только глаза живые. Она спросила: «Это вы — женщина, у которой здесь ребенок?» Говорила она так, как будто каждое слово с усилием выталкивала из себя. Я сказала, что да, я. Она посмотрела на меня — может быть, это звучит дико, но она, умирающая, посмотрела на меня с жалостью и, с усилием выталкивая слова, сказала: «Да, плохо. Вам даже умереть нельзя. Что же делать, живите».

Вся больница была полна обмороженными. Андрей Михайлович ежедневно делал по несколько операций — ампутировал отмороженные пальцы на руках и ногах, а иногда руки и ноги целиком.

После вечернего обхода он иногда заходил ко мне, бывал так измучен, что даже разговаривать не мог. Посидит молча минут десять, попрощается и уйдет.

В январе 1938 года в порядке «усиления режима» его сняли на общие работы, он пилил дрова возле столовой. А через несколько дней привезли какого-то начальника с заворотом кишок. Андрея Михайловича вызвали из барака, он сделал операцию, а утром опять пилил дрова. А за пару дней до моей выписки привезли вольнонаемную женщину с приступом аппендицита.

Ее положили ко мне, так как вся больница была переполнена обмороженными мужчинами и свободных палат не было. Совсем молоденькая женщина, она металась головой по подушке и кричала: «Позовите заключенного врача, пусть заключенный врач сделает операцию». И опять вызвали Андрея Михайловича, и он сделал операцию.

Я сказала ему, что, по-моему, это очень глупо с его стороны: он должен заявить, что для хирурга руки – тот же инструмент, и он не может делать операцию после того, как десять часов подряд пилил дрова на морозе. «Откажитесь один раз делать операцию, пускай освобождают от общих работ». Он улыбнулся и ответил: «Как же я могу отказаться – я же клятву давал».

А потом меня выписали из больницы. Андрея Михайловича я больше не встречала. Но слышала, что через некоторое время его вернули на работу по специальности.

Вообще надо сказать, что единственная категория заключенных, почти всегда работавших по специальности, это врачи.

Каждый врач, естественно, хотел сохранить свою работу. И в то же время каждый врач (если он действительно был врачом и порядочным человеком) хотел помочь другим заключенным.

В этом смысле труднее всего было врачам на лагпунктах: начальство требовало как можно меньше освобождений от работы, а врач видел, что в освобождении нуждается каждый третий, если не второй.

На командировке я нашла перемены. От большой палатки, в которой ремонтировали бушлаты, отделили угол и поселили там Шуру Николаеву с Аллочкой и меня с Лерой. Угол совсем маленький, два топчана, две детские кровати, посередине железная печурка. Палатка не утепленная. Когда топится печь, наклониться над ней невозможно – жаром пышет в лицо. Откинешься назад – волосы примерзают к брезенту.

Потом заболела Шура, простудилась. Лежала вся красная, временами теряла сознание. Я ходила к начальнику лагпункта, чтобы ее положили в больницу, но он сказал: «И так она помрет. Кончились ваши поблажки». Молоко у меня почти пропало. Лерка питалась кашей и киселем из порошка. Нам полагался так называемый детский паек, но доходила до нас половина: часть оставлял себе продавец ларька, который его выдавал, часть приходилось отдавать конвоиру, чтобы разрешил приносить дрова для нашей печурки.

А как-то вечером в большой половине палатки послышались шаги, и в просвете стал человек – бритый, откормленный, в кожаном

пальто. Я узнала его сразу — это был полковник Гаранин. За ним стоял начальник нашего лагеря. И весь лагерный синклит.

Гаранин осмотрел наш куток: железная печурка посередине, двое крошечных детей, пылающая в жару Шура, — и потом, глядя сквозь меня такими же, как тогда, на разводе, стеклянными глазами, спросил: «Какие жалобы?» Я сказала, что нужно, чтобы палатку утеплили, регулярно снабжали дровами, чтобы дети получали молоко, больную Николаеву поместили в больницу. Он повернул голову и сказал стоящим сзади: «Запишите, чтобы все было сделано». Потом обратился ко мне: «Что еще?» Тогда я сказала, что на приiske, в двадцати пяти километрах отсюда, находится мой муж, с которым я имела совместное проживание и у которого остались мои вещи. Кроме того, он даже не знает, что у нас родилась дочь (это я, конечно, наврала, я пару раз писала ему через больницу. Но вещи действительно остались на приiske). Я сказала, что хочу иметь свидание с мужем. Он опять повернулся и сказал: «Запишите фамилию мужа, доставьте вещи, предоставьте свидание».

После этого он ушел.

А примерно через час явился начальник УРБ* и сказал, чтобы я собиралась: нас отправляют в Магадан. Никаких устройств, никаких вещей, никаких свиданий — отправляют немедленно. Личный приказ полковника Гаранина. Забегая вперед, скажу, что, когда Гаранина сняли, а по слухам — и расстреляли, говорили, что он вовсе не полковник Гаранин, а бандит, убивший настоящего Гаранина и присвоивший его документы. Я лично никогда этому не верила. Во-первых, назначение на Колыму он получал в Москве, где, несомненно, должны были знать в лицо настоящего Гаранина. А во-вторых, он был типичным представителем органов того периода. Такие гаранины, в меньшем масштабе и с меньшими полномочиями, были на каждой командировке, в каждом лагпункте, в каждой тюрьме.

Меня и Шуру поместили на женкомандировку, в так называемый «барак мамок». «Мамки» — женщины, имеющие детей или в конце беременности. Это в большинстве случаев бытовички, для которых дети — выгодный «бизнес». В течение шести месяцев дают паек, не заставляют работать, не отправляют на этап, они подпадают под так называемую амнистию Крупской — для матерей (но на нашу статью это не распространялось). В общем, сплошная выгода. Было там несколько женщин по 58-й, но они как-то не очень выпадали из «ансамбля». Некоторые дружили с урками, ели с ними, усвоили тот же блатной жаргон. Другие просто их боялись.

* Учетно-распределительное бюро.

Я еще на прииске узнала цену так называемой «романтике» проступного мира, а женщины в этом мире гораздо хуже, чем мужчины.

В бытовом отношении компания «мамок» жила довольно вольготно: не работали, имели «мужиков», а так как женщин на Колыме очень мало, то некоторые имели и не одного. Котировались эти «мужики», главным образом, с точки зрения «содержания», но наряду с этим обязательно был кто-то для «души». Типичная купринская «Яма».

Материнских чувств эти «мамки» в огромном большинстве случаев начисто лишены, что не мешает им устраивать шумные скандалы в деткомбинате, если у Альфредика не промыты глазки или у Греточки несвежая пеленка. Имена у детей, как правило, самые экстравагантные.

К этому времени я уже около двух лет была в лагере, но мне впервые пришлось попасть в такое окружение. Никогда я не слышала, чтобы так грязно ругались, чтобы с такими подробностями, называя все вещи своими именами, говорили о самых сокровенных, интимных сторонах жизни.

Вот когда я почувствовала себя по-настоящему одинокой. Из моих прошлогодних друзей никого в женкомандировке не осталось...

Контингент в лагере очень изменился. С усилением режима развелось много стукачей. Вот о них надо сказать особо. Конечно, стукачами не рождаются, стукачами становятся. И становятся по-разному. Иногда просто из страха. Вызовут, накричат, напугают: «А, отказываешься нам помогать, ну, смотри, пеняй на себя! Загоним на этап, куда Макар телят не гонял, под новый срок подведем!» — и т. п. Многие ломались на этом, становились осведомителями.

Но в большинстве случаев стукачи просто хотели облегчить свою жизнь — получить хорошую работу, уберечься от этапа.

Но была еще самая страшная порода стукачей — это стукачи «идейные». Стукач из выгоды мог что-то и утаить от начальства. Он мог не донести на кого-то потому, что это его сосед по нарам, или потому, что это его земляк, или просто потому, что этот человек был ему симпатичен.

Для «идейного» стукача таких соображений не существовало. «Идейный» стукач считал, что он остался коммунистом и его партийный долг выводить на чистую воду всех, хотя бы потенциальных врагов партии и правительства, независимо от пола, возраста и дружеских отношений.

Рассказывали об одной женщине, которая сидела в Москве на Лубянке. Ее вызвали к начальству и провели беседу примерно такого

содержания: «Да, вы временно изолированы от советского общества, вы исключены из партии. Но вы сами знаете, лес рубят – щепки летят. Мы понимаем разницу между вами и подлинными врагами. Мы верим, что вы остались верным партийцем, хотя и без партбилета. Ведь так?» – «Так».

Ей дали список человек на двадцать. «Вот эти люди – это подлинные враги партии и правительства. Поверьте нам, мы это знаем. Но у нас нет на них материала. И вот этот материал вы должны нам дать. Садитесь и пишите на каждого в отдельности по списку, что вы слышали о его антисоветских высказываниях, что они сообщали вам о своих контрреволюционных планах и так далее».

Ее вызывали несколько дней подряд. И она писала все, что им нужно было, в уверенности, что выполняет свой партийный долг. А когда она это закончила, следователь сказал ей: «Ну, вот и хорошо. А теперь мы дадим вам двадцать пять лет за то, что вы все это знали и нам своевременно не сообщили».

Это она рассказала своей соседке по камере. Она пыталась покончить с собой. Не знаю, что с ней было дальше.

Но капать понемножку на своих сокамерниц, на соседей по нарам, на членов своей бригады, считая при этом, что выполняешь свой партийный долг, – таких стукачей было много.

Детей – Леру и Аллу – после десяти дней карантина взяли в деткомбинат. А через две недели обе заболели воспалением легких. Аллочка – полная, здоровая девочка, а болела очень тяжело. А о моей и говорить нечего! Была она в то время худенькая, черненькая, как червячок, и такая слабенькая, что даже плакать как следует не могла, а пишала, как котенок.

Ох, этот деткомбинат! Настоящая «фабрика ангелов». Дети умирали непрерывно: от диспепсии, от анемии, просто от истощения. А ведь условия могли быть неплохие: помещение хорошее, питание тоже неплохое. Все упиралось в уход. 58-й работать с детьми не разрешали – «враги народа». Работали уголовники, бытовики – «социально близкие». Этим «социально близким» и собственные их дети, за редким исключением, не нужны, а тем более чужие.

Для них деткомбинат – бластная работенка: в тепле, без конвоя, хорошее питание. Вот так они и работали: целыми часами стояли под лестницей со своими «мужиками» или совсем уходили, а дети, не кормленные, не присмотренные, и болели, и умирали. Из всего Лериного набора осталось в живых трое: Лера, Тамара – дочь немецкой коммунистки Иоганны Вильке, и Толик – сын московской работницы Шуры Ивановой.

И это тоже одно из лагерных чудес – почему уцелели именно эти трое. Ведь мы – матери – ничего не могли сделать для наших детей. Мы просто очень хотели, чтобы они жили. И они выжили...

После воспаления легких Лерочка вернулась в свой деткомбинат. А Шурина Аллочка умерла. На Шуру было страшно смотреть – за несколько дней она почернела и постарела на несколько лет. Но это не все, что ей суждено было перенести... Аллочку положили в морг. Мне разрешили выйти за вахту, я ходила на кладбище заказывать гробик и могилку. Наши женщины из цветочной мастерской сделали для нее много красивых цветов. Две женщины пошли со мной в морг. Они одели Аллочку и убрали ее цветами. Она недолго болела и лежала как живая – такая большая и хорошенькая. Ей можно было дать года три, а было ей всего год и три месяца.

Когда я вернулась к моргу (в то время это был маленький домик возле больницы), я увидела, что Шура сидит на камне возле морга. У нее было такое лицо... Я подумала, что же еще могло случиться, ведь Аллочка уже умерла. Когда я подошла поближе, она повернулась ко мне и каким-то очень ровным голосом сказала: «Надя, мою девочку изнасиловали». На минуту я подумала, что она сошла с ума. Но она как будто подслушала мои мысли: «Я не сошла с ума. Я говорю правду. Иди, посмотри. Я не могу туда».

Я отправилась к главному врачу. Он, видимо, привык ничему не удивляться. Он пошел со мной в морг. Он посмотрел на Аллочку и вызвал еще врачей. Часа два мы сидели с Шурой на камне возле морга. О нас, должно быть, просто забыли. А потом подошел один из врачей и сказал, что была медицинская экспертиза и установлено, что трупик действительно изнасилован. Это сделал заведующий моргом. Он признался, что зачастую проделывал это с трупами женщин. Его увезли. Аллочку похоронили.

Жить становилось трудновато. Материнский паек – до шести месяцев, а Лерочке было уже больше. Помощи из дома, конечно, не было, заработать тоже нельзя. Жила все это время на пайке хлеба и на баланде. И к тому же кормила ребенка. Вдобавок эти проклятые «мамки», среди которых я жила, варили и жарили с утра до вечера. От постоянных съестных запахов кружилась голова. Первое время они иногда пытались меня угощать. Но я не могла установить с ними контакты. Да и не хотела – противно было пользоваться их добротой, просто жить с ними. Слушать их постоянные скандалы: проститутки ненавидели воровок, считая, что их (проституток) профессия никому не причиняет вреда, а наоборот, доставляет людям удовольствие. Воровки ненавидели проституток, считая, что их (воровок)

профессия связана с опасностью, с риском, а проститутки просто паразиты. Но и те, и другие дружно ненавидели «фрайеров».

Впрочем, первое время я еще пыталась их как-то просвещать. Я помнила, что на прииске, где совершенно не было книг, кто-то принес мне толстую общую тетрадь в клеенчатом переплете, и я всю ее исписала стихами, которые знала наизусть. Эта тетрадь пользовалась огромным спросом. И не только среди 58-й. Среди уголовников тоже оказались любители стихов. Я вспомнила об этом, когда жила среди «мамок». Читать им стихи не было желания. Но вот кто-то притащил потрепанный томик рассказов Чехова. Без конца и без начала. Но «Дама с собачкой» была целиком. Я предложила прочесть ее вслух. Я старалась читать как можно выразительнее, мне казалось, что высокая чеховская проза должна как-то дойти до них. Они слушали внимательно, когда я кончила, минуты две молчали. Я смотрела на них с симпатией: «Дошло?» Но тут одна из них тяжело вздохнула и сказала: «Да... какая барыня ни будь, все равно ее...» На этом моя «просветительская деятельность» закончилась.

Кроме меня, в бараке было еще несколько женщин с 58-й статьей. Некоторых взяли беременными, другие имели связи в лагере. Но они старались не обострять отношений с урками, боялись. Уркам нельзя показывать, что их боишься. Впрочем, были такие, которые не боялись, а действительно дружили с ними, считая, что так легче будет отбывать лагерный срок. Вот Пана Сидорова, тоже КРТД. Из хорошей семьи, сама член партии, до ареста работала в прокуратуре. Здесь она ничем не отличалась от урок. По существу, она была хуже их — те ведь просто не знали другой жизни.

Первое время она пыталась завести со мной дружбу: «Послушайте меня, самое главное — это сохранить себя физически. А так — вы пропадете. Нужно сохранить себя, хотя бы для детей» (у нее на воле осталась дочка, а здесь — сын). Это «сохранить себя ради детей» я слышала не от нее одной. Сохранить себя любой ценой — самый принятый способ внутреннего самооправдания. «Сохранить себя» — это значит якшаться с уголовниками, примазываться к «придуркам», а иногда и просто «стучать». Вот такой ценой «сохраняют» себя...

В начале 1938 года на Колыме после ареста всего начальства их жен привезли на женкомандировку. Среди этих женщин встретила знакомую — Ольгу Ищенко, она работала медсестрой в больнице. Отбыла срок по бытовой статье и вышла замуж за какого-то начальника. Потом его арестовали, и она снова попала в лагерь. Из этих жен в нашем бараке была Зина Теттельбаум. Почему она оказалась в бараке «мамок» — неизвестно. Ей девятнадцать лет, она кончила техникум и сама

попросилась на Колыму. Ей сказали, что там мало женщин и можно хорошо выйти замуж. Замуж она действительно вышла, а через десять дней мужа посадили. Медовый месяц она проводила на женкомандировке...

У многих из этих женщин — дети. Детей поместили в деткомбинат. Комбинат на втором этаже, а на первом — детсад для детей вольнонаемных. Кухня одна, только готовят разное. Как раз в это время кухню ремонтировали, и детей водили кормить в столовую.

Кто-то додумался одновременно водить и тех детей, и наших. Тем давали на завтрак яичницу, бутерброды с колбасой, какао, булочки с джемом. А нашим — овсяную кашу и чай с молоком. У одной из новых женщин был мальчик Игорь — такой забавный, рыженький, нос пуговкой, и говорил, как Денисов из «Войны и мира»: «Гафиня Гостова». Его уговаривают есть кашу: «Кушай, Игоречек, она очень полезная». А он со слезами: «Нёт, мне эта каша не полезная, мне полезна кгаковская колбаса и булочка с вагеньем...»

Скоро в барак «мамок» поместили несколько женщин, привезенных с трассы. Дети были при них, через десять дней их должны были взять в деткомбинат. Однажды поздно вечером, многие уже спали, в барак вошли двое. Спросили: «Кто староста?» А староста у нас была высокая полная женщина, белоруска, Соня. Соня жила в селе возле польской границы. А мать жила в нескольких километрах по ту сторону границы. Когда мать заболела, Соня ходила к ней доить корову. Получила шесть лет ПШ (подозрение в шпионаже). Взяли ее беременной. Здесь она родила.

Вошедшие спросили, где находится женщина, которую накануне привезли с Северного управления. Соня указала на нее. Женщина еще не спала, сидела на топчане, держа на руках шестимесячного сынишку. Один из вошедших подошел к ней — такой благообразный мужчина средних лет, в очках. Женщина испуганно смотрела. Но он так ласково обращался с ребенком, спросил, как его зовут, сделал ему «козу». Видно было, что женщина понемногу успокаивается. «Ах, какой ты хороший парень! Что бы тебе такое дать?» Он вынул из кармана связку ключей на кольцо и потренькал ими. «Славный, славный парень. Ну-ка, иди ко мне, маленький, ну-ка иди». Он двумя руками поманил малыша. Тот доверчиво потянулся и пошел к нему на руки. Надо было видеть, как сразу изменились его лицо и голос. Как будто другой человек. Все черты как-то заострились, голос стал резким, колючим: «Староста, возьмите ребенка». Он ткнул мальчика Соне и повернулся к женщине: «Следуйте за мной». Как она кричала! Они тащили ее к двери, она вырывалась из рук, тянулась к ребенку и все

время кричала. Они вдвоем выволокли ее из барака, и даже за дверью был слышен ее крик. А на руках у растерявшейся Сони истошно закатился мальчик... Я даже не знаю, кто была эта женщина. Она успела только рассказать, что муж ее был партийным работником где-то на Украине, сама она тоже член партии, педагог.

Соня, шмыгая носом, укладывала ребенка спать и сказала, обращаясь ко мне: «Ну, вы-то хоть партийные, коммунисты. А нас за что мучают?»

Однажды моя соседка принесла из лагерного ларька конфеты – липкие, склеенные подушечки. Они были завернуты в кусок газеты. Я, конечно, схватила его. Видимо, это была какая-то дальневосточная газета, может быть, ТОЗ («Тихоокеанская звезда»). И – какая судьба! – на этом, случайно попавшем в мои руки обрывке я прочла, что в Хабаровске происходил процесс бывших руководящих работников Дальневосточного обкома, оказавшихся «врагами народа». Там было приведено несколько фамилий, в том числе Верный, Вольский, Каплан, – все друзья Павла по работе во Владивостоке и Благовещенске. У всех – высшая мера. И – «приговор приведен в исполнение».

Всех магаданских жен вызвали в УРБ и зачитали им постановление «тройки» по Дальстрою – всем десять лет.

На другой день повесилась Ольга Ищенко.

Лера подросла, и меня перевели из барака «мамок» в обыкновенный барак. Я сама этого хотела. Хотя в бараке «мамок» были отдельные топчаны и всего человек двадцать пять, а в новом бараке – сплошные двухэтажные нары и человек сто, если не больше, все равно я была довольна.

Я узнала, что в Магаданской тюрьме сидят все мои друзья – одностатьники и однодельцы: Дифа, и Ольга, и Аня Садовская, и Софья Михайловна Антонова, и Даян Киевленко. Сидели они в ужасных условиях – тесно, грязно, кормили их только селедкой, а воду ограничили, вызывали на допросы, которых фактически не было, – просто ругали матом, оскорбляли грязными словами.

Это чудо, что меня не забрали. Они потом рассказывали, что, когда в камере поворачивался ключ в замке, они все смотрели на дверь: «Наверное, Надю ведут».

Из барака, в котором я жила, каждую ночь уводили людей. Посреди ночи открывалась дверь, входил «кум» – оперуполномоченный – и с ним еще двое. С нар поднимали головы – к кому они подойдут?... И каждую ночь я ждала своей очереди. И бесконечные ночные «шмоны» (обыски)...

Когда потеплело, проверки стали делать во дворе. Выстраивали все «поголовье» женкомандировки. Проверка продолжалась часа два, а если счет не сходился, то еще дольше. И ежедневно зачитывали приказы: «Решением «тройки» по Дальстрою... за саботаж... за отказ от работы... за симуляцию... к высшей мере наказания». И каждый день десятки фамилий. И в конце – «приговор приведен в исполнение».

Каждый день жду, что назовут фамилию Павла... Каждую ночь жду, что придут за мной... Вот так прошли весна и лето 1938 года.

К осени отправили в лагерь всех моих друзей. На женкомандировку вернулись Дифа, Ольга, Аня Садовская и другие.

Дифу и Зяму (ее мужа) взяли в Северном горном управлении. Попали они на Серпантинку – страшный застенок, пыточная камера, откуда никто не выходил живым. Дифа была в положении, и ее отослали в Магадан. Но это не спасло ее от Магаданской тюрьмы. Она провела там почти всю беременность, тяжело болела плевритом, не получая никакой медицинской помощи, вышла перед самыми родами, с активным туберкулезным процессом. Вскоре после этого ее поместили в лагерную больницу, и 6 октября она родила девочку – Жанну. Жанну взяли в деткомбинат, а Дифа работала на командировке в цветочной мастерской. У нее всегда был хороший вкус, и она научилась делать красивые цветы. Жанну она кормила, повязав рот и нос марлевой повязкой.

Лагерь не способствует излечению от туберкулеза. Лучше ей не становилось. Весной 1941 года ее опять положили в больницу, и освобождение для нее выразилось в том, что из больницы для заключенных ее перевели в больницу для вольнонаемных. С первым пароходом ее вместе с другими активированными больными вывезли на «материк».

Пароход пришел во Владивосток в день объявления войны. В Москву она, конечно, не попала. Она еще три года прожила в эвакуации и умерла, оставив двоих детей – Галю и Жанну. Девочек воспитывала ее сестра Тамара, человек редкой, самоотверженной души, посвятившая этим детям всю свою жизнь.

Но я зашла далеко вперед. Вернувшись из тюрьмы, лежа рядом со мной на нарах, шепотом Дифа рассказывала мне про Серпантинку. Нет слов и сил говорить о том, каким пыткам подвергали там людей. Дифа встретила там Володю Рабиновича – нашего товарища по институту. Володя был небольшого роста, лопухий, узкоплечий, рыженький. Он был старше многих из нас, но мы звали его «сынком». Была в нем большая душевная чистота, высокое чувство товарищества. Для товарищей он готов был сделать все. Когда Дифа его увидела, он был совершенно искалечен, почти не мог ходить, кашлял

кровью. Он сказал ей: «Я уже отсюда не выйду. Если ты когда-нибудь вернешься, расскажи о том, как я погиб». Она не смогла этого сделать. Вместо нее это делаю я.

На Серпантинке погибла старая женщина и чудесный человек – Нушик Заварьян. Когда начался так называемый гаранинский произвол, она написала заявление начальнику Дальстроя: «Генерал-губернатору Колымы от большевика-ленинца Нушик Заварьян».

Ее тут же взяли на Серпантинку, и оттуда она уже не вышла...

ВЕНИАМИН БРОМБЕРГ



Вениамин Файвелевич Бромберг, младший сын (как он говорил – «мизинец») в семье херсонских народовольцев, родился в 1904 году. Продолжив семейную традицию, большую часть своей сознательной жизни он провел уже в советских тюрьмах, каторге и ссылке.

О его детских годах почти ничего не известно, за исключением того, что еще помнил его родной брат Яков Бромберг, с 1924 года живший в Тель-Авиве. Семья в поисках работы для ее главы переезжала с места на место, и в Одессе мальчик получил музыкальное образование в знаменитой скрипичной школе Петра Столярского. Впоследствии скрипка была его верной спутницей на воле и в ссылке, где он выступал на сценах клубов и домов культуры Ташкента, Ташауза, Андижана, в бараках под Владивостоком и в колымских лагерях. Его скрипка жива (вернее, одна из его скрипок). Это фабричный «циммермановский» инструмент (порадивший меня своей этикеткой «Иосиф Гварнери, 1723 г.»), купленный им у какого-то подвыпившего итальянского матроса в Одессе.

Отец был одним из руководителей молодежной организации сионистской партии в СССР. Первый раз его арестовали в 1923 году. Затем – в 1926-м

(3 года политизолятора. Суздаль, Владимир). Потом – с 1929-го – ссылка в Среднюю Азию на три года. И снова арест в 1932-м, опять ссылка на три года, арест в 1938 году, замена расстрела двадцатью годами колымских лагерей с последующим поражением в правах на 5 лет, которого он уже не мог «оценить», поскольку через 4 года, в 1942 году, в возрасте 38 лет, он был снова арестован уже в лагере на прииске «Нечаянный» и расстрелян.



В. А. Бромберг. Женский портрет.
Мозаика из яичной скорлупы. Сделано в Суздальском изоляторе.

Все это стало мне известно только теперь из хранящихся «вечно» дел НКВД 1938 и 1942 годов. Моя мать Белла Бромберг тщательно скрывала от меня их с отцом прошлое, оберегая меня, как ей казалось, от «неосторожных» поступков. В 1956 году она добилась «реабилитации» В. Бромберга по процессу 1938 года. В 1989 году я получил аналогичный документ по делу 1942 года, а в 1994 году смог познакомиться с обоими «делами»: семь «калининских» томов и один «магаданский».

Это был яркий, богато одаренный человек: экономист и скрипач, переводчик и композитор, художник и прозаик. Сохранился его автопортрет, нарисованный карандашом на почтовой открытке в камере смертников в 1939 году.

Герц Бромберг

СВЕТ УБИТОЙ ЗВЕЗДЫ

Из писем жене

Владивосток, 29.03.1940 г.

Бэллуженька, милая!

...Я счастлив тем, что наладилась связь письменная с тобой, что, хоть скупо, просачиваются твои письма ко мне и мои – к тебе, но мы уже обменялись приветом за 10 тысяч километров, и я имел счастье читать твое письмо о тебе и Гусенке. А посылка! Теперь и Ика, и Герц получили их, и мы стали богачами, а я могу петь, как поют колымчане:

Я живу близ Охотского моря,
где кончается Дальний Восток,
я живу без нужды и без горя,
строю новый стране городок...

Пока я, правда, живу не близ Охотского моря. Но уже скоро наступит весна, придет пароход, и я, верно, «загремлю» на Колыму.

Все больше и больше я знакомлюсь с Гусенком по твоим письмам. Да, Лужик, ведь он уже совсем не тот крошка, каким я его оставил. Как быстро он вырос! Может быть, это только кажется мне потому именно, что «часы жизни» для меня остановились 2 года тому назад? Нет, видно, на ребенке... сказалося все, что пришлось пережить этому маленькому человечку за его еще такую коротенькую жизнь. Чего стоят одни его путешествия! Родиться в Новосибирске, ехать в 1/2 года в Москву, оттуда в Калинин, потом в Алма-Ату, затем опять в Москву – это не проходит бесследно. А обо всем остальном я уж не говорю... Ну, я верю в то, что из нашего ребенка будет хороший, интересный и полезный человек. А пока – пусть растет, крепнет и не знает забот под твоим крылышком, любя, если не суждено и мне растить его вместе с тобой.

Когда я читал те строки твоего письма, в которых ты описываешь его счастье от обилия подарков, мне так живо вспомнилось мое детство. Ружье! Оно является рано утром в день рождения, и, просыпаясь, ты в сладкой дреме чувствуешь, что оно вот тут, у постели, лежит – новенькое, блестящее, несущее тебе радость *твоего* праздника, неповторимого праздника, когда весь мир любит тебя и дарит тебе такие желанные и недоступные в будни вещи... Эх, хорошо! Я даже скажу тебе по секрету, Лик, что именно с таким чувством я жду сейчас, когда будет готова моя скрипка. Это будет *мой* день,

и скрипка будет моим ружьем. Как я рад за сынишку, как тепло думать о его детском счастье! Это ведь и твое, и мое счастье — сынишка.

Ты пишешь, Лик, о воспоминаниях накануне 7/II. Родная, я живу этими же воспоминаниями и — немножко — надеждой. Твое «сегодня», реальное, я, конечно, представляю себе, думаю о нем много и часто. Но эмоционально мне ближе воспоминания, они действительно жгут сердце. Почему? Верно, потому, что *твое* сегодня — и *мое* сегодня; а оно никак не радует, не мило оно, а горько и темно. Да. Многое об этом можно бы написать, но зачем заглядывать в будущее?

...О себе что писать? Работать продолжаю там же. Сейчас у нас полный рабочий день — до 7 часов вечера. Ну, все же я попривык, и потом совершенно иначе работается, когда... когда «кувалда покушала». Вот Герц, который работает в мастерской, сказал мне, что как-то пришлось 15 минут поработать ломом — и бедняга выдохся. Я доволен, конечно, тем, что умею теперь работать ломом не 15 минут, а 10 часов, но ничего отрадного, честное слово, не вижу в ломе. Пока вопрос о переходе на одно кустарное производство не удастся решить. Может быть, удастся. Впрочем, маловероятно, чтобы я вообще тут остался — лед в заливе уже дает первые трещины... Между прочим, калининцы, уехавшие в Находку, во всех отношениях выиграли, и очень серьезно. Ну, не повезло, что ж сделаешь. Я очень рад за них. Если предстоит Колыма — ее не «заговоришь». Что она представляла из себя в 37–38 гг., я знаю. Некоторые изменения к лучшему — тоже. А что готовит судьба сейчас — узнаю и никуда от нее не денусь.

Бэллочка, поговорим лучше о хорошем: скоро будет готова моя скрипка. Это будет настоящий инструмент, сделанный мастером под руководством специалиста. Я живу сейчас этим делом. Мой чертеж полностью забракован, по нему получился бы урод, а не скрипка. Я боюсь только, что струн не достану. Луженька, если будешь что-нибудь высылать или даже специально, вложи пару аккордов скрипичных струн, авось они до меня дойдут и найдут меня.

Я писал уже тебе, что мне посчастливилось тут несколько раз поиграть и выступить в бараках. В клуб пока не выпускают, мешают некоторые особенности моего приговора. Сейчас владелец скрипки уехал в этап.

Между прочим, я показывал одному музыканту «Воспоминание», он сказал, что самое отрадное — это то, что сохранен «благородный стиль пушкинского романса», и только в одном месте отметил, как он сказал, влияние оперного стиля. Мне странно слушать все это — такие серьезные слова! Правда ли это? Когда-нибудь узнаю.

Наконец-то я узнал от тебя, что комнату тебе дали все же. Как бы взглянуть одним глазком на нее, на эту комнату! И — хоть на миг — на тебя, на Гуську! Лик, сколько раз я уже был мысленно у вас, в этой комнате...

А радио есть у вас? Проведи, Лужайка, если это возможно и не очень обременительно материально, пусть тебе и Гусенку звучит музыка... Работать до 12 часов ночи — это, конечно, очень весело... Люба, обрадуй меня, напиши, что была в театре или на концерте, что ты прочла книжку интересную, и не в поезде, а дома, при свете лампы, отдыхая. Моя милая крошка, жизнь ведь идет, и, может статься, наше с тобой «сегодня» растянется на годы...

Р. С. Лужик! Вчера вечером, после того, как кончил письмо, за мной прибежали от начальства: выступать в клубе! Хотя выступление и не состоялось — не смогли достать скрипку, она была заперта, а нач. хоз. отсутствовал, но на 5/IV на вечере самодеятельности в клубе я должен выступать. Ну, Луженька, пожелай мне успеха — этот день может многое решить в моей лагерной жизни!

Владивосток, 26.04.1940 г.

Бэллонька, родная!

...Ты выражаешь опасения, что я, не получая от тебя писем, могу сам перестать писать. Люба! Как это? Эту мысль выкинь из головы: пока я жив, пока есть хоть какая-нибудь возможность, я не перестану дышать мыслями о тебе, о Гусенке, буду писать и надеяться получать твои письма... Что это значит для меня — я не должен говорить тебе. Ты тоже получаешь мои письма, правда, только часть их, потому что пишу я не реже раза в неделю. Я получил от тебя, Лик, 4 посылки — все в целости и сохранности. И радостна мне такая твоя забота, и горько тоже. Все это стоит денег — и больших, времени и сил, а многое из присланного, я уверен, ты сама не видишь, не ешь, и Гусенок — тоже...

Ну вот, значит, связь наша наладилась, пусть со скрипом. Если только эти дни не принесут с собой этапа в Колыму для меня, то мы эту связь не потеряем. Первый пароход отойдет через пару дней. Ничего определенного о том, что меня ждет, я тебе не могу сказать. Дело обстоит так: я уже несколько дней работаю в столярной мастерской — подручным у скрипичного мастера. Первая пробная скрипка, сделанная мастером, одобрена начальством лагеря, и сейчас мы начали сразу несколько инструментов.

Владивосток 9.05.1940 г.

Бэллужка, дорогая!..

А отсюда так долго и плохо доходят письма! Больше того, только несколько дней тому назад ушли телеграмма и письмо, которые я *три* раза переписывал, а они все не уходили! Вот оно, Лужик, 10 тысяч километров и Дальний, очень Дальний Восток... Бэллонька, но не отчаивайся, ведь, когда мы с тобой прощались, мы условились не поражаться молчанию, помня, что оно может быть случайным. Я вижу по твоему письму, любя, что ты устала очень – и физически, и душевно.

...О себе я могу вот что сообщить. Вчера ушел первый пароход на Колыму, и *пока* я не попал на него. Отсюда еще нельзя делать никаких обобщений – я могу попасть хотя бы на следующий рейс. Есть, правда, кое-какие основания думать, что эта возможность немножко отдалилась от меня: я начал работать в столярной мастерской, которую *до сих пор* не трогали на этапы. Работаю у скрипичного мастера, и на нас начальство обращает, по-видимому, немалое внимание – это дело их заинтересовало. Сейчас работаем над шестью инструментами. Лужик, как я рад, что попал на эту работу! Если бы мне удалось полгода, год поработать так – кто знает, куда повела бы потом меня эта дорожка и в лагере, и вне лагеря. Кто знает? Говорят, что будет выделена в мастерской особая бригада по муз. инструментам. Если так, это еще более укрепляет это дело, и, может быть, мне повезет и меня не повезут (нечаянно вышел лагерный каламбур). Загадывать не буду, т. к. это бесполезно. Колыма *всегда* реальна, все остальное – будет или нет.

Моя собственная скрипка делается теперь при моем непосредственном участии. Будет готова (если ничего не помешает) недели через две. Я тебе как-то писал, Лик, что у меня есть тайная надежда: а вдруг я смогу удержаться *на* поверхности, а не *под* нею благодаря музыке? Таких примеров в лагерях я знаю много. Правда, *мне* мешает многое, а именно – особенности приговора. Но я надеюсь на судьбу. Поэтому я решаюсь просить тебя, Лужик: вышли мне мои струны, в два приема хотя бы (но поаккордно, ты ведь знаешь, какие в аккорде 4 струны: одна витая, две жильные и тонкая стальная «МИ»). Может статься, я их получу. Это будет недорого стоить, а может сослужить мне большую службу.

Что еще о себе? Я здоров, болел только от противотифозных уколов; я стал, видно, выносливее, чем был, хотя выгляжу не лучше. Работаю, по-лагерному, немало, прихожу в барак вечером, к восьми, ухожу утром в 8. К внешнему своему виду привык, Лужик; к обстановке – тоже.

Бодрости не потерял нисколько; да, вот мой мастер — парень 28 лет, крестьянский самоучка, очень талантливый и интересный, но страшный младенец душой и к тому же очень смешливый; я, как тебе известно, тоже люблю посмеяться; вот мы и «хохмаемся» друг с другом даже тогда, когда бываем в очень не смешной обстановке (а это бывает).

Ну, Лик, о себе все, потому что дальше я неизбежно начну говорить о том, что не следует говорить, — о чем думается, когда думается вообще...

Лучше поговорим о том романе, героев которого ты описывала в прошлом письме (от 16/III). Ты хочешь знать мое мнение? Я отделяю поведение героев в романе от того, как *автор* пишет о них; пусть такое разделение и условно и им нельзя аргументировать. Но я могу так рассуждать и могу так аргументировать, ибо считаю (пусть это звучит и странно), что герои этого романа не отвечают за манеру автора писать о них: автор вкладывает *свои* мысли в уста героев, а это в беллетристике — признак низкого уровня мастерства. Ну, вот.

То, что ты написала мне о Гусенке в последнем письме — о его новой игре с тобой «в папу», — меня, признаюсь, надолго выбило из колеи. Я так ясно представил себе вас обоих, моего крошку и тебя, так защемило сердце, так стало все дико и противно, все впереди стало таким ненужным и неизмеримо тяжелым...

Владивосток, 2.06.1940 г.

Бэллонька, родная!

Я все еще здесь, жив и здоров. В ближайшие дни, вероятно, буду отсюда увезен и, как только смогу, сообщу тебе свой адрес. На всякий случай по получении этого письма телеграфируй по адресу: Магадан, почтовый ящик № 3 СВ ИТЛ НКВД, для меня, и письмецо черкни туда же.

Колыма, 28.11.1940 г.

Бэллонька, родная!.. Да, когда стоишь на заснеженной сопке, смотришь в бескрайнюю, жестокую даль таких же снеговых сопок, думаешь о себе и о тебе — тогда, Лик, жизнь кажется опустошенной и ненужной, признаюсь тебе без гримас и наигранной бодрости. Но за нее цепляешься, за нее борешься в надежде — авось?..

Колыма, 11.04.1941 г.

Дорогая Бэллонька! Мне кажется, что я уже целую вечность не писал тебе. Зима кончается, сегодня по-настоящему пригрело солнце — и я решил, что нет сил больше молчать, что надо написать тебе,

пусть даже это письмо и не скоро дойдет, если дойдет вообще. Навигация открывается здесь с середины мая – еще месяц... Луженька, так много хочется написать, такое большое ощущение одиночества, и так сильно вместе с тем ощущение *невозможности* передать тебе суть чувств и дум. Почему? По многим причинам. Часть из них «прозаического», так сказать, характера. А главная причина – это глубокая пропасть, незаполнимая разница в том, что называется жизнью моей и твоей. Внешнюю сторону твоей жизни я знаю. Внутреннюю – могу себе представить, мне кажется, достаточно ясно. Внешнюю сторону *моей* жизни – ты не знаешь, и я тебе *не могу* ее представить. А уж внутреннюю... Куда уж! Но, Бэллонька, пусть это будет так, здесь ничего не поделаешь. Что могу – буду тебе писать, а ты не скупись в письмах, пойми, что значит для меня каждое твое письмо!

Зиму, начиная с 4 октября, провожу здесь, на этом прииске, на его центральном участке. До этого я побывал на других двух участках и к концу сентября был в состоянии более или менее жалком. Но вот уже 6 месяцев я не на общих работах (недавно только на 1 месяц попал на дровозаготовки, но опять восстановлен в прежнем положении). Я дневалю в музкоманде; руковожу джазом и играю в пьесах (и даже – женские роли!..). Морозы прошли (и 40, и 50, и 60 градусов), но я их провел в тепле, а это здесь на 75 % определяет твою судьбу зимой. Я имею возможность не нуждаться в хлебе – это остальные 25 %.

Вчера, Луженька, была у нас кинопередвижка. Я пошел. Фильм – «Моя любовь». И вдруг на экране – малыш, лет трех, толстячок, – Боже, как стало тепло на сердце и как заболело оно: «А мой где? Какой он?..» И мне уж не смотрелось на этих молодых людей, я слушал, как он говорит «мам-ма», и те, кто рядом со мной смотрели, – тоже о нем, о ребенке, заговорили после картины.

28 мая 1941 года*

Бэллонька, моя родная!..

Вчера получил твою телеграмму с ответом относительно того, следует ли мне писать отсюда самостоятельно жалобу. Твой ответ я понял как отрицательный... Я продумал многое и вижу, что защитник придерживается *слишком* осторожной линии. Он выжидал год до подачи своей жалобы; этот год оказался решающим – положение с аналогичными моими делами резко *ухудшилось*... Я *не утверждаю*, что он и на этот раз просчитается, но я имею ряд оснований предполагать это...

* Последнее письмо В. Бромберга из лагеря.

Я уже не дневалю, а работаю. Ношу с сопки дрова. Пусть мне тяжело, но если все лето удержусь на этой работе и не попаду в забой – значит, мое счастье. Я здоров, Бэллонька. Я не отчаиваюсь, хотя на душе очень тяжело. По-прежнему я мечтаю лишь о том, чтобы хоть как-нибудь попасть на материк. Но путь один – это пересмотр дела. Только...

Тут есть дети, я их вижу, и это лишний раз напоминает мне, как мерзко и страшно изуродована наша с тобой жизнь. Крепко, крепко обнимаю тебя и целую вас обоих.

Твой Воля

ИВАН ПАВЛОВ



Я, Павлов Иван Иванович, родился в 1926 году в Одессе. Перед войной окончил восьмой класс. В первые дни войны отца мобилизовали на фронт, а я с мамой и старшим братом остались в городе. 16 октября 1941 года город был захвачен румынско-германскими войсками. Во время румынской оккупации города я самостоятельно по учебникам брата подготовил программу девятого класса и поступил в последний класс лицея, а после окончания его – на физико-математический факультет Одесского университета.

Осенью 1943 года я познакомился с членом подпольной организации ОУНСД (организации украинских националистов самостийныкив-державныкив), борющихся во время оккупации Украины с фашистами, а после освобождения ее – с Советской Армией и Советской властью. В октябре–ноябре этого года я распространял листовки с их программой.

В 1944 году, вскоре после освобождения Одессы, я был арестован контрразведкой СМЕРШ* 5-й ударной армии и спустя недолгое время приговорен Военным трибуналом Украинского фронта к семи годам ИТЛ и пяти годам поражения в правах.

* Особое управление армейской контрразведки, действовавшее с 1942 по 1946 год. – *Прим. ред.*

Около года я отбывал срок в Киеве в Лукьяновской колонии, а с июня 1945 года – в колымских лагерях, в основном, на золотых приисках им. Марины Расковой и «Скрытом», где был горнорабочим, а затем медфельдшером в амбулатории и больнице.

После освобождения из лагеря в 1950 году и перевода в «вечную ссылку» работал заведующим медпунктом, картографом-составителем, участковым маркшейдером. В 1955 году окончил заочно Магаданский горно-геологический техникум и в том же году поступил на горный факультет Всесоюзного заочного политехнического института.

После XX съезда КПСС с меня сняли ссылку, я впервые получил паспорт и выехал в отпуск в Одессу, где женился на аспирантке физического факультета Одесского университета.

В 1957 году реабилитирован Военной коллегией Верховного суда.

В 1960 году с отличием окончил политехнический институт по специальности «маркшейдерское дело» и поступил в Ленинграде в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института горной механики и маркшейдерского дела. В этом же году у меня родилась дочь.

После окончания аспирантуры работал в том же институте в Лаборатории методики подземных маркшейдерских работ сначала младшим научным сотрудником, а затем – старшим. Заочно окончил математико-механический факультет Ленинградского университета, защитил кандидатскую диссертацию. В течение двадцати лет совмещал работу в лаборатории с преподаванием в разных институтах высшей математики, маркшейдерского дела и программирования.

27.05.2004

ДОХОДЯГИ

(из воспоминаний)

В Магадане нас плотно усадили в грузовик на слой чурок, и мы двинулись по главной колымской трассе на север. Грузовик был с газогенераторным двигателем – «газген». Во время войны бензин и дизельное топливо завозили на Колыму в небольшом количестве, и грузовики переоборудовали на питание генераторным газом, получаемым сжиганием высушенных древесных чурок в полом цилиндре, установленном на шасси грузовика рядом с кабиной шофера. Скорость газгенов была невелика, а по колымским дорогам они ползли черепашим шагом: не более 15–20 километров в час.

У кабины водителя за речной перегородкой разместились на скамейке два конвоира, защищенные от дождя плащ-палатками. Начальник конвоя дремал в кабине шофера. На Колыме уже вступали в свои

права белые ночи. По обеим сторонам дороги на болотистой местности буйно разрослась трава и полевые цветы; низкорослые лиственницы и кусты кедрового стланика дополняли колымский пейзаж. Моросил дождь, и к вечеру мы насквозь промокли.

Часа через четыре мы свернули с главной трассы налево, дорога стала значительно хуже. Лагерные старожилы сообщили, что едем по Тенькинской трассе. Иногда мы останавливались у какого-нибудь поселка или командировки — лагпункта, на котором работали бесконвойные дорожники или лесозаготовители. Нас высаживали, выдавали сухой паек: по полкилограмму белого хлеба, выпеченного из американской муки, по куску соленой селедки и ложке сахара, поили ключевой водой. Мы разминали затекшие ноги, старались немного согреться. На третий день нашего пути дорога резко ухудшалась и вскоре превратилась в размытую колею. Машина часто вязла в грязевой жиже, мы вылезали из кузова, подкладывали под задние колеса грузовика хворост, ветки и тонкие стволы деревьев, толкали машину вперед и снова продолжали свой путь.

Когда-то в долинах рек и ручьев была густая тайга, склоны сопек были покрыты кустами кедрового стланика и тальника. Но как только пришли туда люди и начали прокладывать в тайге дороги, лес стал постепенно исчезать. Его вырубали для строительства мостов, помещений для дорожников, строителей, лесозаготовителей. Позже лес рубили для строительства барачков, столбов лагерных зон, густо окутанных колючей проволокой, сторожевых вышек, но больше всего лес использовался для отопления помещений в лютые зимние морозы. К середине сороковых годов колымские дороги проходили уже по почти голой местности.

Всем хотелось скорее доехать до постоянного места жительства — лагеря в надежде отдохнуть от тряски в машине, высушить одежду. Мы еще не знали, что отдыха у нас уже не будет до конца промышленного сезона, что на прииске нас ожидает голод и каторжный труд, жестокие побои бригадиров и дневальных, старосты и нарядчика, надзирателей и конвоиров и что эту поездку будем вспоминать как чистилище перед адом.

На третьи сутки мы добрались до места назначения — до недавно открытого прииска имени Марины Расковой. Нас высадили из машины у лагерной вахты. Плакат, висевший над воротами лагерной зоны — «Труд есть дело чести, славы, доблести и геройства», — воодушевлял жителей ее на трудовые подвиги. Проверив нас по документам, дежурный вахтер и надзиратель убедились, что товар доставлен в целостности и сохранности.

Было уже за полночь, когда нас запустили в зону и поместили в еще недостроенном бараке, а утром нас ожидал подъем и развод на работу. В помещении была вагонная система нар человек на пятьдесят, но, учитывая, что заключенные работали в две смены, их было почти в два раза больше. В нашем бараке уже жила бригада, и многим, в том числе и мне, пришлось лечь на полу. Дневальный предупредил, чтобы на ночь мы ботинки не снимали, так как их могут украсть. Пропавшая одежда и обувь считалась проданной ее хозяином за пайку хлеба, и виновника все равно выгоняли на работу или сажали в карцер.

В первые дни я работал в забое: кайлил грунт, насыпал его в тачку, по деревянным трапам отвозил к промприбору и разгружал в бункер. Катать груженую тачку по трапу — дело нелегкое, требует силы и определенного навыка, особенно при маневрировании тачкой при переходе ее колеса с доски на доску. Поначалу колесо тачки часто соскакивало у меня с трапа на землю, грунт рассыпался, и град отборной матерщины забойщиков, катающих тачки сзади по этому же трапу, заставлял «шевелиться» — быстро ставить колесо тачки на трап или убирать ее в сторону. Для выполнения сменной нормы нужно было накайлить более сорока тачек крепкого, иногда смерзшегося грунта, загрузить его в тачку и откатить в бункер промприбора на расстояние около ста метров.

Мне было особенно трудно из-за сильной близорукости. Но в лагере зрением не интересовались: ложку мимо рта не проносишь — значит, и тачку катать сможешь. Впрочем, ложек в лагере не было, лагерную баланду выпивали через край миски.

Во время войны и в первое время после ее окончания на Колыме были в основном американские продукты, одежда, машины, оборудование и инструменты. Очень удобными были американские лопаты. Лопата была совковая, но имела острый и прочный штык, позволявший легко врезаться в грунт. За хорошую лопату, кайло или тачку забойщики нередко утаивали ссоры, дрались. Бригада, в которой я работал, состояла в основном из обессиленных продолжительным голоданием пожилых людей с подорванным здоровьем. План бригада не выполняла, и мы сидели на голодном пайке.

Зона расширялась, строились новые бараки, работали плотники, к зоне подвозили лес. Его сбрасывали недалеко от вахты, и дежурный вахтер или конвоир часто заставляли нас после двенадцатичасовой работы в забое подносить лес к строящейся зоне или баракам. Мы хватались за бревно втроем или вчетвером, так как вдвоем поднять его уже не могли. Иногда по пути с работы в лагерь нас задерживали,

заставляя подносить лесоматериал и оборудование к строящемуся промприбору.

В бараке все окружали печку, протягивая к ней озябшие руки, стараясь ухватить частичку тепла. Несмотря на окрики дневального, требовавшего открыть доступ тепла ко всем углам барака, никто не отходил от нее. Тогда дневальный брал палку и, огрев ею спины работяг, сквозь зубы цедил:

— Без плюх как дурные!

После вечерней поверки мы ложились спать на голых нарах или на полу, не раздеваясь и не снимая ботинок, и, утомленные тяжким трудом, сразу же засыпали. Казалось, недавно легли, а уже раздавался громкий голос дневального: «Подъем!»

Утром в бараке мы получали хлебную пайку и съедали ее, не дожидаясь завтрака. В столовой выпивали через борт миски чуть тепленькую баланду, съедали кусок соленой, «ржавой» селедки и выпивали тоже из миски «чай», в котором привычного «по воле» чаю не было, и трудно было на вкус определить следы сахара. После этого мы отправлялись на развод и строились перед вахтой колонной по пять человек в ряду. Чтобы никто не опоздал и не задерживал бригаду, дневальный выгонял на время развода всех из барака.

Полигон, на котором мы трудились, был на доработке, и, как только мы его зачистили, промприбор стали демонтировать для переноса на новое место, а нашу бригаду расформировали, распределив ее членов по другим бригадам.

Несколько человек, в том числе и я, попали в бригаду Зубрина, считавшуюся одной из лучших. Она занимала хороший, утепленный барак. В бригаде работали в две смены около ста человек. Часть из них — воровская элита, в которую входили бригадир, его помощник и дневальный, — располагалась на лучших нарах у окна.

По воровским законам ворами не полагалось работать, а поэтому тяжело работать приходилось «фраерам». Ворами и в лагере положено было хорошо питаться и прилично одеваться, а потому голодать и кутаться в лохмотья должны были «мужики». Власть воров над фраерами осуществлялась методами принуждения сильных над слабыми, наглых над совестливыми, сытых над голодными и была, в сущности, продолжением насилия, осуществляемого в зоне лагерным начальством, в стране — нашими правителями.

Воры налаживали дисциплину, как правило, кулаком и дубинкой, и лагерное начальство редко вмешивалось в их дела, рассматривая деклассированные элементы общества как «социально близких» им людей, помощников в деле перевоспитания честным трудом

врагов народа и «гнилой интеллигенции». Старыми авторитетными ворами были разработаны нормы поведения членов воровской общины – моральный кодекс «честного вора», который передавался из поколения в поколение, претерпевая незначительные изменения в зависимости от складывавшихся условий существования их на воле или в лагере. Воровские морально-нравственные принципы не распространялись на их отношение к фраерам, которые относились к низшей касте и должны были неустанно трудиться в бригадах или использоваться на других работах для обеспечения благополучия воровского сословия. Изгоев лагерного общества можно было избить, ограбить, заставить выполнять самую тяжелую и грязную работу.

При нашем появлении в бараке бригадир процедил сквозь зубы:

– Одних фитилей прислали. У меня в бригаде вкалывать надо. Кто собирается филонить, уходите сразу.

Дневальный всем дал места. Впервые за время пребывания на приiske мы разместились на нарах, на матрацах и подушках, в теплом бараке. Одежд нам не досталось, и мы укрывались телогрейками. Постельное белье было лишь у блатных высокого ранга. На ночь мы снимали ботинки и не боялись, что их украдут. В другую смену на этих же местах спали другие з/к, но мы их не знали, так как никогда не встречали в бараке. Видели их только, когда они приходили сменить нас в забое, или мы заменяли их на рабочем месте. Худые, изможденные, преждевременно состарившиеся, наголо стриженные, невымытые, с потухшим взглядом, в потрепанной рваной или истлевшей одежде, все они для нас были на одно лицо. Вещей в бараке у нас не было – все, что имелось, было на нас.

Вместе со мной в бригаду Зубрина попал мой созтапник Коровкин. У него было большое сердце, и он не мог долго напряженно работать. Бригадир дал ему более легкую работу на отвале, но и с ней он справлялся с трудом. Неоднократно ходил в амбулаторию и умолял фельдшера дать ему пару дней отдыха.

– Сейчас не могу! Закончится промывочный сезон, направлю в полустационар на отдых, а сейчас работай по мере своих сил.

Полустационар для доходяг организовывали обычно осенью в обычном бараке, где они жили и выходили на полдня в лес заготавливать дрова для лагеря и вольного поселка.

Во время промывочного сезона фельдшер освобождал зэка от работы лишь при наличии у него высокой температуры или стойкого поноса. В последнем случае больной должен был сходить в уборную вместе с санитаром и тут же при нем оправиться.

Работать в соответствии со своими возможностями Коровкину не давали ни бригадир, ни звеньевой.

– Мне надо бригаду кормить! Не хочешь работать – не выходи на работу, – говорил ему Зубрин.

В бригаде были относительно здоровые работяги: коренастые, крепкого сложения, как правило, из крестьян или рабочих, привыкших с детства к тяжелому физическому труду. Зубрин ценил их и следил, чтобы они не теряли форму: выписывал им высшую категорию питания – 1200 граммов хлеба, премблюда. Как ни тянулись за ними доходяги, ослабленные голодом, с подорванным здоровьем, высокие и тощие, выработать норму они не могли. Лагерный срок переживали немногие – рано или поздно дела их попадали в архив № 3, а сами они без одежды и белья с биркой на левой ноге погружались в братскую могилу, вырытую в мерзлой колымской земле. Даже здоровые вначале мужики от изнурительной работы на приисках, холода и голода с приобретенными ими в лагере хроническими болезнями рано или поздно пополняли ряды доходяг.

Недовольный работой Коровкина, Зубрин снял его с отвала и отправил в забой.

– Нечего больным притворяться. Поработай в забое. Поймешь, как работяги вкалывают.

Выполнить норму Коровкин не мог, и стал получать лишь 600 граммов хлеба в день, а если жаловался, то бригадир отвечал ему:

– Ты и этого не заработал, нахлебник. Не только пайку, ты даже на солидол для своих ботинок не заработал.

Солидолом смазывали оси подшипников ленточного транспортера и других механизмов промприбора, оси тачек. Часто, когда мы работали в обводненном забое, солидолом смазывали ботинки, чтоб меньше промокали. Иногда, чтобы вызвать понос и попасть в больницу, доходяги ели солидол или мыло и часто вместо больницы попадали на кладбище.

– Мне надо работяг кормить! – говаривал Зубрин. – А на доходяг и лодырей у меня лишнего хлеба нет. Кто не работает – тот не ест.

Когда Коровкина перевели в забой, никто не хотел работать с ним в паре, да и он не стремился к этому, так как понимал, что работать наравне с другими не сможет. Силы покидали его с каждым днем. Удары кайлом по вязкому мерзлomu грунту отдавались у него в мозг, с трудом отрывал он от земли даже наполовину загруженную тачку, колесо ее виляло по трапу, и только невероятными усилиями удерживал он равновесие.

Однажды он упал, рассыпав грунт из тачки на трап. Зубрин подбежал к нему, матерясь и пиная ногами, пытаясь поднять. Но Коровкин ничего уже не чувствовал и не слышал, лишь из груди вырывались хриплые звуки. Рабочие убрали его с трапа. Еще некоторое время он лежал, судорожно подергиваясь всем телом и лояв ртом воздух — жизнь еще боролась со смертью. Потом он затих навсегда.

Вокруг него кайлили грунт, по трапам сновали тачки, и вспомнили о нем только, когда надо было идти в лагерь. Бойцы приказали нести его труп. До лагеря было километров пять. Взяв Коровкина за руки и за ноги, заключенные по два человека несли его по очереди. И хотя веса в нем было немного, после тяжелой работы, когда с трудом волочишь свои собственные ноги, нести труп по изрытой колеями дороге было тяжело.

Некоторые заключенные уже в течение шести-семи лет ни разу не были сыты и думали: «Неужели наступит день, когда хотя бы черного черствого хлеба мы сможем поесть вдоволь?» Все же голод не так мучил нас, как тяжелая работа. Но один из наших доходяг ощущал его очень остро и однажды ночью стащил с подноса одну из паек, предназначенных для заключенных, работавших в ночную смену. Вероятно, его будут бить, может быть, искалечат, возможно, забьют насмерть. Ну и пусть! Чем так жить, так лучше умереть сразу. Все равно весь срок до освобождения ему не вытянуть.

Сосед слышал, как тот слез с нар, вскоре вернулся и долго жадно жевал что-то, укрывшись ватником. Утром пропажа была обнаружена, нашелся и похититель. Дневальный с бригадиром хладнокровно избивали «шакала» до тех пор, пока тот не потерял сознание. Никто не обращал внимания на стенания истязаемого. Недорого ценили измученные тяжким трудом заключенные свою жизнь, не рассчитывали на сочувствие или даже простое внимание соседей, таких же обездоленных, как и они, и уж совсем не думали о чужой судьбе, полагая: «Подохни ты сегодня, а я завтра!» Вечером, когда мы пришли с работы, труп заключенного был уже в морге. Все должны были знать, что никто не смеет безнаказанно посягать на чужую собственность, если это не предусмотрено воровскими законами.

К концу сентября ночью столбик термометра стал опускаться ниже нуля. Вода в ручьях потекла тонкими струйками, оттайка забоев прекратилась, а с нею прекратилась промывка песков на промприборах — сначала ночная, а потом и дневная. Высвобождалась рабочая сила. Бараки стали переполняться заключенными. Доходяг, списанных на зиму из основных бригад, поместили в особый барак, где мы спали на нарах и на полу вповалку.

Чтобы не кормить заключенных, уже не способных трудиться на горных работах, к концу промывочного сезона их стали вывозить с прииска в сангородок, находившийся на прииске Дусканья. Везли не спеша — никто нас не ждал, никому дармоеды не были нужны. Мы навсегда распростились с проклятым прииском, надеясь, что хуже уже не будет.

На следующий день мы доехали до небольшого поселка геологоразведчиков. Здесь был и небольшой лагерь для бесконвойных заключенных. Нас выгрузили, и машина укатила. Велено было ждать одной из попутных машин, обычно ехавших на юг порожняком. На нашем прииске нам выдали паек на один день, и в поселке разведчиков конвоир с одним из этапников пошел в местный лагерь получать по аттестату пайки на следующий день. Особого надзора со стороны охранников не было. Нам разрешили полазать по склону ближайшей сопки в поисках ягод и стланиковых «орешков». Мы разбрелись в поисках пропитания, впрочем, безуспешных, так как на склоне сопки все уже было оборвано и объедено, а высоко подниматься силы уже не позволяли.

Тем временем, несмотря на запрещение появляться в вольном поселке, кто-то из наших доходяг забрел в него и из окна одного из домов стащил кусок хлеба. На нас посыпались жалобы. Охранник вернулся из лагеря без хлеба, сказав, что наш аттестат не отоварили из-за того, что мы шакалим по поселку. В наказание бойцы заперли нас в придорожной сторожке, набив ее битком. Мы стояли в ней, плотно прижавшись друг к другу, не имея возможности повернуться, задыхаясь от нехватки кислорода. Через час бойцы амнистировали нас и послали собирать хворост в окрестностях. Мы расположились вокруг костра и вскоре заснули.

Чтобы избавиться от непрошенных гостей, геологоразведчики на следующее утро дали машину, и шофер довез нас до следующего прииска. Кормить нас и здесь не стали, заявив, что у них и для своих работяг хлеба не хватает. Поместили в бараке ЗУРа — в зоне усиленного режима, отгороженной от общей колючей проволокой. Обитатели ее, кроме дневального, были на работе. Мы улеглись на голые нары и крепко уснули.

Вечером после работы явились хозяева барака и, увидев этапников, стали обыскивать нас. Из одежды им поживиться было нечем, но у двоих наших коллег нашли припрятанное на черный день золотишко, когда-то намытое или поднятое в забое.

Недалеко от зоны был ручеек с чистой прозрачной водой. Нам дали железный бачок с двумя ручками и привязанной к нему жестяной

кружкой. Вдвоем с одним парнем в сопровождении конвоира мы пошли за водой. Долго черпали ее кружкой. Хоть и невелик был бачок, но силы наши были на исходе, и нам приходилось, к неудовольствию бойца, останавливаться в пути, чтобы отдышаться.

Во время одной такой остановки я зачерпнул кружкой воду и выпил ее.

– Подойди ко мне! – приказал мне конвоир.

Я подошел, не понимая, что ему от меня нужно.

Он сильно ударил меня прикладом ружья, произнеся:

– Тебе приказали принести в зону воду, а не пить ее.

Коренное население уже вышло из барака, греясь в ожидании развода на скупом осеннем солнышке. И тут урки окружили меня, и один из них сказал:

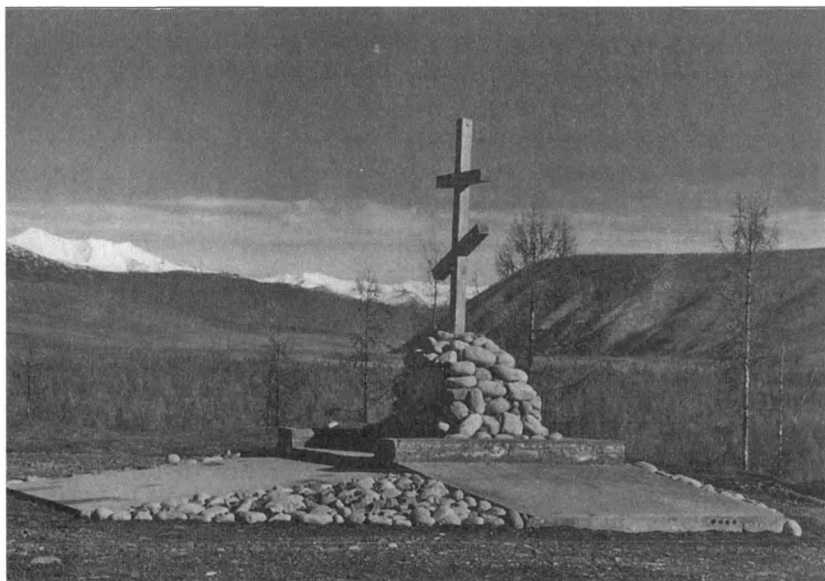
– У тебя неплохие ботинки. В больнице тебе они не пригодятся – там разденут догола и уложат на койку. Так что снимай их поживее: дадим сменку.

Я оглянулся. Недалеко стоял вохровец, который недавно ударил меня за незаконно выпитую воду и, казалось, одобрял их поступок. Он был патриотом своего прииска и не возражал против экспроприации его обитателями жалкого имущества этапников. Я слабо сопротивлялся и с помощью новых знакомых снял ботинки. Других ботинок мне не дали: сунули рваные портянки и веревочки, с помощью которых я перевязал их. Ногам стало легче, да и опасность того, что кто-нибудь еще позарится на мое жалкое имущество, уменьшилась. В этот же день нас, не покормив, снова усадили в грузовик и отправили дальше. На этот раз в сангородок.

На прииск «Дусканья» мы попали на третий день путешествия. Недополученный в дороге хлеб нам не вернули. Помещения сангородка были еще на ремонте и нас разместили в бараке ЗУРа. Это был довольно большое помещение, уже полностью заполненное доходягами, приехавшими сюда с разных приисков горного управления раньше нас. Нам остались места лишь на полу и под нарами. Вскоре в сангородке начала работать медкомиссия, выявлявшая хронических больных, доходяг с ярко выраженными признаками цинги и пеллагры для направления их на лечение в Центральную больницу. Политзаключенных не разрешалось вывозить из приисков, но все же в список включили и меня. Нас посадили в машины, и мы снова двинулись на юг.

До Центральной больницы УСВИТЛа (Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей), находившейся невдалеке от 23-го километра Колымской трассы, мы добрались почти без остановок.

В больницу мы попали ночью и, как истинные больные, проехали через вахту без проверки, и только в бане нас стали принимать по нашим личным делам. Впервые за долгое время мы увидели яркий электрический свет. Нас впустили в душевую, дали по не очень маленькому кусочку мыла, и под теплой водой душа мы стали тщательно смывать въевшуюся в наши тела лагерную грязь. После бани нас взвесили. При росте 1 метр 78 сантиметров мой вес составил 43 килограмма, а многие не дотянули и до этого веса.



**Памятник жертвам репрессий 1930–1950 годов на месте захоронения заключенных в поселке Усть-Нера (Якутия, Оймяконский район).
Установлен в 2001 году. Автор памятника Борис Бикьярович Сатеев**

ВИКТОРИЯ ГОЛЬДОВСКАЯ



Виктория Юльевна Гольдовская (1912–1974) родилась в Мелитополе в семье рабочего. В 1930–1931 годах училась в Ленинградском институте журналистики, в 1936 году закончила Ленинградский горный институт. Перед войной работала на Урале и в Ленинграде. В 1941–1942 годах – сандружинница в блокадном городе. С декабря 1946 года – инженер-проектировщик института «Дальстройпроект» в Магадане, с января 1948 года – редактор отдела литературного вещания Радикомитета Дальстроя. В ноябре 1949 года была арестована и в январе 1950 года осуждена Военным трибуналом войск МВД при Дальстрое по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР на семь лет лишения свободы. Освобождена по отбытии срока наказания и с учетом зачета рабочих дней в октябре 1954 года. Реабилитирована в июне 1956 года. С августа 1956 по январь 1970 года работала ответственным редактором литературно-драматического вещания Магаданского радиокomiteта. После выхода на пенсию жила в Калининe (ныне Тверь).

В Магадане вышли книги В. Ю. Гольдовской «Три колымских рассказы» (1969), «Мякит – река капризная» (1962, совместно с Г. Большаковым). Первая книга стихов «Ветка стланика» вышла в 1976 году.

ОБЕЛИСК

На мятых клочках бумаги
В долгих трудных этапах
Разными карандашами
Писаны эти стихи.
Стланик пять раз под снегом
Прятал иглистые лапы
И снова вставал для жизни,
Не смиряясь с волей стихий.

Пять раз в долине Детринской
Созревала мелкая клюква,
Пять раз в ручьях придетринских
Промерзало русло до дна.
На пожелтевшей бумаге
Стерлись мелкие буквы,
Но наконец настала
И для меня весна.

И то, что было когда-то
В лагерной жизни убогой,
Комком подкатило к горлу...
Память обид и мук.
Не своих! Мне тебя бы
Вывести на дорогу,
О тебе рассказать бы людям,
Мой несчастный, мой честный друг.

Рассказать бы о тучах, что в жизни
Над тобою ходили низко,
О песках, что возил ты тачкой,
О кюветах, что рыл в пургу.
Тебе у Колымской трассы
Не поставили обелиска,
Но я о твоей судьбине
Молчать никогда не смогу.

НАДЕЖДА СУРОВЦЕВА



Надежда Витальевна Суровцева родилась в 1896 году в Киеве в семье юриста. В 1903 году Суровцевы переехали в Умань.

Окончила философский факультет Венского университета. В 1925 году вернулась на родину. Преподавала в Харьковском университете.

Арестована в 1927 году за отказ сотрудничать с НКВД.

Через тридцать лет после реабилитации вернулась в Умань.

Скончалась 13 апреля 1985 года*.

ДЕТГОРОДОК

Детгородок был специфически колымским учреждением. Он возник в связи со все возрастающим количеством «безбрачных», сугубо незаконных детей. Посылая женщин в лагерь, предполагалось обречь их на безбрачие. Однако природа брала свое. Несмотря на тяжелые наказания, несмотря на весь тот ад, физический и нравственный, который ждал женщину-мать, ребятишек становилось все больше

* Подробнее о Н. В. Суровцевой см.: «Доднесь тяготее». Т. 1. 2-е изд. С. 260.

и больше, и государство вынуждено было брать на себя заботы об этих неожиданных питомцах. Встречи с мужчинами были запрещены, но ряд работ происходил без конвоя: конбаза, ставшая традиционным, почти негласно утвержденным домом терпимости, молочная ферма, да и много других работ, где женщины могли так или иначе встречаться с мужчинами. Женщин покупали, их насиловали, реже – они бывали любимы. Кем? Вольными, заключенными, даже стрелками. А цветы жизни – их отбирали на пятый день и поселяли в детгородок.

Беременность сначала старались ликвидировать: таскали тяжести, прыгали сверху, пили хину, доставая ее правдами и неправдами, делали аборт, умирали, но если не удавалось или не хватало смелости, то несли повинную голову. За месяц шли в отпуск, рожали в лагерной больнице, а затем начинали свой тяжкий путь матери-лагерницы. Мужья первые годы также преследовались, но не ахти как страшно. Партийцам угрожали неприятности, лагерникам – карцер со снятием с легких работ. Только впоследствии отцам стали разрешать свидания с детьми, а вольным – даже брать детей к себе. Первое же время об отцах умалчивалось.

Ребенка приносили в детгородок на пятый день. Мать же помещали в отдельный барак для «мамок». Сперва они не работали, а затем назначались на более легкие работы. И на каждую кормежку их под конвоем водили к детям. В пыльный летний день, в колючую пургу, в проливные дожди они шагали шесть раз туда и обратно и слушали грозное: «Стой! Марш!» от своего провожатого с винтовкой. Один из конвоиров, странный парень с наклонностями садиста, вызывал всеобщую ненависть. Прозвали его за горделивую осанку «Петухом». И вот, стоило тронуться в путь, как откуда-нибудь из строя раздавалось: «Ку-ка-ре-ку!», стрелок бросался к тем рядам, а «ку-ка-ре-ку» несло уже из другого места. Озлобленный вконец, он командовал: «Ложись!» Шутка нередко кончалась плохо. Женщины знали, что с заряженной винтовкой не шутят, и ложились в снег. Через пару шагов снова команда: «Ложись!» – и так до самой вахты. Обе стороны ожесточились, и дело прекратилось только тогда, когда несколько женщин заболели маститом и в больнице выяснилась причина. «Петуха» убрали куда-то, по крайней мере, из детгородка он исчез. Ненавидели его дружно, изводили тоже до крайности, каждая как умела. Одна урка рассмешила меня своей изобретательностью. Она работала в кипятилке, а «Петух», промерзнув с «мамками», пока они кормили, забежал туда погреться. И вот зовет эта кипятильщица меня к себе; «Петух» у титана греется. Она начинает громким шепотом, как

на сцене, излагать мне те мнимые неблаговидные предложения, которые он ей якобы сделал. Парень краснеет, багровеет, как пуля вылетает из кипяtilки. Я удивлена, кипяtilьщица хохочет. Оказывает-ся, она все выдумала, чтобы выжить его из тепла.

Какой контингент попадал в «мамки»? Пожалуй, однородного не было. Там были: молодые девчонки-бытовички, искательницы передач, чтобы лучше питаться, чтобы одеться с лагерным шиком — в сапожки с отворотами, в яркие лыжные брюки, в шелковые вечерние платья поверх этих же брюк, в модные шелковые шали с кистями; девчонки, заказывавшие старухам бесконечные прошвы к горам подушек, подзоры, вышивавшиеся на заказ, конечно, носовые платочки, наволочки с надписями: «Спи спокойно, дорогой Жора» у пронзенного стрелой сердца и так далее. Они нанимали рабынь мыть за себя в очередь пол в бараке, стирать, гладить белье, стряпать на железной печке «деликатесы» из своих продуктов, они пудрились, красились и щеголяли друг перед дружкой своими «мужьями». Все же дело иногда биологически срывалось, они беременели, рожали, попадали на легкую работу, выкармливали ребенка и снова рожали. Это тоже был метод полегче прожить, отбыть срок.

Рожали и пожилые женщины, крестьянки и интеллигентки лет под пятьдесят. Этим томила жажда материнства. Они совершенно забывали об отцах и самоотверженно посвящали всю жизнь, всю любовь своему последнему ребенку. Вот крестьянка Степанида, доярка молочной фермы, вырастившая за срок школьницу Наташу. Это солидная, религиозная, строгая, благообразная женщина, никоим образом не укладывающаяся в рамки «грешницы»; вот Маша — воровка, рецидивистка, старая, сморщенная мордвинка, с безобразным желтым лицом и выступающими лошадиными зубами, и у нее — Валечка. Вот эта Валечка лежит у меня в группе больная. Машка бегает кормить ее. Она заискивающе заглядывает в глаза: «Сестра, смотри за Валечкой, может, тебе нужно что, хочешь, туфли принесу?» Знаю, она украдет, но принесет, если скажу. Увидав, что на купанье детей не хватило мыла, она на следующую кормежку притащила туалетного... Валечка ее — толстый аппетитный детеныш, с косым прорезом глазок, она спокойная, славная девчурка. Раз она заболела серьезно. Необходимо было переливание крови. Мать не давала покоя врачу, предлагая кровь. Девочка выздоровела, выросла. Кормежки становились все реже, наконец — дальше тянуть было нельзя — пришлось снять последнюю. Это означало видеть ребенка только раз в месяц, на свидании, даваемом при условии отсутствия нарушений дисциплины. Машка стала стахановкой агробазы. Но чтобы получить право поси-

деть со своей Валечкой лишний час, она стала давать кровь чужим больным детям. За это главврач давала свидания с дочуркой. Мы, сестры, старались иногда накормить мать, потому что питание в лагере, конечно, не рассчитано на доноров. Купленные кровью, в буквальном смысле, минуты пролетали быстро, и просто не хватало духа произнести казенное: «Свидание окончено». Третья старуха была интеллигентка, она очень тяжело переносила беременность, вдобавок это были чуть ли не первые роды. Когда ее перевели к нам с другой командировки, она подошла ко мне, я подумала, что ей будет несколько неудобно говорить со мной о предстоящем. Но я услышала восторженную исповедь будущей матери, такой гордой, такой счастливой, как трудно вообразить при подобных обстоятельствах. Она едва не умерла при родах, родила близнецов, умерших один за другим на протяжении двух-трех месяцев. Их было довольно много, этих запоздалых матерей, и смотреть на них, пожалуй, было еще большее. По типу они скорее были похожи на вдов, но мужья были случайные и большей частью, так сказать, не на высоте. Вот молодая кокетливая полька — Теця. Эту откровенно потянула биология. Отцом ее ребенка, прелестного гибрида, был неграмотный, совсем не говоривший по-русски пастух-узбек. Великолепный экземпляр своей расы. Она так и рассматривала его и даже в мыслях не допускала с его стороны возможности предъявить когда-нибудь свои права на ребенка.

Вторая, Ира, работала со мной. Она была доценткой на кафедре истории в университете. Изящная, хрупкая, чрезвычайно культурная, одаренная во всех отношениях, женственная, она болезненно любила своего ребенка. Я не знала о ней ничего. У своей вольной приятельницы я однажды встретила парня-плотника. Кончив работу и получив мзду, парень сидел у нее и закусывал. Такой, как любой лагерный здоровяк, не «дошедший» за время заключения. Как-то, возвращаясь строем в лагерь, я стояла рядом с Ирой. Она была с краю. И вот к ней подошел этот самый парень. «Познакомьтесь, это мой муж», — сказала она. Трудно было понять, что могло их связывать. У изящной, красивой Софы Кауфман, врача по профессии, тоже был лагерный ребенок, и, хотя она рассказывала о приезде мужа, тоже заключенного, было много оснований предполагать другого отца, правда, человека культурного.

Бывали и прочные супружеские пары. Крестьянка-украинка Маруся, молодая, здоровая, с большим сроком, полюбила своего земляка, уже вольного, работавшего на Эльгене. В течение многих лет у них родилось трое ребят. Отец страстно добивался разрешения взять их к себе и, вероятно, в конце концов взял. У другой Маруси,

колонистки, был ее муж с Большой земли, приехавший вместе с ней в этапе как заключенный. У них к моменту освобождения тоже уже было трое детей, старшие, девочка и мальчик, уже ходили в школу. На воле они продолжали жить вместе, она ездила в отпуск к родным во Владивосток и снова вернулась к мужу работать на Колыме.

Была пожилая немка Ольга. Ее роман был несколько незаурядного типа и стоит того, чтобы на нем остановиться. Ей было лет под сорок. Немецкая добродетельная женщина, она каким-то образом полюбила заключенного. Начался обыкновенный лагерный роман. Не припоминаю деталей, но раз она очутилась у него в избушке, где он в качестве бригадира лесоповала жил с несколькими рабочими. Говорили, он был суровым и требовательным в работе. Так или иначе, у него были враги. И вот ночью несколько человек ворвались к нему в избушку, чтобы убить его. Рабочие убежали, остались только Ольга и он. Убийцы бросились на ее мужа. Она заслонила его, он вырвался, убежал.

Он вернулся с охранниками. Изнасилованную Ольгу увезли в больницу. Она поправилась. Был суд. Насильники получили должное. И тут интересно поведение лагерного мужа. Его не шокировала репутация «опозоренной» Ольги. Он буквально боготворил ее. Вскоре он освободился, устроился работать сапожником в том же совхозе. Всячески помогал ей. Когда у нее родился ребенок, его заботливость и нежность удвоились. Много лет, пока она находилась в заключении, этот человек жил только ею и для нее. Когда его перевели за двадцать с лишним километров, он пешком в любую погоду направлялся к ней каждый свободный день, соблюдая тургеневскую верность. Ольга иногда капризничала, придиралась к нему и уж всегда командовала. Он сносил все терпеливо и относился к ней, как редко относятся на Колыме интеллигенты вольные к своим женам. По любому требованию в пургу, мороз, непогоду он являлся к ней за двадцать километров и всегда с требуемыми предметами. Их было не перечислить.

Я работала при пяти начальницах детгородка, нескольких врачах. Дни проходили обычно: в предрассветной мгле зимой, в белом мерцании весны, в яркое летнее утро мы выходили за ворота вахты и через двадцать минут входили во вторые — в зону детгородка. Там расходились по домикам-группам. Принимали смену врачи, сестры, няни. И начиналась работа. Дети были одеты, наступал завтрак. Из общей детской кухни приносили кастрюли дымящегося какао, кофе, чая и бесчисленное количество бутылочек с молоком. И в здоровой группе трудно было одолеть такое количество. Кормежка шла, как фабрика. Ребенок за ребенком сидел на коленях и поглощал

волей или неволей причитающееся количество продуктов. Кормили детей безукоризненно, и продуктов питания было очень много. Мы питались «вокруг» детей, вокруг нас питался подсобный персонал, вокруг них всякие дроворубы, водовозы и прочие, и «вокруг» всего питался небольшой свинарник. Это был независимый оазис, и в нем царствовала болгарка Христина, приятельница секретаря Бела Куна. Она жила там же, за перегородкой, и я ходила к ней в гости и искренно завидовала: это было почти как на воле. Жилось ей хорошо, и, кроме того, она подрабатывала стиркой. Свиньи ее слушались.



Н. В. Суровцева с детьми. Колыма. Нижний Сеймчан. 50-е годы

После еды мы упаковывали младенцев на прогулку. Они лежали на помостиках в спальных мешках и мирно спали. Их выносили на воздух до тридцати пяти градусов мороза. Только при более сильных мы их уже оставляли дома. После четырехчасового полдника наступал самый любимый час. Ребята проснулись – одетые, чистенькие, и тут мы могли немного дать себе волю. Мы усаживались посреди ребят на ковре, те окружали нас – и это было самое хорошее время. При нашей работе, напряженной и насыщенной до крайности, на долю каждого ребенка хватало времени ровно настолько, чтобы он был накормлен, вымыт, чисто и тепло одет, но ласка, эта неуловимая

нереальность, она не входила в норму, и минутка, когда гладишь белокурую или черную головку, когда обнимаешь маленькое, бедное тельце, эти минуты приходилось воровать у своего отдыха, а и его не предусматривалось. Вот в этот часок мы отдавали детям накопленную в душе нежность и ласку, а они, как маленькие зверьки, тоже тянулись к нам. Затем после ужина наступала ночь. Мы укладывали их в кровати, гасили свет. Долго еще возились мы с отдельными ребятами, но наконец засыпали и они. Тихо и ровно дышали дети в кроватках, все одинаковые в своей беспризорности. Было чисто всюду, было тепло. И так одиноко от сознания, что даже такого – лагерного, отнятого – ребенка у тебя нет. И теплые детские сонные ручки, обнимавшие тебя за шею, доверчиво прижимавшиеся к тебе, они тоже тебе не принадлежали. Склонив голову на руки, мы сидели у стола, приводя в порядок листки с температурами, взвешиванием и прочим. А потом все-таки наступала пора, когда делать уже было нечего, и одолевали мысли, невеселые лагерные мысли. Жизнь уходила. Мы считали годы, месяцы, недели неволи.

Часам к четырем становилось холодно. Начинали попискивать младенцы. Страхивались думы, наступала действительность. Снова кухня, кастрюли, булочки, кормежка, умывание и смена. Усталый рейс в лагерь, вахта и мой седьмой барак. Поскорее раздеться, взобраться на вторые нары, зарыться под одеяло и забыться крепким сном.

Где-то внизу скребет пол и ворчит дневальная Мария Сергеевна. Приходит кто-нибудь из соседнего барака. Стряпают что-нибудь нелегально на железной печке, и запах, поднимаясь вверх, бьет в ноздри. За столом питается барачная аристократия – на салфеточках, тарелочках, из баночек, коробочек, из всего домашнего уюта, регулярно присылаемого близкими. У меня ничего нет. И никого нет. Я привыкла к своей нищете и свободно переносу ее. Мне крепко спится. В обед бреду в столовую. Поглощаю там свою порцию баланды без особого отвращения – я привыкла за столько лет. Вечером – ужин, и – ночь. Еще последнее мучение: проверка. Бессмысленно выстроившись вдоль нар, мы откликаемся на свои фамилии, и дежурный, как ищейка, пробегает вдоль нар и, если не обнаружено ничего противозаконного, уходит. Остается дежурная лампочка. Тишина. И только откуда-нибудь слышится бред, стон, и снова тишина. Только трещат, как выстрелы, бревна стен да шуршит сухой снег об окна, покрытые толстым слоем льда и инея.

Работа в больнице детгородка уже иная. Там работа постоянно напряженная. Тихие палаты, белые кровати, занавесы, и в кроватках маленькие жалкие тельца. Где-то в тайге валят лес их матери, шьют

в портняжной, лепят вегетационные горшки, поливают Парники, сажают капусту, картофель, косят болотные кочки на далеких сенокосах... А они мечутся здесь в жару. Сухие, воспаленные ротки — точно у рыбок. Вот пятые сутки стоит маленькая Верочка, держась за перильца кровати, и кричит уже звериным, охрипшим голосом. Черные глаза горят, как угли. Она умирала и умерла от голода: любая пища возвращалась обратно. Искусственного питания в первые годы моей работы врачи не применяли. Эпидемия токсической диспепсии унесла за полтора месяца семьдесят два ребенка. Так же, стоя, умер любимец группы, Мишка Шифмахер, черноглазый, веселый; умерла маленькая принцесса Изольда, со сказочным именем, дававшая поцеловать свою ручку; два маленьких якутика и многие другие. Вскрывала обычно Неха. А зашивала завхоз Белла, толстая, похожая на торговку. Делала она это сперва из боязни потерять место, а потом вошла во вкус и кокетничала перед окружающими отсутствием брезгливости.

Дети умирали. Тихонько, почти незаметно и быстро. Три-четыре дня — и все было кончено. Только одна девчурка с менингитом умирала долго и мучительно. Все время приходилось работать в каком-то кошмаре: ни на минуту, ни дома — в лагере, ни во сне не покидало гнетущее чувство беспомощности и безысходности. Постоянный гость — пневмония тоже косила детей. Сульфидин еще не применяли, лечили исключительно камфарными инъекциями. Исколотые худенькие тельца, извивающиеся под рукой, дряблая, бледная кожа, скрип под рукой вкалываемой иглы... кислородные подушки и задыхающиеся ротки, а потом окоченевшие куклы со стеклянным мутным взглядом... Это преследовало день и ночь, наяву и во сне. Не только мы, но и врачебный персонал потерял голову! Казалось, эпидемия никогда не остановится и детгородок обратится в кладбище. Приехала комиссия из Магадана. Обследовали больных, стали лечить сами. Дети продолжали умирать. Комиссия прожила две с лишним недели, стараясь найти причину возникновения эпидемии. Говорили о каких-то отравлениях, конфетах, употребленных в кухне вместо сахара. Но достоверно установить ничего не удалось. Так комиссия и уехала, сменив заведующую Елешеву на врача Гогосошвили. Кстати, Елешева и ее муж, служебное лицо в лагере, были замешаны в истории хищения со склада детгородка мясной туши, и так они и исчезли, увезя с собой усыновленного ими белокурого Диму Днепровского, сына умершей Ирочки.

Кошмар продолжал висеть над детгородком. Умирал ребенок. Гогосошвили по собственной инициативе или по указаниям свыше

стала разрешать матери проводить последние часы, иногда ночи, у постели умирающего. Происходили потрясающие сцены. Конечно, присутствие матерей очень затрудняло нашу работу. Мы работали все время чрезвычайно напряженно и добросовестно. Но, естественно, потерявшие голову матери, с одной стороны, находили все недостаточным, а с другой, все мучения, доставляемые применением предписаний врача, происходили у них на глазах, не понимавших часто ни того, что мы делали, ни того, для чего мы это делали. Приходилось часто выслушивать много горького, незаслуженного. Затем все-таки наступала последняя минута. Мать все еще не верила, что ребенок уже мертв. Одни падали без чувств и бились в истерике или тормошили несчастный трупик, другие окаменевали от отчаяния. Каких только разрывающих душу сцен не приходилось видеть и переживать вместе! Затем наступала лихорадочная активность — матери начинали хлопотать о похоронах. Они заказывали гробики, обивали материей, доставая все самое лучшее, наряжали детей, бегали поминутно в морг, спорили с врачами, возражая против вскрытия, и, наконец, последние хлопоты, последнее огорчение, если летом на дне могилы была вода, а зимою не кайлилась твердая, как металл, земля.

До весны снег засыпал место упокоения всех мучений, надежд, всего, что скрашивало или делало менее бесцветным лагерное существование. Весной снег сходил, оседала земля, гробики выступали наружу, и матери убегали на кладбище; снова драмы отрывания украдкой гробов, синие, нетленные в вечной мерзлоте осунувшиеся страшные личики, и вторичные похороны, иногда с конфликтами с администрацией, иногда украдкой, своими средствами. «На кого ты меня покидаешь?» — этот звенящий стон до сих пор стоит в ушах.

Пришли осень, зима, эпидемия остановилась так же внезапно, как наступила. Смертность почти прекратилась.

По детгородку маршировала грузная главврач Евдокия Ивановна Гогосошвили. Перед ней трепетал весь детгородок.

«Чтоб не было мух!» — И товарки освобождали меня от всякой работы, потому что я умела вылавливать мух. Часами ловили мы их перед обходом, но достаточно было одной-двух, чтобы на нас обрушился ее гнев. В гневе она бывала страшновата, особенно учитывая полное бесправие заключенных. Я помню, раз одна из матерей навлекла на себя ее гнев, и Гогосошвили лишила ее материнства. Этот своеобразный лагерный термин означал лишение свиданий и фактически отнимал у матери дитя. Несчастливая мать валялась у нее в ногах, умоляя отменить свое решение, когда я вошла по какому-то делу в комнату. Маленькая оборванная женщина на коленях, ловящая руки

повелительницы, и перед ней, как монумент, громадная, упитанная, по-своему красивая Гогосошвили с крашеными волосами и подведенными большими серыми глазами. Я не выдержала и попробовала заступиться. «Сестра, идите, делайте свою работу», – цыкнула она на меня.

Так и не простила, а дело было в том, что кто-то передал, якобы эта мать дурно о ней отзывалась. Нельзя сказать, чтобы эта женщина была злой. Она прошла тяжелую жизнь, по ее словам, из прачек выбилась в люди, добилась образования, стала членом партии и врачом, но семейная жизнь не удалась, приехала одна на Колыму. Когда бывали ударники, она ходила в прачечную и с гордостью побивала рекорды, впрочем, не удивительные при ее комплекции и упитанности. Как обычно бывает с такими людьми, смелость ей импонировала, и я обычно была с ней в хороших отношениях, насколько это было возможно при разнице нашего положения.

Ее сменила миниатюрная Раиса Семеновна Яхнина, бывшая прежде рядовым врачом. Она была вежлива, особенно почувствовали облегчение интеллигентки, с которыми ее предшественница обходилась довольно жестко. Помимо чистоты, стали обращать внимание на художественное оформление группы, и мне пришлось очень много рисовать. Яхнина организовала кварцевый кабинет. Облучение детворы дало сразу блестящие результаты. Меня она назначила ведать этим кабинетом. Наступила самая блаженная пора моего лагерного существования. Я приходила в небольшую, светлую, безукоризненно чистую комнату. Проверяла «Солюкс» и начинала работу. Правда, глаза уставали от темных очков, нервы были напряжены, потому что не все дети одинаково реагировали на облучение, но все это не слишком огорчало меня. День проходил живо и приятно, хотя ни минутки свободной у меня не было, ребят таскали непрерывным потоком. После смены приносили вольных детей, а потом мы сами с удовольствием грелись в ультрафиолетовых лучах. Безусловно, результаты давали себя знать. Питание было сносное, изредка кухонная аристократия, прогревавшаяся для загара и лучшей кожи, приносила воздаяния, и я была всегда сыта.

Кухня вообще была особым миром, свысока относившимся к простым смертным, миром обеспеченным, сытым, даже пресыщенным и могущественным. Помню, однажды, неся обед зимой, одна няня поскользнулась, упала и разлила суп на всю группу. Мне удалось получить вторую порцию без вмешательства начальства, без всяких наказаний виновнице происшествия. Поварихи или помощники повара тоже имели детей в группах, и уж такая группа всегда питалась

привилегированно, начиная от ответственного младенчика до последней няни группы, и горе, если явившаяся вне всяких приемных часов и свиданий мамаша заставала свое «дите» случайно мокрым!

Первой поварихой моей сестринской эры была толстая, черноволосая, сероглазая баба с мальчиком Шуриком. Ребенок был, само собою понятно, весьма упитанным и балованным. Меня поразило какое-то странное, необычное выражение лица мальчика. Было ему месяцев семь-восемь. В первую же мою ночную смену повариха явилась знакомиться и принесла чудесных сдобных булочек и такую уйму сливочного масла, что я даже опешила. Но моя напарница спокойно приняла мзду и предоставила мальчика в распоряжение мамыши. Младенец блистал чистотой и был гигроскопически сухим. Через несколько лет этот Шурик погрел и стал кусать детей своей группы. Я застала раз маленькую девчушку, загнанную в угол за печкой, на которую он наступал с оскаленными зубами. Наш психиатр Полина Львовна Герцберг по поручению старшего врача занялась этим ребенком. И было установлено, что мать его, наша дебелая повариха, была им беременна в момент совершения убийства, за которое отбывала лагерное наказание. Убийство было необычно по жестокости — спящему отрубила руку заступом. Возможно, существовала какая-то связь между этим событием и наследственностью ребенка. Невольно вспоминалась «Медвежья свадьба» Луначарского.

Время шло, а с ним подходило окончание срока.

НИНА САВОЕВА



Нина Савоева, моя однокурсница по 1-му московскому мединституту, родилась в Северной Осетии в крестьянской семье. Отец, потомственный хлебороб, любящий землю и труд на ней, сокрушался, что у него четыре дочери и ни одного сына. Девочки с раннего детства помогали матери. Из четырех – только одна хотела учиться и ходила в школу. Отец считал это баловством. Мать, не знавшая ни одной буквы, приветствовала учение дочери.

Нина успешно закончила школу. Заветная, еще детская мечта выучиться на врача помогала ей преодолевать трудности. Она мечтала лечить от чахотки своих земляков, многие из которых умирали в цветущем возрасте.

В 1933 году Нина приехала в Москву, пошла работать и поступила на подготовительные курсы. В 1935 году она была принята в институт, окончила его в 1940-м. Почти все годы нашего студенчества шли аресты в стране, в Москве, в нашем институте. Уже тогда многие задумывались над происходящим, но вынуждены были молчать.

На распределении из четырех предложенных мест Нина выбрала Магадан. Ее спросили:

– Там у вас кто-нибудь есть?

– Нет, – ответила она, – но считаю, как врач там я нужна более, чем где-либо в другом месте.

Тридцать два года напряженного труда и жизни отдала Нина Владимировна Савоева северу и в первую очередь – отверженным. В 1972 году она вышла на пенсию и вернулась в Москву.

Илья Соболев

* * *

О Борисе Лесняке, Нине Владимировне Савоевой мне следовало написать давно. Именно Лесняку и Савоевой, а также Пантюхову обязан я реальной помощью в наитруднейшие мои колымские дни и ночи. Обязан жизнью. Если жизнь считать за благо – в чем я сомневаюсь, я обязан реальной помощью, не сочувствием, не соболезнованием, а реальной помощью трем реальным людям 1943 года.

Варлам Шаламов

* * *

В редакцию «Медицинской газеты» от Пильщикова Александра Евтановича, 1922 г. рождения, прож. Псковская обл., г. Опочка, Басковская, 50, Дом инвалидов.

Уважаемая редакция газеты медицинской в феврале 90 года от 4 февраля с/г за № 15 «Мама Черная» которая меня взволновала до боли души что некоторое время не мог прийти в себя и вот пишу а сам плачу от такого восторга который я получил ч/з вашу газету. И я тоже ей обязан до последнего часа своей жизни, которую она мне спасла от гибели.

Уважаемая Редакция Медицинской газеты во первых я вас благодарю за ваш для меня ценный опубликованный материал а вовторых прошу передайте ей пожалуйста всего ей доброго и много лет в ее жизни как стойкий мужественный человек в милосердии а мое письмо передайте хоть по ее адресу или через вашу газету дорогая Редакция извините меня за мой текст письма а писал я парализованный.

12/II-90 г.**

Пильщиков

* * *

Дорогие друзья! Ведь за моими плечами слишком много воспоминаний связано с Вами, Нина Владимировна! Лично я не могу забыть Ягодное и проведенное время там и Ваше, Н. В., отношение ко мне. Но Вас, Б. Н., помню, как Вы участвовали в моей операции. Можно забыть, что вчера кушал, а это не забывается. Может, и надо забыть, но, увы, травма осталась. Самое плохое

* Н. В. Савоева скончалась в 2003 году.

** Письма публикуются по авторским оригиналам. – Прим. сост.

место – мое одиночество. Люблю друзей. Они украшают нашу жизнь. Будьте только здоровы.

С приветом

Евгения Иосифовна*

7/1-76 г. Ростов

* * *

Первый раз я попал в больницу на прииске «Ударник» 2 октября 1947 г. В сангородке идеальная чистота и порядок. Когда я лег на чистую постель, признаюсь, я заплакал. После пережитого лагерного произвола не мог поверить в действительность. Следующий раз я попал к ней в больницу 12 февраля 1948 г. Первое мое впечатление о Нине Владимировне и ее супруге и здесь подтвердилось. В этом же году Нина Владимировна и Борис Николаевич переехали в райбольницу в Сусуман, а вместе с ними и я. Здесь была большая больница, и здесь можно было увидеть ее как администратора. Везде чувствовался авторитет главврача. Я даже удивлялся, что женщина, управляя этим всем, может пользоваться таким авторитетом.

Все работники больницы ее уважали, хотя и боялись. Многие выражали свое довольство тем, что работают у нее, зная о том, что она всегда станет в их защиту.

Ее называли «Мама Черная». Как врач была предана своей работе. Я был свидетелем, как долго после рабочего времени она оставалась в больнице и приходила домой поздно вечером. О Нине Владимировне могут быть плохого мнения только люди, которые за хлеб готовы бросить камень.

Войцех Дажицкий, ксендз

* * *

В лагере был Дом ребенка. Не такой, как на воле. В наш Дом ребенка приезжали беременные. Рожали, и до восьми месяцев им разрешалось быть вместе со своим младенцем. Потом мать отправляли в лагерь, а ребенок до двух лет оставался у нас. Потом и его отправляли на материк. Какая-то бесконечная трагедия, страшнее которой, не знаю, что может еще быть.

Главным врачом была у нас Нина Владимировна Савоева – женщина строгая, с жутким характером. Но всё мы ей прощали за ее беззаветную любовь к несчастным роженицам и малышам. Нина Владимировна была вольнонаемная. Всю свою еду приносила в Дом ребенка. Отважно шла на подделку документов, чтобы не разлучать мать и дитя. Через тридцать один год на собрании «Мемориала» я увидела ее. Она вышла замуж за репрессированного и пришла на собрание «Мемориала» вместе с ним.

Врач Ася Петровна Кирюхина
«Московская правда» от 18.02.90

* Е. И. Червонобродова отбывала срок на Эльгене. Смерть предпочла произволу – идя под конвоем с лесоповала, вышла из строя. С огнестрельным переломом костей предплечья была доставлена на Беличью. – Прим. сост.

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ – МАГАДАН

...Нашу группу врачей в Магадане разместили в бараке № 5 «Шестой транзитки». Несколько барачков этой транзитки еще оставались на Парковой улице, тогда отделенной лесным массивом от Колымской трассы, главной улицы Магадана. Тот лесной участок позже был превращен в городской парк.

Барак № 5 был преимущественно женским, его называли девичьим. На следующий день после прибытия состоялась наша встреча с начальником Дальстроя генералом Никишовым. Он объявил, что большинству из нас придется работать с заключенными, что состав заключенных весьма пестрый: есть бандиты, грабители, убийцы, насильники, но преобладают враги народа – изменники родины, шпионы, диверсанты, вредители и террористы. Поэтому при общении с заключенными нам следует быть в высшей степени осторожными, строгими и бдительными. Он сказал, что многие из этих людей способны на низкие поступки, если не сказать больше. И советовал иметь это в виду, особенно женщинам.

Затем наша группа побывала на приеме у начальника УСВИТЛА* подполковника Драбкина и у начальника Сануправления Садомотского. Всюду с нами говорили, как со слепыми. Предостерегали нас не только от возможного насилия со стороны заключенных, но и от их влияния.

Еще в пути на Колыму я познакомилась и подружилась с молодым врачом-стоматологом Верой Алтуховой. В магаданской транзитке мы поселились в одном бараке на нижних нарах. Как-то мы с ней пошли в магазин за продуктами и возвращались обратно короткой дорогой через лесок по тропе. Несли хлеб, масло, консервы. Недалеко от тропы, по которой мы шли, заключенные рыли траншею. Когда мы проходили недалеко от траншеи, из нее показалось несколько голов, заключенные что-то кричали, делали нам какие-то знаки руками. Надо сказать, мы страшно перепугались и бросились бежать. Прибежали в барак бледными и запыхавшимися. И только позже, на прииске, когда я встретилась с лагерем лицом к лицу, я поняла, что, скорее всего, просили хлеба и покурить.

А Вера Алтухова в Магадане очень меня выручила. Ее собирали на север практичные родичи со всей тщательностью и пониманием условий. У нее было две пары валенок, а я ехала в Магадан в босонож-

* Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей. – *Прим. сост.*

ках. Подъемные, которые я получила перед самым отъездом, истратила на отрез шифона и отрез панбархата да черные лаковые босоножки – то, о чем мечтала все студенческие годы. Положение мое было и смешным, и отчаянным. Вера отдала мне одну пару валенок. А шифон, панбархат и босоножки на Колыме мне не понадобились...

Свое первое назначение я получила на прииск имени Чкалова Чай-Урьинского горнопромышленного управления. То, что я там увидела, потрясло меня. Самое буйное мое воображение не способно было это представить. Вздрыбленная, вспоротая, перевернутая земля, в щелях которой копошились такие же серые, как эта земля, люди, а если точнее – тени людей, одетых в грязные лохмотья. Изможденные, серо-коричневые лица производили жуткое впечатление.

Прииск имени Чкалова возник стихийно в 1940 году на базе участка прииска «Большевик». Вблизи его были разведаны площади с высоким содержанием золота.

И приисковый поселок, и лагерь строились наспех. Я застала страшную картину неустроенности, антисанитарии. Бараки со сплошными двухъярусными нарами были плохо утеплены и плохо отапливаемы. Заключенные одеты и обуты в лагерные обноски. Осужденные по 58-й, политической статье – а они составляли большинство «списочного» состава, – резко ослаблены, истощены. Убогое, некалорийное питание. Отпускаемые по скудным нормам продукты по пути к лагерному котлу и из котла беззастенчиво расхищались. Вшивость в лагере была стопроцентной. Зимой не хватало ни дров, ни воды. Дезкамеры насекомых не убивали, а лишь делали одежду сырой, в ней люди шли в пятидесятиградусный мороз на двенадцатичасовую смену. Почти не было дня, чтобы не привозили с участка в больницу или в морг умерших в забое от общего переохлаждения организма. Отморожения были явлением массовым. Отмороженные пальцы рук и ног амбулаторно «скусывались» в день по целому тазику. Я была потрясена всем этим.

Конфликты с начальством начались чуть не с первых же дней. С моим приходом «группа В» в лагере возросла почти вдвое. «Группа В» – по шифру ГУЛАГа – временно освобожденные от работы по болезни. Начальство неистовствовало и грозило. На этой почве воевать приходилось не только с начальством. На 1-м лагпункте был заключенный фельдшер по фамилии Козлов. Он был грамотным фельдшером, осужденным по бытовой статье. Зверем его называли заключенные, и вполне справедливо. Он избивал заключенных, приходивших к нему на прием, главным образом слабосиловку из 58-й статьи. Он выгонял на работу даже тех, кто был освобожден от работы мною. Это был уже вызов. Я требовала у начальника лагеря убрать

его, перевести на другой прииск. Но у начальства он находил покровительство, он их устраивал. Кончил Козлов трагически. Я требовала от участковых фельдшеров, кроме амбулаторных приемов, контроля пищеблока, санитарного состояния бараков и санобработки людей, еще и посещения бригад на производстве, в забое. В одно из таких посещений Козлов был убит ударом кайла в голову сзади, со спины. Меня вызвали на «поднятие трупа». Я говорила начальнику лагеря Рудакову, что он добром не кончит. И оказалась права. Это было тяжелое зрелище, при всей моей несимпатии к Козлову.



Начальник ОЛПа. 40-е – 50-е годы

Приисковый вольный поселок тоже был полон своих проблем. В ноябре в столовой поселка не была крыши. Снег падал на головы и в тарелки. Замначальника прииска по хозяйству, завидев меня еще издали, скрывался за каким-нибудь домом или заходил в него. Весь поселок был покрыт наледями из помоев и отбросов – удручающее зрелище. И небо, как бы из сочувствия к нам, временами эти наледи припорошивало снегом. Когда зима была уже на исходе, я с ужасом думала, во что превратится территория поселка, лишь только пригреет солнце! Я призвала к активности население. Общими силами мы

заставили выкайлить нечистоты и вывезти их в отдаленный распадок, с таким расчетом, чтобы талые воды не смыли нечистоты в реку, из которой по всей долине бралась вода для бытовых нужд, в том числе для питья и приготовления пищи.

«Вольный стан» доставлял мне тоже немало хлопот. Зимой крупозная пневмония не щадила и вольнонаемных, несмотря на не сравнимые с лагерем условия. Летом общим бичом была дизентерия. Воду летом брали из реки Чай-Урьи, по берегам которой располагались все прииски Чай-Урьинской долины. В Чай-Урью спускались все промышленные и бытовые стоки. По словам начальника прииска имени Чкалова Фролова, летом 1940 года вспыхнула массовая дизентерия в лагере и поселке. План по золоту прииск не выполнил. Пользоваться чай-урьинской водой было равносильно самоубийству. На Колыме не роют колодцев, вечная мерзлота не дает подземных источников. Я обратилась к геологам. Они нашли родник на ближайшей сопке. По моему настоянию ключевая вода была забрана в трубы и спущена к прииску. Стан и лагерь получили чистую воду.

Не раз мне говорили в лицо друзья и недруги, что я человек весьма неудобный, обладающий удивительной способностью наживать врагов, что мой резкий, не приспособленный к компромиссам характер дорого обойдется мне. В этих словах была большая доля правды, но изменить своей природы я не могла, да и не хотела.

После окончания института, после распределения, когда стало известно, что большая группа выпускников едет в Магадан — город заключенных, — ко мне подошла секретарь директора Софья Марковна Пантелеева, уже немолодая женщина, дочь ее училась в нашем институте на курс младше меня. Она отозвала меня в сторону, в свободный кабинет директора, и, волнуясь, сказала:

— Я знаю, что вы едете в Магадан, на Колыму. То, что я хочу сказать вам, я держу в строгом секрете. Но вам почему-то я доверяю. На Колыме в лагере на прииске в заключении мой муж, я получаю от него страшные письма, он не верит, что доживет этот год до конца. Я ношу его фамилию (и она назвала фамилию). Если он вам где-нибудь встретится вдруг, помогите ему, чем сумеете.

Я дала ей слово, что сделаю все, что смогу, если встречу его. Допускаю вполне, что об этом она говорила еще кому-нибудь из нашей группы... Удивительное, почти лотерейное совпадение: не я его, а он меня нашел на одном из лагунктов прииска имени Чкалова. Он прослышал о новом враче, выпускнице 1-го московского мединститута. Конечно, я ему помогала, приносила из дома, из поселкового магазина,

что было возможно, из лагерной и поселковой аптеки давала ему рыбий жир, шиповниковый сироп, брусничный джем, которые производила колымская витаминная фабрика. Поддерживала его до 1942 года. Это тоже было не просто: такие отношения с заключенными именовались связью с врагами народа, режимная часть за этим строго следила. Да и он не один был такой у меня. Дальнейшей судьбы его я не знаю.

Еще одна удивительная встреча была у меня на приiske имени Чкалова. С Марком Такоевым, моим земляком. Будучи уже старшеклассниками, я и мои подруги считали за счастье быть приглашенными на танец под гармонику Марком Такоевым, молодым, стройным, красивым, прекрасным танцором. Он лежал в чкаловском стационаре с туберкулезом позвоночника, перебитого на следствии. Он узнал меня, не я его. То был полутруп. Он вынул из-за пазухи картонку от крышки папирос «Казбек» с изображением горца верхом на коне на фоне Казбека. Он сказал, что это самое дорогое, что он имеет, что связывает его с родиной. На обратной стороне этой картинки он написал мне письмо. Такоев был признан инвалидом, и его вскоре отправили в инвалидный лагерь на 72-й километр от Магадана. Перед отправлением он написал письмо матери и попросил меня отдать ей, когда я буду на родине. В свой первый же отпуск я просьбу его выполнила. В селе Дигора к матери Марка провожал меня муж моей сестры Сосланбек Золоев. Никогда не забуду рыдающую мать ни в чем не повинного Марка. Он был курсантом военно-морского училища в Ленинграде. Попал в эту мясорубку после убийства Кирова.

Прииски Чай-Урьи, особенно прииск имени Чкалова, укомплектовывали «отходами» и «отбросами» с других приисков по строгим разнарядкам сверху. Каждый прииск, каждый лагерь старался сбавить, в первую очередь, свою «доходиловку» и «отрицаловку». В этапах, прибывающих на чай-урьинские прииски, были вконец обессиленные люди, нередко из машин вынимали уже окоченевшие трупы... Такая рабочая сила преобладала на приiske имени Чкалова. Это было время, когда Америка еще не начала одевать и кормить не только наш фронт и тыл, но и весь тюремно-лагерный архипелаг.

Отморожения ног и рук были повсеместным и повседневным явлением. На одном из участков прииска имени Чкалова на фельдшерском пункте мне встретился заключенный хирург Коста Стоянов, бывший ассистент клиники имени Герцена нашего института. Я перевела его на 2-й лагпункт в лагерную больницу, где мы вместе организовали хирургическое отделение. Мы много оперировали вместе. Для меня, молодого, начинающего врача, это была прекрасная школа и прекрасный

учитель – умный, добрый, талантливый хирург. Он лечил уже не только заключенных, но и вольнонаемных. Я привлекла его к этой работе. Все его операции были успешными, имя его становилось популярным.

Приисковой администрации не было от меня ни покоя, ни передышки. Все, что мне удавалось выбить, выдрать, выкричать для лагеря, казалось мне каплей в море, тонуло в кошмаре лагерного бытия. Кусок не лез в горло, и сон не шел. Я чувствовала, что нахожусь на грани катастрофы, нервного срыва. Я писала рапорты во все эшелоны дальстроевской власти, вплоть до самого начальника Дальстроя генерала Ивана Федоровича Никишова, без какого-либо успеха. Лагерная администрация, охрана смотрели на меня с неприязнью и удивлением. Начальник отряда ВОХР Юрченко сказал мне как-то:

– Что-то вы больно печетесь о врагах нашего народа и нашей родины. Смотрите, чтоб не кончили плохо...

Проезжавший по Чай-Урьинской долине генерал Никишов вызвал меня в кабинет начальника прииска Фролова.

– Что вы думаете, доктор, мы не знаем о положении в лагере?! Знаем не хуже вас. Но идет война не на жизнь, а на смерть. Стране нужен металл. Без жертв войны не бывает. Не затрудняйте работу прииска. И слова свои контролируйте, – сказал он, отпуская меня.

Вскоре я была отозвана в Магадан. Меня направили в Центральную больницу УСВИТЛа заведующей урологическим отделением. В отделении работал заключенный врач, профессор Шавердов – прекрасный специалист и хороший человек. После прииска имени Чкалова работа в больнице казалась спокойной. Но передышка моя была недолгой, меня вызвали в Санитарное управление и сказали, что в Северном управлении возле Ягодного – его административного центра – находится больница Севлага, она размещена на Беличьей, в бывшем поселке геологов. Главврач этой больницы Залагаева тяжело больна и нуждается в немедленном выезде с Колымы. Выбор Сануправления остановился на мне. Так я снова вернулась в «тайгу», на «трассу». Я собрала свои нехитрые пожитки, главным из которых был чемодан с книгами, медицинскими учебниками по основным специальностям.

БЕЛИЧЬЯ

В конце лета 1942 года я приняла больницу Севлага.

Когда закончилось мое беглое знакомство с больницей, я смогла как-то суммировать свои впечатления. Первое, что я поняла, – мне предстоит изнурительная и беспокойная работа. Главным лекарственным арсеналом моим должно стать полноценное калорийное

питание. Необходимо было заменить в больнице печное отопление паровым, построить заново кухню, а также, не откладывая ни на день, начать организацию подсобного хозяйства: тепличного, парникового, огородного.

Ванн не было. В каждом отделении стояли «титаны», отапливаемые дровами. Больных кое-как обмывали в тазах и над тазами. Больные поступали завшивленными. Туалеты были холодными, примитивными. Все это надо было менять.

И тут обрушилось на меня требование режимной части и военизированной охраны: обнести территорию больницы зоной с колючей проволокой поверх забора, поставить вышки и оборудовать вахту.

Шла война. Новые этапы сократились, не хватало рабочих рук. Я заявила, что больница своими силами сделать этого не может. Нет лесоматериала, нет строителей. Медицинский персонал работает круглосуточно. Более того, я заявила, что в случае побега из больницы всю ответственность беру на себя, что надзиратели на территории больницы приносят вред, а не пользу. Стрелки бесцеремонно залезают в служебные помещения и палаты, дезорганизуют работу, нарушают санитарно-гигиенический режим больницы, действуют угнетающе на больных, что препятствует их быстрому выздоровлению, в чем прежде всего заинтересовано производство. Поэтому прошу охрану убрать.

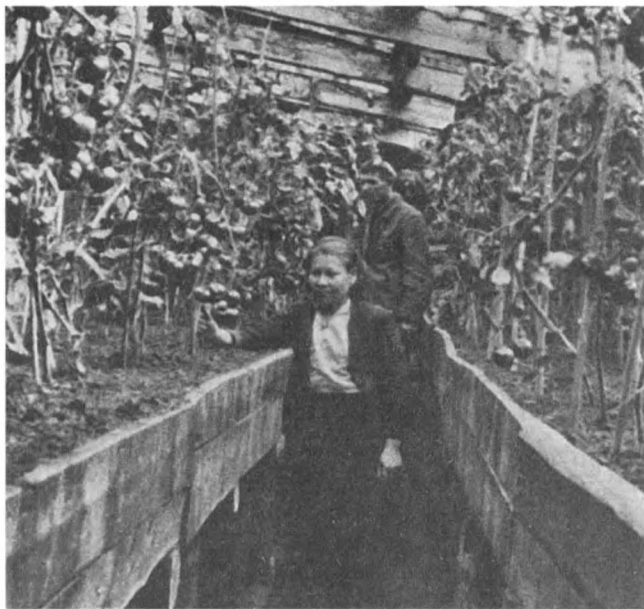
Вопрос о зоне затянулся, но охрана была снята.

Персонал больницы, на сто процентов состоявший из заключенных, более чем кто-либо способен был оценить это завоевание, ибо обретал сам пусть малую, но свободу. Я была уверена, что ни одно отделение не допустит побега. Жизнь подтвердила это.

Большой опорой, особенно на первых порах, был для меня доктор Каламбет, человек с большим жизненным опытом и светлой, трезвой головой. Он приветствовал идею создания больничного подсобного хозяйства. Среди больных Каламбет отыскал агронома Дановского, специалиста высокого класса, преданного своей профессии. Тот с увлечением взялся за дело. Вместе с ним за два года мы построили большую двухскатную теплицу с зимним обогревом, парники и освоили открытый грунт, где стали выращивать морковь, капусту, репу, брюкву, турнепс и редис. Материковые сорта картофеля за короткое колымское лето не успевали вызреть.

Уже в 1944 году в рацион тяжелобольных регулярно входили тепличные помидоры и огурцы. Квашеной капустой больница была обеспечена в течение круглого года. Другие овощи давались тертыми в сыром виде и шли на овощные рагу. В больничной пекарне было освоено приготовление лечебных дрожжей.

Летом поправляющихся, но еще недостаточно окрепших для выписки больных под присмотром фельдшера или старшего санитары мы посылали собирать ягоды и орехи. Каждый съедал сколько мог, отсыпал себе про запас, а остальное – в общую тару. Брусника хранилась на складе в замороженном виде. Из голубицы и жимолости варились густые сиропы. Зимой из этих ягод делались кисели, морсы. Собирали грибы. Их сушили, солили впрок, внося разнообразие в больничный стол, обогащая его белками. Возглавлял такие походы наш культорг тех лет Варлам Шаламов.



Теплица в Беличьем. 40-е годы

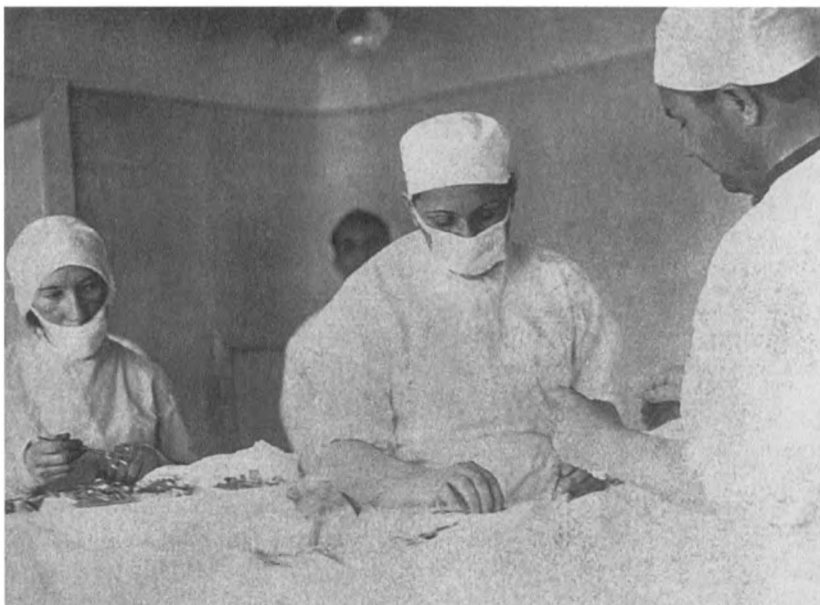
К концу 1943 года я смогла перевести больничную кухню во вновь построенное помещение. Очень нам повезло с поваром. Александр Иванович Матвеев – бывший шеф-повар ресторана Московского ипподрома – был найден все тем же доктором Каламбетом в отделении выздоравливающих. Дядя Саша, как все его называли, оказался магом и волшебником в своем деле.

В феврале 1943 года из лагерной больницы прииска «Верхний Ат-Урях» начальник санотдела Севлага Ирина Алексеевна Попова перевела в больницу на Беличью заключенных – терапевта Андрея Максимовича Пантюхова со своим фельдшером И. П. Поршаковым,

а из хирургического отделения приисковой больницы – фельдшера Б. Н. Лесняка с двумя лучшими санитарями, людьми честными, добросовестными, исполнительными. Были они немцами-колонистами: Женя Нейман и рослый старик без трех пальцев на одной руке Алоиз Петрович Гейм.

Андрей Максимович Пантюхов, выпускник Омского мединститута, был блестящим диагностом, и клятва Гиппократа для него не была пустым звуком. Иван Пименович Поршаков – бывший военный атташе в Германии, «доморощенный» фельдшер. На Беличьей проявились многие его знания и способности.

В начале 1944 года я получила возможность взять для больницы из санчасти совхоза Эльген разукомплектованную рентгеновскую установку. Поршаков смонтировал ее, довел до ума, и она заработала. Он остался при ней рентгентехником. С его помощью появился у нас и свой физиокабинет.



Больница Севлага. В центре – Н. В. Савоева. 1943 год

Фельдшер Борис Николаевич Лесняк сменил в хирургическом отделении престарелого фельдшера Блокитного, которому оставалось до освобождения несколько недель. И хирургическое отделение преобразилось: всё засверкало чистотой – от крашенных полов до окон-

ных стекол. Захламленная прежде операционная приобрела стерильную строгость, отточенные им скальпели и инъекционные иглы стали безупречно остры. Режущего инструмента, шприцев, игл катастрофически не хватало. На спинках кроватей появились подвесные дощечки, на которых крепились листки с кривыми температуры, пульса, дыхания. Это облегчало врачебные обходы, а графики потом подклеивались в истории болезни. Лесняк все делал быстро, легко, умело, но еще и красиво, особенно перевязки. Я специально иногда задерживалась в перевязочной полюбоваться, как артистично, щадяще он это делает.

Первая на Колыме станция переливания крови была создана в больнице Севлага на Беличьей. Донорами стали все желающие, прошедшие предварительное обследование, начиная от врачей и фельдшеров, кончая хозобслужбой.

Вторая станция переливания крови была открыта при Магаданской областной больнице (МОБ) хирургом Хорошевым.

Кровь донорская на Беличьей бралась в количестве не более 300 мл и не чаще одного раза в месяц. Доноры получали денежное вознаграждение и усиленное питание, в том числе свежие овощи, сливочное масло, сахар, дополнительный хлеб и табак. Одним из первых доноров стал Лесняк.

Почему я так подробно рассказываю о Лесняке? Конечно, не случайно. Москвич, мой ровесник, почти однокурсник, избравший врачевание делом своей жизни. Из врачебной семьи, из врачебной среды, наконец. Взаимные симпатии и уважение со временем переросли в дружбу. Своего расположения к нему я никогда не скрывала, что в то время было весьма небезопасно. Через год после его освобождения из лагеря мы встретились в Магадане и соединили свои судьбы. И вместе прошли еще многие испытания.

Надо сказать, что Беличья для лагерной Колымы была вопиюще нестандартным явлением. Больница-лагерь на несколько сот мест, куда попадали заключенные с самыми разными статьями и сроками, вплоть до двадцатипятилетников, не имела ни вышек, ни вахты, ни зоны, ни одного вохровца на своей территории. На всю больницу единственным «вольняжкой» была я.

Шла жизнь со своими требованиями и заботами. Во всех отделениях появились теплые туалеты и ванны с душем. На чердаках были установлены бочки, куда помпой закачивалась горячая вода. В короткие сроки была напроць ликвидирована вшивость в больнице. Добиться этого удалось двумя путями: установкой при прачечной

дезокамеры и введением в штат больницы парикмахера. Таким парикмахером-энтузиастом стал Миша Басилия – вчерашний «доходяга», поставленный на ноги Борисом Николаевичем Лесняком. Басилия был маленьким, щуплым, лысым, черноглазым, шумным и добрым. Обычно всем попавшим в больницу брили волосы, оставляли разве что на бровях и ресницах. Миша знал свое дело, и подготавливать или проверять его нужды не было.

Самая низкая смертность из всех больниц Севвостлага была на Беличьей. Но, как в каждой больнице, тем более в лагерной, смертность все же была. Шла война. В лагере не хватало обуви, белья, одежды. До моего прихода в больницу умерших хоронили без белья. Я воспринимала это как кошунство и вскоре добилась разрешения хоронить в белье «второго срока», то есть в ношеном.

Часто в бессонные ночи, когда мозг то неторопливо, то лихорадочно листает страницы прошлого, ярко высвечиваются какие-то события, эпизоды, картинки, которые в буднях жизни казались забытыми...

...Врач Носырев, оперирующий окулист, по национальности бурят. Конечно, зэка с 58-й статьей. Далеко немолодой, очень спокойный, уравновешенный, всеми уважаемый человек. И отбыл он уже более половины срока. И вдруг пришло казенное, запоздалое письмо на его имя. Его извещали не в меру компетентные органы о том, что его дочь публично от него отреклась, отказалась как от врага советского народа. Нашли ведь его на Колыме, в больнице... Кто они: фанатики, садисты, подлецы, – эти «люди нового типа»? Единственная дочь, единственно близкий человек из оставшихся в запроволочном мире... За несколько дней Носырев изменился неузнаваемо. Стали дрожать его удивительно чуткие, выразительные и подвижные, как у пианиста, пальцы.

...Присланная для лечения на Беличью заключенная Елена Владимировна – молчалива, замкнута, скованна. Доходили слухи, что в больнице УСВИТЛа на 23-м километре от Магадана арестована и осуждена целая группа заключенных за попытку написать книгу о своей тюремно-лагерной судьбе. Расспрашивать ее стеснялись, чтобы не травмировать. Создали условия максимального благопритвоания в лечении, питании, режиме. Оставили ей верхнюю одежду. Она имела возможность свободно гулять. Нет зоны, вахты, вохры! Гуляла она много, но избегала контактов.

Увезли ее так же неожиданно, как и привезли. Позже я узнала, что по той же группе были осуждены врач Федор Ефимович Лоскутов

и медсестра Валя Бумагина. С ними я впоследствии встретилась, и мы вместе работали в 1950 году в больнице Маглага.

...Прииск имени Чкалова. Конвоир принимает у нарядчика возле вахты бригаду заключенных. В одном из доходяг узнает своего отца. Через шесть часов, сдав смену, по дороге в казарму убивает себя, приставив к горлу дуло винтовки, босой ногой нажав на спусковой крючок. Первым прибывший к месту происшествия оперуполномоченный, еще до прихода врача на «поднятие трупа», находит в кармане его гимнастерки письмо на имя товарища Сталина, в котором он уверяет в невиновности своего отца и просит о его помиловании. О письме, очевидно, никто не узнал бы, не Расскажи о нем мне по «секрету» жена уполномоченного Валя, которую я лечила.

В 1972 году, выйдя на пенсию по возрасту, мы с мужем вернулись в Москву. Но лагерь навсегда остался в нашей крови. Голос его временами звучит очень громко. Неудивительно, что большая часть наших друзей – люди из-за колючей проволоки или их близкие.

БОРИС ЛЕСНЯК



Борис Николаевич Лесняк (1917–2004) – литератор, родился в Чите. До ареста в 1937 году – студент Московского мединститута. После реабилитации окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. 35 лет провёл на Колыме, из них – 18 лет в лагере и ссылке.

ВОЙЦЕХ ДАЖИЦКИЙ (ОТЕЦ МАРТЫНЬЯН)

Блаженны нищие духом...
Блаженны чистые сердцем...

Из Нагорной проповеди

16 ноября 1946 года я приехал в Магадан со Стана Утинового, чтобы встретить с последним рейсом парохода «Феликс Дзержинский» Нину Владимировну Савоеву. 20 ноября в темной камерке Магаданского загса мы «обвенчались». Санитарный отдел Дальстроя пошел навстречу и выдал нам назначения на прииск «Ударник» Западного управления, мне – на должность начальника санчасти прииска, жене –

на должность главврача больницы. Начальник санчасти прииска — первая и недолгая в моей жизни административная должность.

Хорошо зная лагерь изнутри, в первые же дни по приезде на новое место я начал знакомиться с приисковыми участками и лагерными пунктами, разбросанными на большие расстояния от центрального стана: Хадыкчан — на 20 километров, Буркандья — на 30, Табуга — на 40, и все по бездорожью. Зимой трактор прокладывал санный путь — зимник, по которому проскакивали машины — от пурги до пурги.

На один из лагунктов я пришел, как обычно, рано утром, проверил санитарное состояние территории, барачков, столовой и начал в амбулатории прием больных, освобожденных от работы. Я уже заканчивал, когда в лагерь привезли с участка ночную смену. Я попросил фельдшера обойти ночные бригады и объявить, что веду прием в амбулатории и желающие могут обратиться. Минут через десять амбулатория стала заполняться людьми.

Так как алиментарная дистрофия была основным диагнозом, главной бедой того места и времени, принято было начинать прием с внешнего осмотра: больному предлагалось снять рубаху, спустить штаны и повернуться спиной. Лагерники, особенно «доходяги», правило это знали и, не дожидаясь приглашения, раздевались сами. Весь этот ритуал не случаен. Медицинский работник получает возможность сразу увидеть и оценить общий вид больного — степень истощения, характер кожных покровов, наличие физических изъянов, если таковые имеются.

Пришедшие на прием из ночной смены стали быстро раздеваться. Один из них сразу привлек к себе мое внимание. Я сам был «доходягой», «доходяг» повидал, но то, что я увидел тогда, меня поразило. Я увидел скелет, обтянутый кожей; я не мог понять, за счет чего он удерживается в вертикальном положении. Поражала несоразмерная телу большая голова. С этой головы смотрели на меня удивительно ясные, василькового цвета глаза. Эти глаза и этот скелет являли собой такой контраст, что перехватывало дух.

Фельдшер заметил мое волнение и заерзал на стуле.

— Что, — спросил я его, — этот «стахановец» ходит на работу?

— Так он же ни разу не обращался ко мне, — сказал фельдшер.

Я подошел к человеку-скелету.

— Вы что, в самом деле ни разу не были в амбулатории?

— Не был, — ответил он.

— Почему? — вырвался у меня недоуменный вопрос. — Почему в таком состоянии вы не обратились в амбулаторию?

— Я ничем не болею, — ответил он.

— Вы же едва держитесь на ногах!

— Все от Бога, — сказал он смиренно. И чуть улыбнулся.

Я взял бланк амбулаторной карты и обмакнул перо в чернила.

— Установочные данные! — произнес я слова, знакомые каждому заключенному.

— Дажицкий Войцех Якубович, год рождения тысяча девятьсот восемнадцатый, статья пятьдесят восьмая, пункт десять, срок восемь лет.

В его речи чувствовался сильный акцент. «Кто он?» — подумал я.

— Поляк, — сказал он, как бы читая мои мысли.

— Вы кто по специальности? — спросил я.

— Ксендз, — ответил он.

— Отправьте его в сангородок на первой подводе, которую я пришлю за отобранными в больницу. Если вещи у него какие есть, сходите в барак, принесите, а он пусть ждет отправки здесь, — сказал я фельдшеру, заканчивая прием.

Месяца два колдовала Нина Владимировна над Дажицким, а потом перевела его в слабосильную команду пятичасовиков для использования на подсобных работах в лагере. Сангородок был набит до отказа, но сколько убогих и сырых тоскливо ждали своей очереди на передышку и, быть может, спасение.

Однако Дажицкого из поля зрения мы не выпускали и через недолгое время снова забрали в сангородок, определив гладильщиком в прачечную больницы. А потом взяли к себе в дом в качестве дневального, платили за него лагерю, как и все другие наниматели. Армейское слово «дневальный» вошло в лагерный обиход и вышло за его пределы, обретя несколько иной смысл. Вне лагеря под дневальным подразумевался домработник, если лагерь был мужским, и домработница, если лагерь был женским. По режимным соображениям в дневальные допускались заключенные по бытовым статьям с правом бесконвойного хождения. Пятьдесят восьмая статья к таким работам режимом не допускалась. Редкие исключения делались или для очень высокого начальства, или — вдали от административных центров — для людей с ненормированным рабочим днем, пользующихся доверием местного начальства. Такими людьми были врачи.

Вспоминается Беличья. Маленький домик главврача среди больничных бараков одной стороной смотрит на второе терапевтическое, его задворки, другой — на опушку леса, переходящую в бескрайнюю колымскую тайгу. Нина Владимировна, полная идей, планов и кипучих

чей энергии, разве только на ночлег приходит домой да перекусить, когда почувствует голод. Домом правит Нисон — дневальный, здесь он полный хозяин. На кухне возле большой кирпичной печи его железная кровать. Домовитый, неутомимый старик редко на часок приляжет днем отдохнуть. Нисон Азарович шестидесяти двух лет от роду, участник Первой мировой войны, родом из Белоруссии, говорящий с резким акцентом: «Ну, тоже — приравновав яблоки до табаки!» (приравнял яблоки к табаку). Три пальца на правой руке не сгибаются — память войны. Он мастер на все руки и без дела никогда не бывает. Осужден к десяти годам тройкой НКВД по литере АСА, что в переводе на человеческий язык означает — антисоветская агитация. Не иначе как «приравновав» где-нибудь «яблоки до табаки»...

Это Петр Семенович Каламбет, заключенный врач, заведующий первым терапевтическим отделением, с мнением которого Нина Владимировна очень считалась, посоветовал ей в дневальные Нисона Азаровича. Он лежал у него с плевритом в той самой палате, где Евгения Гинзбург в первые недели своего пребывания на Беличьей помогала фельдшеру раздавать лекарства и измерять температуру.

Ранней колымской осенью 1943 года в тот час ночи, когда сон особенно крепок, злоумышленники — по всей вероятности, беглецы — пытались проникнуть в домик главврача. Ее разбудил лягз упавшей на завалинку железной перекладки, перекрывавшей ставни. Нисон Азарович спас тогда жизнь Нине Владимировне.

В сентябре 1945 года, когда Савоева уезжала с Беличьей в Нижний Сеймчан, ей разрешили взять с собой Нисона и выдали на руки его формуляр. Летом 1947 года Нисон Азарович закончил свой десятилетний срок и освобожден из лагеря. Из нашего дома он возвращался на родину. Это обращением к Нисону Варлам Шаламов заканчивает одну из поэм тех лет, посвященных Нине Владимировне:

Кончено. Можно, вступив на крыльцо,
Видеть лицо своего «мажордома»,
Сонное (или Нисонное) вовсе лицо
При выражении — «вот мы и дома».

...Войцех Якубович Дажичкий вошел в наш дом в роли дневального, столь для него неожиданной, несвойственной и незнакомой. Мы с ним почти ровесники, тогда нам не было еще тридцати.

Войцех на свет явился седьмым из детей, младшим. По характеру был склонен к созерцанию, размышлению. Духовный мир привлекал его больше, нежели кипучая проза жизни. Мы сочувствовали ему,

удивлялись его светлой и кроткой душе, силе духа, питаемой верой. И немного завидовали.

Беря Дажицкого под одну с собой крышу, мы не ждали от него ни кулинарного мастерства, ни большой домовитости, но твердо были уверены, что при нем можем говорить, не обдумывая предварительно каждое слово. Недавно в письме Дажицкий написал нам: «Трудно представить мое чувство, когда я первый раз после произвола колымских лагерных условий очутился в чистой постели и тепле. Я тогда почувствовал, что я не вещь, а человек. И ясно, что я не мог даже сдерживать слез... Тут Вы начали спасение моей жизни. Я почувствовал Ваше гуманное отношение: Вы не делали разницы между ээком и вольняшкой, а в одном и другом видели человека. Не знаю, из каких соображений Вы взяли меня к себе. Ведь я домашней работы не знал и, как дистрофик, не годился ни к какой работе. Вы не только терпели меня в сангородке на «Ударнике», но еще забрали меня с собой в Сусуман в райбольницу».

Тогда на «Ударнике» в первые дни пребывания в нашем доме Войцех сказал мне как-то:

— Зовите меня Валькой.

— Почему? Чего ради? — не понял я.

— Здесь все зовут меня Валькой. Войцех непривычно русскому уху.

— Я буду называть вас Отче. Идет?

— Не идет, нет. Лучше Валькой.

Воспитанный в духе вульгарного атеизма, склонный к озорству и иронии, я задира, поддразнивал Войцеха, обращаясь к теме чудес, некоторых христианских догматов. Он пытался отстаивать свои позиции. Все же неравенство наших положений, пусть формальное, и бедность его русского словаря мешали Войцеху защищаться в полную силу.

Наши «диспуты» были безобидны, весьма примитивны и у стороннего наблюдателя не могли бы вызвать ничего, кроме улыбки. Я не был Луначарским, и он не был Флоренским! Однако должен сказать, что ему, Войцеху Якубовичу, я обязан пробудившимся во мне интересом к Библии — Старому и Новому Заветам.

Мы были направлены на работу в райбольницу Заплага.

Начальник лагеря прииска разрешил взять с собой в Сусуман двух заключенных — Войцеха Дажицкого и одного фельдшера больницы.

Раствление в райбольнице Заплага было феноменальным. Вся больница состояла из торговых очагов. Аптека и медперсонал торговали

лекарствами, больничная прачечная торговала больничным бельем, конбаза торговала овсом, огород — овощами. Главный врач, предшественник Нины Владимировны, военизированная охрана больницы и врачи забирали из больничного котла лучшую часть продуктов. Больные голодали. Территория больницы была завалена мусором и отбросами. Вот такое наследство приняла Савоева.

С приходом нового главврача муравейник зашевелился, насторожился и ошетинился.

Вспомнив прачечный опыт Дажицкого, Нина Владимировна поставила его в прачечную. Так одному «торговому дому» был нанесен удар.

К весне 1949 года жена получила право на отпуск за три календарных года «с использованием в центральных районах страны». Для меня это был первый выезд с Колымы и первый отдых за долгие двенадцать лет, а также встреча с сестрой и мамой.

Дажицкий оставался в райбольнице на хорошей работе с хорошей характеристикой и репутацией.

В начале 1952 года Нина Владимировна оставила лагерь и перешла работать хирургом в Магаданскую областную больницу.

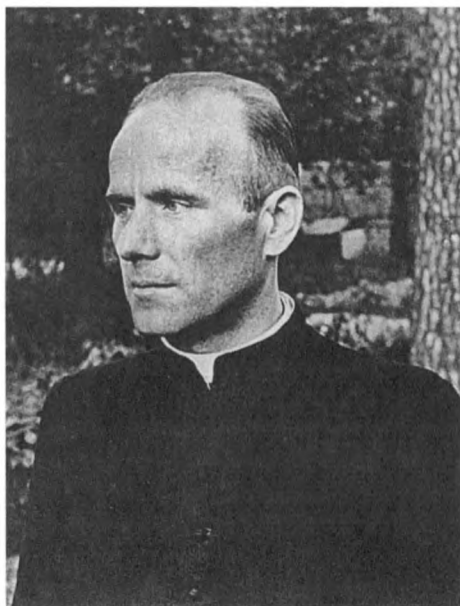
О Войцехе Якубовиче до нас доходили слухи, что он все еще в Сусуманской райбольнице на прежнем месте, даже с повышением. Теперь мы были за него спокойны. А в конце 1952 года Дажицкий, освободившись из лагеря, приехал в Магадан. Месяца два он прожил у нас, отдыхая от лагерного «коллективизма». Выезд на «материк» ему разрешили, и я посадил его в самолет, улетающий на запад...

Вот как обо всем этом рассказывает сам Войцех Якубович: «Никогда не забуду, когда в 1952 году, в самый день праздника Рождества, 25 декабря, мне удалось переночевать на 4-м километре в инвалидном бараке. Утром внезапно слышу голос, кто-то произносит мою фамилию. Не понимаю, что случилось. Прихожу в себя и узнаю голос Бориса Николаевича. Вы тогда взяли меня опять к себе и Вы меня приютили в то время, когда я скитался, не имея крыши над головой. Я не чувствовал никакой дистанции между Вами и собой. Таня (наша дочь. — Б. Л.) была маленькой остроумной девочкой, изучала стихи, а я учился от нее, и некоторые помню до сих пор, даже часто их повторяю среди моих сотрудников. У Вас я был по 22 февраля 53-го года. Было воскресенье, день выборов. Борис Николаевич провел меня до самолета».

Я всех этих подробностей не помню, не помню деталей и удивляюсь, как ему удается хранить в памяти все точные даты событий своей жизни.

После освобождения из лагеря его «вольная» жизнь на «материке» не складывалась: неустроенность, скитания, унижения, издевательства уполномоченных от религии. Только в 1957 году он получил приход с костелом в поселке Городковка Крыжопольского района Винницкой области. Здесь много поляков и украинцев католического вероисповедания. Дажицкий занял свое место в жизни и все остатки сил отдал служению людям и Богу.

Давно уже, живя в Городковке, отец Мартыньян – Войцех Дажицкий – обслуживает три прихода. Он постоянно в дороге, почти лишен отдыха.



Войцех Дажицкий. После лагеря. 50-е годы

...В 1974 году на квартире ксендза и в костеле был проведен погромный обыск. Антисоветской литературы, радиопередатчика не нашли. Даже стихов Мицкевича... Отец Мартыньян не лишен чувства юмора. В одном письме во время болезни так он определил свое положение:

«Приколот к постели, как довесок к пайке!»

В одном из писем Дажицкому я назвал себя атеистом. Он на это отреагировал так:

«...Одно Ваше слово ударило меня как бы током. Почему вы зачислили себя к числу “безбожников”? Ведь Вы всю жизнь творили

Божьи дела. Вы спасали людей несчастных, а написано: “Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, это сделали Мне” (Матфей, 25–40). Значит, не так уж плохо...

Вы же не враг Сотворителя. Вы ищите Его всегда, когда ищите правду, и, думаю, ее найдете – я этого Вам от всего сердца желаю».

Вот такое письмо. Почти отпущение грехов.

Как-то из Москвы я отправлял телеграмму Дажницкому.

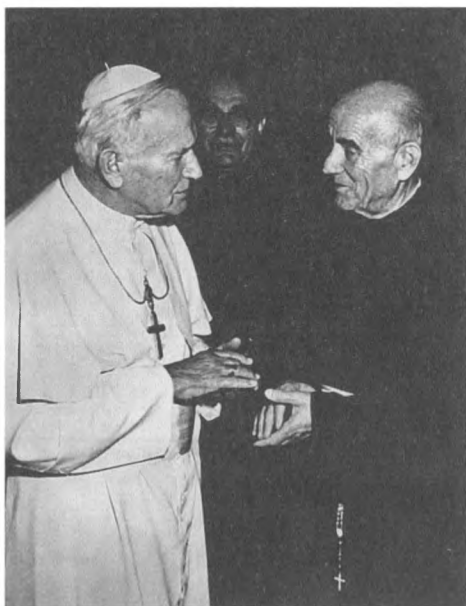
Приемщица, прочитав адрес, с недоверием поглядела на меня.

– Что, есть такой район – Крыжопольский? – спросила она.

– Есть, – сказал я. – А что вас смущает? Город Крыжополь Винницкой области. Полис – так назывался город в античном мире. Отсюда Севастополь, Симферополь, Мариуполь. А крыж – по-польски «крест».

Поселок Городковка Крыжопольского района Винницкой области находится в двадцати километрах от железной дороги. В этой глуши с 1957 года трудится скромный, безмерно уставший католический священник отец Мартынян.

И вдруг – приглашение в Ватикан.



Ксендз В. Дажницкий и Папа Римский Иоанн Павел II в Ватикане. 1990 год

30 сентября 1990 года отец Мартыньян в Ватикане участвовал в богослужении вместе с Папой Римским Иоанном Павлом Вторым во время Ассамблеи епископата.

Еще кое-что дошло до меня. Папа Римский отнесся к отцу Мартыньяну с большой теплотой и вниманием. Дажицкий получил от него индивидуальное благословение, что выпадает не каждому.

На фотографии, где Папа Римский Иоанн Павел Второй и отец Мартыньян сняты в профиль, я обратил внимание на их поразительное портретное сходство.

ЯКОВ ЭФРУССИ



Яков Исаакович Эфрусси (1900–1996) – инженер, ученый, изобретатель. Кандидат технических наук.

Родился в Одессе. Закончил Петроградский политехнический институт. Работал в Физико-механическом институте. В 1937 году арестован. Прошел через тюрьмы – Шпалерная, Кресты. Осужден по статье 58, пункты 6, 7, 9, 11 на восемь лет ИТЛ. Колыма, московская шарашка... Освобожден в 1945 году. С 1953 по 1987 годы работал в МТФЛ (Московская телевизионная филиал-лаборатория).

Воспоминания Якова Эфрусси «Кто на "Э"?» изданы Московским историко-литературным обществом «Возвращение» в 1996 году.

ЗАПИСКИ ИНЖЕНЕРА

В Магаданском пересыльном лагере я находился несколько дней. У меня украли пенсне. Откуда-то сзади протянулась рука и стащила их с моего носа. Я быстро повернулся – за мной стоял дюжий детина с равнодушным выражением лица и курил.

— Кто взял мои стекла? — спросил я.

— А я почему знаю? — ответил он.

Ясно было, что такова организация, что мне их не вернуть. Возможно, что их выиграли в карты: при этой игре урки ставили на кон любую чужую вещь в расчете потом украсть ее и отдать выигравшему.

Близоруким хорошо известно, что представляет собой жизнь без очков: все окружающее погружается в туман. Теперь такая жизнь предстояла мне надолго.

Через день или два пришел надзиратель и предложил поработать. Несколько человек согласились, и я в том числе: уж очень скучно нам было. Нас привели в Магадан, который был тогда деревянным городком, к деревянному же ресторану. Надо было убрать снег возле него, мы это сделали с удовольствием и получили в награду ресторанный обед, который нам показался изумительно вкусным.

Еще через несколько дней, когда похолодало, нас повели на отправку. Над обычной грузовой машиной был сделан из тряпок и проволоки полог; мы влезли в кузов и поехали. От полога отлетали тряпки одна за другой, и становилось все холоднее и холоднее. Постепенно стемнело. Когда я замерз окончательно, грузовик остановился около какого-то дома. Послышалась команда:

— Выходи греться!

Я, с трудом шевеля окоченевшими членами, вывалился из грузовика, вошел в дом. Там было светло и тепло, давали кипяток. Выпив кружку кипятка, я согрелся. Вновь взбираемся в грузовик, едем дальше. От полога отлетают последние тряпки, но мы уже приближаемся к месту назначения.

...Придурак завел нас в палатку и определил места обитания. Палатка широкая и длинная, со всех сторон засыпана снегом (чтобы не дуло) до примерно 1,5 метра высоты. Внутри, у стенок, насыпана земляная лежанка, на которой мы и расположились, перпендикулярно к стенкам. В центре палатки находится железная печка. Велики градиенты температуры: в середине более или менее тепло, у стенок холодно. Хлеб, положенный около головы (а другого места для него нет), замерзает так, что не разгрызешь. Его надо плотно прижать к печке торцом. Когда он оттает на глубину двух-трех миллиметров, надо сжевать этот край. Потом приложить его к печке второй раз и так далее.

Утром мы вышли на работу. Был ясный, солнечный день. Небо голубело, снег блестел. Ребята говорили, что температура воздуха около — 60° Цельсия. Действительно, было очень холодно. Из-за хронического насморка мне приходилось на морозе дышать ртом. При этом

время от времени у меня откашливались небольшие черные хлопья; старожилы говорили, что это — подмороженные кусочки легких. Может быть, они были и правы.

Руководитель работы (не придурок, а десятник из числа вольнонаемных геологов), посмотрев на меня, решил, что для копания шурфов лодом я не гожусь, и поручил мне расчистку площадки от снега под шурф. Из груды инструментов я выбрал широкую деревянную лопату и принялся за работу.

Через некоторое время я почувствовал что-то неладное с пальцами на руках, они стали какими-то деревянными. Скинул варежки — а пальцы белые. Я стал растирать их снегом изо всех сил. Это заметил десятник и поручил кому-то из работяг отвести меня в медпункт. Молодой фельдшер сказал, что дело плохо, намазал чем-то пальцы на обеих руках и наложил повязки.

— На работу не ходить, каждый день являться на перевязки, — приказал он.

Мне показали тропинку к нашей палатке, и началась скучная жизнь, целый день один, в холодной палатке. Руки болели, ими ничего нельзя было делать, даже печку топить было трудно. Вечером все работники собирались в палатке, подымали шум, затевались ссоры, иногда переходившие в драки. Однажды случилось чрезвычайное происшествие. Печка горела плохо, дрова были сырыми, и один из парней, раздобыв какую-то плошку бензина, хотел выплеснуть его в печку, но неловким движением вылил его на себя и тут же вспыхнул. Огромным факелом он метался по всей палатке, никак не удавалось удержать его и накрыть бушлатами. Наконец это получилось, огонь погасили, но парень был сильно обожжен, не мог даже ходить, и его понесли на руках в медпункт. Через некоторое время возбуждение утихло, все легли спать, а в моих глазах еще долго сохранялось это безумное зрелище: живой факел, летающий по палатке.

Чувствовал я себя очень плохо, почему-то трудно дышалось. В один из приходов в медпункт на перевязку я встал у дверей, фельдшер занимался другим больным. Потом он подошел ко мне, внимательно посмотрел на меня и велел поставить термометр. Выше 35 ртутный столбик не подымался, и фельдшер оставил меня в «больнице». Так он назвал смежную с его кабинетом комнату, в которой стояло шесть топчанов с соломенными тюфяками. Один из них был занят — на нем лежал тот самый обгорелый парень, весь в бинтах, не произносящий ни слова. В больнице было тепло, можно было раздеться. Я лег на соломенный матрас и ощутил полное блаженство.

А с руками было худо. В столовой около меня никто не хотел сидеть, так как от них распространялся трупный запах. Через день или два фельдшер сказал:

— Начинается гангрена, надо отрезать пальцы.

Хирургических инструментов у него не было, пришлось взять у сестры ее портняжные ножницы. Фельдшер посадил меня против себя, мою левую руку оголил до плеча. Сестра туго перехватила ее ниже локтя цепью, вложенной в резиновую трубку, для уменьшения потока крови. Сестра держала эту цепь в натяжении и одновременно поливала мои пальцы для дезинфекции желтой жидкостью — риванолом.

Ножницы были тупыми, отрезать фаланги пальцев было очень трудно (ведь даже суставы цыпленка разрезать затруднительно, хотя он вареный или жареный). От невыносимой боли я иногда терял сознание, потом приходил в себя, снова видел перед собой фельдшера с напряженным лицом и нахмуренными бровями, трудящегося над очередным пальцем, слева от меня — сестру, облитую слезами (так она переживала мою операцию) и поливавшую мою руку риванолом, наверху, над фельдшером, большие круглые настенные часы.

Операция продолжалась около трех часов, были отрезаны фаланги четырех пальцев на левой руке. Закончив ее, фельдшер тщательно перевязал мне руку и уложил меня на мой топчан.

Боль в руке постепенно утихала, и я с горечью вспоминал о моей скрипке, на которой мне больше не играть, о симфоническом оркестре Ленинградского дома инженеров на Фонтанке, в котором я принимал деятельное участие, о дирижере его по фамилии Сасс-Тисовский, о последней работе оркестра — концертной постановке оперы «Евгений Онегин». Потом я сообразил, что вероятность дожить на Колыме до конца моего срока ничтожна мала и сокрушаться о скрипке не имеет никакого смысла.

На правой руке отмерзли только кончики пальцев (небольшая часть фаланги), и гангрены там не было, следовательно, не было и запаха. Через несколько месяцев я упал, поскользнувшись на льду, сильно ударил правую руку об лед, и эти отмерзшие кончики пальцев одновременно отпали.

Левая рука заживала, и меня выписали из «больницы», переведя вновь на амбулаторный прием — ежедневные перевязки в пять часов.

Фельдшер время от времени меня выслушивал и заставлял измерять температуру. Как-то он сказал:

— Завтра я еду в Берелех за медикаментами, вы поедете со мной, и я вас покажу медицинской комиссии.

На другой день мы поехали. Опять было солнечно, маленький деревянный поселок, называемый Берелех, выглядел очень уютно. После осмотра меня комиссией женщина-врач провела в свой кабинет и дала рюмку валерианки, настоенной на спирту. Этот напиток мне очень понравился, хотя я водки не терплю. Видимо, мой организм был в таком состоянии, что ему требовался спирт.

Давно я не слышал такого ласкового женского голоса. Она сказала, что меня отправят в инвалидный лагерь под Магаданом, что благодаря близости моря климат там гораздо мягче и мне там будет лучше. Действительно, через несколько дней меня вызвали, перевезли в инвалидный лагерь и поместили в большом бараке с двумя рядами двухэтажных деревянных нар. Мое место было наверху. Соседом моим оказался бывший посол СССР в Иране, пожилой болезненный человек, другим соседом — молодой парень, больной туберкулезом.

В инвалидном лагере давали только 500 граммов хлеба в день. А так как остальная еда была малокалорийной, то этого не хватало. Бывший посол говорил мне, что он нарезает хлеб на маленькие кусочки и каждый из них съедает, как пирожное. Недоедание вызывает недержание. Приходилось вставать ночью и выходить из барака до восьми раз. Дежурящие по ночам придурки следили за тем, чтобы мы доходили до места, отведенного для туалета, а не останавливались вблизи от барака (правильное требование!). Указанное место было покрыто льдом, там было очень скользко. Именно на этом месте я упал, потеряв кончики пальцев на правой руке.

Надо сказать, что постоянное недоедание действует на человеческую психику губительно. От мысли о еде нельзя отвлечься, о ней думаешь все время. К физическому недомоганию добавляется и моральное, так как постоянное ощущение голода унижительно, оно лишает самоуважения, чувства собственного достоинства. Все мысли сосредотачиваются на решении одной задачи: как раздобыть еду? Поэтому у помойки, расположенной вблизи от столовой, у входа в кухню, всегда толпятся «доходяги». Они ждут, не выбросят ли из кухни что-нибудь съестное, например, капустные очистки.

Вскоре после прибытия в инвалидный лагерь непрекращающееся чувство голода охватило и меня. Мне пришла в голову дикая мысль, что врачи мне помогут получить дополнительное питание (я не сообразил тогда, что в лагере имеются десятки «доходяг», состояние которых значительно хуже моего). Все заключенные врачи использовались по специальности, их было много, поэтому больших очередей в медпункт не было.

Когда я разделся и доктор взглянул на меня, он закричал:

— Да по тебе вши ползают! Как ты смел в таком виде явиться в медпункт? Немедленно уходи.

Пришлось одеться и уйти. Теперь возникла задача избавиться от вшей. В инвалидном лагере она решалась просто: пойти в баню, сдать одежду «на прожарку», вымыться горячей водой (кусочек мыла дадут) — и все. Но этот рецепт мне не подходил: обе руки в повязках, смачивать их запрещено. Был только один выход из положения — найти лагерника, который бы взялся меня вымыть. За пайку хлеба это сделает любой. Но как лишиться пайки голодному человеку? Для этого надо быть героем. И я решился стать им. Нашел симпатичного парня, договорился с ним, и мы проделали всю эту процедуру. Тем временем я понял, что в медпункт мне ходить незачем. Но потеря пайки усилила ощущение голода, и присвоение себе статуса героя меня не утешало. Через несколько дней после моего падения на льду бывший посол среди ночи умер, и утром я обнаружил, что он холодный. На его место привели другого «доходягу». Скоро умер от туберкулеза и второй мой сосед. Вообще за один год пребывания на Колыме я шесть или семь раз просыпался рядом с трупом.

В инвалидном лагере было большое количество одинаковых барачков, образующих целый городок. Часть из них занимали урки, а один был специально отведен для «самоваров». Так назывались безногие, перемещающиеся с помощью квадратной дощечки на колесиках. «Самовары» появляются в результате обработки шурфов с помощью костра: огонь растапливает лед, размягчает мерзлую землю и позволяет копать ее лопатами, не пользуясь ломом. Но из-за большого количества талой воды уберечь валенки от промокания не удастся, а в мокрых валенках на пятидесятиградусном морозе быстро отмораживаются ноги. Почему-то «самоварами» были только урки. Видимо, более культурные политики избегали растапливания шурфов. Большинство населения инвалидного лагеря являлось «доходягами», то есть подходило к концу своего существования. Причинами были болезни, недостаточное питание и тяжелая работа (заготовка дров в лесу). Благодаря повязкам на обеих руках я все еще был от работы освобожден.

Хорошо жили придурки, у которых питания и одежды было более чем достаточно. Мне довелось познакомиться с дневальным старостой, то есть с заключенным, находящимся в услужении главному придурку — старосте лагеря. Знакомство это базировалось на том, что мы были земляками-ленинградцами. Дневальный был выбран старостой из других кандидатов благодаря своему искусству: он играл на баяне и этим развлекал старосту. Питались они оба прекрасно, главной

заботой их было — не растолстеть. Дам дневальный приводил к старосте из соседнего женского лагеря, привлекая их обильной и вкусной едой. У остальных придурков дневальных не было, но жили они тоже неплохо.

В один из первых солнечных дней после моего приезда я ходил между барачков, знакомясь с лагерем. Вдруг на меня напали четыре или пять придурков, затащили в ближайший барак и стали стаскивать с меня мои роскошные валенки.

— Что вы делаете?! — закричал я.

— Ты ведь за дровами не ходишь, можешь обойтись и этими. — Они напялили на меня обрезанные валенки и выставили из барака. Я, конечно, обиделся, но по сути дела они были правы: валенки больше нужны тем, кто ходит в лес по глубокому снегу за дровами.

С весны 1940 года в лагере поваяло либерализмом: начали издавать стенгазету, объявили шахматный турнир между заключенными. Я еще был в повязках, дел у меня никаких не было, и я начал играть. Выяснилось, что в число заключенных попали и перворазрядники, и, кажется, даже мастера спорта. Но все они были «доходягами» в крайней степени и с трудом передвигали фигуры (а при игре со мной требовалось передвигать фигуры и за меня). В результате я вышел в финал — и задумался. Несмотря на высокие спортивные звания, эти «доходяги» играют очень слабо; если собрать все свои силы, то можно занять в турнире первое место. Учитывая же пронесшийся либеральный душок, на этом можно будет что-нибудь выиграть, например, дополнительную еду.

Так я и сделал. Играл напряженно, думал подолгу, благо шахматных часов не было, и решил поставленную перед собой задачу: в финале выиграл шесть партий из шести возможных, занял первое место с большим отрывом от остальных игроков и стал чемпионом — популярной личностью в лагере. Начальником лагеря в торжественной обстановке мне была вручена награда: деревянный портсигар. Заключенному художнику заказали мой портрет; он был очень удачен и долгое время висел на стене (в стенгазете). Не знаю почему, но после этого турнира я играть в шахматы не могу, хотя люблю проигрывать партии гроссмейстеров и смотреть по телевизору уроки шахматной игры.

Деревянный портсигар меня не удовлетворил, я искал способа лучше питаться. Найдя среди «доходяг» несколько музыкантов, умевших играть на народных инструментах, я предложил начальнику лагеря организовать оркестр. Он согласился и приказал выдать нам со склада инструменты (балалайки, домры, гитары). Мы начали репетировать;

кое-кто отсеялся, из остальных удалось составить работоспособный ансамбль. Не скажу, что этот оркестр звучал очень хорошо, но можно было дать ему оценку – терпимо (на троечку). Начальнику лагеря оркестр понравился, и он приказал нам играть в столовой во время обеда.

Цель была достигнута, в столовой нас усиленно кормили, и мои «доходяги», так же как и я сам, начали заметно поправляться.

Оказалось, однако, что этот маленький оркестр нужен не только для того, чтобы подкормились музыканты. Ведь в то время никаких трансляций еще не существовало, радиоприемников у заключенных не могло быть, не было их и у придурков. Поэтому в лагере стояла тишина, прерываемая только матерной руганью урок или придурков; «доходяги» разговаривали мало, да и голоса у них были еле слышные. И вдруг появилась музыка; зазвучали старые песни и романсы, вальсы и танго, напомнившие лагерным страдальцам о прежней жизни, о друзьях и любимых, и эта прежняя жизнь показалась безоблачно счастливой, и не верилось, что она была и даже что могла быть.

Музыка взорвала тупое равнодушие, с которым доходяги ожидали приближающегося конца. Она явилась также признаком либерализации и вызвала надежду, что по окончании срока могут и отпустить, не добавляя нового. Я никак не ожидал, что наш небольшой музыкальный ансамбль окажет такое благотворное влияние на обитателей лагеря. Это влияние распространилось и на урок. Я заметил, что самые нахальные из них, всегда получавшие свою баланду без очереди, расталкивая доходяг, вдруг стали занимать очередь. Вероятно, это делалось для того, чтобы послушать музыку, другого объяснения я найти не мог.

К сожалению, мое участие в оркестре продолжалось недолго, два или три месяца, после чего произошло мое крушение как дирижера. Три совпавших события вызвали его. Во-первых, мне пришлось в голову сопровождать исполнение «Сулико» пением. Голоса у моих «доходяг» оказались гнусавыми, звучало их пение отвратительно, но, допустив его, я никак не мог отменить: им понравилось. Во-вторых, сменился начальник лагеря. Новому исполнению «Сулико» не понравилось, меня он не знал и накричал на меня. В-третьих, в инвалидном лагере появился настоящий профессиональный дирижер из Белоруссии по фамилии Трежетняк. К тому же он был осужден по 116-й статье (растрата), а не по 58-й, и, следовательно, был выше меня во всех отношениях. Его и назначили дирижером, а меня вернули в первобытное состояние.

Перед этим (вернее, в июле) начальство решило организовать субботник для прокладки узкоколейки из лагеря еще куда-то. Все мы

построились, политики и урки (кроме «самоваров») отдельно, и были выведены из ворот лагеря под присмотром придурков и настоящей охраны. Требовалось разносить рельсы из кучи по местам. Клади их на плечи восемь или десять человек, несли и по команде сбрасывали. У меня руки были еще в повязках, носить рельсы я не мог, и мои музыканты усадили меня под деревом на подстилке. Был теплый, солнечный день, и сидеть там было очень приятно.

Урки уютно устроились невдалеке от меня. Они разделились на несколько групп, каждая из которых занялась азартной карточной игрой. Все они были очень экспансивными, все кричали одновременно, так что понять их речь было невозможно.

К концу дня рельсы были разнесены по местам, нас вновь построили, и мы вернулись в лагерь. На бараках, в которых жили урки, мы увидели громадные красочные плакаты: их поздравляли с трудовой победой и благодарили за вдохновенный труд. Вероятно, администрация лагеря была очень горда своими достижениями в трудовом воспитании урок.

Вскоре после бесславного окончания моей музыкальной деятельности, в начале ноября 1940 года, мои руки окончательно зажили и с них сняли повязки. Это значило, что скоро меня потащат на работу (лесоповал). Утром будут забегать в палатку придурки и меня вместе с другими работоспособными заключенными стаскивать за ноги с нар, выстраивать во дворе и вести в лес. Там придется пилить деревья, оттуда нести бревна вдвоем или втроем, к чему я совершенно не способен. Короче говоря, скоро моя жизнь придет к концу.

Однако этот печальный прогноз не подтвердился. В праздник 7 ноября, утром, когда все обитатели нашей палатки мирно отдыхали на своих местах, вбежал придурок и стал громко выкрикивать мою фамилию, перевирая ее и сопровождая некоторыми другими словами. Я откликнулся.

— Быстро бери вещи и иди, машина ждет.

Собираться мне было недолго, на улице действительно стояла грузовая машина с крышей и скамейками в кузове. Я забрался на платформу, сел на скамейку, и машина поехала с большой скоростью, прыгая на ухабах. Надзиратель сидел не со мной, а с шофером, на мягком сиденье. Когда мы подъехали к Магаданскому управлению НКВД, он подбежал ко мне, показал часовому какую-то бумажку, повел меня вверх по лестнице, усадил на стул в коридоре и ушел. Сперва ни одной живой души в управлении не было, потом появилась уборщица. Она долго смотрела на меня и наконец сказала:

— Что же ты, милый, наделал, что тебя несколько дней все управление ищет, все на голове ходят?

— Не знаю, — ответил я.

Потом какой-то мужчина повел меня в комнату, по-видимому, служившую баней: с кафельным полом, скамейками, шайками, кранами.

— Раздевайся, будешь мыться, — раздался приказ.

— Но нет же горячей воды, — сказал я.

— Сейчас принесу.

Действительно, он принес два ведра горячей воды и мыло, а всю одежду мою унес.

— А во что же я оденусь?

— Принесу другую.

Я с наслаждением стал мыться — терять мне было нечего.

Вскоре он принес новую одежду: меховые куртку и шапку, унты, темные штаны и комплект белья. Когда я оделся, то понял, что из меня делают путешественника по Заполярью.

По нескольким коридорам меня привели в большой кабинет и поставили перед письменным столом. За ним сидело начальство (вероятно, начальник управления).

— Зачем Берия вас вызывает?

— Не знаю.

Я понял, что пришла телеграмма за подписью Берии, поэтому она вызвала столько волнений.

— Как поморозили руки?

— Варезки плохие.

— Знаю, нарочно поморозили, чтобы не работать.

Мне такая мысль в голову не приходила, хотя некоторая логика в ней была.

— Ты поедешь в Москву под конвоем.

Он нажал кнопку, вошли лейтенант и два сержанта.

— Вот с ними и поедешь. Можете идти.

Меня повели к выходу, посадили в легковую машину, и мы отправились в порт.

НИКОЛАЙ ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКИЙ



Николай Николаевич Повало-Швейковский – сын Николая Тимофеевича и Антонины Евгеньевны Повало-Швейковских. Родился в Твери 1 августа 1914 года. Был студентом-вольнослушателем МГУ на двух факультетах. Третий курс – механико-математический, и второй – исторический. 19 марта 1935 года женился на своей троюродной сестре Татьяне Николаевне Кропоткиной. 25 сентября 1936 года родилась дочь Наташа. Арестован 28 октября 1937 года.

ИЗ ПИСЕМ РОДНЫМ И ЖЕНЕ

15 июня 1938 г.

Мои любимые, нахожусь во Владивостоке на пересыльном пункте. Когда выяснится, где буду постоянно, немедленно сообщу. Вполне здоров, настроение бодрое, только нестерпимо хочется знать о всех вас. Получив это письмо, телеграфируйте о здоровье мамы, Тани, папы и дяди Коли <Николай Александрович Кропоткин> по адресу: Владивосток, СВИТЛАГ, транзитная командировка, 3-я рота, заключенному,

мне. Вслед пошлите и письмо, м. б., оно еще застанет меня здесь. Если будет возможность, то приготовьте посылку, но не отправляйте, пока не сообщу с постоянного места. Купите трубку, табаку, хоть 4 пачки сигарет «Красин», побольше дешевых конфет, лучше монпасье. Какие вещи понадобятся, пока не знаю. Надеюсь, что вы спокойно перенесете нашу разлуку и тем дадите мне больше сил. Пусть папа поможет и Тане, и маме. Крепко всех обнимаю.

Танечка, любимая моя, ненаглядная маленькая женка, все мои мысли только о тебе, только тем, что я тебе, м. б., еще нужен, я и живу. Ради всего прошлого прости те страдания, что я тебе, хоть и невольно, уготовил, полюбив тебя. Я уверен, что ты не изменилась, но мне хочется это узнать от тебя самой. Открытка твоя, которую я получил в тюрьме в январе, немного поддержала меня. Если я буду знать, что ты спокойно будешь дожидаться меня, воспитывать Натальку и, если будет возможность, учиться сама, если я буду знать, что ты по-прежнему любишь меня, то я выдержу что угодно, и 8 лет пройдут как сон, если вообще придется сидеть полностью. Пиши мне как можно чаще и подробнее, пиши о Наташеньке, о себе, о всех родных...

Навсегда твой Коля

19 августа 1938 г.

Мои дорогие, я здоров и бодр, очень хочется получить от вас всех весточку и узнать, здоровы ли вы все и как живете. Получили ли мою телеграмму, посланную отсюда по приезде? Адрес мой: ДВК, бухта Нагаево, СГПУ, прииск «Туманный»...

Буду с нетерпением ждать письма и постараюсь чаще писать сам. Желаю вам всем счастья и спокойствия, надеюсь вернуться к вам здоровым и сильным. Все, девочки, берегите папу с мамой и живите дружно.

Восемь лет не вечность, и мы еще поживем хорошо вместе.

Ваш всех Коля

19.01.1939 г.

Дорогие мои, получил за последнее время все ваши письма, посланные до 31.10, и бабушкину открытку от Х.1*. Получил дня четыре назад и посылку, посланную 30.10, опись которой получил в письме еще раньше...

Вот уже месяц, как я нездоров, лежал в больнице, сейчас освобожден от работы, но на днях, по-видимому, выхожу на работу опять. Чувствую себя неважно, сильно истощен. Зима в полном разгаре. Морозы держатся упорно около 50–60.

* Так в письме. Вероятно: 1.Х. – *Прим. сост.*

Настроение у меня спокойное. Каждое ваше письмо – праздник для меня. Жаль, что Танечка мало пишет сама, но я понимаю это, т. к. и сам пишу редко. Поздравляю вас с Новым годом, Рождеством и Таниным днем ангела.

Желаю жить счастливо и спокойно.

Сам я стараюсь не думать о дне встречи, чтобы не плакать от находящихся чувств, советую и вам тоже. Письмо вышло сумбурное, но у меня на душе тоже сумбурно...

30 января 1939 г.

Та, родная моя, целую твои ясные глазки и благословляю тебя и Наташку. Не забывай меня, ненаглядная, и, что бы ни занимало тебя, пиши мне побольше. Если бы ты знала, что значат для меня твои письма. Я не могу не быть довольным, что все дома благополучно, но иногда, перечитывая твои и бабушкины, совестно сказать, у меня щемит сердце, что все идет совсем так же, как и раньше, словно меня и не было. Это все мой проклятый эгоизм, но если еще ты меня забудешь совсем и не станешь писать, то мне будет очень тяжело...

9 апреля 1939 г.

Та, любимая моя, поздравляю тебя. Дня четыре назад получил твою телеграмму, посланную из Москвы 16 марта. В марте получил письма твои и бабушкины, посланные в декабре и январе. Прости, что не писал так долго (последнее письмо послал 20.02), но так уставал, что никак не мог собраться.

Работаю сейчас в лесу и наслаждаюсь весной, хотя здесь весна и похожа больше на нашу зиму. Ночью, утром и вечером морозы еще очень и очень сильны. Особенно неприятно еще бывает, когда дует резкий северный ветер. Но днем, если безоблачно (пасмурные дни были очень редки), солнце греет так сильно, что при работе можно скинуть и шапку. Лес здесь у нас очень суровый, исключительно одна лиственница, оживает только дятлами, звоном наших пил и стуком топоров.

Здоровье мое ничего, но сильно боюсь настоящей весны, когда начнется таяние и сырость. Как бы вновь не открылся мой скорбут. Настроение бодрое, и чувствую, что мужаю и становлюсь опытным и взрослее. Но, как и полагается бабушкиному внуку, постоянно недоволен сам собой.

Спасибо, спасибо, спасибо за твои и Наталькины фотографии. Посылай и впредь и фотографируйся как можно чаще. Сегодня получил зарплату за март месяц – 31 рубль. Узнал, что на мой лицевой счет

поступило из Москвы в марте еще 40 рублей. Спасибо большое, дорогие мои.

Письмо это пойдет 14.04.

Целую тебя, моя ненаглядная, благословляю Наталку и обнимаю всех.
Твой навсегда

Коля

4 июля 1940 г.

Та! Солнышко мое ненаглядное! Наконец-то опять собрался тебе написать после двухмесячного молчания. И опять собрался потому, что освобожден от работы. Только что выписался из больницы. Лежал дней пять, заболел гриппом. За последнее время получил пять ваших писем — два твоих от февраля, два от апреля и одно мамино от 31 марта.

Каждый раз получение ваших писем выбивает меня здесь из нормы и на некоторое время возвращает мне человеческий образ, тот, к которому вы привыкли и о котором я лишь с интересом вспоминаю. Чаше и, главное, больше и подробнее пиши, дорогая, умоляю тебя!

В одном из твоих писем были строчки, продиктованные Вевочкой*, где она описала тебя и твой костюм. Это описание *столь живо* встало перед моими глазами, *так* опять наполнило плотью и кровью Твой образ, что я *всегда* ношу с собою! Молодец Вевочка! Ее художественная натура и эстетическое воспитание подсказали ей передать мне как раз такие две-три фразы, что они полностью вознаградили меня за ее долгое молчание и с успехом заменили большое письмо...

У нас стоит жаркое сухое лето. Солнце настолько ослепительное, что глаза болят. Пыль кругом, на сопках начинаются лесные или моховые пожары, но их быстро тушат. Мухи днем. Утром, вечером и ночью — комары. Работать тяжело вдвойне — и от усилий, и от жары. Настроение у меня спокойное. Когда способен думать, вот, например, как теперь, когда отдохнул в больнице, собрался с мыслями, — то оказывается, за эти годы очень сильно постарел... Не то чтоб я утратил надежду, нет! Но просто будущего как-то нет для меня. И как настоящее уж очень малоинтересно и мелочно, то и остается одно только прошлое, а это, по-видимому, и есть свойство старости. Так что с чувством, ох, какого опытного, чуть не девяностолетнего старца гляжу я, как кругом копошатся взрослые дети, и их страсти и делишки мало меня трогают. Меня здесь нет. Я там, в Москве, в 1935 году!

* Так Коля звал Веру Александровну Миклашевскую, урожд. Кропоткину. — Прим. Натальи Пирумовой.

А то подчас и далее — в 30-м году в Ленинграде, или даже в 1920 году в Уржуме!..

У меня недавно украли брюки и в них почти все фотокарточки, что ты послала. Бога ради, пошли новые...

Твой навеки

Коля

Свидетельство о смерти № 3906

*Москворецкое рай. бюро закс**

27.06.1943 г.

Повало-Швейковский Николай Николаевич умер 20 апреля 1942 года.

О чем в книге записей актов гражд. сост. о смерти за 1942 г. 23 сентября произведена соотв. запись.

Печать

Город: неизвестно

Район: неизвестно

Возраст и причина смерти: 28 лет перитонит.

Зав. бюро ЗАГС

делопроизводитель подпись

* Так в тексте.

МИХАИЛ КРАВЧУК



Михаил Филиппович Кравчук – выдающийся математик, академик, один из наиболее деятельных и авторитетных украинских ученых 20–30-х годов нашего века.

Родился в селе Човницы на Волыни (северо-западная Украина) 27 сентября 1892 года. В 1910 году окончил гимназию в Луцке, в 1914 году – физико-математический факультет Киевского университета и был оставлен при университете для подготовки к научной и преподавательской деятельности. В 1924 году защищает докторскую диссертацию. В том же году результаты его исследований по обобщенной интерполяции были доложены на VII Международном конгрессе в Торонто. Был одним из основателей Института математики при Всеукраинской академии наук, заведовал отделом математической статистики. Научные интересы ученого широки и разнообразны, научное наследие – более 170 работ – это статьи, оригинальные монографии, научно-популярные очерки, статьи по истории математической науки, разработки украинской научной терминологии.

М. Ф. Кравчук был также выдающимся педагогом. Он преподавал в ряде высших учебных заведений г. Киева (университете, педагогическом институ-

те, политехническом институте, сельскохозяйственной академии), основал математические кафедры. Кравчук был прекрасным лектором и популяризатором научных знаний. Круг его интересов не ограничивался математикой, он дружил с выдающимися украинскими филологами, историками, поэтами – академиками Агатангелом Крымским и Дмитрием Яворницким, Миколой Зеровым, Дмитрием Загулом.

Все знавшие М. Ф. Кравчука отмечали его глубокую интеллигентность, благородство, высокие нравственные качества. Когда ему предложили быть общественным обвинителем в сфабрикованном против украинской интеллигенции процессе, он отказался от этой позорной роли, и это стоило ему впоследствии жизни.

В расцвете своего таланта М. Ф. Кравчук был репрессирован – арестован 22 февраля 1938 года и погиб в колымском лагере 9 марта 1942 года.

Галина Сытая. 1990 год

«...В ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА ОТКАЗАТЬ»

11.02.1942

Магадан, 72-й км, Инвал. городок

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Иосифович!

С июня 1941-го я не имею никаких известий от Фиры. Возможно, что письма где-нибудь застряли. Последние (июньские) Фирины телеграммы из Киева и Москвы информировали меня о ходе моего дела в Верховной прокуратуре и Верховном суде. Возможно, что пересмотр уже состоялся, но до сих пор я ничего не знаю. Не знаю, где находится Фира и дети, как живут, имее ли Вы с ними связь. Три Фирины посылки от мая и июня 1941 г. я получил, хотя и с большим опозданием. К сожалению, они скоро кончатся благодаря бесчестности многих людей. Страдаю от полной неизвестности о судьбе семьи. Прошу Вас по почте и по телеграфу сообщить мне, что знаете о моей семье, – в крайнем случае, где она находится. К сожалению, я еще не могу пользоваться телеграфом. Сообщите о решении суда, каково бы оно ни было, это мне обещала Фира.

Здоровье мое удовлетворительно, но болезнь сердца понемногу прогрессирует. Находят у меня и нелады с почками, но я в этом не уверен. Держат меня на инвалидном режиме – работаю в помещении, а не на воздухе, что зимой очень существенно.

Если возможно, то поддержите продуктами (жиры, сахар).

Ваш М. Кравчук

Это последнее (и единственное сохранившееся) письмо Михаила Филипповича Кравчука родным. Адресовано оно брату жены М. Ф. (Александру Иосифовичу Шварцману). Обстоятельства смерти и место захоронения М. Ф. Кравчука до сего дня не выяснены.

В архивно-следственном деле М. Ф. Кравчука сохранилась жалоба, написанная им собственноручно в августе 1940 года.

Председателю Верховного суда СССР,
верховному прокурору СССР
заключенного КРАВЧУКА Михаила Филипповича,
арестованного 21 февраля 1938 г.
НКВД УССР в Киеве и присужденного
к тюремному заключению сроком на 20 лет
с поражением в политических правах на 5 лет

ЖАЛОБА

Настоящая моя жалоба является третьей по счету. Первые две направлены были верховному прокурору СССР и Президиуму Верховного Совета СССР в январе и феврале 1939 г., и до сих пор (август 1940 г.) никаких ответов на них я не получал.

Я сын землемера, из крепостных крестьян, деревня Човныця Луцкого уезда Волынской губ. В 1910 г. окончил Луцкую гимназию, 1914 г. — Киевский университет по физ.-мат. факультету. С 1915 г. по 1918 г. состоял проф. стипендиатом (аспирантом) по математике при том же университете, с 1918 г. — доцентом, с 1920 г. — и. д. профессора, а с 1925 г. по защите докторской диссертации — профес. математики в университете и других вузах Киева. В 1929 г. был избран в действительные чл. Академии наук УССР. Имею более 100 опубликованных научных трудов, ряд учебников и научно-популярных работ на украинском, русском и иностранном языках.

С 12-летнего возраста сам добывал средства для жизни и помогал семье отца, в политических партиях и организациях не состоял.

После ареста мне на словах было предъявлено обвинение в принадлежности к буржуазно-националистической организации и указаны ее цели и средства к их достижению (следователи Ладков, Хазин и несколько других). По письменному изложению, врученному мне следователем, эта организация, к которой я будто бы принадлежал, имела своей целью восстановление капитализма на Украине, для чего она готова была применить террористические методы и пользоваться поддержкой фашистских государств. От меня требо-

вали прежде всего письменно сознаться в принадлежности к этой организации, а также указать по Академии наук высших руководителей организации и лиц, которые меня в нее завербовали и которых я завербовал; указать, кто меня инструктировал. Описать эволюцию моих контрреволюционных убеждений, мою контрреволюционную работу, участие в белых армиях, мои вредительские действия по специальности, мою контрреволюционную агитацию среди студентов, создание повстанческих отрядов, мою шпионскую деятельность и т. д.

Я был ошеломлен этими дикими обвинениями, разбит физически ночными допросами, в частности полным лишением сна в течение 11 суток, обострением болезни сердца; мерами прямого физического воздействия; морально на меня воздействовали криками, стонами истязаемых в соседних комнатах людей. Сломали меня окончательно угрозы – в случае заперательства и отказа принять на себя несовершенные преступления арестовать и уничтожить мою семью. Ради спасения семьи я решил оклеветать себя – тем более, как было вполне ясно, мои обвинители, сами не веря своим обвинениям, имели совершенно определенную цель – сделать из меня преступника.

Я начал изображать более или менее правдоподобные – а часто и совсем нелепые – истории с помощью товарищей по камере и записывать их в виде показаний. Так появилось признание, что я принадлежал к националистической организации, в которую перешел из других, ранее существовавших, в частности из СВУ (о которой я в свое время впервые узнал из газетного сообщения о ее раскрытии), куда я попал из какой-то еще более старой организации; что я завербовал в националистическую организацию нескольких лиц, которым, однако, факт их вербовки остался неизвестен; что Затонский инструктировал меня по делам организации, однако мне не удалось указать место и дату свидания с ним. В моих показаниях мои интернациональные позиции в комиссии по разработке украинской математической терминологии превратились во вредительские; участие в разоружении полиции во время Февральской революции – в принадлежность армии Центральной Рады; работа под руководством партийного комитета Академии – в выполнение заданий националистической организации; спортивные кружки при Академии – в повстанческие отряды и т. д. Не мог согласиться только на слишком гнусное требование признать себя шпионом и не сумел придумать для себя вербовщиков в организацию.

В минуты просветления, когда мне ясно представлялась вся мерзость самоклеветания и когда я решал покончить самоубийством,

чтобы избавить семью от угрозы ареста, а себя от физических и моральных мучений, я письменно отказывался от своих лживых показаний. После таких деклараций ругательства, угрозы и репрессии со стороны следователей усиливались, в результате чего я продолжал катиться по наклонной плоскости самоговора.

К концу мая 1938 г. следователи состряпали протокол моих показаний, который от содержания показаний был почти так же далек, как сами показания от истины, и заставили меня его подписать. В нем указывалось на мои мнимые связи с националистическими деятелями, на известную будто бы мне деятельность организации по созданию повстанческих отрядов, на мою руководящую роль в одной из ячеек националистической организации и на другие столь же фантастические вещи.

В сентябре новые следователи, в ведение которых я был передан, провели меня через свидание с прокурором, предупредив, что оно будет происходить в их присутствии и чтобы я не вздумал отказаться от ранее подписанных показаний и протокола. Я выполнил и это требование, мечтая о скорейшем окончании этой лживой комедии. Перед судебным заседанием следователь опять посоветовал мне не отказываться от подписанных показаний, т. к. и после суда я не выйду из сферы влияния следственных органов. Обвинительное заключение, врученное мне ночью, часов за 10–12 до суда, инкриминировало мне, как и протокол следствия, общие вещи: принадлежность к организации, признающей террор, националистическую деятельность, связи с контрреволюционерами — без указания на какие-либо конкретные преступления. Суд после полутора-двухминутного опроса прибавил, тоже без конкретизации, вредительство на культурно-научном фронте.

Решительно отвергаю свою принадлежность к националистической организации и заявляю, что о существовании ее мне ничего не было известно. Уверен, что в этом не сомневалось ни следствие, ни те клеветники, которые из зависти и других низменных побуждений приложили столько усилий, чтобы меня уничтожить. Как показывает вся моя жизнь, состав семьи, родственные связи, состав учеников, научная и педагогическая деятельность — моя позиция в национальном вопросе никогда не была националистической. Я участвовал в украинизации, проводившейся партией и правительством, сам добросовестно украинизировался (по крайней мере, в области моей специальности) и бесплатно помогал в этом профессуре и студенчеству. Если в этой моей работе были ошибки, то они объясняются перегибами, допущенными в руководящих органах.

Состояние моего здоровья почти освобождает меня от личной заинтересованности в пересмотре моего дела. Но восстановление истины важно само по себе. Поэтому я прошу пересмотреть мое дело, подвергнув меня в случае надобности новому следствию в условиях, которые дали бы возможность избежать ложных показаний.

Михаил Филиппович Кравчук

16 августа 1940

Адр.: Магадан, почт. ящик 261/5

Михаилу Филипповичу Кравчуку

Жалоба, как и две предыдущие, никаких последствий не имела. Только в 1945 году после очередного ходатайства жены М. Ф. Кравчука (еще не знавшей о смерти мужа в 1942 году) дело было направлено на рассмотрение старшему следователю следственной части НКГБ УССР Салацкову. Его вывод был таков:

«Принимая во внимание, что виновность КРАВЧУК следствием доказана, и учитывая, что проверка, которая производилась Военной прокуратурой КОВО* в 1939 году, никаких изменений в дело не внесла,

ПОСТАНОВИЛ: В ходатайстве Кравчук Михаилу Филипповичу о пересмотре дела ОТКАЗАТЬ».

С этим решением «согласны»:

«Нач. 4-го отделения следчасти НКГБ УССР капитан Скитев
Нач. следчасти НКГБ УССР полковник Павловский.
31 октября 1946 года».

Лишь в 1956 году Михаил Филиппович Кравчук посмертно реабилитирован. Восстановлен в звании действительного члена Академии наук Украины 20 марта 1992 года.

* Киевский Особый военный округ.

БОРИС БАБИН



Борис Вячеславович Бабин (Корень) – видный деятель партии социалистов-революционеров. Родился в 1886 году. С начала 20-х годов многократно арестовывался; несколько раз вместе с женой отбывал ссылку.

Специалист по научной организации труда.

В апреле 1937 года арестован в Москве, 20 мая 1938 года Особым совещанием приговорен к восьми годам ИТЛ. Этапирован на Колыму. Там одновременно с ним отбывала срок его жена Берта Александровна Бабина. Ей удалось сохранить и вынести из лагеря его письма.

Погиб в 1945 году.

ИЗ ПИСЕМ К ЖЕНЕ

16 октября 1938

Милая, родная моя подруженька!

Получил от тебя первую весть – и с ней взошло для меня солнце на Колыме.

На фотографии Борис Бабин и его жена Берта Бабина-Невская.

Как же далеко ты залетела, моя пташечка, и как переносишь сейчас морозы и трудности быта? Как здоровье, как бедные рученьки — сильно потрескались?.. Не могу себе представить тебя лесорубом, но надеюсь, что ты найдешь в себе способности и умение справиться с любой самой трудной и тяжелой работой — лишь бы дождаться нам новой встречи, единственной моей мечты. — Целую тебя крепко.

Твой Б.

От сына не имею еще никаких вестей и не знаю, где он.

3/XII 1938

...Мне нужно было во что бы то ни стало видеть живые строчки, написанные твоей рукой. Наконец я их получил — твою открытку...

Сейчас мои физические дела идут заметно на поправку. Цинготные раны зажили, осталась лишь свинцовая тяжесть в ногах; сердце немного отдохнуло, но не настолько, чтобы я мог совершать длительные усилия на общих работах. Поэтому до 15/XII я имею еще освобождение от работ. Надеюсь, что дальше учтут мое состояние и дадут работу более или менее отвечающую ему..

На днях я получил из Москвы телеграмму, к сожалению, без подписи, сообщающую о местопребывании нашего сына. Это — Усть-Утинское, место, как видишь, птичье; но теперь там много промзаведений, и я думаю, Ластонька там работает по специальности. Это меня очень успокоило — в особенности то, что этот птенец нашелся...

Твой Б.

22 дек. 1938 г. — 3 янв. 1939 г.

Милая, дорогая, сердечушко мое!

Наконец-то опять от тебя открытка — самый сильный из всех витаминов, самое чудодейственное колдовское питье, переносящее меня вдруг через снежные пустыни, дремучую тайгу и голубые сопки в твое милое общество, в твою палатку, к тебе в гости. Ну, давай заварим самого натурального грузинского чаю (у меня есть чай с цветком, как я тебе уже писал), подогреем на железной (а у вас, может быть, кирпичные?) печке ломтики хлеба и с конфетами вприкуску позабудем на минутку о том, где мы, и порадуемся реке жизни, несущей свои волны мимо нас. О, эта река! Глядеть на нее и не иметь возможности спустить лодку, чтобы отдаться ее волнам, чтобы грести изо всех сил, наслаждаясь солнцем, и ветром, и качкой...

* Игорь — сын Берты Александровны и Бориса Вячеславовича Бабиных. — *Прим. сост.*

Итак, мы уже не в палатке, а на берегу реки, вроде Сысолы, сидим с тобой вдвоем и смотрим вдаль... Пусть бы это была какая-нибудь Ута, какой-нибудь приток Колымы – нам большего не надо, лишь бы вдвоем, рядом, неразлучно.

Посидим же вместе у огня, помнишь – «печку мою топлю золотыми дровами». Два периода нашей жизни я чаще всего вспоминаю, когда мне удается отрешиться от жужжания этого улья, в котором я прозябаю. Один из них тот, когда ты топила печку и не хотела, чтобы я глядел на ее огонь; этот период я люблю – люблю потому, что это, кажется, единственный период в моей жизни, когда я по отношению к любимой был безупречно бескорыстен. Другой из них тот, когда мы с тобой выходили по вечерам побродить по высокому берегу Клязьмы за давно развалившимися стенами владимирского кремля; этот период всегда волнует мою память именно потому, что, кажется, только тогда я впервые узнал, как хорошо уметь полностью отрешаться от забот и зlob дня – и не думать о том, что было вчера и будет завтра...

Во все другие периоды мне такая степень беззаботности не давалась.

Все, что я говорю, не значит, что я не возвращаюсь мысленно к другим периодам, к другим «страницам книги нашей судьбы» – как я теперь вижу (в чем с тобой вполне согласен), безусловно прекрасным – прекрасным потому, что нам было дано счастье беспредельно любить и узнать, что эта наша любовь – «неподвижное солнце», не заходящее никогда, не перестающее светить и греть, как бы тяжело ни складывалась наша жизнь; и потому еще прекрасным, что мы никогда не проклинали и не проклинали нашей судьбы, оказались выше личных невзгод...

Вот и сейчас, здесь, у печки за чаем, нам с тобой так хорошо – просто до слез хорошо, моя родненькая.

Но у нас с тобой целый пир: хлеб прекрасно выпечен, чай горяч как огонь, есть еще кусочек сала – и для такого торжественного случая я купил у одного из соседей сухого компота; чего же еще? Конечно, хорошо бы поставить на столик вазочку с веткой лиственницы или кедра, – но и без нее мы счастливы. Вот бы для полной беззаботности получить весть от сына. Я ничего не имею от него, писал много запросов в разные инстанции, но не получил ответа.

Шура телеграфировала мне, что он в Усть-Утином, но это не похоже на твои более поздние сведения. Я не успокоюсь, пока не получу открытки от него. Видишь, река покрывается туманом, не видно того берега, наш чай теряет свой вкус...

Но все же я побывал у тебя мысленно в гостях, мы согрелись у зажженной тобой печурки — когда же мы сможем и в самом деле затопить вновь наш домашний очаг? По беззаботности пусть он наминает владимирский период...

28 марта 1939 г.

Солнце мое, подруженька милая, ненаглядная!

5 марта я получил официальный ответ на многие мои запросы, что наш сын находится в ОЛП ЮЗГПУ*, — тем более мне непонятно его молчание.

Ты пишешь, моя родная, что упала в лесу, в результате чего была активирована, а затем освобождена от физической работы. Я не верю тебе, что ты упала, думаю, что с тобой было более тяжелое несчастье, — представляю себе ясно, как мужественно ты его перенесла, радуюсь, что, в основном, оно уже в прошлом, и крепко обнимаю тебя, не отнятую у меня совсем этим неизвестным злым несчастным случаем.

Будем все же надеяться, что молчание Игоря — какая-то техническая случайность, неполадка, и только (хорошо сказать — «надеяться»!). И будем еще надеяться, что скоро начнется широкая колонизация Колымы — и нам позволят поселиться на этой земле вместе, чтоб на закате наших дней отдать ей наши последние силы вольных трудящихся, всю жизнь отдавших мечте...

Мечта о счастье всех людей — наша мечта, светившая нам на всем нашем жизненном пути, согревает нас и здесь, — она даст нам еще больше тепла и света, когда мы будем вместе. А что мы скоро будем вместе — я верю непреклонно...

<Письмо не датировано>

...От Игоря, кроме телеграммы, о которой тебе писал, я больше ничего не получил. Но теперь я спокоен, что он жив и здоров. Получила ли ты от него что-нибудь? Думаю, что для него не исключена вероятность скорого возвращения домой. У нас очень многие получили вести из дому о том, что такие-то и такие-то их знакомые или приятели уже дома. Конечно, Колыма больше других краев нуждается в рабочих руках, и до нее волна пересмотров докатится позже, но все же, надо думать, административные решения дел как-то и когда-то будут подвергнуты ревизии. А нам с тобой не стоит об этом думать, нам бы только скорее дождаться конца разлуки, правда?

* Отдельный лагерный пункт Юго-Западного горно-промышленного управления (Дальстроя). — Прим. ред.

Магадан, 15/XI 39

Милая, славная моя подруженька!

Вернувшись из Сангородка, я нашел на почте от тебя письмо и открытку. Всякая малюсенькая открыточка, приходящая из Эльгена, для меня – величайшая радость, а письмо после долгого перерыва, полное до краев твоей душой, – это целая эпоха в моем утомительном путешествии на разбитом корабле Мечты по океану Жизни.

Ах, путешественники, путешественники, искатели новых земель, как я теперь понимаю тоску ваших взоров, вперенных в неведомую даль! Но вы не получали писем из Эльгена!..

И вот твое письмо, и вот твоя душа. О, мой мерцающий в море маяк, о, мое солнце в полярной ночи!

...В больнице дело обошлось без операции...

Лежа там, в достаточно культурных условиях, я все думал о тебе, о нашей дружбе, нашем счастье и наших несчастьях. За многое в прошлом, как полагается, грызя себя не хуже Пушкина...

Я наблюдал лежавших в палате людей, слушал их рассказы об их уголовном прошлом, об их романах и отношении к женщине... думал о Достоевском, Пшибышевском, как о скромных младенцах, побоявшихся до конца обнажить душу человека вне нормы, и о Ницше, так ловко одурачившем иных-прочих своим достойным сожалением «сверхчеловеком»... Прочитал несколько довольно бездарных рассказов в одной из книжек толстого журнала и интересный отрывок из большого романа Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», относящегося к эпохе осады Севастополя французами и англичанами в 1856 году.

И что бы я ни слушал, что бы ни читал, я всегда думал еще о двух ушах и еще двух глазах, которых нет здесь, рядом со мной, и без которых звуки и образы для меня слишком мало «спектральны»...

Много думал и о Ластоньке, вспоминая о наших последних встречах. Сколько радости доставили они мне, как он был трогательно ласков, заботлив и нежен!

И если он был таким со мной, можешь себе вообразить, каким бы он был с тобой – всегда умевшей так непосредственно и живо выражать свою необузданную материнскую любовь к нему. Теперь он очень ценит эту любовь и эту твою манеру выражать ее.

Быстро пробежали часы этого общения с милым птенцом после долгой разлуки перед новой неизвестностью. Но эта неизвестность меня почти не тревожит...

Он подарил мне еще одну теплую вещь, которую я буду носить всю зиму. Хотел подарить прекрасные меховые перчатки, но я не взял их у него, а на следующий день их у него украли работающие с ним «сверх-человеки».

Магадан, 5/XII 39

Последнее письмо от тебя, бесценный мой друг, было от 30/X – открытка, принесшая мне много света и радости. Но из нее я вижу, что ты в то время еще ничего не знала о перемене в судьбе Ластоньки, между тем как еще числа 10/X он писал тебе и послал денег. Получила ли ты его письмо и деньги?

18/X он отбыл на «Джурме», причем ему неизвестно было, почему его вызвали на «материк». Никаких жалоб никому он не подавал. С тех пор я от него не имею никаких вестей и, по моему обыкновению, снова тревожусь.

Вызов его я рассматриваю как положительное событие, но все эти длинные 12 000 километров все-таки – очень тяжелый путь. Бедная Ластонька, где он в эту минуту?

Любопытно трансформируется психика человека под влиянием непрерывных, долго длящихся ударов судьбы: она перестает нормально воспринимать закономерности жизни – всюду она ждет новых козней злой судьбы. Сколько настрадался я, сколько растратил душевных и физических сил, чтобы заставить спокойнее относиться к многомесячному молчанию Ластоньки, а он, оказывается, в это время прекрасно жил-поживал, хорошо работал, писал мне – но письма по непонятной причине ко мне не доходили. Помнишь, я дошел до такого состояния (явно ненормального), что перестал писать тебе, – и этим поставил тебя в такое же тяжелое положение, в каком находился сам. Казалось бы, я должен был бы поступать наоборот – писать тебе чаще, делиться с тобой моей – нашей – болью, и мне было бы легче. Но это было выше моих сил, потому что я тогда потерял «жилу жизни». Закалился я с тех пор? Ведь Колыма-то должна закалять?!

Не знаю. Считаю, что возможна большая закалка... Вот у тебя она гораздо больше – ты удивительнейшая из всех известных мне женщин, недаром в таком восторге именно от этого твоего качества одна из твоих сокамерниц – помнишь ли ты ее, – Липа.

Какое великое счастье послала мне когда-то судьба, дав тебя в спутницы на необычайнейшем в истории столетий пути; но какую дорогую плату она взяла и берет еще с нас обоих за это редкое счастье! Что поделаешь, у судьбы своя двойная бухгалтерия –

Радости нет без печали, —
 между цветами — змея...

И если отдельным людям приходится дорого платить за каждую каплю счастья, то как же дорого должно стоить счастье человечества? Пусть же наши страдания будут записаны в «дебете» великой голубиной книги счастья человечества, «ширина ее двадцать сажен, длина ее сорок сажен»...

<Письмо не датировано>

...В нашей палатке живут около 50 человек — слесаря и плотники. Нары ввиду ограниченности площади — сплошные, все постели — рядом, тумбочки вынесены. Мой сосед кузнец спит очень беспокойно, размахивает руками и ногами, резко, порывисто поворачивается с боку на бок, будит меня много раз в ночь. К счастью, теперь, при ночной работе, я не имею удовольствия получать от него тумаки. Сегодня у нас своеобразный выходной день без права выхода из палаток — идет какая-то перепись.

Так и бежит это тусклое время, все еще я не привык к этой бивуачной жизни среди людей совершенно чуждого мне ритма и, должно быть, никогда не привыкну.. К великому моему счастью, я теперь хоть полчаса в день читаю беллетристику, а когда ее нет — технику. Это позволяет мне хоть частично спасти отмирающий рефлекс чтения.

...Перечитал посмертный сборник стихотворений Брюсова. Нашел, что я этого поэта недооценивал, или же, наоборот, в сборник попали менее «холодные» стихи, которые он не решался публиковать при жизни. Но я недооценивал и богатство его техники и ритмов. Книга доставила мне много наслаждения, думаю, что и тебе бы многое в ней понравилось.

27/IX — 43 г.

Милая моя подружка!

Сегодня получил от тебя два письма — от 19–21-го и от 25-го.

...Радость моя по поводу реабилитации Ластоньки — несказуема. От него я не получил еще телеграммы, но от тети Тани получил поздравление — от 20 августа. Почему же Ластоньку продержали в неволе дольше, чем Женю? Была ли это неволя или «полуневоля»? А сейчас, конечно, реабилитация дана ему за большую и ценную работу*. Лишь

* В заключении Игорь Бабин работал в «шарашке» с авиаконструктором А. Н. Туполевым. — *Прим. сост.*

бы он не вздумал теперь хлопотать о нас. Авось как-нибудь дотянем до дня, в который и нам засветит закатное солнце воли...

Последние 5 дней я ежедневно ходил в лес за 4–5 километров на ударники – лесосплав. Сильно натрудил свою ногу и однажды промок под дождем с головы до пят, – до ниточки, но не схватил даже насморка. Это хороший экзамен для легких.

Я нахожусь на больничном питании, которое дано мне до 15 октября. Так что не волнуйся на сей счет, не стоят *оне* безумной муки. Вот стихи твои пришли наконец, я с великой тоской жду их...

45 г.*

...Вот я опять пришит к койке. Сегодня последний раз выйду «в свет», чтобы закончить лечение зуба, а затем – сдаю одежду в каптерку и принимаю горизонтальное положение. Сердце оказалось настолько слабым, что врач посоветовал лучше всего еще полежать, иначе ничего не выйдет с лечением язвы на отекающей ноге, а запускать язву, как и сердце, перед выходом на волю я считаю совершенно неразумным, это значило бы сразу оказаться в тягость близким, в том числе и моей маленькой подруженьке. Так что думаю, до конца месяца меня потерпят здесь, а там видно будет...

<Письмо не датировано**>

...В этой области жизни моего «я» сбылось *все решительно*, что я когда-либо просил или осмелился бы просить у судьбы. Я хотел любви девушки, поразившей меня своей необычайной красотой и невыразимым обаянием, – и любовь эта была мне дана. Я хотел, чтобы эта моя и ее трогательная и страстная любовь стала видимой – и она стала ярко видимым живым человеческим образом – прекрасным во все периоды его развития – от нескольких недель после рождения, месяцев и лет раннего детства, лет отрочества, юности до трех десятилетий полноценного мужа-человека. И в содержании жизни этого тридцатилетнего человеческого существа отразилась вся многогранность, вся солнечность и вся многострадальность извечной и вечной связи – любви двух сердец во вселенной, – любви, ставшей видимой...

...Мне хотелось, чтобы из моей Ластоньки выросла та во всех отношениях – физическом, психическом и опытно-жизненном – *гармоническая личность*, которая была идеалом моей социальной мечты, когда я пошел в «аргонавты»...

* Пометка Берты Александровны Бабиной.

** Рукой Берты Александровны: «Примерно за полгода до смерти». – Прим. сост.

И то, что мне с таким трудом далось в результате 60-летнего пути, мое с тобой новое произведение человека легко и полностью взяло за вдвое более короткий путь! Чего же боле, что бы я мог еще просить у судьбы?

Вот он, *мой человек, мой идеал человека*, лучше которого я не желал и не искал. Вот он, синтезировавший все заветное человеческое, что вынашивали мы с тобой. Вот он, уже в житейском великом и трудном опыте постигший правду-истину, правду-справедливость и правду-красоту.

О, если бы все люди человеческого улья были такими, как наша с тобой видимая любовь, как наш сегодняшний бесценный юбиляр* — социальная проблема была бы решена много скорее и легче!

Одно любопытное маленькое замечание. Помнишь, нас с тобой удивляла в маленькой Ластоньке странно подчеркнутая холодность сердца. — «Что ты сделаешь, если мама умрет?» — «Пойду в кино, все равно ведь смерть непоправима!» Сейчас он так не ответит. Посмотри, как тревожны все его письма, как беспокоится он о состоянии здоровья старых беззубых пеликанов...

В итоге всего так пережитого я наконец до глубины глубин понял жизнь — ... я достиг все-таки того, о чем всегда мечтал: я увидел, что у меня есть совершенно ясное, во всех своих частях абсолютно непротиворечивое, законченное и гармоничное миропонимание, — у меня есть моя философия. Она в гармонии с моими прежними исканиями, но они в сравнении с ней — «разыгранный Флейшиц руками робких учениц».

Родненькая! А сегодня такой злой осенний ветер и в трубе «без конца, без конца звуки чьей-то мольбы»...

О, пережить бы эту зиму, которая, кажется, в отместку за прошлый год собирается быть очень выюжной!..**

Твой Б.

* Письмо написано накануне 30-летия Игоря Бабина. — *Прим. сост.*

** В марте 1945 года Борис Вячеславович Бабин был этапирован из Магадана в один из лагерей. Заключенные сидели в кузове грузовика «елочкой». Когда прибыли к месту назначения, Борис Вячеславович был мертв. Берта Александровна узнала об этом от расконвоированного заключенного соэтапника Б. В. Бабина. — *Прим. сост.*

ПЕТР РУЛИН



О МОЕМ ОТЦЕ

Мне было только 19 лет, когда трагические обстоятельства разлучили меня с отцом. Много десятилетий минуло с того времени, к сожалению, я не могу похвастаться цепкой памятью, а когда я попыталась собрать то, что я могу вспомнить, меня поразило, как это мало в сравнении с тем, чего заслуживает Петр Иванович.

Отец Петра Ивановича – швед по национальности, Иоганн Фридрих, из семьи небогатых фермеров, смолоду отправился на заработки в Россию. Мать его, Клавдия Викторовна, из старинного купеческого рода Григорович-Барских.

Петр Иванович окончил реальное училище, затем историко-филологический факультет при Киевском университете, получив за дипломную работу о Мольере золотую медаль; был оставлен на кафедре профессорским стипендиатом.

Несмотря на свою большую занятость, отец находил время поговорить со мной, а в выходные дни и поиграть. Он искренне любил детей, и дети платили ему любовью, не только не боялись его, но вели себя с ним, как с равным. Моя маленькая подружка говорила ему «ты» и звала его Петух. Он любил брать нас на плечи и носить по комнатам.

На протяжении если не всех семи, то пяти лет наверное отец заставлял меня записывать в толстую тетрадь впечатления от прочитанных книг. Мне это очень не нравилось. Сначала мы сидели за этим делом вдвоем с отцом или мамой, потом я писала самостоятельно и отдавала ему написанное на проверку. Чтобы познакомить меня с историей, отец давал мне читать специальную литературу, иногда рассказывал что-нибудь во время встреч за столом или редких прогулок. Отец заботился не только о моем образовании, он хотел, чтобы я стала настоящим человеком.

Вспоминаю, когда-то я сказала: не люблю поляков. Как рассердился отец! Он долго говорил со мною: «Нельзя не любить весь народ, нет плохих народов, есть плохие люди». Эти слова запомнились мне на всю жизнь. Ему был органично чужд национализм в любых формах и проявлениях.

Несмотря на свое гуманитарное образование, Петр Иванович прекрасно знал математику. Иногда, когда я не могла решить какую-нибудь задачу, обращалась к нему за помощью. Папа ставил наводящие вопросы, кое-что объяснял и отправлял меня, чтобы я сама ее закончила, а если задача, по его мнению, была легкая, то совсем ничего не объяснял и заставлял меня думать саму. Я считаю, что хорошему знанию математики я в значительной степени обязана отцу, приучившему меня думать самостоятельно, без подсказки.

Я прожила уже довольно долгую жизнь, но могу сказать, что редко мне приходилось встречать человека, который умел бы так, как Петр Иванович, организовать свое время, беречь каждую минуту и столько успевал сделать. Каждый день был у него расписан в блокноте по часам. Он был научным сотрудником Академии наук, преподавал в театральном институте, заведовал кафедрой истории театра, некоторое время был деканом театрального факультета, был директором театрального музея, писал научные труды, регулярно бывал в театрах и часто выступал с рецензиями на новые спектакли, знакомился с новинками театральной литературы, много читал, выписывал большое количество книг и журналов, советских и зарубежных. Много времени отдавал работе в библиотеках Киева, Москвы и Ленинграда. К нему приходили студенты. Часто засиживался за полночь в своем кабинете.

Отцу было свойственно чувство юмора. Он любил шутки и сам умел сказать острое словцо. Я и сейчас помню его смех лучше, чем голос.

Отпуска отец, как правило, использовал для написания своих работ. Только два раза мы втроем ездили в Крым и один раз на Кавказ. Когда же мы выезжали недалеко от Киева, отец большую часть времени проводил дома за работой, а к нам приезжал изредка. И даже в свое последнее лето на воле, в 1936 году, он все обещал приехать к нам с мамой в село Плоты, где мы отдыхали, и наконец приехал-таки недели на две. Так было всегда: работа, работа, работа и неумение и нежелание подумать о себе, о своем здоровье.

Почти столько, сколько я себя помню, дома у нас ежедневно звучало слово «музей». В моем детском воображении оно воспринималось как живое существо, как член нашей семьи. Я очень хорошо ощущала, как близко к сердцу принимали отец и мать музейные дела, сколько они вызывали беспокойства, с какими волнениями были связаны. Поскольку на первых порах Петр Иванович объединял в себе весь штат сотрудников (кроме него был только сторож – бывший лаврский монах), первым и бескорыстным помощником его была моя мать... Мама ездила в музей топить печки, мой дедушка чинил поврежденные макеты, которые поступали в музей. Как-то папа привлек к работе и меня: поручил сделать надписи к некоторым экспонатам и даже заплатил за это. Первые в жизни заработанные деньги я истратила на подарок маме ко дню рождения.



П. И. Рулин, его жена Лидия Николаевна, дочь Ирина, теща Вера Ивановна и тесть Николай Васильевич Науменко. *Начало 30-х годов*

Помню, сколько ездил отец в поисках интересных экспонатов по Украине. С какой радостью и увлечением рассказывал он нам дома, вернувшись из поездок, если ему удавалось привезти что-нибудь интересное. Это были и костюмы известных украинских артистов, и афишы, и т. п. Наибольшая радость была, когда ему посчастливилось разыскать и привезти в музей старинный украинский вертеп. Вместе с вертепом приехал и старичок, который водил кукол. Мы все ездили в музей, а он показывал их в действии.

По роду своих занятий П. И. постоянно общался со многими деятелями театра и литературы. Бывали они и у нас дома. Из имен, которые мне запомнились, назову: Лесь Степанович Курбас, К. А. Марджанов, Н. К. Зеров, Калинин, Н. К. Гудзий, С. Н. Дурылин, Кисиль, А. И. Белецкий.

Благополучная жизнь нашей семьи закончилась летом 1934 года. Как-то утром за завтраком отец просматривал свежую газету, вдруг побледнел и проговорил: «Я больше не работаю в институте», – и прочитал небольшую заметку, в которой сообщалось, что в Муздраминституте за распространение националистических идей уволены с работы профессора Рулин и Бабий. Сразу померкло солнце за окном, и предчувствие беды, нависшей над семьей, охватило всех нас. Вспоминается, что Петр Иванович пытался добиться восстановления на работе, ходил в институт, ЦК, но все напрасно – машина была запущена, и остановить ее было не в его силах.

После увольнения из Муздраминститута отец с еще большим рвением занялся работой в музее, своими научными занятиями.

В течение 1934–1936 годов московские и ленинградские друзья настоятельно советовали ему выехать с Украины, были конкретные предложения по устройству на интересную работу. Но он категорически отказывался покинуть Украину, мотивируя это тем, что русский театр исследован многими театроведами, а украинский – это белое пятно в отечественном театроведении.

В ночь на 30 сентября 1936 года его арестовали. Выходя из дому, отец сказал мне: «Поручаю тебе маму и полагаюсь на тебя». Эти слова стали для меня его последним завещанием, которое я всеми силами старалась осуществить.

Во время следствия, которое длилось семь месяцев, моя мать передавала отцу книги, журналы, бумагу. И он все время работал. Свидания нам давались регулярно. Могу сказать, что следователь относился к отцу с уважением и довольно благожелательно.

В мае 1937-го мне позвонил следователь, вызвал на свидание с отцом. Эта встреча была для нас обоих очень тяжелой. Он просил меня подготовить маму к тому, что ему придется уехать. Сказал, что хочет как можно скорее выехать работать, что в лагере будет легче, чем в тюрьме. Он просил нас не волноваться. Он сказал, что слишком любит жизнь и верит в свои силы, что будет беречь себя и мы непременно скоро увидимся. Отец предложил мне отказаться от него, сказал, что он не обидится, что для него главное, чтобы я не изменила свои убеждения в правильности всего, что совершается. А я категорически отказалась. У меня не было сомнений в том, что отец не совершил ничего плохого, чего я должна была бы стыдиться.

Приговор – 6 лет с правом переписки – для того времени чрезвычайно мягкий. Скоро мы узнали, что отца отправили на Колыму.

Через полтора месяца маму, меня и бабушку выслали без определения срока ссылки и объяснения причин в Челябинскую область. Мы переписыва-

лись с отцом, отправляли посылки. Сначала писала и я, но потом отец попросил, чтобы я не писала, что так ему будет спокойнее. Он беспокоился обо мне, считал, что так мне будет легче добиться возвращения в Киев. Мы с мамой регулярно писали по разным адресам заявления о том, чтобы нас вернули. И через два года, в августе 1939 года, мы получили разрешение вернуться в Киев. Продолжали посылать отцу посылки, деньги. Петр Иванович работал вначале бухгалтером на строительстве дороги, а потом разнорабочим. В своих письмах он описывал природу Колымы, просил, чтобы мы не беспокоились, что он непременно вернется и тогда исполнит свою давнюю мечту и напишет историю украинского театра, которой никто, кроме него, так в совершенстве не знает.

Весной 1941 года вернулись посланные мамой деньги с надписью: «В связи со смертью адресата».

В 1957 году П. И. Рулин был посмертно реабилитирован.

Свидетельство о смерти мама получила только в 1970 году, когда работала над подготовкой к печати сборника работ Петра Ивановича Рулина «На путях революционного театра». Смерть произошла 23 декабря 1940 года, как было указано в справке, от сердечной недостаточности. Ему было всего 48 лет, и до конца срока оставалось 1 год и 9 месяцев.

Трагическая преждевременная смерть отца для меня непоправимая утрата. Но эта боль немного уменьшается сознанием того, что мой отец живет в памяти своих учеников, в этом музее, в своих научных трудах, часть которых вошла в сборник, вышедший из печати весной 1972 года.

Ирина Рулина

ПИСЬМА К РОДНЫМ

Владивосток 18.VII.1937

Родная Ирочка!

Надеюсь, что это письмо застанет тебя еще в Киеве. Если будешь в Одессе, воспользуйся этим, чтобы вылечиться от малярии. Там есть хороший специалист (Витя знает его фамилию); пойди к нему, если тебе не будет неприятно. *Очень* прошу тебя быть осторожнее с морем. Может быть, ты взяла бы мамочку с собой?

Пожалуйста, поищи у букинистов книжку *Варнеке* «Античный театр». Мне интересно иметь еще один экземпляр.

Ты себе не представляешь, как много я видел во время путешествия! Тут чудесное море. Надеюсь, что ты кончила учебный год, как обещала. Целую тебя крепко.

Твой папа

<Без даты>

Ирине Петровне Рулиной

Родная моя детка, моя единственная Ируська!

Хочется мне написать тебе несколько слов перед зимним перерывом в переписке.

Береги глазки!*

Я очень рад, очень удовлетворен тем, что ты выросла во всех отношениях, что ты полна бодрости и твердых надежд на свое будущее. Очень ты успокоила меня своими достижениями по архитектуре. По секрету — я все время волновался; думал, не ошибся ли, толкнувши тебя на архитектурный факультет. А теперь спокоен, вполне спокоен.

Спокоен я потому, что ты не боишься жизни, что хочешь узнать ее всесторонне, ощутить ее, так сказать, своими плечами. Смотри жадно вокруг себя, смотри, как растет новое прекрасное, смотри и думай над тем, как ты можешь — и сейчас, и потом — включиться в эту новую жизнь. И — хоть тебе и грустно, потому что ты не учишься, — ты правильно поняла свое положение и, если ты работаешь чертежником, ты можешь многое взять и от этой работы. Подумай о том, как будет перестраиваться село, какие огромные перспективы тут для архитектора-плановика.

Пусть твоя жизнь будет богатой и в Чаше! Для этого ты имеешь и свои собственные интимные причины. И не грусти обо мне, знай, что наибольшая радость для меня, наибольшее проявление любви — это твой дальнейший рост. Люби мамочку и бабу — ты им очень многим обязана, а они и теперь тебе очень полезны.

Раньше в таких случаях отец сказал бы — теперь я могу спокойно умереть. А я скажу, что могу спокойно и радостно жить, зная, как ты растешь, потому что взяла лучшее от школы, от жизни.

Целую и обнимаю. Сколько я вспоминаю твое детство, твои уютные словечки и все тепло, которое ты давала нам!

Твой Пейка

11.VIII.40

...Сегодня день рождения нашей Ируси**. Страшно давно пискнул красный комочек мяса — залог огромного счастья, которым ты меня подарила. И за эти 23 года этот «комочек» ведь не делал нам ничего неприятного: недостатки, недочеты Ирусины — это такая мелочь по сравнению с ее достоинствами, со всем ее интеллектуальным обли-

* Приписка на полях.

** Письмо передано составителю в таком виде.

ком, которым мы — родители — в полном праве гордиться. С волнением читал я то, что ты пишешь об Ирусиных архитектурных проектах. Больше всего радует меня наличие в них смелости и самостоятельной мысли — предпосылки для расцвета оригинального творческого облика.

Я считаю, что у Ируси есть один очень большой плюс — это безусловная художественная культура, наличие хорошего вкуса в области литературы, музыки, театра. Я всегда любил ходить с моей деткой в драму и слышать от нее вдумчивые и меткие суждения о пьесах и игре (не преувеличиваю!). И опять-таки как многим обязана Ируся тебе, твоему ясному — логически — и в то же время интуитивно верному воспитанию. Целую вас обоих за то счастье, которое вы мне нашим взрослым ребенком дали. Некоторые строки твоих писем об Ирусе волнуют меня до слез, но я помню, что ты не любишь сентиментальности. И не всегда ты права! Ну разве я не разреву от радости, когда с вами встречу? Лишь бы скорее!

Леденчик, очень мне грустно, что ты в своих весенних письмах показала мне, что ты много беспокоишься обо мне. На исходе пережитого колымского года пора бы уже отсутствие известий «сваливать» на почту, хотя я к этому учреждению претензий не имею — собственно говоря, не за что. Вот ты пишешь так, что я никогда не знаю, все ли я получил от тебя — никогда нет ссылок на предыдущие письма, а прошу я об этом столько же, сколько прошу и фотокарточки, — почти три года. Из писем 1940 года я получил — 17/I, 31/I, 27/II—3/III, 26/III, 12/IV, 27/IV, 3/V, 29/V, 11/VI. Все ли? В этом же году послал — 22/I, 8/V (три) письма, 20/VI, 4/VII, 18/VII. Кроме того, две телеграммы — в начале июня и 25/VII. Ответь мне определенно, что из этого ты получила.

Думается мне, что твои волнения обо мне вызваны не только отсутствием известий, но и понятным к концу года переутомлением от напряженной работы и от ненормальных условий жизни. Твое беспокойство обо мне огорчает меня не только тем, что говорит о тяжелых твоих переживаниях, но и тем, что не может не подрывать веру в ясность твоей логики, в продуманность твоих советов: эмоции говорят вместо головы, а в наших условиях это очень небезопасно — всякий шаг должен быть крепко продуман.

Лидочка, не надо волноваться обо мне! Учти, что я уже кончаю 4-й год «внедомашнего режима», что уже почти 3 года живу в лагере и, если поддался здоровьем — что, конечно, неизбежно, — то все же здоров настолько, что убежден в реальности нашей встречи, даже если она состоится в календарном порядке через два с лишним года. И еще одно: ты не любишь мне писать о неприятных этапах разных дел,

предпочитая сообщать об окончательных результатах. Так и я не писал тебе, что уже с марта прошлого года я работаю не в бухгалтерии, а на разных общих работах, легких и соответствующих моим силам, — всю зиму был сторожем гаража, а в последнее время работаю на нашей теплице, с удовольствием наблюдаю, как упорный и любовный труд человека заставляет бедную каменистую и холодную почву родить капусту, репу, брюкву, редис, помидоры, лук, огурцы. Грядочки с прямыми стрелками лука или поле капусты, освещенное лучами заходящего солнца, кажутся мне трогательно красивыми. Вот видишь, уже половину своего колымского срока я живу не в комнатных условиях, а жив и здоров. В этой перемене нет ничего исключительного, и она так же обычна, как и направленная в другую сторону (для меня в будущем никак не исключенная). Я не писал тебе об этом раньше, потому что ты напрасно волновалась бы, а теперь могу твоим волнениям противопоставить реальное доказательство их необоснованности.

Лидуся, у меня тоже сильное желание насладиться жизнью с вами, вознаградить себя за — не скрою — тяжелые для меня годы заключения, столько сознательного отношения к своим обязанностям жить хотя бы уже только для тебя, что это одно уже является гарантией разумного моего поведения. Забочусь о себе до тошноты много — стараюсь получше использовать все здешние возможности и до бесцеремонности загружаю тебя «заказами». Только теперь понимаю, сколько хлопот должны были они тебе причинить, ведь и вам живется очень нелегко. Но всегда прошу помнить три момента: 1) что делаешь — никак не в ущерб себе, розовенькому ребенку и сморщенной старушке; 2) обязательно продай из моего барахла все, что можно выгодно ликвидировать, — демисезонное пальто, черный костюм и три пары белья — это максимум того, что мне может быть нужно по возвращении; 3) все мои просьбы о деньгах и посылках всегда предусматривают несколько больше, чем нужно, — «на всякий случай», чтобы быть спокойным на будущее. Вот и теперь еще в июне я просил тебя расчесть дело так, чтобы я имел до конца срока рублей по 30 в месяц, а сейчас август, а на моем «личном счету» имеется еще запас в 80 рублей, да и на руках деньги — в разрешенных нам пределах. И потом я не случайно просил тебя прислать мне домашние продукты — печенье, варенье, жареную свинину в смальце. Дело не только в том, что хочется услышать «запах родной кухни», но и в том, что эти продукты, по моим соображениям, должны обходиться дешевле, чем что другое покупное, а питательный эффект от них будет достаточно высокий. Пожалуйста, чтобы я не чувствовал угрызений совести посылкою, закладывай мои облигации, верь мне, что по моем освобождении

я так же постепенно их выкуплю. Кстати, за эти три года ты ни разу не писала мне о выигрышах. Неужели счастье нам изменило? И еще одно — если найдется хороший покупатель, продай мои часы. Если удастся тем или иным способом добыть «мои» деньги — купи Ирусе от меня какой-нибудь подарок. Как мне тяжело, как тяжело, что я от нее оторван. Ну ничего — свидимся, познакомимся (пусть девочка ладится на экскурсию в Ленинград: для того, чтобы она вышла законченным архитектором, ей надо обязательно посмотреть классическую архитектуру старого Петербурга, Петергоф, Гатчину, Детское, Павловск и — конечно — павильоны Всероссийской с/х выставки).

Ну что тебе еще написать? Вернусь назад, пребывание на общих работах я старался использовать как можно умнее — научился находить красоту в нашей колымской природе, изумительных иногда восходах и закатах солнца, чувствовать аромат воздуха, приобретать элементарные по существу, но чуждые моему кабинетному воспитанию рабочие навыки. И во всем ты была мне верной помощницей и союзницей. В трудное — не скрою — для меня первое время я чувствовал тебя около себя и, что делал, делал часто легче, потому что знал, что моя Лидуса изумительно терпелива и настойчива. Ну об этом довольно. Только умоляю тебя — будь обо мне спокойна. Я бесконечно люблю тебя и даже если бы потерял всякий аппетит к жизни — а это мне несвойственно, ты ведь знаешь мой органический, непреодолимый оптимизм, — я бы жил только из сознания того, что я бесконечно обязан тебе. И если случалось иногда прихворнуть по моей вине, я всегда чувствовал угрызения совести: виноват перед Лидочкой. Детка моя, увидимся — я много расскажу тебе о том, что ты мне дала и чем ты мне была в эти годы нашей разлуки. Умоляю тебя — думай обо мне поменьше, развлекайся побольше, береги себя всячески. И крепко-крепко поцелуй Ирусю и маму — я их очень люблю, и мне очень больно многое-многое. Ну, довольно об этом.

Первую посылку рассчитываю получить на днях. Будь уверена, что использую ее рационально — как и все, которые ты мне послала, — вот 400 граммов кофе скупно растянул на целый год. Должен все же сознаться, что я стал лакомкой и эгоистом. Но зато научился кое-чему, в частности и в кулинарном деле. Что и докажу, когда будем иметь общее хозяйство, не разделенное 15 000 км расстоянием.

Это письмо ты получишь, очевидно, в октябре. Условимся, что зимой ты будешь писать мне не меньше 3—4 раз в месяц, хотя бы одно письмо, и 2—3 дежурные открытки — каждое воскресенье. И будешь нумеровать их...

ЮРИЙ ФИДЕЛЬГОЛЬЦ



Я, Юрий Львович Фидельголец, родился в 1927 году в семье врача. Детство памятно по московскому двору и коммуналке. В 1948 году закончил десятилетку, решил стать актером. Был принят в театральное училище, и на первом же курсе меня арестовали. Приговор мне и моим однодельцам – по десять лет лагерей. Срок отбывал в Озерлаге и на Колыме (Берлаг).

С 1954 по 1956 год находился в ссылке в Караганде. Все же я получил образование, хотя совсем по другой специальности (факультет промышленно-гражданских сооружений).

После реабилитации в 1962 году работал конструктором. С 1989 года – пенсионер. Пишу о пережитом и настоящем. Публиковался в сборниках, газетах, журналах «Юность», «Москва».

В последние годы вышли две моих книги: сборник стихов «Много воды утекло с тех пор» и сборник «Колыма» (стихи и проза).

В 1999 году принят в Союз московских писателей.

БЕСПРЕДЕЛ

Я был осужден в 1948 году Военным трибуналом г. Москвы по статье 58, пункты 10, 11. Приговор гласил: 10 лет исправительно-трудовых лагерей с последующим поражением в правах на 5 лет.

Мотивом для ареста послужил тот факт, что еще на подготовительном отделении Института стали, где мы заканчивали десятилетку, я и мои одноклассники, Левятов Борис и Соколов Валентин, вели беседы политического характера, в которых обсуждался диктат Сталина и подчиненного ему могучего МГБ. Разговоры носили философский характер. Каждый собеседник старался щегольнуть своей эрудицией, слегка изображал из себя героя-революционера киношного образца. Во что выльются такие «игры» — никто из нас не мог и предположить. После подготовительного отделения пути наши разошлись: Левятова и Соколова призвали в армию, я продолжил учебу в театральном училище, где по истечении двух лет забыл наше содружество. Меня стали волновать другие проблемы, близкие к театру, к искусству. Но вот неожиданный арест... Хочу еще добавить — при обыске у меня обнаружили дневники. Они, как вещественное доказательство, сыграли на нашем процессе немаловажную роль, ибо в них я регулярно записывал разные события из своей жизни и допускал крамольные мысли.

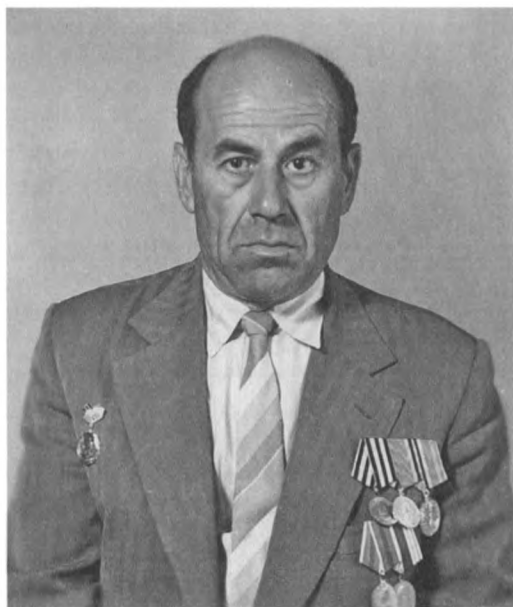
Думаю, что мог бы описать, кто из моих товарищей попался первым, не забыл бы и о следственной тюрьме, о методах следствия, при которых применялись шантаж с провокацией, запугивание и заверение тут же выпустить на волю, если только будут подписаны явно дутые материалы следствия.

Следователи вели допросы, как я понял значительно позднее, по заранее согласованной схеме: толстозадый майор Максимов угрожал, матерился, был типичным топтуном и внешностью напоминал кавказца. Другой, моложавый, благообразный капитан Демурин, сохранял вежливость, якобы сочувствовал, но, плетя нить дознания, навязывал мне мнимые преступные замыслы и действия, красивым почерком с ошибками в орфографии протоколировал небылицы. Эти люди и сфабриковали из нашей тройки мифическую организацию, за что получили новые награды и повышение по службе. А мне даже не помог нанятый крупный адвокат профессор Оцеп. Отцу так и сказали: «Вы хороните сына по первому разряду». Обо всем этом можно написать в другой раз.

Рассказ о пребывании в особо закрытых режимных лагерях по железнодорожной ветке Братск — Тайшет (Озерлаг) тоже займет особое

место. Не хочется говорить сейчас и о приезде туда несчастной матери и отца, об их встрече с занумерованным «доходягой»-сыном, хотя это свидание сыграло, видимо, не последнюю роль в моей отправке на Колыму: заключенные особого контингента не должны были иметь близкие контакты с вольными людьми.

И вот я еду в битком набитом «телятнике» к порту Ванино, где формируются колымские этапы. Посреди вагона – молодой врач, Иосиф Аркадьевич Мальский. Энергичный человек, он был судим Особым совещанием по статье 7-35, как социально опасный. Приговор – 5 лет лагерей. Родом из Москвы. Там остались жена и дочь. Родители из старой гвардии большевиков сгнули после ареста. Узнав о моем отце, доценте 1-го медицинского института, Мальский решил поддержать меня в трудную минуту. Мы быстро нашли контакт, дали друг другу обязательство о взаимовыручке. С тем и въехали в Ванинский порт.



Иосиф Аркадьевич Мальский

Представьте себе обширную территорию, ограниченную морем, перегороженную глухими высокими заборами со сторожевыми вышками. Вообразите разделенную на прямоугольные зоны слегка всхолмленную местность и ряды колючей проволоки. В каждой зоне вкопаны

параллельно друг другу дощатые приземистые бараки с крышами, похожими на серые гробовые крышки. Здесь гнездовались «отверженные», отделенные не только от воли, но и друг от друга. Разделение зон было строго по мастям. В одной зоне — «честные» воры («честнота», или «цветные»), в другой — «суки», в третьей — «беспредел», или «махновщина», в четвертой — «фашисты», мы, грешные по 58-й статье.

Ни в этапах, ни в зонах масти смешивать было нельзя. Попади «честный» вор к «сукам» — его ждала тремиловка, т. е. добровольное или насильственное превращение в «ссученного». За сопротивление — «перо» в бок. «Честнота» вообще не допускала к себе ни «сук», ни «беспредел» — уничтожала их без пощады. В ход шли бечевки-удавки, «пики», ножи, раскачивание жертвы и посадка, как говорится, на «жопу», когда от удара по бетонному полу внутри человека переворачивались и отрывались с кровью внутренности.

Вражда внутри уголовного мира ожесточалась, подогреваемая местью и слухами, которые нередко распускало начальство лагеря. Отчего же была такая лютая ненависть одних к другим? Причина простая: воры, связанные своими неофициальными законами, не терпели тех, кто их нарушил, отступился от каких-либо пунктов. Для примера: «честный» вор в законе не имел права работать среди «мужиков» или «фрайеров», т. е. не с ворами. Тем более тяжким грехом для них было заставлять других «горбатить», «вкалывать», «ишачить». Недопустимо, непростительно, если вор, «засыпавшись» на деле, давал показания на однодельца. Работающий вор или заставляющий других работать, вор, который «заложил» на следствии другого, ссучивался, становился «сукой». Чтобы защититься от «честноты», «суки» объединялись в своей зоне, «качали» права «черноте», «мужикам»-работягам, грабили и избивали их, служа верой и правдой начальству, однако только в своих интересах. Как только интересы расходились, начинались дикие выходки, убийства, «хипеж», иначе — массовые волнения и беспорядки. «Беспредел», или по-другому «махновщина» (бей «сук» справа, «честноту» — слева), — самая низшая ступень рецидивистов, отбросы из отбросов. Здесь смешались дезертиры, педерасты, насильники, садисты, мошенники, авантюристы, шулера. К ним приляпывался слой отпетых негодяев из бывших «сук» и даже «честноты». Таким образом, в каждой зоне Ванинской пересылки над массой работяг-арестантов господствовала верхушка блатных из решительных, далеко не глупых, авторитетных уголовников со своими паханами «центровыми». Они распоряжались кухней, где для урок варился отдельный котел, качественно и количественно отличавшийся

от пустой похлебки большинства. Они же собирали в отдельном бараке сходки (собрания), куда допускали только своих. Такие сборища были поразительно похожи на партийные и профсоюзные собрания: аналогичные выборы, голосование «за» и «против». Разница – в целях и темах: сходки обсуждали предстоящие этапы, контакты с начальством, суды между собой. На сходках выносился приговор виновнику, и тут же его исполняли: зарезать так зарезать, подкинуть так подкинуть, поставить на хор (изнасиловать сообщая в рот или через задний проход) – пожалуйста.

Состав блатных в зоне менялся, но по отношению к остальным был небольшим. В «беспредельной» зоне, например, из 1500 человек 200 засчитывались в привилегированное сословие блатных. Блатняги занимали лучший барак, хозяйничали везде – это была, по-современному, очень хорошо организованная мафия, которая контактировала с надзорсоставом и лагерным начальством. Существовала круговая порука – я тебе, ты мне. За порядок в зоне начальник в чем-либо делал уступку «центровым». Те же главари назначали своих погонял-бригадиров (бугров) заставлять работяг трудиться. В бугры выбирались самые жестокие и физически крепкие мордовороты. Надзирателей подкупали награбленными вещами. Отсюда блатным было известно заранее, какой этап перегоняют к порту Ванино, откуда он, в каком количестве, что у кого лежит в чемоданах, есть ли в таком этапе паханы и законники.

Что из себя представляли такие люди? Некоторые ничем не отличались по внешности от приличных граждан, имели даже благообразный вид не то клерков, не то преуспевающих научных работников с золотыми пенсне на болтающихся цепочках. Вот они гуляют по зоне, как курортники, – с пятикратными судимостями, с хвостами разных фамилий... «Мокрое дело» для них было пустячком.

Кроме зон-«накопителей», на Ванинской пересылке располагались управленческая зона, зона санпропускника с баней и санитарная зона (сангородок и больница), куда свозили совсем хворых.

Наш этап попал в «фашистскую» зону – эшелон шел из Озерлага. Больше всего страшила предстоящая отправка на Колыму. Надо было любыми путями задержаться, зацепиться тут, отсрочить поездку туда, «откуда возврата уж нету». Мы с Мальским решили действовать через санчасть, где можно прочно осесть на постоянной работе и избежать голодовки. В один прекрасный день Иосиф Аркадьевич сказал: «Собирайся, нас ждет лейтенант медицинской службы». Молодая женщина в накинутом поверх кителя халатике предложила Мальскому одно – обслуживание соседней «махновской» зоны. Недавно, по ее

словам, в той зоне зарезали врача и фельдшера, а смены нет. Мы согласились — не было выхода. Сам Мальский туда бы не пошел, потому и взял меня, выдав за фельдшера. Какой я фельдшер? Но, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Мы моментально прошли в «беспредел». К великому изумлению, нас никто не конвоировал, как в Озерлаге, а запросто провели вдоль забора и отперли ключами калитку. Во втором от вахты бараке размещалась санчасть зоны. Она занимала треть барака, отгороженную внутри глухой стеной. С торца, через невысокое крылечко, мы попали в узкий коридор, с обеих сторон его — две комнаты. В одной — жилье обслуги, где были приготовлены для нас две койки. В другой — амбулатория с пустым шкафом. Прямо через тот же коридор мы прошли в стационар, рассчитанный на 20–30 человек. Вместо коек — вагопки, иначе — двухэтажные нары, сколоченные по принципу железнодорожного плацкарта.

С бытовой статьёй, с цветом блатного мира мы, понятно, не встречались ни в наших лагерях, ни в следственной тюрьме.

Здесь система режима в корне отличалась от нашей. Даже надзор-состав был другой — по-свойски домашний. Вдоль зоны расхаживали заключенные, одетые в пальто, в костюмы, в разнообразные рубашки и брюки. Нам не полагалась вольная одежда, за ее ношение каждому из нас «обломился» бы в Озерлаге карцер.

В санчасть вскоре вломились татуированные по пояс, свирепого вида типы. После разговора с ними мы поняли, нам предлагалась сделка: будете ладить — заживете спокойно и сыто. В чем заключался этот лад? Выяснилось, что нам нужно было в любой момент предоставлять блатным места в стационаре, надо было избавлять их от этапа на Колыму и самое главное — регулярно снабжать эту свору наркотиками. «Калики-моргалики» употребляли многие: глотали кодеин, люминал, пили хлороформную воду, нюхали вату, смоченную в эфире, кололись чем попало, раскуривали любую пакость. Другим пристрастием «махновщины» являлись азартные игры в карты — «герс», «брамс», «очко» и другие. Играли самозабвенно, до последней нитки. Главари обзаводились гаремом из симпатичных, миловидных мальчишек, окружали себя свитой из «шестерок» и личной охраной — «быкбойцами».

Очень скоро я освоил их «феню» — воровской жаргон. Странные слова — кабур, косяк, угол, прохоря, кисуха, бацилла, лепень. Да и мода у них — удивительно странная. Шикануть, пройтись фертом по зоне в клетчатой ковбойке, выпущенной из брюк, но так, чтобы ее края выглядывали из-под наброшенного пиджака, — вот это да! Начищенные скрипучие сапоги — обязательно с вывернутыми наружу голенищами.

Брюки, на манер шаровар, заправлены в сапоги с напуском на них. И для пушного форса — из брючного кармана свисают шнурки «кисухи» (табачного кисета) с кисточками на концах.

В «беспределе» попадались интересные люди, несомненно одаренные, не утратившие чисто человеческих качеств. Они были и в других мастях. Примером являлся один из главарей, Мишка Буш. Человек слова, высоко ценивший верность в дружбе, презирующий бандитизм и «мокрые» дела, несмотря на многочисленные сроки и международный класс своих преступлений, он не был лишен таких качеств, как доброта, отзывчивость, равнодушие к страданиям простых людей. Да и внешность у него была интеллигентная: он носил красивую голландскую бородку, облик его никак не вязался с его известностью профессионального афериста по инкассаторским делам. К нам, фрайерам, он относился как бы на равных. Саша Севостьянов тоже выгодно отличался от других. Этот парень слыл артистом у фальшивомонетчиков, он мог подделать любую печать, знал почерки и подписи многих начальников милиции и оперчекотделов. Несомненно, в других условиях из него вышел бы неплохой художник, может быть, он и прославился бы, но увы!.. Этот молодой, красивый, смелый человек проявлял большой интерес к философии, искусству и книгам. Нетрудно было понять его стремление разобраться, существует ли справедливость на свете, где правда жизни, как избавиться человечество от цепей рабства. Сам не мог терпеть неволи — бегал много раз. Последний его побег в Ванино тоже закончился неудачей, несмотря на раздобытую им офицерскую форму и поддельные удостоверения. Вспоминаю и юмориста-одессита, ловкого «щипача» (карманника) Яшку, прозванного «бриллиантовые пальцы» за тонкую «работу», и многих других. Было много таких, кем прикрывали любое преступление, некоторые даже сами брали на себя дело. Механизм бюрократического судопроизводства выкашивал одинаково и лебеду с пыреем, и полезные злаки, а воспитание или, как говорится, перевоспитание в лагерях ничего, кроме рецидива заразы, не могло дать. Так калечились многие судьбы. О нашей статье нечего и говорить! Еще мы убедились в том, что косность и неоперативность уголовных розысков, юридического аппарата в целом дает безнадежное отставание в сравнении с быстро меняющей свою тактику, снабженной новой техникой мафией преступного мира. Рецидивисты знали уголовный кодекс и юридические законы даже лучше, чем милицейские службы со следователями и адвокатами...

Итак, я и Мальский получали из сануправления лекарства, лечили зону, в короткий срок справились с эпидемией дизентерии.

Чтобы избежать эксцессов, нам приходилось отдавать блатным кое-какие наркотики и помещать их в стационар. Всем мы угодить не могли, были недовольные, однако Иосиф Аркадьевич грамотным подходом к лечению и оперативностью создал себе непререкаемый авторитет. А сколько самозванцев пребывало на должностях врачей! Наши больные выздоравливали, крепили и хвалили «лепил». Но вот пришла пора — партия за партией заключенные выводились из зоны, грузились на пароходы. Наша очередь тоже пришла — метла мела чистю, не оставляя ни одного человека. С наркотиками стало туго, их почти не отпускали. Из амбулатории больных увезли кого куда. Блатные отчаялись в своих надеждах. И вдруг ночью в нашу комнату обслуги врывается ватага блатарей, ставят нас к стене лицом, «шмонают» и ведут под ножами в свой барак. Хочу оговориться — мне они предлагали остаться, вроде я ни при чем, им был нужен врач, но я решил не расставаться в трудную минуту с Иосифом Аркадьевичем и пошел рядом с ним туда же. Собралась сходка. Решалась жизнь Мальского. Недовольные обвинили его в сокрытии наркотиков, в том, что он не смог ни одного человека (из них, конечно) освободить от колымского этапа. Мы прижались к столбу и ждали своей участи — двое против двухсот. Расправиться с нами можно было в одну минуту. Но, к счастью, нашлись здравомыслящие. Послышались голоса: «Вы, ложкомойники и шпидогузы, неужели не поймете, в рот пароход, «лепил»-врачей нельзя трогать. А они — без туфты врачи!» За нас заступился внезапно пришедший авторитет из «центровых», узбек по кличке Уголек. Иосиф Аркадьевич спас его, когда тот наглотался сверх меры наркотиков.

Поднялись споры, разноголосица. Под шумок нас выпроводили обратно в наши стены. Через час пришел капитан, начальник режима зоны, и выпроводил нас в ту безопасную зону, где мы оказались четыре месяца назад. Через несколько дней нас зачислили в штат медицинской обслуги тюремного парохода «Джурма». Раздельные трюмы, снабженные трехэтажными нарами, набивались арестантами. Нас же поместили отдельно, под служебным трапом, в небольшом отсеке. Там расстелили матрасы, кинули два рюкзака — один с медикаментами, другой — с хлебом и рыбными консервами. Притащили за ноги «ссученного» вора с пулей в легких. Он, оказывается, прыгнул с ножом на офицера, когда «сучью» зону выводили из проходной к пароходу. Офицер свалил «суку» выстрелом в упор.

Обслуживать пришлось поочередно все трюмы — и «сук», и «честноту», и «махновцев», и «фашистов». Кроме Мальского и меня, в обслугу добавили нескольких заключенных-медиков. Разрешили

свободно двигаться по палубе. Солдаты-конвоиры снимали крышки тяжелых люков, спускали нас вниз, где в полутьме уже ждали все страждущие и жаждающие долгожданной медицины.

Качка, грязь, рвота, вонь испражнений, мутная вода в ржавых бочонках, иней на клёпке — вот что такое корабельный трюм. Через парход перехлестывали волны, снасти на палубе покрылись льдом, несколько раз выпадал снег. И вот «Джурма», пробившись через ледяные блины, вошла в бухту Нагаева. К ночи нас расселили. Как медики, мы вначале попали в очень чистый и опрятный барак сангородка, который числился за центральным пересыльным пунктом. Потом отправили в зону «беспредела». Оттуда нам пришлось уносить ноги (мы узнали от «щипача» Яшки, что нас могут ждать здесь большие неприятности). Мельком мы увидели знаменитого бандита Олейникова в шлеме летчика. Глаза у него действительно были злые, пронзительные, зеленые, как у рыси. Наша «одиссея» по пересылке закончилась тем, что мы осели в зоне «честных» воров, но пробыли там вместе недолго. Меня выдернули оттуда и под строгим конвоем переправили в Берлаг. Так разошлись наши пути с Иосифом Аркадьевичем Мальским.

Почему я так подробно описал тот чрезвычайно любопытный для себя кусок жизни? Без сомнения, увиденная мною знаменитая Ваннинская пересылка войдет в многострадальную историю России. Там по зонам хозяйничала распоясавшаяся уголовщина. Сверху, наряду с ней, хозяйничали в стране пахан Сталин и его банда, перенимая друг у друга криминальный опыт. Недаром были социально близки.

Скитаясь по лагерям, я с удивлением слышал, сколь популярны бывают личности, связанные с рецидивизмом, так называемые «наблатыкавшиеся» или «приблатненные». К сожалению, некоторые из политэзков, желая выкарабкаться к легкому существованию, обучились вранью и обману у постоянных обитателей тюрем, крепко усвоили на дальнейшее эти уроки...

И вот я снова серый работяга, ничем не отличающийся от других. Опять осточертевший порядок: казенное хабэ, бушлат, ватные брюки, телогрейка. Всё в номерах, видных издалека. Та же глухая покорная масса разнородных людей — латышей, эстонцев, литовцев, западных украинцев по прозвищу «бандеровцы», полицаев и бывших военнопленных, а еще и такие, как я. Вездесущие стукачи, наглые до предела; лагерные придурки, пособники начальников — комендант, нарядчик, «бугры».

Морозную зиму 1951—1952 года я прожил в обширном лагпункте, соединенном с такой же огромной рабочей зоной, где возводились

фундаменты, постройки, стены секретного Д-2. Где-то рядом, как я узнал, находился другой лагпункт, Ареса. Как новичок в рабочей бригаде, я в один момент «поддошел», стал «доходягой», не успев даже «оклематься». Меня перевели в другую бригаду. Эта подсобная бригада состояла из таких, как я, доходных. «Бугром» там числился Николай Бибиков, потомок того генерала, который посылался Екатериной II на усмирение пугачевского бунта. Бригада еле шевелилась, разбредаясь по помойкам. Со своей задачей — уборкой рабочей зоны — я не справлялся никак. Бибиков, сам еле ходивший на работу, никого не понукал, посиживал с остальными у костра (у маленького Ташкента), вспоминал разные истории, пел вполголоса: «Замело тебя снегом, Россия...»

Он был моим одногодком, воспитывался в Харбине в семье бывшего колчаковского офицера, эмигранта. Цапнули его, судя по всему, за принадлежность к старинному дворянскому роду. Это был гордый и культурный молодой человек. Позже из-за его мягкости бригаду расформировали. Не помню, за какую провинность я с ним попал в БУР*. Нас гоняли в пятидесятиградусный мороз долбить ледяное дно котлована. Вначале для взрывников ковыряли метровые лунки. Мы опускались в пятиметровую глубину. Сверху нам подавали бадью. В нее мы грузили грунт. Бадья поднималась, потом опускалась к нашим ногам. Почти непрерывный труд по десять-двенадцать часов; разогреться можно было только движением. Раз к краю ямы подошла группа офицеров из лагерного начальства. Один из них решил пошутить: «Эй, ты, Бибиков! Смотри, как тут неуютно! А ведь кто-то из твоей родни ловил Пугачева?»

Бибиков поднял опушенную инеем голову. Сверкнул глазами на край подошв, стоящих у ямы, и взволнованно вымолвил: «Как я вас ненавижу!» Такая смелость могла бы окончиться пулей, но начальство молча ретировалось...

Как ни странно, в БУРе при взаимной поддержке прилпатненных ребят не чувствовалось голода. Иногда раздача давала для буровцев дополнительную прибавку к обедам и ужинам. Но когда мы вышли из БУРа и попали в рабочую бригаду, голод снова охватил нас. Кормили плохо — овсяная жидкая каша, ржавая селедка, хлеб сырой выпечки. Иногда селедку заменяли вонючей вареной нерпой. Чтобы предотвратить заболевание цингой, в бараках ставили бочонки с выкипаченным настоем стланика.

Запомнился один курьезный случай. Одна вольная женщина, работавшая на приемке грузов в рабочей зоне, пожаловалась начальству,

* Барак усиленного режима.

что ее изнасиловали заключенные. Кто, она не знала. Поэтому, чтобы уличить насильников, на утренней поверке всех работяг заставили маршем по пятеркам прошествовать мимо этой женщины. Вид у нее, скажу, был страшноватый — отмороженное лицо в буграх; корявая, нескладная фигура. Кто мог польститься на такую — ума не приложу. Но нас водили мимо раз пять-шесть. Зорко всматриваясь в каждого, она так и не указала ни на кого.

Ранней весной я и 300 заключенных попали на этап. Погрузка шла «елочкой». Что такое «елочка», могу объяснить — человек садился и раздвигал ноги так, чтобы другой мог втиснуться между этих согнутых ног и сам раздвинуть ноги для следующего. Это делалось для безопасности конвоя и предотвращения побега. Этапирование в грузовиках — страшно изнурительное и тяжелое дело, хотя предусматривались небольшие остановки с перекуром и opravкой по нужде. Култыхались по выбоинам целый день. Переправились паромом через быструю Индигиру за Усть-Нерой.

И вот конец пути — в длинном распадке сопок, где он завершался, прерываемый поперечной цепью гор. Остановились, чуть дыша. Это был не только конец пути — это был конец дороги, конечный пункт, последняя точка колымской трассы — Аляскитово.

В Аляскитово был рудокомбинат. Верхний лагерь с рудником, терриконами, шахтой и нижний лагерь с обогатительной фабрикой, песчаным отвалом промытой породы, с маленьким поселком вольнонаемных и даже с вольным кладбищем на скате сопки. А между фабрикой и рудником, в середине пятнадцатикилометрового пути, находился огороженный колючей проволокой с пустыми вышками по углам последний приют невольников, где хоронили почти без следов — втыкали только дощечку с жестяным номером. Бесславная усыпальница в окружении голых сопок, на вершинах которых высились каменные глыбы, словно причудливые скульптуры, изваянные капризной рукой величайшего художника — Природы. Суженный вверху распадок за обогатительной фабрикой расширялся на километры, образуя широкую долину, замкнутую по горизонту каменными массивами сопок.

Из-за сильной близорукости я не задержался в верхнем лагпункте — меня спровадили вниз, работать на обогатительной фабрике. Нижняя зона, построенная давно, имела постоянный состав заключенных в 500 человек. Привычные осточертевшие номера на лбу, на колене, на спине и под сердцем; одежда первого, второго и даже третьего сроков, с такими огромными и цветастыми заплатами, что вначале становился похож на клоуна, потом грязь окрашивала все в один

тон. Бараки оснащены и сплошными нарами от стены до стены, и вагонками. Была и столовая, и отдельно КВЧ*, заменявшая иногда клуб. Посреди бараков пробита аккуратная дорога, посыпанная песочком, обрамленная кюветами. Вдоль нее – до вахты – щиты с показателями трудовых успехов по годам и кварталам, бодрые плакаты-призывы.

Прибывших рассортировали по бригадам. Я угодил в фабричную бригаду, обслуживающую «постели». Объясню как могу: горная порода – руда дробилась в мельнице, на грохотах, потом по конвейеру сползала в «постели», промываемая водой. «Постели», вроде решета, трясли породу. Каждый час мы должны были выключать «постели» и снимать лопатами их содержимое. Место работы отличалось сыростью. Зато в мороз, когда снаружи у тракторов лопались от холода металлические детали рычагов, мы сидели в теплом помещении.



Аляскиново. Верхний лагерь. Рудник.
Фото 90-х годов

Иногда летом нас гнали на рытье контрольных шурфов в песке отвала. Без крепежа мы выгребали глубокие, узкие четырехметровые шурфы. Из них брали ведрами пробу. Часто первобытный способ

* Культурно-воспитательная часть.

по снятию проб заканчивался печально: сыпучий песок приходил в движение, накрывал с головой сидящего в шурфе работягу. Если его отрывали и он не успевал задохнуться — значит, повезло крепко. Поставленный к нам бригадир Николай Дзадзамия, решительный, смелый парень, способный в запальчивой ярости убить человека, имел уже дополнительный срок за убийство лагерного повара. Ему сам черт не был страшен — со сроком в 25 лет. Но порядок в бригаде он навел строгий, с соблюдением дисциплины не только на работе, но и в быту. Понятно, что все это держалось на страхе. Однако Дзадзамия никого зря не обижал, не вымогал присланные посылки, поддерживал справедливость и честность. Бригада была интернациональной. Кроме Николая, в ней жили и работали еще два грузина — добродушный увальень Меладзе Алико и старик Джаши. Меладзе до ареста учился в Тбилисском университете (погорел он за отца, бывшего секретаря горкома партии), схватил 25-летний срок. О, как он любил родную Грузию! Читал мне с увлечением «Мерани» Бараташвили, и, конечно, на родном языке. Джаши служил у немцев в карательном национальном отряде, за измену Родине отделался тем же четвертаком. Дзадзамии в бригадирстве помогал спокойный молодой армянин Степанян. Коллектив работяг состоял из русских и украинцев, узбеков и туркмен, прибалтов и польских евреев (запомнил их фамилии — Котляр и Бельфер), как шутили заключенные — полный «зоопарк».

Со временем бригада сплотилась. Я, например, имел там очень хороших друзей из западных украинцев и литовцев. Молодежь с малыми сроками подготавливалась к освобождению; читали школьные учебники по математике и физике. Другие в свободное время открывали промысел — изготавливали красивые шкатулки с соломенной инкрустацией, продавали их вольным. В КВЧ редко-редко устраивали показ старых кинофильмов. Однажды западные украинцы умудрились при помощи своих придурков поставить на лагерной сцене «Наймичку». Главную героиню, трагической судьбы девушку, играл черноглазый парень. Его загримировали, опутали лентами, одели в юбку и женскую блузку — получился впечатляющий спектакль. Николай Дзадзамия, узнав, что я учился на актера, предложил мне сыграть роль Незнамова в «Без вины виноватые». Не помню, по какой причине, но эта затея сорвалась.

Комбинат перевыполнял и квартальные и ежегодные планы, принося огромные прибыли. А как это отражалось на нас? Нам, заключенным, за тяжкий труд полагались зачеты при выполнении норм, но никто раньше времени не освобождался. Каждый день нас чуть свет поднимали, торопили на поверку, потом на развод. Каждоднев-

ная «молитва» на выходе гласила устами начальника конвоя: «Внимание, заключенные! Из ряда в ряд не переходить, идти, не растягиваться, не отставать, в строю не разговаривать, не курить! Шаг влево, шаг вправо — конвой считает как побег, применяет оружие без предупреждения!» Сзади лаяли разъяренные собаки, клацали затворы...

Каждый считал и считал оставшийся срок и почти не верил в освобождение. Как можно до него дотянуть, когда в дробилке от пыли не разглядишь друг друга за два шага, а примитивные респираторы только мешают в работе — трудно дышать, когда в сырости наживали ревматизм и туберкулез. Даже придурки в зоне не были избавлены от разных заболеваний. Считалось, что лучше валиться на ныры от физической усталости, чем на легкой работенке сходить с ума от безысходных дум. Мой земляк — парикмахер (он и на воле стриг в Усачевской парикмахерской) помешался, когда его перевели с тяжелых работ на придурочную, по специальности. Иногда нам устраивали субботники. Выводили в выходной день за зону — чистить мусорные кучи в поселке, разбивать их ломами и кирками. В субботник была и другая обязанность — перезахоранивать на кладбище покойников, зарытых наспех зимой, в жутчайшие морозы.

В один из дней Колю Дзадзамию отправили наверх, в рудники. Бригадиром стал его заместитель Степанян. Позднее Степаняна сменил литовец, пронырливый парень. Дело в том, что, кроме эзков, на обогатительной фабрике работали и вольнонаемные, и ссыльные из поселка, даже девушки. Их прислали по распределению после окончания учебы в горном техникуме. Они числились здесь мастерами, следили за процессами производства. Конечно, их информировали, что публика, с которой они встретятся, — настоящие злодеи и звери, фашистское отродье, виновные в гибели лучших людей. Понятна их первоначальная реакция. Зато нас они просто вдохновляли — мы имели право видеть рядом вольных девушек! Деловые отношения с ними имели только бригадиры, таков установился порядок. А наш проныра литовец сумел не только связаться с одной из них, фабричным делопроизводителем, он и влюбил в себя доверчивую простушку, она забеременела от него. Видимо, они уже договорились о дальнейшем, он вот-вот выскакивал на волю, кончался его срок, поэтому на эту историю надзорсостав и начальник режима не реагировали никак.

В 1953 году скончался «великий и родной» вождь. В траурные дни нас заперли в бараках. Как мы пережили это? Можно сказать — по-разному: некоторые радовались, другие печалились. Но печалились не по поводу смерти вождя — ими овладел страх. А что если

к власти придет более страшная фигура? А вдруг местные охранники начнут творить самосуд над заключенными? Всё возможно в этой глухомани. Потом в бараке стали гадать о новых кандидатах в вожди, стали спорить, кто из них лучше. Авось объявят всеобщую амнистию! В зоне полегчало — стали выдавать немного денег, открыли продовольственный ларек. Скоро действительно вышел указ об амнистии, но большинства из нас он не коснулся.

В начале 1954 года я заболел. Вначале чувствовал недомогание, головокружение от слабости; одолевала потливость. Потом стала подсакивать температура. Не сведущая в медицине начальница санчасти (жена старшего лейтенанта из оперчекотдела) пыталась уличить меня в симуляции. Когда дошло до кровохарканья, тогда только поняла, что перестаралась в своем рвении. Ведь она меня, больного, безжалостно выгоняла на работу да еще грозилась посадить за обман в карцер!

И вот я списан и нахожусь в отдельном, огороженном от других, бараке. Тут некуда торопиться, лежи отдыхай, жди своей участи. Сплошные нары с умирающими. Кто надеется на скорую смерть, кто жаждет попасть в тюремную далекую больницу. Наши бессильные врачи кололи меня только хлористым кальцием, и всё.

Но произошло чудо. В середине мая меня вызывают на вахту и читают бумагу об освобождении. Срок по решению Военной коллегии Верховного суда СССР с 10 лет заменяется на 6. Хлопоты левятовской матери, юриста по специальности, не прошли даром: я — свободен! С меня сняли пункт 11 из 58-й статьи. Просто горю от счастья. Сбегаются друзья, знакомые. Меладзе Алико дает мне письмо на волю, чтоб опустил в почтовый ящик. Меня и еще нескольких заключенных приглашают в кузов машины. С нами едет сопровождающий нас лейтенант. На колдобинах и по ухабам дороги он изредка вытаскивает пистолет из кобуры и палит по уткам, мирно плавающим в лужах и размытой колее. Останавливаемся около первой вольной чайной. Я покупаю первый вольный черствый-пречерствый пряник. В Усть-Нере прохожу врачебную комиссовку. Благодаря полевой рентгенаппаратуре мне устанавливают диагноз — силикоз. Команда — отправиться обратно в Аляскитово. Коль лагерь виноват в производственном заболевании, то пусть принимают меры за свой счет, т. е. отправляют на материк в инвалидный дом. В Аляскитово я должен доползти сам, врачи из комиссии не обязаны помогать — дана только справка о моей болезни. С пожилым чеченцем, тоже больным человеком, перебираемся через Индигирку и бредем от сопки к сопке туда, откуда нас только вывезли. Наш путь пересекают белые

зайцы и другие таежные зверушки. В редких сторожках, увидав нас, прячутся, запираются на все засовы – мы в лагерной одежке. Ночуем прямо на кочках близ дороги. К утру нас подхватывает самосвал, управляемый расконвойником. Трясемся, хватаясь за борт. Доехав до верхнего лагпункта, где размещается управление, я встречаю дядю Гришу, парашника-дневального из нашего рабочего барака. Этот молчаливый старичок, оказывается, тоже освобожден.



Ю. Л. Фидельгоц на второй день после освобождения из лагеря. 1954 год

– Чем вы будете заниматься, дядя Гриша? – спрашиваю я.

– Да вот предлагают помочь управлению в запутанной канцелярщине, а я ни в какую...

– Как? Вас?

– А кого же!

Дядя Гриша вытаскивает из накладного кармана куртки фотографию – на ней бравый полковник при множестве орденов.

– Вот это я, дорогой мой!..

Растерянный начальник лагеря предлагает нам: «Хотите, немного поживите в зоне на полном коште и безрежимно. Это я устрою. А там недолго до отправки. Как, согласны? На ссыльное поселение оформить в поселке не могу – нет документов».

Что делать? Проходим в зону, прямо в санчасть. Нас обеспечивают чистыми койками и больничным питанием. Заключение врач Левин печется о нас. Поговаривают, что его папа отравил М. Горького.

В августе вместе с демобилизованными солдатами охраны нас транспортируют к военному аэродрому и самолетом доставляют в Магадан. Здесь мы попадаем в Берлаговскую пересылку. С нетерпением жду разворота дальнейших событий. Увы! Я и другие брошены, забыты, никому нет до нас никакого дела. Нас маринуют, держат впроголодь, пребываем в безделье. На наше требование что-то предпринять предлагают – откажитесь от дальнейшего этапирования за счет Берлага и выкатывайтесь в город.

Я решаюсь – будь что будет! Недохнуть же на нарах. Болезнь не дремлет, прогрессирует. Подписываю заявление, и меня доставляют в военную комендатуру города. Комендант определяет мое положение ссыльного и вручает направление в отдел кадров судоремонтного завода в Марчекане. Чуть меньше месяца хожу на работу по токарному делу. Потом в связи с ухудшением здоровья ложусь в городскую больницу. Вольные врачи «обрадовали» меня – у меня не силикоз, а туберкулез. Снова вызов в комендатуру, прямо с больничной койки. Мне предлагают уехать на ссыльное поселение в другие города. Могу сам выбрать. Останавливаюсь на Караганде, ведь это город южный и теплый. В течение недели получаю от родителей денежный перевод и лечу самолетом в Хабаровск. Оттуда поездом – до Караганды. Прощай, Колыма! Прощай навек!

ЕЛЕНА ГЛИНКА



В 1956 году тридцатилетняя Елена Глинка, арестованная в конце 1950 года и отбывшая срок на Колыме, вернулась из заключения.

Она восстановилась на учебу в Ленинградском кораблестроительном институте, где в то время училась и я.

Мы сразу же крепко сдружились. Жила Елена в студенческом общежитии, часто бывала у меня в доме. Но почти ничего не рассказывала о своей жизни «там». Зато не раз вспоминала о хороших людях, которые помогали ей в самые трудные минуты жизни.

О лагерной Колыме Елена заговорила только теперь. Значит, пришло время.

Дай Бог ей силы!

Людмила Бородзюля. 1991 год

«КОЛЫМСКИЙ ТРАМВАЙ» СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

«Колымский трамвай» — это такой трамвай, попав под который, бывает-случается, останешься в живых.

Поговорка колымских заключенных

В рыболовецком поселке Бугурчан, влачившем безвестное существование на Охотском побережье, было пять-шесть одиноко разбросанных по тайге избенок да торчал убогий бревенчатый клубишко о трех узких окнах, над которыми болтало ветром старый флаг. Оттого ли, что у председателя не было в запасе кумача, флаг не заменяли, он висел в Бугурчане, наверно, с довоенных лет, весь вылинял, — но серп и молот в уголке полотнища по-прежнему выделялись ярко, как номера на бушлатах каторжан.

В трюме судна, развозившего летней навигационной порой грузы для поселков и рабочую силу в лагеря, сюда доставили женскую штрафную бригаду. Окриками и матерной бранью, под лай сторожевых собак конвоиры согнали зэкашек к клубу, бдительно пересчитали по головам, после чего начальник конвоя скомандовал всем оставаться на местах и ушел разыскивать единственного представителя здешней власти — председателя поселка, которому надлежало передать этап.

Этап состоял в основном из бытовичек и указниц, но было и несколько блатных — жалких существ с одинаковой, однажды и навсегда покалеченной судьбой: сперва расстреляны или сгинули в войну родители, пару лет спустя — побег из детприюта НКВД, затем улица, нищета, голод, — и так до ареста за кражу картофелины или морковинки с прилавка. Заклейменные, отринутые обществом и озлобившиеся оттого, все они очень скоро становились настоящими преступницами, а некоторые были уже отпетые рецидивистки — по-лагерному, «жучки». Теперь они сидели у клуба, перебранивались друг с дружкой, рылись в своих узелках и выпрашивали окурки у конвоя.

В это месиво изуродованных жизнью лагерное начальство бросило трех политических, с 58-й статьей: пожилую даму — жену репрессированного дипломата, средних лет швею и ленинградскую студентку. За ними не числилось никаких нарушений и посягательств на лагерный режим, — просто штрафбригада комплектовалась наспех, прови-

нившихся не хватало, директива же требовала в срочном порядке этапировать столько-то голов, — и недостающие головы добрали из «тяжеловесок», то есть из осужденных на 25 лет исправительно-трудовых работ.

Новость: «Бабы в Бугурчане!» — мгновенно разнеслась по тайге и всполошила ее, как муравейник. Спустя уже час, бросив работу, к клубу стали оживленно стягиваться мужики, сперва только местные, но вскорости и со всей округи, пешком и на моторках — рыбаки, геологи, заготовители пушнины, бригада шахтеров со своим парторгом и даже лагерники, сбежавшие на свой страх с ближнего лесоповала — блатные и воры. По мере их прибытия «жучки» зашевелились, загалдели, выкрикивая что-то свое на залихватском жаргоне вперемешку с матом. Конвой поорал для порядка: на одних — чтоб сидели, где сидят, на других — чтоб не подходили близко; прозвучала даже угроза спустить, если что, собак и применить оружие; но, поскольку мужики, почти все с лагерной выучкой, и не думали лезть на рожон (а кто-то и вовремя задобрил конвоиров выпивкой), конвоиры не стали гнать их прочь — лишь прикрикнули напоследок и уселись невдалеке.

«Жучки» в голос клянчили махорку, просили заварить чифирь, предлагали в обмен самодельные кисеты. Большинство мужиков загодя запаслись снедью, кто дома, кто в поселковом ларьке; в толпу штрафниц через головы полетели пачки чая и папирос, ломти хлеба, консервы... Бросить изголодавшемуся арестанту корку хлеба — было поступком, наводящим на мысль о неблагонадежности, и наказуемым, случись это там, на сострадательной матушке Руси, там полагалось верноподданно опустить глаза, пройти мимо и навсегда забыть. Но тут — потому ли, что почти все здешние мужики имели лагерное прошлое? — тут был иной закон... Компания засольщиков рыбы и единственный в поселке, уже изрядно выпивший бондарь притащили сверток с кетовым балыком, порезали балык на куски и бросили ээкашкам.

Измученные морской болезнью и двухдневным голодом в трюме, женщины жадно хватали на лету подачки, торопливо запихивали в рот и проглатывали, не жуя; блатные долго, с хриплым кашлем курили дареный «Беломор». Какое-то время было тихо. Затем послышалось звяканье бутылок; несколько мужиков, как по команде, отошли в сторону и уселись пьянствовать с конвоем.

Насытаясь, «жучки» хором затянули песни — сначала «В дорогу дальнюю», за ней «Сестру»; мужики вторили им знаменитой лагерной «Централкой», — и после этой спевки все воспрянули, разошлись, стали шумно знакомиться уже без оглядки на конвойных, которые,

побросав автоматы и привязав к деревьям собак, пили теперь вместе с вернувшимся начальником и председателем.

Впрочем, особую активность выказывали только «жучки». Бытовички и указницы, которых в бригаде было большинство, вели себя тише и даже держались особняком. Правда, и они охотно брали подачки и вступали в разговоры, но будто отсутствовали при этом; мысли их были об ином: сроки у многих близзились к концу, и им в отличие от политических не предстояла ссылка после лагеря. Краткосрочницы-«жучки» тоже ждали своего часа, и хоть возвращаться каждой из них было некуда и не к кому, и воля пугала некоторых, заранее обрекая их на незащитность и равнодушие к их судьбам, но все горести будущего для них пока не существовали: воля есть воля, это главное, это одно уже давало надежду на жизнь впереди. У политических «тяжеловесок» надежды не было – ГУЛАГ поглотил их навсегда.

Втроем они сидели в стороне от толпы – студентка, швея и жена врага народа. Они уже поняли, для чего был устроен весь этот разгул и пьянка с конвоирами; поняли задолго до того, как солдаты один за другим в бесчувствии повалились наземь и мужики с гиканьем кинулись на женщин и стали затаскивать их в клуб, заламывая руки, волоча по траве, избивая тех, кто сопротивлялся. Привязанные псы заливались лаем и рвались с поводков.

Мужики действовали слаженно и уверенно, со знанием дела: одни отдирали от пола прибитые скамьи и бросали их на сцену, другие наглухо заколачивали окна досками, третьи прикатали бочонки, расставили их вдоль стены и ведрами таскали в них воду, четвертые принесли спирт и рыбу. Когда все было закончено, двери клуба крестнакрест заколотили досками, раскидали по полу бывшее под рукой тряпье – телогрейки, подстилки, рогожки; повалили невольниц на пол, возле каждой сразу выстроилась очередь человек в двенадцать – и началось массовое изнасилование женщин – «колымский трамвай», – явление, нередко возникавшее в сталинские времена и всегда происходившее, как в Бугурчане: под государственным флагом, при потворстве конвоя и властей.

Этот документальный рассказ я отдаю всем приверженцам Сталина, которые и по сей день не желают верить, что беззакония и садистские расправы их кумир насаждал сознательно. Пусть они хоть на миг представят своих жен, дочерей и сестер среди той бугурчанской штрафбригады, ведь это только случайно выпало, что там были не они, а мы...

Насиловали под команду трамвайного «вагоновожатого», который время от времени взмахивал руками и выкрикивал: «По коням!..»

По команде «Кончай базар!» — отваливались, нехотя уступая место следующему, стоящему в полной половой готовности.

Мертвых женщин оттаскивали за ноги к двери и складывали штабелем у порога; остальных приводили в чувство — отливали водой, — и очередь выстраивалась опять.

Но это был еще не самый большой трамвай, а средний, «трамвай средней тяжести», так сказать.

Насколько я знаю, за массовые изнасилования никто никогда не наказывался — ни сами насильники, ни те, кто способствовал этому изуверству. В мае 1951 года на океанском теплоходе «Минск» (то был знаменитый, прогремевший на всю Колыму «Большой трамвай») трупы женщин сбрасывали за борт. Охрана даже не переписывала мертвых по фамилиям, но по прибытию в бухту Нагаево конвоиры скрупулезно и неоднократно пересчитывали оставшихся в живых, и этап, как ни в чем не бывало, погнали дальше, в Магадан, объявив, что «при попытке к бегству конвой открывает огонь без предупреждения». Охрана несла строжайшую ответственность за заключенных, и, конечно, случись хоть один побег — ответили бы головой. Не знаю, как при такой строгости им удавалось «списывать» мертвых, но в полной своей безнаказанности они были уверены. Ведь они все знали наперед, знали, что придется отчитываться за недостающих, — и при этом спокойно продавали женщин за стакан спирта.

...Ночью все лежали пластом, иногда бродили впотьмах по клубу, натываясь на спящих, хлебали воду из бочек, отблеивались после пьянки и вновь валились на пол или на первую попавшуюся жертву.

Бывало ли что-нибудь подобное в те дремучие эпохи, когда, едва едва оторвавшись от земли передними конечностями, первобытные существа жили еще животво-стадными инстинктами? Думаю, что нет.

...Тяжелый удар первого прохода «трамвайной» очереди пришелся на красивую статную швею. Жену врага народа спас возраст: ее «партнерами» в большинстве оказались немощные старички. И только одной из трех политических сравнительно с другими повезло: студентку на все два дня выбрал партторг шахты. Шахтеры его уважали: справедлив, с рабочими держится запросто, на равных, политически грамотен, морально устойчив... В нем признавали руководителя — и его участие в «трамвае» как бы оправдывало, объединяло всех: как мы, так и наш политрук, наша власть. Из уважения к нему никто больше не приставал к студентке, а сам партторг даже сделал ей подарок — новую расческу, дефицитнейшую вещь в лагере.

Студентке не пришлось ни кричать, ни отбиваться, ни вырываться, как другим, — она была благодарна Богу, что досталась одному.

Наутро конвоиры очухались, у каждого ломило башку с похмелья. Мужики были наготове: выбили доску в двери, двое протиснулись в образовавшуюся щель, поднесли, подлечили — и вскорости конвой опять мертвецки завалился под соснами. Автоматы лежали рядом, овчарки выли.

Только на третьи сутки начальник конвоя наконец очухался и приказал мужикам открыть дверь и по одному покинуть клуб.

Мужики не подчинились. Начальник предупредил: «Буду стрелять!» — но и это не возымело действия. В заколоченном клубе зэкашки умоляли конвоиров вызволить их, однако угрозы конвоя и мольбы женщин только подхлестнули насильников: они еще не пресытились «трамваем», а когда там в Бугурчан снова привезут баб! И кинулись насиловать еще ожесточенней...

Конвоиры вырубил дверь топором. Начальник повторил предупреждение, но мужики не реагировали и теперь. Тогда солдаты стали стрелять — сперва в воздух, потом в копошащееся на полу месиво тел.

Были жертвы.

Но отупевшие, раздавленные, безразличные ко всему три женщины не интересовались, кто убит и сколько.

МАРИЯ НОЧНОВА



О СЕБЕ

Родилась в 1926 году в Орловской области. Покровский район. Жили бедно. Крестьяне и христиане. Хата из чураков и глины. Пол земляной. Топили по-черному.

В 1929 году раскулачили. Отняли единственную корову. Выгребли последнюю картошку. У деда с ног сняли валенки. Выгнали из хаты.

С 1937 года почти все погибли в тюрьмах и ссылке. Отец арестован в 1938-м. Без суда, решением «тройки» – десять лет и на лесоповал в Свердловскую область. Брат отца Митрофан погиб в лагере, в Котласе Архангельской области.

Остались с матерью пятеро – от тринадцати лет до новорожденного. В 1940 году посадили мать. Работала на стройке. Таскала носилки с кирпичом и раствором на этажи. И в фартуке носила со стройки щепку разжигать печку. Дали один год тюремного заключения. Мы, пятеро детей, остались сиротами.

В 1944 году мы с матерью уверовали, и это дало силы страдать и терпеть.

В 1946 году отца актировали из лагеря с активной формой туберкулеза легких. Но домой не отпустили, а дали ссылку в Алтайский край. Мы всей

семьей решили ехать к нему. Там нас ожидал голод и холод. Отца приютили в сенцах добрые люди. На работу меня и мать не берут – семья врага народа. Хлебных карточек не дают. Я купила девяносто расчесок, чтобы обменять на хлеб и картошку. За это меня посадили в тюрьму – пять лет лишения свободы и три года поражения в правах. И – на Колыму.

Мне еще не было двадцати, а уже четыре с половиной года трудового стажа и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Начальник милиции Кайдалов сказал: «Мы еще подумаем, за что тебя судить – за религиозную агитацию или спекуляцию». Отец не вынес и на третий день умер. Мать в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Сестра Зина, одиннадцать лет, и брат Вова, девяти лет, скитались по поселку. Кто пустит переночевать, кто даст поесть.

На Колыме, на Левом*, я отбыла весь срок. Освободили в 50-м. Вышла замуж за брата по вере, арестованного в 1937 году. Несмотря на реабилитацию мужа, нам не давали ни работы, ни прописки. И только в 69-м, когда он стал инвалидом 2-й группы, мы покинули Колыму.

Записано 23.1.95 г. со слов Марии Григорьевны Ночновой по телефону из Раменского Московской области

ВОДОЛАЖСКИЕ

Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни.

Откр., 2, 10

Водолажский Миша был арестован за веру в 1937 году. В армии, где он проходил действительную военную службу. Прослужил полсрока, имел одни благодарности.

Ему предложили пожалеть себя, отречься, но он сказал: «За моего Спасителя – Господа Иисуса Христа – я готов умереть в любую минуту».

Военный трибунал приговорил его к восьми годам лишения свободы и трем годам поражения в правах по статье 58-10.

Этап от Чернигова до Владивостока двигался по железной дороге больше месяца. Это было в июне–июле 1938 года. Невыносимая жара. Переполненные товарные вагоны накалялись. Голод, жажда. Умиравшие просили глоток воды. Спать не давали. Каждую ночь солдаты простучивали вагоны большими деревянными молотками, а заключенных перегоняли из одного угла в другой. Еда: один раз в день затирка из муки, кусок селедки, пайка хлеба, кружка воды. Далеко не все дотянули до Владивостока.

* Левый Берег, или пос. Дебин. – Прим. ред.

Через несколько дней тысячи заключенных погрузили в трюмы океанского парохода, который взял курс на Магадан.

Плыли одиннадцать суток. Давали два раза в день испорченную муку, заваренную кипятком. И опять умирали заключенные.

Отбывал Миша на прииске «Туманный» Северного горнопромышленного управления. Он — хороший сапожник, и это спасло ему жизнь. Надо было шить обувь лагерному начальству и их семьям, а лучше его никто не умел. Выезда на материк после освобождения не давали, и он устроился сапожником на промкомбинат в поселке Сенокосное, в пяти километрах от районного центра Ягодное. Начальник обувного цеха Вайнер говорил: «Это не сапожник, а художник».

...Шел 1946 год.

На весь Ягоднинский район, включая центральный поселок Ягодное, поселки Спорное, Дебин, Оротукан, Скалистый, Рыбный, Эльген, Мылга, Таскан, прииски «Бурхала», «Верхний Ат-Урях», «Нижний Ат-Урях» (позже М. Горького), «Джелгала», «Штурмовой», «Туманный», им. Водопьянова, «Спокойный», им. Калинина, «Хатыннах», «Одинокий», «Пятилетка», геологоразведывательный участок «Бючаннах», было семнадцать человек чудом уцелевших братьев-баптистов, освободившихся из заключения: Максимчук Павел, Янсен Владимир, Тиц Эдуард, Кнейб Иван, Шевченко Степан, Решетов Гавриил, Тимчук Иван, Литвинов Семен, Берестовой Иван, Бойко Михаил, Водолажский Михаил, Тучин Василий, Ночнов Виктор, Церкаевич Евгений, Жданов Кузьма, Зеляк Павел, Братунь Николай.

В 1953 году, когда Н. Братунь получил возможность вернуться к семье на Украину, выяснилась такая подробность: находясь на Колыме после освобождения, он в течение пяти лет каждый месяц посылал своей голодающей семье двести рублей (хотя сам экономил на хлебе), а им отдавали двадцать рублей. Виновная в мошенничестве работница почты попросила у них прощения.

В 1946 году Водолажский Миша вызвал из Харькова свою невесту, Омелаенко Пашу, и они вступили в брак. Все братья жили в общежитии, и только Мише, как семейному, дали теперь комнату (12 кв. м) в ветхом бараке бывшего лагеря. Полкомнаты занимала двухэтажная клетка: вверху — куры, внизу — поросенок. Так было у всех. Теперь было прибежище для всех братьев. В воскресенье и в праздники приходили к Водолажским. Молились, славил Господа.

У Ивана Николаевича Берестового сохранилось несколько листочков из Евангелия, прошедших все лагерные шмоны (если б нашли — новый срок). Эти драгоценные листочки каждый переписал.

Паша варила борщ (хотя такой, как на Украине, на Колыме не сварить), и голодные, измученные братья, истосковавшиеся по домашнему очагу, отдыхали душой под их кровом. Бывало, старичок Янсен (немец по национальности) скажет: «Господь послал нам свою милость».

В 1948 году у Водолажских родилась дочь Люба, через полтора года – Вера. Поросят выпускали, и он бегал по комнате (иначе визгом изживет). Люба играла с ним, садилась на спину. Миша сам шил детям платица, одежду, обувь, шапки. Пальтишки были как деревянные, из шинели. Зарплату бывшим заключенным платили мизерную. Поражение в правах – нет северных добавок.

14 октября 1951 года. Пашу вновь отвезли в роддом. На другой день я пошла навестить ее. Мне сказали: «Полчаса назад Водолажская родила мальчика». Я знала, что они молились о сыне. Мороз 62 градуса перехватывал дух, выжимал слезы, которые сразу превращались в лед. От Ягодного до Сенокосного пять километров. Я помчалась как на крыльях. В то время мне было двадцать четыре года. Через час была там. Миша уже уложил девочек и убирался со скотиной.

– Миша, благодари Бога. Все хорошо. Сын.

У Миши на глазах показались слезы, и мы опустились на колени.

У детей начался авитаминоз – первый признак колымской цинги, – и Водолажские решили уехать. Это было в 1952 году. Надо было успеть в период навигации, чтоб не застала зима.

Миша рассчитался, и весь поселок радовался, что Водолажские уезжают на материк (не имеющие официальной ссылки бывшие заключенные могли уехать). Водолажских на Сенокосном не только уважали – их любили. К ним шли за советом, за помощью, им доверяли, к ним приходили освободившиеся из лагеря. И они делились и хлебом, и кровом.

На Сенокосном жили человек пятьсот. Провожать Водолажских пришел почти весь поселок. Промкомбинат выделил крытую грузовую машину. Это было 10 июля 1952 года.

В кабину посадили Пашу с ребенком. Юре было девять месяцев.

Вдруг подрулила легковая машина. Выходит человек в форме и, обращаясь к Водолажскому, говорит:

– На этой машине ехать нельзя.

– А на другой?

– И на другой нельзя.

Паша в слезы. Миша побледнел и, обратившись к присутствующим, сказал:

– Дорогие мои братья, друзья, сослуживцы и соседи! Склоним наши головы и обратимся к Господу, чтобы Он дал силы все перенести.

После молитвы братья запели:

Страшно бушует житейское море,
Сильные волны качают ладью,
В ужасе смертном, в отчаянном горе,
Боже, мой Боже! К Тебе вопию!

Сжался над мною, спаси и помилуй!
С первых дней жизни я страшно борюсь!
Больше бороться уж мне не под силу,
Боже, помилуй! Тебе я молюсь!

К пристани тихой Твоих повелений
Путь мой направь и меня успокой!
И из пучины житейских волнений
К берегу выведи, Боже благой!

Многие плакали.

В ту же ночь Мишу арестовали. Через три дня арестовали Сеню Литвинова. Он работал на «Бурхале» электриком. Все остальные братья понесли к Паше свои пожитки. Она сокрушалась: «А меня-то они не тронут? Тогда куда же дети?»

Начальник МГБ Ягоднинского района Жалков свирепствовал. Без конца арестовывали бывших заключенных и давали новые сроки. Все делалось по сценарию 1937 года.

Я работала медсестрой в детсаду поселка Ягодное. В мою группу водил свою дочь председатель трибунала Житенко. Я обратилась к нему:

– Товарищ Житенко! Как же так? Ни за что арестовали людей – Водолажского и Литвинова.

– Будьте довольны, что вас не забрали.

– А это равносильно тому, что нас.

Секретарь трибунала Нина Шугаева тоже водила двух своих девочек в мою группу.

Я говорю ей:

– Скоро будете судить Водолажского и Литвинова. А ведь они ни в чем не виноваты.

– Как не виноваты? У них нашли Библию.

Каждую ночь мы были готовы к аресту. А утром, до работы, шли узнавать – все ли уцелели. Замучили ночные обыски. Мы занимали

комнату в бывшем лагерном бараке (в автогородке), шесть квадратных метров. В комнате: железная печка, бочка с водой, ящик с углем и дровами, по углам – снег. Натопить при таком морозе и ветхости жилища было невозможно. Кагэбэшник всякий раз лез в тумбочку и пересыпал крупу. Соседки шутили: «Манька, носи крупу к нам на ночь». Жили в таком напряжении, что не поймешь – в тюрьме или на свободе.

В это время я готовилась стать матерью. Родился ребенок с нарушением нервной системы.

Судил Мишу и Сеню Военный трибунал. Это было в августе или сентябре 1952 года. Председатель – Житенко. Прокурор – Тетерин. Секретари – Полина Викторова и Нина Шугаева. Статья 58-10-11. Свидетелями обвинения были два человека. Первый – Анатолий Стельмах. Он появился в Ягодном в начале 1952 года, выдавал себя за брата, освободившегося из лагеря, но по его виду и по его рукам было ясно, что в забое он не был. И об Евангелии имел смутное представление. Верующие насторожились. Он часто приходил к нам, когда мы после работы торопились в магазин. А он с удовольствием оставался один в комнате. И вдруг у нас исчезла фото пленка (фотографировались на Рождество у Водолажских). Эта пленка фигурировала на суде в качестве вещественного доказательства: «Вот они, собираются нелегально». Стельмах лжесвидетельствовал: «Они ругают советскую власть, хвалят Америку. (Кстати, о других странах мы десятилетиями ничего не слышали. Они были для нас другой планетой.) Они говорят: “Как Иудифь отрубила голову Олоферну, так будет повержена безбожная коммунистическая система”». После суда этого Стельмаха из Ягодного как ветром сдуло.

Вторым лжесвидетелем был Николай Цецура. Он выдавал себя за православного священника, иногда ходил по поселку в рясе. Работал стекольщиком в Ягоднинском стройуправлении. Часто был нетрезвый. Как-то стою в регистратуре (работала медсестрой в поликлинике), заходит врач-отоларинголог Галина Дмитриевна Зинченко и говорит: «Кто хочет послушать, как Николай Цецура матерится, зайдите в мой кабинет». Он пришел на прием по поводу простудного заболевания и рассказывал, какие сквозняки у него на работе.

Как священника его всерьез не принимали. Баба Дуня, одинокая православная старушка с Заводской улицы, говорила, сильно шепелявя: «Туфтовый поп, туфтовый». Она пользовалась авторитетом в поселке, каждый старался, чем мог, облегчить ее участь. Пенсии у нее не было (колхозный и лагерный стаж не считался). Кто мешок угля подбросит, кто комбикорма. Жила она вместе с курами, звала их

по имени, вместе выходили на прогулку. Она любила рассказывать о тех, кто ей помогает. Говорила она по-волжски, на «о». «А Николай Михалыч-то какой хороший! “Скорую помощь” за мной присылает. В баню возит». (Это о главвраче Немчинове.)

Так вот, этот «туфтовый поп», который ни разу не ступил на порог ни к кому из нас, говорил на суде, что он привозил с Эльгена женщин и Водолажский вербовал их в свою веру. Это была наглая ложь.

Был в Ягодном и настоящий православный священник — Иван Андреевич Астафуров. Его уважал весь поселок. И наши отношения были прекрасные. Он отбыл длительный срок за веру, вызвал к себе в ссылку семью — жену и трех дочерей. Работал в УРСе прорабом (прораб он был знающий). Атеистическая власть не спускала с него глаз. Без конца печатали статьи в газетах, как это начальство УРСа допускает на руководящую должность Астафурова — человека чуждой идеологии. Камин, Вихман, Седов, Казакевич всячески защищали его — хорошего прораба и кристальной души человека. Но наступило время, когда они вынуждены были его снять и поставить грузчиком. А ему было уже под шестьдесят, да и выглядел он не лучше каторжника. Все было отбито еще в тюрьме. Однажды при разгрузке пианино священник упал, потеряв сознание. Поломал ребра. Долгое время лежал в больнице. Жители поселка навещали его, сочувствовали:

— Батюшка, а безбожники, видать, не дадут вам умереть своей смертью.

— Да простит им Господь. Я молюсь за них. Первым христианам было не легче.

В своей обвинительной речи на суде прокурор сказал: «Водолажский — антисоветчик-рецидивист. Он уже отбыл длительный срок за свое мракобесие, но на путь исправления не встал. Его чуждая социалистическому обществу идеология является враждебной, буржуазной. Она калечит мышление и препятствует построению коммунизма в нашей стране. Литвинов полностью разделяет его взгляды. А посему тот и другой заслуживают самую суровую кару». Трибунал приговорил Мишу и Сеню к десяти годам лишения свободы каждого с отбытием в лагерях строгого режима и последующим поражением в правах сроком на пять лет.

Они сидели в Ягодном, на Нагорной улице.

Начальник тюрьмы Шнеерсон вызвал Водолажского и сказал: «Вот что, Михаил Николаевич, в одну камеру с Семеном я вас поместить не могу (однодельцы), а передач и свиданий — сколько угодно».

Мы почти каждый день варили ведро каши, брали буханок десять хлеба и несли в тюрьму: «Всем, кто с вами».

Жители поселка Сенокосное, где жили Водолажские, на его арест отреагировали так: начальник промкомбината Пикус Григорий Абрамович, его жена Роза Соломоновна, начальники цехов Пурер, Вайнер, Абрамович, Мальцура, Чебонян, Доманович, Вера Поповченко, Катя Григорьевна собрали деньги для осиротевшей семьи. Помогли хорошо. И морально, и материально. Знали — людей терзают ни за что. И знали, чем рискуют сами — отбывшие по десять лет жертвы 1937 года.

Когда Миша и Сеня сидели под следствием, мы надеялись, что на суде разберутся и их освободят. Но им дали по десять лет, Паша на нервной почве слегла. Почти парализовало. Не могла подняться с постели. Целый месяц пролежала в местной больнице. Лечение не помогло, и ее отправили за четыреста с лишним километров, на «Талую». Путевку купили в складчину, всем поселком. К этому времени к Ивану Николаевичу Берестовому в ссылку приехала семья, и они забрали детей Водолажских: Любу, Веру и Юру.

«Талая» — чудо природы. В Хасынском районе Колымы в вечной мерзлоте из земли бьет горячий источник, почти кипящий. Его открыли в девятнадцатом веке. До 1941 года у источника стоял деревянный крест, поставленный еще в 1863 году. Местные жители знали об источнике ранее. Ходили легенды о его исцеляющих свойствах.

В сороковых годах здесь был организован курорт «Талая». Свое название он получил от ручья Талого, от талого снега в его окрестностях.

Итак, Паша, никогда не разлучавшаяся со своей семьей, оказалась одна, далеко от дома, на больничной койке.

Болезнь не отступала, лечение не помогало. И еще три месяца она была прикована к постели. Больные собрали деньги и купили ей еще три путевки.

После суда Мишу и Сеню отправили в лагерь. Сеню угнали далеко, а Миша оказался на прииске «Кадыкчан» Сусуманского района. Это километров двести от Ягодного. И я поехала его навестить с попутной машиной. Мороз 60 градусов, туман как молоко — в двух шагах ничего не видно. Днем ехали с зажженными фарами. Водитель переживал, что кончается бензин, а надо дотянуть до Сусумана.

Вдруг машина остановилась... Остановиться в пути в такой мороз — смерть неминуемая. Трагические случаи были очень часты. Машина без обогрева остывает за несколько минут. Я про себя молюсь (дома двухмесячный ребенок). Вдруг водитель выскочил из кабины, поднял руки и что есть мочи закричал: «Господи, помоги!» Прошло минут пять, и в морозном тумане мы увидели слабый свет приближающихся фар. Подошел «студебеккер», поделился горючим. Мой водитель перекрестился: «Слава Тебе, Господи! Не зря “Живые в по-

мощи” всегда с собой». Приехали поздно вечером. На вахте в лагере сказали: «Водолажский здесь, но свидания и передачи только утром. Нужно разрешение начальника».

Куда идти ночью? Зашла в соседний барак. Мужское общежитие. Бывшие заключенные, ссыльные, спецпоселенцы. Многим ехать было некуда, если б и разрешили. Семьи разбиты. Одних членов семьи посадили, другие под давлением властей отреклись от своих отцов – «врагов народа», третьи попали в психбольницу, многие покончили самоубийством. В бараке скученность. Дым, грязь. Узнав, что я приехала на свидание в лагерь, они встретили меня как родную: человек лег на пол, а мне уступил койку. Принесли угля, подшуровали печку. Побежали к якутам – принесли строганины. Расспросили: когда посадили, в чем обвинили, сколько дали, какая семья. Видя этих замученных каторжников, полных сострадания, я думала: «Как бы ни выбивали из людей человечность, как бы ни натравливали друг на друга безбожники-коммунисты, ничего не получилось!»

Наутро пошла в лагерь. Привели Мишу.

Сразу стал спрашивать про семью: про жену, про детей. Я не решилась сказать ему, что Паша уже несколько месяцев не поднимается с больничной койки, что дети их у людей, а хатка на замке.

Это было в 1953 году в январе. В марте 1953 года умер Сталин, но Миша и Сеня продолжали сидеть еще три года. Сеня заболел в лагере открытой формой туберкулеза, Миша тоже вернулся инвалидом. При освобождении их спросили: «Ну что, и дальше будете веровать?» – «Доколе жив», – ответил каждый.

После реабилитировали.

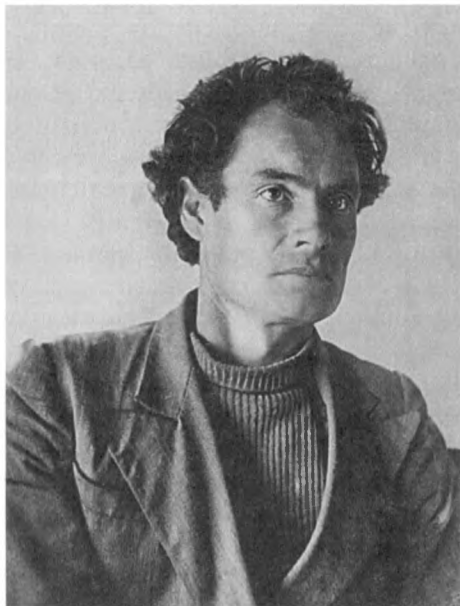
Прошли годы. Немногие выжившие из нас состарились. Земная жизнь подошла к концу.

Недавно нам вновь посчастливилось навестить Мишу и Пашу. Возможно, в последний раз. Они живут в городе Люботине Харьковской области. И как во дни молодости, любовь Христа озаряет их души и свет ее льется на окружающих.

Теперь уже их дети и внуки трудятся на ниве Господней, и жатва близится с каждым днем.

И как сорок лет назад, в их доме висит текст Священного Писания: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» (псалом 36, 5).

НИКОЛАЙ БИЛЕТОВ



От тюрьмы к тюрьме, из лагеря в лагерь – путь, известный многим нашим современникам, Николай Леонидович Билетов (1911–2001) – сын сельского священника – узнал в начале 30-х. Но еще раньше – с детства – ощутил себя изгоем: отец – «лишенец», поэтому сына гнали из школы; только урывками удалось ему поучиться то в одном, то в другом из окрестных сел (семья жила на Украине). В основном, школьные предметы постигал с помощью матери, в свое время окончившей гимназию, и отца – в прошлом учителя. Отец научил рисовать и играть на скрипке.

Подростком Николай уехал в ближний город Сумы, поступил на завод чернорабочим. Семья, с которой он был тесно связан, по-прежнему жила в селе, так что у него на глазах проходили коллективизация, раскулачивание – и он делился с городскими знакомыми своими впечатлениями.

Языкастый «попович», разумеется, был взят на заметку, он легко и просто подошел под обвинение в антисоветской агитации, но, видимо, местным гэпзушникам представилась завидная возможность отличиться на раскрытии более серьезного дела. Провокатор подстроил так, что в момент ареста при Николае оказалось оружие, а это потянуло на статью «участие в воору-

женном восстании»; приговор тройки ОГПУ – «к высшей мере социальной защиты».

Две недели провел Николай в камере смертников, потом расстрел был заменен на десять лет концентрационных лагерей.

Первый лагерь – Темники, полгода спустя – этап на Колыму...

*Заяра Веселая**

С 32-го НА КОЛЫМЕ

...«Дальстрой» бросил якорь поодаль от берега: в тридцать третьем году в бухте Нагаева еще не было причала. К борту корабля подошли самоходные баржи, конвой стал отсчитывать по сотне человек (в трюмах «Дальстроая» помещалось до семи тысяч заключенных), люди по трапам спускались на баржи, где их принимал другой конвой.

На берегу за линией прилива самые разнообразные грузы – бочки, ящики и мешки с продуктами, штабеля досок, груды кирпича, тюки сена – лежали под открытым небом: склады только еще строились.

Немного в стороне на бугре расположилась живописная группа – маленький духовой оркестр: несколько изрядно помятых медных труб не очень стройно играли марш. Музыканты в заношенных нижних рубахах, у каждого на раскрытой груди болтается амулет – ракушка или камешек.

– «Придурки» из КВЧ, – бросил кто-то из наших.

Нас повели через бугор. Сверху мы увидели широкую долину и речку Магаданку, в синюю мглу уходили сопки, поросшие стлаником и редкой лиственницей.

На пологом склоне – лагерь, все, ставшее уже привычным для глаз: колючая проволока, запретка, по углам – вышки; только вместо бараков стояли огромные брезентовые палатки.

Пересыльного лагеря не было, нам предстояло провести ночь за зоной под открытым небом. Сторожили нас всего несколько конвоиров с собаками; впрочем, едва мы ступили на колымскую землю, как нам стали внушать на разные лады: *отсюда не убежишь!*

Вскоре каждый получил по буханке (не пайка, а целая буханка – небывалое дело!) свежего, еще теплого – только-только из пекарни – ржаного хлеба. Воду привезли из Магаданки, она оказалась очень вкусной.

Спали на земле, я сильно продрог, особенно под утро, когда при восходе солнца пал туман, да такой плотный, что сквозь него

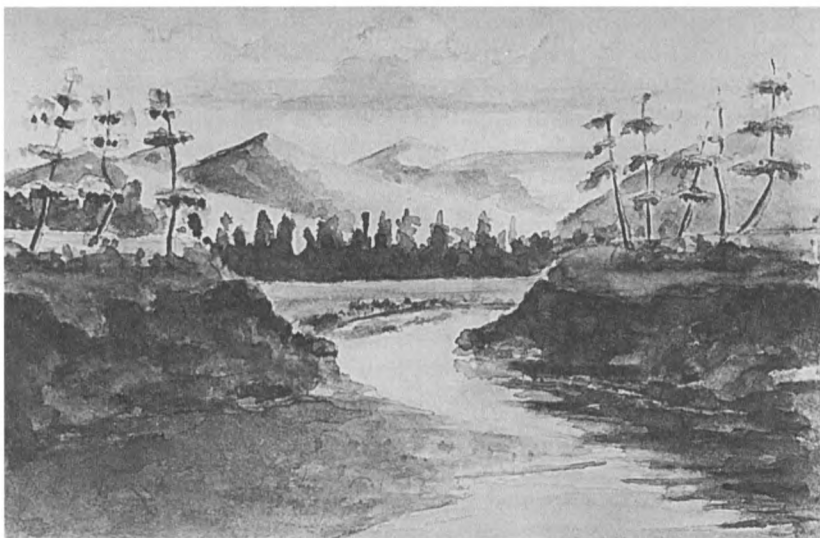
* О нашей встрече на этапе в Сибири см.: «Доднесь тяготееет». Т. 1. 2-е изд. С. 616–618.

лишь едва-едва проблескивала Магаданка, а сопки по ту сторону долины и вовсе исчезли из глаз. Я оглядел склон, усеянный спящими людьми, и мне подумалось, что он похож на Куликово поле после побоища...

С утра и весь день шло распределение заключенных: на прииски, на лесоповал, на строительство трассы, на кирпичный завод в бухте Гартнера, в Нагаевский порт, на городские стройки Магадана.

Я попал грузчиком на нагаевские склады.

На первых порах Колыма показалась не такой страшной, как ожидалось. Осень выдалась теплой и солнечной. Кормили хорошо, даже выдавали перед обедом по 25 граммов спирта (считалось, что спирт предохраняет от цинги), а у входа в столовую стояли две раскрытые бочки, одна с селедкой, другая... с красной икрой. Правда, вскоре спирт заменили на противочинготный отвар из хвои стланика, что касается икры, то была она горько-соленая и слезавшаяся – не укулпнешь, на нее находилось не много охотников.



Н. Л. Билетов. Колымский пейзаж

Работа грузчиков была тяжелой: никаких механизмов, единственное орудие труда – вага. Одна отряда: бригада расконвоирована.

Недолго довелось мне поработать в этой бригаде: однажды на меня обрушился штабель мешков с соей. Очнулся в санпалатке. Переломов не было, но изрядно помяло грудную клетку и произошло растяжение сухожилий на ноге.

Из больницы меня, сильно хромавшего, выписали на хозработы.

Так я попал в нагаевский клуб «Мортран». Сначала только топил печи и мел полы, потом стал приглядываться к работе самого клуба.

Почти ежевечерние танцы для вольняшек проходили под бренчанье струнного оркестрика. Я с малолетства играл на скрипке, причем был в моей манере игры невесть откуда взявшийся мадяро-румынский акцент, что в свое время очень не нравилось отцу и что теперь особенно прельщало посетителей клуба. Вскоре подобрались несколько толковых музыкантов из заключенных, и я сделался руководителем небольшого джаз-банда.

Кроме того, я взялся за оформление самодеятельных спектаклей: писал декорации, готовил реквизит; еще в юности приобрел я в этом деле кое-какой опыт: в нашем райцентре работали при клубе два приехавших из города художника-оформителя, я вертелся возле них, мыл кисти, разводил краски, варил клей. Позже стал помогать им расписывать декорации, как они шутили, «отбивать у них хлеб».

В нагаевском клубе я по-настоящему увлекся работой, но моя статья (ею предписывалось использовать меня только на тяжелых физических работах) висела надо мной дамокловым мечом.

В январе тридцать четвертого года меня угнали на лесоповал.

* * *

В конце 37-го — начале 38-го мы, разумеется, не зная ничего толком, почувствовали на собственной шкуре перемены, происходящие в системе НКВД: начальника Дальстроя Берзина сменил Гаранин — режим ужесточился неимоверно. Большое колымское начальство и сам Берзин были арестованы и несколько месяцев спустя расстреляны, а начальник УСВИТЛа Васьков повесился в тюрьме, которую сам же и построил.

Позднее, когда казнили и Гаранина, на Колыме кто-то — уж не сами ли энкавэдэшники? — усиленно распространял легенду: мол, на место врага народа Берзина из Москвы был послан хороший, честный чекист Гаранин, но по дороге его убил диверсант, завладел его документами и стал на Колыме расправляться с невинными людьми.

Как бы то ни было, но однажды в феврале в наш лесозаготовительный лагерь «47-й километр» приехал на дрезине по узкоколейке небольшой отряд энкаведешников. Сняли с вахты и с вышек вохру — везде поставили своих, отстранили и лагерное начальство.

Утром нас не погнали на работу, и мы было обрадовались неожиданному отдыху и тому, что наконец-то удастся как следует просушить обувь, но радость была недолгой.

Ночью нас подняли, как по тревоге, выгнали из бараков, построили в шеренги (было нас около тысячи человек), заставили рассчитаться по порядку номеров и выдернули из строя каждого десятого. Их построили отдельно, обвинили в подготовке вооруженного восстания в лагере с намерением перейти к японцам. В ту же ночь они были расстреляны в распадке, неподалеку от лагеря.

С той ночи лагерная контора была превращена в застенок. То и дело кого-нибудь из барака уводили на расправу. Никакой логики, никакой системы уловить было невозможно: брали белогвардейцев и героев Гражданской войны, партийцев и священников, директоров заводов и колхозников, «кулаков» и тех, кто раскулачивал. Ни один из них не вернулся в барак, а из конторы днем и ночью неслись такие вопли, как будто с человека сдирают кожу. Умолкнет один – тут же начинается кричать другой, и это продолжалось несколько суток криду.

Наконец, закончив свои *дознания*, чекисты укатили.

Снова на вышки забралась наша вертухаи; как тараканы из щелей, повылезло лагерное начальство – все они первое время были какие-то молчаливые, угрюмые, словно пришибленные. А потом жизнь в зоне пошла своим чередом.

Что до замученных и расстрелянных, то даже братских могил не осталось: рвы, куда их побросали, были засыпаны, завалены, а потом и вовсе заросли кустами черной смородины – она в тех местах хорошо растет...

* * *

В один из зимних дней сорок первого года меня привели с лесоповала в зону, тут же посадили в кузов грузовика и, ни слова не говоря, повезли в Магадан.

Как оказалось, срочно собирали художников из разных лагерей. Был устроен конкурс рисунков, по которому отобрали четверых; в их число попали Иван Пархоменко, Виктор Трухачев, Сергей Райхенберг и я. Нам надлежало увековечить в живописи знаменательное в истории Колымы событие: зимой, в ненавигационное время в бухту Нагаева пришел «сталинский», как его называли, караван судов с различным оборудованием; вел караван ледокол «Красин».

Мы сделали десятки этюдов, затем перешли к живописи маслом. Подписать готовые работы нам запретили, но Виктор Трухачев все же поставил подпись в нижнем правом углу картины, поверх наложил мазки нужного тона, надеясь, что когда-нибудь можно будет снять слой краски – и обнаружится автор полотна. Все четыре картины были выставлены в Магаданском краеведческом музее (может быть, они сохранились и по сей день?).

Закончив работу, обреченно ждали, что нас вернут в лагерь, но, к счастью, начальство распорядилось иначе: четверых художников оставили в Магадане.

Меня направили на работу в Парк культуры и отдыха. Там у меня была мастерская, в ней я и ночевал, лишь раз в месяц являясь в магаданский лагерь на отметку.

У меня появился дружок — маленький белый песик. Жил он прежде в парке при спортивном павильоне, павильон сгорел, Снежок неприкаянно бродил по пепелищу — я его и подобрал. Мы очень друг к другу привязались, ели, можно сказать, из одной миски, не разлучались ни на час. За все годы на Колыме только в ту зиму я как-то отогрелся душой...

22 июня, едва по радио прозвучало сообщение о том, что немцы перешли нашу границу, по всему городу начали, как бродячих собак, вылавливать бесконвойных заключенных, отправлять на пересыльный пункт, а там грузить на машины — и в тайгу.

* * *

Весной сорок второго года кончился мой десятилетний срок. Но у начальства для таких, как я, один разговор:

— Срок, говоришь, кончился? Ну и что с того? Не знаешь, что ли, — война! Иди работай!..

Всю войну я работал на строительстве трассы, которую вели на Якутск через Эмтыгей, Усть-Неру, Индигирку, Куйдусун, Баяган, Кара-Юрях, Оймьякон, Хандыгу.

В конце года наш пеший этап в триста человек пригнали на Индигирку — там уже была оборудована зона, жили люди, прежде нас заброшенные туда по воде.

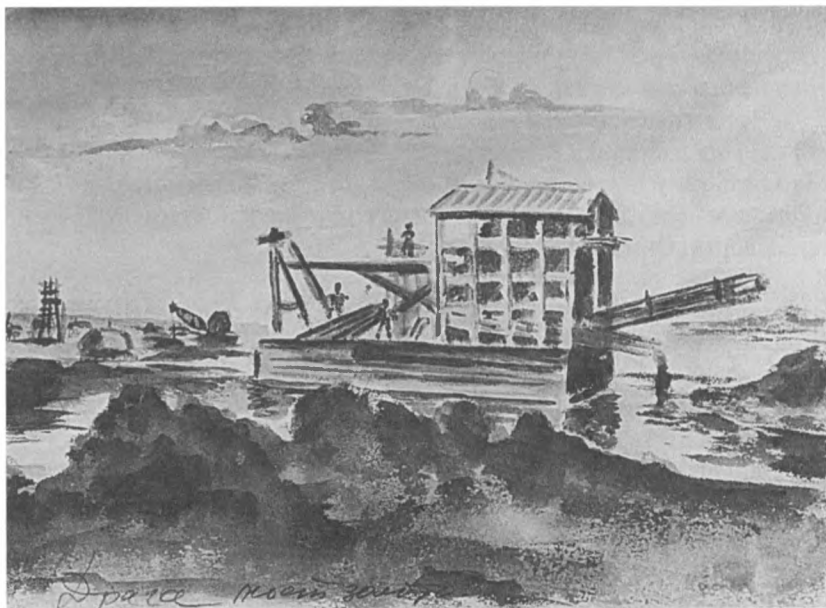
Ни одного дня не дали нам для того, чтоб хоть немного прийти в себя после тяжелейшего этапа: чуть свет — подъем, баланда, развод. Орудия труда — кайло, совковая лопата и тачка. Надо было накайлить грунт в выемках, тачками вывезти на трассу и разровнять. Летняя норма выработки — 3,5 кубометра грунта, зимой, когда он промерз на большую глубину, норму снизили до 0,95 куба, но и столько невозможно было надолбить никакими силами: щебень и галька, смерзшиеся с глиной и песком, приобрели крепость железобетона. А дальше — известная лагерная цепочка: не выработаешь норму — не получишь полную пайку, чем меньше хлеба — тем меньше сил...

«Надо, — думаю, — что-то предпринять, иначе погибель».

Попросил допустить меня до начальника лагеря. Так, мол, и так: срок у меня кончился еще весной, бежать нет смысла, стало быть, и сторожить меня незачем. Разрешите оставаться на ночь на трассе — отогреть грунт.

Начальник подумал-подумал — и согласился.

В тот вечер после работы я вместе со всеми пошел в лагерь, поужинал, отметился на вахте — и вернулся на трассу. Мороз был градусов сорок. У нас это считалось чуть ли не оттепелью: ведь бывало и 60, и 65. Такие дни полагалось активировать, но зачастую метеосводки передавали по радиации только к концу дня. Пока натаскал из тайги дров, уже и северное сияние погасло, значит, было за полночь. Костер разгорелся, а я тем временем наломал веток стланика — себе на постель. Дрова окончательно прогорели, снег кругом растаял в радиусе пяти метров, от земли пар валил столбом. Я разгреб угли по кругу, настелил в середку ветки, улегся на них и заснул; было тепло, как на русской печке.



Н. Л. Билетов. Драга

Еще звезды не погасли, как из зоны донеслось ненавистное «блям-блям» — подъем. В морозном воздухе звуки разносятся далеко — отчетливо слышны лагерный гомон, крики и ругань.

Вскоре пришли работяги. Мой напарник, уголовник Николая Грабов принес мне завтрак – пайку хлеба и котелок с замерзшей баландой. В этот день все бригадники – даже самый последний доходяга – выполнили норму, и впервые каждый получил неурезанную пайку. Так у нас и повелось.

Мне очень по душе пришлось моя уединенная ночная жизнь под открытым небом – вдали от проклятой зоны, от барака с его смрадом и теснотой, с вечными ссорами и драками. Но меня не покидала суеверная мысль, что такая вольготная жизнь не может продолжаться долго – что-нибудь да случится. И случилось: в лагере начался сыпной тиф.

Я свалился в феврале. Больных в зоне не держали. Километрах в трех был брошенный якутский наслег – селение. Три яранги оборудовали под изолятор для тифозных. Внутри яранги вдоль наклонных стен – по кругу – шли сплошные нары из жердей, на них – ветки стланика, покрытые мешковиной, посредине яранги на земляном полу – лагерная печка-бочка.

При нас был дневальный – топил печку, растапливал снег для питья.

Двадцать дней пролежал я в беспамятстве. Потом пошел на поправку. Лечил нас московский профессор-лагерник, он нашел метод спасения умирающих от сыпняка: переливал им кровь переболевших (получавших в награду пайку больного).

...Две недели спустя к нам заглянул конвоир:

– Дневальный, закрывай свою лавочку! А вы, – это уже нам, – одевайтесь и марш в зону!

К этому времени нас оставалось только четверо, все, кроме меня, ходячие.

Я был так слаб, что дневальному пришлось одеть меня и обуть, под руки вывести за порог.

Между ярангами штабелями высотой метра в два были сложены трупы.

Шагнул я раз, шагнул другой – и упал.

– Не дойти мне...

Смотрю, один из урок тащит большой мусорный ящик на полозьях с прилаженной к нему проволочной петлей. Он подхватил меня на руки, засунул в ящик – и урки поволокли его по обледенелой дороге, двое спереди, третий подталкивает сзади. Да так резво понеслись, что конвоиру не угнаться.

– Тише, вы, падлы! – кричит. – Стойте!

А ему в ответ:

– Стреляй!

У вахты они меня бросили.

С трудом добрался я до барака, без сил повалился на нары. Вскоре пришел нарядчик, велел получить в каптерке обмундировку и обувь: утром – на развод.

– Будешь пока на легких работах, – пообещал он.

Сильные морозов уже не было, но все же без костра не обойтись, его развели еще до начала работ. Конвоир ткнул в меня пальцем:

– Останешься следить за костром.

Когда все разошлись, он вынул из кармана колоду самодельных, сделанных по трафарету карт. Оказалось, он прослышал, что я художник, и предусмотрительно запасся огрызком сине-красного карандаша. Мне надлежало нарисовать фигуры дам, королей и валетов.

Руки дрожали от слабости, но я очень старался: место у костра было мне обеспечено, по крайней мере, до конца «художественных работ».

Хотя питание было из рук вон, все-таки я, по существу, отдыхал на свежем воздухе, так что вскоре уже мог катать груженую тачку, орудовать кайлом и лопатой.

* * *

Летом мне поручили по линии КВЧ обслужить как художнику зоны, расположенные вдоль трассы. Все их – одну за другой – нужно было обойти (а это ни много ни мало 400 километров) и от Верхоянского перевала вернуться в свой лагерь.

Я отправился. В каждой зоне оформлял стенгазету, рисовал портреты передовиков производства, писал лозунги: «Искупи свою вину ударным трудом!» и «Ударный труд – путь к досрочному освобождению».

К склону Верхоянского перевала пришел в сентябре, когда уже выпал снег. Пора было возвращаться восвояси, но начальник тамошнего лагеря продержал меня больше месяца, задав мне работу помимо казенной: с огоньковской репродукции картины Шишкина «Утро в сосновом лесу» сделал я начальнику большую копию маслом.

Накатила зима, с пургой и морозами за 50°, ведь тут был полюс холода.

В обратный путь – в сторону Оймякона – я вышел ранним утром, надеясь, что меня нагонит попутка. Да не тут-то было: четыре «студебеккера» один за другим промчались мимо, обдав меня снежной пылью, и ни один не притормозил: в кабинах уже сидели пассажиры.

Я не сильно горевал, зная, как часто расположены вдоль трассы зоны: в первой же можно обогреться и отдохнуть.

И вот впереди показалась зона. Свернул к ней с трассы. Утопая в глубоком снегу, подошел поближе — что такое?! На вышках не видно вертухаев, ворота нараспашку, в бараках вместо окон — дыры.

Ясно: участок трассы завершен, сдан в эксплуатацию, покуда я рисовал шишкинских мишек, лагпункт успели ликвидировать.

После полудня добрался до другой зоны — та же картина! Ничего не оставалось, как шагать дальше.

На Колыме при сильном морозе надо научиться дышать — не то отморозишь легкие. Дышать я умел, лицо у меня по самые глаза было заматано тряпкой. Хотя мороз за пятьдесят, зато ни малейшего ветерка.

Между тем начало темнеть. По горизонту справа налево двинулись черные и красные столбы — началось северное сияние. С каждой минутой столбы делаются все ярче, контрастнее, удлиняются и движутся все быстрее и быстрее. Создается впечатление, что находишься внутри гигантской карусели. За столбами, в темной синеве, зажглись звезды, повисла желто-красная луна.

Уже с трудом передвигаю ноги. До рези в глазах вглядываюсь в ночь: не покажется ли спасительный огонек такого желанного сейчас лагеря, где в дымном и вонючем, но теплом бараке накормят горячей бабландой, дадут место на нарах...

Знал, что нельзя остановиться ни на миг, долго крепился, но в конце концов не выдержал, сел в снег, подумал: «Только на пять минут». Закрыв глаза — и сразу сон: я с сестрами на сенокосе. И тут как будто мне кто-то крикнул в самое ухо: «Да ведь ты, подлец, спишь!» Вскочил на ноги, пошел — и чувствую, что замерзаю: ноги в коленях не гнутся, руки, как у куклы, торчат в стороны. А тут еще пудовой гирей висит на шее этюдник, и нет никакой возможности от него избавиться: лямка прихвачена веревкой, которой я подпоясан, веревку в рукавицах не развяжешь, если же снять их хоть на минуту — на таком морозе пальцы враз отлетят, как стекляшки.

Ночь была на исходе, когда впереди за рекой мелькнул свет...

* * *

Мы с нетерпением ждали конца войны: надеялись на всеобщую амнистию, а уж кто, как я, *пересиживал*, тот и вовсе был уверен: с победой придет освобождение.

И он наступил, этот великий день.

— Победа!

Проходит месяц, проходит другой, начальство – ни гу-гу. Вот уж и год кончился, а у нас ни малейших перемен, живем под вечную лагерную погонялку: «Давай-давай!»

Освободили меня из-под стражи 24 сентября 1946 года.

Выдали денег пять рублей и талоны на питание.

Паспорта мне не полагалось, стало быть, уехать с Колымы нельзя. Вместо паспорта – «вид на жительство». Еще выдали справку о том, что отбыл десятилетний срок.

Не десять, а четырнадцать лет, три месяца и двадцать шесть дней жизни прошли за колючей проволокой...

ВЕРА УСТИЕВА



Вера Яковлевна Устиева (Ефимова) родилась в 1909 году в многодетной семье. Отец был из крестьян, мать рано умерла. Вера Яковлевна закончила педагогический техникум и преподавала математику. Блестяще сдав экзамены в Саратовский университет, была принята условно – смущала справка об отце-средняке. Забрала документы и уехала работать в Свердловск. В 1929 году отца раскулачили, и старшие дочери долгое время помогали ему.

Вышла замуж за ответственного секретаря газеты «Уральский рабочий», поступила в институт.

В 1937 году к ним в гости приезжал товарищ Веры Яковлевны. Находясь у нее, написал письмо со своими соображениями по поводу Конституции. После его отъезда она сожгла черновики.

Вскоре пришли арестовывать. «Где у вас программа действий террористической организации?» Свердловская тюрьма, тюрьма Нижнего Новгорода, Бутырки. Приговор – 58-я статья, пункты 8, 10, 11. Срок – 10 лет с поражением в правах на 5 лет.

В Ярославском политизоляторе у нее родился сын. Теперь уже вдвоем их перевели в Новгородскую тюрьму, а потом в ленинградские Кресты. Девяти-

месячный мальчик заболел менингитом, его забрали в больницу, но спасти не сумели.

Потом был этап на Колыму через Суздальскую и Владимирскую тюрьмы.

Работала вышивальщицей в художественной мастерской Веры Федоровны Шухаевой.

Освободилась досрочно в 1946 году. На Колыме познакомилась с Е. К. Устиевым, известным вулканологом, и стала его женой.

После реабилитации они приехали в Москву.

Вера Яковлевна Устиева скончалась в 1993 году.

ПОДАРОК ДЛЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА

...Вскоре всех пересчитали, переписали, посадили в вагоны — это был этап на Колыму. Этап — страшное путешествие. Везли нас во Владивосток больше двух месяцев. Описан этот этап в «Крутом маршруте» Гинзбург. Она ехала в 7-м вагоне, а я в 6-м. Во Владивостоке поместили в пересыльные бараки.

А знаете, сколько там было клопов?! Я даже никогда представить себе такого не могла! Мы не могли спать в бараке, несмотря на очень холодные ночи. И днем сидеть нельзя было, клопы тут же прилипали к ногам, и мы больше бегали, чем сидели. А ночью ложились во дворе, но избавиться от этих клопичных туч все равно не могли. Дело еще в том, что всем выделили одежду, а мне нет. И я эти тюремные штаны не снимала два месяца пути. Чувствовала я себя очень плохо, настолько плохо, что еле перенесла путешествие на «Джурме», так назывался пароход, который привез нас на Колыму. И идти дальше я уже не могла. Это, между прочим, спасло меня.

Всех сразу повели на работу, а меня и еще таких, как я, калек, оставили в бараке. И тут пришла женщина и спросила:

— Кто из вас умеет вышивать?

Я сказала:

— Я могу.

— Ну, тогда завтра приходите.

Я, конечно, пошла, и меня приняли. Оказалось, что руководит этой мастерской художница Вера Федоровна Шухаева, с которой я познакомилась в московской тюрьме. С этого момента началась моя карьера художника и нужного для мастерской человека. Таким образом, я была в лучших условиях, чем все остальные мои тюремные товарищи. Меня никуда не послали. Более того, всякие дамские вещи я шила около двух месяцев. Одна женщина делала художественную работу, я попросила поручить мне что-нибудь подобное.

Вера Федоровна взяла заказ на одну из картин. Тут же какая-то женщина принесла мне несколько хороших литографий. И была одна открыточка дореволюционная – великолепно изданная «Березовая роща» Куинджи. Я увеличила рисунок и сделала картину. Первая – это была «Березовая роща» Куинджи.

Я родилась в таком месте, где растут березы, и сосны, и ива, и поэтому моей тоске отвечала работа с природой. Я стала делать картины. Они пользовались необыкновенным успехом. Каждая дама непременно хотела украсить вышитой картиной свой дом – это же редкость. После «Березовой рощи», когда началась война, я шила «Трех богатырей». И «Богатыри» пользовались совершенно невероятным успехом. Все дамы НКВД теперь непременно хотели свои гостиные украсить этой самой картиной. «Богатырей» я шила много, много раз. Тут мне помогали жена и муж Шухаевы.

Когда я появилась там, Василий Иванович Шухаев был на лесоповале. Но в это время строился Дом пионеров, и будущая начальница дома приходила к нам в мастерскую и заводила разговор, что кому-то надо поручить внутреннее оформление. Вера Федоровна сказала, что ее муж – художник, находится на лесоповале. И Василий Иванович в конечном счете был переведен в Магадан и устроен художником-декоратором в театре, заодно оформляя комнаты пионерского дома.

Когда я только начинала шить «Богатырей», то лошади у меня получались великолепно, богатыри со всей своей одеждой, сапогами разноцветными – все это получалось очень хорошо, кроме лиц. Лица получались невыразительные, поэтому я обращалась за помощью к Василию Ивановичу Шухаеву, и он очень тонкой кистью дорисовывал богатырей. Я особенно любила шить лошадь Алеши Поповича – такую рыженькую. Все это было очень приятно, но когда шьешь пятьдесят, сорок или даже двадцать раз, то устаешь, конечно. Размер вышивки – метр двадцать на метр тридцать. Картина сама очень большая, она же стену целую занимает в Третьяковской галерее.

«Березовая роща» и «Богатыри» повторялись много, много раз.

Потом я осмелела – шила «Грачи прилетели» Саврасова, «Золотую осень» Левитана, в общем, я шила всякие пейзажи. Это было для меня большой радостью. Во-первых, я никогда не делала этого раньше, а во-вторых, это все-таки было отвлечение.

Иной раз меня пускали в читальный зал, и я могла, например, пересмотреть «Историю искусства» Бенуа. Я получала любые альбомы, природы живой я не видела, но альбомов перебрала очень много. А главное – консультации Василия Ивановича. Когда не получался

цвет, нужный мне, я бежала к нему и спрашивала, что мне тут прибавить. И он говорил:

– Вера Яковлевна, три цвета есть, и из них можно все получить, если у вас есть голова на плечах.

Он довольно строго со мной обращался, но тем не менее всегда давал консультацию. Он говорил, что есть только красный, желтый, синий цвета, а остальное, если вы пожелаете, можно получить. Я многому научилась, общаясь с Шухаевыми, с Еленой Михайловной Тагер, которая была мне близким другом*. Оказалось, что Вера Федоровна с Еленой Михайловной вместе учились, сидели за одной партией в гимназии.



В. Я. Устиева (справа) и Елена Михайловна Тагер. *Абрамцево. 1958 год.*

Там, на Колыме, было много интеллигенции, большой интеллигенции.

Я шила для начальства, и меня перевели в клуб, чтобы следить за каждой моей работой. Я шила только по заказу и по разрешению начальника.

* С ней я встретилась в ленинградской тюрьме. Нас сблизило общее горе. У меня только что умер сынок, родившийся в Ярославской тюрьме, а у Елены Михайловны – за год до ареста – семнадцатилетняя дочь. – *Прим. автора.*

Начальник Магаданской области Никишов и его жена взяли меня в свой дом шить картины, чтобы никто меня не отвлекал. И я в течение двух месяцев перед их отпуском сидела в бильярдной на втором этаже, где стояли мои пальцы. Это было очень тяжело, между прочим, потому что я была лишена общения с моими друзьями. И конечно, никаких разговоров я не вела с начальством, а сидела наверху и старалась как можно меньше спускаться вниз. И Никишов даже сказал: «Единственная женщина, которая не лезет в глаза».

Дали мне в помощницы девочку. Я сама красила нитки из шелкового женского белья. Оно хорошо распускалось – нитка получалась очень мягкая, я к ней привыкла.

Распускать, чтобы нитка была прямой, помогала девочка. Кроме того, что я шила картины, я еще делала Дедов Морозов, участвовала в подготовке костюмов – делала искусственный мех из ваты для шапок боярских. Делала абажуры, натягивала и разрисовывала. Я использовалась для всех работ. Моя изобретательность и желание работать – а желание работать было – дали возможность мне прожить там.

Я, собственно говоря, выполняла все «барские» рукоделия. Когда кого-то выбирали в облисполком, в райисполком, мне обязательно делали заказ для того, для другого, для приехавшего ревизора...

Это походило на слова Некрасова: «В понедельник Савка шорник, а во вторник Савка в комнате слуга...» Так и я... Я была на всех работах, какие понадобились «господам». А еще там была труппа, которая ставила даже оперы. «Травиату», например.

Певцы были собраны из разных театров. Певцов было много. Так что эта «крепостная» постановка прошла с большим успехом. Конечно, актерам создавались некоторые условия, так же, как и мне. Главным режиссером был Леонид Викторович Варпаховский. В труппе были танцовщицы, певцы, драматические актеры – много очень интересных людей. Среди них был и Козин, известный певец.

В этой труппе был трагический случай. Аккомпаниаторшей была немка, которой казалось, что она так никогда и не выйдет из лагерей. Ее друг освободился и выехал на материк. И это окончательно сразило ее, она покончила с собой. Были и другие подобные случаи...

Когда узнали, что аккомпаниаторша покончила с собой, Леня Варпаховский предложил помянуть ее несколькими минутами молчания. Козин посчитал, что немку незачем помянуть, и – Варпаховский был арестован. Тут уже вмешался начальник края. Он не нашел в этом ничего предосудительного. И после шестимесячного ареста Варпаховский был выпущен. Вся труппа, конечно, переживала, потому что его любили как руководителя и как очень талантливого режиссера.

У нас была начальница, такая Вера Сергеевна, фамилию ее не помню, для которой заключенные все делали бесплатно, без наряда. А уже началась война. Продуктов не хватало, было очень трудно. В это время она захотела, чтобы я ей вышила картину. Сюжет — украинская осень. Очень приятная картина, но шить ее без наряда для меня было очень тяжело. Я пошью и отложу, и начинаю работать, чтобы по наряду выработать норму и получить хлеб. Она возмущалась, почему я долго шью ее картину. Я не выдержала и сказала ей:

— Вы даете картину шить без наряда, а шить без наряда — я не получу достаточной пайки. Если вы хотите скоро, я сошью вам, но вы поставьте мне часы.

Это ее возмутило, и меня немедленно из цеха перевели шить в ночь сапоги для заключенных из всякого барахла.

Так как я никогда не работала в ночь, то днем совсем не спала. И ровно через две недели меня положили в больницу. За это время начальницу сняли и заменили ее другой. А когда я попала в больницу, то Вера Федоровна писала мне: «Успокойтесь, вы возвращаетесь в цех, потому что крысы и мыши съели знамена и никто их восстановить, кроме вас, не может». Пострадали все четыре вождя — Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Мыши не разбирались, кто тут вожди, и отъедали так — кому ухо, кому глаз, кому нос, — всего было 14 или 15 испорченных знамен.

И когда я возвратилась из больницы, то занялась этой работой. Герб очень пострадал, вот я и шила серп и молот, а потом поправляла лица вождей.

В Колымснабе, конечно, очень перетрусил, потому что испортилось не что-нибудь, а знамена. Я заработала много часов и поделилась со старушкой, которая у нас жила, Софьей Михайловной, старым членом партии.

Елена Михайловна Тагер в это время переписывалась с известным пушкинистом Юлианом Григорьевичем Оксманом. Я всегда читала эти интересные письма. Остался он в живых и была у него возможность писать эти литературные письма только потому, что ему покровительствовал сапожник. Сапожник — армянин — совершенно замечательный, без которого не обходились лагерные дамы. Когда Оксман освободился, то принимал этого сапожника у себя дома как благодетеля. Как только во времена Хрущева представилась возможность встречаться с иностранцами, к Ахматовой приехал кто-то из западных литераторов, и она пригласила своего друга Оксмана. Для того чтобы узнать, о чем они разговаривали, к ним была прислана еще одна соответствующая дама, которая во время беседы все

время говорила: а наше правительство все время делает то-то, то-то и то-то. Оксман не выдержал и сказал: «Это ваше правительство, а не мое».

Помогло мне в моей лагерной жизни участие в художественной выставке в Магадане. Тут нельзя не сказать о Шухаеве, который очень пострадал от этой выставки. Василий Иванович Шухаев – известный в России и за границей художник. Сам он говорил, что картины его разлетаются по всему миру. Говорил он это, смеясь.

Его портреты есть почти во всех музеях мира – в Германии, во Франции в Лувре, в Америке. Это великолепный портретист. Естественно, что наше начальство поручило ему написать портрет Сталина, ему и Вегенеру, тоже очень хорошему художнику. И Василий Иванович решил написать Сталина на позициях. А зима в первый год войны была очень суровая. Василий Иванович одел его в ушанку, в валенки и решил поставить на снегу. Он же ведь Главкомандующий, он же не мог не быть на позициях – это по мнению Василия Ивановича. И никаких знаков отличия, кроме погон. Он написал его не просто так стоящим столбом, а с протянутой вперед рукой. Это очень трудный ракурс, когда пишешь. Зашла начальница культурно-воспитательной части Драпкина и, увидев портрет Сталина, закричала:

– Что же вы издеваетесь над нашим вождем? Кого вы нарисовали?

Шухаев был человеком, который не привык говорить неправду. И он сказал:

– Ну как же? Он главный, он не может не посетить позиций, а в такой холод он не может не надеть теплой одежды.

Она была страшно возмущена портретом и велела посадить Шухаева в карцер. Мороз был лютый. Я как раз была вызвана к ней в дом, потому что она получала новую квартиру. Когда она дала распоряжение посадить его в карцер, я сказала, что у меня кончились краски. И вот я побежала к Вере Федоровне и рассказала, что Василия Ивановича сажают в карцер. Василия Ивановича в мастерской нашей очень любили. По его эскизам, рисункам делали театральные костюмы. Всякий раз, как он приходил с рисунками в мастерскую, все очень радовались, что заработают достаточное количество часов.

Тут же закройщица скроила платье для начальницы нашего лагеря Гридасовой, позвонили ей, что идут на примерку. Вера Федоровна пошла туда и рассказала про Василия Ивановича. А эта Драпкина подчинялась Гридасовой. Гридасова сказала, что сутки он должен отсидеть, потому что она не имеет возможности отменить приказ сразу. А сажали его на трое суток. Он уже пожилой человек был тогда, ему

было шестьдесят с лишним лет, и он, конечно бы, не выдержал. Но сутки он все-таки отсидел. Ну, а портрет Сталина он не дорисовал.

Встрече с Шухаевыми я обязана жизнью. Привезена я была очень больной. А там все-таки поднялась. А главное — я получила большую дружбу, настоящую дружбу, которая продолжалась после моего освобождения больше тридцати лет.

Выставку посетил вице-президент Америки. Перед осмотром меня и еще одну участницу выставки вызвали и заставили все прибрать. Мы убрали, и в это время закричали: «Спускайтесь, спускайтесь скорее в подвал! Идут!...» Начальник края, наша начальница Гридасова и делегация из Америки. Вице-президент Америки осматривал выставку картин как знаток. А вышивку он видел, наверное, все-таки впервые, потому что надолго задержался перед этими картинами. Их было пять: «Березовая роща», «Грачи прилетели», «Богатыри», левитановский пейзаж, и я для себя вышила детскую головку. Я всегда очень мучилась, вспоминая своего ребенка, а Вера Федоровна мне как-то сказала: «Возьмите и сделайте себе головку детскую, это как-то успокоит вас». И я сделала овальный детский портрет.

Основой послужил тропининский «Мой сын», но я немножко его изменила, чтобы он напоминал моего сына. Эту картинку оформили краснодеревщики, сделав мне подарок к какому-то дню, и картина висела у меня. Но начальница сказала, чтобы я ее выставила, что мне ее возвратят. Но так мне ее и не возвратили.

Во время экскурсии начальница лагерей сказала, что это ее вещи и что она может их подарить. И тут же были упакованы все пять картин, и вице-президент увез их в Америку. А через некоторое время наша начальница получила письмо от жены вице-президента, в котором та писала, что благодарит за подарок и что картины украшают их холл.

Записано Бианной Цыбиной со слов В. Я. Устиевой

РОБЕРТ КОНКВЕСТ



«Я родился вскоре после июльских событий 1917 года – первой неуклюжей попытки большевиков захватить власть, – писал Роберт Конквест в 1990 году. – Так что я и мое поколение видели и становление, и кончину традиционного советизма».

В 1937 году он, двадцатилетний английский студент, две недели провел в Советском Союзе. Несколько лет он питал иллюзии в отношении советской страны и ее социализма. В конце Второй мировой войны Конквест как офицер союзной армии был направлен в Болгарию. Он стал свидетелем послевоенной сталинизации страны, и это окончательно отвратило его от советской системы.

Затем Конквест служил в Министерстве иностранных дел, какое-то время работал при делегации Великобритании в ООН.

То, что творилось в Советском Союзе, вызывало у него ужас. Но еще страшнее – отмечал он – был успех фальшивой сталинистской пропаганды на Западе.

В 1956 году, чтобы более свободно писать о СССР, он ушел с дипломатической службы и занялся наукой.

Изданные им впоследствии книги представляли собой не только тщательное исследование: в них проявился писательский талант Конквеста (еще будучи дипломатом, он опубликовал сборник стихов и научно-фантастический роман). Его классический труд «Большой террор» (1968) привлек внимание многочисленных читателей. Под влиянием этой книги изменялось мировоззрение целого поколения. «Большой террор» стал расходиться в списках самиздата в самом Советском Союзе.

Сейчас Роберт Конквест живет в Калифорнии. Он – профессор института Гувера.

Джон Кроуфут

КЛОУНСКИЙ ФАРС*

Самое удивительное и в то же время позорное – то, что само существование колымских лагерей игнорировалось и даже отрицалось на Западе в течение длительного времени – более двадцати лет. Такое отношение Запада к сталинской системе лагерей объясняется вовсе не отсутствием правдивой информации.

Свидетельства людей, переживших кошмар лагерей и впоследствии попавших на Запад, были известны там еще в сороковые годы. Свидетелями были тысячи поляков, которым было разрешено покинуть Советский Союз в 1941–1943 годах на основании польско-советского договора. Основываясь на этих свидетельствах, Мора и Звернак в 1945 году составили доклад о системе лагерей на всей территории Советского Союза. Особо пристальное внимание они уделили восьми крупным лагерям, находившимся в подчинении Дальстроя.

В 1946 году вышел сборник бывших заключенных этих лагерей. Сборник назывался «Обратная сторона Луны» (с предисловием Т. С. Эллиота).

В 1948 году меньшевики Д. Даблин и Б. Николаевский опубликовали свое фундаментальное исследование под заглавием «Принудительный труд в Советской России» о пятнадцати лагерях. Это исследование давало обширную и точную информацию.

В 1951 году появилась книга «Одиннадцать лет в советских лагерях» Элинора Липпер, и в том же году вышел другой труд – «Это случилось в России», автором которого был Владимир Петров. Обе эти книги представляли собой полное и точное описание колымских лагерей. Это были свидетельства самих заключенных.

* Из не опубликованной на русском языке книги: Robert Conquest. *Kolyma. The Arctic Death Camps*. New York: The Viking Press, 1978.

При жизни Сталина в СССР вышло значительное количество работ на эту тему. Но они были предназначены для того, чтобы дать абсолютно вымышленную картину колымских лагерей. Эта лживая картина не вызвала сомнений у американской общественности. «Колыма — страна чудес», — писал П. Загорский в нескольких статьях, напечатанных в «Известиях» в 1944 году. Эти статьи имели еще меньшее отношение к реальности, чем даже книга «На Дальнем Севере — Колыма, Индигирка», автором которой был С. Болдаев.

Принятая на веру легенда, что освоение Колымы (как и других районов) было осуществлено комсомольцами-добровольцами, распространялась ни кем иным, как генералом Никишовым, начальником Дальстроя, и еще более удивительно то, что эта фальсификация повторялась в «Известиях» двадцать лет спустя, во время правления Хрущева, и преподносилась как правдивый материал, хотя в те годы уже немало свидетельств советских авторов было опубликовано, много воспоминаний распространялось в самиздате или за рубежом.

В «Большом терроре» я дал несколько примеров созданного западными писателями обманчивого впечатления о жизни в России в период, когда Сталин находился у власти. Легковерие, с которым освещали на Западе положение в Советском Союзе, характерно для целого поколения западной левой интеллигенции. У меня в книге не хватило места для описания подобных примеров. Я опустил, например, речь сэра Дж. Хаксли по случаю присуждения ему премии, в которой он дал волю фантазии, сказав, что Сталин часто отправлялся на станцию разгружать товарные вагоны. А доктор Саммерскилл сказала, что новые больницы, которые показывали ей в Советском Союзе, затмевают картины казней и жестокостей. Некоторые пошли даже дальше, как, например, Жан-Поль Сартр, который убеждал, что если даже система советских лагерей существовала, то это не надо было предавать огласке, чтобы не пошатнуть веру рабочего класса Франции в Советскую Россию...

Все вышеизложенное можно проиллюстрировать еще одним, вероятно, самым абсурдным событием во всей истории советских лагерей. Речь идет о коротком посещении Колымы вице-президентом США Генри А. Уоллесом с группой советников, возглавляемой профессором Оуэном Латтимором. (Латтимор представлял службу военной информации в 1944 году.) Такое посещение не считалось редкостью, так как, начиная с 30-х годов, имели место визиты западных деятелей, симпатизирующих советскому режиму, например визит Бернарда Шоу и посещение им лесозаготовок под Архангельском. Его визит должен был опровергнуть заявления, что советская

древесина, продаваемая в западные страны, добывается рабским трудом. Метод опровержения был испытанным: снималась колючая проволока, разбирались сторожевые вышки, а заключенные загонялись в тайгу на несколько дней. Можно представить, какие там были условия жизни для заключенных! Зато этот метод показал себя эффективным.

Визит Уоллеса – Латтимора оказался еще более «выдающимся». Во-первых, от них не требовалось опровергать утверждения о рабском труде в лагерях, поскольку никаких заявлений об этом до них не доходило. Для Уоллеса и его попутчиков Колыма была просто удобным местом остановки во время перелета из США в Китай. Они считали, что трехдневное пребывание на Колыме даст им возможность собрать полезный материал о развитии этого редко посещаемого края.

Уоллес и Латтимор опубликовали восторженные отчеты.

В своей книге «Миссия в Советскую Азию» Уоллес говорит, что золотоискатели на Колыме – это «рослые крепкие парни, которые приехали на Дальний Север из европейской части России». Он добавлял также, что они являются «пионерами нового технического века, строителями городов». На него произвел прекрасное впечатление жестокий генерал Никишов, который на пикнике «весело скакал и прыгал на свежем воздухе», чем совершенно очаровал вице-президента США.

Один из бывших заключенных, прочитав это, сказал: «Очень жаль, что Уоллес не видел Никишова «веселящимся», когда он пьяным приезжал в лагерь, выливал потоки грязной брани на измученных, умирающих от голода заключенных, сажал их в карцер без всякой вины, а затем посылал работать в шахты по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки».

О жутком Гоглидзе, которого Уоллес встретил позднее (он называет его «председателем исполнительного комитета Хабаровского края», подчеркивая, что Гоглидзе является личным другом Сталина), он пишет, что это прекрасный человек, умелый организатор и мягкий, сочувствующий людям работник.

Жена Никишова Гридасова (комендант женского лагеря в Магадане, о которой самое лучшее, что можно сказать, так это то, что она не делала абажуры из человеческой кожи) также произвела прекрасное впечатление на Уоллеса своими деловыми качествами, материнской заботой и вниманием. Он был представлен ей на уникальной выставке рисунка и вышивки – копий известных русских пейзажей. Работы были сделаны, как пишет Уоллес, группой местных женщин, которые собирались вместе холодными зимними вечерами и учились

вышивать. Две работы Никишов подарил Уоллесу. Никишов не мог сказать Уоллесу, кем были сделаны эти работы, но позднее Уоллес узнал, что он не сказал этого из скромности, так как, по словам директора выставки, в действительности они были сделаны Гридасовой — «одной из лучших мастериц-инструкторов по вышивке». В действительности «группа местных женщин», которая создавала высокохудожественные работы, была группой женщин-заключенных — в большинстве это были бывшие монахини, которые своей работой для колымской полицейской элиты могли что-то добавить к скудному пайку.

Конечно, это был большой обман. Операция, имеющая целью спрятать правду от Уоллеса и его попутчиков, была организована в большом масштабе. Деревянные вышки, тянущиеся вдоль всей дороги в Магадан, были снесены. В течение трехдневного визита никого из заключенных, выполнявших городские работы, не выпускали из лагерей. Более того, когда гости проезжали мимо лагерей, заключенным не разрешалось покидать бараки. Их запирали там и крутили фильмы все три дня, пока продолжался визит.

В витринах магазинов Магадана в те три дня было выставлено много продуктов, собранных со всего района. В течение двух предыдущих лет в этих витринах почти ничего не выставлялось, а то, что имелось в магазине, было американскими продуктами, полученными по ленд-лизу.

Один житель Магадана, как сообщалось, проник в магазин, когда там находился Уоллес, и закупил продуктов, которые давно исчезли с прилавков. Другой человек вошел в магазин вслед за ним, но Уоллес уже уехал, и этому гражданину сказали, что продукты, находящиеся в магазине, не продаются.

Об условиях жизни в этом краю Уоллес сообщает: «Продолжительность рабочего дня в СССР — 8 часов. Вся сверхурочная работа оплачивается дополнительно в период военного времени. Подростки до 18 лет имеют 8-часовой рабочий день, а вечером посещают бесплатную школу, чтобы продолжать свое образование.

Таковыми были условия труда, когда мы посетили этот край. В сравнении с золотоискателями царской России люди в комбине зонах на Колыме могли тратить на свои нужды денег намного больше, чем тогда».

Уоллес, который жил в сельскохозяйственных районах Америки, был приглашен на ферму на двадцать третьем километре от Магадана — в обычный лагерь для уголовных преступников; он задал свинарке, хорошо одетой миловидной девушке, вопрос о ее работе,

вопрос смутил ее, так как она была выбрана за ее красоту и изящество из канцелярии НКВД и знала очень мало о свиньях. Однако переводчик не растерялся и выручил хозяев.

Затем гости выехали в Берелех, в центр района, где находились шахты. Уоллес описывает свое посещение этих мест так: «Мы летели на север над колымской дорогой в Берелех, где было два прииска. Предприятие, расположенное там, выглядело впечатляюще. Производство там развивалось быстрее, чем в Фейербенке (США), хотя условия в Берелехе были более тяжелыми. Добыча золота, угля, свинца является основным занятием и объясняет все, что происходит в этом Колымском крае. Сейчас здесь находится около тридцати тысяч человек. Работает более одной тысячи шахт». Уоллес заметил, что шахтерам выдавали хорошую одежду. «Мы были удивлены, что колымские добытчики золота носили резиновые сапоги американского производства, так как товары по ленд-лизу не поставлялись для шахтеров. Но Никишов объяснил, что они были куплены за наличные деньги в начале войны».

«Шахтеры просили, чтобы мы отвезли послание солидарности с американскими рабочими. Председатель профкома Н. И. Адагин послал наилучшие пожелания Сиднею Хиллману и Филиппу Мурею».

Наблюдения Уоллеса о пище в лагерях также по-своему интересны. «Необыкновенно вкусной рыбой из реки Колымы угощали нас около Берелеха, и это послужило для меня поводом, чтобы спросить о поваре, который обслуживает этот шахтерский лагерь». Профессор Латтимор писал об этом визите в статье, которая появилась с фотографиями в «National Geographic Magazine» в декабре 1944 года. После критики методов колонизации Сибири в царские времена он перешел на прославление просвещенной системы, которая заменила их. Это был Дальстрой, который «управляет построенными им портами, дорогами железными и шоссейными. А также приисками и городами» намного лучше, «чем комбинат в Фейербенке в Америке»... Далее он сравнивает увиденное с временами «золотой лихорадки» и с присущими тому периоду «грехами, джином и скандалами». Вместо этого – оранжереи, обеспечивающие рабочих помидорами, огурцами и даже дынями – «чтобы быть уверенными в том, что золотодобытчики получают достаточное количество витаминов». По этому поводу один из бывших заключенных рассказывает, что никто из заключенных, если он не находился в больнице (где иногда давали помидоры), никогда не видел такой роскоши. Что касается других витаминов, на которых, по словам Латтимора, шахтеры здоровели,

то мы уже описывали трагичное фиаско с похлебкой из сосновых иголок; это была единственная попытка дать заключенным витамины. Как раз полиавитаминоз и является обычно официально зарегистрированной причиной смерти заключенных.

Операция прикрытия была проведена успешно, и гости не высказали никакой критики. Никишов мог себя поздравить: он сумел произвести на Латтимора такое же хорошее впечатление, как и на Уоллеса. Во время визита Никишов вел себя не как военный высокого ранга, а как гражданский человек, что более подходило к той идиллической картине, которую Уоллес и Латтимор, как им казалось, видели. Во всяком случае, Латтимор называет его «мистер Никишов» и радуется, что «он только что получил звание Героя Советского Союза за свои необычайные достижения». Еще более замечательно то, что Латтимор чувствовал себя вправе добавить, что Никишов и его жена Гридасова тонко чувствуют искусство и музыку, а также обладают глубоким чувством гражданского долга.

Иллюстрации к статье Латтимора полностью соответствуют тому, о чем он пишет. Он поместил фотографию группы упитанных бравых парней, снятую на золотом руднике в ситуации, напоминавшей его визит на свиноферму. Эти парни совсем не были похожи на заключенных, работавших на приисках. Под фотографией была подпись: «Они должны быть крепкими, чтобы выносить лютые морозы». Это, конечно, правильно, что человек должен быть крепким, чтобы суметь вынести колымские морозы. Однако с заключенными все происходило наоборот. Поскольку не ожидалось, что они смогут выжить в этом суровом климате, то было нецелесообразно сохранять им здоровье. На фоне реальной трагедии Колымы эти высказывания звучали кошунственно. Журнал «New Statesman» высказал осуждение Латтимору и его попутчикам за их легковерие. В ответ Латтимор счел необходимым написать письмо в журнал («New Statesman», октябрь, 18, 1968). Вот выдержка из этого письма: «Где это принято, что визит такого рода, как наш, давал право совать нос в дела хозяев?» Это высказывание звучало странно. Даже самый лояльный обозреватель обратил бы внимание на то, что официальные отчеты мало походили на материалы, написанные бывшими заключенными. Еще труднее понять, как это иностранный гость после такого короткого общения с генералом Никишовым мог настаивать на его глубоком понимании гражданского долга. В своем письме в журнал Латтимор пишет, что, «вероятно, Никишов совершил ошибку, если Элинор Липпер все-таки вышла на свободу. Тот факт, что имелись выжившие, означал, что не так все было плохо, как они это изображали». Но если бы никто

не остался в живых, не было бы свидетельств и против идиллической картины жизни на Колыме, описанной Латтимором...

Уоллес незадолго до своей смерти высказал сожаление, что он неправильно понял советскую систему.

Латтимор ничего подобного не сделал. В подобных случаях как раз легковверные люди приносят более всего вреда. И нельзя не осуждать тех людей, которые должны были разобраться глубже и лучше других. Во всяком случае, даже самые суровые слова осуждения не так болезненны, как страдания жертв Колымы, которые столь непростительно искаженно представлены в подобных эпизодах.

Перевод с английского И. Муклевич

О ХУДОЖНИКЕ ИСААКЕ ШЕРМАНЕ



В 1946 году в июне месяце меня привезли в Магадан. Пришлось побывать на разных работах, но последняя и самая длительная работа была машинисткой в Бюро переводов при Управлении Дальстроя. К тому времени по ленд-лизу на Колыму начала поступать американская техника для обогатительных фабрик, шахт, котельных, электростанций; драги, автомобили «Даймонд»... И потребовалась организация, которая могла переводить монтажные и ремонтные инструкции ко всей этой технике. Кроме этого, стали получать иностранные журналы по геологии, минералогии и другим специальностям. Конечно, среди колымских заключенных нашлись высокие специалисты со знанием даже не одного языка. Они были собраны в особое Бюро переводов, которое, оставаясь подконвойной точкой, имело вольнонаемных руководителей. Помещалось оно рядом с Главным управлением Дальстроя. На таком же подконвойном положении находились в соседнем домике заключенные художники Колымского издательства.

Одним из них был Исаак Яковлевич Шерман.

На фотографии Марина Никаноровна Округина и Исаак Яковлевич Шерман.
Колыма. 40-е годы

В 1946 году судьба столкнула меня с ним, мы стали близкими людьми. В 1947 году он освободился. На мои уговоры вернуться к первой семье в Ригу он отвечал: «Она меня один раз уже потеряла, других огорчений я ей доставлять не могу. Наши дела хранятся вечно, и мы всегда под ударом...» Лишь в 1949 году я была освобождена, и мы смогли наладить общую жизнь.

Шерман родился в Риге в большой бедной еврейской семье. С детства проявлял способности к рисованию. Богатый бездетный дядя пристроил его к художнику, где он для начала тер краски, натягивал холсты и выполнял всякие подсобные работы. Художник был незаурядный, мальчик помнил, как он рисовал Шалапина и у мастерской собиралась толпа. Шалапину скучно было молча позировать, и он пел. Этот художник подсказал дяде, что мальчик талантлив, и дядя согласился дать средства на поездку в Париж для получения художественного образования. Дома начал изучать французский, но, приехав в Париж, убедился, что языка не знает. Там он прожил пять лет, получил диплом и вернулся в Ригу уже известным художником.

В 1933 году он приехал в Советский Союз из буржуазной Латвии. Был принят в Союз художников. Последняя его работа — оформление зала для празднования принятия новой сталинской Конституции в 1936 году. Работа была принята с оценкой «отлично». В ту же ночь он был арестован и привезен на Лубянку. Обвинения были стандартные: антисоветская агитация, шпионаж. Избитый, истерзанный, он все подписывал. Затем были этапы, пересылки...

Во Владивостокской пересылке, куда его привезли в 1938 году, свирепствовал тиф. На нарах рядом с ним оказался тифозный больной Бруно Ясенский. Шерман ухаживал за ним и, потрясенный всем пережитым, готов был сам заразиться от Ясенского, чтобы разом покончить с жизнью. Но Бруно умер, а Шерман даже не заболел, и судьба его повела дальше, на Колыму.

На Колыме в лагере голодные, до костей промерзшие интеллигенты должны были кайлить землю. Исаака привезли в лагерь Чай-Урья, что в шестистах километрах от Магадана. Два месяца на морозе, на общих работах — и у него сил хватало лишь на то, чтобы поднять кайло двумя руками. Начали умирать. И вдруг приказ: людей искусства вернуть в Магадан. Сперва их в Берелехе откармливали.

К этому времени в Магадане было создано собственное издательство, начали выпускать книги, брошюры. Шерману удалось наладить там трехцветную печать. В это время в журнале «Знамя» публиковался роман И. Г. Эренбурга «Падение Парижа»... В Магадане из номеров журнала «Знамя» собрали и напечатали в двух томах книгу «Падение Парижа», иллюстрировал ее Шерман. Книга вышла без фамилии художника.

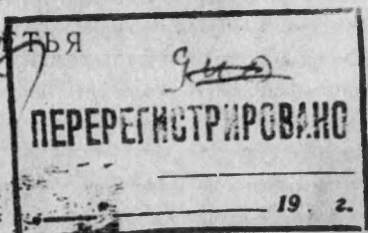
«Угрюм-река», «Синопский бой», «Порт-Артур», «Степан Разин», «Трое в новых костюмах» — эти и многие другие книги вышли из-под руки Шермана.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ПАДЕНИЕ ПАРИЖА



ТРЕТЬЯ



МАГАДАН ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ КОЛЫМА» 1942

И. Я. Шерман. Обложка и иллюстрация к роману И. Эренбурга «Падение Парижа» (Магадан. Изд-во «Советская Колыма». 1942)

В это время он готовил эскизы костюмов и декораций к ряду спектаклей, поставленных главным режиссером Магаданского музыкально-драматического театра Леонидом Викторовичем Варпаховским. С ним и художником театра Леонидом Винфридовичем Вегенером, также в ту пору заключенными, Шермана связывала глубокая дружба.

Хотя Исааку Яковлевичу удалось высоко поднять престиж Колымского издательства, но и после освобождения из лагеря ему приходилось переносить немало унижений и оскорблений, связанных с его положением бывшего заключенного. Все это сократило его жизнь, и он умер сорокалетним от инфаркта в 1951 году.

В 1963 году в Магадане ко мне пришли представители Радиокomiteта и Магаданского телевидения с просьбой отдать им архив И. Я. Шермана, что я и сделала. Я передала журналисту Герману Николаевичу Яковлеву все графические рисунки, книги, им оформленные, и барельеф Шермана, выполненный скульптором Алексеем Ивановичем Карпенко. После этого я видела в Магаданском музее барельеф Шермана и его графические работы.

Суровые испытания не ожесточили Исаака Яковлевича. Он был человеком мягким и добрым. Через десять лет после его смерти типографские рабочие при встрече сказали мне: «Словно вчера он был на работе, так хорошо мы его помним».

Велика была разница в нашей прошлой жизни и образовании: у Шермана — Париж, мир искусства, а у меня — полуголодное детство, скромная скитальческая жизнь жены военного, гибель детей в блокадном Ленинграде. Но судьба послала мне редкое счастье встретить настоящего, любящего, а главное, глубоко порядочного человека. Мы смогли согреть друг другу недолгие годы жизни после таких страшных и тяжких лет.

Марина Округина

О ХУДОЖНИКЕ ЛЕОНИДЕ ВЕГЕНЕРЕ



Леонид Винфридович Вегенер (1908–1991) родился в московской немецкой семье. Из многочисленных потомков родоначальника – Даниеля-Давида Вегенера, кёнигсбергского художника XVIII века, – которые почти сплошь были аптекари да фармацевты, пожалуй, один Леонид пошел по художественной части. Закончил Художественное училище имени 1905 года. В 1930-е годы работал оформителем. Писал и рисовал для себя, а в итоге – для множества людей, ставших обладателями его рисунков и картин благодаря доброте душевной их автора в сочетании со страшной непрактичностью.

Человек с разносторонними интересами, он увлекался и поэзией. Не раз слушал Маяковского (однажды рисовал его в гостях у товарища по училищу; надо ли говорить, что ни одной зарисовки не сохранилось).

В 1932 году, получив нечаянное благословение от альпиниста и по совместительству главного прокурора* («Что нужно, чтобы пойти в горы? Ледоруб

* Крыленко Н. В. (1885–1938) – прокурор Республики, с 1931 года – нарком юстиции РСФСР, с 1936 года – нарком юстиции СССР.

На фотографии Леонид Винфридович Вегенер и Екатерина Васильевна Гриневская.

и фунт нахальства»), отправился с двумя друзьями, братьями Зограф, в первый раз в горы, на Кавказ. Одной из причин, побудивших его пойти на Кавказ, была, видимо, его любовь к поэзии Лермонтова...

Орел пролетел над Кавказской страной,
Овеянной выюгой и солнцем сожженной,
И Черное море, в туман погруженное,
Шумело тихонько и шло стороной.

(Кавказ, ущелье Адырсу, 1932)

Он занялся корректировкой несовершенной тогда топографии тех высокогорных областей, где побывал сам. Итогом стали схемы и описание нескольких маршрутов в вышедшей летом 1938 года книге «Перевалы Центрального Кавказа» под ред. Э. Левина. Вегенер увидел ее много лет спустя...

Пришли – как всегда, ночью – в конце марта 1938-го. Жена уже в дверях успела сунуть ему в карман вязанный башмачок их годовалой дочки, моей мамы...

После Лубянки и Бутырок Вегенер получил восемь лет колымских лагерей по литере ППШ – по *подозрению* в шпионаже, литеры были в те годы разновидностью 58-й статьи, а после конца срока – спецпоселение с ежемесячной явкой в спецкомендатуру НКВД Магадана для отметки.

Слышу гул прибора дальний,
Заглушенный гул трубы –
Звук могучий, звук печальный,
Зов скитальческой судьбы.

Чаек реющих крики
Рвут редеющий туман,
Дышит светлый и великий
Тихий, синий океан.

Не горюй, моя родная,
Кара*, не жалея меня, –
Я – пустая запятая
В трудной книжке бытия.

(Владивосток, пересыльный пункт, 1938)

Поздней осенью тридцать восьмого судно «Джурма» доставило заключенных в бухту Нагаева. Уже снег выпал. Из бухты – этапом в тайгу. На речку

* Кара – любовное прозвище жены Е. В. Гриневецкой, которое дал ей Леонид Винфридович за черный цвет волос (в топонимах Центрального Кавказа часто встречается тюркская основа «кара» – черный). – *Прим. К. В.*

Контрандья. Никакого прииска и никаких домов там не было. Все делали сами. Рубили лес, ставили палатки. Охраны тоже никакой не было. Практически всем заправляли уголовники. Начальник лагеря появлялся крайне редко, его почти не видели. Зима была ужасной. Голод, мороз. Совершенно непосильный труд, дикие нормы. Если норма не выполнялась, еду не давали или сокращали до минимума. Началось вымирание.

Той страшной первой колымской зимой, когда в худой одежонке и обуви при 50-градусном морозе Вегенер ломом кайлил лед, он от истощения и холода потерял сознание и упал. Один уголовник случайно наткнулся на него и приволок в лагерную палатку. Тогда у Вегенера свалилась рукавица, пальцы правой руки были обморожены, в результате на указательном была отнята фаланга. Были обморожены и ноги – отняты большие пальцы на обеих ногах. Это его спасло. До весны он был избавлен от наружных работ. В марте 1939-го участок закрыли как нерентабельный. Осталась лишь огромная яма с трупами, заваленная сверху дресвой. Остатки доходяг (всего 15 человек) посадили на машины и отправили в Магадан, на 23-й километр, так называемую «инвалидку».

Потом он попал в лагерь на 4-й километр. Первое время работал в художественной мастерской, которую организовала в Магадане Гридасова, жена «начальника Колымы» Никишова.

Кроме Вегенера, там работали художник Василий Иванович Шухаев*, окончивший Высшее художественное училище при Петербургской академии художеств (в 1920 году по предложению Луначарского выехал в Финляндию, с 1921 года жил в Париже, преподавал в Русской академии Т. Л. Сухотиной-Толстой и в своей студии на Монпарнасе, в феврале 1935 года вернулся в СССР, работал в театре); художник из Ленинграда Исаак Махлис**, известный по кинофильмам «Чапаев» и «Золушка»; Анатолий Цветков, талантливый художник, вскоре покончивший с собой; скульпторы Алексей Иванович Карпенко*** и Лузан...

Работать самостоятельно никому из них не разрешалось, и они делали бесконечные копии портретов Сталина и иже с ним. И копии картин типа «Незнакомки», «Запорожцев» и цветочных ярких натюрмортов на потребу начальства.

В самом начале 1940-х заканчивалось строительство Магаданского театра, и часть художников и скульпторов из мастерской была направлена туда

* О нем см. также с. 436.

** Махлис Исаак Петрович (1893–1958).

*** Карпенко Алексей Иванович (1902–1961). Репрессирован в 1935 году в Минске. Приговорен к десяти годам ИТЛ. Срок отбывал в Магаданлаге, выполнил лепнину на здании Дома профсоюзов (1950), с архитектором Машковским оформил Дворец спорта, оформлял театральные постановки, в частности «Похищение Елены» (1944) совместно с Л. В. Вегенером в Магаданском музыкально-драматическом театре им. М. Горького.

на оформление здания. Вегенер был в их числе, и по окончании работ его оставили в театре сначала в качестве театрального художника (1943), а затем художника-постановщика (с 1944 года).

За время работы в Магаданском театре, с 1944 по 1958 год, Вегенер сделал больше семидесяти спектаклей, в том числе с режиссером Леонидом Викторовичем Варпаховским*, учеником и другом Мейерхольда; с Георгием Николаевичем Кацманом**; с Николаем Анатольевичем Вельяминовым; Константином Александровичем Никаноровым; В. Р. Горичем.

Все театральные работы Вегенера отличались глубоким проникновением в смысл и характер пьесы, в эпоху и стиль, неизменным вкусом и органичной связью с замыслом режиссера, а иногда служили и подсказкой режиссерскому решению спектакля. Никогда его оформление не было ради самого оформления, на публику. И, тем не менее, все его спектакли этой публикой принимались очень хорошо.

В Магадане работала вольнонаемной сестра режиссера Леонида Викторовича Варпаховского Ирина Викторовна. Она приехала в Магадан сама вслед высланному туда брату. Вот выдержки из писем Варпаховского к ней в Магадан уже после возвращения его на материк:

«Передай привет всем друзьям – Лёне Вегенеру особый. Его портрет я клеил в свой альбом. Исаак (Шерман – прим. ред.) и он – два моих настоящих творческих друга. Одно я потерял безвозвратно, а с другим мечтаю встретиться и поработать».

«Очень прошу передать Леониду Винфридовичу мой самый сердечный привет и сказать, что его фотография, подаренная мне в день премьеры «Травяты», внесена мною в альбом самых для меня близких людей. Я преклоняюсь перед его талантом и считаю его крупнейшим художником. Считаю бы счастьем снова с ним работать».

На Колыме и в Магадане был собран цвет интеллигенции, ума и, кажется, представители всех наций вплоть до турок и негров. Разогнанный Коминтерн, немцы, литовцы, западные украинцы, чехи, венгры, греки... Многих интересных людей знал Вегенер; со многими был дружен.

* Варпаховский Леонид Викторович (1908–1976) – режиссер, народный артист РСФСР (1966). Провел в лагерях и ссылке в общей сложности более 17 лет. В 1931 году окончил литературный факультет МГУ. В 1933–1935 годах – научный сотрудник Театра им. Мейерхольда. В 1936–1937 годах – режиссер Алма-Атинского русского театра (в ссылке). В Алма-Ате арестован повторно и отправлен в лагерь на Колыму. В 1944–1948 годах – режиссер Магаданского Муздрамтеатра им. М. Горького. В 1948 осужден в третий раз. В 1953 освобожден. В 1953–1955 годах – режиссер Тбилисского театра им. Грибоедова. В 1955 году реабилитирован. В 1957–1962 годах – главный режиссер Московского театра им. Ермоловой. В 1962–1970 годах – режиссер Московского Малого театра, в 1970–1972 – Театра им. Вахтангова. В 1972–1975 – главный режиссер Московского драматического театра им. К. С. Станиславского.

** Кацман Георгий Николаевич (1908–1985) – режиссер, теоретик театра, в 1926 году – главный режиссер театра «Радикс», где он работал с Даниилом Хармсом.

Вот некоторые из наиболее ярких, кроме уже упомянутых, с которыми моего отца столкнула судьба.

В театре работали:

талантливейший актер МХАТа Юрий Кольцов*;

Анан (Нана) Шварцбург**, пианист рихтеровского масштаба, ученик Нейгауза;

Валерий Юльевич Закандин, до ареста – мим в группе чтеца Яхонтова. Как-то в Магадане он попросил Вегенера прочесть рукопись своего романа «Правдивая история Олоферна». Вещь оказалась настолько интересной, зримой, что оторваться было невозможно... После реабилитации Закандин жил на юге, в Жданове (Мариуполе). Книгу он закончил. В издательствах о ней хорошо отзывались, но никто ее не печатал – тематика не та. Закандин был в отчаянии, донимало и безденежье. Последний раз Вегенер видел Валерия Юльевича в 1970-х годах. После этого он исчез – не исключено, что покончил с собой (был намек в письмах). В одном из писем от 1970 года Закандин писал: «...Помните еще, что я *не сочинял* эту книгу – просто я вспомнил то, что было на самом деле». У него было глубокое убеждение, что там была одна из его прошлых жизней;

Евгений Константинович Устиев, вулканолог – потомок древнего рода грузинских царей. Высокий, худой, с «породистым» лицом и руками. На пальце старинное кольцо-реликвия – знак царского рода. Его приемным отцом был родной брат Павла Флоренского геолог Александр Флоренский. И он, и Устиев были вместе в колымских лагерях, и Александр Александрович умер на руках у Устиева;

Исаак Яковлевич Шерман***, художник, получивший образование в Риге и Париже. В качестве безымянного художника оформлял книги Магаданского книжного издательства.

Был на Колыме и величественный князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, древнейший род которого шел от Рюриковичей. В революцию его семья эмигрировала в Англию. Там он увлекся идеями коммунизма и вступил в британскую компартию. На его беду, Горький уговорил его вернуться в Россию, и, когда он сам вскоре умер, Мирский оказался на Колыме, где и сложил свои кости. Вегенер знал его по «инвалидке» на 23-м километре.

Был здесь и знаменитый в 30-е годы певец Вадим Козин...

И все они – товарищи по горю и беде, прошедшие тюрьмы, лагеря и ссылки.

* Кольцов Юрий (наст. фамилия Розенштраух Георгий Эрнестович) (1909–1970) – народный артист РСФСР.

** Шварцбург Ананий Ефимович (1919–1975) учился в Московской и Ленинградской консерваториях, концертировал с 1935 года. В 1938 году арестован как «японский шпион», получил 10 лет ИТЛ, на Колыме работал на лесоповале, благодаря Гридасовой переведен в Магаданский театр.

*** О нем см. также с. 417.

Кроме Варпаховского и Шухаевых, очень близкими Вегенеру людьми были Гуго Эдуардович Гроссет* и Гертруда Рихтер.

Г. Э. Гроссет после освобождения из лагеря, как и Вегенер, оказался на положении спецпоселенца. В короткое колымское лето они вместе удирали в сопки, отмахивая за день огромные расстояния. Крупный ученый, Гроссет в этих походах собирал материал для своих будущих научных статей и монографий.

Особо нужно рассказать о Гертруде Рихтер. Профессор, доктор истории искусств и литературовед, она увлеклась рабочим движением и вступила в германскую компартию. Экспансивная, деятельная, она работала с Тельманом, и тот называл ее «мой маленький Луначарский». Гертруда, как и муж ее, экономист и философ Ханс Гюнтер, были в германском антифашистском комитете. После прихода Гитлера к власти они эмигрировали в Союз, где оба стали работать в Коминтерне. Дальнейшее известно – разгон Коминтерна,



Гертруда Рихтер

тюрьмы и лагеря. И она, и Гюнтер были этапированы на Колыму. Гюнтер, как Мандельштам и многие другие, погиб от истощения в пересыльной тюрьме Владивостока. Гертруда мыкалась по лагерям, пока не осела в Магаданском театре в должности уборщицы. Там с ней Вегенер и познакомился. Когда

* Г. Э. Гроссет (1903–1981) – геоботаник, доктор биологических наук, лауреат Первой премии Московского общества испытателей природы (1970). Занимался проблемами взаимоотношения леса и степи. Изучал вопросы возраста реликтовой флоры европейской части России.

у режиссеров или актеров возникали вопросы или споры, связанные с эпохой или стилем пьесы, они бежали к своей уборщице Гертруде Фридриховне.

После войны, когда по лагерям прокатилась волна повторных репрессий, куда чуть было не угодил и Вегенер, Гертруда загремела и оказалась вместе с четой Варпаховских в Усть-Омчуге. В 1953 или 1954 году Гертруду разыскала ее друг, немецкая писательница Анна Зегерс, и добилась через наш Союз писателей возвращения ее в Германию (ГДР). В Лейпциге ей удалось, хоть и с трудом (время было еще не то), издать в ГДР философские труды Ханса Гюнтера. Это была ее дань памяти мужа.

Летом 1951 года к Леониду Винфридовичу в Магадан на две недели прилетела жена – через 13 лет разлуки... Через год она прилетела к нему уже надолго, чтобы хлопотать о переводе его на материк, поближе к дому, в Читинскую область. Но зимой 1954–1955 года было снято с таких, как Вегенер, клеймо спецпоселенца, и летом 1955 года он впервые получил возможность выехать на материк в отпуск и впервые познакомиться со своей уже взрослой дочерью, студенткой первого курса, которую в 1938 году он оставил годовалым малышом.

Свой первый совместный отпуск после 20-летнего перерыва они провели вместе, конечно, в горах, на Кавказе.

А в октябре 1955 года из Военной прокуратуры пришло письмо – справка о полной реабилитации Вегенера. Но театр не мог еще его отпустить, он был там нужен...

А жена, музыкальный работник, участвовала в становлении Магаданской детской музыкальной школы. Школа была организована осенью 1954 года, и весь состав педагогов из музыкальных кружков Дома пионеров перешел в нее. Среди них – скрипачи Александр Артамонович Дзыгар, харбинец, и Альфред Иванович Кеше, немец. Оба, будучи заключенными, работали в магаданской концертной бригаде.

Летом 1957 года они опять прилетели в Москву и снова втроем побывали на Кавказе, в Архызе, на турбазе Московского дома ученых. Дружба с обитателями турбазы продолжалась десять лет. В 1958 году стали возвращаться репрессированные народы. У Вегенера завелось в Архызе много добрых знакомых среди объездчиков заповедника. Все они относились к нему с неизменной симпатией. Интересно, что такие же отношения с горцами у него складывались и в 1930-е годы на Центральном Кавказе. Он чувствовал себя гостем в их доме, на их земле, и вел себя, как и подобает себя вести гостю, относясь с уважением к хозяевам этой земли.

В 1958 году семья Вегенера наконец смогла вырваться из цепких объятий Колымы.

ГЕОРГИЙ ЛАВРОВ



Родился Георгий Дмитриевич Лавров в Сибири в многодетной семье иконописца-реставратора. Будучи учеником духовной семинарии, начал заниматься в красноярской городской студии рисования.

В 1915 году поступил в Томский университет и продолжал заниматься живописью в классах Общества томских художников.

С 1922 года жил в Москве. По рекомендации А. В. Луначарского был командирован в Париж. В 1932 году в галерее на бульваре Монпарнас у него состоялась персональная выставка. В Париже лепил с натуры Марселя Кашена и знаменитую балерину Анну Павлову, с которой дружил. Восемь с половиной лет во Франции работал в мастерских Э. А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспю, Ф. Помпона.

В 1938 году арестован и приговорен к 5 годам лагерей. Срок отбывал на Колыме.

В 1943 году был освобожден без права выезда с Колымы.

В 1945 году познакомился в Красноярске с талантливой художницей Валентиной Пименовны Солдатовой, которая через год стала его женой и разделила с ним все тяготы жизни ссыльного.

В 1948 году по приказу, касающемуся репрессированных по 58-й статье, о запрете проживания в режимных городах вместе с женой был выслан в город Черногорск.

В 1954 году был реабилитирован. В том же году Георгий Дмитриевич и Валентина Пименовна вернулись в Москву.

Работы Лаврова хранятся в музеях Москвы, Лондона, Парижа, Киева, Пскова, Красноярска, Барнаула и других городов.

Умер Георгий Дмитриевич Лавров в 1991 году.

ПАРИЖ... МАГАДАН

В 1924 году я был премирован на Всесоюзном конкурсе проектов памятника Я. М. Свердлову для Москвы. Вступил в Ассоциацию художников Революционной России (АХРР), стал выставлять свои произведения на выставках этой Ассоциации. Скульптура «Красный партизан Алтая» с выставки была приобретена Центральным Музеем Революции, а ее вариант был выполнен по заказу Музея обороны СССР и там хранится.

В 1925 году по заказу Центрального Музея Революции я выполнил статую «В. И. Ленин за книгой». До 1933 года эта статуя экспонировалась в Музее Революции, а в 1933 году она была передана вновь открывшемуся Центральному Музею В. И. Ленина.

Я обзавелся постоянной мастерской. На свои личные средства отремонтировал старую заброшенную мастерскую скульптора Пожилцова в Москве на Дружниковской улице, в ней я работал и жил.

Тогдашний нарком просвещения Советского государства Анатолий Васильевич Луначарский считал необходимым поддерживать связь советской культуры с европейской. С этой целью он часто командировал художников в европейские страны для усовершенствования и ознакомления с зарубежным искусством. В 1927 году был командирован в Париж и я. В Париже я проработал до 1935 года.

Я был хорошо знаком со знаменитыми скульпторами роденовского времени: Э. А. Бурделем, А. Майолем, Ш. Деспю, Ф. Помпоном, Бушаром, Ландовским...

Советский посол Потемкин часто поручал мне сопровождать по музеям и по мастерским скульпторов приезжавших в Париж членов Советского правительства.

Так я сопровождал в Лувр А. А. Андреева и Л. М. Карахана, а с Я. Э. Рудзутаком несколько раз бывал в мастерской моего учителя – скульптора Ш. Деспю.

В посольстве лепил бюст Яна Эрнестовича Рудзутака. Уезжая в СССР, Ян Эрнестович обещал мне позировать и в Москве.

В мае 1930 года в Париже танцевала великая русская балерина Анна Павлова. Она позировала мне, и я лепил с натуры несколько ее портретных скульптур. Из них статуя «Стрекоза» натуральной величины и настольная статуэтка «Лебедь» приобретены и хранятся в музее Сен-Дени.

Статуэтки «Жизель», «Одиллия» и «Умирающий лебедь» хранятся в Центральном музее имени А. А. Бахрушина в Москве. Голова статуи «Стрекоза» хранится в Третьяковской галерее в Москве. «Умирающий лебедь» и «Жизель» хранятся в Британском музее в Лондоне. Маленький настольный бюстик А. Павловой приобретен у меня Л. М. Караханом и подарен балерине Марине Тимофеевне Семеновой и хранится у нее.

В Париже я встречался с Константином Коровиным, о многом говорили, вспоминали. Константин Алексеевич очень скучал по родине и на мой вопрос, не вернется ли он в Россию, ответил, что он не настолько молод, чтобы учиться у своих учеников.

У Ивана Билибина в Париже была огромная мастерская, вся, от пола до потолка, в персидских коврах, на мольберте маленький эскиз к сказке для театра. Билибин сказал, что обязательно вернется в Советский Союз.

Из Парижа в Москву я вернулся 15 августа 1935 года, из АХРРА перешел в МОСХ и стал выставлять свои работы на выставках МОСХ.

Оставленных в мастерской на Дружниковской улице моих скульптурных работ я не нашел. В период моего пребывания за рубежом в силу острой нехватки творческих мастерских в Москве МОСХ разгородил мастерскую на три части и раздал их членам МОСХ. Так я оказался в Москве без творческой мастерской, без жилплощади, без места для хранения моих парижских работ. Об этом я сообщил Рудзутаку, и Мосгорисполком предоставил мне творческую мастерскую в Ветошном переулке.

На загородной даче Рудзутака я лепил с натуры его бюст. В 1937 году Я. Э. Рудзутака взяли и расстреляли. Там, на даче, я познакомился с наркомом просвещения СССР А. С. Бубновым, который тоже в 1937 году был взят и расстрелян. В 1937 году в Улан-Удэ я лепил с натуры бюст семилетней дочери наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР – Ардана Ангадыковича Маркизова, в 1937 году он был взят и расстрелян. В том же году был арестован и мой друг художник-живописец К. И. Максимов. Так один за другим исчезали мои знакомые.

В ночь с 15 на 16 сентября 1938 года в дверь властно постучали. На мой вопрос: «Кто?» последовал строгий ответ: «Открывайте!» Я подчинился требованию. В квартиру вошли двое молодых мужчин с винтовками, в заношенных костюмах и два дворника — понятия. Мне предъявили ордер на обыск и арест с крупной размашистой подписью синим карандашом: «Берия».

Обыск длился до утра. Все было перевернуто вверх дном. Документы, письма, дневники, деловые бумаги и сберкнижку — все забрали. На легкой машине меня доставили на Лубянку. Затем на воронке с надписью «Хлеб» переправили в Бутырскую тюрьму.

В камере Бутырок было 156 заключенных, многие лежали на полу под нарами, у всех — изнуренный вид.

Арест! Невероятно! Ведь 1917 год — Великую Октябрьскую социалистическую революцию — я принял открыто и без колебаний, за что дважды арестовывался колчаковцами в Томске. В Гражданскую войну сражался в одном из партизанских отрядов против банд Колчака — до полного их уничтожения на Алтае. От штаба партизанской дивизии имел ответственнейшее задание: в освобожденных населенных пунктах сразу же восстанавливать органы Советской власти... Конечно, все выяснят и принесут мне извинения за арест. Но время шло, а извинений не было. Я стал присматриваться и знакомиться с соседями по камере, они производили на меня впечатление умных, выдержанных людей. Это была советская интеллигенция: ученые, инженеры, директора заводов, учреждений, военные, писатели, изобретатели...

Большинство заключенных курили. В камере стоял туман табачного дыма. Работники тюрьмы издевательски называли эту камеру камерой аристократов. Две недели меня продержали без допроса. Наконец повели к следователю. Следователь, молодой человек лет двадцати в форме сотрудника НКВД, встретил меня вежливо, предложил сесть. Взял бумагу, зачитал мои паспортные данные и произнес:

— Вы, Лавров Георгий Дмитриевич, обвиняетесь в участии в анти-советской террористической организации и подготовке покушения на Иосифа Виссарионовича Сталина, по статье номер пятьдесят восемь, пункты восемь и одиннадцать, Уголовного кодекса СССР.

Затем он положил передо мной чистый лист бумаги и уже жестче сказал:

— Пиши! Кто завербовал тебя и кого завербовал ты.

Ужас охватил меня. Казалось, то, что происходит, — это нелепый, кошмарный сон. Я отвечал, что я ни в чем не виноват и никаких

обвинений в мой адрес подписывать не буду. Меня отвели назад в камеру. Потянулись бесконечные дни изнурительных допросов. Истязали на них жестоко. Твердили, что подпольную террористическую организацию создал мой друг художник К. И. Максимов, что он вовлек в нее меня. Я все категорически отрицал.

Не добившись самообвинения, меня повезли на Лубянку. В кабинете следователя я увидел Константина Ивановича Максимова. Он взглянул на меня невидящими глазами. Началась очная ставка. Первым допрашивали Максимова. Он слово в слово повторил предъявленные ему обвинения.

— Ну, что теперь скажешь? — победно глянул на меня следователь. Я, пораженный поведением моего бывшего друга, ответил, что показания Максимова клеветнические. После чего Максимов закрыл лицо руками и отвернулся. Мне стало жаль его. Это был честный человек. Но, как видно, не выдержал истязаний.

После очной ставки допросы стали еще более бесчеловечными.

В феврале 1939 года допросы закончились. А в сентябре того же года мне был объявлен приговор Особого совещания, по которому я был заочно приговорен к пяти годам заключения в Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерях.

Через несколько дней с большой группой таких же заключенных меня этапом отправили на восток. Наш состав из вагонов-теплушек тащился от Москвы до Владивостока более месяца.

Во Владивостоке нас прямо из вагонов погнали на высокую сопку. На сопке приказали строить колючее проволочное заграждение, в которое загнали нас и оставили под открытым небом на неопределенное время. Здесь я встретил своего друга, заключенного художника А. В. Григорьева, ложные показания на которого дал тоже К. И. Максимов.

Продержав несколько дней за колючей проволокой, нас погрузили в темные, грязные трюмы морского грузового корабля и несколько дней везли до Магадана, не давая возможности выйти из трюма даже во время качки и морской болезни. В трюме было тесно и омерзительно смрадно.

В Магадане заключенных помыли в бане, распределили по лагерным пунктам и в 40-градусный мороз на открытых грузовиках стали развозить по местам назначения.

Меня с группой заключенных довели до прииска «Разведчик». Дальше проезжей дороги не было, и мы глухой тайгой, через высокую, покрытую глубоким снегом сопку всю ночь до утра пробирались

к месту нашего заключения и работы — на участок «Скрытый» прииска «Разведчик».

На «Скрытом» работали около 150 заключенных. Работали по пятнадцать и более часов в сутки без перерыва на обед, кайля золотоносную мерзлоту в шахтах, разбросанных по глухой, непроходимой колымской тайге. И получали паек — 300 граммов хлеба, половину пайки заключенные съедали за завтраком, состоящем из перловой каши с чаем, а вторую половину прятали под бушлат, чтобы немного подкрепиться на работе. Ужин состоял из перловой баланды и жареного кусочка соленой горбуши.

Жили, точнее, ночевали эки в заваленном снегом и едва видимом бревенчатом бараке с потолком, но без крыши. Посредине барака стояла железная печь — бочка из-под бензина с железной трубой. В ней беспрерывно горели дрова. Около нее было жарко. А в углах барака постоянно лежал слой льда.

Вольнонаемных рабочих и охранников на «Скрытом» не было. Его полностью обслуживали заключенные, охраной надежно служила безбрежная горная тайга. Бежать было просто невозможно. Врачебной помощи не было. Заключенные умирали по несколько человек в день.

К концу первого месяца пребывания на «Скрытом» я заболел цингой. Стали расшатываться и выпадать зубы, слезали ногти, появились характерные для цинги язвы. Началась водянка. Ноги превратились в наполненные водой мешки. Я полностью потерял трудоспособность, не мог ходить.

Меня как полного инвалида со «Скрытого» отправили в лагерный пункт Оротукан на работу ночным сторожем культбазы. А днем работал на строительстве оротуканской Доски почета.

Весной 1941 года меня перебросили в Магадан на строительство магаданского Дома культуры.

Кладка кирпичных стен магаданского Дома культуры и их штукатурка были уже закончены. Мне было приказано приступить к выполнению скульптуры. Условия были тяжелые, в Магадане и его окрестностях не нашлось пригодной для лепки глины. Имелись только алебастр, проволока, металлическая сетка и цемент. С этими материалами я был вынужден приступить к скульптурным работам. В Магадане за период с 1941 по 1943 год мной были выполнены следующие скульптурные работы: четыре трехметровые цементные статуи на парапет Дома культуры — «Красноармеец», «Партизанка», «Забойщик», «Бурильщик»; бюсты Маркса, Энгельса, Ленина, драматурга Островского, Горького, Станиславского и другие. Эти бюсты были установлены в большом фойе Дома культуры.

Трехметровая железобетонная многофигурная скульптурная композиция «Героическая эпопея обороны СССР», четыре коринфские капители на колонны фасада Дома культуры и вся декоративная лепнина внутренних помещений были выполнены и установлены мной. Несколько скульптур на антифашистские темы для Магаданской художественной выставки в 1944 году выполнены мной в том же материале.

За все эти работы я был премирован буханкой черного хлеба, восьмушкой махорки и 50 граммами спирта. Хлеб я съел, махорку отдал заключенным, а спирт выпил начальник «за мое здоровье».

Я же был переведен на общие работы.



Георгий Дмитриевич Лавров и Валентина Пименовна Солдатова в ссылке. 1948 год

15 октября 1943 года, продержав под стражей лишний месяц, меня освободили со строгим бессрочным запретом выезда с Колымы, то есть фактически я был не освобожден, а переведен с лагерного режима на положение пожизненно ссыльного. Вместо паспорта мне была вручена справка об освобождении из магаданского лагеря за № 200792 от 15 октября 1943 года, подписанная начальником управления мага-

данского лагеря Гридасовой и начальником 2-го отделения магаданского лагеря Охотиным.

Полтора года я продолжал работать в Магадане по скульптуре, живя в заброшенном, полуразвалившемся помещении карцера воензированной охраны.

В апреле 1945 года заместитель министра госбезопасности — он же начальник Норильского горнопромышленного комбината и норильских лагерей — А. П. Завенягин распорядился перебросить меня из Магадана в Красноярск.

ВАСИЛИЙ ШУХАЕВ И ВЕРА ШУХАЕВА



Работы Василия Ивановича Шухаева хранятся в музеях Москвы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Тбилиси.

Его серия портретов русских офицеров времен Первой мировой войны, портреты Анны Павловой, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, иллюстрации к произведениям А. Пушкина, Ф. Достоевского, Г. Гейне принесли ему мировую славу.

Родился В. И. Шухаев в 1887 году в Москве в семье сапожника. По окончании Строгановского училища был принят в Академию художеств в Петербурге. Окончил ее в 1912 году. Работал в мастерской академика Д. Н. Кардовского.

Пятнадцать лет (1921–1935) провел во Франции.

В 1935 году по приглашению Академии художеств СССР Шухаев возвращается на родину. В 1937 году он и его жена, художник Вера Федоровна, арестованы. До осени 1938 года они ничего не знают друг о друге. Оба находятся в колымских лагерях: Василий Иванович – на лесоповале, а Вера Федоровна – на земляных работах. Потом их переводят в Магадан. Там он работает художником в театре, а Вера Федоровна – в швейно-вышивальной мастерской.

Весной 1945 года за десять дней до окончания войны Шухаевых освобождают из лагеря. Еще два года им не разрешают покидать Магадан.

Единственным городом, не побоявшимся их пригласить, стал Тбилиси. Почти до конца жизни Шухаев был профессором Академии художеств Грузии.

Умер В. И. Шухаев в 1973 году.

ПИСЬМА

В. Ф. Шухаева — матери

11.VI.1939 г.

...Вася прислал мне свой автопортрет, маленький, в письме, сделанный карандашом с изумительным сходством, чудесный рисунок. Я очень берегу его. Когда-нибудь это будет очень ценной вещью, а сейчас это моя большая радость. Получаю от него письма, идут быстро, всего 9–10 дней, он находится от меня в 340 км. Если б он был здесь, мне бы, конечно, дали бы с ним свидание. Очень я люблю моего старика и ужасно болею за него. Он стал такой старый, худой, длинный, седой, в какой-то поповской шапке, которую вы ему прислали, в телогрейке. Таким я видела его в октябре месяце, и таким он стоит у меня перед глазами. Жаль мне очень, если он погиб как художник, но я все-таки думаю, что мне удастся, как только мы будем жить вместе, снова пробудить в нем художника и заставить забыть все пережитое...



В. И. Шухаев – Е. Ф. Гвоздевой*

16.III.1939 г.

Милая Елена! Получили ли мои письма? Я Вам писал в ответ на Вашу милую телеграмму, как Вы вспомнили. Я только что написал два письма – Мухе и Вере, но ужасно трудно пишется: темы нет, жизнь наша очень монотонна; день на день похожи как две капли воды, все одно и то же, потому, вероятно, и писать было трудно, нет никакого движения в нашей жизни, поэтому и слова на язык не идут, какая-то стабильность жизни изо дня в день. Буду чрезвычайно признателен, если не будете забывать своими письмами. Пожалуйста, поцелуйте нашу милую старуху и передайте также привет Вере Дмитриевне. Я получил ее письмо вместе с Вашими и также ответил. Получили ли Вы это письмо? Очень трогательно с ее стороны вспомнить о моем существовании. Мой новый адрес: бухта Нагаева, 4-я автобаза «Стрелка».

Целую Вас, а также всех наших старых друзей.

В. Шухаев

В. И. Шухаев – С. А. Гвоздевой**

26.VI.1939 г.

Милая Серафима Александровна!

Вы простите меня, что я так редко пишу, причин тому очень много, перечислять их вовсе не стоит, да и трудно их формулировать, я думаю, это происходит произвольно: мы живем исключительно воспоминаниями и о вас думаем и вспоминаем постоянно, поэтому написать как-то не приходит на ум. Я понимаю, что объяснение не очень удачное, но другое как-то не приходит, да и не знаю.

У меня в настоящее время наладилась переписка с Верой. Письма наши оборачиваются дней в десять, я этому обстоятельству чрезвычайно рад. Я Веру видел осенью 38-го года, с ней беседовал два раза, она держится молодцом. Ее спасает, главным образом, счастливая способность не понимать многих вещей. Я заметил у нее эту особенность очень давно: например, у нее не было страха перед неизвестными ей вещами, например, она никогда не понимала, что в море можно утонуть, поэтому купаться можно только в тихую погоду, а в бурную опасно, это она не понимала до тех пор, когда раз чуть не утонула,

* Елена Федоровна Гвоздева – сестра жены В. И. Шухаева. – Прим. сост.

** Серафима Александровна Гвоздева – теща В. И. Шухаева. – Прим. сост.

и с тех пор она в воде себя более или менее хорошо чувствовала, когда был близко к ней я. Так и теперь: она совсем иначе себя чувствует, когда письма наши быстрее оборачиваются. Разлука для нас — самое страшное, самое сильное испытание, которое трудно было выдумать. Я по ней скучаю ужасно. Елена мне ничего о Вас не пишет; если Вам не трудно, напишите мне письмецо или скажите Елене, чтобы она подробно о Вас написала, главное, о Вашем здоровье. Посылки я получил на днях — все девять, которые скопились с прошлой осени. Теперь мне почти ничего не надо, если будете посылать посылки, то очень маленькие: сахар, сливочное масло да сушеных фруктов, вещей никаких не надо. Желаю вам всего хорошего, ужасно хочется по-видать Вас, да неизвестно, когда это будет возможно.

Целую Вас крепко. Елене привет.

В. Шухаев

ЮЛИАН ОКСМАН



Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970) был арестован в Ленинграде 4 ноября 1936 года по доносу одной из сослуживиц по Пушкинскому Дому. Вскоре эта сотрудница была привлечена к суду за клевету на кого-то, но на судьбе Юлиана Григорьевича это не отразилось. Его приговорили к пяти годам заключения в лагере. В частности, как он мне рассказывал, ему еще инкриминировалось и приобретение для Пушкинского Дома за 5000 рублей архива «пресловутого генерала Кутузова». Когда началась Великая Отечественная война, в лагерь приехала «тройка» и прибавила ему еще пять лет за «клевету на советский суд». Клевета эта заключалась в его утверждении, что он ни в чем не виноват.

5 ноября 1946 года, ровно через десять лет после ареста, пробыв в лагере на Колыме, как говорили там, «от звонка до звонка», Юлиан Григорьевич был освобожден. Протащившись в товарном составе, постоянно стоявшем на запасных путях, более месяца, он приехал в Москву 30 декабря. На перроне его ждала жена Антонина Петровна, которая весь месяц ходила на вокзал в надежде его встретить.

Три месяца промелькнули в свиданиях с родными, друзьями, коллегами, на вечерах у пушкиниста М. А. Цявловского, в Литературном музее, в редак-

ции «Литературного наследства». Но бездействие скоро начало тяготить Оксмана. Он стал искать себе место за пределами Москвы. При помощи ленинградского литературоведа Г. А. Гуковского, бывшего во время войны в эвакуации в Саратове, он получил должность профессора в Государственном Саратовском университете. 8 апреля 1947 года Юлиан Григорьевич уехал в Саратов, где ему довелось проработать более десяти лет.

В жизни Ю. Г. Оксмана переписка занимала очень значительное место, в особенности в годы его пребывания в Саратове. Писал он и с Колымы, где работал лесорубом, сапожником, бондарем, банщиком, сторожем. Сохранилось более шестидесяти писем его оттуда к жене и матери. Мы публикуем фрагменты из них. Находясь в тяжелых условиях, оторванный от любимого дела, ученый никогда не падал духом, не жаловался на свои невзгоды, старался внушить надежду на лучшее своим близким, может быть, не всегда искренно, а чтобы успокоить их. О действительных условиях его жизни там можно судить по записи 1960-х годов, найденной мною после его смерти в его бумагах: «Никак не забыть зимних дней в Адыгалахе. Когда термометр показывал пятьдесят градусов и больше («активировались» только дни, когда температура была больше пятидесяти двух градусов), я ощущал легкий шелест замерзающего пара – это было мое дыхание (воздух, который выдыхали мои легкие, шелестел). Холода я не чувствовал, так как ветра не было, одет я был хорошо, но сердце замирало. Мне вдруг начинало казаться, что я не дойду до лесоповала, я считал шаги, вот-вот упаду!»

Ксения Богаевская

ИЗ ПИСЕМ К ЖЕНЕ И МАТЕРИ

12 августа 1940 г. (матери)

Лета в этом году почти не было, т. е. настоящих летних дней было не больше 10–15. Сейчас уже отошла первая декада августа, от 11 до 2-х чудесно, но холодный ветер с Ледовитого океана дает себя знать сразу же после обеда (а обедаем мы здесь рано, перерыв с 12 до 2-х). Впрочем, я на климат здешний, несмотря на все его каверзы, жаловаться не могу: чувствую себя хорошо, зимою даже лучше, чем весной и летом, когда очень уж грустно становится.

6 сентября 1940 г.

Сентябрь у нас стоит великолепный, да и вообще осень на Колыме... гораздо лучше лета, короткого, неопределенно изменчивого, сырого, с ветрами, действующими на нервы и т. п.

26 октября <1940 г. ?>

...с удовольствием выбегаю к 7 утра на работу, с удовольствием еще большим возвращаюсь в 6 часов вечера в палатку, быстро приготавливаю себе что-нибудь или подогреваю, кипячу чай или какао с твоими сухариками (очень, очень вкусными, и не только потому, что прислала их ты, хотя и это, конечно, значит для меня немало), читаю что-нибудь. Последнее время вечером редко выхожу на работу в цех* и ложусь поэтому рано. В новых журналах интересного крайне мало, но все больше и больше уделяется места в них материалам о Маяковском. Я слежу за этой литературой очень внимательно, и не только потому, что много в ней просто любопытного (особенно интересны воспоминания Лили Брик и Риты Райт, менее удачны заметки Наташи Брюханенко, которой надо было бы писать попроще и посердечнее, а не делать «интеллигентное лицо» там, где этим ничего не возьмешь и только наведешь скуку). Маяковский оказался и большим человеком, и человеком, кровно связанным со своей эпохой, тысячами нитей закрепленным в каждом году первого двадцатипятилетия XX века. Поэтому к нему так же, как и к Пушкину, очень оказалось удобным пристраивать и исторические, и литературные, и бытовые материалы об огромном по своей значимости отрезке времени – с 1905 по 1930 год. К писателям кабинетного стиля таких дорог не проложить, ибо от них самих никуда не уйти. Дело не в масштабах таланта, а в широте исторического дыхания...

15 мая 1941 г.

«Вчера забежал утром ко мне в сушилку горностаи – и так весело было наблюдать, как он присматривается к необычной обстановке и как жадно ищет выхода из тюрьмы, в которой неожиданно оказался...»

В лагерь приехала комиссия, во главе которой стоял какой-то деятель, знавший Ю. Г. по Ленинграду. Он отнесся с сочувствием к заключенному «профессору», перевел его на лучшее место – в прачечную, где Ю. Г. получил крошечную собственную комнатку.

«Такое было блаженство, свой угол».

К тому же этот человек оставил Ю. Г. несколько книг, в том числе, помню, стихотворения А. К. Толстого.

В прачечной приходилось гладить белье местного начальства.

«Однажды я по неопытности прожег чьи-то брюки. Представляете мое отчаяние?»

* Вероятно, обувной.

К счастью, Ю. Г. сообразил, что в поселке живет знакомый портной, побегал к нему, и тот выручил, незаметно починив пострадавшее место.

10 апреля 1943 г. (матери)

Не представляю, уцелела ли наша ленинградская квартира, сохранились ли мои коллекции и рукописи, но даже если ничего этого уже и нет — не очень огорчаюсь. Наши страдания разделяются всей страной и будут оплачены гитлеровцам сторицей.

20 мая 1943 г.

...чем реже приходится писать, тем труднее найти нужные слова, тем стеснительнее и неувереннее выражение самого главного, особенно когда грусть и нежность, беспомощность и неизвестность парализуют и мысль, и чувства, и волю.

...Мои дорогие беженцы, душа болит за всех вас, с нетерпением жду, когда отбросят фашистов из-под Ленинграда... но пока — пока приходится, стиснув зубы и сжав нервы, ждать, ждать и ждать.

...О себе мне говорить трудно — я здоров, живу в сносных (хотя в прежних) условиях, стараюсь быть бодрым, не терять своего лица, много работаю, но не очень устаю, имею возможность даже следить за новой литературой и перечитывать старое

...Досадно, что погибли ваши письма, адресованные Магденко, когда я странствовал за тысячу километров отсюда, затем заболел, затем даже умирал, но каким-то чудом («вторично» в третий или четвертый раз) остался жив, чтобы еще дожидаться встречи с тобой, моя радость. Да, «чему бы жизнь нас ни учила, а сердце верит в чудеса». Чудо выручало меня уже не раз, невольно станешь оптимистом даже при самой неутешительной конъюнктуре!

31 октября <1943 г. ?>

Перечитываю в последнее время классиков, а из русских хороших прозаиков, Лескова. Новых книг давно не видел, самая интересная из них «Тысячи падут» Габе — много аналогий, в общем, очень похоже.

...Из новых фильмов видел только «Сталинград» да «Киноконцерты». Последние очень расстроили, вызвав поток воспоминаний, очень доволен тем, что слышал.

24 ноября 1943 г.

Вспоминаю тайгу и бесконечную зимнюю многомесячную ночь (точнее, сумерки) у Индигирки, куда меня забросила судьба в 1941—1942 г. Мороз 60 градусов, костер, я у костра, всю ночь

напряженно всматриваюсь в прошлое («настоящего» тогда для меня не было, «будущее» было более чем проблематично).

...У костра я не только вспоминал, но иногда писал мысленно целые книги, главу за главой, ярче и легче, чем, бывало, за письменным столом в Ленинграде.



Г. К. Вагнер. Колыма. Лунной ночью. Из альбома «Колыма». 1946 год

Письмо к двоюродной племяннице, И. М. Альтер, несколько грустное, но кончается на мажорной ноте.

1 сентября <1944 г.>

Дорогая Ирочка, вот уже и «сентябрь на дворе» — коротенькое колымское лето пролетело так незаметно, как прошла и вся почти жизнь. На днях уехал Мика*, и с его отъездом оборвались, кажется, последние якоря. Как это ни странно, но до сих пор я не ощущал одиночество как большое лишение. В тайге ведь в свое время целыми месяцами слова не с кем было перекинуть, а еще раньше были многие месяцы абсолютной изоляции от всего живого, но меня все это трогало очень мало. Я жил или воспоминаниями, или будущими кни-

* Брат Эммануил.

гами, которые мысленно писал главу за главой, страницу за страницей. Сейчас не то — я чувствую себя бесконечно уставшим от бесперспективности личного быта на ближайшее время, от всего груза последних лет. Даже книги не отвлекают, как обычно. Правда, и читать приходится сейчас не так много, как раньше. Очень огорчает меня и отсутствие писем. От мамы их нет уже два месяца. Тосенька пишет еще реже и скуpee. Представляю хорошо их невеселую жизнь, но от этого еще тягостнее. Недавно мне попался чей-то перевод замечательных стихов Кипплинга. Посылаю его тебе вместо скучной концовки унылого письма.

Умей поставить в радостной надежде
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть, и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том.

Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только воля говорит: «Иди!»

17 ноября 1944 г.

...пишу... на Аптекарский остров. Ах, как много воспоминаний связано с этим островом в нашей ленинградской жизни 23—25-го года... сотни раз наши прогулки приурочивали к району гренадерских казарм и к набережной у старых министерских дач, где так замечательно пахло в летние вечера русской провинцией и петербургскими рабочими окраинами в восприятии Блока и даже Достоевского. Из-за таких воспоминаний и тянет иногда до безумия в Ленинград, хотя в здравом уме уже все, кажется, голосует против этого возвращения.

13 августа 1945 г.

Письмо осталось неоконченным, моя радость, из-за объявления войны <с Японией>... События меня бесконечно бодрят, и я даже помолодел от их темпов. Фашизм во всех его разветвлениях будет уничтожен и выкорчеван с корнем не только на Западе!

12 сентября 1945 г.

...я тебя не поздравил до сих пор с окончанием мировой войны. Для нас на Колыме это двойной праздник во всех отношениях — ведь Япония от нас очень близко, и это накладывало на весь стиль нашей жизни особый отпечаток...

27 октября 1945 г.

Вчера удалось мне почти целый день провести в библиотеке для просмотра газет и журналов этого года. С особым интересом прочел все 18 номеров «Войны и рабочего класса» и «Литературу и искусство» за год. Узнал о книге Федина, которая меня очень заинтриговала, о неудачах Зошенко, посмотрел фотографии наших писателей на фронтах, подивился скудости информации о смерти Юрия Николаевича <Тынянова>. Сейчас как-то притупилась у меня острота этой потери, но просто оттого, что не могу об этом думать. А как вспомню — так страшно становится от безвоздушного пространства вокруг нас...

Как видим, последний год в Магадане Ю. Г. жил почти на свободном положении, ходил по городу, в библиотеку и, кажется, даже в частные дома людей, с которыми он там познакомился. В Магадане он много читал и частично восстановил свои пробелы в знании литературы тех лет.

20 июля 1946 г.

Ты, я надеюсь, учитываешь все своеобразие географических широт и долгот и границу между Дальним Востоком и прочими частями нашей родины. То, что у вас закончилось, у нас заставляет быть в полной боевой готовности, работать по-фронтовому и не рассчитывать на передышку.

1 августа 1946 г.

...никаких перемен в нашем быту нет; живу все-таки гораздо нервнее, чем прежде, когда ничего не знал и будущее рисовалось только в отвлеченных тонах.

...Что делать и на что ориентироваться? Остаться ли мне здесь после освобождения, чтобы оформить лучше свои юридические и бытовые дела, или ехать на Большую Землю при первой физической возможности, которая может представиться до конца декабря.

...Ясно я себе представляю только колымский вариант, т. е. самый простой, поскольку здесь я легко могу устроиться, не являюсь белой вороной, никого не пугаю и не смущаю, а наоборот, считаюсь очень полезным, как дефицитный специалист.

...Остаться здесь больше, чем на год, значит, крест на всяких надеждах реставрации.

Я понимаю, что очень огорчаю тебя своей неуверенностью, своей растерянностью перед завтрашним днем, но, право, нет уже сил

на искусственную зарядку — они все растрчены за эти годы, даже странно, как их хватало до сих пор. С каждым месяцем я чувствую себя слабее — не физически, а морально. Голова работает неплохо, даже, пожалуй, совсем хорошо, лучше, чем на Большой Земле в последние годы, когда разменивался очень уж много на ненужные дела и заботы, но от этого не легче. Недавно стал работать над «Наукой логики» Гегеля — очень удачно, пробовал писать — тоже получается интересно, думаю о прочитанном — тоже не совсем тривиально. Острота и глубина понимания лучше, чем были прежде, когда боялся широких разворотов мысли, загонял себя в углы комментариев. Так обидно, что себя суживал всю жизнь, впрочем — так уж само собою складывалось все, никто не виноват в этом.

8 августа 1946 г.

...очень уж переломный период дает себя знать. Физически все обстоит благополучно <...>, но психически нет ни прежней устойчивости, ни уверенности, ни даже понимания иногда, что можно и чего нельзя, что хорошо и что плохо.

...Я очень соскучился и по тебе, и по настоящей работе. Сейчас перечитываю «Вопросы истории» за полтора последних года (принес один знакомый на несколько дней) — вижу, что не только не устарел я, а наоборот, мог бы с успехом быть в самых передовых рядах и на историческом, и на литературном фронте. Я писал тебе, что хотел бы написать «Историю изучения Пушкина». Набросал уже большую главу о пушкинистах XX века, сейчас застрял на Лернере. Выходит очень остро и интересно — беда, что нет даже элементарных справочников и основных изданий...

Август у нас в этом году дождливый, но не холодный. Боюсь, что осени хорошей не будет, как не было и лета. Настроение не поднимается, может быть, из-за унылых пасмурных дней.

...Недавно пересмотрел комплекты центральных газет за полгода, поражен убылью в академических рядах и отсутствием кадров, особенно в области гуманитарных наук. Подумал и о том, что в 1949 году новый большой пушкинский юбилей — 150 лет со дня рождения, а в 1950 году — 125-летие «14 декабря». И для одного, и для другого юбилея у меня очень много почти законченного, требующего только нескольких месяцев технического оформления, без всяких архивных и библиографических справок и выписок. Впрочем — я, может быть, не прав, надеясь, что все эти бумаги сохранились.

3 октября 1946 г.

Понимаю очень хорошо твое обращение к вознесенским дням нашей юности, такой бесконечно далекой и в то же время как будто бы более близкой, чем 1936 год!.. Неужели мы уже становимся старыми? Я никак не хочу и не могу с этим примириться. Чувствую я себя даже сейчас на 10 лет моложе, а не старше, чем это было 10 лет назад.

Здесь уместно добавить несколько цитат из писем Юлиана Григорьевича ко мне.

28 марта 1953 г.

В Саратове 26-го числа бушевал ураган... Очень тяжело все это отразилось на сердце: я шел из университета домой точно в таком состоянии, как когда-то в шестидесятиградусный мороз возвращался на Колыме с работы в палатку, т. е. с полной уверенностью, что не дойду.

26 апреля 1955 г.

Рад, что вы так довольны своим новым бытом. Это ведь самое главное, лучше ничего ведь не бывает после трудового дня. Я помню колымскую каторгу и блаженное ощущение хорошей палатки!

Публикация К. Богаевской

ВИКТОР СЕРБСКИЙ



МОИ РОДИТЕЛИ

У меня, может быть, самый длительный срок внесудебного наказания. Я был сослан в утробе матери, ссылка эта продолжается шестой десяток лет, и никто возвращать меня из нее не собирается. Ни по какому ведомству не числюсь.

Что я помню?

Барак.

Потом в бирюсинском детдоме, ухаживая за животными, я очень часто вспоминал его – в свинарнике, конюшне, коровнике были такие же не до потолка перегородки, как в том бараке на Колыме. В каждой из клетушек много народа и плотный запах. В этой толчее мы с мамой. И ее имя Женя. Это имя много лет было моей мальчишеской тайной. Никогда и никому я не говорил, как звали мою маму.

Зимой 1957 года в цехе Норильского комбината, где я работал мастером смены, меня позвали к телефону, и сквозь грохот станков я едва расслышал взволнованный голос жены. Она сообщала, что

в Норильский горздрав пришло письмо: меня разыскивают родственники из Москвы. Я задал ей всего один вопрос: «Как они назвали мою маму?» Она ответила: «Евгения».

Через два года свою первую дочь я назвал Женей.

На всю жизнь запомнил два слова: Колыма и Магадан, понимая, что я там не родился, а был туда привезен.

А где и когда родился?



К сожалению, и сегодня, перешагнув порог пенсионного возраста, я этого не знаю. Родственники называют день – 1 мая 1933 года. Вполне возможно, – день этот очень хорошо запоминается. Но кто подтвердит? А где? Скорее всего, в Верхнеуральской тюрьме – политическом изоляторе, – так благозвучней. Но пока такого документа нет. Достоверно одно: в тюремной камере, но в первомайский день. В автобиографиях, а их, как и каждому советскому гражданину, приходилось писать часто, я сообщал: «Родителей не помню, воспитывался в детских домах, закончил... работал...»

А что было до детских домов? Кто были родители? Родственники? Вопросов много.

В 1964 году меня вызвали в отдел КГБ в Норильске и вежливо объяснили, что писать больше никуда не надо – все, что можно, мне сообщено. Получил я к тому времени свидетельства об их смерти: отца – 13 октября 1937 года от тромбофлебита и матери – 10 января 1942 года от крупозной пневмонии, и письмо прокурора Курской

области об отказе в реабилитации (Курский областной суд реабилитировал их только 17 октября 1988 года).

Мама, член партии с 1918 года (еще до советизации Грузии), была в числе первых организаторов комсомола Закавказья, работала в Тбилиси вместе с Борисом Данеладзе, Ашхен Налбандян (мать Булата Окуджавы), Мишей Окоевым, Иваном Пудиковым и другими. Была направлена на учебу в Институт красной профессуры. Практически вся комсомольская организация Грузии была уничтожена Сталиным и Берией. Необолганным остался только Борис Данеладзе, умерший в 1923 году.

Предчувствия о расстреле отца и матери подтвердились. Недавно я получил новые свидетельства о смерти родителей 13 октября 1937 года, в которых в графе «Причина смерти» указано: *расстрел*.

Свидетельства выписаны 21 июня 1989 года Магаданским загсом.

Недавно меня выборочно познакомили с делом № 98786, находящимся в архиве управления МВД Магаданского облисполкома, на котором грифы: «Хранить вечно» и «Совершенно секретно».

Вот некоторые документы из этого дела.

В деле имеется всего один документ, написанный рукой отца на клочке бумаги. Вот его текст.

ЦИК СССР. НКВД СССР

Целиком и полностью присоединяюсь к заявлению политзаключенных коммунистов с требованием об установлении полит. режима и объединении с т.т. Впредь до удовлетворения этих требований объявляю голодовку.

С. Сербский

Даты под документом нет (л. д. 8).

ПРОКУРОРУ ПО ДЕЛАМ НКВД – МОСКВА
НАЧАЛЬНИКУ СПО* НКВД – МОСКВА
НАЧАЛЬНИКУ СПО ОТД. НКВД – МАГАДАН

От политзаключенных коммунисток

ЗАЯВЛЕНИЕ

23 августа, на 13-й (а для двух из нас на 18-й) день голодовки, объявленной за самые элементарные условия существования в лагере, на нас был совершен налет медперсонала в составе сестры, санитары

* Секретно-политический отдел.

и нескольких заключенных для совершения искусственного питания. Протестуя против искусственного питания вообще как против акта грубого насилия над нами, мы вынуждены обратить Ваше внимание на ряд возмутительных фактов, сложившихся в целую систему расправ и издевательств, и которые в условиях Колымы при отдаленности от центра доводятся до чудовищных размеров местной администрацией, чувствующей свою полную бесконтрольность и безнаказанность и рассчитывающей этими методами сломить голодающих.

Все голодающие (11 женщин) находятся в палатке, в том числе и голодающие 18 дней, причем за все время голодовки ни разу палатку не посетил врач, никакого меднадзора не было, несмотря на то, что среди голодающих есть больные с пороком сердца, туберкулезом легких, тяжелыми желудочными заболеваниями. Никакого медицинского, санитарного или просто бытового обслуживания для палатки предоставлено не было. Кормление предполагалось производить здесь же в палатке в явно антисанитарных условиях, без предварительного медосвидетельствования. Кормление массовое, повальное, всех голодающих 18, 13 и 6 дней, причем было заявление, что в больничных условиях нам отказано. Обстановка была настолько исключительная, что в результате наших протестов прибывший медперсонал не рискнул взять на себя ответственность за кормление в данных условиях и вынужден был удалиться. Однако, получив вторичное распоряжение командования лагеря кормить нас во что бы то ни стало, невзирая на обстановку, налет был повторен, причем медперсонал был подкреплён лагерной администрацией.

Вся обстановка кормления представляла собой интересное зрелище для уголовных, собравшихся в большом количестве во дворе, когда совершенно обессиленных людей носили на руках в амбулаторию. После кормления, несмотря на резко ухудшившееся состояние голодающих, никакого санитарного и медицинского наблюдения установлено не было. На все требования был ответ, что распоряжения об этом не получено, что попытки вызвать врача безрезультатны, т. к. врача не было. В течение вечера и ночи было пять обмороков, причем голодающим приходилось оказывать друг другу помощь при отсутствии каких-либо медикаментов. Только утром удалось вызвать карету «скорой помощи» для одной из голодающих женщин, находившейся в наиболее тяжелом состоянии, но в переводе в больницу было отказано, так же как и в организации медпомощи.

Излагая все эти обстоятельства, считаем все эти методы срыва голодовки и борьбы с голодающими не чем иным, как методом варварской расправы, против которой мы категорически протестуем.

Возлагаем на Вас всю ответственность за ее неизбежные последствия.

1. Глазер. 2. Евдокимова. 3. Захарьян. 4. Конева. 5. Ладохина. 6. Лемберская. 7. Лемельман. 8. Мельцер. 9. Наумова. 10. Осьминская. 11. Тер-Данильян. 12. Фридман-Гринштейн.

24.08.36 г.

НАЧАЛЬНИКУ ОЛП

На ваш запрос через начальника п/л пункта им. Берзина

На списочном составе вверенной мне командировки состоят з/к, водворенные в СЕВВОСТЛАГ за КРТД и в количестве 180 человек, среди которых имеются отдельные лица, которые до сих пор являются ярыми неразоружившимися троцкистами и между собой ведут контрреволюционные работы.

Удобным местом для сборищ этой группы троцкистов является отделенная от общего барака комната, где живет ярый троцкист Сербский Соломон Наумович с женой Захарьян Евгенией Митрофановой*, оба осуждены за КРТД, имеющие при себе сына в возрасте 4–5 лет. В эту комнату собираются троцкисты: Шпитальник Петр Захарович, Яичников Анатолий Левитович, Крацман Моисей Исаакович, Балясный Абрам Львович, Нейман Яков Самуилович, Рувивжевский Израиль Наумович, Матюгов Иван Афанасьевич, Ладохина Александра Васильевна и Гладштейн Элька Израилевна, и ведут свою работу. Не раз они были застигнуты в этой комнате под видом чаепития или книгочтения. Как система — ежедневно в одно время они собираются в этой комнате, куда заходят другие заключенные из соседних барак, коих они безусловно обрабатывают. Если бы не отдельная комната супругов Сербского и Захарьян, каковая служит для этой троцкистской группы штабом и убежищем, им бы собираться было бы нигде.

У Сербского и Захарьян имеется сын 4–5 лет, которого мать воспитывает в контрреволюционном духе, т. е. запрещает ребенку петь пионерские песни, учить стихи пионеров-октябрят, не дает возможности понять ребенку, кто был Владимир Ильич. Ребенок резвится, слыша имена вождей рабочего класса СССР от детей вольнонаемных служащих, но мать категорически и с угрозами воспрещает ему их воспринимать и произносить. Если мальчик случайно вырвется и соединится играть с пионерами прииска, мать — Захарьян — сейчас же уводит его

* Отчество перепутано. — *Прим. сост.*

домой и делает ему свое нравоучение. Ребенок лишен всякой возможности получить должное воспитание, лишаясь детского развлечения, как участие с пионерами в играх, посещение дет. площадки и сада, он вырастает замкнутым от действительности советского веселья и радостной детской жизни и выковывается в будущего троцкиста.

Вся эта группа во главе Сербского и его жены не выполняет лаг. распорядка, режим лагеря им чужд и ненавистен.

Ко всем проводимым в лагере кампаниям и мероприятиям она относится враждебно, так, например: все категорически отказались от дактилоскопирования, мотивируя, что это должны делать только уголовные преступники, считая себя важными политическими преступниками, участия в производимых ударниках по лагерю никогда не принимают, заявляя открыто: «Пусть таковые проводят командование прииска и лагеря». На работу они всегда выходят с опозданием и к работе относятся пассивно. На поверку в лагере, устраиваемую в порядке приказа УСВИТЛ НКВД, не выходят. За нарушения лаг. дисциплины на них налагались дисциплинарные взыскания, которые, однако, для них оказывались мало влиятельными.

Сбор в комнате Сербского—Захарьян троцкистов, а главное, женщин Ладохиной и Гладштейн (проживающих в жен. палатке) неоднократно воспрещалось, но они тайным путем ухищряются видеться.

В отношении участия ребенка Захарьян с детьми вольнонаемных служащих в части посещения дет. площадки, детсада и пр., нами оказывалось всемерное содействие, но этим Захарьян не хотела воспользоваться, задавшись своей целью воспитать ребенка, как указано, в контрреволюционном духе.

Захарьян с момента прибытия на командировку до сих пор нигде не работает, и от Вас на этот счет, несмотря на мой запрос, нет никаких указаний.

В целях ликвидации в корне указанной группы троцкистов необходимо убрать с командировки троцкистов: Сербского и Захарьян, что главным образом лишит группу руководителя, и во вторую очередь — обезглавленная группа троцкистов лишится места сборищ (комнаты, занимаемой Сербским), каковая является для них местом явок.

Жду Ваших указаний.

*Начальник командировки В-Берзинской
п/л пункта* имени т. Берзина
Болотовский*

17.06.37г.

* В-Берзинская — Верхне-Берзинская; п/л пункт — подлагпункт. — Прим. ред.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

18 августа 1937 года

з/к Сербского С. Н.

Вопрос: Когда вы прибыли на прииск им. Берзина и откуда?

Ответ: На прииск им. Берзина прибыл в октябре 1936 г. со 132-й дистанции.

Вопрос: Назовите знакомых по лагерю.

Ответ: У меня много знакомых.

Вопрос: Назовите их фамилии.

Ответ: Литвинов, Шпитальник, Нейман и почти все проживающие в спец. бараке номер два.

Вопрос: Что за сборища происходят у вас в комнате?

Ответ: Сборищ в моей комнате никогда не было и не бывает.

Вопрос: Что за доклад делал у вас Матусевич о валютных мероприятиях Франции и Англии?

Ответ: Такого доклада не было.

Вопрос: В декабре 1936 года организовывали ли вы коллективный протест с семнадцатью подписями против водворения в РУР* за отказ от работы з/к Штруля?

Ответ: Я подписал заявление на имя директора Дальстроя и начальника РО НКВД, в котором просили реагировать на посадку в РУР большого цингой з/к Штруля.

Вопрос: Знаете ли вы Матюгова, Малюту, Яичникова, Шпитальника, Крацмана, Рубельского, Балясного и Неймана Я. С.?

Ответ: Да, знаю, как и многих других.

Вопрос: Какие с ними взаимоотношения?

Ответ: Отношения с ними обычные.

Вопрос: Как часто заходят эти лица к вам в комнату и зачем?

Ответ: Некоторые из них заходят очень редко, поиграть с ребенком, а некоторые заходят чаще, как-то Шпитальник, Нейман, Яичников, так как они помогают мне таскать дрова, пилить и колоть их.

Вопрос: Давали ли вы этой группе задания вести разлагательную работу в бригадах и на производстве?

Ответ: Мне эти лица знакомы каждый в отдельности, и как группу я их не знал, и никаких указаний я им не давал.

Вопрос: Признаете ли вы себя виновным в том, что, находясь на прииске им. Берзина, проводили вредительскую подрывную работу и контрреволюционную борьбу, направленную против мероприятий ЦК ВКП(б) и советской власти?

* Рота усиленного режима.

Ответ: Нет, виновным в этом себя не признаю, так как никакой работы вредительской я не проводил.

Вопрос: Что вы еще можете добавить по существу заданных вам вопросов?

Ответ: Больше ничего добавить не могу. Протокол записан с моих слов правильно и мной прочитан, в чем и расписываюсь.

Допросил

Павлов

На бланке протокола допроса Захарьян Е. Т. от 20 августа 1937 года написано: «Показания давать отказалась».

ВЫПИСКА

из протокола № 3 Заседания Тройки УНКВД по Дальстрою
от 7 сентября 1937 года

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
<p>Дело № 229 УНКВД по Дальстрою по обвинению:</p> <p>1. Сербского Соломона Наумовича, 1907 года рождения, ур. г. Бердичева Киевской области. Троцкист с 1928 г. Осужден: в 1929 г. к 1 году политизолятора с последующей ссылкой на 2 года; в 1931 г. лишен права проживания в 12 пунктах сроком на 3 года; в 1933 г. к 3 годам политизолятора; в 1935 г. за участие в КРТД* ссылка на 3 года; в 1936 г. за КРТД сроком на 5 лет; в активной к-р подрывной и троцкистской деятельности –</p>	<p>Сербского Соломона Наумовича</p> <p>РАССТРЕЛЯТЬ</p>
<p>2. Захарьян Евгении Тиграновны, 1901 года рождения, ур. г. Тифлиса. Троцкистка с 1929 г. Осуждена: в 1929 году по статье 58-10 к 3 годам ссылки; в 1932 г. за КРТД к 3 годам политизолятора; в 1933 г. к 3 годам ссылки; в 1936 г. за КРТД к 5 годам ИТЛ; в активной к-р подрывной и троцкистской деятельности –</p>	<p>Захарьян Евгению Тиграновну</p> <p>РАССТРЕЛЯТЬ</p>
<p>ВЕРНО: оп. уполн. 8 отдел. УГБ УНКВД по ДС**</p>	<p>подпись печать</p>

* Контрреволюционная троцкистская деятельность.

** Дальстрой.

АКТ

13 октября 1937 г.

г. Магадан – ДВК*

Настоящий акт составлен в том, что согласно решению Тройки УНКВД по ДС, утвержденному Тройкой УНКВД по ДВК – приведен в исполнение приговор в отношении Сербского Соломона Наумовича, 1907 г. р., ур. г. Бердичева, осужденного к ВМУН – расстрелу.

Настоящий акт составлен в 3-х экз.

<i>Начальник 4-го отдела УГБ УНКВД по ДС</i>	<i>Мосевич</i>
<i>И. о. коменданта УНКВД по ДС</i>	
<i>мл. лейт. гос. безопасности</i>	<i>Соколов</i>
<i>Начальник внутренней тюрьмы УНКВД по ДС</i>	<i>Кузьменков</i>

АКТ

13 октября 1937 г.

г. Магадан – ДВК

Настоящий акт составлен в том, что согласно решению Тройки УНКВД по ДС, утвержденному Тройкой УНКВД по ДВК, – приведен в исполнение приговор в отношении Захарьян Евгении Тигра-новны, 1901 г. р., ур. г. Тифлиса, осужденной к ВМУН** – расстрелу.

Настоящий акт составлен в 3-х экз.

<i>Начальник 4-го отдела УГБ УНКВД по ДС</i>	<i>Мосевич</i>
<i>И. о. коменданта УНКВД по ДС</i>	
<i>мл. лейт. гос. безопасности</i>	<i>Соколов</i>
<i>Начальник внутренней тюрьмы УНКВД по ДС</i>	<i>Кузьменков</i>

* Дальневосточный край.

** Высшая мера уголовного наказания.

МИХАИЛ КИРЕЕВСКИЙ



МНЕ БЫЛО СЕМНАДЦАТЬ

9 февраля 1953 года меня арестовывают в возрасте семнадцати лет и заключают в одиночную камеру подвала Лубянской тюрьмы. Сначала, как только привели на Лубянку, поместили в бокс 1,5 кв. м – высоко над головой яркая электрическая лампа, – в нем я находился часов пять.

Затем – одиночная камера угловая, по камере проходил воздуховод. Как только его включали, в камере было очень холодно. Согреться, прилечь нельзя. И лишь отбой в десять часов вечера, как буквально через час на допрос, через два-три часа обратно в камеру, а в шесть часов утра подъем. В одиночке находился двенадцать дней, затем переведен в общую камеру, где было восемь человек.

Ночные допросы. Обвинение в том, что одобрял террористическую деятельность врачей и еще многое такое, что меня охватывал ужас. Донесли на меня на работе.

Следователь: «С кем ты делился, разговаривал дома, называй адреса, фамилии».

Но вот тут я, слава Богу, понял, что все, что происходит со мной, должно происходить только со мной и я не имею права называть ни одного имени, фамилии. Ведь мне придется быть свидетелем, а как смотреть в глаза – ведь это гораздо страшнее. Хотя мало ли о чем и с кем я в то время трепался, не отдавая себе отчета в том, что это может все так страшно кончиться.

После следствия и предъявленного обвинения меня перевели в Бутырскую тюрьму, а 24 марта 1953 года по ст. 58-8-17 и 58-10, ч. 2 Военный трибунал приговорил меня к 25 годам ИТЛ и 5 годам порачения в правах.

Вот этого я действительно не ожидал, ну 10 лет – максимум, но 25 лет! Из Бутырской тюрьмы я попал в тюрьму Таганскую. А затем по этапу через иркутские, свердловские и прочие пересылки – в порт Ванино, где ждали этапа в Магадан.

Порт Ванино. Среди нас находился один самый молодой человек, было ему четырнадцать лет. Пустил змея, прикрепил к нему портрет Сталина и стрелял в него из рогатки. Статья 58-8-19, приговор – 25 лет ИТЛ, но он был освобожден по ходатайству руководства лагеря. Запомнил одного японца, Кудо Тадаси, двоих чукчей, капитана 3-го ранга Иоффе.

После ареста Берии летом 1953 года обстановка в пересыльном лагере изменилась. Была создана инициативная группа, и решили сделать все возможное, чтобы в Магадан не отправили – стали саботировать, ведь большинство, как и я, не чувствовали за собой никакой вины. Но были вызваны войска МВД, нас избили, выстроили колонной и погрузили в трюм теплохода «Уэлен». Кошмар этого перехода: кашка, хотелось пить, пресной воды не было, и хотя бы глоток свежего воздуха!

Осенью, в середине октября, мы наконец добрались до Магадана. Через некоторое время меня этапом отправили дальше, и в ноябре 1953 года я прибыл на рудник имени Матросова. В шахту на добычу золотоносной руды меня не направили, пожалели. Работал на фабрике по извлечению золота из породы с помощью ртути (флотация). Носил номер на шапке, коленке и спине П2-20*, но носил недолго, вскоре номера сняли. Люди умирали. Мне пришлось однажды хоронить одного молодого литовца. Вырыть могилу, хотя и не очень глубокую, страшно трудно и летом, ну а зимой? Отморозил после этого палец ноги, но справку об освобождении мне не дали – попал в карцер на 5 суток.

* Из этого следует, что автор находился в Берлаге: колымском особом лагере № 5 («Береговой»), в одном из его отделений. – *Прим. сост.*

Все это время я писал жалобы в Прокуратуру, в Верховный Совет. Ответа не было. Весной 1954 года меня отправили опять в Магадан, и я работал разнорабочим на стройке. Таскал кирпичи, работал на разворном узле. И все время писал, писал жалобы и ждал, ждал.

И наконец дождался. В начале февраля 1955 года мне сообщили, что решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 8 декабря 1954 года за недоказанностью обвинения «дело производством прекращено» и я реабилитирован. Весной 1955 года возвратился в Москву и только тогда узнал, что мой отец, Игорь Николаевич Киреевский, вскоре после моего ареста умер. Было ему 47 лет. (Мама, Сара Моисеевна Киреевская, умерла в 1945 году.)

Повидал на своем веку разных людей, но мне хотелось бы назвать лишь тех, кто отнесся ко мне по-доброму, кому я обязан.

Мне очень повезло: у меня прекрасная жена, очень добрый, чуткий, отзывчивый человек – Светлана Владимировна Измайлова.

Костюк Эдуард Александрович и Ровнер Михаил Яковлевич – эти люди помогли мне в приобретении профессии, которой я очень дорожу. Ведь до этого я работал разнорабочим. Сейчас у меня редкая и очень уважаемая профессия: контроль сварки рентгеном.

Также мне хотелось бы отметить таких людей, сделавших для меня много доброго, как Гришун Михаил Петрович, Винокур Иосиф Аронович, Мирзоян Гамлет Ашотович, Платонов Олег Михайлович, Самойлов Иван Кузьмич и многих, многих других.

Как бы там ни было, а добрых, сердечных людей все-таки гораздо больше.

Хотелось бы рассказать о моих ближайших родственниках, тоже репрессированных.

Мой дядя Николай Николаевич Киреевский, профессор, 1901 года рождения. Преподавал математику в институте имени Покровского, в Ленинградском университете. Арестован 23 июня 1941 года, осужден по ст. 58-10 на 7 лет лагерей. Умер в тюрьме 24 декабря того же года.

Его жена Мария Генриховна Киреевская, 1902 года рождения. Арестована 24 июня 1941 года. Осуждена по ст. 58-10 к 5 годам лагерей, отбыла полностью и затем скиталась по ссылкам.

Оба реабилитированы за отсутствием состава преступления.

Их сын Киреевский Николай Николаевич, 1937 года рождения, с братом матерю находился в это время в Средней Азии – в ссылке.

МАРЬЯМ СУЛТАН-МУРАДОВА



«ОТ БИТЬЯ ЖЕЛЕЗО КРЕПНЕТ, ЧЕЛОВЕК МУЖАЕТ»

Эти строчки нашла я на обрывке пожелтевшей от времени бумаги. Написаны они рукой моей бабушки Марьям.

Родилась Марьям Султан-Мурадова 13 февраля 1905 года в кишлаке Чандыр-Кият Хорезмской области. Начальную школу окончила в Ургенче, потом уехала учиться в Ташкент. В 1920–1921 годах училась в Восточном институте г. Оренбурга, где вступила в ВКП(б). В 1921 году работала в аппарате ЦК Хорезмской народной республики.

В 1922 году была отправлена на учебу в Германию с группой хорезмской молодежи. В Германии получила педагогическое образование и закончила курсы медсестер. Вернулась на родину в 1928 году, вышла замуж. В 1930 году родился сын Пулатбек. В 1934–1935 годах работала в редакции журнала «Гулистан».

15 сентября 1937 года была арестована и осуждена на 10 лет. Отбыв срок на Колыме, вернулась в Хорезм. В 1948–1949 годах работала медсестрой.

Потом ее вновь арестовали и отправили в ссылку в Красноярский край. В 1957 году реабилитирована.

Справка Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 9 сентября 1957 года № 4н-03920/57:

«Дело по обвинению Султан-Мурадовой Марьям... пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР от 2 августа 1957 года.

Приговор Военной коллегии от 9 октября 1938 года и постановление Особого совещания при МГБ СССР от 3 августа 1949 года в отношении Султан-Мурадовой М. по вновь открывшимся обстоятельствам отменены и дело за отсутствием состава преступления прекращено».

Вернувшись в родные места, работала в системе райздрава Ургенчского района заведующей фельдшерским пунктом. В 1960 году вышла на пенсию. Была литсотрудником газеты «Октябрь байроги».

М. Ахметбекова

ГОЛОСА



ИЗ ПИСЕМ СОСТАВИТЕЛЮ СБОРНИКА «ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ»

От Целины Будзынской

В сборнике «Доднесь тяготеет», т. 1, напечатаны воспоминания Елены Владимировой и ее друзей вместе с отрывком из поэмы «Колыма». Не знаю, по какой причине Лена не описывает точно историю этой поэмы, а может быть, она и не знает о ее дальнейшей судьбе.

После Колымы Лена попала в Караганду. Больная сердцем и легкими, она лежала в лагерной больнице, где медсестрой была Аля Эрлих-Познанская, взятая в 1948 году, как повторница. Они подружились. Лена ей из памяти диктовала свою поэму, а Аля записывала на папиросной бумаге. Потом Лена туго свернутые в трубочку листочки укладывала на полотна и обшивала цветными нитками – получался яркий цветочный узор, выпуклая вышивка. Из этого сшили подушку, и эту подушку Аля Эрлих-Познанская привезла в 1954 году в Варшаву. Здесь она встретила колымчанку Стефанию Ивинскую,

которая на Колыме жила одно время в бараке с Леной Владимировой, тяжело пережила ее арест, помнила отрывки поэмы и была уверена, что Лена погибла. Стефа и Аля распоролы яркие цветы, расправили тоненькие бумажки и с большим трудом составили всю поэму.

Они обе умерли. Экземпляр поэмы хранится у меня. Стефа и Аля берегли поэму как реликвию. О том, что Лена все же дожила до освобождения, они узнали слишком поздно, вскоре пришло известие о ее смерти.

Я знаю, что моя подруга Елизавета Семеновна Дробкина пыталась уже после смерти Лены издать ее стихи, но закончился период «оттепели». У меня довольно много стихов Лены и ее «Колыма». Если это может Вам пригодиться — я с радостью передам.

С приветом

Целина Будзынская

От Викторины Астаховой

Я, Астахова Викторина Михайловна, 1910 года рождения, прошла весь ад Лубянки, Бутырской тюрьмы, Владивостокской пересылки и колымских лагерей.

Хочу рассказать о судьбах некоторых людей из «Крутого маршрута» Евг. Гинзбург. Анненкова Юлия Ильинична, бывший редактор немецкой газеты в Москве, прошла со мной от Бутырок до Колымы. Весь страшный путь по колымской тайге. Мы работали на лесоповалах. Много женщин погибло под неумело поваленными деревьями. В живых от этого этапа остались немногие: Анненкова, Резцова Женя, бывшая журналистка из Москвы, Валитова Мансура, бывшая работница кондитерской фабрики «Красный Октябрь», Харитоновна Маргарита Васильевна, доктор химических наук, награжденная двумя орденами Ленина, и я — бывший делопроизводитель приемной М. И. Калинина.

Оставшихся нас повели дальше по тайге до пос. Балаганное, это большой совхоз. Поставили работать на свиноферме — чистить навоз. Нашими начальниками и бригадирами были уголовники-рецидивисты. Называли нас «контриками», издевались как хотели, даже били. Хлеба давали очень мало, и от голода мы ели свиную барду и вылавливали из нее мелкую вареную хамсу.

В апреле 1939 года Анненкова Юля получила письмо от сына, которому было 10–11 лет, он просил мать не писать ему, т. к. боится за дядю Мишу и за себя. Юля плакала всю ночь. Утром с разводом пошла на работу. Я и Харитоновна после проверки с разводом пошли в ночную смену. Когда пришли в свинарник, о ужас! Юлю только что вынули из петли. Как сейчас вижу ее мертвое лицо, черные глаза навывкате и сине-черный язык. Мне стало плохо. Очнулась от рыданий.

Харитоновна, стоя на коленях, что-то говорила и гладила мою голову. Жить дальше не было сил.

Через некоторое время Резцова Женя ножом перерезала себе горло. Осталась жива. Повредила голосовые связки. Ее отправили в Магадан. Там подлечили, потом сактировали в мариинские лагеря. Дальнейшая ее судьба мне не известна. Одна из сестер Луговских сидела со мной в камере Бутырской тюрьмы, и прошли мы с ней весь путь до Колымы. Знаю, что все три сестры и мать Луговские встретились на Колыме. Дальнейший их путь для меня затерялся.

В одной камере со мной в Бутырках сидела сестра Уншлихта Сосновская. Ее замучили непрерывными допросами днем и ночью, не давая даже спать в камере. На пятые сутки пришли за ее вещами.

Очень бы хотелось узнать, как сложилась судьба татарки Валитовой Мансуры, прекрасного человека и товарища. Она дважды спасла мне жизнь, но это долгая история. Она была очень молода и, может быть, еще жива.

Всюду в колымских лагерях нас подстерегали: смерть, надругательства и гнус — страшнейший бич тайги.

Если даже до 100 лет доживу, не забыть мне лагерную Колыму. В мерзлых сопках лежат друзья, кто, за что у них жизнь отнял? Насквозь промерзшая земля, должно быть, и теперь хранит их замученные тела.

От Алексея Кремнева

Дорогой Семен!

...Воспоминания свои еще не дописал. Но по твоей просьбе посылаю черновой набросок*.

* * *

...Мой путь на Колыму проходил через Киевскую Лукьяновку, лагерь на заводе «Арсенал», через мясорубку лагерей Челябинска и порта Ванино.

В 1948 году нас погрузили на грузовой пароход «Ереван». Восемь дней нас болтало в море.

В Магадане мы прошли санобработку, после которой стали, как близнецы, похожи друг на друга. Нас побрили наголо, одели в бушлаты б/у на один размер и обули. Чтобы наглядно представить себе эту «обувь», нужно оторвать рукав от стеганой телогрейки и к верхней части пришить кусок крыши. Эта обувь среди зэка называлась ЧТЗ.

* С Алексеем Александровичем Кремневым мы дружили в лагере «Днепровский». Это было в середине 1949 — начале 1950-х годов. Потом мы на много лет потеряли друг друга из виду. — *Прим. сост.*

После санобработки под охраной автоматчиков и собак нас повели на «4-й километр» — это пересыльный лагерь, где правили воры. Нужно сказать, что между ворами и «суками» велась непримиримая война. Воры мстили «сукам» за предательство и казнили их мучительной смертью.

«Суки» (бывшие воры, которые помогали начальству лагерей) выявляли воров и применяли не менее каверзные методы: ссучивали их, снимали «воровские погоны», заставляя работать на себя, на лагерное начальство. Когда мы подходили к «4-му километру», у проходной стояла свора расконвоированных воров. Начался «прием». У воров существовала своя «почта». Какими каналами они пользовались, трудно сказать, но всегда знали, сколько и откуда придёт в лагерь. Поэтому воры подготавливались к встрече.

И на сей раз они были хорошо проинформированы и подготовлены. Мне эта встреча напомнила картину В. Сурикова «Утро стрелецкой казни». «Мужиков», к которым принадлежал и я, воры не тронули. После присвоения личных номеров (мой Г-737) нас разместили в бараке, подобном колхозному хлеву, в нем были двух-трехэтажные настилы во всю длину в три ряда. На нарах и полу лежать можно было только на одном боку и поворачиваться по команде.

На пятый день нас — сотни три — погрузили на машины и повезли по трассе. Привезли на рудник «Днепровский»...

На «Днепровском» сформировали строительные бригады, старателей, шахтеров и другие. Я попал в бригаду старателей. Добывали мы касситерит. Норма промывки касситерита была на человека сначала 600 граммов. Норму выполняли с трудом. В течение месяца норма изменялась трижды — от 600 граммов до одного килограмма и потом до одного килограмма 600 граммов. А добывать касситерит становилось все труднее, промывали металл на морозе, в прорубях, в замерзших водоемах. Работали ежедневно по 10–14 часов. Руки пухли, кожа трескалась, образовывались незаживающие раны. Если бригада не выполняла дневную норму, то оставалась без еды и ее не пускали в зону до тех пор, пока все до одного не выполнят норму. Такая работа приводила к истощению, а истощенный человек работает еще хуже. В лагере была большая смертность.

Узнал, что готовится побег, и присоединился к этой группе в последний момент. Убежали. Был сентябрь 1949 года. Уже наступили морозы. Шли мы по сопкам в направлении Охотска, чтобы впоследствии добраться до Москвы. Хотел поехать в Киев. Я верил, что удастся добиться правды. Идти было нелегко, но жаловаться не думали. Ведь была свобода!

В лагере уже прекратили наши поиски. Существовало понятие: «Закон — тайга, прокурор — медведь». Считалось, если со дня побега прошло две недели, за это время бежавшие должны погибнуть от голода или по другой причине. Мы продвигались по сопкам, не заходя в населенные пункты.

Спустились с сопки у Черного Озера. Там нас задержали, крепко избили. Больше всех свирепствовал старшина Александр Белов. В наручниках за спиной бросили на дорогу. Избитые, лежали мы на уже промерзшей дороге до тех пор, пока из «Днепровского» не прибыла машина с охраной и следователем. Бросили нас в кузов грузовой машины, лицом вниз. В кабину сел следователь, и поехали в «Днепровский». Машина выехала на обочину дороги. Старший надзиратель крикнул водителю: «Держи по кочкам!» Так и ехали. Машину подбрасывало, а мы бились лицами о дно кузова. В это время конвойные били нас по пяткам ребрами ножек от табуреток. Они нас били, а мы молчали, и это их бесило больше всего.

Так, избитых, нас привезли на «Днепровский» и сбросили у проходной, где у ворот под охраной мы пролежали сутки для устрашения других заключенных. Потом были следствие и суд. Судили по статье 58-14, квалифицируя «побег с целью контрреволюционного саботажа». После суда меня и других товарищей посадили по одиночным камерам на хлеб и воду. Камера — метр на полтора, с откидной доской для спанья. Карцер был построен специально без крыши, потолок из горбыля скреплен полосовым железом. На две такие одиночные камеры была одна кирпичная печь. Когда ее растопят (топили дровами), камера быстро нагревается, с потолка бежит талая вода — на потолке было до двух метров снега. В камере становится жарко, но дрова быстро прогорают, все замерзает. Стены покрываются льдом, откидная доска примерзает к стене, на ней тоже лед. На другой день все повторяется.

Начальник режима, сержант Дзюбенко, по виду недоросток, а умел так издеваться над заключенными, что с ним мог сравниться только верзила надзиратель Макаров. Дзюбенко отмыкал карцер, брал в руки амбарный замок и старался им ударить в зубы. Макаров накидывал самозахватывающие наручники и ударял по наручникам камнем. Наручники вгрызались в руки, причиняя неимоверную боль. Дзюбенко издевался так и над племянником Фурманова, который был и без того слаб. Его осудили за то, что он требовал диспута со Сталиным.

Я долго сидел в этой камере, переболел цингой.

Помогали товарищи, передавая еду, хвою. Потом отправили в штрафную бригаду...

*От Ивана Паникарова**

Здравствуйте, уважаемый Семен Самуилович!

С колымским приветом к Вам Иван Паникаров из поселка Ягодное.

Недавно я получил две весточки из Москвы от Т. И. Исаевой и З. Д. Марченко. Они пишут, что для книги «Доднесь тяготееет» Вам нужны фотографии и карта лагерей Магаданской области...

Зоя Дмитриевна пишет, что в крайнем случае можно прислать карту близлежащих к Ягодному лагерей. Такую фотографию я Вам высылаю...

На этой карте нанесено примерно около 70 процентов лагерей, располагавшихся на территории нынешнего Ягоднинского района. Здесь указано более 150 лагерных подразделений. Причем места расположения их довольно-таки точные. Дело в том, что еще в 1990 году обратился ко мне начальник районного КГБ (тогда еще этот орган был) и попросил разыскать его деда, который был репрессирован. Ему, кагэбисту, мол, неудобно заниматься этим – внук «врага народа». Написал я более двадцати писем по тем местам, где были лагеря, и через несколько месяцев нашел следы этого человека. За это мне начальник КГБ дал в то время еще секретную карту, вернее, несколько карт лагерных пунктов разных лет, которые я за ночь перевел на кальку.

Некоторые названия сокращены, так как мало места. Я их расшифрую. В центре карты: Хатынский – Хатыннахский (но не Хатыннах), В. Тум. – Верхний Туманный, В. Ат-Ур. и Н. Ат-Ур. – Верхний и Нижний Ат-Урях...

Карта, конечно, сделана небрежно, увы, я не художник и не писарь, поэтому у меня и «пляшут» буквы. Делал ведь для себя, да и еще в 1991 году.

К карте прилагаю страницу из «Северной правды» с картой лагерей. Здесь указаны те лагеря, которые невозможно было поместить на этот листок.

* Иван Александрович Паникаров – сантехник и электросварщик по профессии, живет и работает в поселке Ягодном. В годы репрессий в его семье никто не пострадал. В 1990 году зарегистрировал общество «Поиск незаконно репрессированных». В 1991 году принимал участие в установлении монумента на Серпантинке. 30 октября 1994 года – в День памяти жертв политических репрессий – открыл Музей памяти жертв политических репрессий (поселок Ягодное, ул. Транспортная, 15, кв. 109). Музей организован на личные средства Ивана Паникарова и его жены Галины в купленной ими для этого обычной двухкомнатной квартире. Ведет переписку с бывшими узниками колымских лагерей и их родными. – *Прим. сост.*



Карта-схема расположения лагерей Ягоднинского района Магаданской области. 1930–1950. Рисунок И. Паникарова. 1991 год

ИЗ ПОЧТЫ МАГАДАНСКОГО ОБЩЕСТВА «МЕМОРИАЛ»

* * *

В 1972 году мне пришлось сопровождать груз по малой трассе через перевал Подумай, что расположен за поселком Усть-Омчуг. Когда мы поднялись на перевал, пожилой мужчина, который ехал с нами, показал нам Долину смерти. Долина зажата со всех сторон сопками... Он показал столько черепов, что у меня волосы поднялись на голове. Я заснял это и кладбище в самой долине. Там находилась фабрика смерти, где добывали уран. Чуть дальше — четыре лагеря, два женских и два мужских, и огромное кладбище. Некоторые черепа лежали прямо между холмиками. Я все заснял на пленку, но кто-то среди нас донес на меня в КГБ, и меня забрали, продержали сутки, пока я не отдал пленку. Очень прошу напечатать мое письмо, может, кто откликнется и опишет все зверства, которые творились там.

Кушкарев Б. П., г. Магадан

* * *

Хочу узнать про своих родителей, которых уже нет в живых. Мой отец служил в Кронштадте, был арестован и сослан в 1937 году. Мать осуждена в 1943 году и тоже сослана сроком на десять лет. Похоронены здесь.

Тимашкова Е. А., п. Омсукчан

* * *

Мы, супруги Кобельков Николай Ильич, 1924 года рождения, и Цибина Акулина Кирилловна, 1923 года рождения, сообщаем имена людей, ставших жертвами сталинских репрессий в 1938 году.

Из поселка Таватум Северо-Эвенского района были арестованы:

1. Кобельков Илья Алексеевич — мой отец
2. Кобельков Борис Харламович — родственник отца
3. Кириллов Савва (отчество не помню)

Из поселка Меренга:

4. Корякин Михаил
5. Ковалев Филипп
6. Кобельков Пантелей
7. Сидоров Илья
8. Аруев Василий
9. Торхалев Кирик

10. Цибин Петр
11. Сокоргин Михаил
12. Сидоров Константин
13. Гурин Никита

Все перечисленные были бедные, многодетные. Только в нашей семье Кобельковых было 8 детей. Из них я – самый младший. Из перечисленных только двое могли объясняться по-русски: Корякин Михаил, в то время председатель молодой оленеводческо-рыболовецкой артели «Красный луч», Ковалев Филипп – председатель Вилигинского Совета.

После их ареста все пожилые люди притихли, приуныли. Разговаривали шепотом: «Мол, говорят: Советы, Советы... Неужели у них такой закон после Ленина – сажать в тюрьму бедных людей? Что же будет дальше?» А дальше – война. Все переключились на оборону, и постепенно все это начало забываться, хотя изредка руководящие чины напоминали: «Этот – сын или родственник арестованного, ему нет премии и меньше аванс», или: «Какой корень, такой и отросток», – и разные унижения приходилось терпеть.

Сейчас, читая газеты и слушая радио, узнали, что эвены – тоже жертвы сталинизма потому, что мы до сих пор не знаем, за что их посадили в тюрьму, об их дальнейших судьбах. Увезли – и все, одна природа знает, но, увы, она безмолвна.

Все попытки братьев моих узнать причину ареста и дальнейшую судьбу отца ничего не дали. Работники НКВД и после МВД все обещали узнать и сообщить нам, но до сих пор никто ничего не сообщил. Обидно.

Просим вас эту статью озаглавить словом «Сообщаем». Может, кто-то из родственников, друзей и близких сообщит о судьбах арестованных в 1938 году, в марте и апреле, какие-нибудь подробности.

Кобельков Н. И., Цибина А. К., с. Меренга

* * *

...Я хочу оказать посильную помощь в установлении мест захоронения погибших в период сталищины. Многие из описанного теперь мне было известно давно, так как в период с 1957 по 1971 год я проходил службу в органах МВД. Скажу правду! Вначале я сомневался в достоверности этих событий, так как в МВД попал по путевке комсомола после службы в армии. Но проработав в системе МВД (первые десять лет на острове Сахалин, а затем в Магаданской области, где я увидел бывшие сталинские лагеря), я убедился в достоверности рассказов.

В каких бы лагерях я ни бывал, нигде я не видел кладбищ, хотя возле каждого лагеря велись захоронения. Я заядлый охотник и рыбак. Мне пришлось побывать во многих местах области вплоть до Усть-Неры, Хандыги, Оймякона, на Кулинской трассе, в Сеймчане, Оле и других местах. Часто приходилось находить останки погибших людей, кости, черепа. Если я встречал человеческие останки в небольших количествах, меня это не удивляло. Связисты рассказывали, что вдоль трассы при установке опор нахождение останков не было редкостью. Причем со следами насильственной смерти. Но однажды осенью 1973 года во время поездки на охоту по Кулинской трассе я увидел массовое захоронение людей. Было это так. Мы остановились на ночлег у речки, но вода оказалась мутной. Взяв котелок, я пошел на поиски чистой воды. Увидев заводь со светлой водой, хотел зачерпнуть ее котелком. Но меня насторожил цвет воды в заводи. Она была какого-то светло-молочного цвета. Подойдя ближе, я рассмотрел в воде котлована груды человеческих костей и черепов, зловеще отсвечивающих белизной. Сколько там погибло людей, я не могу сказать, но точно знаю, что не десятки, а более!

Я военный человек, охотник, но и мне стало жутко от увиденного. Тут я окончательно убедился в правдивости рассказов заключенных. Позже мне удалось узнать, что на этом месте стоял лагерный пункт по заготовке древесины. Мне рассказали, что доведенные до отчаяния заключенные подняли бунт, который был подавлен силой оружия, многие были застрелены без суда и следствия. Трупы были зарыты без гробов и оказались на поверхности в результате многолетних паводков.

Чистопашин В. Н., г. Магадан

ИЗ МАТЕРИАЛОВ НИЖНЕКОЛЫМСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА

* * *

В 1930 году в Нижнеколымске был арестован священник Слепцов Иннокентий Гурьевич.

Находясь в тюрьме, он написал письмо-завещание жене и сыну:
«18 августа 1930 года, с. Нижнеколымск.

Дорогая жена Еля и дети! Примите от меня низкий поклон и горячий поцелуй. Милая Еля, прими от меня “спасибо” за все хлопоты и тревоги, перенесенные тобой ради меня. Ты доказала мне свою

привязанность и озабоченность. Благодарю судьбу за то, что я нашел в тебе верного друга, спутника жизни. Не обвиняй меня во всем случившемся. Ты же знаешь истину моей невинности. Не думай, чтобы я тебя забыл. Люблю и буду любить до смерти, где бы я ни находился. И думы, и сердце всегда будут о Вас.



Священник Иннокентий Гурьевич Слепцов, его жена и сын

Детей воспитывать прошу помочь тебе твоих братьев. Передай им мое “спасибо” за ласку и уважение ко мне. Маме низко кланяюсь, благодарю ее за хорошее отношение ко мне как тещи. Коле, Дуне и их детям – привет, а также Мальковым. Куда еду, сообщу. До получения не пиши. О домашности я тебе говорил. Береги себя ради детей.

Сима! Будь счастлив. Будет возможность, учись. У тебя есть в Якутске родные: тетка Александра Софроновна Монастырева, есть братан Фрументий Гаврилович* и еще другие. Вырастешь, не покидай тетю Елю, уважай ее, люби, она тебе заменила твою мать ради меня. Не пришлось мне тебя сделать человеком. Добивайся сам. Хорошему мальчику теперь двери широки, а ради вас, детей, я покинул прежнюю службу.

* Фамилия неразборчива. – Прим. Е. Дьячковой.

Будьте здоровы, целую всех. Любящий вас отец Иннокентий Слепцов. От Кеши всем привет».

Куда его увезли – неизвестно. Писем больше не было. Единственное письмо отца все годы хранил его сын Серафим Иннокентьевич.

Елена Дьячкова

* * *

Слишком поздно прозвучало «Не виновен!» для многих, кто был осужден в годы массовых сталинских репрессий. Волны произвола, прокатившиеся по стране в 30–50-е годы, не обошли стороной и Нижнеколымский район, самый отдаленный в Якутии. Репрессиям подвергались все слои населения.

Свидетельства очевидцев событий тех лет можно найти в письме участника Великой Отечественной войны, уроженца нашего района И. П. Котельникова.

Заключенные были в Амбарчике (устье Колымы при впадении в Восточно-Сибирское море) уже в 1932 году. В 1937 году несколько групп заключенных занимались строительством рыбного порта и ледника на Зеленом Мысе. Среди них находились и политические. Условия содержания людей были жуткие; их плохо кормили, рабочий день длился бесконечно. В охране стояли и уголовники, они открыто издевались над работающими. И не случайно именно тогда заключенные подняли восстание. Оно было подавлено. Семерых зачинщиков увезли в неизвестном направлении, а другие были расстреляны.

Спустя полгода на Зеленом Мысе открылся пионерский лагерь. Известно имя его начальника – Иннокентий Сыроватовский, а заместителем его по хозяйству был как раз И. П. Котельников. Дети, играя в «синих» и «красных», натолкнулись на яму, в которую были сброшены убитые. Об этом сообщил Котельникову пионер Захар Козьмин. Когда наступило время отбоя, обслуживающий персонал направился к яме и закопал ее.

Своими воспоминаниями поделился 80-летний житель села Колымского Гавриил Митрофанович Котельников – участник и очевидец многих событий. Родился Гавриил Митрофанович на заимке Ермолово. Там прошли его детство и юность. Он стал одним из первых комсомольцев и председателем рыболовецкой артели «Красная маевка». Записался добровольцем в красноармейский отряд и добывал остатки белых на Чукотке, в Абые и Верховье. Всех бывших красноармейцев, в том числе и его, привлекли к операции по подавлению восстания заключенных на Зеленом Мысе, которое началось в декаб-

ре 1937 года. В зоне, занятой восставшими, находился 81 человек. После ликвидации восстания одного отпустили – столяра оленсовхоза. Четверых зачинщиков, среди них и начальника лагеря Пуфисова, увезли в Магадан. Остальных 76 человек по приказу сверху расстреляли и сожгли около озера.

Зоя Роббек

ИЗ ПОЧТЫ ОБЩЕСТВА «МЕМОРИАЛ» (п. Усть-Нера, Якутия)

О моем брате Тюленеве Федоре Ивановиче



Место рождения брата – Алтайский край, Белоглазовский район (теперь Шипуновский), село Озерки, колхоз «Путь Ильича».

У мамы Ирины Савельевны было 13 детей, много она горя извела. Помню, как приходили, раскулачивали и нашли деревянную соху, которой пашут землю, ее забрали и расписались. Вскоре урезали огород, потом умирали от болезней и голоду 8 братьев и сестер. Дедушка Тюленев Петр, он меня и научил рано грамоте, до школы читать и писать. Отец наш Иван Петрович работал конюхом. Грозой убило лошадь, ему сказали, завтра на суд, а ночью в 1935 году он умер

от разрыва сердца. Помню, как мама плакала, на руках держа родившегося Василия Ив. Жили бедно, сколочены были нары, послана солома, и укрывались дерюгой.

Заболела сестра Таня тифом и в 16 лет умерла, была активной труженицей, получала премии, и нашей мамы слезы нескончаемы – дедушка Петр умер, похоронили после отца.

Федор Иванович работать стал трактористом и был нам за отца, маме прицепом ногу передавило, она болела. Федор Иванович успевал дома и на тракторе. Федора Ивановича все любили – старые и малые. Работал он с национальностью казахами, и они все были как братья, была у Федора Ивановича и любимая девушка – трактористка Нюся. Он ее взял в жены, но через неделю, помню, осенью 1939 года, забрали его в армию. Мама сильно плакала, и я с ней и все; брат уговаривал меня: «Не плачь, сестренка, я гребелочку тебе привезу». В армии Федор Иванович был шофером, так он писал, и присылал фото с командиром своим Шевченко, и сняты с полевыми цветами из Калининской области. Был номер, я не помню, их воинской части или почты.

В 1941 году началась война и брата Дмитрия Ивановича забрали на фронт сразу. Получили от Федора Ивановича письмо, он писал – что сильное нападение немцев, сидели в окопах, с той поры не было слуху. В деревню начали привозить без ног и рук, везли на телеге, все окружили и плакали, спрашивали, не видали ли ихних родных. Всей деревней плакали. Федору посылали посылки, розыски, ответ был один – без вести пропавший, слезы продолжались.

С фронта встретили мы израненного Дмитрия Ивановича, а от Федора Ивановича не было вестей.

Через 9 лет получаем коротенькое письмо – жив, нахожусь в лагере, искупаю вину. И когда умер Сталин, стали из лагеря освобождать, но выезда не давали. Из лагеря он писал своей жене Нюсе, что если найдется человек – выходи замуж, молодые годы проходят, она так и поступила.

Из лагеря Федор Иванович вышел и решил вызвать со своих алтайских краев себе жену, которая бы пожелала поехать на север, этой судьбой, то есть женой, стала Клавдия Ивановна, и у них родились два сына – Витя и Саша. Федор Иванович приезжал в алтайские края с Клавдией Ивановной неоднократно. С Федорова разговора я слышала, что когда он был в плену в немецком лагере, то с ними был пленный врач, который скрытно, тайком лечил всех: кому кость выправит... как мог, так их и поддерживал; Федор Иванович говорил, что все страшное перетерпел, а тут советский северный лагерь – и очень издевательски относились, и говорил это секретно, шепотом.

Слышала и такой разговор, если бы поехать до Шолохова и все рассказать. «Только Он бы меня понял». Но нелегко было попасть и до Шолохова. Сыны Федора Ивановича выросли, и они тоже думали о том, что их отец запятнан.

В моей памяти Федор Иванович так и остается – комсомолец, патриот, труженик и любимый всеми народами.

Когда Федора Ивановича мы провожали в армию, мне было 8 лет, а в 10 лет моих началась война. Наш труд – для взрослых, стариков и детей – все для фронта. Трудновато и непосильно приходилось, и голод был, но мы, оставшиеся в живых, не ленились, оставались без сна, ловили рыбу бреднем или дерюжкой, чем придется, и кушали; ели всякую съедобную траву, конечно, хотелось хлеба, что говорить, но видели мы его только во сне, загадками. В войну работали, было непосильно – отрывались от школьных занятий, ночью хотелось спать, но с песнями – все для фронта, это нас поднимало, вдохновляло. Была у нас одна корова, и на ней пахали в колхозе поля, машин тогда не было, лошадей также, они были все на фронтах. Я помню, мама была у меня и пожарником (а пожары бывали страшные), за председателя была, а когда пошла на пенсию и уехала со мной в город, ей начислили 12 рублей. Смешно, мне даже одна юрист сказала: зачем ей, ведь вы же получаете. И только перед смертью в 1975 году к пенсии добавили еще 8 рублей.

Это я написала вкратце, если все описать – надо энциклопедию целую.

*Федора Ивановича сестра Тюленева-Нагорная Мария Ивановна
Писала 22 июня 1990 г.*

СССР Министерство МВД
Управление исправительно-трудового лагеря АВ/8
11 августа 1956 г. № 4762517

СПРАВКА

Выдана гр-ну ТЮЛЕНЕВУ ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ – 1921 года рождения, уроженцу с. Озерки, Белоглазовского района, Алтайского края в том, что он был осужден 9 марта 1945 года по ст. 58-1 «б» УК РСФСР на срок 20 лет ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Из лагеря освобожден 25 февраля 1955 года.

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года, судимость и поражение в правах снять.

*Начальник с/отдела подполковник
Ст. инспектор с/отдела*

*(Завгородний)
(Тарасов)*

ИВАН АЛЕКСАХИН



Иван Павлович Алексахин родился в 1908 году в Подольске Московской области в семье рабочего. Член КПСС с 1932 года. Работал на Подольском механическом заводе, затем учился в индустриально-педагогическом институте им. Карла Либкнехта.

С 1935 года работал помощником второго секретаря Московского комитета партии Н. В. Марголина, затем – помощником первого секретаря МК Н. С. Хрущева.

В конце 1937 года был арестован. Осужден Особым совещанием НКВД СССР по литере КРТД на 8 лет лагерей. Срок отбывал на Колыме.

В 1949 году вновь арестован и сослан на вечное поселение в Красноярский край. Вернулся в Москву в 1954 году. Был реабилитирован и восстановлен в партии.

По решению Президиума Верховного Совета СССР с апреля по сентябрь 1956 года в Воркуте работал в комиссии по пересмотру дел заключенных.

После этого работал заместителем управляющего трестом Мособлстрой № 4.

Трагически погиб в 1990 году.

КОЛЫМСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

В августе 1938 года наш грузовик, оставив позади семьсот с лишним километров на северо-запад от Магадана, остановился у болотистого ущелья между двумя высокими сопками недалеко от прииска «Скрытый». Дальше двадцать четыре заключенных, изнуренных и ослабевших от полуторамесячного этапирования из тюрем, двигались своим ходом по болоту и грязи. Отстающих конвой подбадривал штыком под зад. Три километра для большинства вскоре оказались последними в пути.

Первой, да и, пожалуй, последней нашей удачей была встреча с пожилым эком, опытным лекпомом Рыжовым. Он удачно пользовал нас единственным лекарством в его распоряжении – раствором марганцовки. В результате из вновь прибывших в «архив-три» было списано не больше 50 % «поносников», а на других приисках, как потом выяснилось, умирало 90 и 100 % прибывающих, не успевших акклиматизироваться к воде, суровому климату и произволу.

Участок «Линковый» начал работать с мая 1938 года. Вручную кайлили грунт, лотками промывали «сумасшедшее золото» – 6–8 граммов на кубометр грунта, рыли шурфы, канавы, а жилья – никакого для «оргсилы», так в отчетах ГУЛАГа называли заключенных. Не было даже кухни или палаток. За все лето был построен один бревенчатый дом для охраны и вольнонаемного персонала и барак «шизо» – штрафной изолятор для заключенных. Ночевали под открытым небом.

Я вспоминаю второй день. Рано утром выстроили всех заключенных – до нашего приезда сюда уже было привезено 150 человек. Нарядчик по фамилии Сауляк, кривоногий, со зверским обликом, из бытовиков, на разводе любивший выгонять на работу «без последнего», т. е. последний жестоко избивался палкой, громко, подражая диктору радио, провозгласил: «Заключенные! Республика вам даровала жизнь! Честным трудом надо зарабатывать свободу! А теперь слушайте приказ по Западному горно-промышленному управлению: «За контрреволюционный саботаж, вредительство и невыполнение норм выработки расстрелять...» – и дальше фамилии, имена, отчества, статьи, срок... Всего 73 человека. Большинство с прииска «Мальдяк». Этот прииск – большая братская могила. Тогда я услышал фамилию Марголина, прославленного директора авиационного завода в Филях, арестованного в 1936 году, а накануне награжденного орденом Ленина.

После XX партийного съезда от работников КПК при ЦК КПСС я узнал, что в 1937 году для устрашения заключенных по всей системе ГУЛАГа руководством НКВД была дана разверстка расстреливать в лагерях без суда и следствия. На долю Дальстроя была определена цифра — 35 тысяч. Ни больше, ни меньше. И сталинские садисты успешно выполняли эту директиву на протяжении 1938—1939 годов и в начале 40-го года.

Во главе этой кампании на Колыме был специальный уполномоченный — Гаранин. Слово «гаранинщина» живет там до сих пор как символ жестокости и произвола. Первые две зимы мы ночевали в брезентовых палатках. Отопление — две железные бочки. А морозы начинаются в сентябре и заканчиваются только к маю. Часто примерзали волосы, по утрам приходилось отрывать их от обледенелого брезента. Нашими главными спутниками были смертельная усталость и чувство постоянного голода. После 12-часового рабочего дня еще не всегда удавалось быстро попасть в палатку. Надо было подниматься за дровами на сопку. Первые три года нам не давали выходных дней, по большим государственным праздникам — 7 ноября, в Новый год и так далее, когда вольнонаемные отдыхали, — у заключенных лагерная администрация проводила шмон — обыск. С вещами выгоняют на снег и тщательно проверяют всё: каждую бумажку, письмо, железку или тряпку. Наш быт, всю нашу лагерную жизнь отравляли бытовики, а точнее, уголовники, урки. Ибо они являлись опорой лагерной администрации и занимали привилегированное положение, будучи завхозами, старостами, поварами, нарядчиками и даже заведующими складами.

Вспоминаю такую картину. После работы в лагерь не пускали без дров. Надо было подниматься на сопку под конвоем. Дрова служили пропуском в свою тюремную клетку. Мой лагерный друг Василий Тимофеевич Сухоруков, член партии с 1917 года, арестованный в должности военного атташе в Болгарии (о нем упоминает Ф. Раскольников в своих письмах-обвинениях Сталину), умудрялся зимой отдыхать так: быстрее поднимался на сопку, брал бревно, спускался вниз и ложился на него. Пока вся бригада соберется, за полчаса можно было передохнуть. Ведь в лагерь запускали только всей бригадой.

В конце октября начальник МХЧ (материально-хозяйственная часть) отобрал в забое троих человек для помощи плотникам, которые в срочном порядке сооружали ларек для вольнонаемных и охраны, чтобы те могли отовариться к ноябрьским праздникам. В эту тройку попал и я. Работали до глубокой ночи. Рады были находиться без конвоя.

Однажды мы обнаружили троих повесившихся заключенных в этом строящемся ларьке. Все трое, недавно прибывшие, одеты были в демисезонные пальто, уголовники еще не успели украсть. Ветер раскачивал трупы, развевал одежду. Мои напарники со страху побросали доски, которые мы несли, и убежали. Я пошел в лагерь, сообщил о самоубийцах. Староста меня же заставил снять их и положить в стороне, под лиственницу. Я узнал знакомого по забою, из Московского радиокомитета, который несколько дней назад был в страшном отчаянии, тосковал по семье, особенно по двум дочерям, и все твердил: «Я не хочу жить...» Видимо, остальные поддались его влиянию...

В ноябре мы уже привыкли к палаткам. Стояли 40-градусные морозы. Не только столовая, даже кухня еще не была построена. На открытом воздухе в огромных котлах варили пищу и тут же раздавали. Мисок, ложек и котелков не хватало. Подходил «доходяга» с маленькой консервной банкой. Мордатый повар плеснет ему в банку: «Отходи...» — а когда тот просит добавки, рявкнет: «Прокурор добавит», — да еще поварешкой по лбу заедет. Кругом крики: «Отдай пайку! Украли пайку!» — это урки отнимали хлеб у «фитилей». А в это время раздается команда: «Становись!» Выгоняли на работу. При таких морозах, скверном питании, работая кайлом и лопатой, далеко не в зимней одежде, нормальные, работающие заключенные через несколько дней превращались в «доходяг» и быстро сходили в могилу.

С «легкой руки» начальника Дальстроя Павлова* начиная с 1937 года на Колыме царствовали произвол и беззаконие. «Врагов народа» не только держали в страхе, но жестокость в обращении была признаком хорошего тона и лагерной администрации, и военизированной охраны, и вольнонаемного персонала. Павлов имел «привычку» лично в забое стрелять в заключенных. Так было у нас на прииске «Линковый» и в других местах.

Репрессивная машина НКВД работала исправно и методично. Из Магадана регулярно подвозили новые партии заключенных. Мертвецов не успевали хоронить, потому что хорошую забойную бригаду не поставишь на рытье могил. Годовой план по вскрыше торфов не выполнялся. А это главное для руководства прииска. Рыть могилы заставляли «доходяг» и освобожденных по болезни, но они делали это без энтузиазма. Знали, что через несколько дней сами будут лежать в этой вечной мерзлоте. Тогда администрация нашла выход — покойников стали складывать штабелями в верхней пустующей палатке, в которой не было железных печек. В декабре морозы усилились под 50 градусов, а для освобождения от наружных работ нужно —

* К. А. Павлов (1895—1957), покончил жизнь самоубийством. — *Прим. ред.*

51 градус. Я похудел, ослаб, стал задумываться, как бы сделать передышку в сильные морозы, и надумал: перед разводом на работу спрятаюсь в верхней палатке, среди трупов, надеясь, что нарядчики не найдут. Это общество мне пришлось по душе, я блаженствовал, так как через час незаметно пробрался в палатку и, как будто бы освобожденный по болезни, отлеживался на койке. Три дня я благодарил судьбу, потому что состав бригады был нестабильный, да и бригадиры часто менялись. На четвертый день я спрятался под вчерашнюю кучу покойников, и это меня сгубило. Каптер и нарядчик пришли проверять их обмундирование и обнаружили «саботажника». Последовал приказ по лагерю и наказание: «Трое суток в “шизо”, с выводом на работу в штрафной роте». Это означало – после 12-часовой работы в забое на ночь в барак «шизо», где содержались штрафники и подследственные урки за новые преступления в лагере. В бараке стены так проконопачены, что ночью были видны звезды, а печки не положено. Выручила меня находчивость. После отбоя зашел в барак с вопросом: – Кто староста?

Указали на двухметрового детину в тельняшке, руки, грудь в наколках: «Ася, Тася, Колыма. За измену нет пощады».

– Клади меня рядом. Буду романы тискать, пока не уснете.

И «тискал» часа полтора – «Собаку Баскервилей», «Любовь к жизни» Джека Лондона, «Госпожу Бовари» Флобера и другие. Утром из девятнадцати моих слушателей один был мертв, второго (оба лежали крайними у стен) отнесли в санчасть – так заоченел, что не мог подняться.

На второй вечер, прежде чем идти в «шизо», у завхоза выпросил ватные брюки и телогрейку, заранее насобирав крепких щепок. Завхоз сказал: «Щели затыкайте, только чтобы не видела ВОХРа. Это у них будет считаться нарушением режима, и виновного накажут».

Когда заперли нас на замок, прибавив троих новичков, многие отказывались конопатить. «Все равно подохнем не сегодня-завтра». Я сказал старосте:

– Мы с вами люди, а те, которые морозят нас, – нелюди. Давайте докажем, что мы не только не хотим умирать, но что мы умнее их.

Староста тут же дал команду, началась работа. Через полчаса конопатили все дыры, стало теплее. Опять стали слушать «романы». Староста, бывалый лагерник, второй раз уже на Колыме, осужденный не один раз. Утром на третий день сказал мне:

– Не перезимуешь – дойдешь. Пробивайся в подсобные цеха.

На исходе был декабрь 1938 года. Писем никто не получал. «Пароходы не ходят», – говорили нам. Я по-прежнему работал в забойной

бригаде на вскрыше торфов. Чтобы обнаружить золотоносные пески для промывки их летом, надо убрать в отвалы тысячи кубометров грунта. А его после взрыва нужно разрыхлить, погрузить в короба, прицепить к тросу, который подтащит их к отвалу. Замерзали. Мечтали отогреть руки, когда несли из кузницы горячие ломы. В это время у меня разыгрался общий фурункулез. Второй месяц одновременно было 16–20 чирьев по всему телу, постоянно повышенная температура, но лекпом Сванидзе (один из дальних родственников первой жены Сталина) освобождения не давал, так как лимит – только двадцать больных.

«Из-за тебя я в забой не пойду», – говорил каждому. Освобождал только с воспалением легких и распухших, почерневших кандидатов в «архив-три».

Однажды по забою проходил начальник МХЧ. Я кинулся к нему – проситься на работу. Георгий Михайлович Можайский, мой спаситель, внимательно посмотрел на меня – видимо, вспомнил, что я строил ларек. Сказал мне:

– А что? Возьму на перевалку сторожем. Но круглосуточно. Вижу – не обманешь и не продашь.

Записал мои данные. Трое суток шло оформление – мешала тяжелая статья: КРТД, 8 лет и ТФТ (тяжелый физический труд).

КРТД – это контрреволюционная троцкистская деятельность – стандартная формулировка Особого совещания НКВД СССР, приклеенная миллионам советских людей.

Итак, я очутился на перевалочной базе прииска «Скрытый», в фанерном ящике, размером 3 × 2 × 2 м, с дверью, укороченной сверху для обзора местности. Я должен был охранять и отвечать за штабеля муки, крупы, горы разных ящиков с обмундированием, техникой и инструментами. Туда же мне приносили сухой паек. Главным сокровищем для меня была большая сварная железная печь. Топилась она сутки напролет, потому что кругом тайга, да еще сухостойная, а топор и пила всегда были при мне. Я считал тогда себя счастливейшим человеком в мире, если бы получить еще весточку от родных...

Однажды, разгружая ящик со стеклом, я был поражен – на меня смотрел мой 60-летний отец. Больше года я не видел себя в зеркало и тут понял, почему меня все блатные называют старик. За один год я постарел на несколько десятков лет, а было мне только двадцать девять.

В январе 1939 года, когда стояли морозы под 60 градусов, однажды забегает шофер погреться и говорит, что везет в Берелех груз особой важности – 29 трупов заключенных. Целая бригада в забое отказалась

от работы и не двигалась, все до единого замерзли. Когда сообщили об этом начальству в Заплаг, те потребовали доставить им трупы. Для чего — никто не знал, и до сих пор непонятно. Я не поверил шоферу и пошел смотреть. Действительно, навалом лежат полураздетые мертвяки. Многие со следами чирьев. Кости, обтянутые синей кожей. Кузов нагружен с верхом и прикрыт брезентом. На второй день другой шофер, ехавший из Берелеха, сказал мне, что на трассе стоит «раскученная» машина, километров десять отсюда, наполненная трупами, занесенная снегом. После выяснилось: мотор заглох, там часто засорялся карбюратор, шофер не справился, отморозил пальцы и убежал от машины. Больше трех недель стояла эта машина на трассе, пока не полегчали морозы.

Никаких личных вещей у меня не было. Растащили уголовники. Единственная нательная рубашка под гимнастеркой, выданная в пересыльной тюрьме Владивостока в августе 1938 года, кишмя кишела вшами, а швы на рубашке были облеплены гнидами. Как они трещали над печкой-спасительницей, никогда не забуду!

В январе на приiske открылась наконец-то баня. Вот сколько я не был в бане! Это событие памятно мне потому, что ночью по дороге на прииск я повстречал четыре подводы, груженные трупами. Спросил возчика:

— Почему ночью возите?

Он ответил:

— Начали с вечера. Вот третью ходку делаем. Много их накопилось за два месяца. Днем неудобно возить. Но еще на неделю хватит.

Пока я жил в этом фанерном ящике, с января по апрель, я видел и слышал многое, а про прииск Мальдяк — большую братскую могилу (он был самый большой в Западном управлении), где ежедневно гибли заключенные десятками, сказали нам, когда мы приезжали туда за железными круглыми печками для «вольняшек» нашего прииска «Скрытый».

Конец моей райской жизни пришел в апреле, когда начальник режима потребовал (к сожалению, забыл его фамилию, он недолго был на приiske) заменить ему кирзовые сапоги на новые. Я сказал ему:

— У меня нет права распечатывать ящики. Я ведь только сторож приискового имущества.

Он закричал:

— Ты, мразь, будешь учить меня! Меня товарищи Сталин и Берия послали сюда наводить порядок!

После такого аргумента я твердо ответил, что в этих сапогах, указывая на его обувь, тоже можно уменьшить смертность на приiske,

если захотеть и если уважать товарища Сталина. Повернулся и ушел от него в свою будку. Мне этого не простили. Через два дня я опять был в забое.

Вскоре у меня открылась цинга, потом пеллагра. Появились безбелковые отеки — ткнешь пальцем в ногу, дырка остается. Помню, цинготников в бараке лежало человек восемьдесят, но лечили только настоем кедрового стланика. На вкус — мерзость страшная, но помогала. Как-то пришел нарядчик набирать оргсилу из числа больных для стройцеха. Я взбодрился, быстренько закрутил ноги обмотками поверх штанов, размахивая руками, уверял, что потомственный плотник. Отец действительно знал это ремесло. «Могу пилить, строгать. Буду выполнять любую работу». В числе других шестерых «доходяг» попал в стройцех и я. Через несколько недель избавился от некоторых болячек, был душевный подъем, работал старательно, быстро приходя в норму. По-моему, в учебнике Кончаловского сказано, что цинга есть результат физического и морального страдания человека. Судьба моя резко изменилась, так как начальник стройцеха Виктор Павлович Меженинов, окончивший в свое время МВТУ, был неплохим человеком. Не терпел лжи, обмана, махинаций. Вскоре он назначил меня нормировщиком взамен бытовика, замешанного в грязных делах и поборах с заключенных.

Никогда не забуду истребления «тюрзаков». На наш прииск, на два его участка, весной 1940 года привезли более 500 «тюрзаков», осужденных, главным образом, судами Военной коллегии Верховного суда к тюремному заключению на большие сроки: 15—20—25 лет. От лагерного начальства мы узнали, что тюрьмы переполнены и целый парход этих заключенных привезли на Колыму. На территории лагеря «тюрзакам» создали такой режим, при котором через два с половиной года от 500 с лишним человек осталось две бригады — 50—60 человек.

Двойная колючая проволока, на ночь бараки запираются, никакого общения с другими заключенными и вольнонаемными, 12-часовой рабочий день. Бригада под строжайшим конвоем следует к месту работы — в шахту. Шаг в сторону считается попыткой к побегу. Применяется оружие. Кстати, на соседнем прииске после войны так называемые «власовцы» частенько использовали это, чтобы покончить с жизнью. Но у тех режим был еще жестче. А нормы выработки летом на золотых приисках были такие: чтобы заработать пайку в 800 граммов, нужно от 8 до 11 кубометров грунта на вскрыше торфов средней тяжести разрыхлить кайлом, погрузить на тачку, отвезти на расстояние 15—20 метров, высыпать в отвал или на транспортную ленту.

А что за народ был эти «тюряки»? Оказалось, главным образом, номенклатура ЦК партии, директора крупных заводов, начальники главных управлений наркоматов, железных дорог, вторые и третьи секретари обкомов, заместители председателей облисполкомов, директора научных институтов, областные прокуроры и многие другие.

Стоял морозный февраль 1940 года. В стройцехе круглосуточно работала циркулярная пила. Лиственница — порода твердая, трудно было организовать продольную распиловку досок вручную — у заключенных не хватало сил, да и зубья сразу ломались на 40-градусном морозе, циркулярка была выходом из положения. Как десятник стройцеха, я ночевал за зоной при столярной мастерской. Ночью, как только пила переставала визжать, я тут же просыпался, выбегал наружу — выяснять причину остановки двигателя.

Однажды остановилась циркулярка, я вышел устранить помеху, а когда вернулся в конторку — увидел взволнованного, с трясущимися руками сторожа Смирнова; он, указывая на мешок, чем-то наполовину наполненный, сказал: «Посмотри».

Я раскрыл и застыл от ужаса: человеческая худосочная ляжка, темно-грязного цвета, со следами чирьев, а под ней проглядывалась голова — было видно ухо, кусок щеки, короткие седые волосы... Первым делом дал сторожу пощечину со словами:

— Ты же профессиональный вор, у тебя сто шестьдесят вторая статья — право на льготную жизнь, зачем это здесь? Не думаю, чтобы ты ходил на сопку, куда сваливают трупы. А если сейчас пойдет дежурный боец ВОХРы — я должен отвечать?!

Смирнов мне рассказал:

— С вечера, когда делал обход территории, увидел на верхней дороге «доходягу» с мешком на плече. Я побежал к нему наперерез, он от меня, когда стал догонять, он бросил мешок и побежал дальше к лагерю. Я пощупал — мясо, обрадовался, думал, что он украл на базе. Я принес сюда, положил под скамейку. Вот только собрался жарить, ты выскочил к мотору, а как только увидел это «мясо», чуть в обморок не упал.

Конечно, тот «доходяга» расчленил это мороженое «мясо» для еды.

Смирнова с этим мешком я выгнал из конторки, предварительно погасив наружное освещение и сказав, чтобы отнес свою «добычу» в русло ручья, подальше от стройцеха.

А вот еще одно воспоминание. С соседнего участка, через сопку, раз в месяц бригада «тюряков» (руководил ею комдив Петров), приходила в стройцех за коробами тачек. Наступила война. Дней

через десять пришла его бригада. Я был десятником и нормировщиком одновременно. Работали круглыми сутками. Петров сказал мне:

— Мои люди мечтают, когда после работы погонят в стройцах с тачками.

— Мне непонятно.

— По дороге две помойки у домов вольнонаемных. Конвой бесилен отогнать, и некоторым удастся добыть селедочную головку или корку хлеба. Кидаются в драку. Вот что такое голод. А у нас ведь все высший комсостав. Прокуроры, директора...

Тут же Петров попросил, чтобы вошел бывший полковник Рылов из Наркомата обороны. Я сказал: «Зови». Тот зашел. Среднего роста, худой, истощенный человек, с большими выразительными глазами. И сразу вопрос задает:

— Что пишет «Советская Колыма» о войне?

Заключенным запрещалось читать эту газету, но накануне мне давал ее знакомый вольнонаемный прораб.

— Что, немцы на подступах к Брянску или еще далеко? — спросил Рылов.

Я ответил что знал по последней сводке. А он тут же говорит:

— Если немцы захватят Брянск, это невосполнимая потеря для страны. Там резервы всего снаряжения для Западного фронта. Чтобы вывезти, надо, чтобы сотня эшелонов работала трое суток. Это ужас, если останется у немцев. Где бои? На Северном фронте, Украинском как идут дела? Что под Ленинградом?

Тут же называл командующих немецких маршалов — Гудериана, Манштейна и еще пять-шесть фамилий. И давал им характеристики, и как будут дальше разворачиваться события, где будут наступать, где они задержатся. Мы думали — рисуется. Тут же слушал наш счетовод Саша Хрипко, он расплакался после, когда ушли эти «тюряки». Мы ежедневно проверяли сводки с фронтов, и все сходилось, как предсказывал Рылов.

Вот такие военные специалисты гнили заживо в лагерях. Я еще успел его спросить:

— А как будет с Москвой?

Он ответил:

— Если дадут права Жукову и вызовут его под Москву, Гитлер споткнется, тем более что впереди зима.

Мы запомнили эти слова, которые сбылись.

Я сунул ему в карман пачку махорки и кусок хлеба.

В первую военную зиму вместе с сотнями других полковника Рылова не стало.

Память воскресила вопиющие факты издевательства из жизни «тюрзаков». Летом 1941 года вольнонаемный молодой горный инженер начальник участка Колчин энергично командовал бригадой скелетов, которые еле доплелись до забоя. Он требовал, чтобы они перенесли на себе в сторону метров на двадцать цельнометаллическую трубу длиной не меньше десяти метров, в две тонны весом. Я проходил мимо, видел и слышал, как он руководил подъемом. Все эти двадцать-тридцать человек, целая бригада, терпеливо молчали, толпились вокруг трубы, правда, один конец немного поднимался от земли, а дальше дело не шло. Часа через два я возвращался обратно и увидел ту же картину, только два человека с поврежденными ногами лежали рядом. Я крикнул Колчину:

— На базе стоит трактор на ходу. Нечего людей мучить.

Услышал в ответ:

— Без тебя не знаем. Проваливай отсюда, благодетель, пока в карцер не попал.

Откуда у него было столько жестокости и ненависти к этим несчастным, безмолвным, ко всему безучастным, безразличным людям? Сколько я помнил, эта труба оставалась лежать на том же месте.

В первые дни, когда началась война, лагерная администрация явно не знала, какое должно быть обращение с заключенными. Многолетняя пропаганда: мы «враги народа» — значит, сторонники фашизма, поэтому следует усилить и надзор, и режим, но в воздухе витала неопределенность, ждали распоряжений, и они появились. В конце первой недели рано утром мне повстречался боец военизированной охраны — он знал меня, я с ним поздоровался, и, когда мы уже разминулись, я услышал:

— Алексахин. — Вижу, он оглянулся по сторонам, вблизи никого не было. — Сегодня на лесозаготовки не ходи.

— А что такое? Мне надо остатки снимать — конец месяца, наряды надо закрывать.

— Я сказал, не ходи, — и опять беспокойно оглянулся.

Я запомнил выражение его лица...

На мое счастье, на ближайшей шахте случилась небольшая авария, и я задержался на несколько часов, а когда собрался на лесозаготовки, было уже поздно. Я все думал, почему не надо ходить в тайгу, за четыре километра от прииска.

Перед вечером с соседнего участка пришел нормировщик и сообщил потрясающую новость: охрана застрелила механика участка, имевшего свободное хождение, «за нарушение режима». Он шел

ремонттировать лебедку, расположенную в десяти метрах от забоя. Охрана раньше, хорошо зная его в лицо, не обращала на это внимания.

Когда в конце дня пришел наш вестовой Мамедов с лесозаготовок и принес ежечдневную рапортничку, я от него узнал, что на 3-м километре вохровец спросил у него, нахожусь ли я на лесозаготовках.

Утром стало известно, что ночью в бараке уголовниками был задушен известный всему прииску бригадир забойной бригады, всегда выполнявшей план. Неоднократно до этого бригаде посвящались «молнии».

Через день вольнонаемный главный электрик Маталин, ездивший на соседний прииск «Стахановец», рассказал мне по секрету, что там были застрелены охраной также за «нарушение режима» двое заключенных, имевших право на свободное передвижение: маркшейдер и механик — была директива «на всякий случай» убрать заключенных, имевших авторитет как среди эзков, так и среди вольных.

Если бы не предупреждение охранника, я тоже мог бы быть жертвой произвола, без суда и следствия, на всякий случай.

Когда через неделю я благодарил его за свое спасение, спросил в лоб:

— Кто у вас арестован?

Он замялся а потом тихо произнес:

— Старший брат — председатель сельсовета. Я не верю, что он «враг народа», только вы никому не говорите, мне худо будет за сокрытие.

В начале войны ужесточился режим, снизили нормы питания заключенным, выросла смертность. Правда, зимой пришлось нормы увеличить, так как рабочей силы не хватало и под угрозой была добыча золота, а Колыма в годы войны давала 110 тонн золота.

Все поставки по ленд-лизу оплачивались Америке колымским золотом.

В 1956 году по заданию Никиты Сергеевича Хрущева было направлено 84 комиссии в подразделения ГУЛАГа по пересмотру дел осужденных в годы культа личности Сталина. В 52 комиссии были включены реабилитированные члены партии, отсидевшие по 17 лет. В одной из таких комиссий, только на Воркуте, пришлось работать и мне с апреля по сентябрь 1956 года*.

* По решению Президиума Верховного Совета СССР были созданы комиссии по пересмотру дел осужденных. Формировались эти комиссии так, чтобы их члены — бывшие заключенные — не попали в управления тех лагерей, где еще недавно отбывали срок. Об этом мне рассказывал Иван Павлович Алексахин. — *Прим. сост.*

Я узнал, что произвол на Воркуте не отличался от колымского. Однажды мне позвонил помощник председателя Комитета партийного контроля (КПК) Н. М. Шверника А. И. Кузнецов и сообщил, что Шверник интересуется нарушениями закона и произволом в Дальстрое и просит, чтобы я за два дня нарисовал картину тех лет в Дальстрое. Я пригласил старых членов партии, которые тоже отбывали «наказание» на Колыме, — В. Т. Сухорукова и Н. А. Крейцберга. Мы составили заявление в КПК на четырех страницах о произволе на золотых приисках и фактах, которые нам были известны. Принес я это заявление. Кузнецов прочитал, увидел три подписи: «Не пойдет, это коллективка! Так не принято. Надо за одной подписью». И пришлось мне переписать и оставить за одной своей подписью. Через день звонок Кузнецова:

— Показывали твое заявление Швернику, сказал: «Страшные факты, волосы становятся дыбом. Покажите Никишову, он был начальником Дальстроя с 1940 по 1949 годы*, пусть даст объяснения».

Через два дня снова звонок Кузнецова:

— Показал Никишову, он прочитал и спокойно заявил: «Все, что тут написано, — капля в море». И рассказал, как Берия требовал от него выполнения плана добычи золота любой ценой. «Заклученных не жалеет. Пока идут пароходы, “рабсилой” всегда будешь обеспечен».

На этом «расследование» моего письма в КПК было закончено, хотя, по словам Кузнецова, Никишов написал несколько страниц объяснений, и они находятся в КПК.

Мой друг Николай Иванович Дедков, работавший в Комиссии по пересмотру дел осужденных на Колыме, хотя отбывал срок в Воркуте, сообщил, что они установили цифру: на Колыме погибло 700 тысяч заключенных.

* И. Ф. Никишов (1894–1958) — начальник Дальстроя с 11.10.39 по 24.12.48. — *Прим. ред.*

ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ КОЗЛОВА



О МОЕМ ОТЦЕ

Николай Владимирович Козлов (1913—1975) — фронтовик, политработник, в послевоенные годы работал на Колыме главным редактором Магаданского книжного издательства, был секретарем Магаданского отделения Союза писателей. Для своего документального романа «Хранить вечно», в центре которого — Эдуард Берзин, первый начальник треста Дальстрой, мой отец использовал письменные и устные свидетельства очевидцев событий. Обращался он и к бывшим работникам НКВД, в частности следователям, обещая не раскрывать в романе их имен, если они расскажут ему правду.

Александр Козлов

ИЗ ПИСЬМА БЫВШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ

...В 1936 году содержащиеся в Магадане и на периферии осужденные к разным срокам изоляции троцкисты, зиновьевцы и бухаринцы (так их именовали), как по дирижерской палочке организовали

в местах их содержания волынки, открытые антисоветские выступления, составляли и распространяли самые погромные (по тем временам) листовки-прокламации, требуя своего освобождения, требуя присылки из Москвы прокурора и предоставления им свободы передвижения, изменения рациона питания и т. д. и т. п. Попытки провести с ними беседы, которые предпринимались руководителями политотдела Дальстроя и УНКВД, с тем чтобы прекратить эти выступления, ни к чему не приводили. А когда по указанию НКВД СССР оперативные работники начали изъятие из массы троцкистов зачинщиков, инициаторов, руководителей выступлений, они ответили устройством в бараках баррикад и объявлением массовых голодовок.

Среди работников чекистского аппарата сперва возникло некоторое замешательство, так как все мы воспитывались на работе и в быту в рамках строгого соблюдения социалистической законности и никто из нас и не мог подумать, даже представить себе, что вскоре все наши представления о своих служебных правах и обязанностях перевернутся вверх дном. Каждое оперативное мероприятие, связанное с этими событиями, докладывалось Э. П. Берзину, который был, помимо всего, старшим оперативным руководителем, уполномоченным Наркомвнудела на Колыме. При этом надо иметь в виду, что фактически во главе чекистского аппарата тогда стоял заключенный Горин-Лундин А. С., осужденный Особым совещанием НКВД к 5 годам ИТЛ за служебные упущения, приведшие к гибели С. М. Кирова. Этот, несомненно, умный, хитрый и культурный по своему содержанию человек держал бразды правления в своих руках, и тон всей работе в аппарате задавал он и его соратники по ПП ОГПУ* Ленинграда: Мосевич А. А. (тоже осужденный по делу убийства С. М. Кирова), занимавший пост начальника секретно-политического отдела УНКВД, и Лобов П. А. (тоже осужденный по тому же делу), являвшийся начальником оперода УНКВД. Все они пользовались, как старые и опытные чекисты, всеобщим нашим уважением, и, не кривя душой, можно сказать, что многому здоровому и хорошему в работе мы учились у них. Что касается начальника УНКВД, в роли которого находился очень добрый, простодушный, но совсем недалекий и малограмотный коммунист Карл Карлович Шель (которого все мы любили за простоту и демократичность), то этот наш Карл Карлович фактически ничего не решал. Он был почетным руководителем, если, конечно, так можно определить его роль. (В 1937 году Шель

* Полномочное представительство Объединенного государственного политического управления при Совете народных комиссаров СССР.

был освобожден от должности и с Колымы уехал. Я встретился с ним в июле 1938 года на Крымской площади в Москве во время своего отпуска, и мы долго и тепло о многом с ним беседовали. Он был в форменной одежде, в гимнастерке с петлицами и рассказывал, что работает в каком-то периферийном ИТЛ и очень доволен своей судьбой.)

Так вот, продолжаю об обстановке на Колыме и нашем аппарате. Зачинщиков — организаторов волюнок среди троцкистов удалось изолировать от остальной массы, а затем провести расследование и передать суду. Всеми этими мероприятиями руководили Горин-Лундин, Мосевич, Лобов, покойный Н. А. Должков (зам. начальника СПО*, застрелился в 1938 году) и Бондаренко П. С., быв. нач. эконом. отдела, впоследствии переименованного в контрразведывательный отдел. Судила троцкистов выездная сессия спецсуда в Магадане. Несколько человек были приговорены к расстрелу и расстреляны, т. к. ходатайства о помиловании были отклонены. Среди осужденных, помню, были бывший ответственный редактор газеты «Омская правда», бывший одесский областной прокурор, бывший партийный секретарь Института красной профессуры и др. Фамилий их не запомнил. Помню, как нас, несколько человек молодых чекистов, вызвали к начальнику управления и сказали, что мы будем сопровождать осужденных от тюрьмы до места казни и что с нами поедут прокурор, председатель суда и врач Вартминский. И все, что произошло потом, произвело на меня и на моих товарищей такое сильное впечатление, что несколько дней лично я ходил словно в тумане и передо мной проходила вереница осужденных троцкистских фанатиков, бесстрашно уходивших из жизни со своими лозунгами на устах.

ПИСАТЕЛЮ КОЗЛОВУ НИКОЛАЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ

Николай Владимирович, в 1961 году Вы мне задали несколько вопросов о том, когда, при каком начальнике Управления НКВД печатался большой клеветнический материал на Эдуарда Петровича Берзина, посланный в Москву, было это до ареста Эдуарда Петровича или после его ареста. Я знаю только одно, материал печатался для Москвы.

* Секретно-политический отдел.

И вот я долго вспоминала, как лучше ответить на эти вопросы. Я очень уважала Эдуарда Петровича, и мне тоже хочется помочь, чтобы были установлены все, кто способствовал его гибели.

Правда, во многом мне изменяет память, мне уже скоро будет 55 лет, не помню я ни даты, ни года, не помню многих людей, очень много прошло лет, но мне хочется Вам помочь в разборе этого дела.

Вот что я могу Вам сказать: в начале 1937 года начальник УНКВД Горин-Лундин взял меня с собой в пос. Оротукан, в то время много было арестов, и я поехала печатать обвинительные заключения. По приезде обратно в Магадан меня посадили печатать совершенно секретный материал в отдельный кабинет.

Диктовал мне заключенный, который мне говорил, что он до ареста был доктор исторических наук, писал труды, по которым учились в вузах, а теперь враг народа и пишет другой труд на человека, на которого совсем и писать бы не следовало. Будет время, и вы узнаете, девушка, всю правду. Мне, Николай Владимирович, в то время были непонятны его намеки. Понятно было одно, что пишу я материал на такого хорошего человека, которого все любят и отзываются о нем как о родном отце. Эдуард Петрович на Колыме — главный начальник, ему подчиняется и Горин-Лундин, а он пишет донос на Эдуарда Петровича.

Эдуарда Петровича я знала как отзывчивого и справедливого человека, потому что он несколько раз находил время зайти к нам в машинное бюро НКВД и жалел нас, машинисток, находил для нас теплое слово, что приходится нам так много работать в тяжелых условиях.

Беда моя в том, что я не имею среднего образования, поэтому во многом не разбиралась, а как бы мне это сейчас помогло для разбора дела. Знаю и знала, что материал клеветнический, шпионский, политический.

Человек, который мне диктовал, материал брал в большинстве случаев из своей головы, иногда только заглядывал в какие-то свои записи. Работали мы с ним больше месяца и исписали 400, а может, и 500 страниц, точно сказать не могу.

Помню, в этом материале упоминались иностранные фамилии, упоминалась фамилия Калныч или Калнынь, упоминалось что-то насчет того, что Эдуард Петрович и еще другие (фамилии не помню) якобы отправляли в Японию золото ящиками, которые грузились на пароход.

Вот это я почему-то помню, и мне даже тогда не вязалось в моей голове с личностью Эдуарда Петровича. Но об этом мне было запрещено даже думать про себя, что я пишу. И я писала, писала.

Человек этот был небольшого роста, очень худой, борода козлиная, был такой, как бы сказать — вертлявый, диктовал, а сам бегал из угла в угол, а комнатка была крохотная, быстро уставал. Помню, даже сказал, что остается ему жить столько, как кончим печатать. Материал остался неоконченным, мне сказали, что я больше там работать не буду, и я перешла в машинное бюро. Да, он сказал мне свою фамилию, я точно сейчас не помню, то ли Семенов, то ли Степанов, фамилия от русского имени.

Николай Владимирович, что еще нужно сказать, вот и не знаю.

*Максимова Александра Григорьевна,
бывшая машинистка Управления НКВД
по Колымскому краю*

8.1.64 г. Магадан

ЮЛИЯ АКСЕЛЬ



Юлия Аксель (родилась 21 августа 1936 года) – дочь младшего сына Л. Д. Троцкого Сергея Седова. Ее отец ушел из дома, когда семья Троцкого еще жила в Кремле. Он заявил, что ему «противна политика», и погрузился в науку. Отказался последовать в 1929 году за отцом в изгнание и остался в СССР, где как «сын Троцкого» был обречен.

В 1935 году Сергея Седова арестовывают и высылают в Красноярский край, откуда через год он был увезен на Лубянку и вскоре расстрелян.

В то же время Генриэтта Рубинштейн, его жена, арестована и отправлена в колымские лагеря. Юлию воспитывали дед и бабушка со стороны матери. В 1951 году их вместе с внучкой сослали в Сибирь.

Отбыв лагерный срок, мать Юлии оказалась в ссылке на Колыме, и ее второй муж, инженер Аллан Мерк, смог привезти туда Юлию. В дальнейшем она окончила Московский химико-технологический институт имени Менделеева.

В 1979 году Юлия Аксель поселилась в США.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Моя мать, имевшая после десяти лет лагеря пять лет поражения в правах, вынуждена была тогда жить в поселке Ягодное, что находится в 542 километрах на север от Магадана.

За мной из Ягодного по пути в Таллин захватили отчим, о котором мы знали только по письмам матери. Это был его первый отпуск после многих лет лагеря, и чувствовал себя Аллан на «материке» не слишком уверенно. Тем более он опасался брать меня с собой в Москву, где мне предстояло ожидать его возвращения из Таллина, чтобы потом вместе лететь на Колыму. И хотя я по малолетству не была обязана, как бабушка и дедушка, каждую декаду отмечаться в органах Усть-Тарки, Аллан упросил деда сходить туда за разрешением на мой отъезд. Из-за этого чуть не сорвалось все предприятие.

– Кто отец ребенка? – рявкнул на деда кагебист.

– Не знаю, – простодушно слукавил дед.

Самое странное, что это простодушие спасло положение. Озадаченный необычностью просьбы (ведь статьи у меня не было), кагебист не сказал ни «да», ни «нет». Но теперь, в случае чего, уже можно было сослаться на этот разговор – мол, из отъезда девочки секрета не делали. Как бы там ни было, на следующий день мы с Алланом укатили в Омск, а оттуда в Москву.

...Не буду здесь рассказывать о нашем путешествии, таком далеком и безрадостном. Скажу только, что последние полтысячи километров мы проделали на грузовой машине уже в сентябре, что если Магадан встретил нас грязью и сырым ветром с Охотского моря, то, когда мы добрались до Ягодного, там уже царил зима.

Отношения мои с матерью не задалась сразу. Поначалу из-за того, что я не могла называть ее «мама». Не получалось у меня. Этого слова и поныне нет в моем лексиконе. Ведь я выросла без матери – мне было чуть больше года, когда ее арестовали. Естественно, что там, в Ягодном, спустя столько времени, она показалась мне совсем чужой. Любопытно, что даже через десяток лет, уже сама обзаведясь сыном, я неизменно удивлялась, слыша от него это слово, обращенное ко мне. И даже теперь в письмах к нему я с трудом вывожу в конце «мама». Мне куда легче подписаться «Юля».

Заочно я всегда именовала свою мать Гитка, как обычно называла ее бабушка (испорченное от Гиты, Генриэтты). Но, приехав в Ягодное, я однажды в разговоре с кем-то машинально назвала ее так при ней. Разразился скандал. Да, душевности между нами не было.

Рядом с матерью я только острее чувствовала разлуку с бабушкой. И даже теперь, когда бабушки уже много лет нет на свете, я все еще тяжело переживаю эту утрату.

В своих тогдашних сложностях я оказалась не одинока. В моем девятом классе лишь часть школьников была из семей «договорников», то есть людей, приехавших работать сюда, на Колыму, всей семьей, по договору. Преобладали дети репрессированных. Одни из них приехали вместе с матерями к выпущенным за зону отцам. Другие, у которых были репрессированы и отец, и мать, приехали теперь к ним из детских домов, где провели все годы родительского заключения.

Мой одноклассник Леня Б. после ареста матери попал в детский дом, но его оттуда вскоре вызволила и даже усыновила какая-то добрая женщина. Он прожил у нее несколько лет, однако, когда Ленину мать выпустили за зону, та разыскала его и отсудила. Все бы хорошо, но Леня любил свою оставшуюся где-то на материке приемную мать куда больше родной, чем, конечно, доставлял бедной женщине немалые страдания. «Эта» мать не раз жаловалась на него знакомым.

Почти у всех у нас, детей, приехавших на Колыму к матерям, уже имелся тут отчим. Что касается моего отчима, то вот вкратце его история. Он происходил из дальневосточных эстонских переселенцев, что уже само по себе в тридцать седьмом году бросало на него тень. Сел он студентом, когда ему было двадцать четыре года. В лагере ему довелось встретить брата, которому, по счастью, «вышку» заменили на «четвертак». Мало того, там же оказалась их сестра, с той только разницей, что она была не заключенной, а женой их лагерного начальника, причем тот категорически запретил ей оказывать братьям какую бы то ни было помощь. Вот такая ситуация. Но жизнь в конце подшутила над служакой. По иронии судьбы много лет спустя, когда оба брата были уже реабилитированы, их бывший лагерный начальник, уволенный за ненадобностью в запас, соблазнившись какими-то махинациями, попался и сел. Ну, тут уже братья, естественно, взялись помогать сестре и двум ее дочкам.

Мой отчим Аллан Мерк провел на Колыме около тридцати лет. И прошел там путь от зэка на шахте до главного инженера ремонтно-механического завода. Он и после реабилитации очень не хотел расставаться с этим краем. Настолько, что покинул его на несколько лет позже матери. Больше того, спустя какое-то время рванул туда опять. Правда, его быстро постигло разочарование. Ни своей былой молодости, ни своих былых друзей он на Колыме уже не обнаружил.

И вскоре смиренно возвратился в Таллин, в лоно семьи. Вот такой у меня был отчим.

В те годы на Колыме сложилась своеобразная традиция: «договорники» старались не водить компанию с бывшими зэками. И браки между представителями обеих категорий заключались крайне редко. С этой точки зрения, преждее — опасное — замужество моей матери, заведомо чреватое карой, здесь расценили бы, наверно, как проявление полнейшего безрассудства. Но она о нем и теперь, после отбытия срока, старалась не очень-то распространяться. Хотя практичностью никак не отличалась, даже скорее грешила легкомыслием.

Например, когда я приехала в Ягодное, мать вознамерилась выращивать кур для поднятия нашего благосостояния. Но из десятка купленных за большие деньги цыплят выросло восемь петухов и всего две курицы. Когда мать утром уходила на работу, весь этот выводок неотвязно сопровождал ее до места назначения. К тому же петухи жестоко дрались между собой и нагло задирались с соседскими. Обычно какой-нибудь из наших потерпевших поражение петухов мрачно отсиживался потом у нас в комнате, неподвижно свесив голову на окровавленную грудь. Если он все-таки оживал, ему предоставлялась возможность вести прежний образ жизни. Если же шансов на исцеление оставалось мало, мы его съедали. Что случилось с курами, я не помню, но и яиц от них не помню тоже.

Назвать наш тамошний быт хоть сколько-нибудь комфортабельным трудно. Мы жили в бараке, разделенном на комнаты. Деревянная будка общей уборной украшала собой двор. Воду для всех нужд привозили на машине один раз в сутки. Бочка помещалась в коридоре, и ночью вода в ней замерзала. Утром мы выкалывали оттуда лед и ставили его в кастрюле на огонь. Обогревалась наша комната железной печкой и двумя электроплитками.

Мать любила животных, и у нас всегда дремали, свернувшись клубком, кошки — две свои и парочка проходящих. Были и две собаки, по типу напоминавшие болонок, — одна белая и одна черная. Собаки страдали от холода и постоянно норовили устроиться вплотную к плиткам, отчего порой подпаливали себе шерсть, и их приходилось тушить. На ночь плитки не выключались, что уже само по себе было опасно, но, кажется, за все время по этой части ничего не случилось.

Кошки тоже мерзли. У многих были отморожены уши, что неудивительно — морозы доходили до минус пятидесяти. Каково же было бездомным собакам, в большом количестве бегавшим по поселку и постепенно дичавшим? Особенно много было немецких овчарок,

отбракованных вохровцами, в большинстве своем малограмотными деревенскими парнями, безжалостными и к людям, и к животным.

В школе у меня была любовь с мальчишкой из параллельного класса, Борис Ежов его звали. Мы, кажется, даже целовались. И вдруг он перестал со мной здороваться. Проходил мимо, глядя в сторону. Я несколько раз пыталась заговорить с ним, но ничего не получалось. А тут пришла их соседка и сказала, что Борины родители – «договорники» и, кажется, партийные – запретили ему со мной водиться. Видно, до них что-то дошло, ведь на Колыме про бывших эзков все на свете было известно, утаить что-либо почти не удавалось.



Ю. С. Аксель с мамой и бабушкой после возвращения с Колымы. 1954 год

Именно тогда мать впервые стала говорить со мной об отце. Конечно, она его очень любила, но не строила себе никаких иллюзий, трезво понимая, что его давно нет на свете. Она с самого начала отдавала себе отчет в том, что человек с такой судьбой не может уцелеть. Но, по словам матери, несмотря на весь ужас колымских лагерей, которыми она поплатилась за то, что последовала за моим отцом в Красноярск, когда его туда сослали, ей и в голову не приходило раскаиваться в этом браке.

Как-то мы стояли в очереди, и мать поздоровалась с каким-то человеком лет тридцати, на вид приклатненным интеллигентом.

— Это твой родственник, — объяснила она мне.

Если не ошибаюсь, то был один из племянников другой моей бабушки — Натальи, как я узнала позже, — а потому провел лет пятнадцать в разных лагерях.

Кажется, как раз в тот день, о котором я рассказываю, мы узнали о смерти Сталина. А может быть, мы узнали о его смерти в другой раз, но опять-таки в очереди. Во всяком случае, мать тогда сказала:

— Наконец-то он сдох...

И мы обе оглянулись.

Я прожила в Ягодном до окончания школы. В те времена мои сверстники, решившие учиться дальше, сразу после выпускного вечера начинали собираться на материк. По закону окончившие школу на Колыме пользовались привилегией и при поступлении в вузы шли вне конкурса. На то местное руководство выдавало специальные справки. Однако детям бывших эзков в таких справках обычно отказывали.

АНТОНИНА ШЕЛКУНОВА



Антонина Алексеевна Шелкунова (1912–1995) родилась в Харбине в семье инженера-железнодорожника.

В 1929 году семья вернулась в СССР. Поселилась в Томске. Там Антонина окончила сельскохозяйственный техникум и поступила на биологический факультет Томского университета.

В 1936 году ее, студентку четвертого курса, арестовали и осудили на восемь лет тюремного заключения и пять лет поражения в правах.

Вместе с другими узниками ярославской тюрьмы в 1938 году этапирована на Колыму.

Освобождена в 1946 году.

До реабилитации в 1957 году жила в Магадане, работала в биохимической лаборатории. Потом с семьей переехала в Москву.

До конца дней встречалась и переписывалась со своими лагерными подругами.

КОЛЮЧЕЕ СЛОВО *КОЛЫМА*

В начале июня 1939 года нас неожиданно повели в общую тюремную баню и мы после нескольких лет одиночек и камер на двоих впервые встретились с другими обитательницами Ярославской тюрьмы. Все дико смотрели друг на друга, испытав буквально шок от этой встречи.

Через несколько дней нас вызвали «с вещами» (а всего-то вещей — бушлат и полотенце) и, посадив в «воронок», повезли на вокзал. Там нас ждали телячьи вагоны с двойными нарами.

Мне повезло: в вагоне на одних со мною нарах оказались образованные, интеллигентные женщины: Варвара Гвахария, жена директора крупного металлургического завода; московская журналистка Ася Игнатьевна Гудзь; Мира Кизельштейн, биолог, выпускница Московского университета; Циля Рубинштейн, тоже биолог; врач Неха Лурье. Потом, уже в Москве, я дружила с Мирой и Нехой. А теперь из нас шестерых в живых осталась я одна.

Варю Гвахария сняли с этапа еще в Иркутске. Начальник конвоя вошел в вагон и вызвал ее «с вещами». И тихо добавил: «Повезут в Москву». На мои слова о том, что, может быть, знавший ее лично Берия что-нибудь для нее сделает, она успела мне шепнуть: «Не говори глупости, это страшный человек!» С тем ее и увели из вагона.

Староста вагона, бывший партработник Гусакова, грозила нам, что будет «давать характеристики». Она никак не могла привыкнуть к своему арестантскому положению, к тому, что и у нее срок 10 лет. Ася и Варя, когда я резко говорила со старостой, набрасывали мне на лицо бушлат.

С первых дней Варя скрашивала нашу этапную жизнь рассказами о Лондоне, где ее муж в начале тридцатых годов был торгпредом, о музеях и картинных галереях. Однажды, в какую-то из памятных дат, они побывали на могиле Маркса на Хайгейтском кладбище. Тогда у его могилы встретились английские коммунисты и русские меньшевики. Те и другие несли плакаты, на которых было написано: «Не оскверняйте могилу Маркса».

Тяжелое воспоминание оставил ее рассказ о голоде на Украине в тридцатые годы, когда на улицах Енакиева валялись трупы умерших от голода людей. Ее муж — директор Енакиевского завода — получал пайки, так что сами они с девятилетним сыном Отарием не голодали.

Мы с ней сразу сдружились, и когда в Иркутске за ней пришли, то конвоиры разжимали наши крепко сцепленные руки.

Никогда мне не снились такие тягостные сны, как в том долгом пути от Ярославля до Владивостока. Я боялась их и, прежде чем заснуть, долго лежала с открытыми глазами: знала, только закрою их — придут арестовывать... Вот они перетряхивают мои вещи, книги, фотографии. Вот ведут по улицам ночного Томска. Метет поземка... Подвал — тюрьма под зданием ГПУ.

Утром допрос, на котором я узнала, что арестовали меня за знакомство с Николаем Ивановичем Мураловым — у него нашли мою поздравительную открытку с обратным адресом. Одного этого оказалось достаточным, чтобы обвинить меня как участника троцкистской террористической организации.

Следователь говорил, что я, студентка биофака, занималась в университете троцкистской агитацией.

Свою причастность к троцкистам я начисто отрицала. На допросе сказала, что возмущена жестоким указом о привлечении детей с 12 лет к уголовной ответственности — вплоть до расстрела.

Это «признание» следователь пропустил мимо ушей — думаю, не потому, что пожалел меня, а просто боялся записать такое своей рукой и держался в рамках «троцкистского сценария».

В камере, надев рукавицы, я цеплялась за трубу отопления, чтобы через крошечную форточку увидеть на противоположной стороне улицы моих товарищей и друзей, идущих в Университет. ГПУ помещалось на главной улице Томска — проспекте Ленина.

Примерно через месяц меня отвезли в Новосибирск, во внутреннюю тюрьму. Женщины, с которыми я встретилась в камере, стали спрашивать, за что я попала. Я ответила, что за знакомство с Мураловым. Оказывается две из моих сокамерниц работали под его началом: Маруся Вдовина и Катя Околокулок.

Маруся научила меня технике перестукивания. Через два дня я уже бойко перестукивалась с соседней камерой. Вторым криминальным занятием было смотреть в окно, которое выходило на прогулочный двор. Кто-нибудь загораживал дверь с волчком, а остальные приоткрывали окно и смотрели, кто гуляет во дворе. Через несколько дней мы увидели Николая Ивановича Муралова. Мы все трое выглянули в окно, и Катя спросила его: «Николай Иванович, было ли хоть какое-то дело?». Муралов сказал: «Дело Бейлиса».

Через несколько дней Муралов исчез. Каков был ужас, когда из случайно попавшей к нам газеты мы узнали, что Муралова судили в Москве и расстреляли. Нам было трудно поверить, что этот красивый, гордый человек, солдат, которого Ленин приказал назначить командующим Московским военным округом, на суде

признавался в чудовищных преступлениях. Какие методы воздействия к нему для этого применяли?! Я благодарю судьбу за то, что ко мне и моим сокамерницам тогда, в 1936 году, еще не применяли пыток. Человек не знает порога боли, которую он может перенести. Я счастлива, что мне не пришлось оговаривать Николая Ивановича и других.

В Новосибирске моим следователем был вполне интеллигентный человек — Барковский. Он изредка приносил мне книги, и мы читали всей камерой. Однажды я его спросила: неужели он всерьез верит, что я — член троцкистской организации. Он ответил: «Нет, конечно, попробую доложить о вас новому начальнику Новосибирского ОГПУ Курскому». Ничего хорошего от этой «высокой аудиенции» я не ждала: по приказу Курского прогулочные дворы, утопавшие в цветах, в одну ночь были заасфальтированы.

Привели меня в кабинет начальника ОГПУ, и получился разговор глухих: Курский призывал меня «разоружиться». Я говорила, что я не троцкистка. Попытка следователя Барковского хоть как-то облегчить мою участь окончилась ничем. Вскоре по тюрьме поползли слухи, что Барковский арестован.

По «тюремному телефону» сообщили, что в соседней мужской камере сидит Виктор Жернаков — редактор пионерского журнала «Товарищ», выходявшего в Новосибирске. С Виктором я училась в седьмом классе. Вторым был Герман Кононов, которого я также знала с юности.

В 1928 году отец Германа Кононова вместе с другим крупным инженером из Сибводпути Гаккелем были вызваны в Москву. Из Новосибирска они уехали... и таинственно исчезли. Герману Кононову и его однокласснику Андрею Гаккелю было по пятнадцати лет, и матери отправили их в Москву искать отцов.

Им было велено в несколько тюрем отнести передачи на имя отцов. В Бутырской тюрьме передачи не приняли. Тогда мальчишки пошли на Лубянку. Там передачи приняли. Позже отцы «нашлись» на Беломорканале. Оба были крупные гидротехники. По окончании строительства канала они были освобождены и награждены орденами. Теперь, в 1936 году пришел черед сына Кононова попасть в тюрьму.

Меня за «строптивость» перевели в одиночку. Вскоре одиночка понадобилась для какого-то более важного «преступника», и меня вернули в общую камеру. За это время в камере появилась Конкордия Ивановна Цедербаум — жена брата Мартова. Еще раньше она объявила голодовку, и была так слаба, что ее на одеяле унесли в больницу.

Уже в Москве, в 90-е годы, я познакомилась с племянницей Мартова Тамарой Поповой, которая мне рассказала о том, что Конкордию Ивановну из Новосибирска привезли в Москву и расстреляли.

Протестуя против предъявленных мне обвинений, я объявила голодовку. Через восемь суток меня перевели в тюремную больницу, чтобы принудительно кормить. Пришлось прекратить голодовку.

Привели из больницы — в камере новая заключенная — шестнадцатилетняя Дуся. Когда ей было десять лет, их раскулачили и выселили в избушку на краю села. Вся большая семья примирилась с неизбежностью, а Дуся прибегала в свой дом, чтобы полить керосином фикус или нагадить в подвале. Родители за такие «художества» ее наказывали, но она все норовила насолить новым хозяевам. В начале зимы их семью выслали в Нарым. Не было ни лопат, ни пил, ни топоров. Копали руками норы-землянки, в которых от голода и тифа перемерли почти все ее родные.

Дуся сбежала из Нарыма, и как-то вышла на людей, которые вели борьбу с советской властью. Дуся работала в колхозе прицепщицей на тракторе и подсыпала песок, чтобы портить трактор. Хозяйка дома, где жила Дуся, обнаружила ее безграмотные записки. Узнав, чем занималась Дуся, женщина плача уговорила ее пойти и покаяться. Что Дуся и сделала. Ее арестовали.

Когда стали заполнять анкету, в графе «род занятий» она потребовала, чтобы ей написали «вредитель советской власти», на другую формулировку она не соглашалась.

Следователь решил дать Дусе очную ставку с главарем их организации. Это был татарин, бухгалтер. Однажды меня вели на допрос, и во дворе мы с ним встретились. Я запомнила этого рослого человека с волевым и даже хищным лицом. Когда следователь сказал Дусе, что сейчас его приведут для очной ставки, она схватила со стола следователя чернильницу и решила отравиться. Облилась сама и испачкала следователю китель. Очная ставка не состоялась. В камеру ее втолкнули, лиловую от чернил. Мне пришлось ее отмывать, и я ей объяснила, что чернила не отравы, что ими нельзя причинить себе никакого вреда. Следователь обещал, что ее отпустят, но мы ей сказали, что она получит десять лет. Мы не могли без ужаса смотреть на ее однодельцев. Изможденные, зеленые, в рубище, они брели по прогулочному двору, еле держась на ногах. Видимо, их долго мучали в КПЗ в районах, где их арестовывали. Большую часть ее однодельцев расстреляли, а Дуся получила десять лет. Она очень боялась попасть с оставшимися в живых в один лагерь, считая, что они ее убьют.

Не успела еще наша камера опомниться от этой кровавой драмы, как стало известно о расстреле сибирских железнодорожников.

Сибирская дорога была однопольная. Строили Комсомольск-на-Амуре, укрепляли границу, дорога была перегружена, были крупные аварии. По дороге проехал «железный нарком» Лазарь Каганович и сказал, что он «железный метлой выметет всех вредителей». «Вредителей» везли пачками со всей Сибири — начальников станций, машинистов, дорожных мастеров. Больно было смотреть на этих напуганных дядечек с большими рабочими руками в мятых форменных куртках.

Расправились с ними за три дня: день — «следствие», день — трибунал, и на третьи сутки перед рассветом гудели воронки, увозя их за город на расстрел. Меня мучила тяжелая бессонница. Только на рассвете я смыкала глаза, но звук воронка отгонял сон. Перед глазами вставала страшная картина расстрела. После мы узнали, что это происходило на окраине Новосибирска, около тюрьмы, в которую нас позже перевели.

Двум женщинам из нашей камеры удалось добыть газету. Ее нашли — их посадили в карцер рядом с камерой малолеток. Слышимость между камерой и карцером была хорошая, и женщины разговаривали с детьми. Те рассказали, как они попали в тюрьму — кто за разбитое окно, кто за дерзкий ответ учительнице. Все эти детские проступки квалифицировались как «хулиганство». Им полагалось какое-то дополнительное питание, но оно разговаривалось тюремной службой и дети сидели на скудной тюремной баланде и жидкой каше. Вечером наши женщины услышали в камере, где сидели дети, какую-то странную возню и затем душераздирающие крики детей. Оказывается, надзиратели за взятку пустили в детскую камеру блатных, которые стали детей насиловать. Слыша вопли детей, женщины в карцере колотили мисками по обитой железом двери, но ни дикий грохот, ни вопли истязаемых детей не привлекли внимания подкупленных надзирателей.

Утром, когда наших сокамерниц выпустили из карцера, они вернулись в ужасном состоянии.

Пережили мы еще одно страшное потрясение — расстрел кемеровцев. В это время в Новосибирске коллегия Верховного суда проводила «открытый процесс» над группой инженеров из Кемерово. В Кемерово на шахте произошел взрыв метана, были человеческие жертвы. Этот взрыв был расценен как «вредительство».

«Вредителями» на шахте были признаны начальник шахты, главный инженер и все инженеры и техники, работавшие в смене, когда

произошел взрыв. Сразу же после суда в соседнюю с нашей камеру привели двух инженеров, приговоренных к расстрелу. В нашей камере до нас бытовики расковыряли большую дыру около трубы отопления: видимо, передавали соседям курево, карты. Моя кровать стояла рядом с дырой в камеру смертников. Две мои сокамерницы, Аня Шиманская и Маруся Вдовина, до ареста жили в Кемерово и лично знали приговоренных. Вечером обе они, изобразив на своих кроватях из одеял и простыней фигуры спящих, залезли под мою кровать и стали говорить с ними. Один из них – инженер по фамилии Шубин, сдержанный, немногословный. Ему было двадцать девять лет. Второму, моему ровеснику, двадцать четыре года. Звали его Михаил Куров. Он был воспитанник детдома, только успел кончить горный институт и проработал немного больше года до взрыва. Такой короткий и горький путь – обвинение во вредительстве и приговор – расстрел. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал. Мне теперь семьдесят восемь лет. С той страшной ночи прошло пятьдесят четыре года, но эти воспоминания о последних часах на земле ни в чем не повинных людей приходят ко мне часто во время бессонницы и я вновь и вновь переживаю эту ночь.

Лежа на своей кровати, я слышала слово в слово все, что говорил Куров. «Я хочу жить, я ни в чем не виноват. Передайте Солнцеву (его друг), что я умираю комсомольцем». У него не было семьи, близких, только друг Солнцев, которому он адресовал свои последние слова.

Часов у нас не было, но примерно часа в три ночи загремели засовы. Шубина и Курова увели.

Утром женщины из нашей камеры пошли мыть тюремный коридор и надзиратели предложили им взять продукты, оставшиеся после расстрелянных – женщины от этого «дара» отказались. Им удалось через бытовиков добыть газету, в которой мы прочли о процессе над кемеровцами. Всего на процессе обвинялось одиннадцать человек, но двое остались жить – они «помогли следствию» как «свидетели вредительства» девятерых.

Маруся Вдовина, которая до последней минуты говорила с Куровым, увидела на прогулочном дворе двух оставшихся жить: это был техник с кемеровской шахты, а второй – инженер–армянин. Приоткрыв окно, она им погрозила кулаком и крикнула: «Какое вредительство, где вы видели?» Они что-то испуганно забормотали.

13 апреля 1937 года меня привели на Военную коллегия Верховного суда. Я попрощалась с непрожитой жизнью и думала о том, что меня ждет

судьба Михаила Курова, что у меня впереди только одна ночь. Перед председателем Коллегии лежала стопка приговоров, заготовленных заранее. Я смотрела на членов коллегии — нормальные человеческие лица, вроде не злодеи, но почему они так спокойно и буднично вершат свое неправо дело?! Я поняла, что мы, «судимые», для них не реальные люди, а просто «абстрактные враги».

Объявили о том, что суд удаляется на совещание. Дверь в совещательную комнату осталась открытой. Я увидела стол с фруктами, конфетами и пирожными. «Совещающиеся» шутили, смеялись.

В последнем слове я говорила о нелепости предъявляемых мне обвинений. Меня никто не слушал, и единственно, чего я добились, это в приговоре, где заранее напечатали — в дополнение к 8-летнему сроку — 3 года поражения в правах, от руки было вписано: «5 лет поражения в правах».

После объявления приговора мне поднесли полную рюмку валерьянки, заранее предполагая, что от такого решения человек должен падать в обморок. Я обрызгала себя валерьянкой, думаю, что и конвоирам, стоявшим рядом со мной, досталось. Валерьянкой после решения Верховной коллегии поили как женщин, так и мужчин.

В камере после суда нас продержали не больше двух часов, а затем перевезли в воронке в какое-то помещение с решетками, где мы сидели на подоконниках и батареях — скамеек не было. Вместе были осужденные женщины и мужчины. Позже мы поняли, что нас держали, пока на станции формировался состав из вагонов, чтобы везти по тюрьмам. В столыпинском вагоне мы, женщины, занимали одно купе. Все остальные были заполнены мужчинами. В дороге по распоряжению начальника конвоя нам из станционных буфетов приносили горячий обед, за который мы расписывались. Кажется, на четвертый день нас привезли в Ярославль. На соседнем пути стоял пассажирский поезд. Против нашего вагона, из которого нас, женщин, вывели, был вагон-ресторан, на его ступеньках — две женщины — буфетчица и официантка. Обменявшись с нами несколькими словами, они расплакались. В тюрьму нас везли в кузове открытой машины, по дороге мы видели золотые главы ярославских церквей и Волгу.

Двадцать пять месяцев в камере и карцерах ярославской тюрьмы. А потом — этап на Колыму.

В этапе до Владивостока нам давали кружку воды (четверть литра) в день.

Моя соседка по камере в ярославской тюрьме Катя Околокулок ехала в нашем вагоне, в другом конце его. Катя — убежденная

троцкистка. Все, происходящее со страной и нами, ей было ясно. А я не верила ни Сталину, ни Троцкому, хотела сама во всем разобраться. Менторский тон ее доводил меня до белого каления. Люди абсолютно несовместимые, мы двадцать пять месяцев были обречены быть вместе — и ни разу не поссорились, но здесь, в вагоне, старались не замечать друг друга.

Мучаясь от жажды, мы доехали до Владивостока.

Поселили нас в лагере на Черной речке. Пробыли мы там почти месяц.

В июле нас в трюме корабля «Джурма» доставили на Колыму. Катя тяжело болела пеллагрой, и ее на этап не взяли.

Мира Кизельштейн рассказала мне уже в Москве, что Катя Околулок умерла в лагерной больнице на Черной речке в 1940 году.

...Привезли нас, тюрзаковский этап, в Магадан, на Женолп*. Сразу же послали работать на прокладку отопления и канализации. Я работала сначала на рытье траншей, а после меня взял подсобницей заключенный мастер по канализационным колодцам.

Работа была тяжелая и длилась двенадцать часов в день. Ночью не давала спать боль в руках, не привыкших к тяжелой работе.

Мой мастер принес письмо с «воли», в котором говорилось, что создана комиссия по пересмотру дел под председательством Рычкова. Рычков был председателем судившей меня Военной коллегии. Я помнила его жестокое холодное лицо с пустыми глазами, и должна была огорчить своего мастера: от человека с такими глазами трудно ждаты какой-то справедливости.

В середине сентября меня и других тюрзаковцев направили этапом в совхоз «Сусуман» на 670 км колымской трассы. Сусуман — не самое тяжелое место на Колыме: там был совхоз, и женщины не работали в тайге на лесоповале.

В совхозе нас ждала работа по двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Двенадцать часов — основной рабочий день, и два часа — на строительстве теплиц. И все-таки в совхозе была, хоть и тяжелая, но терпимая жизнь!

Я была самая молодая из наших тюрзачек и поэтому все полтора года работала на самых тяжелых работах — корчевала пни, кайлила торф, загружала теплицы землей и торфом. Каждое утро, когда я приходила с разводом на работу в совхоз, меня встречал на агробазе вольный бригадир Богодайко и спрашивал: «Шелкунова! Пойдете работать в теплицу?». Я отвечала: «Нет!» Тогда он говорил мне: «Берите кайло и лопату. Идите кайлить торф». Сцена эта происходи-

* Женский отдельный лагерный пункт.

ла ежедневно. Я не соглашалась идти работать в теплицу, зная о «любовных поползновениях» бригадира. Морозы стояли в Сусумане — 50—60 градусов. Молодой татарчонок-нарядчик участливо спрашивал меня: «В теплицу не хочешь? Лучше на мороз! Молодец!» Западная украинка Катя говорила: «Богодайко, як кит на сало на нашу Тосю облизується».

В первую зиму в Сусумане мы жили в бараке с бытовичками. Они не имели привычки сушить свои валенки. А мы сушили очень тщательно, иначе работать на морозе было невозможно.

Рано утром, собираясь на развод, я не нашла своих валенок, вместо них остались какие-то крохотные маломерки, в которые я не могла влезть. Растерянная, я осталась в бараке. С вахты пришел комендант и повел меня в карцер за невыход на работу. Нужно сказать, что очень часто на вечерних поверках нам зачитывали приговоры «саботажникам». «Саботажницами» были религиозницы, по убеждениям не работавшие по воскресеньям. Приговор за «саботаж» был один — расстрел. Причем в назидание другим всегда сообщалось о приведении приговора в исполнение.

Я уже не помню, что я надела на ноги, чтоб дойти до карцера. С меня сняли бушлат и втолкнули в карцер, который не отапливался. По счастью, бригадир агробазы Богодайко, привыкший по утрам спрашивать, пойду ли я работать в теплицу, хватился меня и передал на вахту, что я работала лучше всех. Часа через три меня из карцера выпустили и нарядчик спросил: «Тебя били?» Меня не били, но я очень замерзла в карцере. Невыход на работу мог стоить мне жизни. Одна из наших тюрзачек Лина Холодова, отвратительный человек, сказала: «Надо поговорить с “шалашовками” (так называли воровок) и мы подведем тебя под расстрел».

Вскоре меня перевели в подконвойную команду и послали корчевать пни. В первый день мы работали с Зиной Бауман. Мы обрубали топорами крупные корни, затем ломом подцепили пень и, повиснув вдвоем на ломе, пытались пень вытащить. Он не поддавался — его удерживали крепкие тонкие корни. Вохровец с ружьем на плече подошел к нам, с силой нажал на лом — и пень вылез. На следующий день он сказал своему сменщику: «Этим надо помочь. У них “женихов” нет». Новый тоже помогал нам. Эти простые деревенские парни после демобилизации из армии не возвращались в колхоз, а шли в ВОХР, они привыкли уважать людей за хороший труд.

Долгое время моим напарником на кайловке торфа был грек-пекарь из Новороссийска. Он сильно страдал из-за морозов, а я была

сибирячка и морозы переносила сравнительно легко. Поэтому я старалась чаще отпускать его в инструменталку погреться. Мне тогда было двадцать пять лет, и Николай (фамилию его я забыла) казался мне очень старым, хотя теперь я понимаю, что ему едва ли было пятьдесят лет, но тюрьма и прииски вынули из него всю душу. Он рассказывал, как в тюрьме узнал о смерти пятнадцатилетнего сына.

Следующей зимой я по-прежнему работала на морозе — кайлила торф, чистила крыши теплиц, корчевала пни и, несмотря на пятидесятиградусные морозы, ходила в валенках, подшитых мешковиной в несколько слоев. Мешковина быстро протиралась, и чуть не каждый вечер я носила валенки в сапожную.

Однажды ночью из-под головы у меня вытащили ватные брюки, без которых работа на морозе превращалась в пытку.

Моего бывшего напарника грека Николая взяли работать в пекарню. От женщин он услышал, что я работаю на морозе без ватных брюк, а у него оказались запасные. Он принес в прачечную эти брюки, попросил их выстирать и передать мне. Он объяснил прачкам: «Он (то есть я) был добрым, меня жалел и посылал часто греться. Теперь давайте ей эти брюки».

Мы жили в одном бараке с уголовницами. Среди них встречались весьма выразительные фигуры. Помню воровку с детства Нину. Она была красивая, стройная и вся в наколках: «Люблю Васю», «Не забуду мать родную»... Наколок типа «Люблю...» было много с разными именами. Нинка была на редкость способная. Когда мы с ней работали на сеялке, я любовалась, как она ловко и быстро все делает! В лагере она снабжала меня заказами на носовые платки для очередных своих обожателей. Расплата за мой труд производилась хлебом. Однажды я ей сказала, что хлеб мне понадобится позже. Когда я пришла к ней получать причитающийся мне гонорар, Нинка сказала: «Вроде ты умная, а открыла шалашовке кредит. Теперь у меня уже другой хахаль. Надо было брать, когда давали».

Я думаю, что, если бы Холодова, грозившая поговорить с шалашовками, чтобы подвести меня под расстрел, обратилась к Нинке, та бы ничтоже сумняшись поддержала ее, помогла бы «разоблачить контру». В то время «разоблачать врагов народа» никто из уголовников не считал зазорным.

В начале марта 1941 года, нам, заключенным, работавшим в совхозе «Сусуман», на разводе объявили, что нас этапируют. Куда этапируют, сообщать было не принято. На сборы дали два часа. Сборы наши были недолгими, так как большую часть

«имущества» мы надели на себя. С собой были лишь небольшие узелки.

К вахте подогнули «студебекер», к кузову которого был приколочен деревянный каркас, на котором болтались обрывки брезента, трепыхавшиеся на морозном ветру. Ведь в Сусумане в марте не редкость — 50 градусов. Нас, человек пятьдесят женщин разного возраста, усадили на дно кузова на корточках. Посредине поместился конвоир. Очень быстро мы перестали чувствовать свои ноги — при невозможности пошевелить ногами валенки не спасали.

В этап попали большей частью женщины, с которыми в сентябре 1939 года меня этапировали в Сусуман.

В Магадане нас привезли в лагерь Промкомбината, в котором было около тысячи заключенных. Он размещался на крошечном пятачке. Главное здание была бывшая баня, в ней столовая и помещения для з/к с нарами, но без окон.

Женщины работали на швейной фабрике, на ватной фабрике и в утильцехе. На швейной фабрике женщины-з/к трудились на конвейере, трудились в две по двенадцать часов смены. Нормы тяжелые. Питались скверно. На работе задыхались от пыли. Мы, с нашими загорелыми на ветру и солнце лицами, были разительным контрастом с мертвенно-бледными аборигенами «швейки» — так называли фабрику лагерницы. Почти все они страдали куриной слепотой, недержанием мочи.

За полтора года в совхозе мы привыкли к грубости и хамству и поэтому странно для нас звучали забытые нами слова: будьте добры, пожалуйста, извините.

Столовая помещалась в бывшей бане. Там были красивые шторы. Правда, из марли, но выглядели очень нарядно, разрисованные кленовыми листьями. На столах были клеенки и непривычно чисто.

Полуголодные женщины, работавшие на «швейке», любили «готовить» — так они называли словесные упражнения по кулинарии. Было в этом что-то от голодного психоза. Однажды я стала свидетелем такой «готовки»: они с упоением составляли меню, подбирали подливы и гарниры к еде, существовавшей в их воображении. Они были возбуждены, в глазах голодный блеск, и был этот «пир во время чумы» страшен!

К моей великой радости от «швейки» и конвейера мне удалось спастись — меня отправили на рыбные промыслы. Там мы и узнали о начале войны.

Нас привезли в Магадан. Каждая гадала: «Что-то нас ждет?..»



Гиза Максовна Лихтенштейн



Бывшие узницы колымских лагерей. Слева направо: Антонина Ивановна Шелкунова, Ольга Львовна Адамова-Слиозберг, Паулина Степановна Самойлова-Мясникова, Зоя Дмитриевна Марченко, Ада Александровна Федерольф, Зора Борисовна Гандлевская. Середина 70-х годов

В войну Колыма досталась нам очень тяжело, да и послевоенные годы были не легче. Единственное светлое воспоминание — мои дорогие, мои любимые подруги: Оля Слизберг, Павочка Мясникова, Зоя Марченко, Ада Федерольф, Зора Гандлевская... В лагере я познакомилась с Гизой Лихтенштейн — эмигранткой из Австрии. Юной комсомолкой она приехала к нам, в страну своих грез, чтобы пройти скорбный путь тюрем и лагерей. Она была человеком с «прозрачной душой». Она понимала людей, жалела их и прощала им то, что никогда не простила бы себе. Я за свою жизнь не встречала человека с такой душой, как Гиза.

Уже много лет живу в Москве... Но и теперь с волнением повторяю стихи Елены Тагер, написанные сразу после нашего освобождения:

До нас домчался ветер с юга,
Из края ласковых чудес,
Где не пурга, а просто вьюга,
Где не тайга, а просто лес;

И отступилась, миновалась
Десятилетняя зима,
Та, что у нас именовалась
Колючим словом *Колыма*.

СЕМЕН ВИЛЕНСКИЙ



Родился в 1928 году в Москве. В 1945 году поступил на филологический факультет Московского университета. Арестован в 1948 году. Осужден Особым совещанием на 10 лет лагерей. Срок отбывал на Колыме в особых лагерях (Берлаг). Освобожден в 1955 году. В 1963 году вместе с Б. Бабиной, З. Гандлевской, П. Мясниковой, И. Алексахиним и другими узниками колымских лагерей создал колымское товарищество. В 1989 году 100-тысячным тиражом вышла составленная им книга «Доднесь тяготееет» – воспоминания двадцати трех узниц ГУЛАГа. Авторы ее решили объединиться и создали Московское историко-литературное общество «Возвращение», официально зарегистрированное в 1990 году. С тех пор Семен Виленский – его председатель. Вместе со своими товарищами, членами «Возвращения», провел четыре международных конференции «Сопrotивление в ГУЛАГе» (1992–2002). Составитель хрестоматии для старшеклассников «Есть всюду свет. Человек в тоталитарном обществе». Составитель книги «Дети ГУЛАГа», выпущенной Фондом «Демократия» в серии «Россия. XX век. Документы». Главный редактор издательства «Возвращение» и журнала узников тоталитарных систем «Воля». В выпускаемой «Возвращением» серии «Поэты – узники ГУЛАГа»

издан сборник стихов С. Виленского «Каретный ряд». Несколько его стихотворений положены на музыку Георгием Свиридовым.



НА ПРИИСКЕ «ДНЕПРОВСКИЙ»

Неволя – это совсем другой мир, меняющий сознание человека и само представление его о времени. Собственно, имеют значение только два периода в жизни заключенного: то, что было раньше, до того дня, когда он потерял волю, и то, что происходит с ним теперь. Будущее этого человека, если ему посчастливится снова быть на свободе, не имеет никакого значения.

Два периода: до тюрьмы и тюрьма – это законченный круг жизни.

В лагере на прииске «Днепровский», что в двухстах километрах от Магадана, я находился почти пять лет, с 1949 года.

В 1949 году смертность была здесь ниже, чем в конце 30-х годов и во время войны. Умирили у нас в основном люди из Прибалтики, а славяне выживали, и даже узбеки.

Заключенным нашего лагеря повезло потому, что заведовала медицинской частью жена начальника лагеря, майора Федько, а она была женщина добрая. Сам же майор был фантазер, идеалист и пьяница.

Летчик, после войны в Германии проштрафился и, уж не знаю, как это получилось, оказался на Колыме начальником большого лагеря.

Рассказывали, что его жена в 1955 году встретила на Колыме своего первого мужа, отбывавшего там в лагере срок, и бросила моего бывшего начальника. Говорили даже, что она специально приехала с Федько на Колыму, чтобы быть недалеко от человека, которого любила. Как бы то ни было, но в то время ее присутствие в лагере спасло жизнь многим.

Дело в том, что для санчасти существовала норма, сколько заключенных можно было освободить от работы, не знаю – два или три процента. А врачами работали сами заключенные. Для них оставить больных в лагере сверх нормы значило самим попасть на общие работы, в шахту. А вольнонаемная начальница не очень-то считалась с нормой.

Был среди нас бывалый лагерник Сергей Матвеевич, в прошлом инженер. Он так умел убеждать, что самые невероятные прожекты казались вполне реальным делом.

Промывать металлоносные пески, то есть извлекать из них золото и другие металлы, без воды нельзя: во всех промывочных устройствах – от примитивного деревянного лотка до весьма сложных – с водой уносятся легкие фракции, а тяжелые (металл) оседают на дне. Когда вода на Колыме замерзает, промывочный сезон кончается. Но Сергей Матвеевич довольно легко убедил майора Федько в том, что за одну зиму (главное было перезимовать) он может изобрести прибор, который будет отделять металл без воды.

Его освободили от работы, дали ему, как говорят теперь, целую секцию – не дома, разумеется, а барака. У него была чертежная доска и самый настоящий ватман. Когда всех из барака выгоняли на проверку на центральную, главную улицу лагеря, называвшуюся «линейкой», он оставался в своей секции, и дежурный офицер с надзирателями специально шли к Сергею Матвеевичу, чтобы засвидетельствовать его пребывание в лагере.

Этот изобретатель решил помочь и мне. Он рассказал начальнику лагеря, что здесь есть молодой писатель, который может сочинить роман. Роман, конечно, сразу напечатают в Москве, что, в свою очередь, прославит и лагерь, и самого начальника.

Кончился промывочный сезон 1949 года. То ли Колыма не выполнила план по олову, то ли выполнила, но начальство хотело получить премию за сверхплановый металл. И в начале зимы нас заставили промывать смерзшиеся пески. В чугунных зумфах* растапливали снег,

* Зумф – емкость овальной формы. – *Прим. автора.*

а потом в этой ледяной воде, на морозе, под открытым небом гоняли лоток взад-вперед и, орудуя скребком, добывали металл. Руки наши, покрытые толстым слоем цыпок, трескались и синели. Под зумфами мы разжигали костры. Голодные, промерзшие, все время жались к огню, и поэтому телогрейки и валенки были прожжены.

Не выполнивших норму из рабочей зоны не выпускали, они оставались на морозе сутками.

Вот после такой двойной или тройной смены, обессиленный, я вернулся в тот день в лагерь, а тут оказалось, что наша бригада должна носить воду. Лагерь располагался на сопке, а внизу протекала маленькая речка, из нее мы брали воду и в больших, оледенелых бочках по двое, продев в дужки палку, тащили на плечах в лагерь.

Я отказался идти по воду и равнодушно ждал, что будет. А что будет, я знал.

Был в лагере заключенный Зинченко, в прошлом на оккупированной немцами Украине начальник полиции в каком-то городе. Вот этого Зинченко и назначили комендантом в БУР (барак усиленного режима). Он там «ухаживал» за водворенными в этот барак людьми. Попавшие в руки Зинченко долго не жили.

И меня, как отказавшегося от работы, должны были отвести в БУР.

Ночью за мной пришли. Часов у нас не было. Зимой, работая в шахте, мы вообще не видели дневного света: уходишь, когда еще темно, и приходишь – темно.

Дневальный разыскал меня на верхних нарах, потянул за ногу.

– На вахту, – сказал дежурный офицер Шмаков.

Я оделся, нацепив на себя все, что было: и ватную телогрейку, и поверх нее ватный бушлат. Шмаков приказал мне снять все это.

Бригадир и его помощник лежали отдельно от других заключенных, на топчанах, и поверх одеяла у бригадира была чистенькая телогрейка. Эту телогрейку и приказал мне надеть Шмаков. И повел меня на вахту. Изолятор (БУР) в зоне. За зоной штаб лагеря. И я знал, что многих водили в этот штаб днем и ночью, чтобы вербовать из них осведомителей. Я решил, что то же замыслили сделать и со мной. Но это была вторая моя мысль, а первая – меня сейчас, за этой вахтой, расстреляют.

...Помню, 18 августа 1948 года (день рождения моей сестры) меня переводили из Лубянской тюрьмы в Сухановку. Везли в закрытой машине. Это был своеобразный «черный ворон». На нем было написано «Мясо», а на другой машине, мимо которой меня провели, «Хлеб». Внутри в кузове

машины маленькие каморки, человек с трудом влезал в них, и за ним захлопывалась дверца, так что те, которых везли в этом «вороне», друг друга не видели.

Отъехали от Москвы, и, когда уже не стало слышно гудков машин и голосов пешеходов, «ворон», в котором меня везли, вдруг остановился. Тишина... Слышно, как в лесу перекликаются птицы. Приглушенный разговор... Клацанье ружейных затворов. Сколько стояли машины в лесу — пять минут или больше — это была вечность...

Дежурный офицер привел меня в штаб. Длинный коридор и в начале его дверь, обитая дерматином. Он вошел в эту дверь, чуть прикрыл ее, потом сразу вышел и подтолкнул меня в кабинет.

За столом сидел начальник лагеря.

— Думаете, зачем я вас вызвал?

И, не дожидаясь ответа, стал говорить о том, что в лагере оказались разные люди. Есть творческие работники, которые могли бы принести большую пользу государству, занимаясь знакомым им делом, а не добычей металла. Говорил, что он все это хорошо понимает, что бывает такое — дела пересматриваются, людей освобождают. Но надо, чтобы прежде заключенный доказал, что он — настоящий советский человек. Как-то незаметно Федько перешел от общего разговора к рассказу о себе: как он был беспризорником, потом занимался в летном кружке при Осоавиахиме*, потом в летной школе. Говорил он и о том, как познакомился о нашей начальнице санчасти, своей теперешней женой.

Я сидел в тепле у письменного стола и совсем засыпал, мне смертельно хотелось спать. В какой-то момент, видимо, Федько заметил это и предложил мне стакан крепкого чая. Я отказался.

— Нет, вы меня не понимаете, — сказал Федько с улыбкой и в то же время раздраженно. — Вопросами оперслужбы я не занимаюсь, меня интересуют вы, а не другие.

Он открыл дверь, крикнул дежурного и велел принести чаю.

Колымский чай — крепкий чай, и заваривали его там совсем не так, как в других местах. Заключенные брали закопченную банку из-под консервов, высыпали туда пачку чая и кипятили на костре. Как только чай кверху поднимется («посмотреть, какой дурак его варит»), значит «чифир» готов. Это первак. Остающуюся гущу снова заливают водой и кипятят. Это уже вторяк, дальше третяк... Когда же при кипячении вода уже не закрашивается, ее сливают, а оставшуюся чайную гущу — эфеля — едят доходяги.

* Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР. — Прим. ред.

Многие колымские начальники тоже «чифирили». И дежурный принес самый настоящий «чифир».

Несколько глотков... и сердце бешено заколотилось. И сразу же неестественная бодрость и прилив украденных у будущих дней сил.

Теперь я уже хорошо понимал майора. Я понимал, что он хочет, чтобы я написал такую книгу, где бы он был героем, где бы рассказывалось о его жизни и на примере ее воспитывалось новое поколение людей.

И я вдруг подумал, а что будет, если книга получится иная? Каким чаем тогда он будет меня угощать?

Поскольку он рассказывал мне много историй из своей жизни, я счел возможным тоже рассказать ему одну историю из своего недавнего прошлого.

Дело было два года назад, в 1947 году, во Львове. Там я учился в университете. Со студентами я не очень дружил. Но был у меня товарищ, равных которому больше не встречал. Познакомились мы с ним в студенческом читальном зале. Он работал библиотекарем.*

Сорок шестой год... Львов... Бандеровцы... Облавы... Браны (парадные двери домов) в девять-десять часов вечера заперты. Учреждения охраняются. И в университете у нас военизированная охрана.

Читальный зал закрывался в восемь, и уже все студенты ушли, один я в зале. Идти мне некуда, я говорю библиотекарю: разрешите переночевать здесь. Оказалось, что и он живет в библиотеке.

Мы постелили на столе шинель библиотекаря, его звали Андрей, положили под голову толщенный сборник — три тома — «К изучению истории ВКП(б)», укрылись моим серым макинтошем.

Так мы и жили месяц или два.

Андрей был в немецком плену, бежал из плена, прошел всю Германию, Польшу. О нем я расскажу в другой раз. Здесь только одно.

В 1949 году он отправил в Москву к моему отцу нашего друга студента Валентина Новикова с неплохо продуманным планом организации моего побега из лагеря. Для этого Андрей решил поступить на работу в МВД...

Отец ему отсоветовал.

Так вот, я и рассказал майору Федько, как сидел с моим товарищем в столовой, как подошел к нам старший лейтенант, небритый, прыщеватый, стал заказывать порционные блюда. Ему нужны были люди, перед которыми он мог бы обнаружить свою щедрость, широту натуры. И вряд ли можно было найти более подходящих для этой роли людей, чем студенты.

Мы ели, но почти не пили, а он пил... пил и становился все болтливее. Он рассказывал, что работает в уголовном лагере начальником

* В 1946–1948 годах автор учился во Львовском университете. — Прим. ред.

режима, что в этом лагере есть один заключенный, фальшивомонетчик. Дай ему только нужные реактивы, он сможет напечатать сколько угодно денег. Он обещал старшему лейтенанту напечатать целый чемодан денег. Но вот реактивы, их достать он никак не может, а у нас в университете есть химический факультет, и, может быть, мы там все это найдем.

Андрей поинтересовался: а что вы сделаете с ним, если он вас обманет, если не сможет отпечатать деньги?

— А я его...

И тут я впервые увидел жесткую, леденящую улыбку, которую мне довелось потом видеть не один раз.

— Что вы сделаете со мной? — спросил я майора Федько.

— Плохо вам не будет, — ответил он.

И я стал писателем.

В бараке, где я жил, появилась настольная лампа, а на тумбочке пронумерованные листы белой бумаги, которую выдал мне начальник культурно-воспитательной части.

Меня перевели в другую, 30-ю бригаду. Здесь был очень пестрый народ, в основном люди, оказавшие начальству какие-либо услуги. Были художники, которые в свободное от работы время рисовали «Трех богатырей» для офицеров и надзирателей. Гуцулы, делавшие очень красивые табакерки, мундштуки с инкрустацией из перламутровых пуговиц. Люди из Прибалтики, получавшие от своих родных деньги. Заключенные в ту пору денег не получали. Деньги, которые находили в посылках, или просто отбирали, делая вид, что их в посылках не было, либо, если это происходило при начальстве, записывали на лицевой счет заключенного. Деньги оказывались и в консервных банках, и в колбасах. За эти деньги тоже зачисляли в 30-ю бригаду.

Но больше здесь было просто осведомителей.

Бригада занималась хозяйственными работами: подметали улицы вольного поселка, носили дрова начальству, мыли полы.

Офицеры и надзиратели жили на прииске вместе со своими семьями, но жены домашней работой не занимались. Это делали заключенные. По сравнению с работой в шахте или на полигоне, то, чем занимались люди в 30-й бригаде, казалось необычайно легким делом. И питались они лучше: нет-нет, а подбросят жены начальников то ломоть хлеба, то кусок сахара.

Так, работая в 30-й бригаде, писал я роман.

Продолжалось это недолго.

Меня вызвал оперуполномоченный Гаврилов. Этого человека с глазами бульдога боялись.

- Что делаете? – спросил Гаврилов.
- Работаю.
- А еще что делаете?
- Пишу книгу.
- Кто разрешил?
- Майор Федько.
- Прекратите марать бумагу или сгною!

Но я продолжал писать.

Прошло еще какое-то время, никто меня не трогал. Оперуполномоченный не вызывал.

И вот вызвал меня начальник культурно-воспитательной части, молоденький лейтенант.

За годы, проведенные мною в лагере, я успел заметить какую-то странную закономерность: офицеры, заведовавшие воспитательной частью, обязательно в конце концов становились начальниками режима, которые по самому роду своей работы должны были проводить над заключенными различные экзекуции. Случалось и так, что начальники режима становились воспитателями.

Пришел ко мне начальник культурно-воспитательной части молоденький лейтенант, еще не работавший начальником режима, и по поручению начальника лагеря предложил прочитать ему готовые главы книги. Я прочитал первую главу. Она ему понравилась. Помню, там был путь на восток, бегущие, подрагивающие вагоны и студент – недавний школьник. Звали его Лево́й. Только это обстоятельство и смутило моего слушателя.

– Замените имя, – сказал он. – Остальное хорошо.

В тот же день пришел дневальный из санчасти и велел мне идти с ним. В санчасти никого из заключенных не было. Только одна жена Федько – начальница. Она сказала, что меня могут увезти из этого лагеря в плохое место. Поэтому она меня сейчас комиссует, подготовит соответствующие документы. Завтра утром отправят в тайгу на лесоповал. Это все, что они с мужем могут для меня сделать. Она дала понять, что у Федько большие неприятности из-за того, что мне разрешено писать книгу.

Так я на полгода расстался с лагерем, с его, так сказать, центральной усадьбой.

* * *

Обычная колымская картина: заснеженная долина с еле различимой речкой, сопки. На одной из них два барака, один выше, другой ниже. В первом – охрана, солдаты, человек пятнадцать, во втором – заключенные, тридцать с небольшим. А между бараками сторожевая вышка.

Утром дневальный спросил:

— Кто пойдет за водой?

Я вызвался идти, хотелось посмотреть на белый свет.

— Гражданин начальник, — крикнул я, глядя на вышку. — Я пойду по воду.

Никто мне не ответил. Что он там? Замерз?

— Гражданин начальник!

Дверь верхнего барака открылась, высунулся солдат в майке.

— Чего кричишь? Это шуба висит.

Лесная командировка — маленькое отделение лагеря. Оно было совершенно оторвано от мира. Когда вывозили заготовленные нами дрова, специально чистили двадцатикилометровую дорогу, так что начальство не могло сюда нагряться. Этим пользовались военнослужащие и заключенные. Среди последних были только малосрочники, то есть осужденные на срок не более десяти лет и уже отбывшие большую его часть, кому оставался год, кому — два. Только у меня еще все было впереди — восемь лет.

Солдаты, конечно, знали, что эти люди не побегут, да и бежать, собственно, было некуда. Что же касается меня, большесрочника, то я, как ни странно, пользовался у конвоиров большим доверием. И вот почему.

В первый же день моего пребывания на лесоповале выяснилось, что сержант, начальник конвоя, — мой знакомый по «Днепровскому».

...Как я уже говорил, тридцатая бригада состояла из людей, как огня боявшихся физической работы. И, хоть была эта бригада велика, но обслужить многочисленное лагерное начальство не успевала, и потому надзиратели брали людей из других бригад: встретил надзиратель заключенного возле барака (в ту пору в лагере разрешалось ходить только строем) и сразу задержал нарушителя, который после 12–14 часов работы на прииске будет еще расчищать дорожки в «английской зоне», где живут вольнонаемные, или в «американской» — где офицеры, надзиратели, солдаты.

Вот и меня однажды привели в эту зону колоть дрова для солдатской кухни. Это была тяжелая работа, потому что солдат — целый гарнизон. Жена какого-нибудь начальника еще могла пожалеть, дать кусок хлеба, а здесь ничего не дадут, может, только тумачков.

Прежде чем рубить дрова, надо было самим заготовить их. Таких, как я, проштрафившихся, было еще трое. Нас привели к солдатской кухне, вышел сержант, невысокий, румяный парень, показал, где взять сани и повел в лес.

Напарников своих помню смутно. Один из них – молдаванин, высокий, худой, как жердь.

Везя за собой сани, мы прошли с километр по огибающей сопку дороге – и вот уже лагерь не видно. Мы в лесу. Собственно, и леса тоже никакого нет: над нами поднимается сопка, укрытая добротной снежной шубой.

– Приехали! – сказал сержант.

Есть такое дерево – кедровый стланик. Летом оно дерево как дерево. Растет прямо на камнях, замшелых, плоских, ржавых камнях, похожих на старинные плиты, испещренные трещинами. Спокойно стоит, упругий, крепкий, смолянистый, почти не качаясь на ветру. Хвоя длинная, благородно-зеленая с серебристым отливом. И шишки самые настоящие кедровые, только маленькие.

Почувяв холод, дерево ложится на землю, прижимается к камням, и его засыпает снег. Был лес, и нет его.

Если развести на сопке большой костер, странное увидишь среди зимы. Растущий по соседству стланик начнет подниматься из-под снега, распрямляется. Но костер догорел, и стланик жметя к земле вновь... Обманули, не весна – оттепель!

Вот в такой зимний лес мы и приехали.

Взбираемся на сопку по пояс в снегу, ловим колючие ветви стланика и «Раз, два – взяли!» – пытаемся вытянуть дерево из земли.

Разгоряченные, с мокрыми ватными рукавицами и рукавами бушлатов, топчемся в глубоком снегу. Не стланик отрывается от земли, а мы – от его скользких ветвей.

За полчаса вырвали два небольших дерева. Конвоир кричит, советует, как его лучше тащить и, наконец, берется за работу сам. Лезет в стороне от нас на сопку и один вытягивает стланик.

Работа сближает. И вот мы уже курим его табак.

– За что сидишь? – спрашивает он меня.

Что ему ответить? Чуть ли не каждый день им объясняют, что заключенные – лютые враги и разговаривать с ними нельзя и, тем более, нельзя им верить.

– За стихи, – отвечаю я, чтобы он от меня отстал.

Оказалось, и он стихи пишет. Он прочитал мне их. Сержант этот окончил десятилетку в каком-то поселке в Восточной Сибири.

Собратья по перу!

Наедине мы почти никогда не были, а где были заключенные и конвоиры, много глаз и ушей. Сержант мог видеть меня очень редко. В тех местах, где работала наша бригада старателей, он мог оказаться лишь случайно.

В лагере не было запаса дров. Осенью 1949 года, когда нас привезли на «Днепровский», нам пришлось самим все строить и поторапливаться. Кроме двух старых бараков, ничего не было. Жили в палатках. Посреди палатки железная бочка из-под солярки, и всю ночь дневальный поддерживает в ней огонь. Голова примерзает к брезенту, а пяткам жарко.

Обычно в субботние дни выводили на заготовку дров весь лагерь и вели бригады заключенных под отдельным конвоем к ближним сопкам. Здесь повсюду когда-то горела редкая тайга, даже огонь не мог одолеть до конца эти деревья. Они не выжили, а выстояли. Вот этот обугленный сухостой мы вырывали с корнями (из-за вечной мерзлоты они не глубоки) и тащили в лагерь.

В этих лесных экспедициях участвовал сержант.

Свернув с наезженной дороги, заключенные вытягивались цепочкой и, пробивая тропу, тянулись к сопкам.

Помню, вместе с напарником он должен был вести нашу бригаду. С одного взгляда мы поняли друг друга. И, когда бригада растянулась цепочкой, я оказался самым последним. Впереди цепочки, пробивая тропу по снежной целине, шел другой конвой, а мой сержант с автоматом замыкал шествие.

Когда из лагеря нас уже не было видно, я оглянулся, он осторожно поманил меня. И вот я возле своего конвоира, и через несколько мгновений снова под конвоем с хлебом и махоркой...

На лесоповале в первый же день я снова увидел этого сержанта.

Жизнь на лесной командировке была совсем не похожа на жизнь в больших лагерях. Всего один барак, один бригадир и надзиратель, который жил в одном с нами бараке, в маленькой каморке, называемой в тех местах кабинкой.

Этот надзиратель всех боялся. Боялся сержанта, боялся солдат и заключенных тоже. Голубой, он и здесь, среди заключенных, нашел себе пару. А потому язык его был связан, ни на нас, ни на солдат донести он не мог.

Кормили нас плохо. А солдаты до моего приезда брали на «Днепровском» не все причитающиеся им продукты: мясо брали, а рыбу — нет. На солдатском складе ее было полно. По моей просьбе сержант завез на лесоповал несколько бочек соленой кеты... Повар наших конвоиров относил ее к проруби вымачивать, а потом мы приходили и снимали кету с крючьев.

Конвоиры наши служили на Колыме уже второй год. И от нас, как я уже говорил, ничего плохого не ждали. Играло роль и то, что на колымских приисках по вольному найму работало много бывших

лагерников и на лесоповальщиков конвоиры смотрели как на будущих вольняшек.

Лес мы валили километрах в пяти от «командировки». Выходили, как только начинало светать, и возвращались на исходе зимнего дня. Каждый нес на плече двухметровое бревно, довольно толстое. Такие бревна назывались здесь «баланами».

Зима стояла лютая, и топлива надо было много.

В бараке жили в основном украинцы, гуцулы. Старый фельдшер Михаил Захарович не любил этих людей, называвшихся в лагере «западниками».

Михаил Захарович — из чудом уцелевших первых колымских лагерников.

Когда я вспоминаю о нем, мне почему-то видится Варлам Тихонович Шаламов, поэт, писатель, ныне живущий в Москве. Сходство между ними не столько во внешности, сколько в сути характера.

Вся работа этого фельдшера (ему было за шестьдесят) заключалась в том, что вечером он вливал в рот заключенным так называемый жир «морж зверя» по одной столовой ложке.

На лесоповале у меня было два напарника.

Первый — пожилой эстонец, очень спокойный и добрый человек. У него осталась дома большая семья. Так, как он работал со мной, он, наверное, работал бы здесь со своим сыном.

Второй напарник — белорус, здоровый парень, мой тезка, Семен. Мы с ним валили лес уже после того, как сменились конвоиры, когда нас стали охранять новобранцы, которые сами мерзли и нам костры разжечь не разрешали. Семен намного сильнее меня, и выполнить норму ему легче с другим напарником. Но почему-то захотел работать со мной. В тайге ли, в бараке слова из него клещами не вытянешь, молчаливый такой...

Вернувшись на «Днепровский», я случайно узнал, что он служил у немцев, был карателем.

На лесоповале, как и всюду, надо было выполнять нормы, а нормы эти были невыполнимыми. Поэтому требовалось особое искусство, когда бревна складывались в штабеля. Во-первых, штабель должен стоять крепко, хотя древесины в нем гораздо меньше, чем показывал замер. Это штабель с туфтой. Брала лесину, распиливали ее на маленькие плашки, потом эти плашки подкладывали в штабель и заваливали их бревнами.

Таким образом мы все же выполняли норму.

Была еще одна работа, чистая и безвредная: снег нарезали квадратами и, орудуя широкой фанерной лопатой, выбрасывали на обочину дороги.

Я помогал бригадиру заполнять наряды. Потом, спустя полгода, знакомый заключенный, инженер (он работал в лагере нормировщиком), сказал мне: «Если верить этим нарядам, вы очистили от снега дорогу до Москвы».

Сержант мой с солдатами месяца через два отбыл с лесоповала. И тогда здесь стало еще хуже, чем в большом лагере. Конвоиры-новички строго придерживались инструкций. Они страдали сами и потому ненавидели нас.

От этого времени в памяти осталось одно. Командир-сержант и наш бригадир-заключенный стоят возле вышки. «Пятидесяти градусов не будет», — говорит сержант. И мы снова идем в тайгу.

Так день за днем.

По инструкции, если мороз ниже пятидесяти, на работу не выводят.

Сопки... Ясная, холодная даль неба. А внизу висит туман. Такое можно увидеть, когда летишь на самолете и под тобой облака.

При старом конвое, когда был мой сержант, солдаты с оружием держались от нас в отдалении. Ставились в тайге флажки, обозначающие границу нашего участка. Переходить ее было нельзя. Но случилось, переходили, брали у солдат табак, прикуривали, приносили своим конвоирам сучья для костра.

Теперь же не то что перейти запретную линию, но и приблизиться к ней боялись. Бывалые лагерники рассказывали, что на «лесных командировках» не раз случалось такое: солдат подзывает заключенного и стреляет в него: перешел запретку. Солдат-часовой поступил правильно.

Здесь в тайге я единственный раз в жизни был гостем своих конвоиров.

Встречали новый год — 1950-й. Ночью бригадир разбудил меня. Солдаты приглашали нас к себе. В верхнем бараке я увидел ружья, поставленные в козлы, и людей за столом. Нас угостили спиртом: судя по всему, солдаты не чувствовали себя людьми, совершающими что-то недозволенное, а уж тем более плохое. Они знали, что скоро их уведут из этих мест и хотели, может быть, и не сознавая этого, проститься с нами.

На следующее утро они поехали на охоту. Ума не приложу, каким образом оказалась тогда на лесоповале грузовая машина. То ли перед самым Новым годом привезли продукты из лагеря и из-за сильного снегопада шофер не мог вернуться назад, то ли машину на какое-то время оставили специально на «командировке». Но мы воспользовались ею, вычистили дорогу к штабелям и на ней привезли себе дрова.

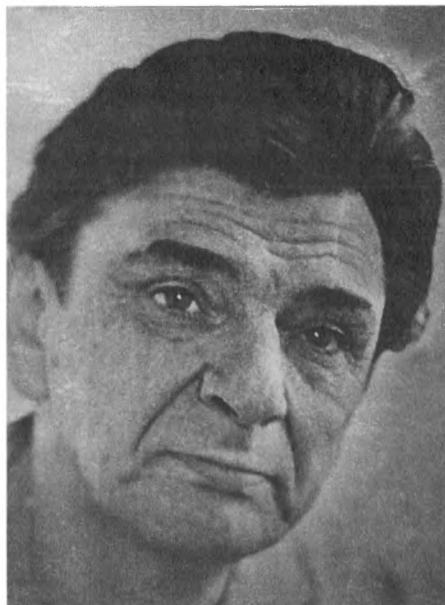
Утром в барак зашел сержант и подозвал меня: «Поедешь с нами». Я вышел без рукавиц. Солдаты были в полушубках, я – в телогрейке, машина – лесовоз, четыре болтающиеся стойки.

– Залезай, держись за стойку! – крикнули мне. И машина рванулась. Я вцепился в качающуюся стойку.

Потом уже в тайге сержант оттирал мне руки.

Тогда поймали зайца. Везли его в лагерь живым. Он кричал, как ребенок. Как кричат зайцы, я знаю. Охранявшие нас в тайге конвоиры ставили на них петли. Помню, под вечер, когда мы строем возвращались в наш лагерный дом, замыкавшие шествие солдаты тащили за собой на веревке зайца. Заяц кричал, причитал, плакал.

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ



Юрий Осипович Домбровский (1909–1978) впервые арестован в 1932 году и выслан из Москвы в Алма-Ату. В 1939–1943 годах находился в заключении на Колыме, в 1949–1955 годах – в Тайшете.

История в свете нравственных проблем XX века – в романах «Державин» (1939), «Обезьяна приходит за своим черепом» (1959), «Смуглая леди. Три новеллы о Шекспире» (1969). Поведение людей в период массовых репрессий 30-х годов, сопротивление с тоталитарной системой и духовное восхождение героя – в имеющих автобиографический характер повести «Хранитель древностей» (1964) и ее продолжении, романе «Факультет ненужных вещей» (опубликован на родине в 1988 году).

В Москву Домбровский вернулся в середине 50-х после 17 лет лагерей и ссылки ничуть не сломленным. Независимый в своих суждениях, как магнит, притягивал он к себе самых разных людей. Но, и реабилитированного, Домбровского КГБ не оставлял в покое. За ним следили, угрожали по телефону. Незадолго до смерти он был жестоко избит неизвестными.

ДВА ПИСЬМА ЛЕОНИДУ ВАРПАХОВСКОМУ

24/III–56

Дорогой друг!

...Но это почти сверхъестественно, что Вы меня не помните! Выполняю ваше желание и даю позывные: итак, я писатель, алмаатинец, а до того москвич. Встретились мы с Вами на 2-й речке на Владивостокской пересылке осенью 40-го года. Были Вы, я, Жорж Моргунов и некий поэт Башмачников. Жили мы с Вами рядом в большой палатке. Ничего не делали – болтали (правда, я писал жалобы желающим). Мы с Вами были оба из Алма-Аты. Перечислю (наобум), о чем мы с Вами говорили, и этот список могу бесконечно продолжать:

1. (о Прянишникове) я сумел передать дочери покойного академика все подробности (оргвыводы были сделаны);

2. о Пушкинском вечере в алма-атинском театре, о грамоте Горсовета;

3. о постановке Вами «Оптимистической трагедии» («Полемика с Таировым») и «Слуги двух господ» (сохранилось ли у Вас фото – Вы у макета?);

4. об участии А. Шенья (персонально) и об одном нехорошем сарае, где и «мертвые стояли»;

5. о вашей жене;

6. о моей жене;

7. о том, что Вы работали учеником (при пилораме);

8. о том, что ваша матушка регулярно присылает посылки; о ее письмах; о вашем письме, которое Вы выбросили из окна вагона – там и было о Шенья;

9. о Кнорре и Бабановой (о том, как она пришла к вашему сыну, о том, как она сидела и решила, с какой стороны красить забор);

10. о вашем аппарате для записи спектакля и его стилия; о Гордоне Крзге; о том, что каждый театр имеет свой графический почерк и Вы его можете записать.

...Это, конечно, только примерный перечень тем, ибо говорили мы, не переставая, около месяца. Потом нас посадили на «Дальстрой» и повезли на Колыму.

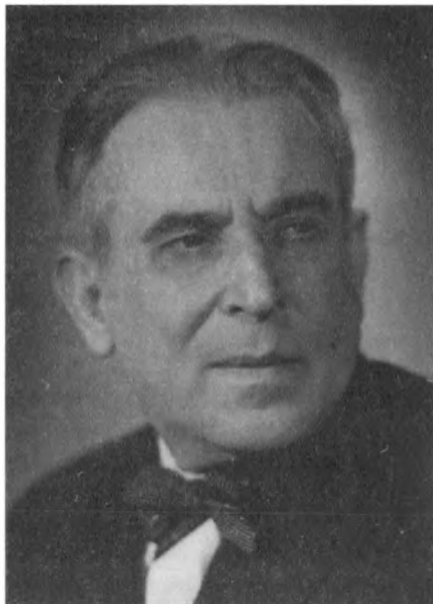
...Мы лежали на нарах, и прямо перед нами застрелили одного бандита, ибо он был «шумок». Он лежал с заголившимся брюхом

и в вашем белье. Растащили нас в Магадане на пересылке – Вас вызвали, Вы схватили вещи и исчезли.

...На пароход меня тащили на руках. Вы! ...вспомнили Вы или нет? Где Ваша сестра и сын?

Жму руку. Весь Ваш.

Юрий Домбровский



Л. В. Варпаховский. 1964 год

7 мая 1956

Дорогой друг!

Очень рад был получить Ваше письмо – я уж, по правде, и перестал его ожидать. Вы удивляетесь моей памяти? А в свое время я так же удивлялся Вашей. Помните Ваш фокус – пятьдесят слов по порядку и в разбивку и ключ к нему? (кажется, – первый десяток – предметы города). Я месяца два тому назад вспомнил это и показывал своей племяннице. Писать о себе: это тяжело, долго и страшно, об этом надо лично, да и то не все сумеешь рассказать, – но коротко попытаюсь. Я многострадальнее Вас. Вы попали, очевидно, на рудник, а я на «прокаженку» – 23-й километр. Очень много нужно, чтоб колымчанин окрестил лагпункт «прокаженкой», – и это многое там было полностью. Вы умирали в проклятом сарае стоя, мы дошли в брезентовых

палатках лежа. Только и разницы. Зимой я из палатки выходил только раз — посмотреть сполохи, предвещающие войну, а в августе, когда она наступила, — нас собрали и по инвентарному списку погрузили на тот же «Дзержинский» и повезли на Большую Землю. Там в бухте Находка то на земле, то на нарах, то на большой койке я провалялся год. Умирал, умирал и не умер. (Помните, Вы как-то мне говорили, что если случится железнодорожная катастрофа, то погибнут все, кроме Вас, — Вы столько пережили, что бессмертны. Вот таким же Вечным Жидом чувствовал себя и я.) Когда выяснилось, что я уж и не умру, меня вместе с другими кашеями погрузили в товарняк и повезли. Довезли до крошечного (4 л/п!) лагеречка «Средняя Белая» и сбросили. Представляете — сибирская степь, ни дерева, ни полена дров, помещение — землянка. Когда утром моют пол — паршивенькая желтая лампочка не видна от влажного тумана, барак плавает по озеру грязи — идешь — из досок бьют бурые фонтаны. Мы сожгли все полы, все крыши, сортиры, КВЧ, еще черт знает что. Вшей сгребали горстями, ибо в бане давали только с пол-литра теплой воды. (Помню раз: нам тупейшей бритвой бреют лобки, мы орем — все холодное помещение набито желтоватыми беззадыми телами, рядом на почетном месте сидит влюбленная парочка: нач. санчасти в бобрах — прехорошенькая дурочка лет 22-х и пьяная тупомордая скотина опер в болотных сапогах. Они, далекие от всей земной скверны, объясняются в любви. Он говорит: «Люблю!» Она туманно тупит глазки и качает головкой: «Не верю, это у вас от тоски!» А кругом мат, рев, вой, они ничего не слышат.) Тут, в этой степи, я опять стал сдыхать и так быстро, что меня зимой 43-го года еле-еле успели выбросить (по активровке) за ворота. Доехал до Алма-Аты. Здесь, лежа в больнице, я написал большой роман «Обезьяна приходит за своим черепом» — собственно говоря, написал только первые две части и забросил. Надо было вертеться и зарабатывать дневное пропитание. Работал сценаристом на фабрике, преподавателем в киношколе, преподавателем в студии театра (в первой — вел теорию драмы — по Волькенштейну!, — во второй — курс по Шекспиру, это уж сам по себе), редактировал и переводил, переводил, переводил. Один товарищ взял у меня роман и повез в Москву к Чагину. Вдруг телеграмма «Роман вызвал положительные отзывы, шлите остальные части». Стал приводить в порядок черновики. Вдруг статья в «Звезде», в «Правде», и меня начинают бить местные Прянишниковы — мои братья-писатели. К тому времени я написал повесть о Шекспире — «Смуглая леди» — это о рождении «Гамлета» (о черной даме, о сонетах, об Эссексе и Елизавете) — меня и за нее продернули! И вот в «Известиях» — громовой подвал некоего

П. Кузнецова (делателя акынов) о безыдейном юродствующем богемце с богатым прошлым. О известном всему городу «пройдохе Домбровском», который... ну и т. д. Ну, думаю — смерть, но оказывается, не тут-то было. Во-первых, Чагин (директор «Московского рабочего») поднял скандал. Призвали Кузнецова: «Читал роман?» — «Нет, не читал». — «А писал?». — «Писал», — выгнали из «Известий». Потом телеграмма от М. Шагинян: «Прочитала “Смуглую леди”, считаю прервосходной вещью, прекрасно вскрывшей соныты Шекспира. Фадеев, Шагинян». Потом телеграмма от Лавренева: «После долгих боев удалось отстоять Вашу прекрасную вещь. Берем ее в “Звезду”», — и т. д. Отзывы, триумф. И так, чувствую себя калифом на час. Приезжаю в Москву и захожу к Вашей сестре. Вы знаете, что я увидел и как она жила. Обещал зайти на другой день, и тут опять «чижа захлопнула злодейка-западня». На этот раз — Тайшет, спецлаг, номера, два письма в год и прочие маленькие радости. Что тут пережил и что делал — об этом, разумеется, только лично, ибо — это поистине неопиcуемо. В 55-м году освобождаюсь (десять лет заменили на шесть). Роман уничтожен во всех редакциях — и все-таки нашел один экземпляр (сохранили в КГБ) и ныне сдал в «Новый мир», где прозой заведует тот же Лавренив, а что из сего выйдет, не знаю. Может быть, и ничего. Сейчас:

1) жду реабилитации — из моих четырех дел — три похерены за «отсутствием состава», четвертое наполовину — вот добываю эту половину.

2) Пишу повесть о Шекспире «Вторая по качеству кровать» (это о его смерти и взаимоотношениях с женой, которой он из всего своего имущества завещал только эту «кровать»).

3) Ожидаю всего хорошего, ибо оно, конечно, так же неизбежно и исторически обусловлено, как и то плохое, что мы с Вами пережили. Худ. Страшен. Беззуб. Не женат (вернее, был много раз женат и поэтому холост), но все равно повторяю из Сервантеса — на титульном листе первого издания «Дон-Кихота» был нарисован сокол со скинутым колпачком и написано по латыни: «После мрака надеюсь на свет». Ведь мы тоже не то Дон-Кихоты, не то Кюхельбекеры. Пишите, дорогой, я Вас очень хорошо помню и часто вспоминаю. Очень, очень рад, что у Вас все так хорошо кончилось. Ничего! «За битого двух небитых дают». В искусстве-то это, во всяком случае, так. Жму руку. Пишите скорее.

Москва 7-34, Островский пер. 14, кв. 15.

Ваш Домбровский

АМНИСТИЯ

(Апокриф)

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная Дева моя.

Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выбора каждому пятому
Ручку маленькую подает.

А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.

И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
– Прочитайте, вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!

Вы увидите, сколько уводится
Неугодного небу зверья, –
Вы не правы, моя Богородица,
Непорочная Дева моя!

Но идут, но идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта!

Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.

И глядят серафимы печальные,
Золотые прищутив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса;

Как, крича, напирая и гикая,
До волос в планетарной пыли,
Исчезает в них скорбью великою
Умудренная сволочь земли.

И, глядя, как кричит, как колотится
Оголтелое это зверье,
Я кричу:
«Ты права, Богородица!
Да святится имя Твое!»

ЛЮДМИЛА ШЕЛЯПИНА



Людмила Сергеевна Шеляпина родилась в 1905 году. Мать ее – Эмилия Васильевна, урожденная Струве, была замужем первым браком за С. П. Шеляпиным, вторым – за А. А. Боровым.

Алексей Алексеевич Боровой – теоретик анархизма, разносторонне одаренный человек, профессор Московского университета и Сорбонны. Скончался в 1935 году во Владимире, в ссылке. Эмилия Васильевна и ее дочь долгие годы хранили его до сих пор не опубликованные воспоминания.

Людмила Сергеевна Шеляпина была научным сотрудником Академии педагогических наук, преподавала немецкий язык в одной из московских школ. В годы войны в эвакуации трагически погиб ее сын-подросток.

В 60–80-е годы Людмила Сергеевна хранила воспоминания узников ГУЛАГа, что могло обернуться для нее высылкой из Москвы или лагерным сроком.

Некоторые из них публикуются в этой книге.

Умерла Л. С. Шеляпина в 1992 году.

Таким, как она – беззащитным и мужественным, – Россия обязана сохранением исторической памяти.

Общество «Возвращение»

*А. И. Воробьев**

ДА НУЖНО ЛИ ВСЁ ЭТО ВОРОШИТЬ...

(послесловие)

Между выходом первого тома – 1989 год – и вторым изданием книги, уже в двух томах, прошла целая эпоха. Исчез Советский Союз, в котором мы родились. Происходит переоценка событий прошлого, сопоставление следствий и их причин. Новая Россия с навязанным ей капитализмом не стала крепче.

Поскольку «реформы» народу ничего не дали, властям надо что-то говорить. И стали искать «козла отпущения». При царе в неудачах винили «татарское иго». Сталин оправдывал диктатуру борьбой с «пережитками прошлого» и «вредителями-троцкистами»... Нынешние ничего лучшего не придумали, как объяснять свою беспомощность «тяжелым наследием большевиков».

Перед нами книга о временах сталинизма. Да нужно ли все это ворошить сегодня? Нужно. И нужно отвечать на важнейший вопрос истории XX века: кому мир обязан миллионными жертвами у нас, в Германии? Нашему социализму, Октябрьской революции? А в Германии – немецкому капитализму? Или в основе лежит то общее, что сближало Германию и СССР перед Второй мировой войной – тирания, единоличное правление «вождя», который быстро делает свою страну сильной за счет грабежей и конфискаций, но может удерживаться у власти только с помощью террора? Между событиями этой книги и теперешним временем лежит полоса информационного провала, который заполняется мощным потоком дезинформации. А ведь нужно сказать, почему было столько людей арестовано, расстреляно. Даже во время войны, когда на фронт отправляли необученных

* Андрей Иванович Воробьев – врач-терапевт, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, родился в 1928 году. Отец расстрелян в 1936 году, мать отбывала 10 лет в Ярославском центральном и на Колыме, потом «вечная» ссылка в Казахстан, потом – снова арест и приговор – 10 лет каторги, активирована в 1954 году, затем реабилитирована, как и отец.

юнцов, только-только достигших 18 лет, десятки (а может быть и сотни) тысяч солдат охраняли боеспособных мужчин в лагерях.

Сейчас над огромным евразийским средоточием народов, ранее объединенных в Российской империи, потом — в Советском Союзе, сгущается тьма. Она может окутать планету. После уничтожения Советского Союза в 1991 году мир стал однополюсным. Военной мощи США ничто не противостоит. Результат? Сначала раздел Югославии, потом оккупация Афганистана и создание военных баз в бывших советских республиках Средней Азии, затем — в Прибалтике, захват Ирака. И вот щупальца тянутся к Закавказью...

Кому-то из живущих за нашими границами кажется, что случившееся в «полуазиатской» России никак не могло бы быть у них. Ошибаетесь, господа. Не забывайте, как французы во времена правительства Виши воевали на стороне фашистов против своих вчерашних союзников, как англичане держали недобитых Гитлером евреев за колючей проволокой уже после войны. Да посмотрите, наконец, что творят в оккупированном Ираке сегодня интернациональные победители. Что же касается культуры, то ведь это с Запада идут к нам танцы в набедренных повязках и музыка «тамтамов». Нужны столетия, чтобы им подняться до «Лебединого озера», симфоний Шостаковича. И сомнительно, чтобы какому-нибудь Голливуду удалось отнять что-либо сравнимое с «Мечтой» Михаила Ромма.

Читать наши тюремные истории надо еще и потому, что у Сталина с Гитлером не было той могучей душеобрабатывающей машины, которой сейчас стало телевидение. Скорость интеллектуальной и моральной деградации общества, обманываемого новыми средствами пропаганды и на Западе, и на Востоке, не идет ни в какое сравнение с прошлым. А многократно повторяемая ложь в сознании людей становится правдой. У нас открыто пропагандируют табак и алкоголь. Рождаемость ниже смертности — не только в России, но и в Западной Европе. Жен и мужей заменили «подружки» и «друзья». Однополые браки — да ничего особенного, а в некоторых странах узаконены. Образование, наше лучшее в мире советское образование, уродуют и урезают, детям подсовывают религию, весьма далекую от Евангелия. И это — в светском многонациональном государстве.

Все это и объясняет, почему теперешняя система обработки мозгов так назойливо, с помощью старой КГБешно-КПССешной публики пачкает революцию, образ именно Ленина, а совсем не Сталина. Дело в том, что если кто-то и прекратит вакханалию разворовывания страны, то только организация трудящихся. Сегодняшняя власть

крупного капитала сама от своих богатств не откажется. Она организована, у нее есть партия, для ее охраны энергично усекаются демократические свободы.

Главная ценность предлагаемой книги в том, что она на живых примерах несет потомкам важнейшую мысль цивилизованного общества: ни при каких условиях не допускайте появления тирании. Не позволяйте размазывать вину тирана и делить его личную ответственность между приближенными или объяснять содеянное внешними обстоятельствами: «рабской сущностью нашего народа», «общественным строем», подводить «историческую базу» под политическую и прямую уголовщину! Тирании существовали во все времена, начиная с рабовладельческого строя. Механизм их становления известен — насильственный захват власти, иногда — с помощью обмана на выборах. А структура власти тирана такова, что народ ничего не может с нею поделаться. Потом с него спросят.

С другой стороны, организованный народ — организация трудящихся — может помешать становлению диктатуры. И тут образы Маркса, Ленина незаменимы, потому что именно они олицетворяют создание социал-демократических движений, партий, которые свернули шею дикому воровскому капитализму во всем мире.

Наша вина в конце 20-х годов состояла в том, что в самом начале, когда будущий кровавый пес был еще ласковым щенком, ему доверили всю власть — исполнительную и законодательную. Любит «твердую» власть, мягко говоря, сомнительная публика, скорее — опасная. Противозаконный разгром СССР в Беловежской Пуще в 1991 году мог состояться только потому, что у Ельцина оказалась неограниченная власть. Платим за это — по сей день. И тем ли еще расплатимся?

Что же касается революции, то бессмысленно к ней предъявлять какие-либо претензии. За то, что она свершилась, ответственность несет власть, которая страну к революции подвела, а совсем не те люди, которые ее возглавили. Революции во все времена были делом массовым, когда старую власть народ больше терпеть не мог, а новую нашу пывали уже по ходу дела, в процессе разыгрывающихся гражданских войн. И тут стихию, толпу трудно сдержать. В феврале 1917 года за один день разъяренные солдаты расстреляли массу ни в чем не повинных офицеров столичного гарнизона только потому, что революционным взрывом никто не руководил, хотя его и предвидели. Большевиков в это время в Петрограде почти не было.

Историю нашей страны невозможно понять, если забыть, что между Октябрьской революцией, проведенной под руководством

большевиков и — в не меньшей степени — левых эсеров, и сталинским режимом, который сам себя причислял к большевикам, хотя, конечно, был именно палачом большевиков, лежит интервал в 3—4 года — 1924—1927 годы. В это время вместо коллективного руководства в партии и правительстве установлена диктатура Сталина. Надо напомнить, что уже вскоре после революции была ликвидирована николаевская (Николая I) страшная русская тюрьма, которая впервые в мире из средоточия злобы и мести была превращена в изолятор с выборными органами тюремного внутреннего распорядка. Вместо тюрем появились и лагеря со свободным режимом без принудительного труда. Тогда в России количество арестантов было наименьшим за всю ее историю XX века. Смертная казнь не надолго, но официально была отменена в 1920 году. Войдя во власть, Сталин все это уничтожил и создал то, что подробно описано в этой книге.

Если же проводить исторические аналогии, то надо вспомнить Великую французскую революцию. Только в той истории никому не приходит в голову объединять Робеспьера и Наполеона Бонапарта. Да, при якобинцах (теперь они стали очень плохими) казнили 4 тысячи человек, а в Англии за то же время повесили 6 тысяч «бродяг». Наполеон положил на полях своих ненужных сражений 600 тысяч человек; он выиграл большинство битв, но проиграл все кампании. А вот по теперешним нормам морали его лихом не поминают.

После переворота Б. Ельцина в 1991 году и некоторого идеологического разброда постепенно его пропагандой стала навязываться идея порочности революции 1917 года, навязанной России якобы в результате «авантюры кучки предателей, купленных немецким генеральным штабом». Не обсуждаются ее причины, не очень разделяются революции Февральская и Октябрьская. Противник Октябрьского переворота лидер меньшевистской фракции РСДРП Ю. О. Мартов в течение октября 1917 года неоднократно пытался убедить Председателя Временного правительства А. Ф. Керенского в необходимости немедленного сепаратного мира с Германией (солдаты целыми полками уходили с фронта) и отдать землю крестьянам. Тот тянул и согласился за несколько часов до восстания. Но когда переворот произошел и побежденные развязали Гражданскую войну, Мартов, оставаясь при мнении, что насильственного захвата власти следовало избежать, выражаясь при этом достаточно резко, в своих выступлениях призывал поддерживать большевиков, «красных», а не «белых», которые несли ужас массовых казней, изъятие земли у крестьян и реставрацию царизма. Теперь новая экономическая политика — НЭП, — придуманная большевиками, ставшая прообразом

контролируемого государством современного социалистического, сосуществующего с капитализмом устройства почти всех стран Запада, замалчивается. История Советского Союза была спрессована. Получилось, что одни и те же люди организовали переворот в 1917 году, раскулачили крестьян и устроили Большой террор под названием «1937 год».

Никак не объясняется, почему якобы необразованные «разбойники-большевики» победили цвет офицерства Российской империи, почему именно «разбойников» поддержал народ в четырехлетней Гражданской войне при голоде и разрухе. И как же это получилось, что важнейшие научно-исследовательские институты будущего Советского Союза были заложены уже в начале 20-х годов: Центральный аэрогидродинамический институт – ЦАГИ, – колыбель нашей авиации, открыли в 1918 году, Туркестанский университет в Ташкенте – в 1919 году! Совсем теперь забыли, что землю (по плану эсеров) в безвозмездное пожизненное пользование с правом наследования большевики передали крестьянам вскоре после Октябрьского переворота. Была изжита массовая безграмотность, созданы облегченные условия для получения высшего образования детям рабочих и крестьян, национальным меньшинствам. А через семь лет после революции российский рубль стал самой твердой валютой в мире: «российское чудо». Была создана мощная тяжелая промышленность, построены автомобильные и авиационные заводы, созданы лучшее в мире здравоохранение и сильнейшая армия. Как все это вспоминать тем, кто привел страну к массовой эмиграции научных работников, не открывал, а закрывал исследовательские институты, не закладывал фундамент, а разрушал до основания целые отрасли производства, развалил армию.

Сейчас достаточно активно создается заново придуманный образ В. И. Ленина – важнейшей фигуры российского и международного социалистического движения. Отовсюду вычеркивается даже упоминание о Л. Д. Троцком – главном действующем лице самого Октябрьского переворота, руководителе Наркомата обороны в Гражданской войне и центральной фигуры в создании Красной Армии.

Поэтому об Октябрьской революции надо читать ее свидетелей. И, прежде всего, – «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида. За хранение этой книги расстрел давали; там среди множества фамилий участников Октября Джугашвили не оказалось. Конечно, надо читать и врагов революции. Прежде всего – В. В. Шульгина. Монархист, принявший корону у Николая II в поезде на станции Дно, ненавидевший революцию и революционеров, он честно описал то, чему

был свидетелем. Его книги — «Дни», «1920 год», «Годы» — незаменимы в познании причин революции и победы красных.

Фабула революции 1917 года достаточно проста. Февральская революция — стихийный бунт голодных солдат Петроградского гарнизона, отказавшихся идти на фронт, потребовавших отречения царя от престола. Железнодорожники остановили царский поезд под Псковом. Близкие к царю деятели запросили командующих фронтов и получили единодушный ответ — отречение. Никто из родни царя взять корону не захотел. (Позже заграничные родственники отказали царю в политическом убежище.) Члены правительства разбежались. Созданное из депутатов только что распущенной Думы Временное правительство решило продолжать войну, хотя уже погибло два миллиона солдат, и поражения не были случайными: остро не хватало патронов и снарядов. Одновременно появилась и другая власть — Советов. Прибывших из ссылки, тюрем и иммиграции большевиков было мало, и они ничем не руководили. Временное правительство в июле после антивоенной демонстрации рабочих многих руководителей РСДРП, включая Л. Д. Троцкого, посадило в тюрьму. На Петроград для захвата власти в августе 1917 года двинул «дикую» дивизию Верховный главнокомандующий генерал Л. Г. Корнилов. Это была первая попытка свергнуть Временное правительство, развязать гражданскую войну. Не имея верных войск, А. Ф. Керенский обратился за помощью к Советам, к рабочим и раздал им оружие. Корнилова рабочие отряды прогнали, в ставке его арестовали. Но рабочие оружие не вернули, а выпустили из тюрьмы большевиков, которые требовали окончания войны. Именно рабочие поставили во главе Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Л. Д. Троцкого, бывшего до весны 1917 года одним из ведущих деятелей меньшевистской фракции РСДРП. (Председателем Петроградского совета Троцкий был еще в революцию 1905 года.) Через два месяца под его непосредственным руководством произошел Октябрьский переворот. Подготовку восстания возглавлял находившийся в подполье В. И. Ленин. До августа-сентября в Советах преобладали меньшевики, но они не добились от Керенского ни мира, ни земли. Вскоре после Октября Корнилов из-под ареста бежал на Дон, поднял казаков, и началась Гражданская война. Буржуазия Украины, Грузии, Армении, Азербайджана с помощью немцев, англичан, французов вела дело к расчленению страны. Японцы захватили Дальний Восток, англичане высадились в Архангельске. Всех их большевики выгнали и оставили нам страну, которая была ликвидирована в 1991 году. Ясно, что без поддержки народа (не только своего!) такие победы не одерживают.

В послесталинской истории выделяется фигура Н. С. Хрущева. Его личная, а не навязанная обстоятельствами, заслуга — в отважном докладе на XX съезде партии о культе личности Сталина. Этот доклад стал основой свержения диктатур в Восточной Европе, дискредитации диктатуры как формы правления, несовместимой с укладом жизни современной цивилизации. Без этого доклада Н. С. Хрущева невозможно представить себе не только послевоенную историю нашей страны, но и историю всего теперешнего мира. Очень многие авторы предлагаемой книги потому оставили воспоминания, что после того доклада открылись ворота лагерей, прошла массовая реабилитация жертв репрессий.

Именно начиная с хрущевских времен перед всем мировым социалистическим движением был остро поставлен вопрос: диктатура — это одно, а социалистический экономический уклад с его национализацией крупных производств, с всенародной государственной собственностью на землю и богатства ее недр — это совсем другое. И связь здесь — искусственно придуманная.

Корни трагедий, которые для краткости называют «раскулачивание», «коллективизация», «Большой террор» (или — «1937 год»), конечно, заключены в самом существовании тиранического правления, хотя жестокость тюрем и количество жертв напрямую связаны с личностью тирана. Послевоенное выселение и истребление народов целиком находится на его совести, так как все это ни к революции, ни к классовой борьбе отношения не имеет.

В оценке того времени надо быть точным: еще до революции ее будущие вожди, руководители РСДРП (меньшевики и большевики были в одной партии), предостерегали о возможности перерождения социал-демократии в тиранию. И Юлий Осипович Мартов, и Роза Люксембург предупреждали Ленина, что фракция большевиков, создаваемая с оттенком военной дисциплины, может стать базой диктатуры. А Карл Маркс говорил о необходимости диктатуры пролетариата, которая только и может удержать власть после революционного переворота. При этом никогда и никем не отождествлялась «диктатура пролетариата» с диктатурой человека. Этой опасности в партии очень боялись. Но всем было понятно, что победить в Гражданской войне без диктатуры пролетариата, точнее — диктатуры партии, было невозможно. Диктаторскими полномочиями Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин не располагал и никакой личной власти не имел, хотя пользовался огромным уважением народа и в партии. Политические стратегические вопросы решались на политбюро, а государственные — на заседаниях Совета Народных

Комиссаров (правительства). И там, и там Ленин нередко оказывался в меньшинстве. Именно эти черты руководства были основой лозунга Перестройки – «Восстановить ленинские нормы партийной жизни». Но разложившуюся партию воспоминания о былом спасти не могли. Совершив очередной политический курбет, некоторые «перестроечники» в угоду новой власти чернят и эти «нормы».

Сейчас муссируются разные записки Ленина, где он бывал резок весьма. Кстати, записки эти в его собрании сочинений опубликованы три четверти века назад. Да, он предлагал исключить из партии Зиновьева и Каменева, своих будущих помощников в революции, сечь Луначарского, называл Иудушкой Троцкого и хулиганом (автором «хулиганствующего коммунизма») Маяковского, призывал расстреливать попов, саботажников и предателей. Шла война. Многие священнослужители, нередко и представители интеллигенции выступали на стороне белых. Их расстреливали, но не за профессию. Однако не надо забывать и того, что команда взятым в плен красным: «Жида и коммунисты! Выходи на расстрел!» – тоже была. Наблюдатель США в армии Колчака считал, что белые расстреливали в сто раз больше красных. А. В. Колчак говорил в Иркутске писателю Всеволоду Иванову: «Придем в Петроград, Горького расстреляем, впрочем, Блока – тоже». Это – слова. Но, захватив Самару, Колчак расстрелял высланных туда большевиками членов Учредительного собрания. За что? Они были против старого режима. (Колчак – адмирал, ученый-географ, интеллигент высокой пробы.)

В. В. Шульгин писал в эмиграции, что белая армия потерпела поражение потому, что была не «белая», а «грязная». Примерно то же писал и А. И. Деникин, с болью говоря о классовости своей армии, о своем бессилии остановить расстрелы раненых и пленных. Жестокости белой армии вполне объяснимы: революция отпустила рабочих и крестьян с фронта бессмысленной бойни, отдала им фабрики и заводы, землю. У белых, желавших вернуть прошлое, кроме террора, иных аргументов не было. В сентябре 1922 года советская власть выслала из страны около 220 крупных философов, некоторых ученых (но не тысячи; это теперь уехали сотни тысяч!) за границу. Власть боялась их оппозиции. Вывезли с семьями, с вещами, на специальном корабле. После войны некоторые вернулись, но из них многие – транзитом на Колыму.

Бесполезно войне навязывать мораль мирного времени, да еще – десятилетия спустя. Тут бы самое время «...на себя, кума, оборотиться». Война любая – ужасна. Там люди теряют контроль над поступками. Главная задача – выжить. Очень часто солдаты шли в атаку только

под угрозой расстрела. А. В. Суворов обещал штурмующим Измаил отдать крепость на разграбление и насилие — на три дня. А разве турки вели себя лучше? Немцы применили иприт, французы ответили тем же. Крестьяне в Тамбовской губернии вырезали коммунистов, М. Н. Тухачевский травит восставших газами, расстреливает заложников. Разница в поведении противоборствующих сторон нашей войны в Афганистане была только в способах убийств. Во Второй мировой войне американцы ковровой бомбардировкой за одну ночь положили в Дрездене 230 тысяч мирных граждан, в Гамбурге — 90 тысяч. Били для устрашения безо всякой связи с военными объектами. Такая же задача стояла перед атомным ударом по Хиросиме, Нагасаки. Наш СМЕРШ расстрелял... страшно приводить эти цифры. Искать особую жестокость у какой-либо одной из воюющих сторон — удел бессовестных политиканов и таких же журналистов. Люди, народы одинаковы в своем поведении. А поведение определяется обстоятельствами. Иначе приходим к расизму. Всегда «наши» враги расстреливают ни в чем не повинных женщин и детей...

Кровоизлияние в мозг у Ленина и уход от работы датируются весной 1922 года, а Гражданская война кончилась эвакуацией японцев с Дальнего Востока в октябре 1922 года. Иными словами, руководил он правительством *только* во время войны. Ленин отказывался от личной охраны (как и все члены его правительства). Поэтому Каплан стреляла почти в упор. Жил Ленин очень просто: стеллажи книг в кабинете от пола до потолка, рояль, железная кровать в спальне, покрытая суконным одеялом, ни одного сервиза в буфете. Так жили все (или — почти все). Питались плохо. Директор обсерватории, старый большевик, активный участник Октябрьской революции профессор МГУ Павел Карлович Штернберг умер от голода. Традиции личной скромности еще долго существовали: когда Н. С. Хрущева сняли, оказалось, что ни дачи личной, ни машины у него нет.

Но именно Ленин, уже будучи больным, разглядел в Сталине фигуру, опасную для партии и государства: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть... Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека...». Так получилось, что против Сталина в 1923 году выступил только один человек — В. И. Ленин. Потом, когда невозможно было что-либо изменить, опасность сохранения тирании — сталин-

ской тирании — поняли многие. Были массовые протесты оппозиции в партии, преимущественно из среды дореволюционных партийцев. Но аппарат сталинской охраны легко разбивал эти выступления оппозиционеров, которые наивно полагались на внутривнутрипартийную дискуссию, на выборы. В 1934 году на XVII съезде партии был преподан урок выборов, когда Сталин, усмехаясь, бросил крылатую фразу: «Не так важно, как голосуют; важно, как считают». После этого был убит его возможный конкурент в партии С. М. Киров, посажены и расстреляны около 80 процентов делегатов того съезда. Начался Большой террор.

Поскольку из среды старых большевиков, участников революции и Гражданской войны формировались ряды руководителей народного хозяйства, армии, районных и областных органов власти, их и стали сажать. Это были не первые лица Октябрьского переворота (тех уже в основном убрали), но их соратники. Загадкой является изуверское выколачивание из них признания в фантастических преступлениях. Но так хотелось Сталину лично, и лично он приказывал «Бить, бить, бить», лично он подписывал инструкции для следователей в 1937 году о физических мерах воздействия на подсудимых.

Теперь принято говорить о жертвах «необоснованных репрессий». Это — по меньшей мере — заблуждение. Арестовывали, с точки зрения власти палача, вполне обоснованно. Была цель и система репрессий. Конечно, арестовывались и по «ложным доносам». Но режим диктатуры был несовместим с любыми проявлениями не только свободомыслия, но и своеволия в арестном «деле». Сразу после прихода к власти Сталин уничтожил дореволюционные объединения крестьян в коммуны и колхозы и начал создавать свои — рабские, а членов тех — посадил. Он отправил в наши лагеря тысячи пленных, освобожденных из лагерей гитлеровских. Они видели богатство западноевропейских стран, могли рассказать. Доносы тут особой роли не играли. Главным «доносчиком» был Сталин, который лично жертвы (или категории жертв) намечал и определял меру наказания; он ставил первую подпись — «За. И. Ст.» — на расстрельных списках. Люди могли быть еще на свободе, а их без суда и следствия уже приговорили к смерти. Старые большевики подлежали только расстрелу. Их возможным собеседникам — родственникам, близким людям — давали разные сроки лагерей и тюрем. Крестьян, наиболее зажиточных, сажали или выселяли семьями. А бывших пленных — без родных (после плена они не встречались). Не только по отношению к большевикам и крестьянам был определенный порядок

арестов. Брали наиболее ярких (то есть потенциально опасных) из среды художников, музыкантов, писателей... Брали всех приехавших из Харбина, служащих Китайской восточной железной дороги. Брали женившихся на иностранках, иностранцев. Почти полностью истреблялся тонкий слой интеллигенции малых народов. Особенно жесток был террор в Закавказье. поголовно сажали священников, истовых приверженцев церкви, баптистов. Именно в эти годы стали закрывать и взрывать церкви, а в оставшиеся посылали служить стукачей.

Начиная с 1937 года, в свершении каких угодно преступлений признавались почти все арестованные. Некоторые погибали под пытками без «признания». До 1937 года пыток практически не было, но всех обвиняли в заговоре против Сталина или его окружения, во вредительстве (вели подкуп под мавзолеем на Красной площади, сыпали стекло в масло на складах и т. п.). В соответствии с указанием Сталина и Жданова от 1 декабря 1934 года (датированным днем убийства Кирова) для вынесения смертного приговора признание обвиняемых не требовалось. «Суд» длился 15–20 минут. Приговор – расстрел – приводился в исполнение, как правило, в тот же день. Следует напомнить, что впервые суды без свидетелей и защитников с исполнением смертного приговора в течение 48 часов (собственноручная приписка царя!) были введены Николаем II, с подачи Столыпина, в 1907 году в качестве мести за революцию 1905 года, отзвучавшую два года назад. Тогда было казнено за два года около семи с половиной тысяч человек. Это больше, чем казнили все Романовы, вместе взятые. Как-то А. М. Горький заметил: «Пли! Да благо тебе будет! Но долговечен ли ты будешь, кто знает?».

Для тирана смысл в терроре был. Поскольку в партии много говорили о сотрудничестве Сталина с царской охранкой, он выкорчевывал всех возможных свидетелей своей дореволюционной жизни, включая родню первой и второй жены. Оснований для разговоров о его темном прошлом и тогда было много. Им написанная официальная биография о ссылках и арестах сфальсифицирована, а архивы мест ссылок были вывезены в 30-е годы и уничтожены КГБ. Из ссылок он с поразительной легкостью бежал. Как-то проболтался, что у него было удостоверение охраны. Скрывал от партии, что во время ссылки в Курейке был уличен в растлении малолетней – 14-летней, от которой был сын (потом был и внук). Только заступничество охраны спасло его от уголовного преследования. Скрывал и свое исключение из партии в Закавказье, и свои контакты с провокатором Р. Малиновским, разоблаченным и расстрелянным после революции.

Замалчивал и свои давние (в Баку) связи с меньшевиком, но и сотрудником царской охраны, своим главным подручным по процессам 1937 года А. Я. Вышинским. Тем самым Вышинским, который, находясь на службе у Временного правительства, выписал ордер на арест В. И. Ленина.

Были у Сталина основания для развязывания Большого террора. Террор — «1937 год» — и стал началом контрреволюционного переворота. Кстати, неизбежность потери социалистических завоеваний при сталинской диктатуре предсказывал незадолго до гибели Л. Д. Троцкий; но он говорил и о том, что присвоят себе общенародную собственность партийные функционеры.

Сегодня замалчивается фактология прихода Сталина к власти. Как известно, став генсеком, он заставил чешского инженера, занимавшегося связью в Кремле, вывести к себе в кабинет подслушивающий провод от всех телефонов крупных партийных деятелей. Немедленно после этого чех был убит. Пользуясь слабостью Зиновьева (не без помощи «подслушки»), он натравил его на Троцкого. Потом освободил Троцкого от военного наркомата, вывел из политбюро и выслал за границу (где и убил в 1940 году). На место Троцкого был поставлен выдающийся военачальник М. В. Фрунзе, и вскоре его убрали (погиб на ненужной операции, навязанной ему решением ЦК — Сталиным). Затем сгравировал Бухарина с Зиновьевым. Это Сталин на заседании политбюро поставил на обсуждение вопрос о том, чтобы дать больному Ленину яд, о чем якобы его просил сам больной. На общее возмущение заметил: «Мучается старик». К 1927 году все активные деятели Октябрьской революции были отправлены послами в разные страны или просто отстранены от дел. Фактически с большевиками, как организацией, Сталин покончил к 1928 году. Раскулачивание было уже его решением и поручено второстепенным деятелям партии, среди которых он поставил много евреев. Все они потом будут расстреляны, но послужат базой для создания новых «дел».

В книге — рассказы очевидцев. Некоторые эпизоды не укладываются в человеческое сознание. Как мог подписывать ордер на арест родной племянницы нарком Генрих Ягода, зная, конечно, о ее невиновности? А он и не властен был что-либо менять в получаемых из ЦК партии предписаниях. Скорее всего, система дала какой-то сбой: вероятно, сам Ягода уже находился в расстрельном списке, визируемом Сталиным, но еще не был арестован. А племянница, как и остальная родня, находилась в других — не расстрельных — списках, которые по ошибке на Лубянку пришли раньше. Нечто

подобное было с писателем Ф. Ф. Раскольниковым. Будучи послом в Болгарии, он получил список авторов, произведения которых подлежали изъятию из посольской библиотеки, и увидел свою фамилию. Тогда Раскольников эмигрировал во Францию.

Оба тома «Доднесь тяготееет» составлены Семеном Самуиловичем Виленским, отбывшим восемь лет на Колыме. Издание – подвиг молодого уже человека. Сам этот факт – некоторый укор тем, которые помоложе и не сидели. Книга – не только о прошлом. Книга – о нашей жизни, о человечестве, которое должно знать, на что оно способно. Книга о не поставленных памятниках жертвам террора и нашей ответственности за это. В Катыни – мемориал на месте расстрела польских офицеров с их именами. А рядом безымянные клумбы над братскими могилами соотечественников! Такая же картина почти всюду, где тысячами захоронены сыны нашей Родины. Почему? Вопрос к нам, читатель.

Во времена величайшего взлета человеческого духа, выразившегося в «Нагорной проповеди», в Риме устраивали бои гладиаторов со львами. Потом хищников заменят быками. Но животная сущность зрителей осталась прежней.

Сегодня всем должно быть ясно, что ошеломляющий разлив демократии 1987–1991 годов в стране целиком и полностью обязан открытию правды об ужасах сталинизма. Одно дело – художественные произведения о лагерях и тюрьмах. Другое – свидетельства очевидцев. Именно эти люди заложили фундамент нашей, пока еще весьма несовершенной, демократии.

В книге – рассказы сидевших в тюрьмах и лагерях. А на воле оставались их дети. Судьбы детей «врагов народа», детей «раскулаченных» и оппозиционных интеллигентов могут быть интересны будущим поколениям. А если и не интересны, то полезны для понимания того, как сохранилась в стране мораль, не одичал народ, откуда брались приемные матери тех детей, не давшие им ни упасть, ни пропасть. Не дописаны книги о деревне, всех нас спасшей от голода, которую кто только не пинал и не оплевывал, но из которой выросла величайшая культура и Золотого, и Серебряного века, осветившая весь мир.

Ну а что же нам делать теперь? Когда-то в самиздате ходило по рукам стихотворение Наума Коржавина «Якобинец». Современному читателю оно незнакомо. А написал его поэт в 1949 году, находясь в ссылке. Это было время «второго призыва»: сажали детей жертв 1937 года, начались кампании разгрома науки, борьбы с «космополитизмом». Приводим стихи по старым записям.

А в эти годы события шли,
Отражаясь в ушах молвы...
И войска французов победно шли
До высоких ворот Москвы...
А потом метели чужой земли
Заметали могилы-рвы.
И войска французов назад брели
От холодных ворот Москвы.
А он так же спокойно смотрел вдаль:
Виноградники на холмах.
И непоколебимо светилась печаль
В умных, добрых его глазах...
...И лишь раз за все годы ожил старик.
Вдруг влетел, как восточный буран,
Сын погибшего друга, его ученик,
Догонявший свой полк капитан.
Он был полон победами, блеском карьер,
Славой Франции. Ветром. Войной.
Мыслью, силою, сведенной в крик: «Vive l'empereur!»
И письмом варшавянки одной.
И хотелось – он сам не знал почему,
Ведь вся жизнь так была ярка, –
Но навязчиво, страстно хотелось ему
Убедить и склонить старика.
А старик его слушал и не стерпел,
И сказал:
«– Ты крылат и смел,
Но все-таки это не я устарел,
А ты юности не имел.
И меня не прельщает гром ваших побед,
Не прельщает совсем, никак.
Революции, мальчик мой, больше нет,
Остальное – грызня собак.
И зачем говорить пустые слова –
Это просто банальность дней –
Одна революция была нова,
А все, что было после – старей.
А этот человек, твой идеал,
Чьи трубы в тебе трубят –
Он революцию обобрал
И в нее нарядил себя.

И какой у тебя в голове туман,
Как ты мог до того дойти,
Чтобы слово «свобода» и слово «тиран»
В голове своей совместить.
Нет, фанатиком не быть мне. Нет, юнец!
Блеск невежества — ерунда...
Нет, я верен разуму, как твой отец,
Который жизнь за него отдал.
...Капитан молодой, прощаясь, встал,
И прижал старика к груди,
И, смеясь, доктринёром его назвал,
И в коляску сев, грустит.
И кони его понесли туда,
Где полячка встречалась с ним
И где закатилась его звезда
Под Смоленском или Бородиным...
...Из глаз старика скатилась слеза,
Но смахнул ее властно он...
...Шли войска вперед, шли войска назад,
Водворился опять Бурбон.
Как призрак мертвого, он пришел,
Стало в жизни еще темней.
А старик подумал и сказал: «Хорошо!
По крайней мере, — ясней».
И когда отгремели в огне сто дней
И ушли на остров суда,
Он спокойно и ровно учил детей,
И гулял, и читал, как всегда.

Чумаково. Новосибирская обл. (ссылка)

Что осталось от Великой французской революции? Да всё. Кто в конце концов победил: якобинцы или Бурбоны? Кто прав: «После нас хоть потоп!» (Бурбон) или «Свобода, равенство и братство!» (якобинцы)? А — в современном нашем прочтении: «Бери от жизни всё!» или «За народное дело он ушел воевать?»

После термидора, Аустерлица и Бородина, после «100 дней» и Ватерлоо, революций 1830-го, 1848-го годов, Парижской коммуны и массовых казней коммунаров во Франции прочно установилась республика. Пролит реки крови, французский капитализм понял, что «надо делиться» — и доходами, и властью. Теперь в этой стране реализованы все мечты ее социалистов прошлого и позапрошлого

столетий. А в Англии, ряде других стран Европы на каждом крутом повороте истории капитал, оглядываясь сначала на соседа, потом — на наш Октябрь, находил пути соглашения с народом. И страны пришли к тому же социалистическому укладу. Есть там и капитализм, но хорошо стреноженный — без нищих.

В Европе полезных ископаемых мало; люди живут плодами своего труда, как японцы. Наши недра содержат 16 % мировых запасов. А безногие инвалиды, собирающие милостыню на перекрестках, — только в России. Любой журналист у нас готов осмеивать закон К. Маркса об абсолютном обнищании рабочего класса (закон необузданного капитализма — времен Маркса!). Но наш трудовой народ беднеет, капиталисты богатеют. На Западе К. Маркса читают и строят налоговую политику так, чтобы рабочие не нищали и чтобы социальных потрясений не было. Может ли ничем и никем не сдерживаемый капитализм быть с человеческим лицом? История положительного ответа на этот вопрос не знает. Наши свежие капиталисты убивают «коллег» — и тому уйма примеров — из-за нескольких тысяч долларов. А вот социализм с человеческим лицом быть может. Он есть. И дело тут не в терминах, а в сути: есть или нет социальные гарантии нормальной жизни у всех слоев населения. В Дании очень крупные доходы облагаются 70-процентным налогом, но минимальная зарплата достаточна, чтобы прокормить жену и ребенка. Многодетным низкооплачиваемым семьям выплачиваются пособия, гарантирующие достойную жизнь. Правда, датские депутаты приезжают работать в парламент на велосипедах. О персональных машинах и речи быть не может. Таковы принципы жизни во всей Европе. Но везде сохраняется главное: демократия, выборность власти, республиканский строй. Никаких тираний! Везде, но только под давлением рабочих партий, капиталист делится с наемным работником.

Вероятно, для современного человечества это лучшая дорога. Хотелось бы только напомнить: первыми вышли на нее в Октябре 1917 года наши прадеды, деды и отцы. Потом мы заблудились в сталинизме, как французы после своей Великой революции — в бонапартизме. Но другим было легче идти по проторенному пути. Минует ненастье и у нас, но не само по себе.

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬСТРОЯ

ЗГПУ – Западное горнопромышленное управление Дальстроя (находилось на территории современного Сусуманского района с центром в поселке Сусуман).

СГПУ – Северное горнопромышленное управление Дальстроя (создано в 1935 году, находилось на территории современного Ягоднинского района с центром в поселке Хаттынах до осени 1941 года, затем с центром в поселке Ягодное).

ТГПУ – Тенькинское горнопромышленное управление Дальстроя (с центром в поселке Усть-Омчуг).

ЧУГПУ – Чай-Урьинское горнопромышленное управление Дальстроя (существовало с 1940 по 1946 год, находилось на территории современного Сусуманского района с центром в поселке Нексикан).

ЮЗГПУ – Юго-Западное горнопромышленное управление Дальстроя (находилось на территории современного Среднеканского района с центром в поселке Сеймчан).

ЮГПУ – Южное горнопромышленное управление Дальстроя (создано в 1935 году, находилось на территории современного Ягоднинского района с центром в поселке Оротукан).

Также существовали Янское, Чаун-Чукотское, Индигирское, Омсунчанское, Чаунское горнопромышленные управления Дальстроя.

ЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГАДАНА*

Старая Веселая – лагерь «местпром»

Марчекан (МЛ, ЖЛ)

4-й километр (МЛ)

Дукча (ЖЛ)

23-й километр (МЛ) – «Инвалидный»

Снежная Долина (ЖЛ)

Швейная фабрика (ЖЛ)

Напротив универсама «Восход» (пересыльный лагерь)

ЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Омсукчанский район

Галимый

Индустриальный

Купка (ЖЛ)

Хатарен (лагерная пересылка)

Среднеканский район

Агробаза (МЛ, ЖЛ)

Аннушка (дорожная командировка)

* В этом списке колымских лагерей отмечены женские лагеря (ЖЛ) и места, где находились мужские и женские лагеря (МЛ, ЖЛ). Все другие названные здесь лагеря – мужские. Представленный список колымских лагерей не полный. Работа по его уточнению продолжается.

Балыгачанский разведрайон
прииск Борискин
Вертинская
Верхне-Буюндинский разведрайон
Верхний Сеймчан (МЛ, ЖЛ)
Верхне-Сеймчанский рудник
2-я пятилетка
прииск Геологический
Глухариный
прииск Золотистый
Искра
Коркодон
Котел
Куранах – лагерь Суксукан
прииск имени Лазо (затем – имени 3-й пятилетки)
рудник Лазо
прииск Первомайский
Половинка (дорожная командировка)
Радужный
Сеймчан
прииск Среднекан
Становая
прииск Торопливый
3-я фабрика
Усть-Среднекан
прииск имени Чапаева

Эльген-Угольный

прииск Юбилейный

Юрты (дорожная командировка)

Сусуманский район

Адыгалах

Амгьей

Аммональная

Арзо

Аркагала

Аян-Юряхский

Беличан

Берелех (лагерная пересылка)

Большевик

Грязный

Дальний

Делянкир

Дочикалах

имени 25 Октября

Кадыкчан

Кач-Тах

Комсомолец

Контрандя

Курбалах

прииск Линковый

Лузовая

Лукич

Мальдыак
Мировая
Надежда
Озерный
Орлиная
Почтовая
Санга-Кюэль
Светлый (имени Сталина)
Спокойная (лагерная пересылка)
Суровая
Тамгелен
Теплый
прииск Токай
прииск Топкий
Трубная
Тухаинка
прииск Ударник
прииск Фролыч
прииск имени Фрунзе
Худжах
прииск Чай-Урья
прииск Челбанья
прииск имени Чкалова

Тенькинский район

Агробаза (МЛ, ЖЛ)
Аргаюряхский

рудник имени Белова

прииск имени Берии (2 лагеря)

Бодрый

Разведрайон «Бохапча»

прииск имени Буденного

Бургагы

рудник «Бутугычаг» (лагерь Сопка, рудник «Горняк»)

фабрика «Вакханка» (ЖЛ) (имени Чапаева)

Ветренный

прииск имени Ворошилова

прииск имени Гастелло

прииск Гвардеец

Гровский (в Усть-Омчуге, ВКрайГРУ)

Дегдекан

Детрин

прииск Дусканья (МЛ, ЖЛ)

Запорожский разведрайон (за Хениканджой)

Заречный (ЖЛ)

Игуменовский

Кармен

Колымский

Комендантский (в Усть-Омчуге)

Клин

Кулу (ЖЛ)

Лесной

Мадаунское ДЭУ

прииск имени Марины Расковой

рудник имени Матросова

Махопан

Нагорный

Нелькобинское ДЭУ

Нерючинская районная электростанция (МЛ, ЖЛ)

Омчан (на притоке р. Детрин) (МЛ, ЖЛ)

Охотник (в верховьях р. Кулу)

Пионер (МЛ, ЖЛ)

Правый Тыэллах

Сакга-Талон

рудник Светлый («Сталинский») (р. Армань) (МЛ, ЖЛ)

Старый Оротук

45-й километр (лесоповал на р. Детрин) (ЖЛ)

Таборный (ЖЛ)

Таганка

Тенькинский разведрайон

прииск имени Тимошенко

Урчан (в верховьях притока р. Детрин)

Халгыча

Хатыннах (ЖЛ)

Хачалах (лагерная пересылка)

рудник Хениканджа (рудник Отечественный) (МЛ, ЖЛ)

Хенике (на притоке р. Кулу)

Центральный

Чалбухинский разведрайон

Эрика

Хасынский район

Атка (ЖЛ, МЛ)

Арарат

Беренгал

Герба

прииск Днепровский

Красная речка

Мякит

Стекольный

Стрелка (ЖЛ)

Палатка (ЖЛ, МЛ)

Талая

Хасын-Уголь (лагерная пересылка)

прииск Хета

Хетинский горнопромышленный комбинат

Ягоднинский район

Алмазный

прииск Бурхала

прииск Бюченнах

прииск Верхний Ат-Урях (имени Берзина)

прииск Верхний Оротукан

Ветвистый

прииск имени Водопьянова

прииск имени 8 Марта

прииск имени Горького

Дарьял

прииск Дебин (ЖЛ, МЛ)

прииск Джелгала

прииск Журба

Известковый

рудник Кинжал

Каньон

Ключ «Пасмурный»

Ларюковая

прииск Ледяной

прииск Майорыч

Мылга

прииск Нерега

прииск Нижний Ат-Юрях

прииск Одинокий

прииск Партизан

Перевальная

прииск Пятилетка

прииск Разведчик

Свистопляс

Скрытый

Спорное

Средний Оротукан

Стахановец

прииск Таежник

Таскан (ЖЛ)

Торопливый

Туманный

Ударник

прииск Утиный (Утинка)

прииск Хатынгнах Колымский

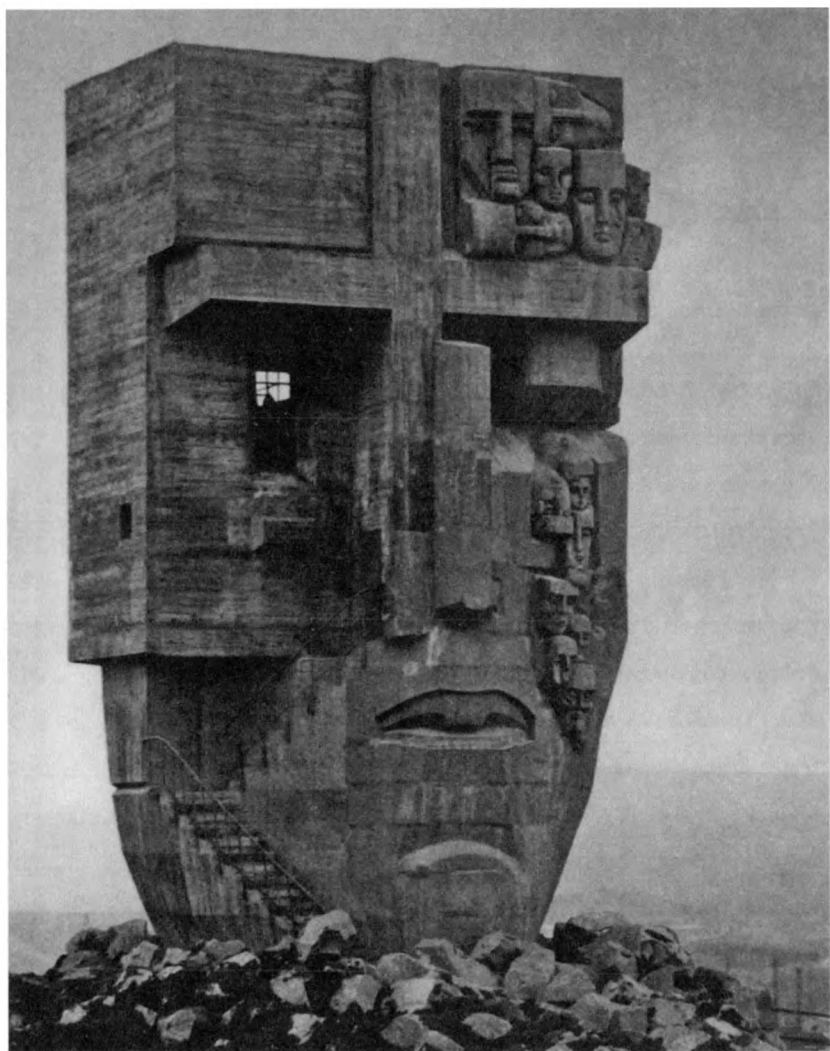
Холодный

прииск Чекай

прииск Штурмовой

прииск Экспедиционный

Эльген (ЖЛ)



Список иллюстраций

Том 1

Ольга Львовна Адамова-Слиозберг. <i>Начало 30-х годов</i>	9
Елена Львовна Владимирова. <i>Середина 30-х годов</i>	132
Борис Вячеславович Бабин и Берта Александровна Бабина-Невская. <i>Конец 20-х – начало 30-х годов</i>	139
Надежда Васильевна Гранкина	156
Вероника Константиновна Знаменская	182
Вера Александровна Шульц	192
Галина Ивановна Затмилова	229
Надежда Витальевна Суровцева. <i>Начало 30-х годов</i>	260
Протокол обыска у Н. В. Суровцевой в 1977 году	262
Юлия Соколова-Пятницкая	273
Елена Емельяновна Сидоркина. <i>Йошкар-Ола. 1955 год</i>	297
Мира Израилевна Линкевич	317
Зоя Дмитриевна Марченко. <i>Май 1992 года</i>	320
Евгения Семеновна Гинзбург и ее дочь Тоня. <i>Львов. 1959 год</i>	336
Анна Александровна Баркова	345
Хелла Фришер	384
Тамара Владимировна Петкевич	471
Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина. <i>1965 год</i>	479
Хава Владимировна Волович. <i>Май 1937 года</i>	491
Надежда Вениаминовна Канель. <i>1928 год</i>	525
Ада Александровна Федерольф-Шкодина	530
Ариадна Сергеевна Эфрон	548

Наталья Ивановна Запорожец. 1942 год	562
Заяра Артемовна Веселая. 1947 год	569
Здесь был лагерь	619
Презентация первого тома сборника «Доднесь тяготееет». Москва. Колонный зал Дома Союзов. 2 февраля 1991 года	620
Открытие 1-й международной конференции «Сопrotивление в ГУЛАГе». Москва. Колонный зал Дома Союзов. 19 мая 1992 года	621

Том 2

Пароход «Джурма», доставлявший заключенных на Колыму. Бухта Нагаева. 1936 год	8
Аляскитово. Нижний лагерь. Фото 90-х годов	17
Аляскитово. Верхний лагерь. Фото 90-х годов	17
«Маска скорби». Мемориал в Магадане (скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Камиль Казаев). Установлен 12 июня 1996 года	19
Нина Ивановна Гаген-Торн. 1926 год	21
Галина Александровна Воронская. 30-е годы	33
Г. А. Воронская. 1937 год	39
Лагерь на Серпантинке. Рисунок И. Ф. Таратина	39
Екатерина Львовна Олицкая. Умань. 10 марта 1974 года	44
Е. Л. Олицкая, ее муж Александр Васильевич Федодеев и дочь Муся. Ссылка. Чимкент. 1928 год	45
Зора Борисовна Гандлевская. 30-е годы	49
Е. Л. Олицкая и Н. В. Суровцева. Умань. 10 марта 1974 года	62
Группа ссыльных на Колыме. Екатерина Олицкая – в центре. 23 октября 1953 года	65
Елена Львовна Владимирова во время учебы в Институте благородных девиц. Петроград. 1910-е годы	66
Валерий Александрович Ладейщиков. Перед арестом. 30-е годы	68
Бутугычаг. Жилая зона. Каменные бараки. Июнь 1993 года. Фото И. Паникарова	78
Бутугычаг. Обогагительная фабрика. Фото 90-х годов	84

Бутугычаг. Одно из лагерных кладбищ. Фото 90-х годов.....	88
Варлам Тихонович Шаламов	91
Георгий Георгиевич Демидов. Фото из следственного дела. 40-е годы.....	115
Татьяна Ивановна Мягкова. 30-е годы	139
Татьяна Мягкова и ее подруги Соня Смирнова и Мария Варшавская. Казахстан. Челкар. 1929	144
Татьяна Мягкова в ссылке. На верблюде – Софья Смирнова и Мария Варшавская. Казахстан. Челкар. 1929	144
Екатерина Флориановна Кухарская. 30-е годы.....	149
Г. К. Вагнер. «Сухая» вода. Из альбома «Колыма». Январь 1946 года. Бум. Акв.	168
Г. К. Вагнер. Поземка. Из альбома «Колыма». 1946 год. Бум. Акв.	170
Георгий Карлович Вагнер. 1995 год.....	190
Г. К. Вагнер. «Акрополь» на вершине Коралловой сопки. Из альбома «Колыма». 1946 год. Бум. Акв.	195
Г. К. Вагнер. Дровоносы. Из альбома «Колыма». Октябрь 1946 года. Бум. Акв.	195
Г. К. Вагнер. Пекут хлеб. Из альбома «Колыма». 1946 год. Бум. Акв.	203
Г. К. Вагнер. Расчистка трассы. Из альбома «Колыма». 1946 год. Бум. Акв.	203
Г. К. Вагнер. Колымский вечер. Из альбома «Колыма». 1946 год. Бум. Акв.	204
Александр Васильевич Горбатов. 1945 год	212
Лев Гаврилович Гаврилов и его жена Антонина Васильевна Муравлёва. 1932 год	225
Галина Сергеевна Коваленко. Алма-Ата. 1934 год.....	235
Елена Михайловна Тагер	240
Лев Эдуардович Шапп. 70-е годы	242
Надежда Адольфовна Иоффе. Зима 1964 года	248
Вениамин Файвелевич Бромберг. Автопортрет. Рисунок. 1939 год	261

В. А. Бромберг. Женский портрет. <i>Мозаика из яичной скорлупы. Сделано в Суздальском изоляторе</i>	262
Иван Иванович Павлов	270
Памятник жертвам репрессий 1930–1950 годов на месте захоронения заключенных в поселке Усть-Нера (Якутия, Оймяконский район). <i>Установлен в 2001 году. Автор памятника Борис Бикьярович Сатеев</i>	281
Виктория Юльевна Гольдовская	282
Надежда Витальевна Суровцева-Олицкая. <i>Умань. 50–60-е годы</i>	284
Н. В. Суровцева с детьми. <i>Колыма. Нижний Сеймчан. 50-е годы</i>	289
Нина Владимировна Савоева. <i>1948 год</i>	295
Начальник ОЛПа. <i>40-е–50-е годы</i>	300
Теплица в Беличьем. <i>40-е годы</i>	305
Больница Севлага. В центре – Н. В. Савоева. <i>1943 год</i>	306
Борис Николаевич Лесняк	310
Войцех Дажицкий. <i>После лагеря. 50-е годы</i>	316
Ксендз В. Дажицкий и Папа Римский Иоанн Павел II в Ватикане. <i>1990 год</i>	317
Яков Исаакович Эфрусси. <i>90-е годы</i>	319
Николай Николаевич Повало-Швейковский. <i>Лето 1937 года</i>	329
Михаил Филиппович Кравчук. <i>30-е годы</i>	334
Борис Вячеславович Бабин и Берта Александровна Бабина-Невская. <i>Конец 20-х – начало 30-х годов</i>	340
Петр Иванович Рулин. <i>Середина 30-х годов</i>	349
П. И. Рулин, его жена Лидия Николаевна, дочь Ирина, теща Вера Ивановна и тесть Николай Васильевич Науменко. <i>Начало 30-х годов</i>	351
Юрий Львович Фидельгоц. <i>1948 год</i>	358
Иосиф Аркадьевич Мальский	360
Аляскитово. Верхний лагерь. Рудник. <i>Фото 90-х годов</i>	369
Ю. Л. Фидельгоц на второй день после освобождения из лагеря. <i>1954 год</i>	373

Елена Семеновна Глинка. Ленинград. Середина 1960-х годов	375
Мария Григорьевна Ночнова. 50-е годы	381
Николай Леонидович Билетов. Колыма. Начало 50-х годов	390
Н. Л. Билетов. Колымский пейзаж	392
Н. Л. Билетов. Драга	396
Вера Яковлевна Устиева	401
В. Я. Устиева и Елена Михайловна Тагер. Абрамцево. 1958 год	404
Роберт Конквест	409
Марина Никаноровна Округина и Исаак Яковлевич Шерман. Колыма. 40-е годы	417
И. Я. Шерман. Обложка и иллюстрация к роману И. Эренбурга «Падение Парижа» (Магадан. Изд-во «Советская Колыма». 1942)	419
Леонид Винфридович Вегенер и Екатерина Васильевна Гриневецкая	421
Гертруда Рихтер	426
Георгий Лавров в академии Жульена. Париж. 1927 год	428
Георгий Дмитриевич Лавров и Валентина Пименовна Солдатова в ссылке. 1948 год	434
Вера Федоровна Шухаева после возвращения из Франции. Москва. 1935 год	436
Василий Иванович Шухаев. Николина Гора. 60-е годы	437
Юлиан Григорьевич Оксман (в центре) после возвращения из ссылки. Москва. 50-е годы	440
Г. К. Вагнер. Колыма. Лунной ночью. Из альбома «Колыма». 1946 год. Бум. Акв.	444
Виктор Соломонович Сербский. 1996 год	449
Соломон Наумович Сербский. 30-е годы	450
Евгения Тиграновна Захарьян. 30-е годы	450
Михаил Игоревич Киреевский. 30-е годы	458
Марьям Султан-Мурадова. 1929 год	461

Остатки жилой зоны. Фото 1980 года	463
Карта-схема расположения лагерей Ягоднинского района Магаданской области. 1930–1950. Рисунок И. Паникарова. 1991 год	469
Священник Иннокентий Гурьевич Слепцов, его жена и сын	473
Федор Иванович Тюленев после освобождения из лагеря. 1954 год	475
Иван Павлович Алексахин. 1979 год	478
Николай Владимирович Козлов. 40-е–50-е годы	491
Юлия Сергеевна Аксель. 50-е годы	496
Ю. С. Аксель с мамой и бабушкой после возвращения с Колымы. 1954 год	500
Антонина Владимировна Шелкунова. 1975 год	502
Гиза Максевна Лихтенштейн	514
Бывшие узницы колымских лагерей. Слева направо: Антонина Ивановна Шелкунова, Ольга Львовна Адамова-Слиозберг, Паулина Степановна Самойлова-Мясникова, Зоя Дмитриевна Марченко, Ада Александровна Федерольф, Зора Борисовна Гандлевская. Середина 70-х годов	514
Семен Самуилович Виленский. Начало 60-х годов	516
Вышка (лагерь «Днепровский»)	517
Юрий Осипович Домбровский	530
Леонид Викторович Варпаховский. 1964 год	532
Людмила Сергеевна Шеляпина. 30-е годы	537

Содержание

От составителя	5
Освенцим без печей.....	7
Я помню тот Ванинский порт	20
<i>Нина Гаген-Торн. О верах. Письма дочерям</i>	<i>21</i>
<i>Галина Воронская. Серпантинка</i>	<i>33</i>
<i>Екатерина Олицкая. На Колыме</i>	<i>44</i>
<i>Елена Владимировна. Мы шли этапом.....</i>	<i>66</i>
<i>Валерий Ладейщиков. Записки смертника</i>	<i>68</i>
<i>Варлам Шаламов. Последний бой майора Пугачева. Житие инженера Кипреева</i>	<i>91</i>
<i>Георгий Демидов. Дубарь</i>	<i>115</i>
Дело Татьяны Мягковой	139
<i>Екатерина Кухарская. Будь что будет</i>	<i>149</i>
<i>Георгий Вагнер. Десять лет за... Сухареву башню</i>	<i>190</i>
<i>Александр Горбатов. В колымском плену</i>	<i>212</i>

<i>Лев Гаврилов. З/К – запасной коммунист</i>	225
<i>Галина Коваленко. Латынь</i>	235
<i>Елена Тагер. Сверкала морозная чаща...</i>	240
<i>Лев Шапп. Роковая пора</i>	242
<i>Надежда Иоффе. Время назад</i>	248
<i>Вениамин Бромберг. Свет убитой звезды</i>	261
<i>Иван Павлов. Доходяги</i>	270
<i>Виктория Гольдовская. Обелиск</i>	282
<i>Надежда Суровцева. Детгородок</i>	284
<i>Нина Савоева. Место назначения – Магадан</i>	295
<i>Борис Лесняк. Войцех Дажичкий (отец Мартыньян)</i>	310
<i>Яков Эфрусси. Записки инженера</i>	319
<i>Николай Повало-Швейковский. Из писем родным и жене</i>	329
<i>Михаил Кравчук. «...в пересмотре дела отказать»</i>	334
<i>Борис Бабин. Из писем к жене</i>	340
<i>Петр Рулин. Письма к родным</i>	349
<i>Юрий Фидельгольц. Беспредел</i>	358

<i>Елена Глинка. «Колымский трамвай» средней тяжести</i>	375
<i>Мария Ночнова. Водолажские</i>	381
<i>Николай Билетов. С 32-го на Колыме</i>	390
<i>Вера Устиева. Подарок для вице-президента</i>	401
<i>Роберт Конквест. Клоунский фарс</i>	409
<i>О художнике Исааке Шермане</i>	417
<i>О художнике Леониде Вегенере</i>	421
<i>Георгий Лавров. Париж... Магадан</i>	428
<i>Василий Шухаев и Вера Шухаева. Письма</i>	436
<i>Юлиан Оксман. Из писем к жене и матери</i>	440
<i>Виктор Сербский. Мои родители</i>	449
<i>Михаил Киреевский. Мне было семнадцать</i>	458
<i>Марьям Султан-Мурадова.</i> <i>«От битья железо крепнет, человек мужает»</i>	461
<i>Голоса</i>	463
<i>Иван Алексахин. Колымские воспоминания</i>	478
<i>Из архива Николая Козлова</i>	491
<i>Юлия Аксель. Отцы и дети</i>	496

<i>Антонина Шелкунова. Колючее слово Колыма</i>	502
<i>Семен Виленский. На прииске «Днепровский»</i>	516
<i>Юрий Домбровский. Два письма Леониду Варпаховскому. Амнистия</i>	530
<i>Людмила Шеляпина</i>	537
<i>А. И. Воробьев. Да нужно ли всё это ворошить (послесловие)</i>	538
<i>Горнопромышленные управления Дальстроя</i>	555
<i>Лагеря на территории города Магадана</i>	556
<i>Лагеря на территории Магаданской области</i>	556
<i>Список иллюстраций</i>	566

ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ
В 2-х томах

Том второй
Колыма

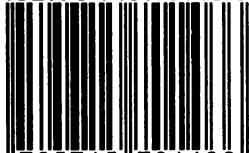
Редактор: *Г. В. Атнашкина*
Макет: *А. Г. Мордвинцев*
Обработка фотографий: *К. А. Мордвинцев*

Подписано в печать 25.07.04. Формат 60×90/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 36. Тираж 3000 экз. Заказ № 1935.

Московское историко-литературное общество «Возвращение»
123436, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 34, кв. 58
Тел./факс: 196-02-26
e-mail: vozvrashchenie@bk.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в издательско-полиграфическом комплексе «Звезда»
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34

ISBN 5-7157-0146-5



9 785715 701466 >

